

Городок

ГРОТТЕ

Шарлотта



Annotation

Роман известной английской писательницы Ш. Бронте (1816–1855) «Городок» — это история молодой англичанки Люси Сноу, рано осиротевшей, оказавшейся в полном одиночестве, без средств к существованию. Героине приходится преодолеть много трудностей, столкнуться с лицемерием и несправедливостью, пережить тяжелые разочарования, утрату иллюзии и крушение надежд на счастье.

В широком плане «Городок» — роман о становлении личности.

- [Шарлотта Бронте](#)
 - [Н. Михальская. О Шарлотте Бронте, романе «Городок» и его героях](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
 - [Глава XIII](#)
 - [Глава XIV](#)
 - [Глава XV](#)
 - [Глава XVI](#)
 - [Глава XVII](#)
 - [Глава XVIII](#)
 - [Глава XIX](#)
 - [Глава XX](#)
 - [Глава XXI](#)
 - [Глава XXII](#)
 - [Глава XXIII](#)
 - [Глава XXIV](#)

- [Глава XXV](#)
- [Глава XXVI](#)
- [Глава XXVII](#)
- [Глава XXVIII](#)
- [Глава XXIX](#)
- [Глава XXX](#)
- [Глава XXXI](#)
- [Глава XXXII](#)
- [Глава XXXIII](#)
- [Глава XXXIV](#)
- [Глава XXXV](#)
- [Глава XXXVI](#)
- [Глава XXXVII](#)
- [Глава XXXVIII](#)
- [Глава XXXIX](#)
- [Глава XL](#)
- [Глава XLI](#)
- [Глава XLII](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)

- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)

- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)

- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)

- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)

- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)

- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)

- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)

- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)

- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)

- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)

- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)
- [423](#)
- [424](#)
- [425](#)
- [426](#)
- [427](#)
- [428](#)
- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)
- [436](#)
- [437](#)
- [438](#)
- [439](#)
- [440](#)
- [441](#)
- [442](#)
- [443](#)
- [444](#)
- [445](#)
- [446](#)
- [447](#)
- [448](#)
- [449](#)

- [450](#)
 - [451](#)
 - [452](#)
 - [453](#)
 - [454](#)
 - [455](#)
 - [456](#)
 - [457](#)
 - [458](#)
 - [459](#)
 - [460](#)
 - [461](#)
 - [462](#)
 - [463](#)
 - [464](#)
 - [465](#)
 - [466](#)
 - [467](#)
 - [468](#)
 - [469](#)
 - [470](#)
 - [471](#)
 - [472](#)
 - [473](#)
 - [474](#)
-

Шарлотта Бронте

Городок

Н. Михальская. О Шарлотте Бронте, романе «Городок» и его героях

Роман Шарлотты Бронте «Городок» был опубликован в 1853 году. Всего несколько лет отделяет его появление от выхода в свет «Джен Эйр» (1847) книги, сделавшей имя английской писательницы знаменитым. Как автор «Джен Эйр» Ш. Бронте и вошла в историю литературы, заняв место в одном ряду с крупнейшими романистами своего времени Ч. Диккенсом, У. Теккереем, Э. Гаскелл.

Произведения «блестящей плеяды» английских романистов, по словам К. Маркса, «раскрыли миру больше политических и социальных истин, чем все профессиональные политики, публицисты и моралисты вместе взятые».

[1] Эти писатели помогли своим современникам задуматься над коренными проблемами эпохи, познакомили их с подлинной Англией, разрушили официальную легенду о викторианстве как поре благоденствия. Они писали о страданиях народа, о лицемерии и алчности власть имущих.

Критицизм и обличение социального неравенства сочетаются в творчестве мастеров реалистического романа с поисками и утверждением положительных ценностей. В литературе английского критического реализма нравственно-эстетический идеал воплотился в образах простых людей, моральная чистота, трудолюбие и стойкость которых противостоят своекорыстию и жестокости буржуазных дельцов. В описании людей, познавших бедность, горечь утрат, выдержавших жизненные испытания и сохранивших свое человеческое достоинство, особенно ярко проявился гуманизм английских писателей. Вера в нравственное превосходство народных масс над правящими сословиями, выраженная в начале XIX века в произведениях английских романтиков Вордсворта, Скотта, Байрона и Шелли, была характерна и для демократически настроенных писателей, вступивших в литературу в период 1830-1840-х годов, Диккенса, Теккерея, сестер Бронте и Гаскелл. Народные представления о добре и справедливости, проявившиеся в их произведениях, определялись сложившейся в стране обстановкой.

В истории Англии 1830-1840-е годы — период напряженной и идеологической борьбы, наивысшего подъема чартистского движения — раннего этапа борьбы вступившего на историческую арену пролетариата. Эта бурная эпоха вызвала к жизни расцвет демократической культуры. В

одном русле с реалистическим искусством развивалась чартистская литература — творчество Э. Джонса, У. Линтона, Д. Масси, Д. Гарни. Новаторство чартистских писателей проявилось в создании образа пролетария-борца, в призыве к классовой борьбе и международной солидарности людей труда. Э. Джонс воспевал и прославлял «с честными сердцами, с могучими руками» (стихотворение «Наш вызов», 1846), создал образ народа, поднявшегося на борьбу за свои права. Поэму «Восстание Индостана, или Новый мир» (1851–1857) он завершил изображением бесклассового общества будущего.

Освободительная борьба народа, чартистское движение оказали воздействие на национальную культуру Англии, на развитие реалистического романа со свойственной ему глубиной социального критицизма и правдивыми человеческими характерами. В 1840-е годы были созданы лучшие произведения английского критического реализма — романы «Домби и сын» Диккенса, «Ярмарка тщеславия» Теккерея, «Мэри Бартон» Гаскелл. К этому же времени относятся «Джен Эйр» и «Шерли» (1849) Шарлотты Бронте.

Романы Ш. Бронте сразу же привлекли к себе внимание значительностью проблематики и своеобразием художественного мастерства. В них звучит тема женского равноправия, рассказывается о жизни героев, наделенных твердыми нравственными принципами, сильными страстями, большой отвагой. Книги Ш. Бронте совершили переворот в представлениях о морали. Как своего рода манифест борьбы за права женщин был воспринят роман «Джен Эйр». «Шерли» и «Городок» закрепили это представление.

Ко времени выхода в свет «Джен Эйр» Шарлотте Бронте исполнился тридцать один год. Писать она начала много раньше. В 1837 году Бронте послала одно из своих стихотворений поэту Роберту Саути. В письме, сопровождавшем его, она просила совета и выражала надежду на ответ. Ответ был получен. Роберт Саути писал о том, что поэзия не женское дело, советовал адресату заняться домашними делами, выполнять свои хозяйственные обязанности.

Трудно представить себе судьбу менее благоприятную для писательской деятельности. Может быть, именно поэтому почти все книги, посвященные Ш. Бронте, имеют биографический характер. Перед их авторами неизменно вставал вопрос, каким образом жизнь, столь аскетически суровая, бедная внешними событиями, всецело отданная заботам о близких и, казалось бы, столь безрадостная, могла стать источником творений, исполненных силы страсти, романтических порывов,

мятежного духа протеста, смелого воображения, сочетающихся с правдолюбием, глубоким пониманием повседневной реальности с ее социальными контрастами, борьбой за существование и человеческое достоинство.

Начало многочисленным жизнеописаниям автора «Джен Эйр» было положено фундаментальным и уже давно ставшим классическим трудом Элизабет Гаскелл «Жизнь Шарлотты Бронте» (1857). Однако биографический метод не позволил в полной мере представить значение романов Ш. Бронте и их место в развитии литературного процесса, и прежде всего в развитии романа. Творчество Бронте «выводилось» из обстоятельств ее жизни, в то время как оно противоречило этим тяжелым обстоятельствам, рождалось из духа протеста и было сопряжено с большой литературной традицией, закрепляло ее продуктивные открытия и вместе с тем намечало тенденции последующего развития жанра романа.

Непродолжительное по своим временным рамкам творчество Ш. Бронте необычайно динамично. В нем легко просматривается линия, соединяющая романтическое искусство начала XIX века (Байрон, Шелли) с критическим реализмом 1830-1840-х годов (Диккенс, Теккере́й) и с художественными открытиями реализма на новом этапе его развития во второй половине XIX столетия (Дж. Элиот, Дж. Мередит). Это движение прослеживается от романа «Джен Эйр» к «Шерли» и затем к роману «Городок». Что же касается романа «Учитель», написанного раньше других, но изданного лишь посмертно в 1857 году, то, во многом перекликаясь по описанным в нем фактам биографии Ш. Бронте с романом «Городок», это произведение предваряет мотивы и образы последующих романов, уступая им в художественной зрелости.

Шарлотта Бронте родилась в 1816 году в Торнтоне, в Йоркшире, в семье священника Патрика Бронте, человека сурового и замкнутого. Получив в 1820 году приход в местечке Хоурт, находящемся в девяти милях от Брэдфорда, он обосновался здесь навсегда. В этом глухом уголке Средней Англии, в бедном пасторском доме, затерянном среди бесконечных болот и пустошей, прошли детство и юность Ш. Бронте; здесь началась и закончилась ее недолгая писательская деятельность. Она умерла в 1855 году в возрасте тридцати девяти лет.

Литературное наследие Бронте составляют четыре романа, несколько поэтических произведений, вошедших в изданный в 1846 году совместно с ее сестрами Эмилией и Анной сборник, и обширная переписка, отразившая круг литературных интересов и основные события жизни писательницы.

Жизнь в Хоурте была безжалостна к его обитателям. В 1821 году

умерла жена Патрика Бронте, оставив сиротами шестерых детей. Вскоре одна за другой погибли от туберкулеза две старшие сестры Шарлотты — Мария и Елизавета. Они не выдержали тяжелых условий жизни в сиротском приюте для детей бедного духовенства — Коун-Бридже, куда их отдал отец. Под названием Ловудской школы этот приют описан в романе «Джен Эйр». Смерть старших детей заставила Патрика Бронте забрать из приюта Шарлотту и Эмилию. Вместе с двумя младшими детьми — Анной и Брэнвиллом — они росли и воспитывались дома. Собственно, ни о каком систематическом воспитании говорить не приходится. Дети были предоставлены сами себе, читали книги из библиотеки отца и получаемые им газеты, откуда черпали сведения о происходивших за пределами Хоурта событиях, о разорении фермеров, о волнениях на ткацких фабриках Йоркшира и соседнего Ланкашира.

Все дети в семье Бронте были талантливы. Они сочиняли пьесы, выпускали свой рукописный журнал, писали стихи, вели хронику событий, происходивших в вымышленной ими фантастической стране Энгрии. Брэнвилл мечтал стать художником, Эмилия, Шарлотта и Анна стали писательницами. Романы Эмилии Бронте «Грозовой перевал» и Анны Бронте «Агнес Грэй» были изданы в 1847 году. Однако ранняя смерть прервала их удачно начавшийся путь в искусстве. Одну за другой Шарлотта похоронила своих сестер. В 1848 году умерла Эмилия, а через год — Анна. Не сбылись надежды, связанные с талантами Брэнвилла, скончавшегося в 1848 году. В опустевшем доме Шарлотта осталась наедине с отцом. За несколько месяцев до своей смерти она вышла замуж за помощника пастора Бронте — А. Николлса.

В своей книге «Роман и народ» (1937) английский критик-коммунист Ральф Фокс писал: «Мысли и чувства, рожденные искалеченной, одинокой жизнью сестер Бронте, Шарлотта выразила в возвышенной любви Рочестера и Джен Эйр, в захватывающей истории Люси Сноу в „Виллет“^[2]». Трагическую историю сестер Бронте, одаренных силой чувств и богатым воображением, запертых «как в тюрьме, в открытом всем ветрам пасторском доме на болотах Вест-Райдинга», Р. Фокс связывал с устоями жизни «средневикторианской Англии».^[3]

Несколько раз за свою жизнь Ш. Бронте покидала Хоурт. В 1831 и в 1832 годах она посещала школу в Роэхеде, а в 1835–1838 годах работала там же учительницей. Самые сильные впечатления связаны с поездкой в Брюссель, где в 1842 году вместе с Эмилией Шарлотта обучалась в пансионе Эгера, а в следующем году, получив место учительницы,

преподавала в этом же пансионе английский язык. Многие события, связанные с жизнью в Бельгии, отражены в романе «Городок».

После успеха «Джен Эйр», получив признание в литературных кругах, Ш. Бронте несколько раз посещала Лондон, встречалась с писателями, с издателями своих произведений. Она познакомилась с Теккереем и Гаскелл. В 1851 году Ш. Бронте присутствовала на лекции Теккеря об английских юмористах XVIII века.

Сразу после выхода «Джен Эйр», еще не зная, кто именно является создателем этого романа, вышедшего под псевдонимом Каррер Белл, Э. Гаскелл отметила, что это «необычная книга». Новаторский характер романа проявился прежде всего в образе героини. Вместе с Джен Эйр в английскую литературу вошла женщина, смело отстаивающая свое человеческое достоинство, право на самостоятельную трудовую жизнь и свободу чувств. В этом образе Ш. Бронте воплотила свои представления о современной женщине, способной определить свою судьбу и быть не только женой, но и достойной подругой мужчины. И хотя от постановки проблемы политического равноправия женщины Ш. Бронте была весьма далека (этого требования не выдвигали даже чартисты), тем не менее она утверждала право женщин на интеллектуальную эмансипацию. В условиях викторианской Англии образ свободолюбивой Джен Эйр был открытым вызовом буржуазной морали.

Свой первый роман Ш. Бронте посвятила автору «Ярмарки тщеславия»; она считала его лучшим романистом своего времени. В свою очередь, Теккерей, с увлечением читавший «Джен Эйр», высоко оценил талант начинающей писательницы. Своеобразие ее манеры он увидел в соединении «чистого чувства с исповедальной искренностью». Теккерей привлекли проявившиеся в этом произведении любовь к истине и возмущение несправедливостью, смелость суждений и простота повествования. Автора «Джен Эйр» Теккерей назвал «строгой маленькой Жанной д'Арк».

Смелостью проблематики отличается и роман «Шерли», в котором на широком фоне социально-исторических событий начала XIX века (война с Наполеоном, континентальная блокада Англии, выступления луддитов) изображается война рабочих и фабриканта. События происходят в 1812 году, однако описаны они с учетом чартистского движения. Ш. Бронте пишет о «ненависти, рожденной нищетой». Возмущение и протест рабочих она считает закономерным следствием невыносимо тяжелых условий их жизни. Не являясь сторонницей революционных методов борьбы, Ш. Бронте полагает возможным улучшить положение народа «разумной»

деятельностью буржуазии и в финале романа предлагает явно утопическую программу преобразования общества.

За те несколько лет, которые отделяют «Джен Эйр» и «Шерли» от романа «Городок», в жизни Англии произошли существенные изменения. После 1848 года страна вступила в новую фазу развития. Одержав победу над рабочим движением в конце 40-х годов, буржуазия укрепила свои позиции и интенсивно обогащалась. На международной арене, в промышленности и в торговле Англия заняла ведущее положение. О второй половине XIX века буржуазная историография пишет как о «золотом веке викторианства». Однако официальная версия о всеобщем благоденствии не соответствовала истинному положению дел, тяжелым условиям жизни народа.

Происходят изменения и в литературе. На новом этапе своего развития критический реализм характеризуется интенсивными поисками новых средств изображения жизни и человека. Важной сферой исследования становится психология личности, более пристальным — внимание к интеллектуальной и духовной жизни героев, возрастает интерес к этическим аспектам общественной проблематики. В реалистическом романе усиливается роль драматического и лирического начала. Проблемы большой социальной значимости решаются теперь в несколько ином ключе: обобщающее познание жизни достигается анализом внутреннего состояния героя, сочетающимся с осмыслением мельчайших подробностей его бытия. Это проявилось в романах Джордж Элиот («Адам Бид», 1859, «Мельница на Флоссе», 1860), а позднее — в творчестве Джорджа Мередита («Эгоист», 1879) и Сэмюэла Батлера («Путь всякой плоти», 1903). Роман Ш. Бронте «Городок» во многом предваряет эти тенденции и является как бы связующим звеном между двумя этапами развития реализма в английской литературе XIX века.

В романе «Городок» рассказывается о молодой англичанке Люси Сноу, рано осиротевшей, оказавшейся в полном одиночестве, без средств и поддержки. Некоторое время она живет в доме своей крестной матери миссис Бреттон, затем становится компаньонкой богатой дамы мисс Марчмонт, а после ее смерти покидает Англию и уезжает на континент. Она оказывается в Брюсселе (в романе он описан как Villette — Городок) и начинает работать в пансионе мадам Бек. Вначале ей поручают обязанности воспитательницы обучающихся здесь девиц из обеспеченных семейств, а затем она получает место учительницы английского языка.

Люси Сноу приходится преодолеть много трудностей, столкнуться с лицемерием и несправедливостью, пережить тяжелые разочарования,

утрату иллюзий и надежд на счастье. Но вместе с тем в борьбе за существование и человеческое достоинство формируется и укрепляется ее характер, «способность к ясному мышлению и непоколебимому самообладанию». Она обретает себя как личность, познает радость труда и находит свое место в жизни. «Мне думается, — рассуждает Люси, — что от природы я не обладала ни уверенностью в своих силах, ни предприимчивостью, эти свойства натуры проявились во мне под влиянием обстоятельств, как бывает с тысячами других людей».

В широком плане «Городок» — это роман о становлении личности. Он связан с традицией «воспитательного романа» и получившего большое распространение в английской литературе «романа о вступлении в жизнь» (entrance-into-life). Не случайно уже в первой главе «Городка» есть упоминание об английском писателе Джоне Беньяне, авторе аллегорического произведения «Путь паломника» (1678), находящегося у истоков традиции «романа воспитания», и о его герое Христиане. Беньян изображает человеческую жизнь как поиски правды. Образ Христиана, совершающего свое паломничество, — это аллегорическое изображение человека и его жизненных страданий.

Написанная в форме видения, берущего свое начало в средневековой литературе, повесть Беньяна, перекликающаяся с «Видением о Петре Пахаре» Уильяма Ленгленда, предваряет сюжеты и образы многих произведений XVIII и XIX веков. Обличение праздности и тщеславия аристократов, стяжательства буржуа, обобщающий образ ярмарки, которому противостоят народные представления о справедливой и честной жизни, получили развитие в литературе последующих эпох. Теме путешествия как воспитания и становления личности посвящены многие произведения мировой литературы. Классическим образом «романа воспитания» явился роман Гёте «Странствования Вильгельма Майстера». В английской литературе эта тема в различных аспектах представлена в романах Дефо, Свифта, Филдинга, Смоллета, Стерна, Остен. Среди современных ему романов «Городок» может быть сопоставлен с произведениями Диккенса и Теккерея; хронологически ему особенно близки «Дэвид Копперфилд» (1850) и «История Пенденниса» (1850). Позднее к этой форме романа обращались С. Батлер («Путь всякой плоти»), Г. Уэллс («Анна-Вероника», «Тоно Бенге»), Э. М. Форстер («Комната с видом», «Поездка в Индию»), В. Вулф («Путешествие»), С. Моэм («Бремя страстей человеческих») и другие писатели.

Среди всех этих произведений «Городок» Ш. Бронте занимает свое, вполне определенное место. Тема вступления в жизнь и становления

личности решается здесь на примере женской судьбы, в связи с глубоко волновавшей писательницу темой женского равноправия. Отталкиваясь от Бенъяна как автора аллегории, Ш. Бронте создает реалистический роман о современной ей действительности. Перед ее героиней возникают трудности экономического, социального и психологического характера, рожденные условиями конкретно-исторической английской действительности середины XIX века. Проблемы, встающие перед Люси Сноу, порождены ее средой и эпохой. Верность жизненной правде, социальная обусловленность психологических характеристик позволили писательнице прийти к существенным обобщениям об одиночестве и отчуждении человека в окружающем его мире.

Люси Сноу — новый тип героини в романе Англии XIX века. Бронте отстаивает мысль о том, что удел женщины не должен быть сведен только к замужеству и семейной жизни; она может посвятить себя какому-то важному делу, служить своему призванию. «Городок» — первый английский роман, героиня которого от начала и до конца работает, сама зарабатывает себе на жизнь. Для Люси Сноу труд является не только источником ее существования, но и неотъемлемой частью ее существа. Потому она и находит в себе силы для того, чтобы жить и трудиться после гибели любимого ею Поля Эманюеля.

Было бы неверно утверждать, что Ш. Бронте была единственной писательницей середины прошлого века, обратившейся к положению женщины в современном ей обществе. Об этом писали и другие. Для самой Бронте как автора «Джен Эйр» и «Городка» важную роль сыграли, например, произведения Э. Гаскелл («Мэри Бартон») и Г. Мартино («Старая гувернантка», 1850). Однако особенно важное значение имели для нее романы Жорж Санд, в которых «женский вопрос» и семейно-бытовые темы решались в связи с социальными проблемами. Благодаря влиянию французской писательницы Ш. Бронте ставила интересовавшие ее проблемы более смело и современно, чем многие из ее соотечественников.

Романы Ш. Бронте перекликаются и с творчеством ее непосредственной предшественницы Д. Остен, которая содействовала развитию нравоописательного романа, утверждающего реалистические принципы и прокладывающего путь для достижения романистов XIX века. Д. Остен умеет в малом показать значительное. В ее романах определились средства раскрытия многогранности человеческой личности.

Произведения Бронте и Остен близки и в тематическом плане. Так, например, в романе «Нортэнгерское аббатство» Остен ставится тема познания реальной действительности молодой девушкой Кэтрин Морланд.

Как и «Городок», это тоже один из вариантов «воспитательного романа», и тема поисков смысла жизни, несмотря на камерный характер произведения, поставлена здесь широко. В чем ценность жизни? Для одних — в богатстве, для других — в удовольствии и в положении в обществе, для Кэтрин — в искреннем чувстве любви. В романе «Городок» в жизненных судьбах трех героинь — Люси Сноу, Полины де Бассомпьер и Джиневры Фэншо — также представлены различные взгляды на смысл жизни и разное понимание ее назначения.

Для легкомысленной и эгоистичной Джиневры основная цель — выгодное замужество. В достижении ее Джиневра беспринципна, хитра и даже жестока. Она двулична, ее внешнее очарование и хрупкая красота не соответствуют таящемуся в ней бессердечию и жестокости. Кокетничая с доктором Бреттоном, она презирует и обманывает его, принимая дорогие подарки, смеется над ним. «Ни одна гризетка не принимает подарков с такой готовностью, как Джиневра, восклицает в отчаянии Бреттон, — а ведь она из хорошей семьи». С образом Джиневры в романе связана тема «ярмарки тщеславия»: Джиневра льнет к высшим кругам, преклоняется перед миссис Чамли, благосклонно принимает ухаживания де Амаля и презирует тех, кто стоит ниже ее на общественной лестнице. «Я никогда не стану женой буржуа», — с высокомерием заявляет она.

Ограниченна в своих стремлениях и Полина де Бассомпьер. Помыслы этой рассудительной, милой и трогательной молодой особы связаны только с личным благополучием и семейным счастьем. Полина нежно привязана к отцу, предана своему будущему мужу, но она в достаточной степени эгоистична, чтобы не замечать страданий Люси.

В образах Джиневры и Полины ясно чувствуется школа Теккерея как создателя незабываемых Ребеки Шарп и Эмили Седли. Традиция Д. Остен подкрепляется в данном случае достижениями одного из крупнейших мастеров критического реализма современной Ш. Бронте эпохи.

С Д. Остен Бронте сближает и обращение к «антиготическим» мотивам. Обе писательницы переосмысливают «романы ужаса» Э. Редклиф и М.-Г. Льюиса, характерные для предромантизма конца XVIII века и тяготеющие к мистификации действительности, к изображению необычного, таинственного и загадочного.

В «Нортэнгерском аббатстве» Д. Остен пародирует штампы «готического» романа, причем пародийное начало переплетается в этом произведении с комическим осмеянием быта и нравов действующих лиц. Д. Остен видит свою задачу в том, чтобы помочь людям проникнуться ощущением реальности, понять действительность. Современный

английский критик А. Кеттл справедливо обращает внимание на присущий Д. Остен «тонкий и простодушный материализм». «В своих оценках она... всегда опирается на реальные факты, на описываемые ею события, на устремления своих героев. Ясность ее социальных устремлений... сочетается с точностью социальных оценок».^[4]

Эти замечания А. Кеттла помогают понять и отношение Ш. Бронте к «готическим» элементам; она, как и Д. Остен, стремится помочь людям понять жизнь и разобраться в ее истинных ценностях. «Фантастическое» и «ужасное» получает в ее романах реальное обоснование. В романе «Городок» это проявляется в сценах встречи Люси с призраком монахини, в истории преследования ее «таинственными» недоброжелателями. Страшная волшебница, которую Люси встречает во время грозы, когда вспышки молний прорезают окутавший землю мрак, оказывается родственницей мадам Бек — злой и корыстолюбивой старухой Уолревенс; блуждающий в аллеях парка призрак монахини — это поклонник Джиневры, скрывающийся от бдительных глаз хозяйки пансиона, облачившись в женские одежды. Необычные видения возникают перед Люси в моменты сильного эмоционального возбуждения и напряжения, но она находит в себе силы разобраться в происходящем. «Всегда и всю жизнь мою я любила правду... Я бесстрашно встречаю ее грозный взгляд... Увидеть и узнать худшее — значит победить Страх». Люси Сноу наделена способностью смотреть правде в глаза и трезво судить о жизни и людях, о самой себе.

Вместе с тем Ш. Бронте настаивает на истинности двух начал, сосуществующих в человеке, — здравом смысле и воображений. Здравый смысл помогает твердо стоять на ногах; воображение и способность к фантазии помогают постигать и созидать жизнь. «Благоразумие хочет убедить меня в том, что я рождена лишь для того, чтобы трудиться ради куска хлеба, ждать смерти с ее мучениями и предаваться грусти на протяжении всей жизни. Может быть, эти доводы и справедливы, но ведь нет ничего удивительного в том, что мы время от времени пренебрегаем ими, освобождаемся от их власти и выпускаем на волю врага Благоразумия — наше доброе живое воображение, которое поддерживает и обнадеживает нас. Мы непременно должны иногда выходить за границы благоразумия и будем поступать так, несмотря на ужасные кары, ожидающие нас по возвращении». Воображение «осушает мучительные слезы, уносящие с собой самую жизнь», и «щедро дарит надежду и силу». Включение категории воображения в систему ключевых понятий, определяющих строение романа, структуру характера и особенности мировосприятия

главной героини, позволяет говорить о связи творческих принципов Ш. Бронте с эстетикой романтизма.

Концепция поэтического воображения складывалась в эстетике английского романтизма, начиная с У. Блейка, противопоставлявшего силу творческого воображения логическому анализу и расчету. Как о магической и животворной силе писали о воображении Вордсворт и Кольридж. Способность пробуждать «сочувствие читателя путем верного следования правде жизни» и способность «придавать ей интерес новизны изменчивыми красками воображения» Кольридж называет «двумя кардинальными пунктами поэзии». Мысль о способности воображения открывать красоту в реальном мире развивал Китс; он же считал воображение исходным пунктом движения к истине.

В отличие от поэтов «озерной школы» Шелли не противопоставлял воображение разуму. В его понимании «рассуждение и воображение» — это «два вида умственной деятельности». Важной функцией воображения Шелли считает его способность раскрывать «интеллектуальную красоту», побуждая тем самым человека к активному действию. Как и другие романтики, Шелли определял поэзию как «воплощение воображения».

Включив в роман «Городок» суждения о характере соотношения и функциях Благоразумия и Воображения, Ш. Бронте высказала тем самым свое отношение к романтической традиции. Романтические начала характерны для художественной системы ее романа.

Благоразумная, сдержанная, всегда владеющая собой Люси Сноу наделена творческой силой воображения. Эта особенность в соединении с тонкой ироничностью, несмотря на переживаемые страдания и бедность, ставят ее неизмеримо выше благоденствующих Бреттонов, богатых Бассомпьеров, практичной мадам Бек, преуспевающей Джиневры Фэншо. «Я вела как бы две жизни, — говорит о себе Люси, — воображаемую и реальную, и поскольку первую питали необычайные, волшебные восторги, создаваемые моей фантазией, радости последней могли ограничиться хлебом насущным, постоянной работой и крышей над головой».

Образ Люси Сноу — большое художественное достижение не только в творчестве Ш. Бронте, но и во всей английской литературе середины XIX века. Характер женщины незаурядной, смелой и решительной в своих суждениях и действиях, здравомыслящей и тонко чувствующей показан в его сложности, многогранности, обусловленности жизненными обстоятельствами, показан в его движении и изменении.

Одиночество Люси Сноу обосновывается в романе не только ее сиротством, но и бедностью. Ее родители погибли, у нее нет своего дома,

нет пристанища. Люси вовсе не жалуется на судьбу, да и нет ни одного человека, которому она могла бы довериться. «Я лишилась всякой возможности прибегнуть к помощи других людей и могла рассчитывать лишь на себя». Она рано поняла, что находится «среди бескрайней пустыни, где нет ни песчаных холмов, ни зеленых полей, ни пальмы, ни оазиса». Она научилась сдерживать себя и не проявлять эмоций. Эта привычка рождена в ней сознанием отчужденности от окружающих.

Роман строится таким образом, что уже в первых главах его звучит предсказание об ожидающих Люси жизненных испытаниях и утратах. В доме миссис Бреттон тихую и молчаливую Люси Сноу почти не замечают. Центром внимания становится маленькая Полли, которая своим появлением оттесняет Люси на задний план, всецело завладевая вниманием молодого Бреттона. Впоследствии такая же ситуация повторится, и Полина де Бассомпьер станет невестой доктора Бреттона, вытеснив из его сердца Люси.

Контуры будущего Люси вырисовываются и в трагической истории мисс Марчмонт, узнавшей о смерти своего жениха в тот самый вечер, когда она ждала его приезда, мечтая о счастливом замужестве. В ночь, предшествующую смерти мисс Марчмонт, слушая вой ветра, его «стенания, жалобы и безутешные рыдания», Люси думает о том, что эти «режущие звуки» предвещают смерть. В финале романа, ожидая Поля Эманюеля, который должен стать по возвращении из дальнего путешествия ее мужем, Люси вновь прислушивается к завыванию бури и зловещему вою ветра. «Буря неистовствовала семь дней. Она не успокоилась, пока всю Атлантику не усеяла обломками. Печаль, не терзай доброго сердца, оставь надежду доброму воображению. Пусть нарисует оно картину встречи и долгой счастливой жизни». Однако сделать это воображение бессильно. И хотя о гибели Поля прямо не говорится, из контекста романа ясен трагический исход событий.

Люси имела возможность убедиться в том, что «Судьба тверда, как камень, а Надежда — вымышленный кумир, слепой, бесстрастный, с душой из гранита». Однако к этому выводу героиня Ш. Бронте приходит не сразу.

В то время, когда Люси приняла решение уехать из Англии, она располагала лишь пятнадцатью фунтами, но ее сердце, «напоенное силами юности», несмотря на одиночество и сложность положения, «билося ровно и сильно». Отправляясь в свое первое далекое путешествие, Люси превратилась из наблюдателя жизни в ее участника. С неотвратимой неизбежностью перед ней вставали вопросы: «Какие у меня перспективы?

Куда мне идти? Что мне делать?». Люси искала на них ответа.

Впервые в жизни оказывается она в Лондоне, таком многолюдном, но для нее чужом и пустынном. Вид на огромный город с высоты собора св. Павла рождает в ее душе ощущение свободы и восторга. У Люси появляется уверенность, что она может и должна идти только вперед, что она сможет найти свою дорогу в жизни. Это страстное желание найти свой путь, обрести и утвердить себя во враждебном ей мире поддерживает Люси в борьбе со всеми трудностями. На каждом шагу ей дают понять, что она бедна. Оказавшись в ресторане, Люси ощущает «неуверенность, незащищенность и приниженность». В гостинице ее поражает «прозорливость, с которой слуги и горничные распределяют между гостями удобства пропорционально их достоинству». Люси ясно видит, что каждый, с кем сталкивается ее жизнь, «производит мгновенный расчет» и оценивает ее «с точностью до одного пенса».

В пансионе мадам Бек Люси сталкивается с эгоизмом, наглостью и лживостью богатых воспитанниц. В этом процветающем учебном заведении, как она вскоре убеждается, характеры учениц формируют «под давлением законов рабства». Усилия школы и церкви направлены на то, чтобы вырастить детей «сильными телом, но слабыми духом». Их не столько обучают, сколько развлекают, стремясь сделать «здоровыми, веселыми, невежественными, бездумными и нелюбознательными».

Воплощением меркантилизма и лицемерия предстает перед нами владелица пансиона мадам Бек. Образ этой умной и вероломной, хитрой и бдительной, деловой и бездушной правительницы маленького школьного мирка, в котором, как в капле воды, отражены законы и установления большого и бесчеловечного мира, создан в лучших традициях критического реализма. Здесь ясно ощущается значение для Ш. Бронте великих сатириков Теккерея и Диккенса. Яркая портретная и психологическая характеристика мадам Бек, анализ побудительных причин ее поступков — свидетельство высокого уровня реалистического мастерства писательницы.

Внешняя мягкость мадам Бек скрывает внутреннюю жестокость. Взгляд ясных голубых глаз таит постоянную настороженность. Главной силой, побуждающей ее действовать, являются соображения выгоды. Использованные при описании мадам Бек сравнения говорят о многом: она сравнивается с главой испанской инквизиции Игнасио Лайолой. Девиз мадам Бек — «наблюдение и слежка». Она без колебаний и каких бы то ни было угрызений совести производит ночные осмотры и обыски комнат, заглядывает в кошельки и карманы воспитательниц, снимает слепки с ключей от их чемоданов и рабочих шкатулок. В пансионе процветают

интриги, заговоры и доносы, действует большой штат шпионов и соглядатаев. «Мадам была незаурядной женщиной. Пансион представлял слишком ограниченную сферу для проявления всех ее способностей, ей следовало бы править целым государством или руководить строптивой законодательной ассамблеей, она могла бы совместить должности премьер-министра и полицейского». За жалованье, выплачиваемое Люси, мадам Бек выжимает из нее втрое больше работы, чем это положено.

Однако не только корыстолюбивая мадам Бек, но и «порядочный» Бреттон руководствуется соображениями выгоды. Люси убеждается в том, что желание доктора жениться на Полине подогревается богатством де Бассомпьеров. «Встретить он Полину, столь же юную, нежную и прекрасную, но одну, пешком, в бедном платье, простой работницей или горничной, она не завоевала бы его сердце, не стала бы его кумиром». Да и сама «милая и нежная» Полина способна ценить лишь то, что связано с привычными для нее условиями жизни. Она не может скрыть удивления, узнав, что Люси Сноу — только простая учительница, вынужденная своим трудом зарабатывать себе на жизнь. «Несчастной» считает Люси и Джиневра Фэншо.

Теме становления личности принадлежит в романе «Городок» основное место. «Кто же вы, мисс Сноу?» — спрашивает Джиневра Фэншо, тщетно пытаясь понять свою наставницу. Этот вопрос приобретает в романе принципиальное значение. По каким критериям оценивают человека в буржуазном обществе? Как воспринимают окружающие Люси Сноу? Что они знают о ней? По существу, настоящую Люси Сноу не знает никто. Мадам Бек считает ее синим чулком, мисс Фэншо находит ее ироничной и резкой, мистер Хоум видит в ней только ограниченную и дотошную учительницу, доктор Бреттон легко отказывается от ее дружбы. Личные достоинства Люси не принимаются во внимание, они никого не интересуют, о человеке судят по его состоянию и положению в обществе. И только Поль Эманюель, эксцентричный, язвительный, искренний, понимает и видит Люси такой, какая она есть. Это понимание взаимно, и именно оно становится основой любви.

Люси обретает себя в труде и в любви Поля Эманюеля. Общность их стремлений, живая и деятельная доброта Поля помогают Люси найти «свой истинный дом», в котором она «определяется как личность».

У героини Ш. Бронте свое представление о любви. Люси не верит в любовь, «рожденную лишь красотой», не приемлет благополучия, лишённого духовной близости, ей дорога «Любовь, насмеявшаяся над быстрой и переменчивой Страстью», основанная на дружбе, «закаленная

болью, сплавленная с чистой и прочной привязанностью, отчеканенная постоянством, подчинившаяся уму и его законам». Таким пониманием любви объясняется та отрицательная реакция, которую вызывает у Люси игра знаменитой актрисы, подчинившей все силы своего большого таланта изображению «разрушительной силы страсти» (в данном случае Ш. Бронте имеет в виду французскую актрису Рашель). Не менее критична Люси к творчеству живописцев, создающих портреты роскошных и праздных красавиц или же прославляющих мнимую идиллию буржуазного брака. В этом отношении о многом говорит сцена посещения Люси городской картинной галереи и ее суждения о серии полотен, озаглавленных художником «Жизнь женщины» и представляющих четыре этапа женской судьбы — девичество, замужество, материнство, вдовство. Описанные в данном эпизоде картины ассоциируются с циклами сатирических гравюр английского художника XVIII века У. Хогарта, среди которых особой популярностью и признанием у современников пользовался цикл из шести гравюр «Карьера потаскушки». «Как можно жить рядом с такими женщинами, — восклицает Люси, — лицемерными, унылыми, бесстрастными, безмозглыми ничтожествами».

Рационализм и благоразумие Люси Сноу в чем-то роднят ее с героями произведений английских писателей XVII–XVIII веков. Помимо уже упоминавшегося Христиана из «Пути паломника» Д. Беньяна, здесь следует назвать и знаменитую Памелу С. Ричардсона. Всех их сближает пуританская закваска. Однако героине Ш. Бронте чужд какой бы то ни было фанатизм и проявление нетерпимости ко взглядам и убеждениям окружающих ее людей. Люси критически относится к католицизму с его парадной роскошью обрядов и церемоний, которые она сравнивает с поклонением «золоченому глиняному идолу», но вместе с тем она любит католика Поля Эманюэля и соглашается стать его женой. Бдительно следящий за Люси католический священник Силас замечает, что она не делает особой разницы между течениями внутри протестантизма, а это, по его мнению, доказывает глубокое безразличие к вопросам веры, «ибо тот, кто терпим ко всему, ничему не привержен». По отношению к убежденной протестантке Люси такое суждение не является справедливым, и все же однажды она отправляется на исповедь к католическому священнику. Этот, казалось бы, совершенно неожиданный с ее стороны поступок объясняется в контексте романа крайней степенью отчаяния, до которого она доведена безысходным одиночеством.

В романе «Городок» жизнеутверждающие мотивы переплетаются с трагедийными. Судьба Люси Сноу глубоко драматична. Драматизм

изображенных в романе жизненных ситуаций во многих случаях сближается с трагедией. Судьба несправедлива к Люси. Не случайно Человеческая Справедливость представляется героине Ш. Бронте «краснорожей каргой», бесцеремонно распоряжающейся судьбами людей, не замечающей страждущих, отказывающей в помощи бедным и слабым, но милостиво осыпающей своими подачками сильных, невежественных и дерзких. Люси понимает, что жизнь организована не по законам истинной человеческой справедливости. Ее собственная жизнь — цепь утрат. Погибает Поль, и кольцо одиночества, казалось бы, вновь должно сомкнуться вокруг Люси. Однако теперь этого уже не произойдет. Трагедия преодолевается. Люси Сноу стала другой. Завершающее роман описание бури предвещает не только гибель надежд Люси на счастье, но и продолжение жизни, отданной своему призванию и исполненной деятельного труда.

Сила воздействия романа «Городок» на читателя во многом определяется тоном повествования — доверительно-непосредственным, иронично-насмешливым, печально-горьким. Звучащее в романе авторское «я», сливающееся с голосом повествователя Люси Сноу, рождает ощущение особой достоверности. Героиня романа замечает, что ей дороги книги, «стиль и мысли которых отмечены ясно ощутимой печатью душевных черт автора».

Роман «Городок» относится к числу именно таких произведений. Знакомясь с историей Люси Сноу, мы слышим голос Шарлотты Бронте.

Н. Михальская

Глава I

БРЕТТОН

У моей крестной был славный дом в чистом старинном городке Бреттоне. Дом этот уже несколько поколений принадлежал семье ее мужа, носившего то же имя, что и город, где они родились, — Бреттоны из Бреттона. Я так и не знаю, простое ли это совпадение или же некий далекий их предок был личностью столь замечательной, что его именем назвали место, где он обитал.

В детстве я ездила в Бреттон примерно раза по два в год, и пребывание там всегда приносило мне радость. По душе мне был и сам дом, и его обитатели. Мне нравилось все: просторные уютные комнаты, со вкусом расставленная мебель, чисто вымытые светлые, широкие окна, балкон, выходящий на прелестную старинную улицу, такую тихую и опрятную, что, казалось, на ней всегда царит воскресное праздничное настроение.

Когда в семье из одних взрослых появляется ребенок, ему обычно уделяют много внимания, и миссис Бреттон относилась ко мне со сдержанной, но искренней заботливостью. Миссис Бреттон овдовела еще до того, как я познакомилась с ней; у нее был один сын. Ее муж, врач, умер, когда она была еще молодой, красивой женщиной.

Мне она помнится в годах, но все еще красивой, высокой и стройной. Для англичанки она была несколько смугловата, но на смуглых щеках играл здоровый румянец, а прекрасные черные глаза светились живостью и весельем. Многие сожалели, что миссис Бреттон не передала сыну цвет глаз и волос — у него глаза были голубые и даже в детстве смотрели пронизательно, а цвет длинных волос было трудно определить точно, и лишь освещенные солнцем они становились явно золотистыми. Однако от матери он унаследовал черты лица, прекрасные зубы, рост (вернее, виды на рост в будущем, так как он еще был ребенком) и главное — отменное здоровье, а также то бодрое и ровное расположение духа, которое дороже всякого богатства.

Осенью ** года я гостила в Бреттоне. Крестная взяла на себя труд рассказать мне о тех родственниках, у которых мне предстояло поселиться в ближайшем будущем. Думаю, что она уже тогда ясно предвидела ожидавшие меня события, о характере которых я едва ли догадывалась, но даже смутные подозрения на возможность перемен вызывали во мне

тревогу и страх перед новой обстановкой и чужими людьми.

У крестной я вела жизнь спокойную и безмятежную, подобную мирному течению полноводной реки по равнине. Мои приезды к ней напоминали пребывание Христиана^[5] и Верного у прелестной реки, «на обоих берегах которой круглый год растут зеленые деревья и простираются луга, покрытые лилиями». Жизнь моя не отличалась пленительным разнообразием и волнующими приключениями, но мне нравился этот покой, и, избегая всяческих перемен, я даже любое письмо воспринимала как нарушение привычного хода вещей и предпочитала, чтобы оно вовсе не приходило.

Однажды миссис Бреттон получила письмо, содержание которого явно удивило и несколько обеспокоило ее. Сначала я решила, что оно пришло из дому, и испугалась, нет ли в нем какого-нибудь тревожного сообщения. Однако мне ничего о нем не сказали, и туча, казалось, рассеялась.

На следующий день, вернувшись после долгой прогулки, я обнаружила в своей спальне неожиданные перемены: помимо моей кушетки, стоявшей в занавешенной нише, в углу появилась детская кроватка, застеленная белым покрывалом, а неподалеку от комода красного дерева я увидела крохотный палисандровый сундучок. Замерев на месте, я оглядывала комнату и рассуждала сама с собой: «О чем свидетельствуют эти перемены?». Ответ мог быть только один: «Приезжает еще одна гостья, миссис Бреттон ждет кого-то к себе».

Спустившись к обеду, я все узнала: со мной поселится девочка, дочь друга и дальнего родственника покойного доктора Бреттона. Девочка эта, сообщили мне, недавно потеряла мать, хотя, добавила миссис Бреттон, потеря эта для нее не так велика, как можно было бы ожидать. Миссис Хоум (мать девочки) была весьма миловидной, но легкомысленной и беспечной женщиной; она не заботилась о своей дочери, огорчала и расстраивала мужа. Супруги оказались столь чуждыми друг другу, что последовал разрыв, который произошел по взаимному согласию, то есть без юридической процедуры. Немного спустя миссис Хоум, переутомившись на балу, простудилась, получила горячку и после недолгой болезни умерла. Ее мужа, человека по природе очень чувствительного, да к тому еще потрясенного недостаточно осторожным сообщением о случившемся, видимо, невозможно было разубедить в том, что излишней суровостью, отсутствием терпимости и снисходительности он ускорил ее конец. Он так упорно сосредоточился на этой мысли, что совсем пал духом, и врачи посоветовали отправить его для излечения в путешествие, а миссис Бреттон предложила взять на это время его дочку к себе. «Надеюсь, —

добавила крестная в заключение своего рассказа, — что дитя не унаследует характера своей матери, неумной и суетной кокетки из тех, на которых, показав слабость духа, иногда женятся даже рассудительные мужчины. А ведь, — продолжала она, — мистер Хоум человек по-своему весьма рассудительный, хотя не очень практичный: он увлечен наукой и проводит полжизни в лаборатории, где ставит опыты, чего его неразумная жена не могла ни понять, ни терпеть. По правде говоря, — призналась крестная, — мне бы это тоже не очень нравилось».

В ответ на мои расспросы о мистере Хоуме она сказала, сославшись на покойного мужа, что мистер Хоум пристрастием к науке пошел в своего дядю по материнской линии — французского ученого. Происхождение, по всей видимости, у него смешанное — французско-шотландское, во Франции до сих пор живут его родственники, из которых иные пишут «де» перед своей фамилией и считают себя дворянами.

В девять часов вечера послали слугу встретить дилижанс с нашей маленькой гостьей. В гостиной остались лишь миссис Бреттон и я, так как Джон Грэм Бреттон гостил в деревне у своего однокашника. Крестная читала вечернюю газету, а я шила. Вечер был дождливый, ливень громко барабанил по мостовой, ветер выл сердито и тревожно.

«Бедное дитя! — повторяла время от времени миссис Бреттон, — быть в пути по такой-то погоде! Скорее бы уж она приехала».

Около десяти часов дверной колокольчик оповестил, что Уоррен вернулся. Не успели открыть дверь, как я уже сбежала вниз в переднюю. На полу стоял чемодан и несколько картонок, около них — девушка, видимо, няня, а на нижней ступеньке — Уоррен с завернутым в шаль свертком в руках.

— Это и есть тот самый ребенок? — спросила я.

— Да, мисс.

Я развернула было шаль и попыталась взглянуть на личико девочки, но она быстро отвернулась и уткнулась Уоррену в плечо.

— Пожалуйста, поставьте меня на пол, — слышался тонкий голосок, когда Уоррен отворил дверь в гостиную, — и снимите эту шаль, — продолжала девочка, вытаскивая крошечной ручкой булавку и с какой-то нервической поспешностью сбрасывая с себя неуклюжие одежды. Появившееся из-под них существо попыталось было сложить шаль, но она оказалась слишком тяжелой и громоздкой для этих слабых ручек.

— Пожалуйста, отдайте это Хариет, — распорядилась девочка, — пусть она все уберет.

Затем она повернулась и вперила взгляд в миссис Бреттон.

— Подойди, малютка, — сказала крестная, — подойди, я хочу проверить, не промокла ли ты, идем, ты погреешься у камина.

Девочка не мешкая подошла к ней. Без шали и теплой одежды она выглядела удивительно миниатюрной: фигурка у нее была изящная, будто точеная, и стройная, а походка — легкая. На коленях у крестной она казалась настоящей куклой, и сходство это особенно подчеркивали нежная, почти прозрачная шейка и шелковистые кудри.

Согревая ей ножки и ручки, миссис Бреттон приветливо говорила с ней, и ребенок, сначала глядевший на нее серьезно и пристально, начал вскоре улыбаться. Вообще-то миссис Бреттон не отличалась ласковостью, даже со своим страстно любимым сыном она чаще бывала строга, чем нежна, но когда маленькая гостья улыбнулась, она поцеловала ее и спросила:

— Как тебя зовут, крошка?

— Мисси.

— А еще как?

— Папа зовет меня Полли.

— А Полли не хотела бы остаться у меня?

— Не навсегда, только пока папа вернется домой. Он уехал. — И она грустно покачала головой.

— Он непременно вернется к Полли или пришлет за ней.

— Правда, сударыня? Вы уверены, что он вернется?

— Конечно.

— А Хариет говорит, что если он и вернется, то очень не скоро. Ведь он болен.

У нее на глазах блеснули слезы. Она освободила ручку, которую держала миссис Бреттон, и сделала попытку соскользнуть с ее колен; почувствовав, что ее удерживают, она сказала:

— Пожалуйста, пустите меня, я посижу на скамейке.

Ей разрешили спуститься на пол, и она, взяв скамеечку для ног, отнесла ее в темный угол и села там.

Хотя миссис Бреттон отличалась властным характером, а в делах серьезных нередко вообще не допускала возражений, в мелочах она обычно проявляла терпимость; вот и в этом случае она разрешила девочке поступить, как ей хочется. Она сказала мне: «Не обращай сейчас на нее внимания». Но я не могла сдержать себя и наблюдала, как Полли оперлась локотком о колено и положила головку на руку, а потом вытащила крохотный носовой платок из кармашка своей кукольной юбочки, приложила его к глазам и заплакала. Обычно дети, испытывая горе или

боль, плачут громко, никого не стесняясь, но этот ребенок плакал так тихо, что о его состоянии можно было догадаться лишь по едва слышным всхлипываниям. Миссис Бреттон вообще ничего не заметила, что было весьма кстати. Немного погодя из угла послышался голос:

— Можно позвонить, чтобы пришла Хариет?

Я позвонила, и пришла няня.

— Хариет, мне пора спать, — сказала маленькая хозяйка, — узнай, где моя кровать.

Хариет сообщила ей, что уже осведомлена об этом.

— Спроси, будешь ли ты спать со мной в комнате.

— Нет, мисси, — ответила няня, — вы будете спать в одной комнате с этой барышней. — И она указала на меня.

Мисси не встала с места, но отыскиала меня глазами. Несколько минут она молча рассматривала меня, а потом вышла из своего угла.

— Доброй ночи, сударыня, — обратилась она к миссис Бреттон. Мимо меня она прошла без единого слова.

— Спокойной ночи, Полли, — сказала я.

— Ведь мы спим в одной комнате, зачем же прощаться на ночь, последовал ответ, и девочка удалилась из гостиной. Мы услышали, как Хариет предложила отнести ее наверх на руках. «Не нужно, не нужно», — прозвучал ответ, после чего послышались усталые детские шажки по лестнице.

Через час, ложась в постель, я обнаружила, что Полли еще не спит. Она подоткнула подушки так, чтобы удобно было сидеть, и с недетским самообладанием как-то по-старомодному восседала на простынях, вытянув сжатые в кулачок руки поверх одеяла. Я воздержалась от разговора с ней, пока не настало время гасить свет, тогда я посоветовала ей лечь.

— Попозже, — был ответ.

— Но ты простудишься.

Она сняла со стула, стоявшего у кровати, какую-то крохотную одежонку и накинула ее на плечи. Я не стала возражать. Прислушиваясь к ней в темноте, я убедилась, что она все еще плачет — сдержанно, почти беззвучно.

Проснувшись утром, я услышала звук льющейся воды. Подумать только! Она, оказывается, уже встала, взобралась на скамеечку перед умывальником и с огромным трудом наклонила кувшин (поднять его у нее сил не хватало), чтобы вылить из него воду в таз. Забавно было наблюдать, как эта малышка бесшумно и деловито умывается и одевается. Она явно не привыкла сама совершать свой туалет — все эти пуговицы, шнурки и

крючки были для нее серьезным препятствием, которое она преодолевала с завидным упорством. Затем она сложила ночную рубашечку и тщательно разгладила покрывало на постели. Удалившись в угол комнаты, она притихла за краем гардины. Я приподнялась, чтобы посмотреть, чем она занята. Стоя на коленях и подперев голову руками, она молилась.

В дверь постучала няня. Девочка вскочила.

— Я уже одета, Хариет, — сказала она. — Я сама оделась, но, по моему, не все у меня в порядке. Поправьте что надо!

— Зачем вы сами одевались, барышня?

— Тс-с! Тише, Хариет, не разбудите эту девочку (то есть меня, я лежала с закрытыми глазами). Я оделась сама, чтобы обходиться без вас, когда вы уедете.

— А вы хотите, чтобы я уехала?

— Я много раз, когда вы сердились, хотела, чтобы вы уехали, но сейчас не хочу. Пожалуйста, поправьте мне пояс и пригладьте волосы.

— Но пояс у вас в порядке. Какая же вы привередливая!

— Нет, пояс нужно перевязать. Ну, пожалуйста.

— Хорошо, хорошо. Когда я уеду, попросите эту барышню помогать вам одеваться.

— Ни в коем случае.

— Почему? Она такая милая. Надеюсь, вы будете к ней хорошо относиться, барышня, и не станете дуться и важничать.

— Ни за что она не будет одевать меня.

— Какая же вы смешная!

— Вы неровно причесываете меня, Хариет. Пробор будет кривой.

— Вам не угодишь. Ну, так хорошо?

— Да, неплохо. А теперь куда мне следует идти?

— Я отведу вас в столовую.

— Пойдемте.

Они направились к двери, но девочка вдруг остановилась.

— Ах, Хариет, если бы это был папин дом! Я ведь совсем не знаю этих людей.

— Мисси, будьте хорошей девочкой.

— Я хорошая, но вот здесь мне больно, — сказала она, положив ручку на сердце, и со стоном воскликнула: — Папа, папа!

Я приподнялась на постели, чтобы увидеть эту сцену.

— Скажите барышне «доброе утро», — распорядилась Хариет.

Девочка сказала: «Доброе утро», — и вслед за няней вышла из комнаты. В тот же день Хариет уехала в гости к своим друзьям, которые

жили неподалеку.

Спустившись к завтраку, я увидела, что Полина (девочка называла себя Полли, но ее полное имя было Полина Мэри) сидит за столом рядом с миссис Бреттон. Перед ней стоит кружка молока, в руке, неподвижно лежащей на скатерти, она держит кусочек хлеба и ничего не ест.

— Не знаю, как успокоить эту крошку, — обратилась ко мне миссис Бреттон, — она в рот ничего не берет, а по лицу ее видно, что она всю ночь не сомкнула глаз.

Я выразила надежду, что время и доброе отношение сделают свое дело.

— Если бы она привязалась к кому-нибудь у нас в доме, то быстро бы успокоилась, а до тех пор ничего не изменится, — заметила миссис Бреттон.

Глава II

ПОЛИНА

Прошло несколько дней, но не похоже было, чтобы девочка почувствовала к кому-нибудь расположение. Не то чтобы она особенно капризничала или своевольничала, скорее она была послушна, но столь безутешное дитя встречается очень редко. Она отдавалась грусти вся целиком, как это свойственно только взрослым людям; даже на изборожденном морщинами лице взрослого изгнанника из Европы, тоскующего где-то на другом краю света по своему дому, невозможно обнаружить столь явных признаков ностальгии, как на этом детском личике. Казалось, она на глазах стареет и превращается в какое-то неземное существо. Мне, Люси Сноу, неведома такая напасть, как пылкое и неукротимое воображение, но каждый раз, когда я входила в комнату и видела, как она одиноко сидит в углу, положив голову на крохотную ручку, комната эта представлялась мне населенной не людьми, а призраками.

Когда же я просыпалась лунной ночью и взгляд мой падал на резко очерченную фигурку в белом, когда я следила, как она, стоя на коленях в постели, молилась с истовостью ревностного католика или методиста,^[6] меня начинали одолевать мысли, которые, хотя сейчас мне уже трудно передать их с точностью, едва ли были более разумными и здоровыми, чем мысли, терзавшие мозг этого ребенка.

Она так тихо шептала молитвы, что мне редко удавалось уловить хоть слово, а иногда она молилась молча; в тех редких случаях, когда до меня все же долетали отдельные фразы, в них слышались одни и те же слова: «Папа, милый папа!»

Думаю, что эта девочка принадлежала к натурам, одержимым одной идеей. Признаюсь, я всегда считала склонность к мономании самой мучительной из всех присущих роду людскому.

Можно лишь предполагать, к чему могли бы привести все эти тревожные переживания, но ход событий внезапно изменился.

В один прекрасный день миссис Бреттон лаской уговорила девочку покинуть ее обычное место в углу, усадила на диван у окна и, чтобы занять ее внимание, велела наблюдать за прохожими и считать, сколько женщин проходит по улице за некий промежуток времени. Полли сидела с равнодушным видом, изредка поглядывая в окно, и прохожих не считала,

как вдруг я, внимательно наблюдая за ней, увидела, что взгляд ее совершенно преобразился. Эти так называемые чувствительные натуры, способные на непредсказуемые и рискованные поступки, нередко кажутся странными тем, кого более спокойный темперамент удерживает от участия в их несуразных выходках. Ее неподвижный мрачный взор мгновенно оживился, глаза загорелись, наморщенный лобик разгладился, безучастное и печальное лицо осветилось и повеселело, грусть сменилась нетерпением и страстной надеждой.

— Наконец-то! — воскликнула она.

В мгновение ока вылетела она, подобно птице или стреле, из комнаты. Не знаю, как ей удалось отворить парадную дверь, возможно, она была открыта или там оказался Уоррен и исполнил ее, по всей вероятности, достаточно запальчивое приказание. Спокойно глядя в окно, я увидела, как она в своем черном платье и отделанном тесьмой фартучке (она питала отвращение к детским передникам) мчится по улице. Я было отвернулась от окна, чтобы сообщить миссис Бреттон, что Полли в безумном состоянии выскочила на улицу и что ее необходимо тотчас же догнать, как заметила, что кто-то подхватил на руки и понес девочку, скрыв ее от моего спокойного взора и от удивленных взглядов прохожих. Этот добрый поступок совершил какой-то джентльмен, и теперь, накрыв ее своим плащом, он шел к дому, откуда, как он приметил, она выбежала.

Я решила, что он оставит ее на попечении слуги, а сам удалится, но он, немного помедлив внизу, поднялся по лестнице.

Прием, оказанный ему миссис Бреттон, свидетельствовал о том, что они знакомы: она узнала его и пошла ему навстречу, причем было заметно, что она польщена, удивлена и застигнута врасплох. В глазах у нее даже мелькнула укоризна, и отвечая скорее на этот взгляд, чем на произнесенные ею слова, он сказал:

— Я не мог уехать из страны, не увидев своими глазами, как она устроилась здесь.

— Но вы растроживаете ее.

— Надеюсь, что нет. Ну, как живет папина Полли?

С этим вопросом он обратился к Полли, сев на стул и осторожно поставив ее на пол перед собой.

— А как живет ее папа? — ответила она, прислонившись к его колену и глядя ему в лицо.

Сцена эта не была ни шумной, ни многословной, за что я испытывала благодарность; но чувства были слишком сдержанны — не бурлили и не выплескивались через край — и потому действовали особенно угнетающе.

Обычно ощущение нелепости происходящего или презрение к нему приносят облегчение уставшему от слишком пылких и необузданных излияний свидетелю; мне же всегда тяжело наблюдать, как движение души сдается без борьбы — раб-исполин под игом рассудка.

У мистера Хоума было строгое или, вернее, суровое лицо с резкими чертами: бугристый лоб, резко очерченные высокие скулы. Но сейчас это типично шотландское лицо было взволнованно, а взгляд тревожен и печален. Северный акцент, отличавший его речь, удивительно гармонировал с его внешностью. У него был одновременно гордый и непритязательный вид.

Он положил руку на поднятую головку девочки, и она сказала:

— Поцелуйте Полли.

Он поцеловал ее. Как мне хотелось, чтобы она истерически крикнула, — я бы тогда испытала облегчение и успокоение. Но она вела себя удивительно тихо; казалось, она получила все, решительно все, что ей было нужно, и достигла теперь полного блаженства. Ни выражением, ни чертами лица она не была похожа на отца, но принадлежала она к той же породе: он вдохнул в нее свою душу и свой разум.

Несомненно, мистер Хоум умел, как и положено мужчине, владеть собой, но в некоторых обстоятельствах и его душа тайно преисполнялась волнением.

— Полли, — сказал он, глядя сверху вниз на своего ребенка, — пойди в переднюю, там на стуле лежит мое пальто, достань из кармана носовой платок и принеси мне.

Девочка не мешкая выполнила приказание. Когда она вернулась в комнату, ее отец разговаривал с миссис Бреттон, и Полли с платком в руке остановилась в ожидании. Ее стройная, изящная фигурка у колен отца являла собой трогательное зрелище. Увидев, что он не заметил ее возвращения и продолжает разговаривать, она взяла его за руку, отогнула пальцы, чему он не сопротивлялся, положила ему на ладонь платок и по одному сомкнула вновь его пальцы. Хотя казалось, что отец все еще не замечает ее присутствия, он почти сразу посадил ее к себе на колени. Она прижалась к нему, и несмотря на то, что они в течение целого часа не перемолвились и словом и не посмотрели друг на друга, я думаю, им было хорошо.

За чаем все движения и поступки этой малютки, как всегда, привлекали общее внимание.

Сначала она отдала распоряжения Уоррену, когда он расставлял стулья:

— Папин стул поставьте сюда, а мой — между ним и креслом миссис

Бреттон.

Она заняла свое место и поманила отца рукой.

— Папа, сядьте около меня, как дома.

Взяв его чашку с чаем, она размешала сахар, добавила сливок и вновь сказала:

— Я ведь всегда делала это дома, папа; ни у кого, даже у вас, это так хорошо не получалось.

Все время, пока мы сидели за столом, она не переставала заботиться об отце, как ни смешно это выглядело. Щипцы для сахара оказались слишком широкими, и ей приходилось держать их обеими ручками; ей не хватало сил и ловкости, чтобы справляться с тяжелым серебряным сливочником, тарелками с бутербродами и даже чашкой с блюдцем, но она все это поднимала, передавала, и при этом ей удалось ничего не разбить. Откровенно говоря, мне она казалась суматошной хлопотуньей, но отец ее, слепой, как все родители, очевидно, с большим удовольствием предоставлял ей возможность ухаживать за ним и, судя по всему, даже испытывал наслаждение, принимая ее услуги.

— Она — моя единственная отрада! — не сумев сдержаться, сказал он миссис Бреттон. Поскольку у этой леди тоже была своя «отрада» — сын, казавшийся ей истинным совершенством, который ныне находился в отсутствии, такое проявление слабости со стороны мистера Хоума было ей понятно.

Эта вторая «отрада» появилась на сцене в тот же вечер. Я знала, что сын миссис Бреттон должен вернуться в тот день, и видела, что она с самого утра находится в состоянии напряженного ожидания. Когда мы, после чая, сидели у камина, прибыл Грэм. Он не просто прибыл, а, скорее, ворвался в наш мирный кружок, потому что его приезд, естественно, вызвал суматоху, а так как мистер Грэм был смертельно голоден, его нужно было немедленно накормить. С мистером Хоумом они встретились, как давние знакомые, а на Полли он сначала не обратил никакого внимания.

Подкрепившись и ответив на многочисленные вопросы матери, он перешел от стола к камину. Он сел так, что напротив него оказался мистер Хоум, а у локтя отца пристроился ребенок. Называя Полли ребенком, я употребляю слово неуместное, даже непригодное для этого сдержанного миниатюрного создания в отделанном белой манишкой траурном платье, впору большой кукле. Девочка сидела на высоком стульчике около полки, на которой стояла игрушечная рабочая шкатулка из белого лакированного дерева, и держала в руке лоскуток, стараясь его подрубить, чтобы сделать носовой платок; она настойчиво, но с трудом протыкала материю иголкой,

казавшейся чуть ли не спицей у нее в пальчиках, то и дело укалывала их и оставляла на батисте цепочку мелких следов крови; когда непослушная игла глубже вонзалась ей в руку, она вздрагивала, но не издавала ни звука и продолжала работать прилежно, сосредоточенно, совсем как взрослая.

В те времена Грэм был красивым шестнадцатилетним юношей с не внушающим доверия лицом. Я характеризую его лицо как не внушающее доверия не потому, что он действительно обладал вероломной натурой, а потому, что, как мне кажется, такой эпитет весьма уместен для описания чисто кельтского (а не англо-сакского) типа красоты: волнистые светло-каштановые волосы, подвижное и симметричное лицо, неизменная улыбка, не лишенная обаяния и вкрадчивости (не в плохом смысле этого слова). В общем, тогда это был избалованный капризный юноша.

— Мама, — сказал он, молча оглядев миниатюрную фигурку и воспользовавшись тем, что мистер Хоум вышел из комнаты и дал таким образом ему возможность освободиться от той полунасмешливой застенчивости, которая заменяла ему истинную скромность.

— Мама, здесь находится юная леди, которой я не был представлен.

— Ты, наверное, имеешь в виду дочку мистера Хоума? — спросила мать.

— Несомненно, сударыня, — ответил сын, — мне кажется, вы употребили весьма непочтительное выражение: о столь благородной особе я бы посмел сказать только «мисс Хоум», а не «дочка».

— Послушай, Грэм, я запрещаю тебе дразнить ребенка. Не обольщайся, я не допущу, чтобы ты сделал девочку мишенью своих насмешек.

— Мисс Хоум, — продолжал Грэм, несмотря на замечание матери, — достоин ли я чести представиться вам, поскольку никто, видимо, не намерен оказать нам с вами эту услугу? Ваш покорный слуга — Джон Грэм Бреттон.

Девочка взглянула на него, а он встал и весьма почтительно ей поклонился. Она неторопливо положила на место наперсток, ножницы и лоскуток, осторожно спустилась с высокого сиденья и, с невыразимой серьезностью сделав реверанс, сказала:

— Здравствуйте, как поживаете?

— Имею честь сообщить вам, что нахожусь в полном здравии, лишь несколько утомился от стремительного путешествия. Надеюсь, сударыня, и вы здоровы?

— Я чувствую себя удлет-удовлет-творительно, — последовал изысканный ответ маленькой леди, после чего она попыталась было занять

прежнее положение, но, сообразив, что для этого придется неловко карабкаться наверх, а такого нарушения приличий она допустить не могла, как и мысли о чьей-либо помощи в присутствии постороннего молодого джентльмена, она предпочла усесться на низкую скамеечку, к которой Грэм тотчас же придвинул свой стул.

— Надеюсь, сударыня, что нынешняя ваша резиденция, дом моей матери, является достаточно удобным для вас местом пребывания?

— Не особ-не-особенно. Я хочу жить дома.

— Естественное и похвальное желание, сударыня, однако я приложу все усилия, чтобы воспрепятствовать ему. Я рассчитываю, что хоть вы немного позабавите и развлечете меня, маме и мисс Сноу не удалось подарить мне столь редкого удовольствия.

— Я скоро уеду с папой, я не задержусь у вашей матери надолго.

— Нет, я уверен, вы останетесь со мной. У меня есть пони, на котором вы будете кататься, и уйма книг с картинками.

— А вы что, будете теперь здесь жить?

— Конечно. Вам это приятно? Я вам нравлюсь?

— Нет.

— Почему?

— Вы какой-то странный.

— Разве у меня странное лицо?

— И лицо, и все. Да и волосы у вас длинные и рыжие.

— Простите, но они каштановые. Мама и все ее друзья говорят, что они каштановые или золотистые. Но даже с «длинными рыжими волосами» (он с каким-то ликованием потрянул копной, как он сам отлично знал, именно рыжеватых волос, этой львиной гривой он гордился) я вряд ли выгляжу более странным, чем вы, ваша милость.

— По-вашему, я странная?

— Безусловно.

Выдержав некоторую паузу, она сказала:

— Я, пожалуй, пойду спать.

— Такой малышке следовало бы давно уже быть в постели, но ты, вероятно, ждала меня.

— Ничего подобного.

— Ну конечно, ты хотела получить удовольствие от моего общества. Ты знала, что я должен вернуться, и не хотела пропустить возможность взглянуть на меня.

— Я сидела здесь ради папы, а не ради вас.

— Прекрасно, мисс Хоум, но я намерен стать вашим любимцем,

которого, смею надеяться, вы вскоре предпочтете даже папе.

Она пожелала нам с миссис Бреттон спокойной ночи. Казалось, она колеблется, достоин ли Грэм подобного внимания с ее стороны, как вдруг он схватил ее одной рукой и поднял высоко над головой. Она увидела себя в зеркале над камином. Внезапность, бесцеремонность, дерзость этого поступка были беспримерны.

— Как вам не стыдно, мистер Грэм! — воскликнула она с негодованием. Отпустите меня сейчас же!

Уже стоя на полу, она добавила:

— Интересно, что вы подумали бы обо мне, если бы я так же схватила вас рукой (тут она воздела свою мощную длань) за шиворот, как Уоррен котенка.

И с этими словами она удалилась.

Глава III

ТОВАРИЩИ ДЕТСКИХ ИГР

Мистер Хоум пробыл в доме миссис Бреттон два дня. За это время его ни разу не удалось убедить выйти на улицу: весь день он сидел у камина и либо молчал, либо переговаривался с миссис Бреттон, которая, надо признать, вела беседу с ним в том духе, в каком следует говорить с человеком, находящимся в тяжелом душевном состоянии, — без излишнего участия, но и не чересчур равнодушно; поскольку миссис Бреттон была значительно старше мистера Хоума, она могла позволить себе с ним прочувствованный, даже материнский тон.

Что же касается Полины, то она была одновременно счастлива и молчалива, деловита и настороженна. Отец часто сажал ее к себе на колени, и она тихо сидела, пока не ощущала или не воображала, что отец устал, и тогда говорила:

— Папа, пустите, вам тяжело, вы устанете.

И освободив отца от непомерного груза, она, усевшись на ковре или стоя, прижавшись к «папиным» ногам, вновь обращалась к белой шкатулочке и носовому платку, усеянному красными пятнышками. Этому платку, по-видимому, было назначено стать подарком папе, и его нужно было закончить до отъезда мистера Хоума, что требовало от белошвейки упорства и трудолюбия (за полчаса она успевала сделать примерно двадцать стежков).

Вечер, последовавший за возвращением Грэма под материнский кров (дни он проводил в школе), был более оживленным, чем предыдущие, чему немало способствовали сцены, происходившие между ним и мисс Полиной.

После той обиды, которую он нанес ей накануне, Полли держалась с ним отчужденно и высокомерно, когда он обращался к ней, она каждый раз говорила: «Я не могу тратить время на вас, у меня есть другие заботы». Если он умолял ее сказать, какие именно, она отвечала: «Дела».

Грэм попытался привлечь ее внимание, открыв свое бюро и выставив ей на обозрение его пестрое содержимое: печати, яркие восковые палочки, перочинные ножи и целую кучу эстампов — среди которых были и ярко раскрашенные, — все, что ему удалось накопить. Нельзя сказать, что искушение осталось втуне: она украдкой поднимала глаза от своего

рукоделия, то и дело посматривая на письменный стол, где было разбросано множество картинок. Со стола на пол слетела гравюрка, на которой был изображен ребенок, играющий с бленимским спаниелем.

— Какая миленькая собачка! — с восторгом произнесла она.

Грэм намеренно не обратил на это никакого внимания. Немного погодя девочка украдкой выбралась из своего уголка и подошла поближе к столу, чтобы рассмотреть сокровище. Большие глаза и длинные уши собаки, шляпа с перьями на ребенке оказались непреодолимым соблазном.

— Хорошая картинка! — таков был благоприятный отзыв.

— Ну, пожалуйста, можешь взять себе, — сказал Грэм.

Она, видимо, заколебалась. Очень сильно было желание получить картинку, но взять ее означало унижить чувство собственного достоинства. Нет. Она положила картинку и отвернулась.

— Ты не берешь ее, Полли?

— Спасибо, но я, пожалуй, не возьму.

— Сказать, что я с ней сделаю, если ты откажешься ее взять?

Она повернула к нему голову.

— Разрежу на полоски, свечи зажигать.

— Нет!

— Именно это я сделаю.

— Пожалуйста, не надо.

Услышав мольбу в ее голосе, Грэм с совершенно безжалостным видом вынул из рабочей шкатулки матери ножницы.

— Итак, приступим, — сказал он и угрожающе взмахнул ножницами. Разрежем голову Фидо и носик Гарри.

— Ой, не надо, не надо!

— Тогда подойди ко мне. Быстрее, быстрее, а то будет поздно.

Она помедлила, но сдалась.

— Ну, теперь ты возьмешь ее? — спросил он, когда она остановилась около него.

— Да, пожалуй.

— Но тебе придется мне заплатить.

— Сколько?

— Один поцелуй.

— Сначала дайте картинку.

Сказав это, Полли довольно недоверчиво взглянула на него. Грэм отдал ей картинку, она же бросилась прочь, подобно преследуемому кредитору, и нашла убежище на коленях отца. Грэм вскочил, изображая ярость, и последовал за ней. Она спрятала лицо на груди мистера Хоума.

— Папочка, папочка, велите ему уйти!

— Я не уйду, — сказал Грэм.

Не поворачивая головы, она протянула руку, чтобы отстранить его.

— Тогда я поцелую ручку, — сказал он, но ручка превратилась в маленький кулачок, которым девочка стала отталкивать Грэма.

Грэм, в хитрости не уступавший этой девочке, удалился с совершенно потрясенным видом. Он бросился на кушетку и, уткнувшись головой в подушку, принял позу тяжелобольного. Полли, заметив, что он затих, украдкой взглянула на него: он лежал, прикрыв глаза и лицо руками; тогда она повернулась к нему, продолжая сидеть у отца на коленях, и стала напряженно и испуганно всматриваться в него. Грэм издал стон.

— Папа, что с ним? — спросила девочка шепотом.

— Спроси у него самого, Полли, — ответил мистер Хоум.

— Ему больно? (Снова стон.)

— Судя по стонам — да, — заметил мистер Хоум.

— Мама, — слабым голосом произнес Грэм. — Мне кажется, нужно послать за доктором. О, бедный мой глаз! (Снова молчание, прерываемое лишь вздохами Грэма.) Если мне суждено ослепнуть... — изрек он.

Этого его мучительница перенести не могла. Она тотчас же оказалась около него.

— Дайте я посмотрю ваш глаз, я вовсе не собиралась попасть в него, я хотела ударить по губам, я не предполагала, что ударю так ужасно сильно.

Ответом ей было молчание. Она изменилась в лице: «Простите меня, простите!»

Засим последовала вспышка отчаяния, трепет и слезы.

— Перестань терзать ребенка, Грэм, — распорядилась миссис Бреттон.

— Детка, это все вздор, — воскликнул мистер Хоум.

Тут Грэм поднял ее в воздух, а она опять стала бороться с ним и, вцепившись в его львиную гриву, кричала:

— Самый скверный, грубый, злой, лживый человек на свете!

В утро своего отъезда мистер Хоум уединился с дочерью в оконной нише для конфиденциального разговора, часть которого я слышала.

— Папа, а нельзя мне сложить вещи и уехать с вами?

Он отрицательно покачал головой.

— Я буду вам мешать?

— Да, Полли.

— Потому что я маленькая?

— Потому что ты маленькая и хрупкая. Путешествовать могут лишь взрослые и сильные люди. Только не грусти, деточка, у меня от этого

разрывается сердце. Папа скоро вернется к своей Полли.

— Но я, по правде, почти совсем не грустная.

— Ведь Полли было бы жалко, чтоб папа страдал?

— Еще как.

— Тогда Полли не должна ни унывать, ни плакать при прощании, ни грустить после папиного отъезда. Может она это выполнить?

— Она постарается.

— Надеюсь, так и будет. Тогда прощай. Мне пора ехать.

— Как, уже? Сейчас?

— Сию минуту.

Она сжала дрожащие губы. Отец всхлипывал, а девочка, как я заметила, сумела сдержать слезы. Поставив ее на пол, он попрощался за руку со всеми присутствующими и отбыл.

Когда хлопнула парадная дверь, Полли с криком «Папа!» упала на колени в кресло.

Ее тихие стенания продолжались долго и звучали как евангельское «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?». Я заметила, что еще несколько минут она испытывала невыносимые душевные муки. За эти короткие мгновения детства она перенесла более тяжкие страдания, чем многие взрослые, ибо такова ее натура, и если жизнь ее будет долгой, ей суждено не раз пережить подобные мгновения. Все молчали. Миссис Бреттон прослезилась под влиянием материнских чувств. Грэм, который что-то писал, поднял глаза и взглянул на нее. Я, Люси Сноу, оставалась спокойной.

Девочка, которую никто не трогал, сама сделала то, чего не мог бы совершить никто другой, — превозмогла невыносимые муки, а затем, насколько было в ее силах, заглушила их в себе. В тот день и на следующий она ни от кого не принимала знаков сочувствия, а потом стала к ним терпимей.

Вечером третьего дня, когда она, осунувшаяся и молчаливая, сидела на полу, вошел Грэм и, не говоря ни слова, бережно взял ее на руки. На этот раз она не сопротивлялась, а, наоборот, положила головку ему на плечо и через несколько минут уснула; он отнес ее наверх, в спальню. Меня не удивило, когда на следующее утро, проснувшись, она сразу спросила: «А где мистер Грэм?».

Случилось так, что именно в это утро Грэм не явился к завтраку — ему нужно было сделать какие-то упражнения к первому уроку, и он попросил мать прислать ему чашку чая в кабинет. Полли выразила желание сделать это, она всегда стремилась чем-нибудь заняться или кому-нибудь

помочь. Ей доверили чашку, так как, при всей своей подвижности, она отличалась аккуратностью. Поскольку дверь в кабинет была напротив столовой, через коридор, я все видела.

— Что вы делаете? — спросила она, остановившись на пороге кабинета.

— Пишу, — ответил Грэм.

— А почему вы не завтракаете с мамой?

— Я очень занят.

— Вы хотите завтракать?

— Конечно.

— Тогда, пожалуйста.

Она поставила чашку на пол у двери, как тюремщик, принесший узнику в камеру кувшин воды, и удалилась. Потом она снова вернулась.

— А что вы будете есть?

— Хочу сладенького. Будь доброй девочкой, принеси мне чего-нибудь повкуснее.

Она подошла к миссис Бреттон.

— Пожалуйста, сударыня, дайте для вашего мальчика что-нибудь вкусное.

— Выбери сама, Полли. Ну, что дать моему мальчику?

Она отобрала понемногу от всех лучших блюд на столе, а потом вернулась и шепотом попросила мармеладу, которого к завтраку не подали. Однако она получила его (миссис Бреттон для этой пары ничего не жалела), и мы вскоре слышали, как Грэм превозносит ее до небес, обещая ей, что когда у него будет свой дом, она станет его домоправительницей, а если проявит кулинарные таланты, то — кухаркой. Так как она долго не возвращалась, я пошла посмотреть, что там происходит, и обнаружила, что они с Грэмом завтракают Tête-à-tête.^[7] — Она стоит у его локтя и делит с ним его порцию. Правда, она деликатно отказалась от мармелада, вероятно, чтобы я не заподозрила, что она добивалась его не только для Грэма, но и для себя. Она вообще отличалась щепетильностью и тонкостью.

Вспыхнувшая таким образом дружба не оказалась скоропреходящей, напротив, время и дальнейшие события способствовали ее упрочению. Хотя возраст, пол, интересы и т. п. должны были бы препятствовать их общению, они всегда находили тему для разговоров. Я заметила, что Полли полностью раскрывала особенности своего характера только перед Грэмом. Привыкнув к новому дому, она стала подчиняться миссис Бреттон с большей готовностью, которая сводилась, правда, к тому, что она целыми днями сидела на скамеечке у ног миссис Бреттон, выполняла порученную

ей работу, вышивала или рисовала карандашом на грифельной доске, но при этом никак не проявляла своеобразия своей натуры. Я даже не наблюдала за ней в таких случаях, потому что она переставала быть интересной. Но как только стук парадной двери извещал о возвращении Грэма и наступлении вечера, в ней совершалась резкая перемена: в одно мгновение она оказывалась на верхней площадке лестницы и приветствовала Грэма замечанием или угрозой.

— Опять ты не вытер как следует ноги! Я скажу твоей маме.

— А, хлопотунья! Ты уже здесь?

— Да, и ты до меня не дотянешься. Я выше тебя, — она просовывала головку между прутьев перил, так как еще не могла дотянуться до них.

— Полли!

— Мой мальчик! (Это обращение к нему она заимствовала у миссис Бреттон.)

— Я погибаю от усталости, — заявлял Грэм, прислоняясь к стене в мнимом изнеможении. — Мистер Дигби (директор школы) замучил меня работой. Спустись вниз и помоги мне нести книги.

— Знаю, ты хитришь!

— Вовсе нет, Полли, это истинная правда. Меня просто ноги не держат. Иди сюда.

— У тебя глаза равнодушные, как у кошки, но я знаю, ты готов к прыжку.

— К прыжку? Ничего подобного, я на это неспособен. Иди сюда.

— Я спущусь, если ты пообещаешь, что не тронешь меня, не схватишь, не станешь крутить в воздухе.

— Я? Ни за что в жизни (падает в кресло).

— Тогда положи книги на нижнюю ступеньку, а сам отойди на три ярда.

— Он выполнял ее приказания, а она с опаской спускалась по лестнице, не сводя глаз с переутомленного Грэма. Ее приближение, разумеется, пробуждало в нем новые силы, тут же поднималась шумная возня. Иногда она сердилась, иногда относилась к этому спокойно, и нам слышно было, как она, ведя его вверх по лестнице, говорила:

— А теперь, мой мальчик, пойдем и ты выпьешь чаю, я уверена, что ты проголодался.

Забавно было смотреть, как она сидит рядом с Грэмом, пока он ест. В его отсутствие она всегда вела себя очень тихо, но при нем становилась до назойливости заботливой и хлопотливой хозяйшкой. Нередко мне хотелось, чтобы в такие моменты она немного утихомирилась, но она

целиком посвящала себя ему — все ей казалось, что она недостаточно его опекает, она потчевала его, словно турецкого султана. Она постепенно выставляла перед ним тарелки с разными яствами, и когда ему уже нечего было больше желать, она вспоминала еще о чем-нибудь и шепотом говорила миссис Бреттон:

«Сударыня, может быть, вашему сыну хочется пирога, знаете, сладкого пирога, который стоит вот там» (указывая на буфет). Обычно миссис Бреттон была против того, чтобы к чаю подавали сладкий пирог, но Полли продолжала настаивать: «Один кусочек, только ему, ведь он ходит в школу, нам с мисс Сноу совсем не нужно такого угощения, а ему так хочется».

Грэму действительно очень хотелось пирога, и он почти всегда получал его. Нужно отдать ему должное — он бы с удовольствием поделился со своей благодетельницей полученной наградой, но она этого не допускала, а если он настаивал — огорчалась на весь вечер. Для нее высшим даром был не кусок пирога, а возможность стоять рядом с ним и полностью владеть его вниманием и беседой.

Она удивительно легко умела приспособиться к разговорам на темы, которые интересовали его. Можно было подумать, что у этого ребенка нет собственных мыслей или образа жизни, что ее жизнь, поступки и все существо должны непременно растворяться в другом человеке: теперь, когда около нее не было отца, она приникла к Грэму и, казалось, жила его чувствами и его жизнью. Она мгновенно выучила имена всех его одноклассников, запомнила наизусть характеристики, которые он им давал, для чего ей достаточно было один раз выслушать описание каждого. Она всегда угадывала, о ком идет речь, и могла целый вечер разговаривать о совершенно неизвестных ей людях, отчетливо представляя себе их взгляды, манеры и нрав. Иных она даже научилась передразнивать, например, помощник учителя, к коему юный Бреттон питал отвращение, видимо, отличался странностями, она мгновенно их уловила из рассказа Грэма и изображала к совершенному удовольствию последнего. Однако миссис Бреттон осудила и запретила это занятие.

Ссорились дети редко, но однажды он тяжело обидел ее.

По случаю дня рождения Грэма к обеду были приглашены его друзья подростки. Полина проявила живой интерес к событию. Ей приходилось часто слышать об этих мальчиках, ведь именно о них Грэм больше всего ей рассказывал. После обеда юные джентльмены остались в столовой одни и вскоре весьма оживились и расшумелись. Проходя через прихожую, я обнаружила, что Полина в полном одиночестве сидит на нижней ступеньке лестницы, пристально глядя на полированные панели двери, ведущей в

столовую, и нахмутив брови в напряженном раздумье.

— О чем ты думаешь, Полли?

— Да так, ни о чем. Мне просто хотелось бы, чтобы эта дверь была стеклянной и я бы видела, что там делается. Мальчикам, кажется, очень весело, и мне хочется пойти к ним. Я хочу быть с Грэмом и наблюдать за его друзьями.

— Что же мешает тебе пойти туда?

— Я боюсь. А вы думаете, стоит попытаться? Можно, я постучу в дверь и попрошу разрешения войти?

Я решила, что они, вероятно, не станут возражать против ее общества, и посоветовала ей попробовать.

Она постучала сначала совсем неслышно, но при второй попытке дверь приоткрылась и просунулась голова Грэма, у него был очень веселый, но нетерпеливый вид.

— Чего тебе надо, обезьянка?

— Войти к тебе в комнату.

— Ах так! Очень мне нужно с тобой возиться! Отправляйся к маме и госпоже Сноу и скажи им, чтобы они уложили тебя в постель.

Каштановая шевелюра и раскрасневшееся возбужденное лицо скрылись, дверь со стуком захлопнулась. Полли стояла совершенно потрясенная.

— Почему он так разговаривает со мной? Никогда такого не бывало, — с ужасом проговорила она. — В чем я провинилась?

Я собралась было утешить ее и воспользоваться случаем, чтобы внушить ей некоторые философские истины, которых у меня было немало в запасе. Но не успела я начать свою речь, как она заткнула пальцами уши и ничком легла на циновку. Ни Уоррен, ни кухарка не смогли сдвинуть девочку с места, ее оставили там, пока она не поднялась по собственной воле.

Грэм в тот же вечер совершенно забыл об этой истории и, когда его друзья ушли, как обычно направился к ней, но она с горящими гневом глазами оттолкнула его руку, не попрощалась с ним на ночь и ни разу не взглянула ему в лицо. На следующий день он не обращал на нее внимания, а она буквально окаменела. Днем позже он пытался узнать у нее, что случилось, но она упорно молчала. Он, конечно, не сердился на нее всерьез, слишком уж неравны были силы, однако пытался успокоить и задобрить девочку, спрашивая, почему она сердится и что он такого сделал. Вскоре она смягчилась и заплакала, он ее приласкал, и они вновь стали друзьями. Однако она была из тех, для кого такие случаи не проходят

бесследно: я заметила, что после этого удара она больше никогда не разыскивала его, не ходила за ним следом, не домогалась его внимания. Как-то я попросила ее отнести не то книгу, не то еще что-то Грэму, когда тот сидел у себя при закрытых дверях.

— Я подожду, пока он выйдет, — сказала она гордо. — Не хочу причинять ему беспокойство — ведь ему придется встать и открыть мне дверь.

У юного Бреттона был любимый пони, на котором он часто ездил верхом; она всегда следила из окна за его отъездом и возвращением. Она очень гордилась, когда ей разрешали проехать на пони по двору, но никогда не просила об этом одолжении. Однажды она вышла во двор, чтобы посмотреть, как Грэм спешивается. Она стояла, прислонившись к воротам, а в глазах у нее светилось страстное желание покататься.

— Полли, хочешь поскакать галопом? — спросил Грэм довольно небрежно.

Думаю, что ей его тон показался слишком небрежным.

— Нет, спасибо, — ответила она и отвернулась с полным безразличием.

— Напрасно, — настаивал он. — Уверен, тебе бы очень понравилось.

— Меня это нисколько не привлекает, — последовал ответ.

— Неправда. Ты сказала Люси Сноу, что очень хочешь покататься.

— Люси Сноу — болтушка, — услышала я (произношение не по летам развитой особы выдавало ее истинный возраст), и с этими словами она удалилась.

Грэм, войдя следом за ней, заметил матери:

— Мама, по-моему, нам ее подкинули эльфы, она — кладезь странностей, но без нее мне было бы скучно, она развлекает меня гораздо больше, чем вы или Люси Сноу.

— Мисс Сноу, — сказала мне как-то Полина (с некоторых пор она стала иногда беседовать со мной, когда мы ночью оставались одни в комнате), знаете, в какой день недели мне больше всего нравится Грэм?

— Как я могу знать такие странные вещи? Разве в остальные дни недели он другой?

— Конечно! Неужели вы не замечали? Лучше всего он бывает по воскресеньям: весь день проводит с нами, всегда спокойный, а по вечерам такой добрый.

Для такого мнения были некоторые основания: посещения церкви и тому подобные занятия действовали на Грэма успокаивающе, вечера он обычно посвящал мирным, хотя и довольно беспечным развлечениям у

камина в гостиной. Он устраивался на диване и звал к себе Полли.

Грэм несколько отличался от других подростков. Бурная активность нередко сменялась у него периодами раздумья. Получал он удовольствие и от чтения, причем не глотая все без разбору, а проявляя в выборе книг своеобразие своей личности и даже инстинктивный вкус. Правда, он редко высказывался, но мне приходилось видеть, как он сидит и размышляет над прочитанным.

Полли устраивалась около него, стоя на коленях на подушечке или коврикe, и между ними начиналась беседа вполголоса. До меня долетали обрывки их разговора, и надо признать, в эти моменты Грэмом владел более добрый и ласковый дух, чем в другие дни.

— Ты выучила какие-нибудь гимны на этой неделе, Полли?

— Да, один, очень красивый, из четырех стихов. Сказать?

— Говори, только как следует, не торопись.

После того как она прочтет или, вернее, пропоет тонким голоском гимн, Грэм делал некоторые замечания по поводу манеры исполнения и наставлял ее в искусстве декламации. Она быстро все запоминала и отличалась способностями к подражанию, главное же, для нее было наслаждением угодить Грэму, и она поэтому оказалась прилежной ученицей. После декламации гимна следовало чтение — часто главы из Библии. Замечаний делать почти не приходилось девочка отлично могла прочесть любое простое повествование. Если в тексте шла речь о вещах ей понятных и интересных, она читала его с замечательной выразительностью. Иосиф,^[8] брошенный в яму, божественное откровение Самуилу, Даниил в львином рву — таковы были ее любимые эпизоды, причем страдания первого трогали ее особенно глубоко.

— Бедный Иаков! — то и дело восклицала она, и губы у нее дрожали. Ведь он так любил своего сына Иосифа.

— Он любил его, — добавила она однажды, — так же сильно, Грэм, как я люблю тебя. Если бы ты умер (и она приоткрыла книгу, нашла нужный стих и прочла его), я бы поступила, как Иаков. Он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю».^[9]

С этими словами она обняла Грэма ручонками и прижала его длинноволосую голову к себе. Помню, эта сцена поразила меня своим безрассудством: такое чувство испытываешь, когда видишь, как неосторожно ласкают опасного и лишь наполовину укрощенного зверя. Не то чтобы я боялась, что Грэм обидит девочку или грубо обойдется с ней, но допускала, что он ответит ей такой небрежностью и раздражением, которые

будут для нее болезненным ударом. Вообще-то он переносил подобные излияния чувств спокойно — иногда ее искренняя любовь даже вызывала у него в глазах добродушное удивление. Как-то он сказал:

— Ты любишь меня почти как сестренка, не правда ли?

— О, я очень, очень люблю тебя.

Однако изучать характер этой девочки мне пришлось недолго. Не прошло и двух месяцев с ее приезда в Бреттон, как прибыло письмо от мистера Хоума, в котором он сообщал, что остается со своими родственниками по материнской линии на Европейском континенте, к Англии питает неприязнь, не намерен сюда возвращаться, вероятно, еще в течение многих лет и желает, чтобы его дочь немедленно приехала к нему.

— Интересно, как она отнесется к этому известию? — сказала миссис Бреттон, прочитав письмо. Меня это тоже занимало, и я вызвалась сообщить ей новость.

Войдя в гостиную — в этой тихой и нарядной комнате Полли любила сидеть в одиночестве, и ей можно было вполне довериться, потому что она ничего там не трогала или, вернее, не портила того, до чего дотрагивалась, — я застала ее в позе маленькой одалиски, на кушетке, полузатененной оконными гардинами. Выглядела она довольной, около себя разместила все необходимые для работы предметы: белую рабочую шкатулку, лоскутки муслина, обрывки лент для кукольных шляпок. Кукла, надлежащим образом одетая в чепчик и ночную рубашечку, лежала в колыбели. Полли укачивала ее с серьезностью, которая свидетельствовала о том, что девочка глубоко верит в способность куклы чувствовать и спать. Одновременно она рассматривала лежащую у нее на коленях книжку с картинками.

— Мисс Сноу, — прошептала она, — какая замечательная книжка. Арапка (так окрестил куклу Грэм, и, действительно, ее смуглое личико весьма напоминало эфиопскую физиономию), Арапка уснула, и я теперь могу рассказать вам о книге. Только нужно тихо говорить, чтобы не разбудить ее. Эту книгу мне дал Грэм. В ней написано про страны, которые находятся далеко-далеко от Англии, добраться до них можно, только проплыв на корабле тысячи миль. В этих странах живут дикари, мисс Сноу, они носят не такую одежду, как мы, а некоторые ходят почти совсем без одежды, чтобы им было прохладно, потому что там ужасно жаркая погода. Вот тут на картинке тысячи дикарей собрались в пустынном месте, на равнине, покрытой песком, окружили человека в черном очень, очень хорошего англичанина-миссионера, и он читает им проповедь, вон он под пальмой стоит (и она показала мне маленькую цветную картинку). А вот

эти картинки, — продолжала она, — еще более страннее, чем та (правила грамматики иногда забывались). Это замечательная Великая китайская стена, а вот китайская леди, у нее ноги меньше моих. А это дикая лошадь, а вот самое, самое странное — край льдов и снегов, где нет ни зеленых полей, ни лесов, ни садов. Там обнаружили кости мамонта, а теперь мамонтов нет на свете. Вы даже не знаете, что это такое, но я могу вам сказать, потому что Грэм мне все объяснил. Грэм считает, что мамонт — это могучее, как Джинн, создание высотой с комнату, а длиной с целый зал, но оно не злое и не хищное. Грэм полагает, что если бы я встретила мамонта в лесу, он не убил бы меня, но если бы я оказалась у него на пути, вот тогда он раздавил бы меня, ну вот как я нечаянно могу раздавить в траве кузнечика.

Так она перескакивала с предмета на предмет, но я перебила ее:

— Полли, ты бы не хотела отправиться в путешествие?

— Пока нет, — ответила она сдержанно, — может быть, лет через двадцать, когда я стану взрослой и ростом буду, как миссис Бреттон, я поеду в путешествие с Грэмом. Мы собираемся посетить Швейцарию и взобраться на Монблан, а когда-нибудь мы поплывем в Южную Америку и поднимемся на вершину Кор-корт-кордильер.

— Ну, а если бы папа был с тобой, ты бы хотела сейчас поехать?

Ответ последовал не сразу и отражал присущее ее нраву своеобразие:

— Какой смысл в таких глупых разговорах? — заявила она. — Зачем вы вспомнили папу? Ну зачем? Я только-только начала успокаиваться и думать о нем реже, и вот опять все сначала!

Губы у нее задрожали. Я поспешила сообщить ей о том, что получено письмо с распоряжением, чтобы она и Хариет немедленно отправились к ее милому папе.

— Ну как, Полли, разве ты не рада?

Она молчала, выпустив книжку из рук и перестав качать куклу, и не отрывала от меня пристального и серьезного взгляда.

— Тебе не хочется к папе?

— Хочется, — ответила она наконец тем резким тоном, которым говорила только со мной, не допуская его в разговоре с миссис Бреттон или с Грэмом. Мне хотелось глубже проникнуть в ее мысли, но она не желала больше разговаривать и поспешила к миссис Бреттон, которая подтвердила мое сообщение. Под гнетом этого важного известия она весь день была задумчива. Вечером, в ту секунду, когда внизу слышались шаги Грэма, она оказалась около меня. Поправляя на мне ленточку с медальоном и приглаживая мои волосы, она прошептала, когда в комнату вошел Грэм:

— Скажите ему попозже, что я уезжаю.

Я выполнила ее просьбу за чаем. Грэм в это время был как раз озабочен школьным призом, которого он добивался. Пришлось дважды повторить сообщение, прежде чем он обратил на него должное внимание, но и тогда оно заняло его лишь на мгновение.

— Как, Полли уезжает? Какая жалость! Милая Мышка, мне грустно расставаться с ней, мама, пусть она опять к нам приедет.

После чего, быстро проглотив чай, он придвинул к себе свечу и маленький столик и погрузился в занятия.

«Мышка» подобралась к нему и легла лицом вниз на коврик у его ног. Безмолвно и недвижно она оставалась в этом положении, пока не подошло время спать. Я заметила, что Грэм, не обратив внимания на ее присутствие, даже задел ее случайно ногой. Она отодвинулась на несколько дюймов, а потом, вытащив ручку, на которой лежала лицом, ласково погладила эту самую ногу. Когда же няня позвала ее спать, она встала и послушно пошла, тихо пожелав нам доброй ночи.

Нельзя сказать, что мне страшно было через час войти в нашу спальню, но отправилась я туда с тревожным предчувствием, что ребенок не спит. Предчувствие мое оправдалось: продрогшая и настороженная, она сидела, словно белая птица, на краю кровати. Я не знала, с чего начать разговор, ибо с ней следовало вести себя не так, как с другими детьми. Однако она сама обратилась ко мне. Когда я закрыла дверь и зажгла лампу на туалетном столике, она повернулась ко мне с такими словами:

— Я не могу, никак не могу уснуть. Я не могу, не могу жить так!

Я спросила, что ее мучает.

— Ужасные страдания, — пролепетала она жалобно.

— Позвать миссис Бреттон?

— Это уж совсем нелепо, — раздраженно сказала она; и правда, я сама знала, что, если бы она услышала шаги миссис Бреттон, она бы тихо, как мышка, тотчас юркнула под одеяло. Не питая ко мне и тени привязанности, она почему-то щедро раскрывала странности характера именно передо мной, а мою крестную ни на секунду не допускала в свой внутренний мир и выглядела при ней просто послушной и несколько своеобразной девочкой. Я пристально вгляделась в нее: щеки горят, в расширенных глазах беспокойный блеск и тревога — мне стало ясно, что оставлять ее в таком состоянии до утра невозможно. Я понимала, что с ней происходит.

— Ты бы хотела еще раз пожелать Грэму спокойной ночи? — спросила я. Он еще не ушел к себе.

Она сразу протянула ко мне ручки. Набросив на нее шаль, я отнесла ее

в гостиную. Грэм как раз выходил оттуда.

— Она не может уснуть, не повидавшись с вами еще раз, — сказала я. — Ей тяжело думать о разлуке с вами.

— Я избаловал ее, — заявил он, с доброй улыбкой беря ее на руки и целуя разгоряченное личико и пылающие губы.

— Полли, ты ведь любишь меня теперь больше, чем папу...

— Я люблю, ужасно люблю тебя, но ты меня не любишь, — прошептала она.

Он уверил ее в обратном, поцеловал и отдал мне, а я увела девочку, но увы! — она не успокоилась.

Когда я почувствовала, что она способна слушать меня, я сказала:

— Полина, тебе не следует огорчаться, что Грэм не любит тебя так сильно, как ты его. Так и должно быть.

Она подняла на меня глаза, в которых светился вопрос — почему?

— Потому, что он мальчик, а ты девочка, ему шестнадцать лет, а тебе только шесть, он от природы сильный и веселый, а ты совсем другая.

— Но я его люблю так сильно, что и он должен хоть немножко любить меня.

— Так оно и есть. Ты ему нравишься. Ты его любимица.

— Разве я любимица Грэма?

— Да, я не знаю другого ребенка, которого он любил бы сильнее.

Мои заверения успокоили ее, она даже улыбнулась.

— Но, — продолжала я, — не капризничай и не жди от него слишком многого, иначе ты надоешь ему, и тогда вашей дружбе придет конец.

— Конец! — тихо повторила она. — Нет, я буду хорошо вести себя, я уж постараюсь хорошо себя вести, Люси Сноу.

Я уложила ее в постель.

— Но на этот раз он простит меня? — спросила она, когда я раздевалась. Я уверила ее, что простит, что он несколько не охладел к ней, а ей нужно быть впредь поосторожней.

— Но ничего уже не будет, — сказала она. — Я уезжаю. Увижу ли я его хоть когда-нибудь после того, как покину Англию?

Я постаралась успокоить ее и погасила свечку. Полчаса прошло в тишине, и я уже решила, что она спит, как вдруг белая фигурка вновь села на кровати и тихий голосок спросил:

— А вы любите Грэма, мисс Сноу?

— Люблю ли я его? Да, немного.

— Только немного! Не так, как я?

— Думаю, не так. Нет, не так.

— Но все-таки вы очень любите его?

— Я сказала тебе, что люблю его немного. А почему нужно так уж сильно его любить — у него множество недостатков.

— Разве?

— У всех мальчиков их много.

— Больше, чем у девочек?

— Думаю, что больше. Умные люди говорят, что идеальным человек не бывает, а что касается любви и неприязни, то нужно относиться доброжелательно ко всем, но никого не боготворить.

— А вы умная?

— Стараюсь стать умной. Спи!

— Я не могу спать. Вам здесь не больно (она положила кукольную ручку на кукольную грудь), когда вы думаете, что вам придется расстаться с Грэмом, потому что это не ваш дом?

— Но, Полли, — сказала я, — ты не должна так страдать, ведь скоро ты увидишь папу. Ты, что же, забыла его? Разве ты не хочешь быть вместе с ним?

Ответом была мертвая тишина.

— Детка, ложись и спи, — настаивала я.

— У меня холодная постель, — промолвила она. — Я не могу ее согреть.

Я заметила, что девочка дрожит.

— Иди ко мне, — сказала я, желая, чтобы она согласилась, но почти не надеясь на это, потому что она была очень странным и капризным созданием и именно при мне особенно явно выказывала свои причуды. Однако она тут же подошла ко мне, скользя по ковру подобно привидению. Я взяла ее к себе. Она совсем замерзла, и я обняла ее, чтобы согреть. Ее пробирала нервная дрожь, и я старалась убаюкать ее. Согревшись, она, наконец, затихла и уснула.

«Какой странный ребенок, — думала я, глядя при мерцающем свете луны на спящее личико и осторожно вытирая влажные веки и щеки платком. — Как она будет жить и защищать себя в этом мире? Как перенесет удары и поражения, унижения и бедствия, которые, как мне подсказывают книги и собственный разум, неизбежны для всего рода человеческого?»

Полли уехала на следующий день. Прощаясь, она дрожала как лист, но держала себя в руках.

Глава IV

МИСС МАРЧМОНТ

Я покинула Бреттон через несколько недель после отъезда Полины, не подозревая, что никогда больше не увижу его и не буду бродить по старинным тихим улицам, и вернулась домой, где не была шесть месяцев. Естественно было бы предположить, что я рада вновь прильнуть к груди моих близких. Ну что ж, от доброго предположения худа не бывает, и поэтому не стану его оспаривать. Я не намерена опровергать его; пусть читатель воображает, что моя жизнь в течение последующих восьми лет походила на сонное покачивание парусника в тихой гавани при безветренной погоде — кормчий растянулся на палубе лицом к небу, закрыв глаза, как будто вознося долгую молитву. Множество женщин и девушек, видимо, так и проводят свою жизнь, почему бы и мне не оказаться в их числе?

Пусть я предстану перед вашим мысленным взором праздной, радостной, пухленькой и счастливой девушкой, лежащей в мягких креслах на палубе, согретой потоком солнечных лучей, убаюканной ленивым ветерком. Но в самом деле все случилось по-иному! Я, должно быть, упала за борт, или же в конце концов мое судно пошло ко дну. Мне вечно будет помниться пора — долгая пора — холода, опасности, раздоров. До сих пор мне снятся кошмары — соленые ледяные волны врываются в горло и душат меня. Более того, я знаю, что была буря, которая длилась не один час и не один день. Много дней прошло без солнца и ночей — без звезд. Собственными руками сбрасывали мы груз с нашего судна, над нами бесновался ураган, не оставалось надежды на спасение. В конце концов корабль затонул, экипаж погиб.

По-моему, я никому не жаловалась на эти несчастья. Да и кому мне было жаловаться? Миссис Бреттон я давно потеряла из виду. Еще за много лет до этого кое-кто стал препятствовать нашим отношениям, а потом они и вовсе прервались. Кроме того, у нее в жизни тоже произошли перемены: изрядное состояние, которым она распоряжалась как опекунша сына, было вложено, главным образом, в акции одной компании, и, по слухам, она потеряла его почти целиком. Слышала я также, что Грэм завершил образование, получил профессию и вместе с матерью уехал из Бреттона, как говорили, в Лондон. Так я лишилась всякой возможности прибегнуть к

посторонней помощи и могла рассчитывать лишь на самое себя. Мне думается, что от природы я не обладаю ни уверенностью в своих силах, ни предприимчивостью, я, как и большинство людей, приобрела эти свойства под влиянием обстоятельств. Поэтому, когда мисс Марчмонт — незамужняя леди, жившая по соседству, — прислала за мной, я повиновалась, надеясь, что она поручит мне работу, с которой я смогу справиться.

Мисс Марчмонт была богата и жила в великолепном доме, но уже двадцать лет, как из-за подагры у нее отнялись руки и ноги. Целые дни она сидела у себя наверху, где были расположены, примыкая друг к другу, гостиная и спальня. Я много слышала о мисс Марчмонт и ее странностях (говорили, что она весьма неуравновешена), но никогда ее не видела. Она оказалась морщинистой седой дамой, мрачной от одиночества, ожесточенной страданиями и, вероятно, вспыльчивой и требовательной. Выяснилось, что горничная или, вернее, компаньонка, которая несколько лет служила ей, собирается замуж, и мисс Марчмонт, прослышав о моей горькой судьбе, послала за мной, чтобы предложить мне заменить ее. Речь об этом она завела после чая, когда мы сидели с ней вдвоем у камина.

— Жизнь у вас будет нелегкая, — честно призналась она, — потому что я требую большого внимания, и вам придется много времени проводить дома. Но допускаю, что по сравнению с вашим нынешним положением пребывание в моем доме покажется вам сносным.

Я принялась раздумывать над ее словами. Конечно, жизнь эта может оказаться терпимой, убеждала я себя, но, возможно, по неисповедимому велению судьбы она таковой и не будет. Провести здесь, в душной комнате, всю юность, быть свидетелем страданий, временами превращаться в мишень для нападок, а ведь и до сих пор моя жизнь была по меньшей мере безрадостной! На мгновение сердце у меня сжалось, но вскоре я вновь обрела мужество, ибо, хотя я и не побоялась правдиво оценить предстоящие трудности, моя натура, как мне кажется, была слишком прозаична, для того чтобы рассматривать их вне связи с реальными условиями жизни и таким образом преувеличить.

— Я не уверена, хватит ли у меня сил для выполнения таких обязанностей, — заметила я.

— Меня это тоже беспокоит, — сказала она, — у вас очень измученный вид.

И правда, в зеркале отражался одетый в траурное платье призрак с изможденным лицом и ввалившимися глазами. Однако я недолго предавалась созерцанию этого грустного зрелища. Я верила, что сникла

лишь внешне, а в глубине души ощущала возрождающуюся жизнь.

— Есть у вас какие-нибудь другие виды на работу?

— Пока ничего определенного, но, может быть, я что-нибудь найду.

— Вы так думаете? Возможно, вы и правы. Попробуйте; если же у вас ничего не получится, попробуйте принять мое предложение. Оно останется в силе в течение трех месяцев.

Это было любезно с ее стороны. Я так ей и сказала и искренне ее поблагодарила. Мои слова прервал начавшийся у нее приступ болей. Я пришла к ней на помощь и подала указанные ею лекарства. Когда ей полегчало, между нами уже возникла некая близость. Видя, как она переносит страдания, я убедилась, что это стойкая и терпеливая женщина (терпеливая к физической боли, хотя, вероятно, раздражительная, когда испытывала душевные страдания), а она по той готовности, с которой я бросилась ей на помощь, поняла, что может вызвать у меня сочувствие (и не ошиблась). Она прислала за мной на завтра, а потом вызывала меня к себе и в последующие пять-шесть дней. Более близкое знакомство открыло мне не только недостатки и странности этой натуры, но и черты характера, достойные уважения. Несмотря на то что временами она бывала сурова и даже угрюма, я, ухаживая за ней или просто сидя подле нее, испытывала то спокойствие, которое нисходит на человека, когда он ощущает, что его поведение, присутствие и прикосновения приятны и успокоительны для тех, кому он оказывает услуги; даже когда она выговаривала мне, а делала она это нередко и довольно колко, она не унижала меня и не ранила; она вела себя скорее как вспыльчивая мать, бранящая свою дочь, чем как строгая хозяйка, отчитывающая служанку. Вообще отчитывать она не умела, хотя иногда была способна сильно вспылить. Кроме того, разум и логика не покидали ее и в состоянии гнева. Постепенно во мне крепло чувство привязанности к ней и мысль остаться при ней компаньонкой приобретала уже иной характер. Через неделю я согласилась на ее предложение.

Таким образом, весь мой мир уместился теперь в двух жарко натопленных душевных комнатах, а моей госпожой, другом и единственным близким человеком на свете стала больная старая женщина. Уход за ней я считала своим долгом, ее боль заставляла меня страдать, облегчение ее мук пробуждало во мне надежду, гнев ее был для меня наказанием, расположение — наградой. Я забыла, что за мутными окнами этой обители скорби существуют поля, леса, реки, непрерывно меняющееся небо; меня почти удовлетворяло такое состояние моей души. Весь мой внутренний мир сосредоточился на выполнении ниспосланного мне судьбой долга.

Мне, кроткой и сдержанной от рождения, приученной жизнью к повиновению, не нужны были прогулки на свежем воздухе, а голод я полностью утоляла такими же крохотными порциями еды, как и моя больная госпожа. Зато она предоставила мне возможность изучать своеобразие ее личности, восхищаться постоянством ее добродетелей и силой страстей, уверовать в правдивость ее чувств. Эти черты ее характера и привязали меня к ней.

Из-за них я согласилась бы быть ее тенью еще двадцать лет, если бы ей предстояло столько прожить, но мне выпал иной жребий. Оказалось, что я должна действовать. Обстоятельства подгоняли, торопили, подстегивали. Крупице человеческой привязанности, которую я ценила выше, чем драгоценную жемчужину, определено было рассыпаться в прах и выскользнуть у меня из рук. Моей неприхотливой совести предстояло лишиться той единственной скромной обязанности, какую я взяла на себя. Я хотела пойти на сделку с Судьбой избежать редких, но тяжелых приступов душевных мук ценою мелких лишений и огорчений на протяжении всей жизни. Но таким образом Судьбу не умиротворишь, а Провидение не благословит подобной бездеятельности и трусливой лености.

Как-то февральской ночью (как ясно мне все это помнится) около дома мисс Марчмонт послышался звук, который уловили все его обитатели, но истолковала, вероятно, только я одна. Тихую зиму сменили весенние грозы. Я уже уложила мисс Марчмонт в постель, а сама шила, сидя у камина. С самого утра за окнами выл ветер, но сейчас, когда ночь вступила в свои права, в каждом порыве ветра слышались новые звуки — режущие, пронизывающие слух, почти членораздельные, терзающие душу, как стенания, жалобы или безутешные рыдания.

«Тише! Тише!» — мысленно произнесла я в тревоге, бросив шитье и тщетно стараясь не слушать таинственного пронзительного плача. Мне уже и раньше доводилось слышать такой же звук и видеть, какие события он предвещает. Трижды в течение моей жизни имела я возможность убедиться, что подобные странные завывания ветра, эти нескончаемые безысходные рыдания, предрекают условия, несовместимые с жизнью. Я полагала, что такой порывистый, рыдающий, полный страданий и грусти восточный ветер предшествовал эпидемиям. Вот откуда, вероятно, явилась легенда о Банши,^[10] возвещающей смерть. Мне казалось, я не раз обращала внимание — к сожалению, я не философ и не могла судить, есть ли связь между всеми этими событиями, — на то, что мы нередко в один и тот же момент узнаем и об извержении вулкана в далекой стране, и о наводнениях на реках, и о чудовищно высоких волнах, обрушивающихся на низкий

морской берег. «Кажется, — рассуждала я сама с собой, — на земном шаре тогда царят полный хаос и смятение, и слабые гибнут от гневного дыхания, с пламенем вырывающегося из дымящихся вулканов».

Я прислушивалась к ночи, меня била дрожь; мисс Марчмонт спала. Около 12 часов буря в течение получаса улеглась, и наступила мертвая тишина. В камине вспыхнул огонь, который до этого еле-еле теплился. Я почувствовала, как похолодало. Подняв жалюзи и раздвинув занавеси, я выглянула в окно и по мерцанию звезд увидела, что грянул трескучий мороз.

Отвернувшись от окна, я обнаружила, что мисс Марчмонт проснулась, приподняла голову и смотрит на меня с необычайной серьезностью.

— Что, ночь тихая? — спросила она.

Я ответила утвердительно.

— Я так и думала, — промолвила она, — потому что чувствую себя такой крепкой, такой здоровой. Приподнимите меня. Какой молодой я кажусь себе сегодня, — продолжала она, — молодой, беззаботной и счастливой. Что, если сегодня в моей болезни произойдет перелом и мне суждено выздороветь? Вот было бы чудо!

«Нет, сейчас не время для чудес», — подумала я про себя, ее слова поразили меня. Она заговорила о прошлом, с удивительной живостью вспоминая минувшие события и прежних знакомых.

— Сегодня я рада встрече с прошлым, — сказала она, — я дорожу им, как лучшим другом. Воспоминания приносят мне сейчас огромное наслаждение, воскрешают в душе действительные события во всей их полноте и красоте — не отвлеченные фантазии, а истинные факты, которые, как мне казалось, давно угасли в памяти, ушли в небытие. Ко мне вернулись счастливые минуты, мысли и надежды моей юности. Ко мне возвращается единственная в моей жизни любовь, почти единственная привязанность; ведь я не очень добрая женщина — я не щедра на любовь. Но и мне были ведомы сильные и глубокие чувства, сосредоточенные на одном человеке, в котором все без исключения было мне так же дорого, как дороги большинству мужчин и женщин бесчисленные мелочи, полностью занимающие все их внимание. Какое счастье испытывала я, когда любила и была любима! Какой чудесный год вспоминается мне, как живо он встает передо мной! Какая радостная весна, что за теплое прелестное лето, какой нежный лунный свет серебрил осенние вечера, какие безграничные надежды таились той зимой в покрытых льдом реках и белых от инея полях! Весь этот год мое сердце билось в унисон с сердцем Фрэнка. О, мой благородный, верный, добрый Фрэнк! Насколько ты был добрее и во всех

отношениях выше меня! Вот что я поняла теперь и могу с уверенностью утверждать: мало кому из женщин пришлось так страдать, как страдала я, потеряв его, но мало кто из них испытал в любви такое счастье, какое выпало на мою долю. Эта любовь выходила за пределы обычного чувства. Я верила ему и его любви, я понимала, что эта любовь облагораживает, защищает, возвышает и радует ту, кому она отдана. И вот сейчас, когда рассудок мой так необычайно ясен, я хочу найти ответ на вопрос: почему ее отняли у меня? За какое преступление была я приговорена после года блаженства целых тридцать лет нести груз невыносимых страданий?

— Не могу, — продолжала она после минутного молчания, — не могу понять причину, но в этот час я осмеливаюсь с полной искренностью сказать то, чего не решалась произнести никогда раньше: о, непостижимый создатель, да будет воля твоя! Теперь я начинаю верить, что смерть соединит меня с Фрэнком, прежде я на это не надеялась.

— Значит, он умер? — спросила я тихим голосом.

— Дорогое дитя, — сказала она, — был веселый сочельник, я надела нарядное платье и украшения, ожидая приезда возлюбленного, который должен был вскоре стать моим мужем. Я сидела в ожидании. Вновь я вижу снежные сумерки за окном, на котором я не задернула занавеску, чтобы сразу заметить, как он скачет верхом по усыпанной снегом аллее; я ощущаю тепло от неяркого огня в камине, бросающего блики на мое шелковое платье и на зеркало, в котором на мгновение возникает отражение моей юной фигуры. Я вижу, как по спокойному зимнему небу над темным кустарником и серебристым дерном моего сада плывет полная, ясная и холодная луна. Я жду с волнением в крови, но со спокойною душой. Огонь в камине погас, светились лишь раскаленные угли, луна поднималась все выше, но через окно ее еще было видно, стрелка часов приближалась к десяти; Фрэнк редко, всего один или два раза, приезжал позже этого часа.

«Неужели сегодня его не будет? Нет, невозможно, да вот он едет, мчится изо всех сил, чтобы возместить потерянное время. Фрэнк, — взволнованно прислушиваясь к приближающемуся стуку копыт, мысленно обращалась я к нему, какой вы бесстрашный наездник, за это вас следует отчитать. Я непременно скажу вам, что вы подвергаете опасности не только свою, но и мою голову, ибо все, что принадлежит вам, я люблю сильнее и нежнее, чем самое себя». Вот и он — я вижу его, но в тумане, наверное, слезы мешают мне. Я увидела коня, услышала, как он бьет копытами, заметила какую-то темную груду, до меня доходили громкие голоса. Конь ли это? Или это какой-то тяжелый предмет, который тянет за собой

странную, темную глыбу через лужайку? Как понять, что передо мной? Как объяснить чувство, сдавившее мне сердце?

Я смогла лишь выбежать на улицу. У двери действительно стоял большой вороной конь Фрэнка, он дрожал, тяжело дышал и храпел, под уздцы его держал мужчина — как мне показалось, Фрэнк.

«Что случилось?» — воскликнула я. Томас, мой слуга, ответил резко: «Идите домой, сударыня». Потом он позвал служанку, которая стремительно выбежала из кухни, словно гонимая каким-то предчувствием. «Руфь, отведите госпожу в дом». Но я уже упала на колени в снег, прильнув к тому, кого только что волокли по земле, кто теперь стонал у меня на груди. Он был еще жив, сознание еще теплилось в нем. Я приказала внести его в дом, не подчинилась уговорам и попыткам увести меня. Я оказалась в силах распоряжаться не только собой, но и другими. Со мной начали было обращаться как с ребенком, что принято всегда, когда кого-нибудь поражает десница божия, но я уступила место только хирургу, и, когда он сделал что мог, я забрала Фрэнка к себе в комнату. У него хватило сил обнять меня и произнести мое имя, он слышал, как я тихо молюсь за него, чувствовал, как я поглаживаю его ласково и осторожно.

«Мария, — сказал он, — я умираю, но умираю в раю». Его последними словами были слова верности мне. Когда забрезжила заря рождественского дня, душа Фрэнка предстала перед богом.

— Все это, — продолжала она, — случилось тридцать лет тому назад. С тех пор я непрестанно страдаю. Боюсь, что я не извлекла надлежащего урока из постигших меня горестей. Мягкие, добросердечные натуры стремились бы к праведности, люди сильные и порочные превратились бы в демонов, а я — я так и осталась удрученной горем, себялюбивой женщиной.

— Но вы делаете много добра, — сказала я, так как все знали, что она щедро раздает милостыню.

— То есть не жалею денег на помощь несчастным? Что же в этом особенного? Ведь от меня не требуется ни усилий, ни жертв. Но я надеюсь, что отныне мною будут владеть более благородные помыслы, которые подготовят меня к встрече с Фрэнком. Я все еще думаю о Фрэнке больше, чем о боге, и если столь долгую и беспримерную любовь к смертному сочтут за богохульство, у меня остается мало надежд на спасение души. Ну, Люси, а что вы думаете? Будьте моим духовником и скажите свое мнение.

Я не смогла ответить на ее вопрос — у меня не хватало слов. Но она, не заметив моего молчания, продолжала:

— Вы правы, дитя мое. Мы должны сознавать, что господь

милосерден, но не всегда постижим. Мы должны смиряться перед судьбой, какова бы она ни была, и стараться делать счастливыми других. Не правда ли? Вот завтра я и начну прилагать старания к тому, чтобы сделать вас счастливой. Я попытаюсь распорядиться так, Люси, чтобы после моей смерти вы больше не испытывали нужды. Я много говорю, у меня даже разболелась голова, но все равно я счастлива. Ложитесь спать — уже пробило два. Как поздно вы засиделись, вернее, как долго я, со свойственным мне эгоизмом, вынуждаю вас бодрствовать. Идите к себе и не беспокойтесь обо мне, я чувствую, что буду хорошо спать.

Она затихла и, казалось, задремала. Я пошла в свой уголок, отгороженный от ее спальни. Ночь прошла спокойно, спокойно и безболезненно наступил и конец моей госпожи — утром ее нашли бездыханной, уже почти холодной, лицо у нее было мирным и безмятежным. Ее возбужденное состояние и резкая перемена настроения были предзнаменованием наступающего сердечного приступа, который в одно мгновение оборвал жизнь, столь долго подтачиваемую недугами.

Глава V

СТРАНИЦА ПЕРЕВЁРНУТА

После смерти моей госпожи я опять осталась одна и должна была искать новое место. К этому времени нервы у меня расшатались, но немного, совсем немного. Полагаю, и выглядела я неважно: худая, изможденная, с ввалившимися глазами, похожая на сиделку, проводящую ночи у постели больного, на переутомленную служанку или запутавшегося в долгах безработного. Однако я не запуталась в долгах и не оказалась в крайней бедности. Хотя мисс Марчмонт не успела обеспечить мое будущее, что, судя по ее словам в ту последнюю ночь, она намеревалась сделать, после похорон ее троюродный брат, наследник состояния, полностью заплатил причитавшееся мне жалованье; у него было лицо скряги, с острым носом и втянутыми висками, и, как я узнала впоследствии, он в самом деле был скуп, в отличие от своей покойной родственницы, память которой по сей день благословляют бедные и обездоленные. Я располагала тогда пятнадцатью фунтами, физическое и душевное здоровье мое было подорвано, но не сломлено. По сравнению со многими другими я находилась в завидном положении. Однако и в довольно затруднительном: меня очень тревожило, что через неделю мне предстояло оставить свое тогдашнее жилье, а поселиться было негде.

Оставалось обратиться за советом к бывшей служанке нашей семьи, моей няне, которая теперь служила экономкой в богатом доме неподалеку от того места, где жила мисс Марчмонт. Я провела у нее несколько часов, она успокаивала меня, но ничем не могла помочь. Я вышла от нее в сумерки, пребывая по-прежнему в растерянности. Мне предстояло пройти две мили; вечер был ясный и морозный. Несмотря на одиночество, бедность и сложность моего положения, сердце, напоенное силами юности, — ведь мне шел только двадцать третий год, — билось ровно и сильно. Да, конечно, оно билось сильно, иначе я бы дрожала от страха на пустынной дороге, которая тянулась по безмолвному полю, где не видно было ни деревушки, ни домика; мне было бы страшно, потому что луна скрылась, и я определяла направление по звездам; мне было бы особенно страшно из-за того, что на севере горело столь редкое и таинственное полярное сияние. Однако это величественное зрелище вызвало во мне не страх, а совсем иные чувства. Казалось, оно вливало в меня новые силы.

Ветерок, сопровождавший его, ободрял меня и укреплял мой дух. Мне была ниспослана дерзкая мысль, и ее тотчас впитал мой окрепший разум.

«Оставь пустынные края, — слышался мне голос, — и уходи отсюда».

«Куда?» — спросила я.

Ответ последовал быстро: идя по сельскому приходу, расположенному в равнинной плодородной центральной части Англии, я мысленным взором увидела невдалеке то, чего наяву мне никогда не приходилось видеть, — я увидела Лондон.

На следующий день я опять навестила няню и сообщила ей о моем намерении.

Миссис Баррет была женщиной серьезной и рассудительной, хотя знала белый свет немногим лучше моего. Однако при всей своей серьезности и рассудительности она не сочла мою мысль безумной. Я действительно умела вести себя очень сдержанно и потому могла совершать кое-какие поступки, не только не вызывая осуждения, но часто получая одобрение; если бы подобные поступки я совершала в возбужденном или расстроенном состоянии, многие сочли бы меня фантазеркой и фанатичкой.

Перебирая апельсиновые корки для мармелада, няня не торопясь рассуждала о том, какие трудности могут возникнуть у меня на пути. Вдруг мимо окна пробежал ребенок и ворвался в комнату. Пританцовывая и смеясь, этот хорошенький мальчик подскочил ко мне, а я посадила его на колени, так как знала и ребенка и его мать — замужнюю дочь хозяина дома.

Теперь мы с его матерью принадлежали к разным кругам общества, но когда мне было десять, а ей шестнадцать лет, учились в одной школе, и я помнила ее миловидной девушкой, но настолько бездарной, что она училась на класс ниже меня.

Я любовалась прекрасными глазами мальчика, когда вошла его мать миссис Лей. Какой красивой и приятной женщиной стала некогда хорошенькая и добродушная, но глупенькая девочка! Замужество и материнство — вот что изменило ее подобным образом, впоследствии мне не раз приходилось наблюдать такие же перемены и в менее привлекательных девушках. Меня она не узнала. Я тоже изменилась, боюсь, правда, что не в лучшую сторону. Я не стала напоминать ей о себе — зачем? Она пришла, чтобы взять сынишку на прогулку, ее сопровождала няня с младенцем на руках. Я рассказываю об этом эпизоде только для того, чтобы отметить, что, обращаясь к няне, миссис Лей говорила по-французски (кстати, говорила очень плохо, с безнадежно скверным

произношением, невольно напомнившим мне наши школьные дни), и я поняла, что няня — иностранка. Мальчик болтал по-французски свободно. Когда вся компания удалилась, миссис Баррет заметила, что ее юная госпожа привезла иностранную няню два года тому назад из поездки по Европе, с ней обращаются почти как с гувернанткой и вся ее работа — гулять с маленьким и разговаривать по-французски с мастером Чарльзом, а еще, — добавила миссис Баррет, — она рассказывает, что за границей многим англичанкам живется не хуже, чем ей здесь.

Я спрятала случайные сведения в памяти, как экономные хозяйки прячут в кладовую казалось бы бесполезные обрывки и кусочки, которые, по их дальновидному предположению, можно будет когда-нибудь использовать. Перед уходом мой старый друг миссис Баррет дала мне адрес respectable старинной гостиницы в Сити, где, сказала она, часто останавливались в прежние времена мои дядья.

Уезжая в Лондон, я подвергала себя не столь большому риску и проявляла не столь большую предприимчивость, как может подумать читатель. Проехать мне нужно было всего пятьдесят миль, и средств у меня было достаточно, чтоб оплатить дорогу, прожить там несколько дней и вернуться обратно, если ничто меня там не привлечет. Я относилась к этой поездке скорее как к кратковременному отдыху, который в кои-то веки разрешил себе измученный работой человек, чем как к смертельному риску. Все свои поступки нужно оценивать сдержанно, тогда человек сохраняет душевное и физическое спокойствие и не приходит в возбужденное состояние, вызываемое слишком пылким воображением.

В те времена на дорогу в пятьдесят миль уходил целый день (я говорю о давно прошедших днях; до недавних пор мои волосы сопротивлялись морозам времени, но теперь они, наконец, побелели и лежат под белым чепцом, как снег под снегом). В сырой февральский вечер, около девяти часов, я приехала в Лондон.

Мой читатель, я уверена, не поблагодарил бы меня за подробное поэтическое описание первых впечатлений, и я рада этому, ибо у меня не было на них ни времени, ни настроения: ведь в тот поздний, темный, сырой и дождливый вечер я оказалась в многолюдном, но для меня пустынном, огромном городе, величие и непостижимость которого подвергали тяжелейшему испытанию все способности к ясному мышлению и непоколебимому самообладанию, коими природа, не наделив меня иными, более блестящими свойствами, все-таки, видимо, одарила меня.

Когда я вышла из дилижанса, произношение кебмена и людей, ожидающих дилижанс, показалось мне незнакомым, почти как иностранная

речь. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы по-английски говорили так отрывисто. Однако мне все же удалось понять, что они говорят, и объясниться самой в той мере, в какой было нужно, чтобы меня и мои вещи препроводили в гостиницу, рекомендованную мне миссис Баррет. Сколь рискованным, угнетающим и неразумным представился теперь мне мой побег! Впервые в Лондоне, впервые в гостинице, утомленная путешествием, подавленная темнотой, окоченевшая от холода, лишенная и житейского опыта, и возможности получить совет, — и при этом вынужденная действовать.

Я обратилась к своему здравому смыслу. Но мой здравый смысл, оцепеневший и растерянный, как, впрочем, и все остальные чувства, стал судорожно выполнять свои обязанности только под напором неумолимых обстоятельств. Подгоняемый таким образом, он заплатил носильщику, и я, учитывая наше критическое положение, не очень рассердилась на него, когда носильщик его изрядно обсчитал; потом мой здравый смысл попросил слугу провести нас в комнату, робко вызвал горничную и, более того, даже перенес, не струсив, надменность этой леди, когда она, наконец, появилась.

Эта девица, как мне до сих пор помнится, являла собой образец городского представления о привлекательности и изяществе.

Я и вообразить не могла, что человеческие руки могут сотворить столь нарядные передник, наколку и платье. В ее бойкой и жеманной речи звучала самоуверенность и презрение к моему робкому тону, а ее щегольской наряд словно бросал вызов моему простому деревенскому платью.

«Ну что ж, ничего не поделаешь, — подумала я, — зато обстановка и окружение у меня новые; это пойдет мне на пользу».

Разговаривая спокойно и сдержанно и с заносчивой юной особой, и со слугой, который в своем черном сюртуке и белом шейном платке походил на пастора, я вскоре добилась от них вежливого обращения. Они, вероятно, сначала подумали, что я тоже служанка, но через некоторое время изменили свое мнение и стали относиться ко мне с пренебрежительной учтивостью.

Я держалась бодро, пока, поужинав, грелась у камина, уединившись в своей комнате; когда же я присела около кровати и положила голову и руки на подушку, меня охватила смертная тоска. Внезапно весь ужас положения раскрылся перед моим внутренним взором, я ощутила, сколь оно нелепо и безысходно. Что я делаю, совершенно одна, в громадном Лондоне? Как поступить мне завтра? На что надеяться? Кто из друзей есть у меня на

земле? Откуда я пришла? Куда мне идти? Что делать?

Я залила подушку, руки и волосы потоком слез. За приступом рыданий последовала долгая мрачная пауза, заполненная горькими думами, но все же я не жалела о своем поступке и не собиралась отказываться от своего намерения. Смутная, но крепкая уверенность, что лучше двигаться вперед, чем назад, что я способна идти вперед и со временем выйду на дорогу, пусть узкую и тяжелую, возобладала над всеми другими чувствами: она так надежно заглушила их, что я наконец успокоилась и смогла прочитать молитву и подготовиться ко сну. Как только я улеглась и погасила свечу, в ночи раздался глубокий, низкий, мощный звон. Сначала я не поняла, что это, но когда прозвучал двенадцатый сильный, гулкий и трепещущий удар, я сказала: «Я нашла убежище под сенью собора св. Павла».

Глава VI

ЛОНДОН

На следующий день, 1 марта, проснувшись и раздвинув занавески, я увидела, как сквозь туман пробивается солнце. У меня над головой, над крышами, почти касаясь облаков, возвышался и таял в тумане величественный, увенчанный куполом, темно-голубой колосс — Собор. Я смотрела на него, и сердце мое трепетало, дух ощутил свободу от вечных оков, у меня внезапно появилось чувство, что я, не изведавшая истинной жизни, теперь стою на ее пороге. В то утро моя душа расцвела с быстротой дерева Ионы.^[11]

«Я хорошо сделала, что приехала, — сказала я себе, торопливо, но тщательно одеваясь. — Мне нравится дух огромного Лондона, я его ощущаю повсюду. Только трус согласится провести всю жизнь в деревне и похоронить там все свои способности».

Одевшись, я спустилась вниз, уже не измученная и истощенная, а опрятная и отдохнувшая. Когда слуга принес мне завтрак, я обратилась к нему сдержанно, но с оттенком веселости, у нас завязался разговор минут на десять, и мы, не без взаимной пользы, кое-что узнали друг о друге.

Как оказалось, этот седой пожилой человек служит здесь уже двадцать лет. Узнав об этом, я решила, что он должен помнить моих двух дядей Чарльза и Уилмота, — которые пятнадцать лет тому назад часто тут останавливались. Я назвала ему их имена: как же, он отлично помнит их и относится к ним с уважением. Когда обнаружилась моя родственная связь с ними, ему стало ясно, кто я такая, и я заняла в его глазах должное положение. Он нашел во мне сходство с дядей Чарльзом, что, вероятно, соответствовало истине, ибо и миссис Баррет нередко отмечала это. В обращении со мной он сменил прежнюю пренебрежительную учтивость на услужливый и любезный тон, и с того времени на разумный вопрос я всегда получала вежливый ответ.

Окно моей маленькой гостиной выходило на узкую, очень тихую и довольно чистую улочку. Прохожие появлялись здесь редко и не отличались внешне от жителей провинциального города; вообще ничего страшного я не обнаружила и решила выйти на улицу одна.

После завтрака я вышла на прогулку. Мною овладело радостное, праздничное настроение. Прогулка по Лондону в полном одиночестве

казалась сама по себе веселым приключением. Вскоре я попала на улицу Патерностер^[12] — известное историческое место. Я вошла в книжную лавку, принадлежавшую некоему Джонсу, и купила небольшую книжку, допустив непозволительную расточительность, но мне хотелось отдать или послать ее миссис Баррет. Мистер Джонс, строгий деловой человек, стоял за конторкой и казался мне одним из самых великих людей, а я сама — одной из самых счастливых девушек на свете.

В тот день на меня обрушилось громадное количество впечатлений. Оказавшись перед собором св. Павла, я вошла внутрь. Я поднялась наверх и оттуда увидела Лондон — реку, мосты и храмы. Я увидела древний Вестминстер и зеленые сады Темпла, освещенные солнцем, и яркое синее небо, какое бывает ранней весной; где-то между солнцем и небом плыло легкое облачко дымки.

Спустившись вниз и покинув собор, я направилась куда глаза глядят, все еще испытывая ощущение свободы и восторга. Сама не знаю как, но я оказалась в центре города. Я уже прониклась его духом и почувствовала биение его сердца. Я вышла на Стрэнд, поднялась на Корнхилл, окунулась в гущу жизни и даже рискнула перейти улицу. Эта одинокая прогулка вызвала во мне чувство, может быть, неосознанного, но истинного наслаждения. С тех пор мне приходилось бывать и в Уэст-Энде, и в парках, и на красивейших площадях, но по-прежнему я больше всего люблю Сити. Сити всегда так серьезен: в нем серьезно все — торговля, спешка, шум. Сити трудится и зарабатывает себе на жизнь, а Уэст-Энд лишь предается удовольствиям. Уэст-Энд может вас развлечь, а Сити вызывает у вас глубокое волнение.

Наконец, усталая и голодная (сколько лет я уже не испытывала такого здорового чувства голода), я, около двух часов дня, вернулась в свою темную, старую и тихую гостиницу. Мне подали обед из двух блюд — простое жаркое и отварные овощи, — но до чего вкусный, не сравнить с теми крошечными порциями изысканной пищи, которые кухарка мисс Марчмонт посылала моей доброй покойной госпоже, — эти блюда мы почти всегда ели без аппетита. Ощущая приятную усталость, я прилегла на трех составленных рядком стульях (кушетка этой комнате не полагалась по чину), часок подремала, потом проснулась и целых два часа предавалась размышлениям.

Мое настроение и обстоятельства, в которых я оказалась, натолкнули меня на новое твердое и смелое, а может быть, даже безрассудное решение. Терять мне было нечего. Невыразимый ужас перед прежним одиноким существованием исключал возможность возвращения. Если то, что я

задумала, потерпит неудачу, кто пострадает, кроме меня самой? Если я умру вдали от — чуть не сказала «дома», но дома у меня нет — вдали от Англии, кто будет меня оплакивать?

Мне, вероятно, суждены страдания; я умею их переносить; даже смерть, подумала я, не внушает мне того ужаса, с каким относятся к ней те, кого жизнь лелеет и возносит высоко. Я уже давно думаю о смерти без волнения. Итак, готовая к любым последствиям, я составила план действий.

В тот же вечер я узнала у слуги, моего нового друга, когда отходят суда в Бумарин — порт на континенте. Не следует терять ни минуты, нужно сегодня же ночью занять место на корабле. Можно было бы, конечно, подождать до утра, но я боялась опоздать к отплытию.

— Лучше отправляйтесь на корабль немедленно, сударыня, — посоветовал мне слуга.

Я согласилась с ним, заплатила по счету, а также отблагодарила моего друга, как я теперь понимаю, прямо-таки по-королевски, а ему, вероятно, это показалось проявлением наивности, ибо в легкой улыбке, мелькнувшей у него на лице, когда он клал деньги в карман, отразилось его мнение о моей практичности. Затем он отправился за кебом. Он привел ко мне кучера и, по-видимому, приказал ему везти меня прямо на пристань, а не бросать на милость перевозчиков, но хотя сие должностное лицо пообещало так и поступить, оно своего обещания не выполнило, а, наоборот, заставив меня преждевременно выйти из экипажа, принесло меня в жертву и подало меня, как ростбиф на блюде, целой ораве лодочников.

Я оказалась в незавидном положении. Ночь была темная. Кучер получил плату и тотчас уехал, а перевозчики начали сражение за меня и мой чемодан. Их ругань до сих пор звенит у меня в ушах, она нарушила мое самообладание сильнее, чем темная ночь, одиночество и необычность всей обстановки. Один схватил мой чемодан — я смотрела на него и молча выжидала, но тут другой прикоснулся ко мне, тогда я наконец заговорила, и достаточно громко, стряхнула его руку, шагнула в лодку и приказала поставить чемодан рядом со мной — «Сюда», — показала я, — что и было немедленно исполнено, так как теперь моим союзником стал владелец выбранной мною лодки, и мы, наконец, тронулись с места.

Реку, похожую на поток чернил, освещали огни множества прибрежных зданий; на волнах покачивались суда. Лодка подплывала к нескольким кораблям, и я при свете фонаря читала их названия, написанные на темном фоне крупными белыми буквами: «Океан», «Феникс», «Консорт», «Дельфин». Мой корабль назывался «Быстрый» и,

видимо, стоял на якоре где-то ниже.

Мы скользили по мрачной черной реке, а перед моим внутренним взором катились волны Стикса,^[13] по которым Харон вез в Царство теней одинокую душу. Находясь в таких необычных обстоятельствах, когда в лицо мне дул холодный ветер, из полуночной тучи лился дождь, моими спутниками были два грубых лодочника, ужасные проклятия продолжали терзать мой слух, я спросила у себя, что я — несчастна или испугана? Ни то ни другое, решила я. Много раз в жизни мне приходилось, пребывая в значительно более спокойной обстановке, чувствовать себя испуганной и несчастной. «Как это получается, — подумала я, — что я полна бодрости и надежд, а должна бы испытывать уныние и страх?» Объяснить этого я не смогла.

Наконец, в черноте ночи забелел «Быстрый».

— Ну, вот и он! — воскликнул лодочник и тотчас же потребовал шесть шиллингов.

— Слишком много, — сказала я. Тогда он отогнал лодку от корабля и заявил, что не выпустит меня, пока я с ним не расплачусь. Молодой человек как я выяснила впоследствии, лакей на судне — смотрел на нас с палубы и улыбался в ожидании скандала; чтобы разочаровать его, я заплатила требуемую сумму. В тот день я трижды отдавала кроны, когда следовало бы ограничиться шиллингами, но меня утешала мысль, что такой ценой приобретается жизненный опыт.

— А вас одурачили! — ликующим тоном оповестил меня лакей, когда я поднялась на палубу. Я равнодушно ответила, что мне это известно, и спустилась вниз.

В каюте для дам я застала дородную, красивую, в пух и прах разодетую женщину и попросила ее показать мне мое место. Она недовольно взглянула на меня, проворчала что-то нелестное насчет моего появления на судне в столь неподходящее время и проявила явное нежелание придерживаться правил вежливости. Какое у нее было смазливое, но наглое и себялюбивое лицо!

— Поскольку я уже прибыла сюда, здесь я и останусь, — был мой ответ. Вынуждена побеспокоить вас — укажите, где мое место.

Она все же подчинилась, хотя и с весьма нелюбезной миной. Я сняла шляпу, разложила вещи и легла. Я преодолела ряд трудностей, над чем-то одержала победу, и теперь моя душа, лишенная крова, поддержки и ясной цели, вновь получила возможность немного отдохнуть. До прибытия «Быстрого» к месту назначения я была свободна от необходимости действовать, но потом... О! Лучше не заглядывать вперед. Измученная и

подавленная, я лежала в полузабытьи.

Горничная всю ночь не переставала говорить; обращалась она не ко мне, а к своему сыну, молодому лакею, похожему на нее как две капли воды. Он беспрерывно выбегал из каюты и возвращался, и они все время спорили и ссорились. Она объявила, что пишет письмо домой, как она уточнила — отцу, и начала вычитывать из него отрывки, не обращая на меня никакого внимания, как будто я чурбан, а не человек; возможно, она думала, что я сплю. Некоторые цитаты содержали семейные тайны, особенно часто упоминалась некая Шарлотта, младшая сестра горничной, которая, как следовало из послания, намеревалась вступить в романтический, но безрассудный брак и тем приводила в ярость автора письма. Почтительный сын с ехидством насмеялся над эпистолярными талантами мамы, а она яростно защищалась. Странная пара. В свои, наверное, тридцать девять — сорок лет она выглядела здоровой и цветущей, как в двадцать. Душа и тело этой грубой, крикливой, самодовольной и пошлой женщины казались бесстыдными и несокрушимыми. Она, очевидно, с детства жила где-нибудь на постоялом дворе, а в молодости прислуживала в трактире.

К утру она завела речь о семье неких Уотсонов, как я поняла, она знает их давно и высоко чтит за щедрость, приносящую ей немалый доход. Она сообщила даже, что каждый раз, когда Уотсоны появляются на корабле, ей перепадает прямо-таки небольшое состояние.

На рассвете весь экипаж был на ногах, а с восходом солнца стали прибывать пассажиры. Уотсонов наша горничная приняла с неистовым восторгом, подняв нещадную суматоху. Семья эта состояла из двух мужчин и двух женщин. Помимо них была еще всего одна пассажирка — молодая девица, которую сопровождал чем-то удрученный джентльмен. Между двумя группами ощущался резкий контраст. Не вызывало сомнения, что Уотсоны — люди богатые, ибо они держались с самоуверенностью, свойственной людям, сознающим силу богатства. Одна из двух молодых дам отличалась совершенной красотой (я имею в виду телесную красоту), на обеих были роскошные яркие туалеты, на редкость неподходящие для морского путешествия: шляпки, украшенные яркими цветами, бархатные плащи и шелковые платья были бы уместны на гулянье в парке, а не на мокрой палубе пакетбота. Мужчины были оба низкорослы, некрасивы, толсты, с вульгарными манерами, причем старший, более уродливый, жирный и грубый, как вскоре выяснилось, был мужем — по-видимому, новобрачным, так как жена его была очень молода — юной красавицы. Открытие потрясло меня, особенно когда я обнаружила, что она

беспредельно весела, хотя, по-моему, должна бы испытывать глубокое отчаяние. «Этот безумный непрестанный смех, — подумала я, — наверное, свидетельствует о душевных муках». Как раз когда я в одиночестве стояла у борта и размышляла на эту тему, она, держа в руке складной стул, вприпрыжку приблизилась ко мне, совершенно ей незнакомой; на лице у нее играла улыбка, открывшая ровный ряд прелестных зубов, но смутившая и даже испугавшая меня беспечностью. Она предложила мне сесть на стульчик, но я, разумеется, с изысканной любезностью отказалась, и она, пританцовывая, удалилась, по-прежнему беззаботная и грациозная. Она, видимо, была не лишена добродушия, но что заставило ее выйти замуж за субъекта, который больше походил на бочонок, чем на человека?

Хорошенькая белокурая девушка, которую сопровождал немолодой джентльмен, казалась совсем юной. Простенькое платье из набивной ткани, соломенная шляпка без украшений и изящно накинутая широкая шаль составляли почти квакерский по скромности наряд, но ей он был к лицу. Я заметила, что джентльмен, раньше чем расстаться с ней, внимательно разглядывал всех пассажиров, словно пытаясь определить, в каком обществе останется его подопечная. В глазах у него, когда он отвел взгляд от нарядных дам, сверкнуло явное неудовольствие. Он посмотрел на меня и что-то сказал дочери, племяннице или кем там она ему приходилась. Она тоже взглянула на меня и неодобрительно скривила хорошенькие губки. Не знаю, что вызвало эту пренебрежительную гримаску — я сама или мой невзрачный траурный костюм, думаю, и то и другое. Прозвучал колокол, и отец (я потом узнала, что это ее отец) поцеловал дочь и сошел на берег. Наш корабль отправился в путь.

Иностранцы считают, что из всех женщин разрешить путешествовать в одиночку можно только англичанкам, но и то их крайне удивляют бесстрашие и доверие, проявляемые отцами и опекунами. Что же касается самих «jeunes meess»,^[14] то одни чужеземцы называют их смелость мужеподобной и «inconvenante»,^[15] а другие провозглашают их жертвами такой системы образования и религиозного воспитания, которая непредусмотрительно отвергает необходимый «surveillance».^[16] Не знаю, вернее, тогда не знала, относилась ли наша юная леди к разряду тех, кого можно спокойно оставить без надзора, но довольно скоро выяснилось, что благородное одиночество — не в ее вкусе. Она один или два раза прошлась по палубе, посмотрела с некоторым пренебрежением на щегольские шелка и бархат, вокруг которых увивались неуклюжие толстяки, и в конце концов подошла ко мне и заговорила.

— Вы любите морские путешествия? — спросила она.

Я объяснила ей, что моя любовь к путешествиям еще не подвергалась испытанию, поскольку я впервые ступила на борт судна.

— Ах, какая прелесть! — воскликнула она. — Я вам завидую, ведь первые впечатления так приятны, не правда ли? А я уж так привыкла плавать, что все забыла. Я просто blasée^[17] морем и всем прочим.

Я не смогла сдержать улыбку.

— Почему вы смеетесь надо мной?! — воскликнула она с искренней горячностью, которая понравилась мне больше, чем ее прежний тон.

— Потому что вы слишком молоды, чтобы чем-нибудь пресытиться.

— Но мне уже семнадцать лет, — ответила она несколько обиженным голосом.

— Вам не дашь больше шестнадцати. А вам нравится путешествовать одной?

— Вот еще! Я об этом и не думаю. Я уже десять раз переправлялась через Ла-Манш одна, но я всегда стараюсь приобрести на судне друзей, а не бродить в одиночку.

— Думаю, на этот раз вам не удастся завести здесь широкое знакомство, бросила я взгляд на Уотсонов, которые в это время громко хохотали и ужасно шумели на палубе.

— Ну, уж конечно, я не собираюсь знакомиться с этими противными господами, — заявила она, — им вообще-то место в третьем классе. Вы едете учиться?

— Нет.

— А куда?

— Не имею ни малейшего представления, кроме того лишь, что следую в порт Бумарин.

Она с удивлением посмотрела на меня, а потом зашебетала:

— А я возвращаюсь в школу. Господи, через сколько же школ за границей я прошла за свою жизнь! И все равно осталась неучем. Честное слово, я ничего, ну совсем ничего не знаю, умею только играть на фортепьяно и танцевать, да еще говорю по-французски и по-немецки, но читаю и пишу довольно плохо. Вот на днях меня дома попросили перевести страничку легкого немецкого текста на английский, а я не смогла. Папа был в ужасе; он говорит, что господин де Бассомпьер, мой крестный, — он платит за мое учение, — выбросил деньги зря. А в таких научных материях, как история, география, арифметика и тому подобное, я совсем дитя; по-английски я пишу очень плохо, мне все говорят, что и орфография и грамматика у меня никуда не годятся. Кроме всего прочего, я

и религию свою позабыла: меня называют протестанткой, а я и сама теперь не знаю, какой я веры, и не очень разбираюсь, в чем разница между католицизмом и протестантством. По правде говоря, меня это несколько не волнует. Когда-то, в Бонне, я была лютеранкой... милый Бонн!.. прелестный Бонн!.. там было так много красивых студентов. У всех хорошеньких девочек в нашей школе были поклонники, они знали, когда мы выходим на прогулку, и почти всегда проходили мимо нас со словами «Schönes Mädchen».^[18] В Бонне я была невероятно счастлива!

— А где вы теперь живете?

— В этой... как ее... в этой chose.^[19]

Мисс Джиневра Фэншо (так звали эту юную особу) подставляла «chose» вместо выскользнувшего из памяти нужного слова. Такая уж у нее была привычка — употреблять это словечко взамен другого, которое она не могла сразу вспомнить, на каком бы языке она в тот момент ни говорила. Так часто поступают француженки, от них она этому и научилась. В данном случае, как я выяснила, chose означало город Виллет — великую столицу великого королевства Лабаскур.

— Вам нравится Виллет?

— Пожалуй, да. Уроженцы Виллета ужасно глупы и вульгарны, но там живет несколько приятных английских семей.

— Вы учитесь в школе?

— Да.

— Хорошая школа?

— О нет, прегадкая! Но я каждое воскресенье ухожу оттуда, а в остальное время несколько не интересуюсь ни *maîtresses*,^[20] ни *professeurs*,^[21] ни *élèves*,^[22] а все уроки посылаю *au diable*,^[23] по-английски так говорить запрещено, а по-французски, правда ведь, это звучит вполне прилично, так что я восхитительно провожу время... Вы опять надо мной смеетесь?

— Нет, я улыбаюсь собственным мыслям.

— А о чем вы думаете? — И не дожидаясь ответа: — Пожалуйста, скажите мне, куда же вы едете?

— Туда, куда приведет меня судьба. Мне нужно найти место, где я смогу зарабатывать на жизнь.

— Зарабатывать? (В изумлении.) Значит, вы бедная?

— Как Иов.^[24]

Пауза. Потом:

— Ах, как неприятно! Но я-то знаю, что такое бедность, папа и мама и

все дома — бедные. Папу зовут капитан Фэншо, он офицер на половинном жалованье, но благородного происхождения, а вообще у нас есть знатные родственники, но единственный, кто нам помогает, — это мой дядя и крестный де Бассомпьер, он живет во Франции и платит за наше ученье. У меня пять сестер и три брата. Нам предстоит со временем выйти замуж за людей пожилых и, как я полагаю, достаточно состоятельных — это забота папы и мамы. Моя сестра Августа уже замужем, и муж ее выглядит гораздо старше папы. Августа очень красивая, правда, не в моем вкусе — слишком смуглая, а ее муж, мистер Дэвис, болел желтой лихорадкой в Индии и до сих пор какого-то желтовато-золотистого цвета, но зато богат, у Августы есть своя карета и положение в обществе, и мы считаем, что у нее все получилось очень удачно. Во всяком случае, так лучше, чем «зарабатывать на жизнь», как вы выражаетесь. Кстати, а вы получили хорошее воспитание?

— Отнюдь.

— Ну, вы умеете играть на фортепьяно, танцевать, говорить на трех-четырех языках?

— Нет, конечно.

— А мне все-таки кажется, что вы хорошо воспитаны. — Пауза и зевок. — У вас бывает морская болезнь?

— А у вас?

— О, ужасная! Она начинается, как только я увижу море. Пойду вниз; придется иметь дело с этой противной толстой горничной! Neureusement je sais faire aller mon monde.^[25]

И она отправилась вниз.

Вскоре за ней последовали остальные пассажиры, и вторую половину дня я провела на палубе одна. Когда я вспоминаю то спокойное и даже радостное настроение, в котором пребывала в часы одиночества, несмотря на мое шаткое, иной бы сказал, безнадежное положение, я понимаю, что

Не в четырех стенах — тюрьма,

Не в кандалах неволя.^[26]

Нет, опасность, одиночество, туманное будущее не страшны, если человек здоров душой и телом и может найти применение своим способностям, они совсем не страшны, пока Свобода несет нас на своих крыльях, а путь нам указывает звезда Надежды.

Меня укачало только после Маргита. Какое несказанное наслаждение

ощутила я, вдыхая морской ветерок! В какой божественный восторг приводила меня вздымающаяся волна с чайкой на гребне, белые паруса в туманной дали и надо всем этим — облачное, но безмятежное небо. В моих грезах мне даже померещилась вдалеке Европа — огромная сказочная страна. Под лучами солнца берег ее казался длинной золотистой полосой; перед глазами возникла рельефная, сверкающая металлическим блеском панорама — игрушечные контуры города с тесно сгрудившимися домами и снежно-белой башней, темные пятна лесов, зубчатые горные вершины, ровные пастбища и тонкие нити рек. Панорама разворачивалась на фоне величественного темно-голубого неба, а по нему, сияя волшебными красками, с севера на юг раскинулась вестница радости и надежды богом ниспосланная радуга.

Читатель, если угодно, вычеркните из памяти, а нет — запомните эту примету в форме аллитерированного изречения: «Сон наяву — сатанинский соблазн» — и подумайте, какая здесь скрыта мораль. Меня сильно укачало, и я, нетвердо ступая, побрела вниз.

Койка мисс Фэншо оказалась рядом с моей. Должна признаться, что все время, пока нам обоим было худо, она терзала меня своим неумным эгоизмом. Нельзя себе представить более нетерпеливого и капризного человека. По сравнению с ней Уотсоны, тоже страдавшие от морской болезни (горничная ухаживала за ними, не скрывая своего предпочтения), выглядели просто стойками. Впоследствии я неоднократно наблюдала женщин, обладающих, подобно Джиневре Фэншо, легкомысленным характером и хрупкой красотой и неспособных переносить трудности, киснувших от невзгод, как слабое пиво от грозы. Мужчина, взявший в жены такую женщину, должен знать, что обязан обеспечить ей безоблачное существование. Наконец, доведенная до полного негодования ее назойливыми стенаниями, я резко потребовала, чтобы она «прикусила язык». Моя невежливость оказала на нее благотворное влияние и даже не изменила ее отношения ко мне.

С наступлением ночи волнение на море усилилось — волны вздымались выше и гулко бились о борт корабля. Страшно было сознавать, что нас окружают лишь мрак и вода, а корабль, невзирая на грохот, волны и шторм, безошибочно следует по своему невидимому пути.

Мебель стала ездить по полу, и ее пришлось закрепить. Пассажиры совсем разболелись, а мисс Фэншо стонущим голосом заявила, что умирает.

— Повремените, душечка, — обратилась к ней горничная, — мы уже входим в порт.

И действительно, через четверть часа все кругом стихло, и около полуночи наше путешествие завершилось.

Мне стало грустно, да, да, грустно, ибо отдых мой пришел к концу и вновь предо мной встали труднопреодолимые препятствия. На палубе холодный воздух и грозная мгла ночи, казалось, осуждали меня за то, что я осмелилась появиться здесь. Огни чужого города, сверкавшие вокруг чужой гавани, подобно бесчисленному множеству глаз, с угрозой глядели на меня. Уотсонов встретили друзья, и целая стайка приятелей окружила и увлекла за собой мисс Фэншо, а я... но я не смела даже сравнивать свое и их положение.

Но все же куда мне идти? Ведь куда-то я должна деваться. Бедность не может быть слишком разборчивой. Вручая горничной вознаграждение — она, очевидно, приятно поразилась, получив из источника, на который, по своей грубости, мало надеялась, монету довольно высокого достоинства, — я промолвила: «Не считите за труд указать мне тихую приличную гостиницу, где я могла бы переночевать».

Она не только выполнила мою просьбу, но даже вызвала посыльного и велела ему позаботиться обо мне — именно обо мне, а не о моем чемодане, который находился в таможне.

Я последовала за этим человеком по грубо вымощенной улице, освещаемой лишь мерцающим светом луны, и он привел меня к гостинице. Я дала ему монету в полшиллинга, но он отказался, и я, решив, что этого недостаточно, протянула ему шиллинг, но он и его отверг, довольно возбужденно что-то доказывая на неизвестном мне языке. Слуга, появившийся в освещенной лампой передней, объяснил мне на ломаном английском, что мои иностранные деньги здесь не в ходу. Тогда я дала посыльному соверен, и эта маловажная проблема была разрешена. Я попросила показать мне мою комнату; морская болезнь давала еще себя знать, я обессилела и вся дрожала, поэтому ужинать мне не хотелось. Как я была счастлива, когда дверь маленькой комнатки наконец закрылась и я осталась наедине со своей усталостью. Я опять получила возможность отдохнуть, хотя знала, что завтра сомнения мои не рассеются, необходимость напрячь все силы станет еще более настоящей, опасность нищеты возрастет, борьба за существование ожесточится.

Глава VII

ВИЛЛЕТ

Однако на следующее утро я проснулась со свежими силами и обновленной душой; физическая слабость больше не действовала притупляюще на мою способность мыслить здраво, и разум мой был ясен и деятелен.

Я только успела одеться, как в дверь постучали. «Войдите», — сказала я, полагая, что это горничная, но в комнату вошел мужчина с грубым лицом и буркнул:

— Тайте фаши клюши, миис.

— Зачем? — удивилась я.

— Тайте, — нетерпеливо повторил он и, чуть ли не выхватив их у меня из рук, добавил: — Вот и хорошо! Скоро полушит свой шимодан.

К счастью, все окончилось благополучно: он оказался служащим таможни. Я понятия не имела, где можно позавтракать, но решила, не без колебаний, спуститься вниз.

Я только теперь обратила внимание на то, чего из-за крайней усталости не заметила накануне, — эта гостиница оказалась большим отелем. Спускаясь по широкой лестнице и задерживаясь на каждой ступеньке (на сей раз я была на редкость медлительна), я во все глаза смотрела на высокие потолки, на расписанные стены, на широкие окна, пропускавшие потоки света, на мрамор с прожилками, по которому я шагала (ступеньки были мраморные, но не очень чистые; на лестнице не было ковров), и, сопоставляя все это с размерами чулана, предоставленного мне в качестве комнаты и отличавшегося чрезвычайной скромностью, я предалась философическим размышлениям.

Меня поразила прозорливость, с которой слуги и горничные распределяют между гостями удобства пропорционально их достоинству. Каким образом слуги в гостиницах и горничные на судне с первого взгляда знают, что я, например, лицо, не занимающее почетного положения в обществе и не обремененное капиталом? А они это несомненно знают, и я отлично видела, что все они, производя мгновенный расчет, оценивали меня с точностью до одного пенса. Явление это представлялось мне странным и полным скрытого смысла. Я понимала, в чем тут суть, и мне удавалось не падать духом под гнетом подобных обстоятельств.

Наконец я все же добрела до просторного вестибюля, полного света и воздуха, и заставила себя открыть дверь в ресторан. Не стану скрывать, этот порог я переступила с трепетом, ощущая неуверенность, незащищенность и приниженность. Больше всего я хотела знать, веду ли я себя как положено, но, убежденная в том, что все время совершаю ошибки, ничего не могла с этим поделать. Положившись на милость судьбы, я села за маленький столик, официант принес мне какой-то завтрак, который я ела, пребывая в настроении, не способствующем аппетиту. За другими столиками завтракало множество людей, и я чувствовала бы себя гораздо лучше, окажись среди них хоть одна женщина, но, увы, все присутствующие были мужчины. Однако никто из них, по-видимому, не видел ничего необычного в моем поведении: кое-кто взглядывал на меня невзначай, но и только. Полагаю, если они и заметили что-нибудь странное, то нашли этому объяснение — Anglaise!^[27]

Завтрак окончен, и я вновь должна куда-то идти, но в каком же направлении мне двигаться? «В Виллет», — ответил мне внутренний голос, несомненно, разбуженный воспоминанием о небрежно брошенной фразе, которую наобум произнесла мисс Фэншо, когда мы прощались: «Хорошо бы, вы приехали в пансион мадам Бек, там у нее есть бездельницы, которых вы могли бы опекать. Ей нужна, во всяком случае, два месяца тому назад была нужна, гувернантка-англичанка».

Кто такая мадам Бек, где она живет, я не имела представления, но когда я спросила мисс Фэншо, она, торопясь поскорее уйти с друзьями, вопроса моего не расслышала и ничего не ответила. Я предположила, что она живет в Виллете, — туда я и поеду. Отсюда до Виллета сорок миль. Я понимала, что хватаюсь за соломинку, но, попав в такой клокочущий водоворот, рада была ухватиться и за паутину. Узнав, как доехать до Виллета, и обеспечив себе место в дилижансе, я, руководствуясь лишь смутным контуром или даже тенью плана дальнейших действий, отправилась в путь. Читатель, раньше чем осудить меня за безрассудство, вспомните, с чего я начала, подумайте, из какой пустыни я выбралась, заметьте, сколь малым я рисковала, ибо вела игру, где терять уже нечего, но зато можно выиграть.

Артистический темперамент мне не свойствен, однако я очевидно обладаю способностью радоваться сегодняшнему дню, если для этого есть хоть какие-нибудь основания. Вот я и получала удовольствие, несмотря на холод и дождь, да и ехали мы очень медленно. Мы двигались по довольно однообразной и пустынной дороге, вдоль которой полусонными зелеными змеями тянулись илистые канавы и плоские поля, разделенные, словно

огородные грядки, рядами чинных подстриженных ив. И небо было монотонно серым, воздух — душным и влажным, но даже в столь унылой обстановке фантазия моя разыгралась, а на душе потеплело. Однако скрытое, но непреходящее чувство тревоги, как тигр, притаившийся перед прыжком, подстерегало и сдерживало вспышки радости. Дыхание хищника непрестанно звучало у меня в ушах, его свирепое сердце билось рядом с моим, он не шевелился в своем логовище, но я все время ощущала его присутствие — я знала, что алчный зверь ждет сумерек, чтобы выскочить из засады.

Я рассчитывала попасть в Виллет до наступления ночи и таким образом избежать осложнений, которыми всегда сопровождается ночное прибытие в чужие края, но мы ехали так медленно и делали такие долгие остановки — да к тому еще поднялся густой туман и шел мелкий, но обложной дождь, — что, когда мы подъехали к окраине города, его уже окутала темнота.

При свете фонаря мне удалось увидеть, как мы въезжаем в ворота, охраняемые стражей. Затем, оставив позади грязный тракт, мы с грохотом поехали по удивительно неровной и каменистой дороге. У станционной конторы дилижанс остановился, и пассажиры вышли. Раньше всего мне нужно было забрать чемодан — дело как бы несерьезное, но для меня весьма важное. Понимая, что лучше не проявлять назойливости и нетерпения, а спокойно наблюдать за разгрузкой багажа и, когда появится мой, получить его, я отошла в сторону и стала внимательно смотреть на крышу экипажа, куда, я видела, поставили мой чемодан, а потом навалили целую груду сумок и коробок. Их постепенно снимали и отдавали владельцам. Наконец должен был показаться и мой чемодан, но его не было. Я привязала к нему зеленой ленточкой карточку с указанием места назначения, чтобы сразу узнать его, но теперь не замечала и обрывка чего-нибудь зеленого. Сняли все чемоданы и свертки, с крыши сдернули клеенчатую покрывку, стало совершенно очевидно, что там не осталось ни единого зонтика или плаща, ни единой трости, ни коробки для шляп или для других туалетов.

А где же мой чемодан с небольшим запасом платьев и записной книжкой, в которой хранится остаток от моих пятнадцати фунтов?

Сейчас-то я могу задать этот вопрос, но тогда это было невозможно, ибо говорить по-французски я совершенно не умела, а здесь слышался только французский язык, и мне казалось — на нем говорит весь мир. Что же мне делать? Я подошла к кондуктору, тронула его за рукав и показала сначала на чей-то чемодан, а потом на крышу дилижанса, пытаюсь

изобразить на лице вопрос. Он меня не понял — схватил указанный мною чемодан и собрался было закинуть его на крышу экипажа.

— Поставьте на место! — воскликнул кто-то с хорошим английским произношением, но, спохватившись, добавил по-французски: — Qu'est-ce que vous faites donc? Cette malle est a moi.^[28]

Но я уже уловила родные звуки, обрадовалась и повернулась к говорившему:

— Сэр, — обратилась я к незнакомцу, от огорчения даже не обратив внимания, каков он, — я не умею говорить по-французски. Могу ли я просить вас узнать у этого человека, что произошло с моим чемоданом?

Не разобравшись еще, что за лицо у незнакомца, я все-таки успела заметить на нем удивление столь странной просьбе и колебание по поводу того, стоит ли вмешиваться.

— Пожалуйста, спросите! Я бы для вас это сделала, — настаивала я.

Не знаю, улыбнулся ли он, но я услышала слова, сказанные тоном воспитанного человека — не жестким и не отпугивающим:

— Какой у вас чемодан?

Я описала его, не забыв упомянуть и зеленую ленточку. Тогда он взял кондуктора под руку, и я по бурному потоку французской речи догадалась, что он допрашивает его с пристрастием. Затем он вернулся ко мне.

— Этот малый утверждает, будто дилижанс был перегружен, и сознается, что вытащил ваш чемодан из багажа еще в Бумарине и оставил его с другими вещами. Он обещает завтра же его забрать. Таким образом, послезавтра вы его получите в целости и сохранности.

— Благодарю вас, — промолвила я, но сердце у меня замерло.

Как же мне поступить? Англичанин, наверное, уловил по выражению моего лица, что мужество покинуло меня, и мягким голосом спросил:

— У вас есть знакомые в этом городе?

— Нет, я никого здесь не знаю.

Последовала недолгая пауза, в течение которой я успела разглядеть — он повернулся, и фонарь ярко осветил его лицо, — что это молодой, благородный и красивый человек. Мне он представился лордом или даже принцем — так щедро наградила его природа. Лицо у него было чрезвычайно приятное, в манерах чувствовалась гордость, но не высокомерие, достоинство, но не властность. Не осмеливаясь искать помощи у человека столь высокого звания, я сделала шаг, чтобы уйти. Но он остановил меня и спросил:

— В чемодане остались все ваши деньги?

Как благодарна была я судьбе, что могу ответить чистую правду:

— Нет, мне хватит денег (у меня в кошельке было почти двадцать франков), чтобы прожить в гостинице до послезавтра, но я здесь впервые и не знаю, где гостиницы и как к ним пройти.

— Могу дать вам адрес такой гостиницы, какая вам нужна, — успокоил он меня, — я вам объясню, где она, это совсем близко, и вы легко ее найдете.

Он вырвал листок из записной книжки, написал несколько слов и отдал мне. Я еще раз убедилась в его доброте, а не верить ему или его советам и адресу, который он вручил мне, было для меня почти так же невозможно, как не верить Библии. Лицо его светилось великодушием, а выразительные глаза честностью.

— Самый короткий путь туда — по бульвару и затем через парк, продолжал он, — но сейчас слишком темно и поздно, нельзя идти одной через парк, я вас провожу.

И мы двинулись в полной темноте, под сплошным морозящим дождем, он впереди, я — следом. На бульваре не было ни души, мы шли по грязной дороге, с деревьев стекала вода; в парке было темно, как глубокой ночью. Мой проводник скрылся из глаз в густом мраке деревьев и тумана, и я шла за ним, руководствуясь лишь звуком его шагов. Я ничего не боялась; думаю, я была бы готова следовать за его легкой поступью на край света.

— Теперь, — сказал он, когда мы пересекли парк, — идите по этой широкой улице до лестницы, освещенной двумя фонарями, — вы сразу ее заметите; спустившись по ней, вы выйдете на узкую улочку, а там и гостиница. Там говорят по-английски, и вам сразу станет легче. Спокойной ночи.

— Доброй ночи, сэр, — ответила я, — примите мою самую искреннюю благодарность. — И мы расстались.

Еще долгое время спустя тешило меня сладостное воспоминание о его лице, которое светилось сочувствием к одиноким, и о его манере говорить, выражавшей рыцарское отношение к бедным и слабым, молодым и неопытным. Этот юный джентльмен был истинным англичанином.

Я быстро пошла по великолепной улице, затем по площади, окаймленной величественными зданиями, над которыми вознеслись контуры высоких куполов и шпилей, вероятно, дворцов или храмов — мне трудно было разобрать. Как раз когда я проходила вдоль какого-то портика, из-за колонн внезапно выскочили двое усатых мужчин с сигарами в зубах. Одеждой они старались походить на джентльменов, но, бедняги, какие плебейские у них были лица! Они заговорили со мной наглым тоном и не отставали от меня ни на шаг, хотя я шла очень быстро. К счастью, нам

встретился патруль, и моим преследователям пришлось ретироваться. Однако они успели довести меня до полуобморочного состояния, и, когда я пришла в себя, оказалось, что я понятия не имею, где нахожусь, с гулко бьющимся сердцем я остановилась в полной растерянности. Я боялась далее подумать о новой встрече с этими усатыми хихикающими болванами, но надо было разыскать указанную мне дорогу.

В конце концов я подошла к каким-то ветхим ступенькам и, уверенная в том, что именно о них шла речь, спустилась вниз. На улице, куда я попала, действительно узкой, не оказалось никакой гостиницы. Я побрела дальше. На очень тихой, сравнительно чистой и хорошо вымощенной улице я заметила горящий фонарь, а под ним дверь, ведущую в довольно большой дом, на один этаж выше соседних зданий. Может быть, это и есть гостиница? Хотя у меня от усталости подкашивались ноги, я ускорила шаг.

Но, увы, дом этот не был гостиницей. Медная дощечка, прикрепленная над входом, гласила: «Пансион для девиц», ниже — «Мадам Бек».

Я вздрогнула. За одно мгновение десятки мыслей пронеслись у меня в мозгу, но временем подумать и принять какое-либо решение я не располагала. Провидение шепнуло мне: «Войди сюда. Здесь ты и найдешь приют». Судьба возложила на меня свою могучую длань, подчинила себе мою волю, управляла моими действиями — я позвонила в дверь.

Стоя в ожидании, я ни о чем не думала, а лишь пристально смотрела на камни мостовой, освещаемые фонарем, считала их, разглядывала их форму и блеск воды на зубриках. Затем я позвонила вновь. Наконец дверь отворилась; передо мной стояла служанка в изящной наkolке.

— Можно мне видеть мадам Бек? — спросила я.

Думаю, что, если бы я говорила по-французски, она бы меня не пустила, но, поскольку я изъяснялась по-английски, она решила, что я учительница из-за границы, приехавшая по делу, связанному с пансионом, и даже в столь поздний час разрешила мне войти без неудовольствия или колебания.

Через минуту я уже сидела в холодной сверкающей гостиной с незажженным изразцовым камином, позолоченными украшениями и натертым до глянца полом. Часы с маятником, стоявшие на каминной доске, пробили девять.

Прошло минут пятнадцать. Нервы у меня были напряжены до крайности, меня бросало то в жар, то в холод. Я неотрывно глядела на дверь — большую белую створчатую дверь, отделанную позолоченными украшениями. Я ждала, чтобы дрогнула и открылась хоть одна створка, но все было тихо, недвижно, белые двери не шелохнулись.

— Вы англиссанка? — раздался рядом со мной голос. Я чуть не подпрыгнула, столь неожиданно прозвучали эти слова, столь уверена я была, что нахожусь в полном одиночестве. Около меня витал не дух или призрак, а стояла довольно полная коренастая женщина, в наброшенной домашнему шали, капоте и чистом, нарядном чепце.

Я ответила на ее вопрос утвердительно, и мы тотчас же, без всякого вступления, завязали весьма примечательный разговор. Мадам Бек (а это была сама мадам Бек — она вошла через маленькую дверь у меня за спиной, на ней были домашние туфли, и поэтому я не слышала, как она появилась и подошла ко мне) — итак, мадам Бек израсходовала все свои познания в английском языке, произнеся фразу «Вы англиссанка?», и вынуждена была сразу перейти на французский, я же отвечала ей по-английски. Она в известной степени понимала меня, но, поскольку я решительно ничего не понимала и мы обе оглушительно кричали (я не только никогда не встречала, но и вообразить не могла такого удивительного дара речи, каким обладала мадам Бек), то ощутимого успеха нам добиться не удалось. Вскоре она позвонила, чтобы получить помощь, появившуюся в виде *maitresse*, которая какое-то время воспитывалась в ирландском монастыре и поэтому считалась отличным знатоком английского языка. Что за лицемерная особа была эта наставница — типичная уроженка Лабаскура! Как терзала она язык Альбиона! Все же она перевела мой нехитрый рассказ. Я поведала ей, как покинула родину, чтобы лучше узнать мир и заработать себе на жизнь, я заявила, что готова выполнять любую работу, если она приносит пользу, а не вред, что согласна стать няней при ребенке, компаньонкой у какой-нибудь дамы или даже заниматься посильной домашней работой. Мадам все это слушала, и по выражению ее лица мне показалось, что рассказ мой дошел до ее сознания.

— Il n'y a que les Anglaises pour ces sortes d'entreprises, — изрекла она, — sont-elles donc intrepides ces femmes-la!^[29]

Она спросила, как меня зовут и сколько мне лет. Смотрела она на меня без сочувствия и без интереса — ни тени участия или сострадания на лице. Я поняла, что она не принадлежит к тем людям, которыми правят чувства. Она глядела на меня серьезно и пристально, изучая и оценивая мой рассказ.

Послышался звук колокольчика.

— Voila pour la priere du soir,^[30] — сказала она и встала. Через переводчицу она распорядилась, чтобы сейчас я ушла, а завтра утром вернулась, но меня это не устраивало; я и подумать не могла об опасностях, которые ждут меня на темной улице. Внутренне горячась, но сохраняя

приличествующую случаю сдержанность, я обратилась непосредственно к ней, не обращая внимания на maitresse.

— Смею вас уверить, мадам, что, если вы воспользуетесь моими услугами немедленно, вы не только не проиграете, но извлечете из этого выгоду. Вы сможете убедиться в том, что я честно отрабатываю назначенное мне жалованье. Если вы намерены взять меня к себе на службу, то лучше, чтобы я осталась на ночь у вас. Ведь не имея здесь знакомых и не владея французским языком, я лишена возможности найти пристанище.

— Пожалуй, вы правы, — согласилась она, — но вы можете предъявить хоть какую-нибудь рекомендацию?

— У меня ничего нет.

Она поинтересовалась, где мой багаж, я объяснила ей, когда он прибудет. Она задумалась. В этот момент из вестибюля донесся звук мужских шагов, быстро направляющихся к парадной двери. (Тут я поведу рассказ так, как будто тогда я понимала, что происходит, на самом же деле я почти ничего не уловила, но впоследствии мне все перевели.)

— Кто это там? — спросила мадам Бек, прислушиваясь к шагам.

— Господин Поль, — ответила учительница. — Он вел вечерние занятия в старшем классе.

— Он-то мне и нужен! Позовите его.

Учительница подбежала к двери и окликнула господина Поля. Вошел коренастый, смуглый человек в очках.

— Кузен, — обратилась к нему мадам Бек, — хочу выслушать ваше мнение. Всем известно, как вы искусны в физиогномике. Покажите свое мастерство и исследуйте это лицо.

Человек уставился на меня через очки. Плотные сжатые губы и наморщенный лоб, должно быть, означали, что он видит меня насквозь и никакая завеса не может скрыть от него истину.

— Мне все ясно.

— Et qu'en dites-vous?^[31]

— Mais bien de choses,^[32] — последовал ответ прорицателя.

— Но плохое или хорошее?

— Несомненно, и то, и другое.

— Ей можно доверять?

— Вы ведете переговоры по серьезному вопросу?

— Она хочет, чтобы я взяла ее к себе на должность бонны или гувернантки. Рассказала о себе вполне убедительную историю, но не может

представить никаких рекомендаций.

— Она иностранка?

— Видно же, что англичанка.

— По-французски говорит?

— Ни слова.

— Понимает?

— Нет.

— Значит, в ее присутствии можно говорить открыто?

— Безусловно.

Он вновь пристально взглянул на меня.

— Вы нуждаетесь в ее услугах?

— Они бы мнегодились. Вы ведь знаете, как мне отвратительна мадам Свини.

Он опять внимательно всмотрелся в меня. Окончательное суждение было таким же неопределенным, как и все предшествующее.

— Возьмите ее. Если в этой натуре восторжествует доброе начало, то ваш поступок будет вознагражден, если же — злое, то... eh, bien! ma, cousine, ce sera toujours une bonne oeuvre. ^[33]

Поклонившись и пожелав bon soir, ^[34] сей неуверенный вершитель моей судьбы исчез.

Мадам все-таки в тот вечер взяла меня к себе на службу, и милостью божией я была избавлена от необходимости вернуться на пустынную, мрачную, враждебную улицу.

Глава VIII

МАДАМ БЕК

Поступив в распоряжение *maitresse*, я прошла за ней по узкому коридору в кухню — очень чистую, но для английского глаза непривычную. Сначала мне показалось, что в ней нет ничего для приготовления пищи — ни очага, ни плиты, но выяснилось, я просто не поняла, что огромная печь, занимающая целый угол, отлично заменяет и то и другое. Гордыня еще не обуяла мое сердце, но все же я ощутила облегчение, когда убедилась, что меня не оставили в кухне, чего я несколько опасалась, а провели в небольшую заднюю комнатку, которую здесь называли «чулан». Кухарка в кофте, короткой юбке и деревянных башмаках подала мне ужин — мясо неизвестного происхождения под странным кисловатым, но приятным соусом, картофельное пюре, приправленное сама не знаю чем — вероятно, уксусом и сахаром, тартинку, т. е. тонкий ломтик хлеба с маслом, и печеную грушу. Я была благодарна за ужин и ела с аппетитом, так как проголодалась.

После *priere du soir*^[35] явилась сама мадам, чтобы вновь взглянуть на меня. Она провела меня через несколько чрезвычайно тесных спален — позднее мне стало известно, что некогда они служили монахиням кельями, эта часть дома и впрямь была древней — и через часовню — длинный, низкий, мрачный зал с тусклым распятием на стене и двумя слабо горящими восковыми свечами. Мы вошли в комнату, где в маленьких кроватках спало трое детей. Здесь было душно и жарко от натопленной печи, да к тому же пахло чем-то отнюдь не нежным, а скорее крепким; аромат этот, столь неожиданный в детской комнате, напоминал смесь дыма и спиртовой эссенции, короче — запах виски.

Около стола, на котором шипел и угасал огарок оплывшей до самого подсвечника свечи, крепко спала, сидя на стуле, грузная женщина в широком, полосатом, ярком шелковом платье и совершенно не подходящем к нему накрахмаленном переднике. Для полноты и точности картины следует отметить, что рядом с рукой спящей красавицы стоял пустой стакан.

Мадам созерцала эту живописную сцену с полным спокойствием: лицо ее оставалось по-прежнему твердым — ни улыбки, ни неудовольствия, ни гнева, ни удивления, она даже не разбудила женщину! Невозмутимо указав

на четвертую кровать, она дала мне понять, что здесь мне предстоит провести ночь. Затем она потушила свечу, заменила ее ночником и тихо выскользнула в соседнюю комнату, оставив дверь открытой, так, что была видна ее спальня — большая и хорошо обставленная.

Одни лишь благодарственные молитвы возносила я, отходя ко сну в тот вечер. Сколь удивительная сила направляла меня тогда, сколь неожиданной была забота обо мне. Трудно было поверить, что не прошло и двух суток с тех пор, как я покинула Лондон, ведь я была беззащитна, как перелетная птица, а впереди виднелся лишь расплывчатый, туманный контур Надежды.

Я всегда спала чутко, и на сей раз в глухую полночь я внезапно проснулась. Кругом царила тишина, а передо мной белела фигура — мадам в ночной рубашке. Неслышно двигаясь, она обошла троих детей и приблизилась ко мне. Я притворилась спящей, и она долго на меня смотрела. Затем последовала странная пантомима. Добрых четверть часа она просидела на краю моей постели, пристально вглядываясь мне в лицо. Потом придвинулась еще ближе, наклонилась ко мне, слегка приподняла мой чепец и отвернула оборку, чтобы открыть волосы, затем посмотрела на мою руку, лежавшую поверх одеяла. Прodelав все это, она повернулась к стулу, стоящему в ногах кровати, на котором висела моя одежда. Услышав, что она трогает и поднимает со стула мои вещи, я осторожно приоткрыла глаза, потому что, признаюсь, мне было очень интересно, как далеко заведет ее тяга к изысканиям, а довела она ее до того, что мадам подвергла тщательному изучению каждый предмет моего туалета. Я догадалась, что она руководствовалась желанием определить по одежде, какое положение занимает хозяйка платья, какими средствами располагает, аккуратна ли и т. д. Цель она преследовала разумную, но средства ее достижения едва ли можно считать благородными или заслуживающими оправдания. Она вывернула карман моего платья, пересчитала деньги в кошельке, открыла мою записную книжку и хладнокровно просмотрела ее содержимое, вынув хранившуюся между листками заплетенную прядку седых волос мисс Марчмонт. Особое внимание она уделила связке ключей, их было три — от чемодана, секретера и рабочей шкатулки; с этой связкой она ненадолго скрылась в своей комнате. Я бесшумно приподнялась в постели, стала наблюдать за ней. Читатель! Она принесла ключи обратно лишь после того, как сняла с них слепок на куске воска, который положила к себе на туалетный столик. Совершив все эти дела благопристойно и в надлежащем порядке, она вернула все мое имущество на место, а платье тщательно сложила и повесила на стул. Какие же выводы сделала она из проведенного

осмотра? Благоприятные для меня или нет? Тщетно спрашивать. На каменном лице мадам (ночью оно выглядело именно каменным, хотя, как я уже говорила, в гостиной у нее был уютный, домашний вид) невозможно было найти ответ на эти вопросы.

Выполнив свой долг, а я чувствовала, что она рассматривает всю эту процедуру как долг, мадам бесшумно, подобно тени, поднялась и пошла к своей комнате, у двери она обернулась и устремила взгляд на поклонницу Вакха, которая все еще спала, издавая громкий храп. В этом взгляде таился приговор миссис Свини (полагаю, что на языке англов или ирландцев ее имя пишется и произносится Суини), окончательное решение ее судьбы. Мадам изучала прегрешения своих подчиненных неспешно, но уверенно. Все это выглядело очень не по-английски; да, я несомненно находилась в чужой стране.

На следующий день я познакомилась с миссис Суини несколько ближе. По-видимому, она представилась своей нынешней начальнице как английская леди в стесненных обстоятельствах, уроженка Мидлсекса, говорящая по-английски с чистейшим лондонским произношением. Мадам, уверенная в своем безошибочном умении со временем обнаруживать истину, удивительно смело, не раздумывая, нанимала людей к себе на службу (что подтвердилось и на моем примере). Миссис Суини стала бонной троих детей мадам. Вряд ли нужно объяснять читателям, что на самом деле эта дама родилась в Ирландии, о ее истинном положении в обществе я не берусь судить, но она отважно заявила, что в свое время ей «доверили воспитание сына и дочери одного маркиза». Я лично полагаю, что она скорее была приживалкой, няней, кормилицей или прачкой в какой-нибудь ирландской семье. Говорила она на каком-то невнятном языке, приправленном грамматическими особенностями кокни. Неизвестным образом ей удалось приобрести гардероб, отличавшийся подозрительной роскошью — платья из плотного дорогого шелка, явно с чужого плеча, которые сидели на ней довольно скверно, чепцы с оборками из настоящих кружев и, наконец, главный пункт этой описи — настоящую индийскую шаль. Чары этой шали помогали миссис Суини вызывать благоговение среди обитателей дома, временно смягчая презрительное отношение к ней учителей и прислуги, а когда складки величественного одеяния ниспадали с ее широких плеч, то даже сама мадам Бек с искренним восхищением и удивлением говорила: *un veritable cachemire*.^[36] Я уверена, что если бы не «кашемировая шаль», миссис Суини не продержалась бы в пансионе и двух дней, только благодаря этому чуду она сохраняла свое положение в течение целого месяца.

Когда миссис Суини узнала, что мне предстоит занять ее место, она показала себя в полную силу — яростно напала на мадам Бек, а потом всей тяжестью обрушилась на меня. Мадам перенесла эту метаморфозу и тяжкое испытание столь мужественно, даже стоически, что и я, боясь опозориться, вынуждена была сохранять хладнокровие. Мадам Бек неожиданно отлучилась из комнаты, и через десять минут у нас появился полицейский. Миссис Суини пришлось удалиться вместе с пожитками. Во время всей сцены мадам Бек ни разу не нахмурилась и не произнесла ни одного резкого слова.

Процедуру увольнения провели быстро и завершили до завтрака: приказ удалиться отдан, полицейский вызван, бунтовщица удалена, *chambre d'enfants*^[37] подвергнута окуриванию и вымыта, окна открыты, и все следы благовоспитанной миссис Суини, в том числе и нежный аромат эссенции и спирта, который оказался фатальным свидетельством всех ее «как будто прегрешений»,^[38] были стерты и навсегда исчезли с улицы Фоссет. Все это, повторяю, произошло в промежутке между мгновением, когда мадам Бек возникла, подобно утренней Авроре, в дверях своей комнаты, и моментом, когда она спокойно уселась за стол, чтобы налить себе первую чашку утреннего кофе.

Около полудня меня призвали одевать мадам. (По-видимому, мне надлежало стать некоей помесью гувернантки с камеристкой.) До полудня она бродила по дому в капоте, шали и бесшумных комнатных туфлях. Как отнеслась бы к таким манерам начальница английской школы?

Я не могла справиться с ее прической. У нее были густые каштановые волосы без седины, хотя ей уже минуло сорок лет. Заметив мое замешательство, она высказала предположение: «Вы, наверно, не служили горничной у себя на родине», после чего взяла у меня из рук щетку, мягко отстранила меня и причесалась сама. Продолжая одеваться, она мне то помогала, то подсказывала, что делать, причем ни разу не позволила себе выразить неудовольствие или нетерпение. Следует заметить, что это был первый и последний раз, когда мне предложили одевать ее. В дальнейшем эту обязанность исполняла Розина привратница.

Одетая должным образом, мадам Бек являла собой женщину невысокую и несколько грузную, но по-своему изящную, ибо сложена она была пропорционально. Цвет лица у нее был свежий, щеки — румяные, но не пунцовые, глаза — голубые и ясные; темное шелковое платье сидело на ней так, как может заставить его сидеть только портниха-французенка. Вид у нее был приятный, но в соответствии с ее внутренней сущью несколько

буржуазный. Несомненно, весь ее облик был гармоничен, однако лицо казалось противоречивым: черты его никак не сочетались с румянцем и выражением покоя — они были жесткими, высокий и узкий лоб свидетельствовал об уме и некоторой благожелательности, но не о широте душевной, а в ее спокойном, но настороженном взгляде никогда не светился сердечный огонь и не мелькала душевная мягкость; губы у нее были тонкие, твердый рот иногда искажался злой гримасой. Мне представлялось, что при ее острой восприимчивости и больших способностях, сочетающихся с внешней мягкостью и смелостью, она поистине была Минос^[39] в юбке.

В дальнейшем я обнаружила, что она была и еще кое-кто в юбке:^[40] ее звали Модест Мария Бек, урожденная Кен, но ей подошло бы имя Игнасия. Она занималась щедрой благотворительностью и делала много добра. Вряд ли какая другая начальница правила когда-нибудь столь мягко. Мне рассказывали, что она никогда не бранила даже невыносимую миссис Суини, несмотря на ее склонность к спиртному, неряшливость и нерадивость. Однако в должный момент миссис Суини пришлось убраться восвояси. Мне говорили также, что наставники и учителя никогда не получали выговора или замечания, но отказывали им от места очень часто: они исчезали каким-то непонятным образом, и их заменяли другие.

Школа мадам Бек состояла из собственно пансиона и отделения для приходящих учениц, последних было более ста, а пансионерок — около двадцати. Мадам, несомненно, обладала значительными административными способностями: помимо учениц, она управляла четырьмя учителями, восемью наставниками, шестью слугами и тремя собственными детьми, устанавливая при этом отличные отношения с родителями и знакомыми учениц, — и все это без заметных постороннему глазу усилий, без суматохи и усталости, без волнения или признаков чрезмерного возбуждения; она всегда была занята делом, но суежилась очень редко.

Мадам Бек управляла этим громоздким механизмом и налаживала его, пользуясь собственной системой, следует признаться, весьма действенной, в чем читатель мог убедиться в эпизоде с проверкой записной книжки. «Наблюдение и слежка» — вот ее девиз.

И все же мадам Бек было ведомо понятие честности, и она даже ее чтит, правда, лишь в тех случаях, когда вызываемые честностью неуместные угрызения совести не вторгались в сферу ее желаний и интересов. Она питала уважение к Angleterre,^[41] а что касается les

Anglaises,^[42] то, если бы это от нее зависело, она только их и допускала бы к своим детям.

Часто по вечерам, после того как она целый день плела интриги, составляла заговоры и контрзаговоры, занималась слежкой и выслушивала доносы соглядатаев, она заходила ко мне в комнату со следами истинной усталости на челе, садилась и слушала, как дети читали по-английски молитвы; этим маленьким католикам разрешалось читать, стоя около меня, «Отче наш» и рождественский гимн, начинающийся словами «Иисусе сладчайший». Когда я укладывала детей в постель и они засыпали, она заводила со мной беседу (я скоро уже овладела французским достаточно для того, чтобы понимать ее и даже отвечать на вопросы) об Англии и англичанках, а также о причинах, которые побуждают ее с радостью признать, что они обладают высоким интеллектом и истинной и надежной честностью. Она нередко проявляла отличный природный ум, нередко высказывала здравые мысли: она, скажем, понимала, что держать девочек в обстановке постоянного недоверия и запретов, слепого повиновения и неведения, непрерывного наблюдения, не оставляющего им ни времени, ни места для уединения, — не лучший способ вырастить из них честных и скромных женщин. Однако она утверждала, что на континенте иной метод воспитания привел бы к губительным последствиям, ибо здесь дети настолько привыкли к запретам, что всякое смягчение принятого порядка было бы неправильно понято и стало бы почвой для роковых ошибок. Она не скрывала, что ее удручают те методы воспитания, которые приходится применять, но она вынуждена прибегать к ним. И после подобных благородных и тонких рассуждений она уходила в своей *souliers de silence*^[43] и тихо, как призрак, скользила по дому, все выведывая и выслеживая, подсматривая в каждую замочную скважину и подслушивая под каждой дверью.

Однако надо отдать ей должное и признать, что система мадам Бек вовсе не была плохой. Она тщательно заботилась о физическом благополучии своих учениц: их мозг не переутомлялся, так как занятия разумно распределялись и велись в легко доступной для учащихся форме; в школе были созданы условия для развлечений и телесных упражнений, благодаря чему девочки отличались завидным здоровьем; пищу им давали сытную и полезную, и в пансионе на улице Фоссет вы бы не встретили ни бледных, ни истощенных лиц. Мадам Бек всегда охотно предоставляла детям отдых, отводила им много времени для сна, одевания, умывания и еды; отношение ее к детям было ровным, великодушным, приветливым и

разумным, и хорошо бы суровым наставницам из английских школ взять с нее пример; я-то думаю, многие из них с удовольствием так и поступили бы, если б не взыскательность английских родителей.

Поскольку правление мадам Бек зиждилось на слежке, она, естественно, располагала целым штатом доносчиков. Отлично зная истинную цену своим сообщникам и без малейшего колебания поручая грязные дела самому грязному из них, она потом выбрасывала его, как корку выжатого апельсина, и была, как мне известно, весьма разборчива в выборе незапятнанных душ для ведения чистых дел. Когда же ей удавалось найти подобную драгоценность, она не забывала, как дорого она стоит, и хранила ее в шелке и бархате. Но горе тому, кто полагался на ее бескорыстную верность, ибо соображения выгоды основа ее натуры, главная сила, побуждающая ее к действию, сама суть ее жизни. С улыбкой жалости и презрения смотрела я на тех, кто пытался взывать к ее чувствам. Мольбы подобных просителей наталкивались на глухую стену, и никому не удавалось таким способом отвлечь ее решение. Напротив, попытка растрогать сердце мадам — самый верный путь вызвать у нее отвращение к ходатаю и превратить ее в тайного врага. Ведь такая попытка заставляла ее осознать, что она лишена отзывчивого сердца, такая попытка указывала на ту область ее натуры, которая бессильна и мертва. Ни в ком не проявилась столь наглядно разница между благотворительностью и милосердием, как в ней. Неспособная сочувствовать ближнему, она умела, от разума, делать добро щедро благодетельствовала людям, которых никогда не видела, предпочитая одаривать целые группы, но не отдельного человека. Ее кошелек был широко открыт «pour les pauvres»^[44] вообще, но, как правило, был закрыт для отдельного бедняка. Она принимала живое участие в филантропической деятельности на благо обществу в целом, но горе одного человека не трогало ее, как не трогали самые сильные страдания, сосредоточенные в одной душе. Ни страдания в Гефсиманском саду,^[45] ни смерть на Голгофе не исторгли бы ни единой слезы из ее глаз.

Повторяю, мадам была незаурядной и одаренной женщиной. Пансион представлял собой слишком ограниченную сферу для проявления всех ее способностей, ей бы править целым государством или руководить строптивой законодательной ассамблеей. Никому не удалось бы ее запугать, разволновать, вывести из терпения или перехитрить. Она могла бы совместить должности премьер-министра и полицейского, ибо была мудрой, непоколебимой, вероломной, скрытной, хитрой, сдержанной, бдительной, загадочной, проницательной, бездушной и, при всем этом,

идеально соблюдала приличия — чего же еще желать?

Вдумчивый читатель, надеюсь, поймет, что все эти сведения, представленные здесь для его удобства в сжатом виде, я собрала не за один месяц и не за полгода. Отнюдь! Вначале я рассмотрела лишь пышный фасад преуспевающего учебного заведения. Я увидела большой дом, полный здоровых, веселых, хорошо одетых и нередко красивых девочек; их обучение велось по удивительно легкому методу, не требовавшему от них ни тяжких усилий, ни бесполезной траты умственной энергии: возможно, они продвигались в науках не очень быстро; но не слишком усердствуя в учебе, они все-таки постоянно были чем-то заняты и никогда не ощущали гнета. Увидела я также целый отряд учителей и наставников, крайне обремененных работой, ведь им, чтобы девочки не утомлялись, приходилось заниматься напряженным умственным трудом, однако обязанности распределялись между ними так, что в особенно сложных обстоятельствах они могли быстро сменять друг друга и каждый получал возможность отдохнуть. Короче говоря, я столкнулась со школой иностранного образца, стиль жизни, характер деятельности и особенности которой резко и весьма выгодно отличали ее от английских учебных заведений такого рода.

Летом ученицы проводили почти все время в большом саду, позади дома, гуляя среди розовых кустов и фруктовых деревьев. После полудня в сад выходила и мадам Бек, она укрывалась в просторной, увитой диким виноградом *berceau*,^[46] рассаживала все классы поочередно вокруг себя и велела девочкам шить или читать. В то же время к другим классам ненадолго подходили учителя и проводили с ними даже не уроки, а короткие занимательные лекции, причем, в зависимости от расположения духа, одни ученицы делали записи, другие — нет, рассчитывая, видимо, потом списать заметки у подружки. У католиков, помимо обычных *jours de sortie*,^[47] в течение всего года много праздников, поэтому нередко солнечным летним утром или теплым вечером пансионеров вывозили за город на долгую прогулку, где их угощали *gaufres et vin blanc*,^[48] или парным молоком и *pain bis*,^[49] или *pistolets au beurre* (булочками) и кофе. Все это выглядело очень мило: мадам — сама доброта, учителя — не такие уж плохие, могли бы быть и хуже, а ученицы — хоть несколько шумливые и озорные, но зато здоровые и веселые.

Таким все казалось издали, сквозь дымку расстояния, но вскоре наступило время, когда дымка рассеялась, так как мне пришлось покинуть мою сторожевую башню — детскую, откуда я вела наблюдения, и вступить

в близкое общение с тесным мирком на улице Фоссет.

Однажды, когда я как обычно сидела у себя наверху, слушала, как дети отвечают английский урок, и одновременно лицевала шелковое платье мадам, она вошла ко мне в комнату с тем величественно-задумчивым видом, не придававшим ее лицу мягкости, который иногда любила принимать. Упав на стул напротив меня, она несколько минут хранила молчание. Дезире, ее старшая дочь, читала вслух отрывок из учебника госпожи Барбо, а я велела ей время от времени кое-что переводить с английского на французский, дабы удостовериться, что она правильно понимает смысл прочитанного; мадам внимательно слушала урок.

Внезапно, без вступления или предисловия, она произнесла как бы обвиняя:

— Мисс, ведь в Англии вы были гувернанткой?

— Нет, мадам, — ответила я, улыбаясь, — вы ошибаетесь.

— Значит, занятия с моими детьми ваш первый опыт?

Я заверила ее в этом. Она вновь умолкла, но, подняв голову, чтобы вынуть булавку из подушечки, я обнаружила, что являюсь объектом наблюдения, — мадам пристально разглядывала меня и как будто мысленно давала мне оценку — пригодна ли я для достижения ее целей, для исполнения ее намерений. Мадам уже успела раньше тщательно обследовать все мое имущество и, полагая, считала себя сведущей в том, что я вообще собой представляю. Однако с этого дня в течение примерно двух недель она подвергала меня проверке по-новому, подслушивала под дверью детской, когда я занималась с ее детьми, следовала за мной, соблюдая предосторожность, когда я гуляла с ними, и в местах, где деревья служили удобным укрытием, старалась подойти к нам поближе, чтобы слышать, о чем мы говорим.

Как-то утром она неожиданно и словно в спешке подошла ко мне и заявила, что находится в несколько сложном положении: мистер Уилсон, преподаватель английского языка, не явился на занятия, она полагает, он заболел, ученицы сидят в классе и ждут, урок провести некому, не соглашусь ли я, в виде исключения, дать девочкам небольшой диктант, не то они потом будут говорить, что у них пропал урок английского.

— Провести урок в классе, мадам? — спросила я.

— Да, во втором отделении.

— В котором шестьдесят учениц? — продолжала я. Я знала, сколько там девочек, и мною, как обычно, овладело постыдное малодушие, я замкнулась в своей нерешительности, как улитка в раковине, внутренне оправдывая нежелание действовать отсутствием опыта и вообще моей

непригодностью к такой работе. Если бы решение зависело только от меня, я бы, несомненно, упустила открывшуюся передо мной возможность. По натуре я непредприимчива и не подвержена порывам честолюбия, поэтому для меня было бы вполне естественным еще двадцать лет учить детей грамоте, перелицовывать шелковые платья и шить детские костюмчики. Нельзя сказать, что столь неразумное смирение объяснялось искренним удовлетворением от этой работы — она нисколько не соответствовала моим вкусам и интересам, но я дорожила покоем, жизнью без мучительных тревог и душевных волнений; мне представлялось, что, избегая тяжких страданий, легче достигнуть счастья. Кроме того, я вела как бы две жизни — воображаемую и реальную, и поскольку первую питали необычайные, волшебные восторги, создаваемые моей фантазией, радости последней могли ограничиться хлебом насущным, постоянной работой и крышей над головой.

— Хватит, — настойчиво произнесла мадам, когда я с особенно деловитым видом склонилась над выкройкой детского передника, — оставьте эту штуку.

— Но ведь Фифине нужен передник, мадам.

— Подождет немного. Вы нужны мне!

Коль скоро мадам Бек действительно нуждалась во мне и решила меня заполучить — ибо она давно уже была недовольна учителем английского языка из-за его манеры опаздывать на занятия и нерадивого отношения к преподаванию, — то, не страдая в отличие от меня отсутствием решимости и настойчивости, она без лишних слов заставила меня бросить иглоу и наперсток и за руку повела вниз по лестнице. Когда мы дошли до *carre* — просторного квадратного вестибюля между жилым и учебным помещениями, она остановилась, отпустила мою руку, повернулась ко мне лицом и стала внимательно меня изучать. Щеки у меня горели, я вся дрожала, и, скажу вам по секрету, мне помнится, я даже всплакнула. В самом-то деле, я отнюдь не выдумала, что меня ожидают трудности, иные из них были вполне реальными: ведь я действительно не во всем обладала превосходством над теми, кого мне предстояло учить. С самого приезда в Виллет я упорно занималась французским — днем практиковалась в устной речи, а по ночам, до тех пор пока в доме разрешалось жечь свечи, изучала грамматику, но отнюдь еще не была уверена, что могу свободно изъясняться на этом языке.

— *Dites donc*, — строгим голосом спросила мадам, — *vous sentez-vous reelement trop faible?*^[50]

Я могла бы ответить «да» и вернуться в безвестность детской, где мне

было бы суждено прозябать всю оставшуюся жизнь, но, взглянув на мадам, я уловила у нее в лице нечто заставившее меня как следует подумать, раньше чем принять решение. Дело в том, что лицо у нее приобрело чисто мужское выражение. Какая-то особая сила осветила все ее черты, сила, мне совершенно чуждая, не пробудившая во мне ни сочувствия, ни душевного сродства, ни покорности. Я не чувствовала себя ни укрощенной, ни побежденной, ни подавленной. Очевидно, в поединок вступили противоположные натуры, и я внезапно ощутила весь позор неуверенности в себе, все малодушие, порождаемое трусливым нежеланием стремиться к лучшему.

— Вы намерены вернуться назад или двигаться вперед? — спросила она, указав сначала на дверцу, ведущую в жилую часть дома, а потом на высокие двустворчатые двери классных комнат.

— En avant!^[51] — ответила я.

— Но, — добавила она, остывая по мере того, как я воспламенялась, и сохраняя ту жесткость во взгляде, неприязнь к которой укрепляла во мне отвагу и решимость, — вы способны сейчас предстать перед классом или слишком возбуждены?

Говоря это, она презрительно усмехнулась, потому что всякое нервное возбуждение было не в ее вкусе.

— Я волнуюсь не больше, чем этот камень, — отпарировала я, постучав носком туфли по каменной плите, — или чем вы, — добавила я, отвечая ей взглядом на взгляд.

— Bon!^[52] Но хочу предупредить вас, что вы встретитесь не с тихими, благовоспитанными английскими девочками. Ce sont des Labassecouriennes, rondes, franches, brusques, et tant soit peu rebelles.^[53]

Я ответила: знаю, мадам, и знаю вдобавок, что, хотя я с самого приезда упорно занимаюсь французским, я все еще говорю с запинками и не могу рассчитывать на уважение учениц. Я несомненно буду допускать ошибки, которые вызовут презрение самых невежественных из них. И все же я намерена дать этот урок.

— Они всегда выживают робких учителей.

— Это мне тоже известно, мадам. Я слышала, как они преследовали мисс Тернер и взбунтовались против нее.

Мисс Тернер — бедная, одинокая учительница английского, которую мадам сначала взяла к себе на службу, а потом без сожаления уволила; о ее печальной судьбе мне уже успели рассказать.

— C'est vrai,^[54] — ответила мадам равнодушно, — любая служанка

сумела бы управлять ими не хуже. У нее был слабый, нерешительный характер: ни такта, ни ума, ни смелости, ни гордости. Этим девочкам она никак не подходила.

Я молча направилась к закрытой двери классной.

— Не вздумайте искать помощи у меня или еще у кого-нибудь, предостерегла меня мадам, — обратившись за содействием, вы докажете, что непригодны для этой работы.

Я отворила дверь, вежливо пропустила ее вперед и последовала за ней. В пансионе было три больших классных комнаты, и в самой просторной мне предстояло встретиться со вторым отделением — более многочисленным, неугомонным и гораздо менее покорным, чем остальные. Впоследствии, когда я глубже вникла в дела пансиона, мне иногда приходило в голову, что спокойное, благовоспитанное и скромное первое отделение подобно (если такое сравнение допустимо) британской палате лордов, а бойкое, шумное, необузданное второе палате общин.

Взглянув на учениц, я сразу заметила, что многие выглядят уже не девочками, а взрослыми барышнями. Я знала, что некоторые из них благородного происхождения (насколько сие возможно в Лабаскуре), и была уверена, что кое-кто проведал, какое положение я занимаю в пансионе. Ступив на возвышение (площадку, приподнятую на одну ступеньку над полом), где стояли стол и стул для учителя, я увидела перед собой множество сверкающих дерзостью глаз и нахмуренных, но ничуть не порозовевших лиц — все предвещало бурю. Женщины и девушки Европейского континента резко отличаются от своих, принадлежащих к тому же кругу, сверстниц с Британских островов: в Англии мне не приходилось видеть подобных глаз и лиц. Мадам Бек весьма лаконично представила меня, выплыла из комнаты и оставила меня одну во всем моем великолепии.

Никогда не забуду первого в моей жизни урока и тех тайных черт человеческой души и характера, какие он мне открыл. Именно тогда я начала понимать, как велико различие между образом идеальной *jeune fille*, [55] создаваемым прозаиком или поэтом, и реально существующей «*jeune fille*».

По-видимому, три титулованные красотки, сидевшие в первом ряду, заранее решили не допустить, чтобы их учила английскому какая-то *bonne d'enfants*. [56] Они отлично помнили, как им удавалось избавляться от неугодных учителей, и великолепно знали, что мадам в любую минуту выбросит всякого учителя, которого невзлюбили в школе, что она никогда

не поможет подчиненному со слабым характером сохранить место, и, если у кого не хватит сил бороться или умения настоять на своем, тот погиб. И взглянув на мисс Сноу, они сразу уверились, что победа над ней будет легкой.

Барышни Бланш, Виржини и Анжелика начали кампанию хихиканьем и перешептыванием, которые вскоре перешли в глухой шум и фыркание, а когда к ним присоединились сидящие сзади, гул усилился. Этот нарастающий бунт шестидесяти против одной становился невыносимым особенно потому, что я и так еще плохо владела французским языком, а уж в состоянии столь сильного нервного напряжения мне пришлось совсем худо.

Будь у меня возможность обратиться к ним на моем родном языке, мне бы, вероятно, удалось заставить их выслушать меня: во-первых, хотя я выглядела, не стану отрицать, жалким созданием и во многих отношениях таковым и была, природа наградила меня голосом, который, стоит мне заговорить с волнением или глубоким чувством, принуждает людей внимать ему; во-вторых, хотя в обычных обстоятельствах речь моя течет не широким потоком, а тоненьким ручейком, оказавшись в обстановке, насыщенной бунтарским духом, по-английски я смогла бы внятно произнести веские слова, которые заклеямили бы их поведение по заслугам; а затем, приправив сарказм презрительной горечью к зачинщицам и легкой насмешкой над их более слабыми, но менее бессовестными последовательницами, можно было бы обуздать это дикое стадо и в какой-то мере укротить его. Но сейчас мне оставалось только подойти к Бланш (мадемуазель де Мельси, юной баронессе) — самой старшей, высокой, красивой и самой испорченной из всех, остановиться перед ее партой, взять тетрадь, вернуться к своему столу, неспешно прочесть сочинение, которое оказалось очень глупым, и на глазах всего класса столь же неторопливо разорвать надвое усеянные кляксами страницы.

Мой поступок достиг своей цели — привлек внимание учениц и умерил шум. Лишь одна девица, в самом заднем ряду, продолжала бесчинствовать. Я внимательно взгляделась в нее: бледное лицо, иссиня-черные волосы, широкие выразительные брови, резкие черты лица и темные, мятежные, мрачные глаза. Я заметила, что она сидит около небольшой двери, которая, как я знала, ведет в маленький чулан, где хранились книги. Ученица встала, дабы получить большую свободу действий. Я в уме прикинула ее рост и силы — она была высокой и выглядела гибкой и крепкой, — но поскольку я вознамерилась провести

неожиданное нападение и мгновенную схватку, можно было рассчитывать на успех.

Пройдя через комнату с таким спокойным и безразличным видом, на какой я только была способна, короче говоря, *ayant l'air de rien*^[57] я легонько толкнула дверь и обнаружила, что она не заперта. Тогда я внезапно и резко подтолкнула ученицу, и в тот же миг она оказалась в чулане, дверь заперта, ключ у меня в кармане.

Девочку эту (звали ее Долорес, и родом она была из Каталонии), как выяснилось, боялись и ненавидели все соученицы, поэтому свершенный мною скорый, но правый суд снискал общее одобрение и всем присутствующим в душе было приятно наблюдать эту сцену. На секунду они все притихли, затем улыбки, именно улыбки, а не смех, прошли по рядам, и, когда я степенно и невозмутимо вернулась на место, вежливо попросила тишины и как ни в чем не бывало начала диктовать, перья мирно заскрипели по бумаге, и остаток урока прошел в спокойном труде.

— *C'est bien*,^[58] — сказала мадам Бек, когда я, разгоряченная и несколько измученная, вышла из класса. — *Ça ira*,^[59] — добавила она. Оказалось, что она все время подслушивала под дверью и подсматривала в глазок.

С того дня я больше не служила бонной и стала учительницей английского языка. Мадам повысила мне жалованье, но и при этом за полцены выжимала из меня втрое больше работы, чем из мистера Уилсона.

Глава IX

ИСИДОР

Теперь я все время была занята разумным и полезным делом. Поскольку мне приходилось не только учить других, но и усердно учиться самой, у меня не оставалось почти ни одной свободной минуты. Мне это было приятно, ибо я чувствовала, что не ржавею в стоячем болоте, а двигаюсь вперед, совершенствую свои способности, оттачиваю их повседневной работой. Передо мною явно открывались широкие возможности приобрести жизненный опыт в доселе неведомой мне сфере. Виллет — космополитический город, и в нашей школе учились девочки почти из всех стран Европы, принадлежавшие к самым разным слоям общества.

Хотя Лабаскур по форме не республика, на деле в нем царит социальное равенство, поэтому юная графиня и юная мещанка сидели за партой пансиона мадам Бек рядом. По внешнему виду далеко не всегда можно было определить, кто из них благородного, а кто плебейского происхождения, разве что мещанка зачастую держалась более искренне и учтиво, а дворянка превосходила ее в умении тонко сочетать высокомерие с хитростью. В последней обычно текла беспокойная французская кровь, смешанная с водянистой флегмой, и я с сожалением должна признать, что действие этой бодрящей жидкости проявлялось главным образом в плавности, с которой с языка соскальзывали льстивые и лживые слова, а также в легкой и оживленной, но совершенно бессердечной и неискренней манере себя вести.

Справедливости ради следует отметить, что и бесхитростные плебейки из Лабаскура тоже по-своему прибегали ко лжи, но делали они это так простодушно, что мало кого могли обмануть. В случае необходимости они лгали с беззаботной легкостью, не ощущая угрызений совести. Никого в доме мадам Бек, начиная от судомойки и кончая самой директрисой, ложь не приводила в смущение, они считали ее пустяком: конечно, лживость — не добродетель, но самый простительный из всех человеческих недостатков. «J'ai menti plusieurs fois», ^[60] — раз в месяц повторяли все они на исповеди, а священник невозмутимо выслушивал их и без колебаний отпускал грехи. Зато пропустить мессу или не прочесть заданную главу из романа считалось преступлением, которое непременно влекло за собой

выговор и наказание.

Пока я еще не совсем разобралась в этих нравах и не понимала, чем они чреваты для меня, я чувствовала себя в новом для меня мире прекрасно. После нескольких первых тяжких уроков, которые я давала как бы над кратером вулкана, гудевшего у меня под ногами и выбрасывавшего искры и раскаленные пары мне в лицо, вулканическая деятельность моих подопечных начала ослабевать. Я склонна была поверить в успех: мне не хотелось думать, что моим первым попыткам преуспеть помешают распушенная недоброжелательность и безудержное непослушание. По ночам я долго лежала без сна, размышляя, как понадежней обуздать бунтовщиц и навсегда подчинить себе это упрямое и высокомерное племя. Мне было ясно, что со стороны мадам нельзя ожидать решительно никакой помощи, ибо она считала справедливым лишь один принцип любой ценой сохранять популярность среди учениц, не принимая во внимание интересы учителей. Искать у нее поддержки даже в случаях крайнего непослушания означало для учительницы неизбежное изгнание из пансиона. Об ученицах она предпочитала знать только приятное, милое и похвальное, строго требуя с помощниц умения справляться с серьезными неприятностями и проявлять при этом необходимую сдержанность. Значит, мне надлежало рассчитывать только на самое себя.

Для меня было совершенно очевидным, что насилием эту неподатливую толпу не одолеешь. К ней нужно очень терпеливо приноравливаться. Девочкам нравилась вежливость, сочетаемая со сдержанностью; успехом у них пользовалась также редкая, но удачная шутка. Они не могли или не хотели долго сносить умственное напряжение и решительно отвергали всякое задание, требовавшее усиленной работы памяти, сообразительности и внимания. В тех случаях, когда ученица-англичанка со средними способностями спокойно взяла бы задание и честно постаралась бы понять и отлично выполнить его, уроженка Лабаскура смеялась вам в лицо и швыряла задание на ваш стол со словами: «Dieu, que c'est difficile! Je n'en veux pas. Cela m'ennuie trop».^[61]

Опытной учительнице следовало тотчас без пререканий и выговоров взять задание обратно, с особой тщательностью устранить все трудности и привести его в соответствие с возможностями ученицы, а потом вручить ей измененное таким образом задание, не преминув щедро добавить беспощадные колкости. Девочки обычно улавливали язвительность учительницы и даже иногда испытывали смущение, но такого рода меры не вызывали в них чувства злобы, если насмешка была не едкой, а добродушной и подчеркивала их неумение трудиться, невежество и леность

достаточно убедительно и наглядно. Они могли взбунтоваться из-за лишних трех строчек в заданном уроке, но не было случая, чтобы они восстали против обиды, наносимой их самолюбию, коего им явно недоставало, так как его постоянно душили твердой рукой.

Мало-помалу я стала более бегло и свободно изъясняться на их языке и, к их удовольствию, употреблять самые примечательные идиоматические выражения; старшие и более разумные девочки начали проникаться ко мне добрыми чувствами, выражая их, правда, весьма своеобразно. Я заметила, что их любовь удавалось завоевать тогда, когда у них в сердце пробуждалось стремление к добродетели и способность испытывать искренние угрызения совести. Если хоть раз у них, пристыженных моими словами, начинали пылать скрытые под густыми блестящими волосами (обычно большие) уши, можно было считать, что все идет хорошо. По утрам на моем столе стали появляться цветы, а я в ответ на столь неанглийские знаки внимания иногда прогуливалась с некоторыми из них во время рекреаций между уроками. Беседуя с ними, я изредка невольно пыталась исправить их невероятно искаженные представления о нравственности, особенно старалась я объяснить, как ужасна и пагубна ложь. Улучив минуту, когда рядом никого не было, я как-то сказала им, что солгать, по-моему, больший грех, чем пропустить иногда богослужение. Бедных девочек приучили сообщать все, что говорит учительница-протестантка их единоверцам. Вскоре я ощутила последствия моего проступка. Что-то невидимое, таинственное встало между мною и моими лучшими ученицами: букеты по-прежнему появлялись у меня на столе, но вдруг стало невозможно вести разговоры. Когда я гуляла по саду или сидела в беседке и ко мне подходила пансионерка, мгновенно, словно по волшебству, около нас оказывалась какая-нибудь учительница. Как ни странно, но столь же быстро, бесшумно и неожиданно, подобно легкому ветерку, у меня за спиной появлялась мадам в своих неслышных туфлях.

В несколько наивной форме мне однажды было высказано мнение католиков о том, что ожидает мою грешную душу в будущем. Пансионерка, которой я в свое время оказала небольшую услугу, сидя однажды рядом со мной, воскликнула:

— Ах, мадемуазель, жаль, что вы протестантка!

— Почему, Изабелла?

— Parce que, quand vous serez morte — vous brulerez tout de suite dans l'enfer.^[62]

— Croyez-vous?^[63]

— Certainement que j'y crois: tout le monde le sait, et d'ailleurs le pretre me l'a dit.^[64]

Изабелла была смешным и глупеньким существом. Она добавила sotto voce:^[65]

— Pour assurer votre salut la-haut, on ferait bien de vous bruler toute vive ici-bas.^[66]

Я рассмеялась, ибо не могла удержаться от смеха.

Читатель, а вы не забыли мисс Джиневру Фэншо? Если забыли, мне придется вновь представить вам эту девицу, но уже в качестве благоденствующей пансионерки мадам Бек. Она приехала на улицу Фоссет через два-три дня после моего внезапного водворения там и, встретив меня в пансионе, почти не выразила удивления. У нее в жилах текла, вероятно, благородная кровь, ибо ни одна герцогиня не выглядела более идеально, непринужденно, искренне *ponchalante*.^[67] чувство потрясения было ей неведомо, она не была способна на большее, чем едва заметное мимолетное удивление. Остальные эмоции тоже, видимо, отличались легковесностью. Ее расположение и неприязнь, любовь и ненависть обладали надежностью паутины, единственным сильным и прочным ее чувством был эгоизм.

Не была ей свойственна и гордость, и меня, всего-навсего *bonne d'enfants*,^[68] она тотчас превратила в нечто вроде подруги и наперсницы. Она терзала меня бесконечными скучными жалобами на школьные дразги и хозяйственные неполадки: еда здесь невкусная, а все окружающие — учителя и ученицы — отвратительны, потому что они иностранцы. В течение некоторого времени я терпела ее нападки на пятничные крутые яйца и соленую рыбу и обличительные речи по поводу супа, хлеба и кофе, но в конце концов, утомленная повторением одного и того же, я возмутилась и поставила ее на место, что мне следовало бы сделать с самого начала, так как подобного рода острастка всегда оказывала на нее успокаивающее действие.

Однако претензии ко мне, связанные с ее нежеланием трудиться, я терпела гораздо дольше. Она располагала большим количеством добротных и изящных верхних вещей, но других предметов туалета у нее было меньше, и их часто приходилось чинить. Она ненавидела рукоделие и приносила мне для починки целые кипы чулок и белья. Я уступала ее просьбам несколько недель, что грозило превратить мою жизнь в невыносимо скучное существование, но наконец недвусмысленно велела ей самой заняться починкой одежды. Услыхав это, она расплакалась и

обвинила меня в отсутствии дружеских чувств, но я твердо стояла на своем и спокойно выжидала, когда закончится эта истерика.

Тем не менее, если оставить в стороне эти и некоторые другие, здесь не упомянутые, но отнюдь не благородные или возвышенные свойства ее характера, нельзя не признать, что она была очаровательна. Как прелестно она выглядела, когда выходила воскресным солнечным утром из дому, в хорошем настроении, одетая в красивое светло-сиреневое платье, с белокурыми длинными локонами, раскинувшимися по лилейным плечам. Воскресные дни она всегда проводила с друзьями, живущими в городе, из коих один, как она не замедлила сообщить мне, с радостью стал бы ей более чем другом. Сначала из ее чрезвычайно веселого расположения духа, а потом и из прямых намеков явствовало, что она — предмет страстного обожания, а может быть, и искренней любви. Своего поклонника она называла «Исидор», хотя призналась, что окрестила его так сама, потому что настоящее его имя «не очень красивое». Однажды, когда она хвасталась, сколь безгранично предан ей «Исидор», я спросила ее, питает ли она к нему ответное чувство.

— Comme cela, ^[69] — изрекла она, — он хорош собой и любит меня до безумия, а меня это очень веселит. Ça suffit. ^[70]

Убедившись, что эта история тянется дольше, чем можно было ожидать, учитывая непостоянство ее натуры, я решила разузнать получше, может ли молодой человек заслужить одобрение ее родителей и, главное, дяди, от которого она, по-видимому, находилась в большой зависимости. Она выразила сомнение, ибо, как она заявила, «Исидор» едва ли располагает большими средствами.

— А вы обнадеживаете его.

— Иногда furieusement! ^[71] — ответила она.

— И при этом вовсе не уверены, разрешат ли вам выйти за него замуж?

— Как вы старомодны! А я и не хочу замуж. Я еще слишком молода.

— Но если он вас так сильно любит, а его ждет тяжкое разочарование, он ведь будет ужасно несчастен.

— Конечно, у него будет разбито сердце.

— А уж не глуп ли этот господин Исидор?

— Глуп, когда дело касается меня, но, а se qu'on dit, ^[72] умен в других вопросах. Миссис Чамли считает его исключительно умным; она говорит, что благодаря талантам он пробьется в жизни. Ну, а я-то знаю, что в моем присутствии он способен только вздыхать и я могу из него веревки вить.

Желая яснее представить себе сраженного любовью господина Исидора, положение которого казалось мне весьма ненадежным, я попросила Джиневру обрисовать его. Она не смогла этого сделать: у нее не хватало ни слов, ни способности сложить фразы так, чтобы нарисовать его портрет. Оказалось даже, что она сама имеет о нем слабое представление: ни его внешний вид, ни выражение лица не оставили следа у нее в душе или в памяти; ее достало лишь на то, чтобы изречь, что он «beau, mais plutot bel homme que joli garçon».^[73] Мне нередко казалось, что от этой болтовни терпение мое вот-вот лопнет и всякий интерес к ее рассказам исчезнет, если бы не одно обстоятельство. Из всех ее намеков и упоминаемых иногда подробностей мне становилось ясно: господин Исидор выражает свое преклонение перед ней чрезвычайно деликатно и почтительно. Я совершенно откровенно заявила, что она не заслуживает внимания такого хорошего человека, и с не меньшей прямоотой сообщила ей, что считаю ее пустой кокеткой. Она рассмеялась, отбросила кудри со лба и с веселым видом, будто выслушав приятный комплимент, удалилась.

Успехи мисс Джиневры в учебе оставляли желать много лучшего. Серьезно она занималась лишь тремя предметами: музыкой, пением и танцами, да, пожалуй, еще вышиванием тонких батистовых носовых платочков, чтобы не тратиться на готовые. А уроки из истории, географии, грамматики и арифметики полагала такой чепухой, что либо совсем их не делала, либо поручала приготовить для нее другим. Очень много времени она тратила на визиты. В этом мадам обеспечивала ей полную свободу, ибо знала, что независимо от успехов в занятиях ей предстоит оставаться в школе уже недолго. Миссис Чамли, ее покровительница, дама веселая и светская, когда у нее бывали гости, обязательно приглашала Джиневру к себе, а иногда водила ее к своим знакомым. Джиневра относилась к такому образу жизни весьма одобрительно, хотя ощущала в нем одно неудобство: нужно было хорошо одеваться, а чтобы часто менять туалеты, денег не хватало. Все ее мысли были направлены на преодоление этого препятствия, все душевные силы она тратила на разрешение этой проблемы. Я удивлялась, наблюдая, каким деятельным становился ее обычно ленивый мозг и какая в ней просыпалась отвага и предприимчивость из-за желания приобрести вещи и блистать в обществе.

Она беззастенчиво, повторяю — именно беззастенчиво, не испытывая и тени смущения, обращалась с просьбами к миссис Чамли в таком тоне:

— Дорогая миссис Ч., мне совершенно не в чем прийти к вам на будущей неделе. Вы непременно должны мне дать муслиновое платье на

чехле и ceinture bleue celeste.^[74] Ну, пожалуйста, ангел мой! Ладно?

Сначала «дорогая миссис Ч.» уступала этим просьбам, но, убедившись, что чем больше она дает, тем настойчивее становятся притязания, она вскоре была вынуждена, как, впрочем, все друзья мисс Фэншо, оказать сопротивление посягательствам. Через некоторое время рассказы о подарках миссис Чамли прекратились, но визиты к ней все-таки продолжались, и в случае крайней необходимости появлялись нужные платья и еще множество всякой всячины перчаток, букетов и даже украшений. Хотя по натуре Джиневра не была скрытной, эти вещи она припрятывала от посторонних глаз, но как-то вечером, собираясь в общество, где требовался особенно модный и элегантный туалет, она не устояла и зашла ко мне, чтобы показаться во всем великолепии.

Она была чудо как хороша: юная, свежая, с той нежной кожей и гибкой фигурой, которые бывают только у англичанок и никогда не встречаются у женщин на континенте. Платье на ней было новое, дорогое и отлично сшитое. Я с первого взгляда заметила детали, которые стоят так дорого и придают туалету идеальную завершенность.

Я оглядела ее с ног до головы. Она грациозно повернулась, чтобы я могла рассмотреть ее со всех сторон. Сознание своей привлекательности привело ее в отличное настроение — ее небольшие голубые глаза сверкали весельем. По принятой у школьниц манере выражать свой восторг она собралась было поцеловать меня, но я воскликнула:

— Спокойно! Давайте сохранять спокойствие, разберемся, в чем дело и какова причина вашего великолепия. — С этими словами я отстранила ее, чтобы рассмотреть более хладнокровно.

— Ну как, я понравлюсь? — последовал вопрос.

— Понравитесь ли? — повторила я за ней. — Есть много способов нравиться, но, право, ваш — мне непонятен.

— Но как я выгляжу?

— Вы выглядите хорошо одетой.

Моя похвала показалась ей недостаточно восторженной, и она старалась обратить мое внимание на разные детали своего туалета.

— Посмотрите на рагуре,^[75] — продолжала она. — Таких серег, браслета, брошки нет ни у кого в школе, даже у самой мадам.

— Все вижу. (Пауза.) Это господин де Бассомпьер преподнес вам драгоценности?

— Нет, дядя понятия о них не имеет.

— Тогда это подарок миссис Чамли?

— Ну, нет, конечно. Миссис Чамли — мелочная и скупая особа; она теперь ничего мне не дает.

Я предпочла не задавать ей больше вопросов и резко отвернулась от нее.

— Ну, ворчунья, ну, Диоген,^[76] — так фамильярно она называла меня, когда мы спорили, — чем теперь вы недовольны?

— Уходите. Мне неприятно смотреть на вас и на ваши *ragure*.

От удивления она на секунду окаменела.

— Да что случилось, Матушка Благоразумность? Я не наделала долгов из-за этих драгоценностей, перчаток или букета. За платье, правда, еще не заплачено, но дядюшка де Бассомпьер уплатит за него по счету; он никогда не проверяет счета подробно, а смотрит только на сумму. И потом, он так богат, что ему не важно, потратил ли он на несколько гиней больше или меньше.

— Вы уйдете наконец? Я хочу закрыть дверь... Джиневра, другие могут сказать вам, что вы прекрасны в этом бальном наряде, но для меня вы никогда не бываете такой прелестной, какой предстали передо мной при нашей первой встрече — в платье из простой ткани и скромной соломенной шляпке.

— Не у всех же такой пуританский вкус, — сердито ответила она. — И потом, не понимаю, по какому праву вы читаете мне нотации.

— Верно! Прав у меня мало, но у вас, пожалуй, еще меньше прав появляться у меня в комнате, блистая и порхая, словно ворона в павлиньих перьях. Никакого уважения к этим перьям я не испытываю, мисс Фэншо, особенно к этим «павлиньим глазкам», которые вы называете «*ragure*». Они были бы очень хороши, если бы вы купили их за свои, вами лично сбереженные деньги, а приобретенные известным вам образом, они ничуть не привлекательны.

— *On est la pour Mademoiselle Fanshawe!*^[77] — объявила привратница, и Джиневра ушла восвояси.

Полутаинственная история *ragure* разъяснилась лишь через два-три дня, когда она пришла ко мне с добровольной исповедью.

— Не нужно дуться на меня, — начала она, — из-за того, что я якобы ввергаю в долги папу или господина де Бассомпьера. Уверяю вас, за все заплачено, кроме нескольких новых платьев; все остальное — в полном порядке.

«В этом-то и заключается тайна, — подумала я, — учитывая, что эти вещи ты получила не от миссис Чамли, а твой капитал состоит из

нескольких шиллингов, к которым ты относишься с превеликой бережливостью».

— Ecoutez,^[78] — продолжала она, придвинувшись ко мне и прибегнув к своему самому доверительному и льстивому тону, так как моя «надутость» ее нервировала: ей нравилось, когда я выказывала расположение говорить с ней и слушать ее, даже если говорила я одни лишь колкости, а слушала с явным неудовольствием. — Ecoutez, chere grogneuse!^[79] Я все вам сейчас расскажу, и вы сами убедитесь, что все сделано не только правильно, но и ловко. Во-первых, я обязательно должна выезжать в свет. Папа сказал, что хочет, чтобы я повидала мир. Притом он подчеркнул в разговоре с миссис Чамли, что хотя я довольно милое создание, но выгляжу совсем девочкой, школьницей и хорошо бы я избавилась от этого, посещая здешнее общество, пока не начну выезжать, вернувшись в Англию. Ну, а раз я бываю в свете, значит, я должна одеваться. Миссис Чамли стала скрягой и ничего мне давать не намерена; нельзя заставлять дядю платить за все, в чем я нуждаюсь, уж этого-то вы отрицать не будете, ведь именно таковы и ваши принципы. И вот некто услышал (совершенно случайно, уверяю вас), как я жалуюсь миссис Чамли на стесненные обстоятельства и на препятствия, которые мне приходится преодолевать, приобретая разные безделушки; этот некто, вообще не скупой на подарки, пришел в восторг от мысли, что ему разрешено преподнести мне какой-нибудь пустячок. Посмотрели бы вы, какой у него был blanc-bec,^[80] когда он заговорил со мной об этом, как он волновался и краснел и прямо-таки дрожал от страха, что ему откажут.

— Хватит, мисс Фэншо. По-видимому, вы даете мне понять, что вашим благодетелем оказался господин Исидор, что от него-то вы и получили рариге, он-то и подарил вам цветы и перчатки?

— У вас такой недружелюбный тон, — заявила она, — не знаю даже, как вам и отвечать. Просто я хочу сказать, что иногда предоставляю Исидору удовольствие и честь выразить мне свою преданность небольшим подарком.

— Но это ведь то же самое... Послушайте, Джиневра, честно говоря, я не очень хорошо разбираюсь в делах такого рода, однако полагаю, вы поступаете очень плохо — по-настоящему скверно. Быть может, вы уверены, что сможете выйти замуж за господина Исидора? Ваши родители и дядя дали свое согласие и вы убеждены, что искренне любите его?

— Mais pas du tout!^[81] (Она всегда переходила на французский, когда намеревалась сказать что-нибудь особенно жестокое и злое.) — Je suis sa

reine, mais il n'est pas mon roi. ^[82]

— Простите, но мне кажется, что ваши последние слова просто вздор и кокетство. Вас не назовешь очень благородной, но, во всяком случае, вы не унижитесь до того, чтобы воспользоваться добротой и кошельком человека, к которому совершенно равнодушны. Вы любите господина Исидора гораздо сильнее, чем думаете или признаетесь.

— Нет. Недавно я танцевала с одним молодым офицером, которого я люблю в тысячу раз больше, чем Исидора. Я сама часто недоумеваю, почему я так безразлична к Исидору, ведь все говорят, он красивый, и некоторые дамы просто обожают его, а мне с ним скучно: что же со мной происходит?..

Тут, казалось, она углубилась в размышления, в чем я постаралась ей помочь.

— Конечно, — сказала я, — попробуйте разобраться в своих чувствах; мне кажется, вы в них запутались, как в сетях.

— Дело, пожалуй, вот в чем, — не мешкая воскликнула она, — он слишком романтический и преданный, а кроме того, ожидает от меня слишком многого. Он считает меня идеальной, во всех отношениях безукоризненной, воплощением добродетели, а я такой никогда не была и быть не собираюсь. Надо сказать, что в его присутствии невольно стараешься оправдать его доброе мнение о тебе, а ведь так утомительно изображать из себя паиньку и вести рассудительные беседы — он-то думает, я и в самом деле ужасно благоразумна. Я чувствую себя гораздо свободнее с вами, старушка, с вами, дорогая ворчунья, потому что вы принимаете меня какая я есть — знаете, что я кокетлива, невежественна, легкомысленна, непостоянна, неразумна, эгоистична и обладаю множеством других подобных достоинств, которые, как мы с вами признали, неотделимы от моей натуры.

— Все это прекрасно, — объявила я, изо всех сил стараясь сохранить на лице серьезное и строгое выражение, которое чуть было не согнал этот поток причудливой откровенности, — но ведь ничего все равно не меняется в вашей злополучной истории с подарками. Джиневра, будьте хорошей и благородной девочкой — упакуйте их и отошлите обратно.

— И не подумаю, — решительно ответила она.

— Значит, вы обманываете господина Исидора. Ведь, принимая от него подарки, вы даете ему понять, что в будущем воздадите ему...

— Никогда, — перебила она меня, — он сейчас уже вознагражден — он же получает удовольствие, видя, как я ношу эти украшения, — и хватит с него, в конце концов, он не аристократ.

Эти полные жестокого высокомерия слова мгновенно излечили меня от слабодушия, которое смягчало мой тон в разговоре с Джиневрой и мое отношение к ней. Она же продолжала:

— Пока я хочу наслаждаться молодостью, а не связывать себя обещаниями или клятвами. Когда я впервые встретила с Исидором, я надеялась, что он будет веселиться вместе со мною. Я думала, его будет радовать моя миловидность и мы будем встречаться, расставаться и порхать, словно два счастливых мотылька. Но, увы! Он то серьезен, как судья, то погружен в свои чувства и размышления. Вот еще! Les penseurs, les hommes profonds et passionnes ne sont pas a mon gout. Le colonel Alfred de Hamal подходит мне гораздо больше. Va pour les beaux fats et les jolis fripons! Vive les joies et les plaisirs! A bas les grandes passions et les severes vertus!^[83]

Она замолкла в ожидании отклика на ее тираду, но я не произнесла ни слова.

— J'aime mon bon colonel, — продолжала она, — je n'aimerai jamais son rival. Je ne serai jamais femme de bourgeois, moi!^[84]

Я всем своим видом дала ей понять, что хочу незамедлительно избавиться от ее присутствия, — и она со смехом упорхнула.

Глава X

ДОКТОР ДЖОН

Мадам Бек была человеком чрезвычайно последовательным: она проявляла сдержанность ко всем, но мягкость — ни к кому. Далее собственные дети не могли вывести ее из состояния уравновешенности и стоического спокойствия. Она заботилась о своей семье, охраняла интересы детей и следила за их здоровьем, но, по-видимому, никогда не испытывала желания посадить малышей к себе на колени, поцеловать в розовые губки, ласково обнять или наговорить им нежных, добрых слов.

Мне иногда случалось наблюдать, как она, сидя в саду, смотрит на своих детей, гуляющих по дальней аллее с Тринеттой, их бонной, — на лице у нее всегда были написаны осторожность и благоразумие. Я знаю, что она часто и напряженно размышляла о «leur avenir»,^[85] как она выражалась, но если младшая девочка — болезненный, хрупкий и вместе обаятельный ребенок, — заметив ее, вырывалась от няни и, смеясь и задыхаясь, ковыляла по дорожке к матери, чтобы ухватиться за ее юбки, мадам тут же предостерегающе выставляла вперед руку, дабы сдержать движение ребенка, бесстрастно произносила: «Prends garde, mon enfant!»,^[86] разрешала девочке постоять около себя несколько мгновений, а затем, не улыбнувшись, без поцелуя или ласкового слова, вставала и отводила ее обратно к Тринетте.

По отношению к старшей дочери мадам вела себя по-другому, но столь же для нее характерно. Это была злая девочка. «Quelle peste que cette Desiree! Quel poison que cet enfant-la!»^[87] — так говорили о ней и слуги и соученицы. Среди прочих талантов она обладала тончайшим даром вероломства, доводившим слуг и бонну чуть не до иступления. Она пробиралась к ним в мансарду, открывала ящики и сундуки, рвала лучшие чепцы и пачкала нарядные шали; она подстерегала любую возможность проникнуть в столовую к буфету, где превращала в осколки фарфор и стекло, или — в кладовую, где воровала варенье, пила сладкое вино, разбивала банки и бутылки, после чего ухитрялась бросить тень подозрения на кухарку или судомойку. Мадам, удостоверившись в этом лично или выслушав чью-нибудь жалобу, с бесподобной невозмутимостью произносила обычно одну фразу: «Desiree a besoin d'une surveillance toute particuliere».^[88] В соответствии с этим убеждением мадам нередко

предпочитала держать многообещающее чадо поближе к себе. По-моему, мать ни разу откровенно не говорила с девочкой о ее недостатках, не объясняла, как худо она поступает и каковы могут быть последствия. Надо только хорошенько за ней присматривать — так, видимо, полагала мадам. Из этого, разумеется, ничего не получалось. Поскольку Дезире в какой-то мере была отстранена от прислуги, она донимала и обкрадывала мать. Она тащила с рабочего столика и туалета мадам и прятала все, что попадало под руку. Мадам это видела, но притворялась, будто ничего не замечает, ибо ей не хватало душевной честности признать пороки своего ребенка. Когда пропадал предмет ценный, который нужно было непременно разыскать, мадам открыто заявляла, что Дезире, вероятно, играя, взяла его, и просила девочку его вернуть. Но Дезире невозможно было провести таким способом, ибо она умела призывать ложь на помощь воровству и заявляла, что и в глаза не видела пропавшей вещи — броши, кольца или ножниц. Продолжая притворяться, мать делала вид, будто верит ей, а потом неусыпно следила за ней, пока не удавалось обнаружить тайник — какую-нибудь трещину в садовой ограде или щель на чердаке или во флигеле. Тогда мадам отсылала Дезире погулять с бонной и, пользуясь ее отсутствием, обворовывала воровку. Дезире, как достойная дочь коварной матери, обнаружив пропажу, ничем не выдавала огорчения.

О второй дочери мадам Бек, Фифине, говорили, что она похожа на покойного отца. Хотя девочка унаследовала от матери цветущее здоровье, голубые глаза и румяные щеки, нравственными качествами она совершенно очевидно пошла не в нее. Эта искренняя, веселая девчушка, горячая, вспыльчивая и подвижная, нередко попадала в опасные и трудные положения. Однажды она надумала скатиться с лестницы, упала и проехала до самого низа по крутым каменным ступеням. Мадам, услышав шум (а она всегда являлась на любой шум), вышла из столовой, подняла ребенка и спокойно объявила: «Девочка сломала руку».

Сначала мы подумали, что она ошиблась, но вскоре убедились, что так оно и есть: одна пухлая ручка бессильно повисла.

— Пусть миис, — распорядилась мадам, имея в виду меня, — возьмет ее, et qu'on aille tout de suite chercher un fiacre!^[89]

С удивительным спокойствием и самообладанием, но без промедления она села в фиакр и отправилась за врачом.

Их домашнего врача не оказалось на месте, но это ее не смутило — она, в конце концов, отыскала ему замену и привезла другого доктора. А я пока разрезала на девочке рукав, раздела ее и уложила в постель.

Мы все (т. е. бонна, кухарка, привратница и я, собравшиеся в

маленькой, жарко натопленной комнате) не стали рассматривать нового доктора, когда он вошел; во всяком случае, я в тот момент пыталась успокоить Фифину, крики которой (у нее были отличные легкие) буквально оглушали, а уж когда незнакомец подошел к постели, стали совсем невыносимыми. Он попробовал было приподнять ее, но она завопила на ломаном английском (как говорили и другие дети): «Пускай меня! Я не хочет вас, я хочет доктор Пилюль!»

— Доктор Пилюль — мой добрый друг, — последовал ответ на превосходном английском языке, — но он сейчас занят, он далеко отсюда, и я приехал вместо него. Сейчас мы успокоимся и займемся делом: быстро перевяжем бедную ручку, и все будет в порядке.

Он попросил принести стакан eau sucree,^[90] дал ей несколько чайных ложек этой сладкой жидкости (Фифина была ненасытной лакомкой, любой мог завоевать ее расположение, угостив вкусными вещами), пообещал дать еще, когда закончится лечебная процедура, и принялся за работу. Он попросил кухарку, крепкую женщину с сильными руками, оказать ему необходимую помощь, но она, привратница и бонна немедленно исчезли. Мне очень не хотелось дотрагиваться до маленькой наболевшей ручки, однако, понимая, что иного выхода нет, я наклонилась, чтобы сделать необходимое, но меня опередили — мадам Бек протянула руку, которая, в отличие от моей, не дрожала.

— *Sa vaudra mieux,*^[91] — сказал доктор, отвернувшись от меня.

Он сделал удачный выбор: мой стоицизм был бы вынужденным, притворным, ее — естественным и неподдельным.

— *Merci, madame; tres bien, fort bien!*^[92] — сказал хирург, закончив работу. — *Voila un sang-froid bien opportun, et qui vaut mille elans de sensibilite deplacee.*^[93]

Он был доволен ее выдержкой, она — его комплиментом. Его внешность, голос, выражение лица и осанка производили благоприятное впечатление, которое усилилось, когда в комнату, где уже темнело, внесли лампу, осветившую его, — и уж теперь такая женщина, как мадам Бек, не могла не заметить этого. У молодого человека (а он был очень молод) вид был действительно незаурядный. Высокий рост казался особенно внушительным в маленькой комнатке на фоне коренастых, скроенных на голландский манер женщин; у него был четкий, изящный и выразительный профиль; он, пожалуй, слишком быстро и часто переводил взгляд с одного лица на другое, но и это получалось очень мило; красивый рот и полный, греческий, идеальный подбородок с ямочкой дополняли портрет. Для

описания его улыбки трудно второпях найти подходящий эпитет: что-то в ней было приятное, а что-то наводило на мысль о наших слабостях и недостатках, над которыми он, казалось, может посмеяться. Однако Фифине нравилась эта двусмысленная улыбка, а сам доктор показался ей добрым, хотя он причинил ей боль, она протянула ручку и дружески попрощалась с ним на ночь. Он нежно погладил ручку и вышел вместе с мадам. Когда они спускались с лестницы, она в крайнем оживлении говорила возбужденно и многословно, а он слушал с выражением добродушной любезности, смешанной с лукавой усмешкой, которое мне трудно точно описать.

Я заметила, что, хотя он по-французски говорит хорошо, его английская речь звучит гораздо лучше, да и цвет лица, глаза и осанка были у него чисто английскими. Заметила я еще и другое. Когда он выходил из комнаты и повернулся на мгновение к мадам, мы с ним оказались лицом к лицу, и я невольно взглянула на него — вот тут-то и стало ясно, почему с того момента, как я услышала его голос, меня мучило чувство, что я уже с ним встречалась. Это был тот самый джентльмен, с которым я разговаривала у станционной конторы, который помог мне распутать недоразумение с багажом и проводил меня по темной, залитой дождем дороге. Я узнала его походку, услышав, как он идет по длинному вестибюлю: те же твердые и равномерные шаги, за которыми я следовала под сенью деревьев, ронявших капли дождя.

Следовало ожидать, что первый визит этого врача на улицу Фоссет будет и последним. Почтенный доктор Пилюль должен был на следующий день вернуться домой, и его временному заместителю вовсе незачем было вновь появляться у нас. Но судьба распорядилась иначе.

Доктора Пилюля вызвали к богатому старику, страдавшему ипохондрией, в старинный университетский город Букен-Муази, и, когда он предписал больному перемену обстановки, его попросили сопровождать беспомощного пациента в поездке, рассчитанной на несколько недель. Поэтому новому врачу пришлось посещать улицу Фоссет.

Мы часто встречались с ним: мадам не доверяла маленькую больную бонне и требовала, чтобы я оставалась в детской подольше. Мне думается, д-р Джон был искусным врачом. Фифина быстро поправлялась, благодаря его попечению, но, несмотря на ее выздоровление, от его услуг не отказались. Судьба и мадам Бек словно заключили союз и порешили, что ему следует досконально изучить вестибюль, внутреннюю лестницу и верхние комнаты дома на улице Фоссет.

Не успела Фифина выйти из-под его опеки, как объявила себя больной

Дезире. Эта испорченная девчонка обладала необычайным даром притворства и, заметив, как снисходительно и бережно относятся к больной сестре, пришла к заключению, что ей выгодно оказаться на одре болезни, и тотчас объявила, что нездорова. Роль свою она исполняла хорошо, а ее мать еще лучше. Хотя мадам Бек ни минуты не сомневалась, что дочь хитрит, она весьма убедительно изображала озабоченность и полное доверие.

Меня поразило, что доктор Джон (молодой англичанин научил Фифину называть его таким образом, и мы вслед за ней тоже привыкли так обращаться к нему, а вскоре и все обитатели дома на улице Фоссет стали звать его этим именем) беспрекословно поддержал тактику мадам Бек и согласился участвовать в ее хитросплетениях. Сначала он очень смешно делал вид, будто колеблется, бросал быстрые взгляды то на ребенка, то на мать и глубокомысленно задумывался, но в конце концов прикинулся побежденным и начал с большим искусством исполнять роль в этом фарсе. Дезире ела с волчьим аппетитом, целыми днями проказничала, воздвигая в постели шатры из одеял и простынь, возлежала, как турецкий паша, на валиках и подушках, развлекалась, швыряя туфли в бонну и корча рожи сестрам, — короче говоря, в ней било через край незаслуженно дарованное крепкое здоровье и бушевал дух зла; но когда ее мать и доктор наносили ей ежедневный визит, она принимала томный вид. Я понимала, что мадам Бек готова любой ценой подольше держать дочь в постели, лишь бы помешать ее дурным проделкам, но меня удивляло терпение доктора Джона.

Пользуясь этим сомнительным предлогом, он ежедневно появлялся у нас в точно назначенное время. Мадам всегда принимала его с подчеркнутой любезностью, с радостной улыбкой и лицемерным, но искусно изображаемым беспокойством о здоровье ребенка. Доктор Джон выписывал пациентке безвредные снадобья, лукаво посматривая на мать. Мадам не сердилась на него за насмешливое выражение лица — для этого она была слишком умна. Каким сговорчивым ни казался юный доктор, к нему нельзя было относиться с перенебрежением, ибо уступчивость не превращалась у него в заискивание перед теми, кому он служит; хотя ему нравилось работать в пансионе и он почему-то подолгу задерживался на улице Фоссет, вел он себя независимо, даже несколько небрежно, правда, при этом у него часто бывал задумчивый и озабоченный вид.

Вероятно, не мое это было дело — следить за его таинственным поведением или выискивать причины и цели его поступков, но на моем месте никто не избежал бы этого. Ведь я имела возможность наблюдать за ним беспрепятственно потому, что внешность моя обычно привлекает к себе не больше внимания, чем любой незатейливый предмет обстановки,

простой стул или ковер с нехитрым рисунком. Ожидая мадам, он нередко вел себя так, словно был в полном одиночестве: задумывался, улыбался, следил за чем-то глазами, к чему-то прислушивался. Я же могла без помех наблюдать за его жестами и выражением лица и размышлять, как объяснить его особенный интерес и привязанность к нашему спрятавшемуся в застроенном центре столицы полумонастырю, куда его словно толкала некая колдовская сила, хотя многое там было ему чуждо и внушало недоверие. Он, наверное, и не предполагал, что я тоже наделена зрением и разумом.

Он этого и не обнаружил бы, если бы однажды не случилось вот что: я наблюдала, как под лучами солнца у него меняется цвет волос, усов и лица все словно запылало золотым огнем (помнится, я невольно сравнила его сияющую голову с головой «золотого истукана», воздвигнутого по приказу Навуходоносора), и вдруг у меня в мозгу блеснула ошеломляющая мысль... До сих пор не знаю, какое выражение появилось у меня на лице — изумление и уверенность в правильности догадки лишили меня самообладания, и пришла я в себя, лишь когда обнаружила, что доктор Джон следит за моим отражением в овальном зеркальце, висевшем на боковой стенке оконной ниши, которое мадам часто использовала для тайных наблюдений за гуляющими в саду. Хотя доктор обладал пылким темпераментом, он не был лишен тонкой чувствительности, и устремленный на него пристальный взгляд привел его в смущение. Я испугалась, а он отвернулся от зеркала и проговорил хотя и вежливо, но достаточно сухо, подчеркнув этим досаду и придав своим словам оттенок порицания:

— Мадемуазель не оставляет меня вниманием, но я не столь самоуверен, чтобы рассчитывать на интерес к моим достоинствам, следовательно, ее занимают мои недостатки. Смею ли я спросить какие?

Этот упрек, как догадается читатель, смутил меня, но не слишком сильно, ибо я сознавала, что не беспечным восхищением или беззастенчивым любопытством заслужила его. Мне следовало сразу объясниться, но я не произнесла ни слова. Я вообще не имела обыкновения обращаться к нему. Предоставив доктору возможность думать обо мне, что ему заблагорассудится, и в чем угодно обвинять меня, я склонилась над отодвинутым было рукоделием и не подняла головы, пока он оставался в комнате. Иногда мы бываем в столь причудливом настроении, что нас не раздражают, а скорее тешат ошибки и недоразумения; мы, так мне думается, получаем удовольствие, если в обществе, где нас не могут понять, остаемся незамеченными. Ведь честного человека, которого

случайно приняли за грабителя, скорее веселит, чем огорчает подобная
несуразица, не правда ли?

Глава XI

КОМНАТА КОНСЬЕРЖКИ

Стояло жаркое лето. Жоржетта, младшая дочка мадам Бек, слегла в горячке, а Дезире, внезапно излечившуюся от всех недугов, вместе с Фифиной отправили в деревню к крестной, чтобы они не заразились. Теперь помощь врача стала действительно необходимой, и мадам остановила свой выбор не на докторе Пилюле, который уж с неделю как вернулся домой, а на его английском сопернике, его она и пригласила посетить больную. Две-три пансионерки жаловались на головную боль и легкие признаки лихорадки. «Теперь, — подумала я, — придется наконец обратиться к доктору Пилюлю: благоразумная директриса не осмелится допустить, чтобы ее учениц лечил такой молодой мужчина».

Наша директриса была весьма благоразумна, но отличалась и способностью совершать чрезвычайно рискованные поступки. Она без колебаний представила доктора Джона всем учителям и наставницам и поручила ему опекать гордую красавицу Бланш де Мельси и ее подругу, тщеславную кокетку Анжелику. Мне почудилось, что доктор Джон даже испытал известное удовлетворение от подобного доверия и несомненно оправдал бы его, если бы такой шаг мадам Бек был воспринят как разумный поступок, но в этом крае монастырей и исповедален присутствие молодого человека в «pensionnat de demoiselles»^[94] не могло остаться безнаказанным. В классах бурлили сплетни, в кухне злословили, по городу поползли слухи, родители писали письма и даже приходили в пансион, чтобы выразить неудовольствие. Будь мадам слабее духом, она бы потерпела поражение: ведь добрый десяток конкурирующих учебных заведений был не прочь исправить этот ложный (если таковым его можно считать) шаг и разорить ее. Но мадам обладала сильным духом, и, какой бы мелкой иезуиткой она ни была, я мысленно аплодировала ей и кричала «браво», наблюдая, как умно она держится, как искусно улаживает неприятности и с каким хладнокровием и твердостью ведет себя в столь трудном положении.

Она принимала встревоженных родителей с добродушной и спокойной любезностью, ибо не было ей равных в умении выказывать или, может быть, изображать «rondeur et franchise de bonne femme»,^[95] при помощи которых она быстро и с полным успехом достигала поставленной цели,

когда строгостью и глубокомысленными доводами, вероятно, ничего не удалось бы добиться.

«Ce pauvre docteur Jean! — говорила она, посмеиваясь и с веселым видом потирая белые ручки. — Ce cher jeune homme! La meilleure creature du monde!»^[96] — И начинала рассказывать, как пригласила его лечить собственных детей и те так полюбили его, что рыдали до исступления от одной мысли о другом докторе. Затем она объясняла, что поскольку доверила ему своих детей, то сочла естественным поручить ему заботу и об остальных, да и то, впрочем, лишь в единственном случае — просто Бланш и Анжелику одолела мигрень, и доктор Джон прописал им лекарство, voilà tout!^[97]

Родители умолкали, а Бланш и Анжелика избавляли ее от дальнейших неприятностей, дуэтом превознося доктора до небес, и все прочие ученицы в один голос заявляли, что не допустят к себе никакого врача, кроме доктора Джона. Мадам смеялась, и ее примеру следовали родители. Жители Лабаскура, видимо, отличаются необычайным чадолюбием; во всяком случае, потворствуют они своим отпрыскам безгранично, в большинстве семей желание ребенка закон. Мадам теперь снискала всеобщее уважение, проявив в описанных обстоятельствах материнскую преданность пансионеркам, — из всей этой истории она вышла с поднятыми знаменами, а родители стали о ней, как о наставнице, еще более высокого мнения.

Я так до сих пор и не могу понять, почему она ради доктора Джона рисковала своим авторитетом. До меня, разумеется, дошло, о чем говорят окружающие по этому поводу: все обитатели дома — ученицы, учителя и даже слуги — твердили, что она намерена выйти за него замуж. Так уж они решили; разница в возрасте, очевидно, по их мнению, препятствием не является, и все должно свершиться согласно их предсказаниям.

Следует признать, что факты в какой-то мере подтверждали их предположение: мадам явно предпочла пользоваться только услугами доктора Джона, предав полному забвению своего бывшего любимца доктора Пилюля. Более того, она всегда лично сопровождала доктора Джона во время его визитов, неизменно сохраняя с ним ласковый и веселый тон. Она стала обращать сугубое внимание на туалеты, решительно отвергнув утреннее дезабилье, ночной чепец и шаль; как бы рано ни приходил доктор Джон, она встречала его непременно в изящной прическе, тщательно уложив рыжеватые косы, в элегантном платье, в модных высоких ботинках на шнурах вместо домашних туфель — короче

говоря, в наряде столь совершенном, что он мог бы служить моделью, и свежем, как цветок. Однако я полагаю, ее намерения ограничивались лишь желанием доказать красивому мужчине, что и она недурна собой, и действительно, она была привлекательна. Хотя черты лица и фигура не были у нее идеальными, смотреть на нее было приятно и, невзирая на то что она уже утратила ликующее очарование юности, вид ее радовал окружающих. Ею хотелось любоваться, потому что она не бывала однообразной, вялой, бесцветной или скучной. Ее глянцевиные волосы, светящиеся спокойным голубым сиянием глаза, здоровый румянец, придающий ее щекам вид персика, — все это доставляло пусть скромное, но неизменное удовольствие.

Может быть, она в самом деле лелеяла зыбкую мечту взять себе в мужа доктора Джона, ввести его в свой хорошо обставленный дом, разделить с ним свои сбережения, составлявшие, по слухам, изрядную сумму, и обеспечить ему безбедное существование на весь остаток дней? Подозревал ли доктор Джон, что пред нею встают подобные видения? Я несколько раз замечала, что после расставания с ней у него на лице играла легкая лукавая улыбка, а в глазах светилось польщенное мужское самолюбие. Однако при всей своей красоте и при всем добродушии совершенством и он не был. Он, вероятно, был далеко не безупречен, раз легкомысленно поддерживал в ней тщетные, как он знал, надежды. А вправду ли он не собирался претворить их в жизнь? Говорили, что у него нет никакого состояния и живет он только на свои заработки. Мадам, хотя и была лет на четырнадцать старше него, принадлежала к категории женщин, которые словно бы не стареют, не вянут, не теряют самообладания. Отношения у них с доктором Джоном несомненно сложились превосходные. Он, по-видимому, не был влюблен в нее, но разве так уж много людей в этом мире любят по-настоящему или женятся по любви? Мы все с интересом ждали развязки.

Не знаю, чего он ждал и что подстерегал, но странное поведение и настороженный, сосредоточенный, напряженный вид не только не оставляли его, но, скорее, усугублялись. Мне всегда было трудно постичь его, а теперь он все дальше выходил за пределы моего понимания.

Однажды утром у маленькой Жоржетты усилилась лихорадка. Девочка, разумеется, стала капризничать, плакать, и успокоить ее было невозможно. Я заподозрила, что ей повредило новое лекарство, и сомневалась, стоит ли давать его ребенку дальше, поэтому я с нетерпением ждала прихода врача, чтобы с ним посоветоваться.

Зазвенел дверной колокольчик, и внизу послышался его голос — он

сказал что-то консьержке. Обычно он сразу поднимался в детскую, перепрыгивая через три ступеньки, и его появление всегда казалось нам приятной неожиданностью. Но на этот раз прошло пять минут, десять, а его нет как нет. Что он там делает? Может быть, ждет чего-то в нижнем коридоре? Маленькая Жоржетта продолжала жалобно всхлипывать, взывая ко мне: «Минни, Минни (так она обычно меня называла), я очень плохо», — отчего у меня разрывалось сердце. Я спустилась вниз выяснить, почему он не идет в детскую. В коридоре никого не было. Куда же он исчез? Не беседует ли он с мадам в *salle à manger*?^[98] Нет, этого быть не может, ведь я совсем недавно с ней рассталась — она одевалась у себя в комнате. Я прислушалась. В трех ближайших комнатах — столовой и большой и малой гостиных — три ученицы усердно разыгрывали экзерсисы, между коридором и этими комнатами находилась лишь комнатка привратницы, сообщающаяся с приемной, первоначально предназначенная для будуара. Подальше, в зале для молитв, вокруг четвертого инструмента, целый класс двенадцать-пятнадцать пансионеров — занимался пением и как раз в тот момент запел «баркаролу» (так, кажется, это называется), из которой я до сих пор помню слова: «*fraîche brise, Venise*».^[99] Что я могла расслышать в таких условиях? Несомненно, многое, но не то, что мне было нужно.

Итак, из вышеупомянутой комнатки, около полуоткрытой двери которой я стояла, до меня донесся звонкий беспечный смех, потом мужской голос, тихо, мягко и просительно произнесший несколько слов, из коих я разобрала только умоляющее «Ради бога!», и почти тотчас же в дверях появился доктор Джон. Глаза его сверкали, но не радостью или торжеством; белокожее, как у большинства англичан, лицо покраснелось и выражало разочарование, муку, тревогу и вместе нежность.

За дверью меня не было видно, но думаю, что если бы я столкнулась с ним лицом к лицу, он бы прошел мимо, не заметив меня. Его душу явно терзали обида и горькое разочарование, а если передать точнее впечатление, которое он произвел на меня тогда, им владели печаль и чувство пережитой несправедливости. Мне казалось, что страдает он не от униженной гордости, а оттого, что его нежным чувствам нанесена жестокая рана. Но кто же эта мучительница? Кто из обитательниц дома имеет над ним такую власть? Я знала, что мадам у себя в спальне, а комнаткой, из которой он вышел, полностью распоряжается консьержка Розина Мату — распушенная, хотя и миловидная гризетка, ветреная, легкомысленная модница, пустая и корыстолюбивая, — ведь не она же подвергла его тому

тяжкому испытанию, через которое он, по-видимому, прошел?

Но мои размышления прервал ее чистый, хотя несколько резкий голос, проникший через открытую дверь, — она запела веселую французскую песенку; не веря своим ушам, я заглянула внутрь: да, за столом сидела она в платье из «jasonas rose»^[100] и отделывала кружевами маленькую шляпку; помимо нее, в комнате не было никого и ничего, если не считать пестрых рыбок в круглом аквариуме, цветов в горшках и широкого луча июльского солнца.

Вот эта загадка! Но мне пора было подняться наверх и узнать насчет лекарства.

Доктор Джон сидел в кресле у постели Жоржетты, а мадам стояла перед ним. Девочку уже осмотрели и успокоили, и она мирно лежала в кровати. Когда я вошла, мадам Бек вела разговор о здоровье самого доктора, отмечая истинные или воображаемые перемены в его внешности, доказывая, что он переутомляется, и советуя ему отдохнуть или переменить обстановку. Он слушал ее с кротким, но вместе и насмешливо-равнодушным видом и отвечал, что она «trop bonne»,^[101] а он чувствует себя превосходно. Мадам обратилась ко мне, и тогда доктор Джон бросил на меня взгляд, в котором мелькнуло удивление, вероятно, по поводу того, что она уделяет внимание столь незначительной личности.

— А как вам кажется, мисс Люси? — спросила мадам. — Ведь правда, он побледнел и похудел?

Обычно в присутствии доктора Джона я ограничивалась односложными ответами; я вообще предпочла бы, вероятно, остаться в его глазах той безучастной и вялой особой, какой он меня считал. Однако на сей раз я взяла на себя смелость произнести целое предложение, которое постаралась сделать многозначительным:

— Да, сейчас у доктора Джона нездоровый вид, но, возможно, это вызвано причиной временной: может быть, он огорчен или встревожен.

Не знаю, как он воспринял мои слова, потому что, произнося их, я ни разу не взглянула на него. Жоржетта спросила у меня на своем ломаном английском, можно ли ей выпить стакан eau sucree. Я ответила ей по-английски. Полагаю, он впервые заметил, что я говорю на его родном языке, до тех пор он принимал меня за иностранку, называл «мадемуазель» и давал распоряжения относительно лечения детей по-французски. Он хотел было что-то сказать, но спохватился и промолчал.

Мадам вновь начала донимать его советами, он же, смеясь, покачал головой, встал и попрощался с ней вежливо, но с несколько рассеянным

видом человека, которому докучает чрезмерное и непрошеное внимание.

Как только он вышел, мадам упала в кресло, где он раньше сидел, и оперлась подбородком о согнутую руку. Оживление и добродушие исчезли у нее с лица, и на нем появилось холодное, суровое, почти оскорбленное и мрачное выражение. Из груди ее вырвался всего один, но очень глубокий вздох. Громкий звук колокола оповестил о начале утренних занятий. Она встала с кресла и, проходя мимо туалетного столика, взглянула на свое отражение в зеркале. С содроганием она выдернула один-единственный седой волос, блеснувший в каштановых локонах. В солнечном свете летнего дня было особенно заметно, что, несмотря на румянец, лицо ее утеряло и юношескую свежесть, и четкость линий. Ах, мадам! как ни исполнены вы мудрости, слабости ведомы даже вам. Раньше мадам не вызывала во мне чувства жалости, но когда она печально отвернулась от зеркала, сердце мое сжалось от сострадания. На нее свалилась беда. Отвратительное чудовище по имени Разочарование приветствовало ее своим страшным «Здравствуй!», а душа ее отвергала это знакомство.

Но неужели Розина? Нельзя описать, как я была озадачена. В тот день я пять раз воспользовалась разными предложениями, чтобы пройти мимо ее комнатки, преследуя при этом цель попристальнее рассмотреть ее прелести и раскрыть тайну их могущества. Она была хороша собой, молода и со вкусом одета. Думаю, что во зрелом размышлении каждый признает, что подобные качества могут вызвать в душе такого юного человека, как доктор Джон, страдания и смятение. И все же во мне невольно пробудилось смутное желание — хорошо бы вышеупомянутый доктор был моим братом, или, по крайней мере, имел бы сестру или мать, которые бы мягко пожурили его. Повторяю, смутное желание: я преодолела его прежде, чем оно стало отчетливым, вовремя уловив, как беспредельно оно глупо. «Любой, — рассуждала я сама с собой, — мог бы пожурить и мадам за ее отношение к молодому доктору, и что было бы хорошего?»

Полагаю, что мадам сама наставляла себя. В ее поведении не было заметно ни душевной слабости, ни странностей. Правда, ей не пришлось преодолевать, заглушать в себе истинную страсть или испытывать боль от неудовлетворенной нежности. Правда и то, что настоящее призвание и серьезное дело заполняли ее время, привлекали к себе мысли и требовали внимания. Особенно же важно, что она обладала таким полноценным здравым смыслом, который присущ отнюдь не всем женщинам и не всем мужчинам. Благодаря сочетанию всех этих достоинств она вела себя мудро — превосходно вела себя. Браво! Еще раз браво, мадам Бек! Я видела, как вы померялись силами с демоном соблазна, — вы храбро сражались и

победили!

Глава XII

ЛАРЧИК

За нашим домом на улице Фоссет был сад — для городского центра большой и, по моим воспоминаниям, тенистый; однако время, как и расстояние, приукрашивает картины прошлого, да к тому еще сколь пленительными кажутся одинокий куст и заросший зеленью кусочек земли меж каменных домов, у глухой стены, на разогретой солнцем мостовой!

По преданию, дом мадам Бек в незапамятные времена был монастырем. Говорили, что в далеком прошлом — как давно, не могу сказать, но думаю, несколько веков назад, — до того, как город включил эти места в свои границы, когда кругом еще расстилались пересеченные дорогами пашни, а в окруженном деревьями приюте уединения укрывалась святая обитель, здесь произошло какое-то страшное событие, от которого кровь леденеет в жилах; с тех пор идет молва о том, что в этом месте водится привидение. Ходили туманные слухи, что где-то в окрестностях дома один или несколько раз в году, ночью, появляется монахиня в черно-белом одеянии. Привидение, должно быть, выдворили из этих мест еще несколько столетий тому назад, и теперь вся округа застроена домами, но кое-что напоминает о монастыре, например, древние громадные фруктовые деревья, которые до сих пор освящают эти места. Откинув слой покрытой мхом земли под прожившей мафусаилов век высохшей грушей — лишь несколько живых веток добросовестно покрывались весной ароматными белоснежными цветами, — вы могли увидеть меж полуобнаженных корней кусочек гладкой черной каменной плиты. По слухам, недостоверным и неподтвержденным, но передаваемым из поколения в поколение, эта плита закрывала вход в склеп, где глубоко под землей, покрытой травой и цветами, покоятся останки девушки, которую в мрачную эпоху средневековья по приговору церковного суда заживо похоронили за нарушение монашеского обета. Вот ее призрака и боялись трусы на протяжении многих веков, когда страдальца уже превратилась в прах; робкие пугливые души принимали игру лунного света в колышущихся на ветру густых зарослях сада за черное монашеское платье и белый шарф.

Но независимо от романтических бредней старый сад был полон очарования. Летом я обычно вставала пораньше, чтобы в одиночестве насладиться его красотой, а вечерами любила бродить одна, встречать

восходящую луну, ощущать поцелуи вечернего ветерка или скорее вообразить, чем почувствовать свежесть выпадающей росы. Зеленел дерн, белели посыпанные гравием дорожки, а яркие, как солнце, настурции живописно теснились около корней гигантских фруктовых деревьев, обросших повиликой. В тени акации пряталась большая беседка, а другая, поменьше, стояла более уединенно среди вьющегося винограда, который покрывал всю высокую серую стену и, кудрявясь, щедро свешивал гроздья к потаенному месту, где с ними венчались жасмин и плющ.

Конечно, при ярком, лишенном таинственности свете дня, когда многочисленные питомцы мадам Бек — приходящие и пансионерки — вырывались на волю и разбегались по саду, стараясь перещеголять в криках и прыжках обитателей расположенного рядом мужского коллежа, сад превращался в довольно скучное, истоптанное место. Но зато как приятно было прогуливаться по тихим аллеям и слушать мелодичный, нежный, величественный звон колоколов на соборе Иоанна Крестителя в час прощания с заходящим солнцем.

Как-то вечером я совершала подобную прогулку, и мирная тишина, ласковая прохлада, ароматное дыхание цветов, которые охотнее отдавали его росе, чем горячему солнцу, — все это задержало меня в саду позднее обычного — до глубоких сумерек. В окне молельни зажегся свет, это означало, что все обитатели дома — католики — собрались для вечерней молитвы, ритуала, от которого я, как протестантка, время от времени уклонялась.

«Подожди еще мгновение, — шептали мне уединение и летняя луна, — побудь с нами; все тихо кругом; целую четверть часа твоего отсутствия никто не заметит; дневная жара и суета утомили тебя — наслаждайся этими бесценными минутами».

На глухие задние фасады домов, стоящих в саду, с одной стороны выходил длинный ряд строений, где располагались жилые комнаты соседнего коллежа. Эти каменные стены тоже были глухими, лишь на самом верху виднелись окошки комнат для женской прислуги, находившихся в мансарде, да еще в нижнем этаже было прорублено окно, за которым, по слухам, была не то спальня, не то кабинет одного из учителей. Хотя это место было, таким образом, совершенно безопасным, ученицам запрещалось ходить в этой части сада по аллее, тянувшейся параллельно очень высокой стене. Аллею называли «l'allée défendre»,^[102] и девочке, осмелившейся ступить сюда ногой, грозило самое строгое наказание, какое только допускалось мягкими правилами заведения мадам Бек. Учителя посещали это место безнаказанно, но, поскольку дорожка

была очень узкой, а неухоженные кусты разрослись по обе стороны так густо, что образовали крышу из ветвей и листьев, через которую проникали лишь солнечные блики, мало кто посещал аллею даже днем, а уж в темноте ее и вовсе избегали.

С самого начала мне захотелось нарушить этот обычай, ибо меня привлекали уединенность и царивший здесь мрак. Долгое время я боялась показаться странной, но по мере того, как окружающие привыкали ко мне, моим особенностям и чертам характера, — а они не были ни столь поразительны, чтобы привлекать внимание, ни столь неприемлемы, чтобы вызывать раздражение, а просто родились вместе со мной и расстаться с ними означало бы потерять самое себя, — я постепенно стала частой посетительницей этой заросшей узкой тропинки. Я принялась ухаживать за бледными цветочками, пробившимися меж густых кустов, очистила от собравшихся за много лет осенних листьев деревянную скамейку в дальнем конце аллеи и вымыла ее, взяв у кухарки Готон ведро и жесткую щетку. Мадам застала меня за работой и одобрительно улыбнулась, не знаю, правда, насколько искренне, но на вид улыбка казалась непритворной.

— Voyez-vous, — воскликнула она, — comme elle est propre, cette demoiselle Lucie! Vous aimez donc cette allée, Meess?^[103]

— Да, — ответила я, — здесь тихо и прохладно.

— C'est juste,^[104] — благодушно заметила она и любезно разрешила мне проводить здесь сколько угодно времени, сказав, что надзор за пансионерками не входит в мои обязанности и я могу не сопровождать их во время прогулок, но она просит меня позволить ее детям приходить сюда, чтобы разговаривать со мной по-английски.

В тот вечер, о котором идет речь, я сидела на скрытой в кустах скамейке, очищенной ото мха и плесени, и прислушивалась к звукам городской жизни, доносившимся словно издалека. На самом же деле пансион стоял в центре города, и от нас до парка можно было дойти за пять минут, а до зданий, отличавшихся ослепительной роскошью, — за десять. Совсем рядом с нами тянулись широкие, ярко освещенные улицы, где в это время суток бурлила жизнь — экипажи мчали седоков на балы и в оперу. Тот самый час, когда у нас в монастыре тушили огни и опускали полог у каждой постели, призывал веселый город, окружающий нас, предаться праздничным удовольствиям. Однако я никогда не задумывалась над этим контрастом, ибо мне от природы мало свойственно стремление к радости и веселью; я никогда не бывала ни на балу, ни в опере, и, хотя не раз слышала

о них и даже хотела бы увидеть собственными глазами, меня не одолевало желание, если удастся, участвовать в них или блистать в некоем далеком праздничном мире: я не испытывала ни страстного тяготения, ни жажды прикоснуться к этому миру, а лишь сдержанный интерес увидеть нечто новое.

В небе блестел лунный серп, мне он был виден через просвет между сплетенными ветвями над головой. В этом краю, среди чужих, лишь луна и звезды казались мне давними знакомыми, ведь их я знала с детства. Сколько раз в безвозвратно ушедшие дни я видела на синем небе доброй Старой Англии золотистый серп с темным кругом в изгибе, прижавшийся к доброму старому боярышнику, возвышающемуся на пригорке над добрым старым полем; теперь же он притулился у величественного шпиля в этом столичном городе.

О, мое детство! Только вспоминая о нем, давала я волю своим чувствам, которые смирала в повседневной жизни, сдерживала в разговорах с людьми и прятала поглубже, чтобы всегда сохранять безучастный вид. К моему настоящему мне следовало относиться стоически, о будущем лучше было совсем не думать. Я намеренно заглушала и подавляла жар моей души.

Мне не свойственно забывать события, которые вызвали у меня особую тревогу — в описываемое время, например, меня приводили в смятение стихийные бедствия, они внушали мне страх, будя в душе чувства, которые я старалась убаюкать, и неодолимые стремления, которые я не имела возможности удовлетворить. Однажды ночью разразилась гроза: наши постели сотрясались от ураганного ветра, католички вскочили и начали молиться своим святым, меня же буря властно пробудила к жизни и действию. Я встала, оделась, ползком выбралась наружу через узкое окно и уселась на выступ под ним, спустив ноги на крышу прилегающего низкого здания. Воздух был напоен влагой, кругом бушевала гроза и царила непроглядная тьма. В спальне все собрались вокруг ночника и громко молились. Я не могла заставить себя вернуться в комнату: не было сил расстаться с ощущением неистового восторга от бури и ветра, поющих такую песнь, какую человек не способен выразить словами, невозможно было оторваться от ошеломляюще величественного зрелища — туч, раскалываемых и пронзаемых слепяще яркими вспышками молний.

Тогда и весь следующий день меня терзало страстное желание вырваться из оков моего существования и полететь навстречу неизведанному. Эту тоску и все подобные чувства следовало умертвить, что я, образно говоря, и делала, следуя примеру Иаили, которая вбила

Сисаре^[105] кол в висок. Но в отличие от Сисары, мои чувства не погибли, а лишь замерли и время от времени непокорно дергались на колу; тогда виски кровоточили, а мозг содрогался.

В тот вечер, о котором я уже упоминала, ни дух протеста, ни печаль не терзали меня. Мой Сисара тихо лежал в шатре и дремал, и, если во сне ожесточалась боль, над ним склонялся некто идеальный, некто подобный ангелу и лил бальзам на измученные виски, держал перед его смеженными очами волшебное зеркало, сладостные и торжественные видения которого наполняли его сны, и освещал лунным блеском крыльев и одеяния пригвожденного к полу Сисару, порог шатра и все окрест. Иаиль, жестокая женщина, сидела в сторонке, несколько подобревшая к пленнику, и нетерпеливо и преданно ожидала возвращения Хевера. Этим я хотела сказать, что прохладная тишина и росистая свежесть ночи ниспослала мне надежду — не ожидание чего-то определенного, а всеохватывающее чувство воодушевления и внутреннего покоя.

Разве столь ровное, безмятежное, необычное настроение не предвестник счастья? Увы, ничего хорошего не произошло! Тотчас же вмешалась грубая действительность, большей частью исполненная зла и вызывающая отвращение.

В напряженной тишине, объявшей дома, окаймляющие аллею деревья и высокую стену, я услышала звук: скрипнула створка окна (здесь все окна створчатые, на петлях). Не успела я взглянуть, кто открыл окно и на каком этаже, как у меня над головой качнулось дерево, словно от удара метательным снарядом, и что-то упало прямо к моим ногам.

На соборе Иоанна Крестителя пробило девять, день угасал, но еще не стемнело — молодой месяц почти не излучал света, но темно-золотистые тона в том месте небосвода, где сверкали последние лучи заходящего солнца, и кристальная прозрачность широкой полосы неба над ним продлевали летние сумерки, так что мне удалось, выйдя из-под тени ветвей, разобрать мелкие буквы письма. Без труда я обнаружила, что метательным снарядом оказалась шкатулка из раскрашенной слоновой кости. Крышка маленького ларца легко открылась, а внутри лежали фиалки, покрывавшие сложенный в несколько раз листок розовой бумаги — записку с надписью «Pour la robe grise».^[106] Я действительно была в дымчато-сером платье.

Итак, что же это? Любовное письмо? Я слышала, что бывают такие, но не имела чести видеть их, а уж тем более держать в руках. Неужели сейчас ко мне попал именно этот предмет?

Едва ли — я и не помышляла о подобных вещах. Меня никогда не

занимали мысли о поклонниках или обожателях. Все учительницы лелеяли мечту обрести возлюбленного, а одна (она несомненно относилась к числу легковверных людей) даже надеялась, что выйдет замуж. Все ученицы старше четырнадцати лет знали, что их в будущем ожидает замужество, а некоторых родители обручили с самого детства. В эту сферу чувств и надежд моим мыслям, а тем более чаяниям, запрещалось вторгаться. Выезжая в город, прогуливаясь по бульварам или просто посещая мессу, другие учительницы непременно (по их рассказам) встречали какого-нибудь представителя «противоположного пола», восхищенный, настойчивый взгляд которого укреплял в них веру в свою способность нравиться и пленять. Не могу сказать, что их и мой житейский опыт совпадали. Совершенно убеждена, что, когда я ходила в храм или совершала прогулки, никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Все девушки и женщины, обитавшие в нашем доме на улице Фоссет, утверждали, что каждую из них одарил восторженным сиянием голубых глаз наш юный доктор. Как это ни унижительно, но я вынуждена признаться, что оказалась исключением: глядя на меня, голубые глаза были столь же ясны и спокойны, сколь небо, с которыми они совпадали по цвету. Так уж повелось: я слышала, как об этом говорят другие, нередко удивлялась их веселости, уверенности в себе и самодовольству, но даже не пыталась взглянуть и попристальней рассмотреть стезю, по которой, мне казалось, они шагают столь бесстрашно. Словом, письмо не было любовной запиской, и, окончательно убежденная в этом, я хладнокровно открыла его. Перевожу, что там было написано:

«Ангел души моей! Благодарю Вас несчетное число раз за то, что Вы сдержали обещание — а я ведь не смел и надеяться. Вы, я полагал, дали обещание полушутя, да к тому еще Вы, наверное, считали поступок этот рискованным: неурочный час, глухая аллея, столь часто, по Вашим словам, посещаемая этим пугалом — учительницей английского языка — *une veritable begueule Britannique a ce que vous dites — espece de monstre, brusque et rude comme un vieux caporal de grenadiers, et reveche comme une religieuse*^[107] (надеюсь, читатель простит, если из скромности я сохраню в лестном изображении моей очаровательной особы тонкий покров языка оригинала). Вам ведь известно, — гласило далее изящное послание, — что маленького Густава из-за болезни перевели в комнату учителя, ту благодатную комнату, окно которой выходит во двор Вашей темницы. Мне, самому доброму дяде на свете, разрешено навещать мальчика. С каким трепетом я подошел к окну и глянул на Ваш Эдем (для меня это рай, хотя для Вас — пустыня), как я страшился, что там никого не будет или я узрю

вышеупомянутое пугало! Как забилося от восторга мое сердце, когда меж назойливых ветвей я тотчас приметил Вашу изящную соломенную шляпку и развевающуюся юбку Вашего серого платья, которое я узнал бы среди тысячи других. Но почему, мой ангел, Вы не посмотрели вверх? Жестокая. Вы лишили меня света обожаемых глазок! Как ободрил бы меня даже один взгляд! Я пишу эти строки в невероятной спешке — пользуюсь возможностью, пока врач осматривает Густава, вложить записку в ларчик вместе с букетиком цветов, прелестнее которых лишь ты одна, моя пери, моя чаровница! Навечно твой — ты сама знаешь, кто!»

«Хотела бы я знать, кто», — подумалось мне, причем интересовал меня скорее адресат бесподобного послания, чем автор. Может быть, его сочинил жених одной из помолвленных учениц, тогда большой беды нет — просто незначительное нарушение правил. У некоторых девушек, даже, пожалуй, у большинства, в соседнем колледже учились братья и кузены. Но вот «la robe grise, le chapeau de paille»^[108] — уже путеводная нить, однако весьма запутанная. Не я одна ходила по саду в соломенной шляпке, защищаясь от солнца. Серое платье едва ли более точная примета: сама мадам Бек последнее время обычно ходила в сером, одна учительница и три пансионерки купили серые платья того же оттенка и из того же материала, что у меня; в ту пору серый цвет был в моде и такие платья служили будничным туалетом.

Между тем мне уже следовало вернуться домой. В спальне задвигались огоньки, а значит, молитва окончена и ученицы готовятся ко сну. Через полчаса все двери будут заперты, свет погашен. Парадная дверь стояла еще открытой, чтобы впустить в нагретый солнцем дом прохладу летнего вечера. Свет лампы из комнатки консьержки, неподалеку от меня, озарял длинную прихожую, в одном конце которой была двустворчатая дверь, ведущая в гостиную, а в другом — большое парадное.

Вдруг послышался звон колокольчика — стремительный, но негромкий, осторожное звяканье, что-то вроде предостерегающего металлического шепота. Розина выскочила из своей комнаты и побежала открывать. Человек, которого она впустила, две-три минуты о чем-то говорил с ней: казалось, они препираются и медлят. Наконец, Розина, держа в руке лампу, подошла к двери, ведущей в сад, и остановилась на ступеньках, подняв лампу и растерянно оглядываясь.

— Quel conte! — воскликнула она, кокетливо хихикая. — Personne n'y a ete.^[109]

— Разрешите мне пройти, — с мольбой произнес знакомый голос, —

прошу вас, всего на пять минут. — И из дома показалась высокая, величественная (такой мы все на улице Фоссет считали ее) фигура мужчины, которого я сразу узнала и который зашагал по саду меж клумб и дорожек. Вторжение мужчины сюда, да еще в такой час, было истинным святотатством, но этот человек знал, что пользуется привилегиями, да к тому же, вероятно, доверился покровительству ночи. Он бродил по аллеям, оглядываясь во все стороны, забираясь в кусты, топчa цветы и ломая ветки в поисках чего-то, в конце концов, он добрался до «запретной аллеи». И перед ним подобно призраку предстала я.

— Доктор Джон! Вот то, что вы ищете.

Он не стал спрашивать, кто нашел ларец, ибо своим острым взглядом уже заметил его у меня в руке.

— Не выдавайте ее, — промолвил он, глядя так, словно я действительно была чудовищем.

— Даже если бы я была склонна к предательству, я не смогла бы выдать того, кого не знаю, — ответила я. — Прочтите записку и вы убедитесь, сколь мало можно из нее почерпнуть.

Про себя же я подумала: «Вы, верно, уже читали ее», — но все-таки я не могла поверить, что это он написал ее: едва ли ему был свойствен подобный стиль, и вдобавок по глупости я полагала, что ему было бы неловко награждать меня столь обидным прозвищем. Да и вид его служил ему оправданием: читая письмо, он краснел и явно возмущался.

— Ну, это уж слишком, это жестоко, унижительно, — воскликнул он.

Взглянув на его взволнованное лицо, я поняла, что это на самом деле жестоко. Я сознавала, что, достоин он сам порицания или нет, кто-то виноват еще сильнее.

— Что вы намерены делать? — обратился он ко мне. — Неужели вы собираетесь сообщить мадам Бек о своей находке и вызвать переполох, даже скандал?

Я должна рассказать все, думалось мне, — так я ему и заявила, добавив, что не жду ни переполоха, ни скандала, ибо мадам при ее благоразумии не станет поднимать шума по поводу такой истории в собственном пансионе.

Он стоял, вперив взор в землю и размышляя. Слишком он был горд и благороден, чтобы умолять меня сохранить в тайне то, что я по долгу службы не имела права скрывать. С одной стороны, я хотела исполнить свой долг, с другой, мне была невыносима мысль о том, чтобы огорчить или обидеть его. Тут через открытую дверь выглянула Розина — нас она не увидела, а я могла отчетливо разглядеть ее меж деревьев — на ней было

такое же серое платье, как на мне. Это обстоятельство в совокупности с предшествующими событиями натолкнуло меня на мысль, что, возможно, мне вовсе не следует беспокоиться по поводу происшедшего, сколь прискорбно оно бы ни выглядело. Поэтому я сказала:

— Если вы можете поручиться, что в эту историю не замешана ни одна из учениц мадам Бек, я с радостью останусь в стороне. Возьмите шкатулку, цветы и записку; а я с удовольствием предам все случившееся забвению.

— Глядите! — вдруг произнес он шепотом, зажав в руке отданные мною вещи, указывая на что-то за деревьями.

Я взглянула туда. Кого же я там узрела? Мадам — в шали, капоте и домашних туфлях. Она бесшумно спустилась со ступенек и крадучись, кошачьим шагом пробиралась по саду; еще минута, и она натолкнулась бы на доктора Джона. Но, если она уподобилась кошке, он в не меньшей мере напоминал леопарда — так неслышно он ступал, когда требовалось. Он следил за ней и, как только она показалась из-за угла, сделал два беззвучных скачка и скрылся. Когда ее фигура появилась вновь, он уже исчез. Розина тоже пришла на помощь, приоткрыв дверь, чтобы заслонить доктора от его преследовательницы. Я бы тоже могла ускользнуть, но предпочла встретиться с мадам лицом к лицу.

Хотя все знали, что я часто гуляю в сумерках по саду, я никогда раньше не задерживалась там так поздно. Я была совершенно уверена, что мадам обратила внимание на столь долгое мое отсутствие и отправилась искать меня, рассчитывая внезапно налететь на ослушницу. Я ждала порицания, но нет, мадам была само добродушие. Она не упрекнула меня, не выразила и тени удивления. Со своим безупречным тактом, который, я уверена, никто на свете не мог бы превзойти, она даже призналась, что вышла подышать «la brise du soir».^[110]

— Quelle belle nuit!^[111] — воскликнула она, взирая на звезды, — луна сейчас зашла за купол собора Иоанна Крестителя. — Qu'il fait bon! Que l'air est frais!^[112] — Когда мы наконец входили в дом, она дружески оперлась о мое плечо, как бы желая облегчить себе подъем по ступенькам, ведущим к парадной двери. Прощаясь на ночь, она подставила мне щеку для поцелуя и ласковым тоном пожелала: — Bon soir, ma bonne amie; dormez bien!^[113]

Лежа в постели без сна и размышляя над последними событиями, я вдруг поймала себя на том, что невольно улыбаюсь — улыбаюсь поступкам мадам. Для каждого, кто знал ее, появление слащавости и вкрадчивости в ее поведении было верным признаком того, что в ней проснулась подозрительность. Ей удалось откуда-нибудь снизу или сверху — сквозь

редкие ветви или через открытое окно — уловить вдалеке или поблизости, обманчиво или безошибочно, что-то из происходивших той ночью событий. Поскольку она в совершенстве владела искусством слежки, трудно предположить, что она не заметила покачивания ветки, проскользнувшей тени, нечаянного звука шагов или приглушенного шепота (хотя доктор Джон произнес несколько обращенных ко мне слов очень тихо, гул мужского голоса, я полагаю, проник во все уголки монастырского сада), то есть она непременно должна была заметить, что в ее владениях происходят какие-то странные события. Сразу она, разумеется, не могла определить, какие именно, но ей предстояло раскрыть восхитительный, довольно сложный заговор, в самом центре которого вдобавок оказалась опутанная с ног до головы паутиной глупая муха^[114] — неуклюжая «мисс Люси».

Глава XIII

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОСТУДА

Через сутки после эпизода, описанного в предыдущей главе, мадам вновь дала мне повод улыбнуться, вернее, даже посмеяться над ней.

Климат в Виллете столь же изменчивый, сколь в любом английском городе, только менее влажный. Вчерашний мирный закат сменился сильным ветром, бушевавшим всю ночь и днем превратившимся в ураган: небо покрылось тучами, кругом стало темно, но дождя не было, улицы засыпало песком и пылью с бульваров. Думаю, будь погода хорошей, меня бы потянуло провести вечер там, где я гуляла накануне. Моя аллея, да пожалуй, и все дорожки и кусты в саду приобрели новые, но для меня неприятные черты: уединенность стала ненадежной, тишина — обманчивой. Окно, из которого сыпались любовные записки, лишило поэтичности тот некогда уютный уголок, куда оно выходит; по всему саду глазки цветов обрели дар зрения, а ветки деревьев — способность подслушивать. Торопливо и неосторожно шагая, доктор Джон наступал на растения, которые мне теперь хотелось бы выпрямить, он оставил следы и на клумбах, но мне удалось, несмотря на сильный ветер, стереть их рано утром, пока их не заметили. С чувством грустного удовлетворения я села за свой рабочий столик заниматься немецким, пансионерки готовили уроки, а другие учительницы принялись за рукоделие.

«Études du soir»^[115] всегда проходили в общей столовой, значительно менее просторной, чем любая из трех классных комнат; объяснялось это тем, что сюда допускались только живущие пансионерки, а их было не более двадцати. Два стола освещались двумя свисавшими с потолка лампами, которые зажигали с наступлением сумерек, и этот момент служил сигналом для того, чтобы закрыть учебники, принять серьезный вид, погрузиться в строгое молчание и внимать «la lecture pieuse».^[116] Как я вскоре убедилась, главной целью «lecture pieuse» было благодетельное умерщвление рассудка и благотворное уничижение разума; познания преподносились в такой дозе, какую может переварить на досуге здравый ум, не погибнув при этом.

Приносимая для этой цели книга (всегда одна и та же — когда ее дочитывали до конца, то переворачивали и начинали с начала) представляла собой растрепанный том, старый, как мир, и мрачный, как

Hôtel de Ville. [\[117\]](#)

Я бы отдала два франка за возможность подержать эту книгу в руках, перевернуть ее священные страницы, точно установить название и собственными глазами внимательно прочесть все эти выдумки, которые мне, еретичке, разрешалось впитывать только со слуха. В книге были собраны жития святых. Господи боже (произношу эти слова с благоговением), что это за жития! Какими хвастливыми негодьями, видимо, были эти святые, раз они первыми превозносили свои подвиги или изобретали все эти чудеса. В самом же деле, эти сказки всего лишь монашеская блажь, вызывающая у разумного человека искренний смех. Кроме того, в книге описывались и всякие поповские дела, причем интриги и козни духовенства выглядели гораздо хуже, чем сама жизнь в монастырях. У меня горели уши, когда я волей-неволей выслушивала враки о нравственном мученичестве, навязываемом людям католической церковью, или ужасающее хвастовство духовников, которые бесчестно злоупотребляли своим положением, доводя до крайней степени унижения высокородных дам, превращая графинь и принцесс в самых истерзанных рабынь на свете. Вновь и вновь повторялись истории, подобные рассказу о Конраде и Елизавете Венгерской, [\[118\]](#) полные ужасающего разврата, отвратительного тиранства и гнусной нечестивости, повести об ужасах угнетения, лишений и смертельных страданий.

Несколько вечеров я высидела на этих «lecture pieuse» как могла спокойно и тихо, лишь один раз сломала кончики ножниц, невольно воткнув их слишком глубоко в источенный жучком стол. Но потом чтения стали приводить меня в столь разгоряченное состояние, так стремительно стучала кровь у меня в висках и сердце, а возбуждение так нарушило сон, что больше я не могла все это выслушивать. Благоразумие подсказывало мне: как только вносят книгу причину моих тягостных ощущений, моей особе следует убраться. Моз Хедриг не испытывала более сильного желания выступить со своим свидетельством против сержанта Босуелла, [\[119\]](#) чем хотелось мне высказаться по поводу папистских «lecture pieuse». Однако мне все же удалось сдержаться, обуздать себя, и, хотя каждый раз, когда Розина зажигала лампы, я стремглав выскакивала из комнаты, делала я это незаметно, пользуясь суетой перед наступлением тишины и исчезая, пока пансионерки складывали учебники.

Покинув комнату, я тонула в кромешной тьме, ибо ходить по дому со свечой было запрещено, и любая учительница, которая надолго покидала в это время столовую, могла укрыться либо в неосвещенной передней, либо в

классной комнате, либо в спальне. Зимой я обычно выбирала длинные классные комнаты, по которым ходила взад и вперед, чтобы согреться. Совсем хорошо было, когда светила луна, в безлунные ночи я удовлетворялась слабым мерцанием звезд, а когда и они исчезали, мирилась с полной темнотой. Летом, когда вечера бывают светлее, я обычно поднималась вверх, проходила через длинный дортуар, открывала свое окно (дортуар освещался пятью огромными, как двери, окнами) и, высунувшись из него, смотрела вдаль на город, раскинувшийся за садом, и слушала музыку, которая доносилась из парка или с дворцовой площади, предаваясь своим мыслям и ведя свою особую жизнь в созданном моим воображением безмолвном мире.

В этот вечер, убежав, как обычно, от папы римского и его деяний, я поднялась по лестнице, подошла к дортуару и бесшумно отворила дверь, которая всегда была тщательно закрыта и, подобно всем дверям в этом доме, вращалась на хорошо смазанных петлях совершенно неслышно. Еще не успев увидеть, я почувствовала, что в громадной комнате, где в часы бодрствования никого не бывало, сейчас кто-то есть: не то чтобы послышалось движение, или дыхание, или шорох, а просто ощущалось, что из комнаты исчезли пустота и уединенность. В глаза сразу бросился ряд застланных белыми покрывалами постелей, которым в пансионе было присвоено поэтическое название «lits d'ange»,^[120] но на них никто не лежал. Вдруг я уловила, что кто-то осторожно открывает ящик комода; я слегка отодвинулась в сторону, и спущенные портьеры уже не скрывали от меня комнату, а следовательно, и мою кровать, туалетный стол с запертыми ящиками внизу и запертой рабочей шкатулкой на нем.

Какой приятный сюрприз! Перед туалетом стояла знакомая коренастая фигурка, по-домашнему облаченная в скромную шаль и чистейший ночной чепец, и старательно трудилась, любезно делая за меня «уборку» моих «meuble».^[121] Поднята крышка моей рабочей шкатулки, открыт верхний ящик стола; равномерно, ничего не пропуская, открывала мадам каждый ящик по очереди, приподнимала и разворачивала все лежавшие в нем предметы, просматривала все бумажки, раскрывала все коробочки, и с какой изумительной ловкостью, с какой примерной тщательностью совершался этот обыск. Мадам блистала, как истинная звезда — неторопливая, но неутомимая. Не скрою, я наблюдала за ней с тайным удовольствием. Будь я мужчиной, мадам, вероятно, снискала бы мое расположение, такой проворной, искусной, внимательной была она во всем, что делала; ведь есть люди, всякое движение которых раздражает

неуклюжестью, ее же действия приносили удовлетворение образцовой точностью. Короче говоря, я стояла как зачарованная, но настала пора сбросить с себя эти чары и начать отступление. Ищейка ведь могла почуять меня, и тогда не избежать скандала в стремительной схватке мы оказались бы друг перед другом с открытым забралом: забыты были бы все условности, сброшены маски, я заглянула бы ей в глаза, а она мне, и сразу стало бы ясно, что мы не можем больше работать вместе и должны расстаться навсегда.

Стоило ли искушать судьбу и соглашаться на такую развязку? Я не сердилась на мадам и уж никак не хотела лишиться работы. Вряд ли мне удалось бы найти другую столь сговорчивую и нетребовательную повелительницу. По правде говоря, мне нравился в мадам ее глубокий ум, как бы я ни относилась к ее принципам. Что же касается ее обращения с людьми, то и мне оно вреда не приносило — она могла сколько душе угодно применять ко мне свою систему воспитания, ничего бы из этого не получилось. Не ведая любви, не уповая на нее, я была ограждена от проникновения соглядатаев в мою обездоленную душу, как огражден пустой кошелек нищего от воров. Поэтому я повернулась и спустилась по лестнице столь же быстро и бесшумно, сколь паук, бежавший рядом по перилам.

Как же я смеялась, когда переступила порог классной комнаты! Теперь я была уверена, что мадам заметила доктора Джона в саду, я понимала, какие мысли ее обуревают. Забавно было глядеть на эту недоверчивую особу, когда она запутывалась в собственных выдумках. Но смех замер у меня на устах, я ощутила яростный удар, потом меня залил мощный поток горечи, словно высеченный из скалы в Мерибе.^[122] Никогда в жизни я не испытывала столь странного и необъяснимого внутреннего смятения, как в тот вечер: целый час грусть и веселье, воодушевление и печаль поочередно овладевали моим сердцем. Я плакала горькими слезами, но не потому, что мадам не доверяла мне — ее доверие мне было совершенно безразлично, — а по каким-то другим причинам. Запутанные, тревожные мысли подорвали присущее мне самообладание. Но буря стихла, и на следующий день я вновь стала прежней Люси Сноу.

Подойдя к своему столу, я убедилась, что все ящики надежно заперты, и при самой тщательной проверке их содержимого мне не удалось обнаружить никаких перемен или беспорядка. Немногочисленные платья были сложены так же, как я их оставила, на прежнем месте лежал букетик белых фиалок, некогда безмолвно преподнесенный мне незнакомцем (с которым я ранее и словом не перемолвилась), цветы я засушила и вложила

в самое нарядное платье, ибо они обладают прелестным ароматом; непо потревоженными остались черный шелковый шарф, кружевная вставка и воротнички. Если бы мадам помяла хоть одну из моих вещей, мне было бы гораздо труднее простить ее, но убедившись, что все сохранилось в полном порядке, я решила: «Что прошло, то миновало! Я не пострадала, за что же мне таить зло в душе?»

Меня приводило в недоумение одно обстоятельство, над разгадкой которого я ломала голову не менее упорно, чем мадам, когда она старалась в ящиках моего туалета найти доступ к полезным для нее сведениям. Каким образом мог доктор Джон, если он не участвовал в затее с ларцом, знать, что его бросили в сад, и так быстро оказаться в нужном месте, чтобы начать поиски? Желание раскрыть эту тайну мучило меня так сильно, что мне пришла в голову вот такая дерзкая мысль: «А почему бы мне, если представится возможность, не попросить самого доктора Джона разъяснить мне это загадочное совпадение?»

И поскольку доктор Джон не появлялся, я и впрямь верила, что осмелюсь обратиться к нему с подобной просьбой.

Маленькая Жоржетта уже выздоравливала, поэтому врач приходил теперь редко и, вероятно, вообще прекратил бы свои визиты, если бы не мадам, которая настаивала, чтобы он время от времени посещал их, пока девочка совсем не оправится.

Однажды вечером мадам вошла в детскую после того, как я прослушала сбивчивую молитву Жоржетты и уложила ее в постель. Тронув ребенка за ручку, мадам сказала:

— *Cette enfant a toujours un peu de fièvre.*^[123] — А потом, бросив на меня не присущий ей беспокойный взгляд, добавила: — *Le docteur John l'a-t-il vue dernièrement? Non, n'est-ce pas?*^[124]

Конечно, никто в доме не знал это лучше, чем она сама.

— Я уйду, *pour faire quelques courses en fiacre,*^[125] — продолжала она, заеду и к доктору Джону и пошлю его к Жоржетте. Хочу, чтобы он сегодня же вечером посмотрел ее: у ребенка горят щеки и пульс частый. Принять его придется вам, меня ведь не будет дома.

На самом деле девочка уже выздоравливала, ей просто было жарко в этот знойный июльский день, и врач с лекарствами был ей нужен не больше, чем священник и соборование. Кроме того, мадам редко, как она выражалась, «ездила по делам» вечерами, и уж тем более никогда не уходила из дому, если предстоял визит доктора Джона. Все поступки мадам в тот вечер указывали на какой-то умысел с ее стороны — это было

очевидно, но тревожило меня мало. «Ха-ха! Мадам, — посмеивался Веселый нищий,^[126] — ваш острый ум и находчивость повернули не в ту сторону».

Она отбыла, надев дорогую шаль и изящную *chapeau vert tendre*.^[127] Этот оттенок был бы несколько рискован для менее свежего и яркого лица, но ее не портил. Я гадала, каковы ее намерения: действительно ли она пошлет сюда доктора Джона и придет ли он — ведь он, может быть, занят.

Мадам поручила мне следить, чтобы Жоржетта не уснула до прихода врача, поэтому у меня появилось много дел — я рассказывала девочке сказки, приспособливая их язык к ее возможностям. Я любила Жоржетту — она была чутким и нежным ребенком — и получала удовольствие, когда держала ее на коленях или носила по комнате. В тот вечер она попросила меня положить голову к ней на подушку и даже обняла меня ручками за шею. Ее объятие и движение, которым она прильнула ко мне щекой, чуть не вызвали у меня слезы от чувства щемящей нежности. Этот дом не изобиловал добрыми чувствами, поэтому чистая капля любви из такого кристального источника казалась столь отрадной, что проникала глубоко в душу, покоряла сердце и на глаза навертывались слезы.

Прошло полчаса или час, и Жоржетта сонно пролепетала, что хочет спать. «А ты и будешь спать, — подумала я, — *malgre maman et medecin*,^[128] если они не появятся в ближайшие десять минут».

Но тут звякнул колокольчик, и лестница задрожала под невероятно стремительными шагами. Розина ввела доктора Джона в комнату и с бесцеремонностью, свойственной не только ей, но и всем служанкам в Виллете, осталась послушать, о чем он будет говорить. В присутствии мадам благоговейный страх перед ней заставил бы Розину отправиться в свои владения, состоящие из прихожей и комнатки, но меня, других учителей и пансионеров она просто не замечала. Она стояла, изящная, нарядная и развязная, засунув руки в карманы пестрого передничка, и без тени страха или смущения рассматривала доктора Джона, как если бы это был не живой человек, а картина.

— *Le marmot n'a rien, n'est ce pas?*^[129] — сказала она, дернув подбородком в сторону Жоржетты.

— *Pas beaucoup*,^[130] — ответил доктор, быстро выписывая какое-то безобидное лекарство.

— *Eh, bien!*^[131] — продолжала Розина, подойдя к нему совсем близко, когда он отложил карандаш. — А как шкатулка? Вы нашли ее? Мосье исчез вчера, как *coup-devent*,^[132] я не успела даже спросить его.

— Да, нашел.

— Кто же бросил ее? — не успокаивалась Розина, непринужденно спрашивая о том, что и я могла бы узнать, если бы набралась смелости задать этот вопрос: как легко иным дойти до цели, недостижимой для других.

— Это, пожалуй, останется в тайне, — ответил доктор Джон коротко, но без тени высокомерия — очевидно, он полностью постиг особенности характера Розины, да и вообще гризеток.

— Mais, enfin,^[133] — настаивала она, нисколько не смущаясь, — раз мосье бросился искать ее, значит, он знал, что шкатулка упала, как же он проведал об этом?

— Я осматривал больного мальчика в соседнем коллеже, — сказал он, — и заметил, как шкатулка выпала из окна его комнаты, вот я и отправился поднять ее.

Как просто все объяснилось! В записке упоминалось, что в тот момент врач смотрел «Густава».

— Ah ca! — не преминула заметить Розина, — il n'y a donc rien la-dessous: pas de mystere, pas d'amourette, par exemple?^[134]

— Pas plus que sur ma main,^[135] — проговорил доктор и протянул раскрытую ладонь.

— Quel dommage! — отозвалась Розина. — Et moi — a qui tout cela commençait a donner des idees.^[136]

— Vraiment! Vous en etes a vos frais,^[137] — последовал невозмутимый ответ.

Розина надула губки. Доктор не мог сдержать смеха, увидев ее гримаску. Когда он смеялся, у него на лице появлялось особенно доброе и мягкое выражение. Я заметила, что рука доктора потянулась к карману.

— Сколько раз вы открывали мне дверь за последний месяц? — спросил он.

— Мосье следовало бы вести счет самому, — с готовностью ответила Розина.

— Будто мне больше нечего делать! — насмешливо отозвался он, но я увидела, что он дает ей золотую монету, которую она приняла без церемоний, после чего полетела открывать парадную дверь, где колокольчик звонил каждые пять минут, так как наступило время, когда за приходящими ученицами присылали из дому слуг.

Читателю не следует думать о Розине слишком дурно — по существу, она не была плохой, а просто не понимала, как позорно хватать все, что

дают, и какое бесстыдство — трещать как сорока, обращаясь к благороднейшему из христиан.

Из вышеприведенного эпизода мне удалось узнать кое-что не связанное с ларцом, а именно, что сердце доктора Джона разбито не по вине розового, муслинового или серого платья и не из-за передника с кармашками — эти наряды были явно столь же непричастны к его страданиям, сколь и голубая кофточка Жоржетты. Что ж, тем лучше. Но кто же виновница? Что лежит в основе всей этой истории? Каковы ее источники и как ее объяснить? Кое-что прояснилось, но как много еще оставалось нераскрытым!

«Впрочем, — сказала я себе, — это не твое дело», и, отведя взор от лица, на которое я невольно смотрела вопросительным взглядом, я отвернулась к окну, выходящему в сад. Между тем доктор Джон, стоявший у кровати, медленно натягивал перчатки и наблюдал за своей маленькой пациенткой, которая, засыпая, смежила веки и приоткрыла розовые губки. Я ожидала, что он уйдет, быстро поклонившись, как обычно, и пробормотав «до свидания». Он уже взял шляпу, когда я, подняв глаза на высокие дома, окаймляющие сад, заметила, что решетку на упомянутом выше окне осторожно приоткрыли, затем в отверстие просунулась рука, махавшая белым платочком. Не знаю, поступил ли из невидимой для меня части нашего дома ответ на этот сигнал, но тотчас же из окна вылетело что-то легкое и белое — несомненно, записка номер два.

— Посмотрите! — помимо воли воскликнула я.

— Куда? — взволнованно отозвался доктор Джон и шагнул к окну. — Что это?

— Опять то же самое, — ответила я. — Махнули платочком и что-то бросили. — И я указала на окно, которое теперь уже закрылось и имело лицемерно невинный вид.

— Немедленно спуститесь вниз, поднимите это и принесите сюда, мгновенно распорядился он, добавив: — На вас никто не обратит внимания, а меня сразу заметят.

Я отправилась не мешкая. После недолгих поисков я нашла застрявший на нижней ветке куста сложенный листок бумаги, схватила его и отнесла прямо доктору Джону. Полагаю, что на сей раз меня не заметила даже Розина.

Он тотчас же, не читая, порвал записку на мелкие клочки.

— Имейте в виду, — промолвил он, глядя на меня, — она ничуть не виновата.

— Кто? — спросила я. — О ком вы говорите?

- Так вы не знаете?
- Не имею понятия.
- И не догадываетесь?
- Нисколько.

— Если бы я знал вас лучше, я бы, возможно, рискнул довериться вам и таким образом поручить вашим заботам одно невиннейшее, прекрасное, но несколько неопытное существо.

- То есть сделать из меня дуэнью?

— Да, — ответил он рассеянно. — Сколько ловушек расставили вокруг нее! — добавил он задумчиво и впервые бросил на меня пристальный взгляд, полный нетерпеливого стремления убедиться, достаточно ли у меня доброе лицо, чтобы доверить мне опеку над неким эфирным созданием, против которого ополчились силы тьмы. Я не обладала особым призванием опекать эфирные создания, но, вспомнив случай на станции дилижансов, я почувствовала, что должна заплатить добром за добро, и, насколько могла, любезно дала понять, что «готова в меру своих сил позаботиться о каждом, к кому он проявляет интерес».

— Это интерес стороннего наблюдателя, — произнес он с достойной, как мне показалось, сдержанностью. — Мне знаком тот никчемный человек, который дважды посягнул на святость этой обители, мне приходилось встречать в свете и предмет его пошловатого ухаживания. Превосходство ее тонкой натуры над прочими людьми и врожденное благородство, казалось, должны были бы оградить ее от дерзкой наглости. Однако в действительности дело обстоит не так. Если бы я мог, я бы сам охранял невинное и доверчивое создание от сил зла, но, увы, я не могу приблизиться к ней... — Он умолк.

— Ну что ж, я согласна помочь вам, — проговорила я, — скажите только как. — И я стала лихорадочно перебирать в уме всех обитательниц нашего дома, пытаюсь найти среди них сей идеал, сию бесценную жемчужину, сей бриллиант без изъяна. «Это, должно быть, мадам, — решила я. — Из нас всех только она умеет изображать совершенство, а что касается доверчивости, неопытности и т. п., то тут доктору Джону тревожиться не стоит. Однако такова его причуда, и я не стану ему противоречить, приножусь к его прихоти: пусть его ангел остается ангелом».

— Но уведоьте меня, на ком именно должна я сосредоточить свое внимание, — произнесла я чинно, посмеиваясь про себя от мысли, что мне придется стать покровительницей мадам Бек или какой-нибудь из ее учениц.

Доктор Джон, следует заметить, обладал чувствительной нервной системой и сразу инстинктивно улавливал то, чего не ощутил бы человек с менее чуткой душой, — он быстро смекнул, что я немного потешаюсь над ним. Лицо его залила краска, и, слегка улыбнувшись, он отвернулся и взял шляпу, намереваясь уйти. У меня сжалось сердце от угрызений совести.

— Я непременно, непременно помогу вам, — с жаром воскликнула я. — Я сделаю все, что вам угодно. Буду сторожить вашего ангела, буду заботиться об этой юной особе, только скажите, кто она.

— Как может статься, чтобы вы не знали? — сказал он серьезно и очень тихим голосом. — Такую безупречную, добрую, неописуемо прекрасную! Второй, подобной ей, здесь быть не может. Совершенно очевидно, что я имею в виду...

И тут задвижка двери, соединявшей комнату мадам Бек с детской, внезапно щелкнула, будто дрогнула тронувшая ее рука, и послышалось неудержимое чиханье, которое пытались подавить. Подобные неприятности случаются даже с лучшими из лучших. Мадам (изумительная женщина!) как раз находилась при исполнении служебных обязанностей. Она незаметно вернулась домой, на цыпочках пробралась наверх и оказалась у себя в комнате. Если бы она не чихнула, то услышала бы все до конца, как и я, кстати, но злополучное чиханье вынудило доктора Джона замолчать. Он стоял, пораженный ужасом, а она вошла в комнату — бодрая, невозмутимая, в наилучшем и притом спокойном настроении: даже тот, кому ведом ее нрав, мог бы решить, что она лишь недавно вернулась домой, и с презрением отверг бы самую мысль о том, что она добрые десять минут подслушивала под дверью, прильнув ухом к замочной скважине. Она заставила себя чихнуть еще раз, объявила, что «enrhumée», [\[138\]](#) затем принялась рассказывать, как ездила «courses en fiacre». [\[139\]](#) Колокол возвестил час молитвы, и я оставила ее наедине с доктором Джоном.

Глава XIV

ПРАЗДНИК

Как только Жоржетта выздоровела, мадам отослала ее в деревню. Мне стало грустно — я любила эту девочку, и разлука с ней усугубила мое одиночество. Но мне не следовало бы жаловаться. Я жила в доме, где кипела жизнь, и могла бы завести приятелей, если б сама не предпочла уединения. Все учительницы по очереди делали попытки завязать со мной самые близкие отношения, я всех их испробовала. Одна из них оказалась достойной женщиной, но ограниченной, нечуткой и себялюбивой. Вторая, парижанка, при благородной внешности, в душе была растленной особой без убеждений, без правил, без привязанностей; под внешней благопристойностью вы обнаруживали низкую душу. Она отличалась поразительной страстью к подаркам, и в этом от ношении третья учительница, вообще-то особа бесхарактерная и незаметная, была весьма на нее похожа, с той лишь разницей, что ей была свойственна алчность. Ею владела страсть к деньгам как таковым. При виде золотой монеты ее зеленые глаза загорались такое редко приходится наблюдать. Однажды она, в знак глубокого ко мне расположения, повела меня наверх и, открыв потайную дверцу, показала свой клад — кучу шероховатых больших пятифранковых монет общей суммой примерно в пятнадцать гиней. К этому кладу она относилась с такой же любовью, с какой птица относится к снесенным ею яйцам. Это были ее сбережения. Она часто говорила мне о них с таким безумным и неослабным обожанием, которое странно наблюдать в человеке, не достигшем еще двадцатипятилетнего возраста.

Парижанка же, напротив, была расточительной (во всяком случае, по склонностям, а на деле — не знаю) и злобной. Змеиная головка ее злобы мелькнула предо мною на мгновение лишь однажды. Я успела уловить, что это весьма диковинная гадина, и необычность этого создания разожгла мое любопытство — если бы она выползла смело, я, возможно, сохранила бы философское спокойствие, не отступила бы и хладнокровно рассмотрела всю длинную тварь от раздвоенного языка до покрытого чешуей кончика хвоста, но она лишь зашуршала в листьях скверного бульварного романа и, натолкнувшись на опрометчивое и неразумное изъяснение гнева, юркнула меж страниц и скрылась. С тех пор парижанка меня возненавидела.

Она постоянно была в долгах, так как еще до получения жалованья

приобретала на всю сумму не только туалеты, но и духи, косметические снадобья, сласти и разные пряности. Как равнодушна и бессердечна была эта женщина ко всему, кроме наслаждений! Вот она словно стоит передо мною: худощавая, тонкое бледное лицо с правильными чертами, прекрасные зубы, узкие губы, крупный выступающий вперед подбородок, большие, но совершенно ледяные глаза, выражавшие одновременно мольбу и неблагодарность. Она смертельно ненавидела всякую работу и обожала нелепо, бездушно, бессмысленно расточать время, что в ее понимании и было истинным наслаждением.

Мадам Бек отлично понимала ее характер. Как-то она заговорила со мной о ней, и в ее словах я ощутила своеобразное смешение пронизательности, равнодушия и неприязни. Я спросила, почему она не увольняет эту особу. Она ответила откровенно: «Потому, что мне так выгоднее», — и отметила уже известное мне обстоятельство — мадемуазель Сен-Пьер обладала исключительной способностью держать в повиновении обычно непокорных школьников. От нее исходила парализующая сила — спокойно, без шума и принуждения она сковывала их, как безветренный мороз сковывает бурный поток. В приобщении детей к наукам от нее было мало проку, но зато никто не мог превзойти ее в умении держать учениц в строгости и добиваться выполнения всех правил приличия. «Je sais bien qu'elle n'a pas de principes, ni, peut-etre, de mœurs», [140] — честно признавалась мадам, но всегда с философским видом присовокупляла: «son maintien en classe est toujours convenable et rempli meme d'une certaine dignite; c'est tout ce qu'il faut. Ni les eleves ni les parents ne regardent plus loin; ni, par consequent, moi non plus». [141]

Пансион наш представлял собой странный, взбудораженный и шумный мирок. Прилагались огромные усилия, чтобы скрыть цепи под гирляндами цветов, тонкий аромат католицизма пропитал всю жизнь школы: снисходительное отношение к, так сказать, земным радостям уравнивалось строгими запретами в духовной сфере. Юный разум складывался под давлением законов рабства, но дабы дети не слишком много размышляли на эту тему, использовался любой предлог для игр и телесных упражнений. В нашей школе, как и повсюду в Лабаскуре, церковь стремилась воспитать детей сильных телом, но слабых духом — полными, румяными, здоровыми, веселыми, невежественными, бездумными, нелюбознательными. «Ешь, пей, живи! — внушает церковь. — Заботься о своем теле, а о душе позабочусь я. Я исцеляю ее и руковожу ею. Я обеспечиваю ей спасение». Эту сделку каждый истинный католик считает

для себя выгодной. А ведь подобные же условия предлагает и Люцифер: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее, итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».

В это время года, т. е. в разгар лета, в доме мадам Бек начиналось такое веселье, какое только можно допустить в учебном заведении. По целым дням широкие двери и двустворчатые окна стояли открытыми настежь, солнечный свет, казалось, навечно слился с воздухом, облака уплыли далеко за море и, наверное, отдыхали где-нибудь подле островов, таких, например, как Англия (милая страна туманов), навсегда покинув засушливый континент. Мы проводили в саду больше времени, чем в доме, — вели занятия и ели в «grand berceau».^[142] Кроме того, уже чувствовалась подготовка к празднику, что давало право почти на полную свободу. До осенних каникул оставалось всего два месяца, но еще раньше предстояло празднование великого дня — именин мадам, которые отмечались очень торжественно.

Подготовкой к этому дню руководила главным образом мадемуазель Сен-Пьер. Мадам же держалась от всего в стороне, якобы не ведая, что готовится в ее честь. Ей-де не известно, она и не подозревает, что ежегодно со всей школы по подписке собирают деньги на достойный ее подарок.

Тонкий и тактичный читатель предпочтет, вероятно, опустить в последующем повествовании описание краткого тайного совещания по упомянутому вопросу, происходившего в комнате мадам.

— Что вы хотите получить в этом году? — спросила приближенная к мадам парижанка.

— Ах, совершенно все равно! Не стоит об этом говорить! Пусть у бедных детей останутся их франки. — И мадам приняла кроткий и скромный вид.

Тут Сен-Пьер обычно выдвигала вперед подбородок; она знала мадам как свои пять пальцев и всегда называла мину «bonte»^[143] у нее на лице «des grimaces».^[144]

— Vite!^[145] — изрекла она ледяным тоном. — Назовите нужный предмет. Что вы хотите — драгоценности, фарфор, гребешки-ленты или серебро?

— Eh bien! Deux ou trois cuillers, et autant de fourchettes en argent.^[146]

В результате переговоров появлялась нарядная коробка со столовым серебром стоимостью в 300 франков.

Программа праздничной церемонии состояла из вручения подарка,

легкой закуски в саду, спектакля (в исполнении учениц и учителей), танцев и ужина. Помнится, все это производило великолепное впечатление. Зели Сен-Пьер понимала толк в таких вещах и искусно устраивала подобные развлечения.

Главным пунктом программы был спектакль, к которому начинали готовиться за целый месяц. Умения и осторожности требовал прежде всего отбор актеров; затем приступали к урокам декламации, балетных движений, после чего следовали бесконечные утомительные репетиции. Не трудно догадаться, что для этого Сен-Пьер уже не годилась, так как возникала необходимость в знаниях и способностях иного рода. Ими обладал преподаватель литературы — мосье Поль Эманюель. Мне никогда не приходилось бывать на его занятиях по актерскому мастерству, но я нередко видела, как он проходит по квадратному вестибюлю, соединяющему жилое помещение с учебным, а в теплые вечера мне доводилось слышать через открытые двери, как он ведет уроки; и вообще о нем без конца рассказывали всякие истории, в том числе и смешные. Особенно любила упоминать о его изречениях и рассказывать о его поступках наша старая знакомая, мисс Джиневра Фэншо, — ей была поручена важная роль в этом спектакле, — которая удостаивала меня чести проводить значительную долю своего свободного времени в моем обществе. Она считала мосье Поля страшным уродом и изображала ужасный испуг, чуть ли не истерический припадок, когда слышала его голос или шаги. Он и вправду был смуглым и низкорослым, язвительным и суровым. Он, с его коротко подстриженными черными волосами, высоким бледным лбом, впалыми щеками, широкими раздувающимися ноздрями, пронизывающим взглядом и стремительной походкой, даже мне казался малоприятной фигурой. К тому же еще был он очень раздражителен — до нас доносились страстные тирады, которые он произносил перед неуклюжими новобранцами, находившимися под его командованием. Иногда он обрушивал на этих неопытных актрис-любительниц яростный гнев за фальшивые представления, холодные чувства и немощную речь. «Ecoutez!»^[147] — восклицал он, и по всей округе раздавался его трубный глас, когда же слышался писк какой-нибудь Джиневры, Матильды или Бланш, пытающейся подражать его интонациям, всякому становилось ясным, почему это жалобное эхо вырывало у него из груди либо глухой стон, полный презрения, либо злобное шипение.

Я сама слышала, как он кричал громовым голосом: «Vous n'etes donc que des poupees. Vous n'avez pas de passions — vous autres. Vous ne sentez donc rien! Votre chair est de neige, votre sang de glace! Moi, je veux que tout

cela s'allume, qu'il ait une vie, une ame!»^[148]

Напрасные желания! Как только мосье Поль окончательно убедился в их тщетности, он тотчас же перестал работать с ними над высокой трагедией, разорвал ее в клочья и принес текст пустячной комедии. Пансионеры отнеслись к ней более дружелюбно, и ему вскоре удалось вбить это произведение в их гладкие, круглые, бездумные головки.

Мадемуазель Сен-Пьер всегда присутствовала на уроках мосье Эманюеля, и мне говорили, что ее учтивые манеры, притворный интерес, такт и любезность производили на него весьма благоприятное впечатление. Она, в самом деле, когда ей было нужно, умела понравиться, кому хотела, но обычно ненадолго через какой-нибудь час приязнь к ней рассеивалась как дым.

Канун именин мадам был не менее праздничным, чем самый день торжества. Три классные комнаты мыли, чистили, приводили в порядок и украшали. Дом был охвачен веселой суетой; ищущий покоя не мог найти тихого уголка ни в верхнем, ни в нижнем этаже; мне пришлось укрыться в саду. Весь день я бродила или посиживала там одна, грелась на солнце, пряталась в тени деревьев и беседовала сама с собой. Помню, за весь день я едва ли обменялась с кем-нибудь и двумя фразами, но от одиночества я не страдала, тишина была мне даже приятна. Мне — стороннему наблюдателю — было вполне достаточно пройти раз или два по комнатам, посмотреть, какие происходят перемены, как устраивают фойе и театральную уборную, воздвигают маленькую сцену с декорациями, как мосье Поль Эманюель, вкупе с мадемуазель Сен-Пьер, руководит всеми этими делами и как стайка горящих нетерпением учениц, среди них и Джиневра Фэншо, весело выполняют его распоряжения.

Великий день наступил. Небо было безоблачно, солнце палило с самого утра и до вечера. Все двери и окна открыли настежь, отчего возникало приятное ощущение летнего приволья, а непринужденный распорядок дня создавал чувство полной свободы. Учительницы и пансионеры спустились к завтраку в пеньюарах и с папильотками в волосах; «avec delices»^[149] предвкушая вечерние туалеты, они, казалось, словно олдермены,^[150] с радостью постыющиеся в ожидании предстоящего пира, наслаждались тем, что позволили себе в то утро роскошь появиться в столь неряшливом виде. Около девяти часов утра показалась важная персона — парикмахер. Как это ни кощунственно, но он разместил свою главную квартиру в молельне, и там, перед benitier,^[151] свечой и распятием, начал торжественно демонстрировать свое искусство. Всех пансионеров по

очереди приглашали воспользоваться его услугами, и каждая выходила от него с гладкой как раковина прической, разделенной безукоризненным белым пробором и увенчанной уложенными по-гречески косами, блестящими как лакированные. Я тоже побывала у него и с трудом поверила тому, что сказала мне зеркало, когда я обратилась к нему за справкой: меня поразили пышные гирлянды переплетенных темно-каштановых волос, я даже испугалась, не парик ли это, и убедилась в обратном, лишь несколько раз сильно их дернув. Тогда я поняла, какой искусник этот парикмахер, раз он умеет выставить в наилучшем свете самое заурядное создание.

Молельню освободили и заперли, и теперь дортуар стал местом, где с поразительной тщательностью совершались омовения, одевание и прихорашивание. Для меня навсегда останется загадкой, почему они тратили так много времени на выполнение столь незначительного дела. Процедура была сложной и длительной, а результат получался весьма скромный: белоснежное муслиновое платье, голубой кушак (цвета пресвятой девы), белые или бледно-желтые лайковые перчатки — вот тот парадный мундир, для облачения в который все учительницы и пансионерки потеряли добрых три часа. Следует признать, однако, что, хоть наряд был прост, в нем все было превосходно — фасон, покрой, опрятность. Девичьи головки были причесаны тоже с тонким изяществом и в стиле, который подчеркивал пышную и здоровую миловидность уроженок Лабаскура, но был бы, пожалуй, грубоват для красоты более мягкой и нежной, однако все вместе составляло весьма отрадное зрелище.

Не могу забыть, как, увидев эти волны прозрачной белоснежной материи, я почувствовала, что выгляжу мрачным, темным пятном в море света. У меня не хватило смелости надеть прозрачное белое платье, а поскольку на улице и в доме было слишком жарко и нужно было одеться полегче, мне пришлось обойти целый десяток магазинов, пока я набрела на нечто вроде крепа лилового цвета с сероватым оттенком, точнее, цвета серо-коричневого тумана, покрывшего цветущие вересковые заросли. Моя *tailleuse*^[152] любезно сделала из него все, что было возможно, ибо, как она справедливо заметила, раз он «*si triste — si peu voyant*»,^[153] необходимо обратить особое внимание на фасон; весьма отрадно, что она отнеслась к делу таким образом, ибо у меня не было ни цветка, ни украшения, чтобы освежить платье, а главное — на щеках моих не играл румянец.

В однообразии повседневного тяжелого труда мы нередко забываем и думать о недостатках своей внешности, но они резко напоминают о себе в

те светлые мгновения, когда все должно быть прекрасным.

Однако в мрачноватом платье я чувствовала себя легко и свободно, я не испытывала бы подобного состояния, если бы надела более яркий и приметный наряд. Поддержала меня и мадам Бек: на ней было платье почти в таких же спокойных тонах, как мое, но, правда, она еще надела браслет и большую золотую брошь с драгоценными камнями. Мы столкнулись с ней на лестнице, и она одобрительно кивнула и улыбнулась мне, не потому, конечно, что ей понравилось, как я выгляжу в своем наряде, — вряд ли ее интересовали подобные мелочи, — а потому, что, по ее мнению, я оделась «convenablement, decemment»,^[154] а la Convenance et la Decence^[155] были теми бесстрастными божествами, которым мадам поклонялась. Она даже остановилась на минутку, положила мне на плечо обтянутую перчаткой руку, державшую вышитый и надушенный носовой платок, и доверительным тоном сделала несколько саркастических замечаний касательно туалетов других учительниц (которым уже успела наговорить комплиментов). «Ничто не выглядит более нелепо, чем «des femmes mures»,^[156] одетые как пятнадцатилетние девочки — «quant a la St.-Pierre, elle a l'air d'une vieille coquette qui fait l'ingenue».^[157]

Поскольку я оделась часа на два раньше остальных, мне удалось на этот раз отправиться уже не в сад, где слуги расставляли стулья вдоль длинных столов, накрытых к предстоящему пиру, а в классы, где теперь было пусто, тихо, прохладно и чисто. Стены там были свежеевыкрашены, дощатые полы отскоблены и еще влажны от мытья, только что срезанные цветы в вазах украшали на время затихшие комнаты, а на окнах висели блистающие чистотой нарядные шторы.

Укрывшись в старшем классе, поменьше и поуютнее других, и открыв своим ключом застекленный книжный шкаф, я вынула книгу, которая, судя по названию, могла оказаться интересной, и устроилась почитать. Стеклянная дверь этой классной выходила в большую беседку. Ветки акации, тянувшиеся к розовому кусту, расцветшему у противоположного косяка, ласково касались дверного стекла, а вокруг роз деловито и радостно жужжали пчелы. Я принялась читать. Мирное жужжание, тенистый полумрак и теплый уют моего убежища уже начали завлакивать смысл читаемого, туманить мой взор и увлекать меня по тропе мечтаний в глубь царства грез — как вдруг неистовый звон дверного колокольчика, какого никогда не издавал этот немало испытанный на своем веку инструмент, вернул меня к действительности.

В то утро колокольчик звонил беспрерывно, ибо то и дело являлись то

мастеровые, то слуги, то coiffeurs,^[158] то tailleuses,^[159] то посыльные. Больше того, были все основания ожидать, что он будет трезвонить весь день, потому что еще должны были прикатить в колясках или фиакрах около ста приходящих учениц; вряд ли замолчит он и вечером, когда родители и друзья станут во множестве съезжаться на спектакль. При таких обстоятельствах без колокольчика — пусть даже резкого — обойтись нельзя; однако же этот звонок гроыхал каким-то особенным образом, так что я очнулась, и книга упала на пол.

Я было наклонилась, чтобы поднять ее, но тут — кто-то прошел скорым, четким, твердым шагом через прихожую, по коридору, через вестибюль, через первое отделение, через второе, через залу — прошел уверенно, безостановочно и быстро. Закрытая дверь старшего класса — моей святая святых — не могла послужить препятствием: она распахнулась, и в проеме показались сюртук и bonnet grec;^[160] затем меня нащупали глаза и жадно вперились в меня.

— C'est cela! — раздался голос. — Je la connais; c'est l'Anglaise. Tant pis. Toute Anglaise et, par consequent, toute begueule qu'elle soit — elle fera mon affaire, ou je saurai pourquoi.^[161]

Затем не без некоторой грубоватой любезности (надо полагать, пришелец думал, что я не разобрала, к чему клонился его невежливый шепот) он продолжал на самом отвратительном наречии, какое только можно себе представить:

— Сударинь, ви играть нада — я вас уверять.

— Чем я могу быть вам полезна, мосье Поль Эманюель? — спросила я, ибо это был не кто иной, как мосье Поль Эманюель, к тому же весьма взволнованный.

— Ви играть нада. Ви не отказать, не хмурить, не жеманить. Я вас насквозь видаль, когда ви приехать. Я знать ваш способность. Ви можете играть, ви должны играть.

— Но как, мосье Поль? О чем вы говорите?

— Нельзя терять ни минуты, — продолжал он по-французски. — Отбросим нашу лень, наши отговорки и жеманство. Вы должны участвовать.

— В водевиле?

— Именно в водевиле.

Я задохнулась от ужаса. Что же имел в виду этот коротышка?

— Послушайте! — сказал он. — Сперва надо объяснить положение вещей, а уж потом вы ответите — да или нет; и мое отношение к вам в

дальнейшем всецело зависит от вашего ответа.

С трудом сдерживаемый порыв сильнейшего раздражения окрасил его щеки, придав остроту его взгляду, его нрав — вздорный, противный, неустойчивый, угрюмый и возбудимый, а главное, неподатливый — мог чуть что стать неистовым и неукротимым. Молчать и слушать — вот лучший бальзам, который может его успокоить. Я промолчала.

— Все провалится, — продолжал мосье Поль. — Луиза Вандеркельков заболела, по крайней мере, так заявила ее нелепая мамаша. Я, со своей стороны, убежден, что она могла бы сыграть, ежели бы пожелала. Но ей это не угодно. Ей поручили роль, как вам известно. Или неизвестно — это безразлично. Без этой роли пьеса не пойдет. Осталось всего несколько часов, чтобы ее разучить, но ни одну ученицу не убедишь взяться за дело. По правде говоря, роль неинтересна и неприятна и учениц оттолкнет от нее их дрянное amour-propre,^[162] низменное чувство, которое с избытком есть у каждой женщины. Англичанки — либо лучшие, либо худшие представительницы своего пола, Dieu sait que je les deteste comme la peste, ordinairement,^[163] — процедил он сквозь зубы. — Я молю англичанку о помощи. Что же она ответит — да или нет?

Тысяча возражений пришла мне в голову. Чужой язык, недостаток времени, выступление перед обществом. Склонности отступили, способности дрогнули. Самолюбие («низменное чувство») затрепетало. «Non, non, non!»^[164] — восклицали они; но, взглянув на мосье Поля и увидев в сердитых, взбешенных и ищущих глазах некий призыв, проникающий сквозь завесу гнева, я обронила слово «oui».^[165] На мгновение его твердое лицо расслабилось и выразило удовольствие, но тут же приняло прежнее выражение. Он продолжал:

— Vite a l'ouvrage!^[166] Вот книга. Вот роль. Читайте.

И я начала читать. Он меня не хвалил; время от времени он взвизгивал и топал ногой. Он давал мне урок — я усердно ему вторила. Мне досталась непривлекательная мужская роль, роль пустоголового франта, в которую никто не мог бы вложить ни души, ни чувства. Я возненавидела эту роль. В пьесе, сущей безделке, говорилось по большей части о двух соперниках, добивавшихся руки хорошенькой кокетки. Одного воздыхателя звали «Ours»,^[167] то был славный и любезный, хотя и лишенный лоска малый, нечто вроде неограненного алмаза; другой был мотыльком, болтуном, и предателем. Мне-то и предстояло быть предателем, болтуном и мотыльком.

Я делала что могла — но все получалось плохо. Мосье Поль вышел из себя; он рассвирепел. Взявшись за дело как следует, я старалась изо всех

сил; думаю, он отдал должное моим добрым намерениям, и настроение его несколько смягчилось.

— *Ca ira!*^[168] — воскликнул он; тут в саду раздались голоса и замелькали белые платья, а он добавил: — Вам надо куда-нибудь уйти и выучить роль в уединении. Пойдемте.

Не имея ни сил, ни времени, чтобы самой принять решение, я в тот же миг понеслась в его сопровождении наверх, как бы увлекаемая вихрем, пролетела через два, нет, три лестничных марша (ибо этот пылкий коротышка, казалось, был наделен чутьем, позволявшим всюду находить дорогу) — и вот я сижу одна в пустых, запертых комнатах верхнего этажа; ключ, ранее торчавший в дверях, теперь унес исчезнувший куда-то мосье Поль.

В мансарде было очень неприятно. Надеюсь, мосье Поль об этом не подозревал, иначе он не заточил бы меня сюда столь бесцеремонно. В летние дни там было жарко, как в Африке, а зимою — зябко, как в Гренландии. Мансарду заполняли коробки и рухлядь, старые платья занавешивали некрашенные стены, паутина свисала с грязного потолка. Известно было, что мансарду населяют крысы, черные тараканы и прусаки, — ходили слухи, будто здесь однажды видели призрак монахини из сада. Один угол мансарды прятался в полутьме, он, словно для пущей таинственности, был отгорожен старой домотканой занавеской, служившей ширмой для мрачной компании шуб, из которых каждая висела на своем крючке, как преступник на виселице. Говорили, что монахиня появилась именно из-за этой занавески, из-за горы шуб. Я этому не верила и не чувствовала страха. Зато я увидела огромную черную крысу с длинным хвостом, выскользнувшую из грязной ниши, а затем перед моими глазами предстало множество тараканов, усеявших пол. Это зрелище встревожило меня, пожалуй, сильнее, чем хотелось бы признаться; не меньше смущали меня пыль, захламенность и одуряющая жара, которая в самом скором времени грозила стать невыносимой, не найди я способа открыть и подпереть слуховое окошко, впуслав таким образом в комнату немного свежего воздуха. Я подтащила под это окно огромный пустой ящик, поставила на него другой, поменьше, стерла пыль с обоих, тщательно подобрала платье (мое парадное платье, как, должно быть, помнит читатель, и, следовательно, законный предмет моей заботы), забралась на импровизированный трон и, усевшись, взялась за исполнение своей задачи; разучивая роль, я не переставала поглядывать за черными тараканами и прусаками, которых смертельно боюсь, думается, даже больше, чем крыс.

Сперва у меня создалось впечатление, что я взялась за невыполнимое

дело, и я просто решила стараться изо всех сил и подготовиться к провалу. Впрочем, вскоре я обнаружила, что одну роль в такой коротенькой пьесе можно выучить за несколько часов. Я зубрила и зубрила, сперва шепотом, а потом и вслух. Полностью огражденная от слушателей, я разыгрывала мою роль перед чердачными тараканами. Проникнувшись пустотой, фривольностью и лживостью этого «фата», переполненная презрением и возмущением, я отомстила моему герою, представив его, насколько могла, придурковатым.

В этом занятии прошел день, и постепенно наступил вечер. Не имея ни крошки во рту с завтрака, я чрезвычайно проголодалась. Тут я вспомнила о легкой закуске, которую поглощали сейчас внизу, в саду. (В вестибюле я видела корзинку с *pates a la creme*,^[169] которые предпочитала всем кушаньям.) *Pate* или кусок пирога были бы, как мне показалось, весьма апропос;^[170] и чем больше росло мое желание отведать этих лакомств, тем труднее становилось свыкнуться с мыслью, что весь праздник мне придется поститься в тюрьме. Хотя мансарда и находилась далеко от парадной двери и вестибюля, но до нее все же доносилось звяканье колокольчика, а равно и непрерывный стук колес по разбитой мостовой. Я понимала, что дом и сад заполнены людьми, что всем там, внизу — весело и радостно; здесь же темнело — тараканы были еле видны; я задрожала при мысли, что они пойдут на меня войной, незамеченными вскарабкаются на мой трон и, невидимо для меня, поползут по юбке. В тревоге и нетерпении я продолжала повторять роль, просто чтобы убить время. Когда я уже подошла к концу, раздалось долгожданное щелканье ключа в замочной скважине — чрезвычайно приятный звук. Мосье Поль (я еще могла разобрать в полумгле, что это и впрямь мосье Поль, ибо света было достаточно, чтобы разглядеть его иссиня-черные коротко остриженные волосы и лицо цвета пожелтевшей слоновой кости) заглянул в дверь.

— Bravo! — воскликнул он, открывая дверь и стоя на пороге. — J'ai tout entendu. C'est assez bien. Encore!^[171]

Мгновение я колебалась.

— Encore! — произнес он сурово. — Et point de grimaces! A bas la timidite!^[172]

Я повторила всю роль, но и вполтину не так хорошо, как до его прихода.

— Enfin, elle sait,^[173] — сказал он, несколько разочарованный. — В нашем положении нельзя слишком копаться и придирааться. — Затем он добавил: — У вас еще двадцать минут на подготовку. Au revoir!^[174] — И

шагнул к выходу.

— Мосье! — окликнула я его, набравшись решимости.

— Eh bien! Qu'est ce que c'est, Mademoiselle?

— J'ai bien faim.

— Comment vous avez faim? Et la collation?^[175]

— О ней я ничего не знаю. Я этой закуски и в глаза не видала, ведь вы меня заперли.

— Ah! C'est vrai!^[176] — воскликнул он.

В ту же минуту был покинут мой трон, а за ним и мансарда. Вихрь, который принес меня в мансарду, помчал меня в обратном направлении вниз-вниз-вниз-вниз, прямо на кухню. Думаю, я спустилась бы и в погреб. Кухарке категорически приказали подать еды, а мне, так же категорически, поесть. К великой моей радости, вся еда была — кофе и пирог. Я боялась, что получу сладости и вино, которого не любила. Не знаю, как он догадался, что я с удовольствием съем petit pate a la creme, но он вышел и где-то его раздобыл. Я ела и пила с большой охотой, придерживав petit pate напоследок, как настоящая bonne bouche.^[177] Мосье Поль надзирал за моим ужином и заставлял меня есть чуть не силком.

— A la bonne heure,^[178] — воскликнул он, когда я заявила, что больше не могу проглотить ни кусочка, и, воздев руки, молила избавить меня от еще одной булочки, которую он намазывал маслом. — А то вы еще объявите меня эдаким тираном и Синей Бородой, доводящим женщин до голодной смерти на чердаке, а я ведь на самом деле не такой злодей. Ну как же, мадемуазель, хватит ли у вас смелости и силы выйти на сцену?

Я ответила утвердительно, хотя, по правде говоря, изрядно смутилась и едва ли могла отдать себе отчет в собственных чувствах. Однако этот коротышка был из тех людей, которым невозможно возражать, если ты неспособен сокрушить их в одно мгновение.

— Тогда пойдемте, — произнес он, предлагая мне руку.

Я взяла его под руку, и он зашагал так стремительно, что я была вынуждена бежать рядом с ним, чтобы не отстать. В сале он на мгновение остановился: здесь горели большие лампы; широкие двери классов и столь же широкие двери в сад, по обе стороны которых стояли апельсиновые деревья в кадках и высокие цветы в горшках, были открыты настежь; в саду меж цветов прогуливались или стояли дамы и мужчины в вечерних туалетах. В длинной анфиладе комнат волновалась, щебетала, раскачивалась, струилась толпа, переливая розовым, голубым и полупрозрачно-белым. Повсюду ярко сверкали люстры, а вдалеке

виднелась сцена, нарядный зеленый занавес и рампа.

— N'est-ce pas que c'est beau?^[179] — спросил мой спутник.

Мне бы следовало выразить согласие, но слова застряли у меня в горле. Мосье Поль уловил мое состояние, бросил на меня искоса грозный взгляд и слегка подтолкнул, чтобы я не боялась.

— Я сделаю все возможное, но как хочется, чтобы это было уже позади, призналась я, а потом спросила: — Неужели нам нужно пройти сквозь эту толпу?

— Ни в коем случае. Я все устрою: мы пройдем через сад, вот здесь.

Мы тотчас вышли из дома, и меня несколько оживила прохладная, тихая ночь. Луны не было, но сверкающие окна ярко освещали двор, и слабый отблеск достигал даже аллей. В безоблачном, величественном, небе мерцали звезды. Как ласковы ночи на континенте! Какие они тихие, душистые, спокойные! Ни тумана с моря, ни ледящей мглы — ночи, прозрачностью подобные полдню, свежестью утру.

Пройдя через двор и сад, мы подошли к стеклянной двери старшего класса. В тот вечер были отворены все двери, мы вошли в дом, и меня провели в комнатку, отделявшую старший класс от парадной зады. В этой комнатке я едва не ослепла от яркого света, чуть не оглохла от шума голосов, почти задохнулась от жары, духоты и толчеи.

— De l'ordre! Du silence!^[180] — крикнул мосье Поль. — Это что за столпотворение? — спросил он, и сразу наступила тишина. С помощью десятка слов и такого же количества жестов он выдворил из комнаты половину присутствовавших, а остальных заставил выстроиться в ряд. Они уже были одеты к спектаклю, значит, я оказалась среди исполнителей в комнате, служившей артистическим фойе. Мосье Поль представил меня. Все воззрились на меня, а некоторые захихикали. Для них было большой неожиданностью, что англичанка да вдруг будет выступать в водевиле. Джиневра Фэншо, очаровательная в своем прелестном костюме, глядела на меня круглыми от удивления глазами. Мое появление, по-видимому, несказанно ошеломило ее в момент, когда она находилась наверху блаженства и, не испытывая ни страха, ни робости перед предстоящим выступлением, пребывала в полном восторге от мысли, что будет блистать перед сотнями глаз. Она готова была что-то воскликнуть, но мосье Поль держал ее и всех остальных в крепкой узде.

Окинув взглядом всю труппу и сделав несколько критических замечаний, он обратился ко мне:

— Вам тоже пора одеваться.

— Да, да, одеваться в мужской костюм! — воскликнула Зели Сен-Пьер, подскочив к нам, и услужливо добавила: — Я одену ее сама.

Надеть мужской костюм мне было неприятно и неловко. Я дала согласие носить в спектакле мужское имя и исполнять мужскую роль, но надевать мужской костюм — *halte-la!*^[181] нет уж! Что бы там ни было, но я буду играть в своем платье. Все это я заявила решительным тоном, но тихо и, может быть, не очень разборчиво.

Вопреки моим ожиданиям, он не только не разбушевался, но даже не произнес ни единого слова. Зато вновь вмешалась Зели:

— Из нее получится отменный *petit-maitre*.^[182] Вот полный костюм; правда, он немного великоват, но я подгоню по ней. Идемте, *chere amie* — *belle Anglaise*.^[183]

И она насмешливо улыбнулась, ибо «*belle*»^[184] я отнюдь не была. Она схватила меня за руку и потащила за собой. Мосье Поль продолжал стоять с безучастным видом.

— Не сопротивляйтесь, — настаивала Сен-Пьер, пытаюсь сломить мое решительное сопротивление. — Вы все испортите — веселость пьесы, радостное настроение гостей, вы готовы все и вся принести в жертву своему *amour-propre*.^[185] Это очень нехорошо; мосье, вы ведь этого ни за что не допустите?

Она вопросительно посмотрела на него, ища ответного взгляда; я тоже пыталась встретиться с ним глазами. Он глянул на нее, потом на меня. «Стойте!» — медленно произнес он, обращаясь к Сен-Пьер, которая не переставала тянуть меня за собой. Все ждали, какое решение он примет. Он не выказывал ни гнева, ни раздражения, и это придало мне смелости.

— Вам не нравится этот костюм? — спросил он, указывая на мужскую одежду.

— Кое-что я согласна надеть, но не все.

— А как же быть? Как можно исполнять на сцене роль мужчины в женском платье? Разумеется, это всего лишь любительский спектакль, *vaudeville de pensionnat*,^[186] и я могу допустить некоторые переделки, но должно же быть что-то, указывающее на вашу принадлежность, по роли, к сильному полу.

— Верно, сударь, но надо все устроить, как мне хочется, пусть никто не вмешивается, не надо принуждать меня делать так, а не иначе; разрешите мне одеться самой.

Ничего не сказав, мосье Поль взял костюм у Сен-Пьер, отдал его мне и разрешил мне пройти в уборную. Оставшись одна, я успокоилась и

сосредоточенно принялась за работу. Ничего не изменив в своем платье, я лишь прибавила к нему небольшой жилет, мужской воротник и галстук, а сверху сюртучок; весь этот костюм принадлежал брату одной из учениц. Распустив волосы, я высоко подобрала спускавшиеся по спине длинные пряди, а передние зачесала набок, взяла в руку шляпу и перчатки и вернулась в фойе. Там все меня ждали. Мосье Поль взглянул на меня и сказал:

— В пансионе и так сойдет, — а потом прибавил довольно благодушно: *Courage, mon ami! Un peu de sang froid, un peu d'aplomb, M.Lucien, et tout ira bien!*^[187]

На лице Сен-Пьер вновь показалась присущая ей холодная и ядовитая улыбка.

Волнение привело меня в раздраженное состояние, и я, не сдержавшись, повернулась к ней и сказала, что, не будь она дамой, я, по роли джентльмен, не преминула бы вызвать ее на дуэль.

— Только после спектакля, — воскликнул мосье Поль, — я разделю тогда мою пару пистолетов между вами, и мы разрешим ваш спор согласно принятым правилам — это будет продолжением давнишней ссоры между Францией и Англией.

Но уже приближалось время начать представление. Мосье Поль, построив нас, обратился к нам с краткой речью, подобно генералу, напутствующему солдат перед атакой. Из всего им сказанного я уловила лишь то, что он советует нам всем проникнуться чувством своей ничтожности. Ей-богу, подумала я, некоторым напоминать об этом вовсе не нужно. Зазвонил колокольчик. Меня и еще двоих вывели на сцену. Опять колокольчик. Произнести первые слова пьесы предстояло мне.

— Не смотрите в зал, не думайте о зрителях, — прошептал мосье Поль мне на ухо. — Вообразите, что вы на чердаке и выступаете перед крысами. — И он исчез.

Занавес взвился и собрался в складки где-то под потолком. Перед нами разверзся длинный зал, нас ослепили яркие огни, оглушила веселая толпа. Я старалась думать о черных тараканах, старых сундуках и источенном жучком бюро. Слова свои я сказала скверно, но все же произнесла их. Трудным оказалось именно начало — я сразу же поняла, что боюсь не столько зрителей, сколько собственного голоса. Присутствие целой толпы посторонних людей, да к тому еще иностранцев, нисколько меня не трогало. Когда я ощутила, что язык мой стал двигаться свободно, а голос обрел присущие ему высоту и силу, я сосредоточила все свое внимание только на исполняемой роли и на мосье Поле, который, стоя за кулисами,

слушал нас, следил за всем происходящим и суфлировал.

Между тем, чувствуя прилив свежих сил — для чего просто требовалось время, — я достаточно овладела собой, чтобы обратить внимание на моих партнеров. Некоторые из них играли очень хорошо, особенно Джиневра Фэншо; по роли ей полагалось кокетничать с двумя поклонниками, и это ей великолепно удавалось, ибо она оказалась в своей стихии. Один-два раза, как я заметила, она обошлась со мной — фатом — подчеркнуто любезно и внимательно. Она оказывала мне предпочтение столь неприкрыто и пылко и бросала такие многозначительные взгляды в аплодирующий зал, что мне, знавшей ее достаточно хорошо, стало совершенно ясно: она играет для кого-то из зрителей. Тогда я начала следить, куда она посылает взгляды и улыбку, к кому простирает руки, и почти сразу обнаружила, что для своих стрел она выбрала весьма крупную и заметную цель — на пути их полета, возвышаясь над всеми зрителями и потому являясь самой уязвимой, стояла знакомая всем фигура доктора Джона; выглядел он спокойным, но и сосредоточенно-напряженным.

Весь облик его наводил на размышления. Взгляд его был красноречив, и хотя я не могла понять, что именно таилось в этом взоре, он вдохновил меня: я извлекла из него некую идею, которую сразу вложила в исполнение моей роли — в частности, стала по-другому изображать ухаживание за Джиневрой. «Медведь», который истинно любил героиню, казался мне двойником доктора Джона. Сострадала ли я ему теперь, как раньше? Нет, я ожесточилась, вступила с ним в соперничество и одолела его. Я понимала, что являю собой всего лишь фата, но там, где «Медведя» отвергали, меня встречали благожелательно. Теперь-то я сознаю, что играла свою роль, как бы исполненная решимости и стремления одержать победу. Джиневра подыгрывала мне, и мы общими стараниями существенно изменили весь характер пьесы, разукрасив ее от начала до конца. В антракте мосье Поль заявил, что с нами произошло нечто ему непонятное, и пытался умерить наш пыл. «C'est peut-etre plus beau que votre modele, сказал он, — mais se n'est pas juste».^[188] Я тоже не знаю, что со мной произошло, но, так или иначе, я испытывала непреодолимое желание затмить «Медведя», то есть доктора Джона. Раз Джиневра проявляла ко мне благосклонность, как могла я вести себя не по-рыцарски? Храня в памяти известное письмо, я под его влиянием дерзко нарушила весь дух пьесы. Я не могла бы исполнять свою роль, не ощущая ни вдохновения, ни увлеченности ею. Она требовала прямой приправы и лишь в таком сдобренном виде доставляла мне удовольствие.

До этого вечера подобные чувства и поступки представлялись мне

столь же немислимыми для моей натуры, сколь состояние иступленного восторга, возносящее некоторых на седьмое небо. Обычно я, оставаясь холодной и осторожной, пусть с неохотой, но делала то, что было угодно другим, а тут, вдруг ощутив сердечный жар, набравшись смелости, с радостной готовностью творила то, что было приятно мне самой. Однако на следующий день, хорошенько над всем этим поразмыслив, я почувствовала неприязнь ко всяким любительским представлениям и, хотя была довольна, что оказала услугу мосье Полю и заодно испытала собственные силы, приняла твердое решение больше в таких делах не участвовать. Оказалось, что по натуре мне явно присуща склонность к лицедейству, и дальнейшее развитие и воспитание этой внезапно обнаружившейся способности могли бы одарить меня радостью и наслаждением, но подобные занятия не пристали человеку, глядющему на жизнь со стороны: он должен отринуть желания и стремления, и я отринула их, упрятала их столь глубоко, связав крепким узлом, что с тех пор ни Время, ни Искушения не смогли выпустить их на волю.

Не успел спектакль прийти к концу, причем с большим успехом, как вспыльчивый и деспотичный мосье Поль совершенно преобразился. Миновало время, когда он исполнял обязанности импресарио, и он незамедлительно сбросил с себя высокомерную суровость, и вот он стоит среди нас оживленный, добродушный и галантный, пожимает всем нам руки, благодарит каждого в отдельности и объявляет, что решил во время предстоящего бала танцевать со всеми нами по очереди. Когда он попросил моего согласия, я ответила, что не танцую. «Но один раз, в виде исключения, вы должны уступить», — последовал ответ, и если бы я своевременно не ускользнула от него, он вынудил бы меня принять участие в этом — втором — спектакле. Но я играла и так достаточно в этот вечер — пришла пора стать самой собой и вернуться к привычному образу жизни. На сцене мое серовато-коричневое платье выглядело, в сочетании с сюртучком, неплохо, но никак не подходило для вальса или кадрили. Я укрылась в безлюдном закоулке, где меня было трудно заметить, но откуда я видела все, — передо мной во всем великолепии разворачивалось радостное зрелище бала.

Вновь Джиневра Фэншо была самой прелестной и веселой из всех присутствовавших. Ей выпала честь открыть бал: выглядела она чудесно, танцевала грациозно, улыбалась лучезарно. Подобные развлечения всегда сопровождались для нее блестящим триумфом, ибо удовольствия были ее стихией. Когда нужно было работать или преодолевать трудности, она становилась нерадивой и унылой, беспомощной и раздраженной, но в часы

веселья она, бывало, как бабочка расправит крылышки, на которых загоралась золотистая пыльца и пестрые пятнышки, сверкнет, как бриллиант, и блеснет, как свежий цветок. При виде будничной еды и простых напитков она надувала губки, но от сливок и мороженого ее нельзя было оторвать, как пчелу от меда; водой ей служило сладкое вино, а хлебом насущным — пирожное. Полной жизнью Джиневра жила лишь на балу, в других случаях она никла и увядала.

Не думайте, читатель, что в тот вечер она так старалась превзойти самое себя только ради своего партнера в танце, мосье Поля, или же демонстрировала наивысшее изящество манер в назидание подругам или чтобы понравиться их родителям, дедушкам и бабушкам, толпившимся в вестибюле и сидевшим вдоль стен залы; в таком скучном и бесцветном окружении, да еще ради столь никчемных и банальных целей Джиневра вряд ли соблаговолила бы даже один раз пройти в кадрили, а радостное расположение духа сменилось бы у нее раздражением и брюзгливостью, но сейчас ей было известно, что в этом пресном праздничном блюде таится пряная приправа, которая придает ему остроту, она ощутила ее вкус и смекнула, что ей стоит показать самые тонкие грани своего обаяния.

В зале и в самом деле не было ни одного холостого и бездетного зрителя, кроме, правда, мосье Поля, единственного представителя мужского пола, которому разрешалось танцевать с ученицами. Ему предоставлялось это исключительное право, во-первых, по традиции (ибо он был родственником мадам Бек и пользовался ее особым доверием), во-вторых, потому что он все равно поступал как ему заблагорассудится, и, в-третьих, потому что, каким бы своевольным, вспыльчивым, пристрастным он ни бывал, у него в груди билось благородное сердце, и ему можно было доверить целую армию прекрасных и непорочных девиц, оставаясь в полной уверенности, что под его предводительством они в беду не попадут. В скобках следует заметить, что многие пансионеры вовсе не отличались безгрешностью помыслов, но ни за что не посмели бы обнаружить свойственную им грубость в присутствии мосье Поля, как не решились бы намеренно обидеть его, рассмеяться ему в лицо во время обращенных к ним взволнованных речей или переговариваться друг с другом, когда в приступе гнева на его лице возникала маска умного тигра. Вот почему мосье Поль имел право танцевать с кем пожелает, и всякое вмешательство, препятствующее его движению к цели, потерпело бы крах.

Всем прочим гостям отводилась роль зрителей, но и та предоставлялась им благодаря неизъяснимой доброте мадам Бек, после длительных просьб, ходатайств и уговоров, на весьма строгих условиях с

(притворным) неудовольствием. Весь вечер мадам не уставала лично следить за тем, чтобы небольшая отчаявшаяся группа «jeunes gens»,^[189] принадлежавших к высшим слоям общества, матери которых присутствовали здесь же, а сестры были ученицами нашего пансиона, не покинула отведенного им самого отдаленного, мрачного, холодного и темного угла в *сarre*. Мадам беспрерывно дежурила около «jeunes gens» — заботливая, как мать, но бдительная, как цербер. Они одолевали ее мольбами разрешить им перешагнуть через воображаемый барьер и насладиться всего лишь одним танцем с этой «belle blonde»^[190] или той «jolie brune»,^[191] или «cette jeune fille magnifique aux cheveux noirs comme le jais».^[192]

— Taisez-vous!^[193] — отвечала мадам решительно и неумолимо. — Vous ne passerez pas a moins que ce ne soit sur mon cadavre, et vous ne danserez qu'avec la nonnette de jardin^[194] (намек на легенду). — И она с величественным видом прохаживалась перед строем безутешных и полных нетерпения юношей, словно маленький Бонапарт, нарядившийся в шелковое платье мышиного цвета.

Мадам хорошо знала жизнь, мадам хорошо разбиралась в человеческой натуре. Думаю, ни одна другая начальница пансиона в Виллете не осмелилась бы допустить в стены своего заведения «jeune homme»,^[195] но мадам понимала, что, давая по столь торжественному случаю подобное разрешение, можно сделать ловкий ход и добиться значительных преимуществ.

Во-первых, родители пансионеров оказывались соучастниками в этом деянии, ибо совершено оно было по их ходатайству. Во-вторых, то, что мадам впускала в дом столь опасных и обладающих магнетической силой гремучих змей, особенно подчеркивало самый сильный талант, присущий мадам, — талант первоклассной *surveillante*.^[196]

В третьих, присутствие юных представителей мужского пола придавало пикантность всему празднеству: ученицы понимали это и лично в этом убеждались, а зрелище сверкающих вдалеке золотых яблок вселяло в них такое оживление, какого не могли бы вызвать никакие другие обстоятельства. Радость детей передавалась родителям, веселье и ликование охватывали всех присутствовавших, развлекались даже укрощенные «jeunes gens», ибо мадам не давала им скучать. Вот таким образом мадам Бек удавалось каждый год праздновать свои именины с успехом, не ведомым ни одной директрисе во всей стране.

Я заметила, что сначала доктору Джону разрешалось свободно

расхаживать по всем комнатам, — мужественный и степенный вид умерял в нем юношескую живость и даже несколько приглушал красоту; но как только начался бал, к нему подбежала мадам.

— Пойдемте, Волк, пойдемте, — воскликнула она, смеясь, — хоть вы и в овечьей шкуре, вам все же придется покинуть овчарню. Пойдемте, у меня там, в вестибюле, собрался небольшой зверинец, хочу и вас поместить в мою коллекцию.

— Но разрешите мне сперва один раз протанцевать с ученицей, которую я выберу.

— Как вам не стыдно просить об этом? Какое безрассудство! Какая дерзость! *Sortez, sortez, au plus vite!*^[197]

Подталкивая его впереди себя, она вскоре выдворила его за барьер.

Джиневра, как я полагаю, уставшая от танцев, разыскала меня в моем убежище. Она бросилась рядом со мной на скамейку и (без чего я могла бы легко обойтись), обняла меня за шею.

— Люси Сноу! Люси Сноу! — всхлипывающим голосом, почти в истерике, воскликнула она.

— Ну, что же случилось? — спросила я сухо.

— Как я выгляжу? Как я сегодня выгляжу? — настойчиво повторяла она.

— По обыкновению, до нелепости самодовольно.

— Злюка! Вы никогда не скажете доброго слова обо мне, но, что бы ни говорили вы и все прочие завистливые клеветники, я знаю, что очень хороша собой. Я ощущаю свою красоту, вижу ее, вижу себя в полный рост в большом зеркале в артистической уборной. Пойдемте-ка со мной и посмотрим в него, хотите?

— Хочу, мисс Фэншо. Вот уж когда вы вволю натешитесь.

Мы вошли в расположенную рядом комнату для одевания. Взяв меня под руку, она подвела меня к зеркалу. Я стояла перед ним молча, не оказывая никакого сопротивления и предоставив ее себялюбию полную возможность испытывать торжество и ликование. Занятно было наблюдать, может ли оно насытиться, проникнет ли хоть капля внимания к другим людям в ее сердце, чтобы умерить суетное и высокомерное упоение самой собой.

Нет, этого не произошло. Она вертелась перед зеркалом и заставляла меня делать то же самое, осматривала нас обеих со всех сторон, улыбалась, подкручивала локоны, поправляла кушак, распрямляла юбку и, наконец, выпустив мою руку и присев, с притворной почтительностью, в реверансе, произнесла:

— Ни за какие блага в мире не хотела бы превратиться в вас.

Замечание это было слишком наивным, чтобы вызвать гнев, и я ограничилась словами: «Ну и прекрасно».

— А сколько бы вы заплатили, чтобы стать мною? — спросила она.

— Ни пенса не дала бы, как ни странно, — ответила я. — Вы несчастное создание.

— В душе вы думаете по-иному.

— Нет, ибо у меня в душе для вас нет места, лишь в мозгу иногда мелькает мысль о вас.

— Но все-таки, — сказала она с укоризной, — выслушайте, чем отличается мой образ жизни от вашего, и вы поймете, какая я счастливая, а вы несчастная.

— Говорите, слушаю вас.

— Начнем с того, что мой отец благородного происхождения, и, хотя он не богат, я возлагаю надежды на дядю. Затем, мне всего восемнадцать лет — самый восхитительный возраст. Я воспитывалась на континенте и, пусть у меня нелады с орфографией, я обладаю множеством совершенств. Вы не можете отрицать, что я и вправду красива, поэтому у меня может быть столько поклонников, сколько я пожелаю. За один сегодняшний вечер я разбила сердца двух молодых людей, и скорбный взгляд, который только что бросил на меня один из них, как раз и приводит меня в столь радостное настроение. Мне ужасно нравится следить, как они краснеют и бледнеют, хмурятся, устремляют друг на друга свирепые взгляды и печально-нежные на меня. Такова я, счастливица! А теперь займемся вами, бедняжка. Полагаю, вы отнюдь не знатного происхождения, поскольку вам пришлось ухаживать за маленькими детьми, когда вы приехали в Виллет; у вас нет родных; вам двадцать три, а это уже не молодость; вы не обладаете ни привлекательностью, ни красотой. Ну, а поклонники... едва ли вы представляете себе, что это такое: вы и разговаривать на эту тему не умеете — сидите, как немая, когда другие учительницы рассказывают о своих победах. Думаю, вы никогда не влюблялись, да и в будущем вам это не грозит. Вы просто не ведаете, какое это чувство, и тем лучше для вас, потому что если бы вы сами умирали от любви, на нее не откликнулось бы ничье сердце. Разве я сказала неправду?

— Почти все — истинная правда, да еще доказывающая вашу проницательность. Вы, видимо, порядочный человек, Джиневра, раз можете говорить так честно; даже эта змея, Зели Сен-Пьер, не осмелилась бы произнести подобное. И все же, мисс Фэншо, хоть я, по-вашему, жалкая неудачница, я не дала бы за вас и пенса.

— Лишь потому, что я не умна, а вы только это принимаете в расчет. А ведь никого на всем свете, кроме вас, не заботит, насколько умен человек.

— Напротив, я считаю вас по-своему очень умной, вы сообразительны и находчивы. Но вы вели речь о том, как разбивать сердца, как заниматься этим поучительным делом, достоинства коего мне не совсем ясны. Прошу вас, скажите, кого же удалось вам, как вы самоуверенно полагаете, подвергнуть казни сегодня?

Она наклонилась к моему уху и прошептала:

— Оба — Исидор и Амаль — сейчас здесь!

— О! Неужели? Хотелось бы взглянуть на них.

— Ну вот, милочка, наконец-то вас разобрало любопытство. Идите за мной, я покажу их вам.

Она гордо зашагала впереди меня, потом обернулась и сказала:

— Отсюда, из классов, нам будет плохо видно — мадам упрятала их слишком далеко. Давайте пройдем через сад, а потом по коридору подойдем к ним поближе; пустяки, если нас заметят, пожурят.

На этот раз я согласилась с ней. Мы прошли по саду, проникли через редко используемую боковую дверь в коридор и, подойдя к вестибюлю, но оставаясь в тени коридора, получили возможность хорошо рассмотреть всю компанию «jeunes gens».

Думаю, я могла бы без посторонней помощи сразу распознать, кто из них победоносный де Амаль. Это был маленький денди с прямым носом и правильным лицом. Я говорю «маленький», хотя роста он был не ниже среднего, потому что уж очень мелкими были у него черты лица, миниатюрными руки и ноги, весь он был хорошенький, приглаженный и нарядный, как кукла. Он был так элегантно одет и причесан, такие отличные были на нем туфли, перчатки и галстук, что он на самом деле выглядел очаровательно. Я высказала это мнение вслух, воскликнув «Какой милый!», похвалила вкус Джиневры и спросила у нее, что, по ее мнению, сделал де Амаль с драгоценными кусочками своего разбитого сердца — может быть, поместил их во флакон духов или хранит в розовом масле? С глубоким восхищением я отметила также, что руки у полковника не крупнее, чем у мисс Фэншо, а это весьма удобно, поскольку, в случае крайней необходимости, он может надеть ее перчатки. Я сообщила ей, что без ума от его прелестных кудрей, и призналась, что мне не хватает слов, чтобы выразить восторг по поводу таких совершенств, как его низкий греческий лоб и изящная, классическая форма головы.

— Ну, а если бы он был влюблен в вас? — с жестоким ликованием в голосе попыталась ввести меня в искушение Джиневра.

— О боже! Какое это было бы блаженство! — заявила я, — но не будьте столь бесчеловечны, мисс Фэншо, — внушать мне такие мысли — это то же самое, что дать возможность несчастному отверженному Каину заглянуть в райские кущи.

— Значит, он вам нравится?

— Так же, как конфеты, варенье, мармелад и апельсиновые цветы.

Джиневра одобрила мой вкус, так как обожала все перечисленные вещи и легко поверила, что и я их люблю.

— А где же Исидор? — продолжала я. Признаться, мне, пожалуй, было интереснее посмотреть на него, чем на его соперника, но Джиневра была так поглощена мыслями о последнем, что не расслышала меня.

— Альфреда приняли здесь сегодня, — тараторила она, — благодаря авторитету его тетки — баронессы де Дорлодо. Теперь, увидев его своими глазами, вы, надеюсь, уже можете понять, почему я весь вечер в таком приподнятом настроении, так удачно играла, оживленно танцевала, а сейчас счастлива, как королева? Господи! Как забавно было бросать взгляды то на одного, то на другого и сводить их обоих с ума.

— Но где же этот другой? Покажите мне Исидора.

— Не хочу.

— Но почему?

— Мне стыдно за него.

— По какой причине?

— Потому что, потому что (шепотом) у него такие... такие бакенбарды... оранжевые, рыжие... ну вот!

— Итак, тайна раскрыта, — подвела я итог. — Все равно покажите его мне, обещаю не падать в обморок.

Она оглянулась вокруг. В этот момент у нас за спиной послышалась английская речь:

— Вы обе стоите на сквозняке, уйдите из коридора.

— Здесь нет сквозняка, доктор Джон, — заметила я, повернувшись.

— Она так легко простужается, — продолжал он, устремив на Джиневру взгляд, полный беспредельной ласковости. — Она очень хрупкая, ее нужно опекать — принесите ей шаль.

— Позвольте мне самой решать за себя, — высокомерным тоном заявила мисс Фэншо. — Мне не нужна шаль.

— На вас тонкое платье, и вы не остыли еще после танцев.

— Вечные проповеди, — резко произнесла она, — вечные предостережения и увещания.

Доктор Джон воздержался от ответа, но взгляд его выражал душевную

боль. Он слегка отвернул потемневшее и опечаленное лицо, но продолжал терпеливо молчать. Я знала, где хранятся шали, побежала туда и принесла одну из них.

— Пока у меня хватит сил, она не снимет шали, — заявила я, набросив шаль на ее муслиновое платье и плотно закутав ей шею и обнаженные руки. Это Исидор? — спросила я довольно свирепым шепотом.

Приподняв верхнюю губку, она улыбнулась и утвердительно кивнула головой.

— Это и есть Исидор? — повторила я, потрянув ее и испытывая желание сделать это еще раз десять.

— C'est lui-meme, ^[198] — ответила она. — Как он груб по сравнению с полковником! И потом, о небо!.. Эти бакенбарды!

В это время доктор Джон уже отошел от нас.

— Полковник! Граф! — передразнила я. — Кукла... марионетка... карлик... ничтожное создание! Камердинером ему быть у доктора Джона или мальчиком на посылках! Возможно ли, чтобы этот благородный, великодушный джентльмен, красивый, как волшебное видение, предлагал вам свою честную руку и доблестное сердце, обещал защищать вашу ненадежную особу, ваш ленивый ум от житейских бурь и бед, а вы бы от этого отказывались, глумились над ним, терзали и мучили его! Какое право вы имеете поступать так? Кто дал вам его? Откуда оно? Неужели оно зиждется только на вашей красоте, на розово-белом цвете лица и золотистых волосах? Неужели из-за этого он положил сердце к вашим ногам и дал вам возможность надеть ярмо ему на шею? Неужели за эту цену отдает он вам свою привязанность, нежность, мысли, надежды, внимание, свою благородную, искреннюю любовь? И вы всего этого не примете? Вы презираете это? Нет, вы притворяетесь, вы неискренни — вы любите его, вы от него без памяти, но насмехаетесь над его чувством, чтобы еще крепче привязать его к себе, не правда ли?

— Вот еще! Как много вы говорите! Я не поняла и половины из того, что вы сказали.

К этому моменту я успела увести ее в сад. Теперь я заставила ее сесть и заявила, что не дам ей двинуться с места, пока она не признается, кого же она, в конце концов, предпочитает — человека или обезьяну.

— Это его-то вы называете человеком, — промолвила она, — этого рыжеволосого буржуа, откликающегося на имя Джон! — Cela suffit: je n'en veux pas. ^[199] Полковник де Амаль — господин знатный и благородный, у него отличные манеры и очаровательная внешность — бледное, интересное

лицо, а волосы и глаза настоящего итальянца. Кроме того, он великолепнейший собеседник, вполне в моем вкусе — в нем нет чувствительности и степенности того, другого; с ним я могу говорить как равная — он не докучает мне, не надоедает, не утомляет меня всякими высокопарными рассуждениями и глубокими страстями, а также своими познаниями, которые меня нисколько не интересуют! Вот и все! Не держите меня так крепко!

Я несколько убавила силу, с которой держала ее, и она ринулась от меня прочь. Я и не подумала преследовать ее.

Что-то заставило меня направиться к двери, ведущей в коридор, где я рассчитывала еще раз взглянуть на доктора Джона, но увидела его на ступеньках, спускающихся в сад, где он стоял, освещенный падавшим из окна светом. Его стройную фигуру нельзя было спутать ни с чьей другой, ибо едва ли среди собравшихся был еще один столь хорошо сложенный мужчина. Он держал шляпу в руке, и его непокрытая голова, лицо и высокий лоб выглядели поразительно красивыми и мужественными. Черты его лица не были ни тонкими, ни нежными, как у женщин, но в них не было холодности, нескромности или душевной слабости; хорошо очерченные, они не отличались теми изяществом и симметрией, которые лишают лицо значительности. На лице его временами отражалось много чувств, но еще больше таилось в глазах. Такое впечатление, во всяком случае, производил он на меня. Пока я смотрела на этого человека, меня охватило невыразимое удивление, я ощутила, что его нельзя не уважать.

Я не собиралась подходить или обращаться к нему, потому что для этого мы были слишком мало знакомы. Раньше я смотрела на него из толпы гостей, оставаясь для него незамеченной; сейчас, оказавшись с ним один на один, я повернула прочь, но он явно искал меня, вернее, ту, с которой он меня недавно видел, поэтому он спустился с лестницы и последовал за мной по аллее.

— Значит, вы знакомы с мисс Фэншо? Мне не раз хотелось спросить у вас, знаете ли вы ее.

— Да, знакома.

— Вы близки с ней?

— В той мере, в какой того желаю я.

— А что сейчас произошло между вами?

Мне захотелось, в свою очередь, задать ему вопрос: «Разве я сторож ей?», ^[200] но я воздержалась и ответила:

— Я хорошенько тряхнула ее и с радостью потрепала бы посильнее, но она вырвалась и убежала.

— Окажите мне милость — присмотрите за ней сегодня и, в случае необходимости, удержите от безрассудных поступков, она может, например, разгоряченная танцами выбежать в сад.

— Раз вам так этого хочется, я могла бы, пожалуй, приглядеть за ней, но она слишком любит поступать, как ей вздумается, чтобы подчиниться чужой воле.

— Она еще так молода и простодушна, — возразил он.

— Для меня она остается загадкой.

— Неужели? — спросил он с нескрываемым интересом. — Почему?

— Мне трудно объяснить почему; особенно вам.

— Отчего — особенно мне?

— Видите ли, меня поражает ее равнодушие к вашему столь искреннему дружескому расположению.

— Но она не имеет ни малейшего представления, как глубоко я ей предан. Именно это мне никак не удастся ей объяснить. Разрешите спросить, она когда-нибудь говорила с вами обо мне?

— Часто, но называла вас «Исидор», и я лишь десять минут назад обнаружила, что вы и «Исидор» одно и то же лицо. Тогда же, доктор Джон, я узнала, что в этом доме ваше внимание давно уже привлекает мисс Фэншо. Что она и есть тот магнит, который притягивает вас к улице Фоссет, что ради нее вы осмеливаетесь войти в этот сад и искать шкатулки, брошенные в окно соперниками.

— Так вы все знаете?

— Лишь то, что я вам сказала.

— Уже больше года как я постоянно встречаюсь с ней в свете. Я знаком с ее приятельницей миссис Чамли, в доме которой вижу с ней каждое воскресенье. Но вернемся к вашим словам о том, что она часто говорила с вами обо мне, называя меня «Исидор». Могу ли я, не вынуждая вас злоупотреблять ее доверием, спросить, каким тоном вела она разговоры обо мне, какие чувства сквозили в них? Мне, пожалуй, не терпится узнать, как же она ко мне относится, эта неопределенность немного мучает меня.

— Знаете ли, она говорит каждый раз по-иному; она переменчива, как ветер.

— Но все же вы можете составить какое-то общее представление?..

«Могу, — подумала я про себя, — но его нельзя передать вам. Кроме того, скажи я, что она не любит вас, вы бы, я убеждена, не поверили этому».

— Вы молчите, — продолжал он, — стало быть, ничего утешительного сообщить мне не можете. Ну, что ж поделаешь! Коль скоро

она относится ко мне с безразличием и даже неприязнью, значит, я не достоин ее.

— Неужели вы так не уверены в своих возможностях и ставите полковника де Амаля выше себя?

— Де Амаль никого на свете не любит так безмерно, как я люблю мисс Фэншо. Несомненно, я бы лелеял и охранял ее гораздо преданнее, чем он. Что же касается де Амаля, боюсь, она находится в плену обманчивых иллюзий. Я хорошо знаю, какова репутация этого человека, знаю о его прошлом, о его неудачах. Он не достоин внимания вашей прелестной юной подруги.

— Моей «прелестной юной подруге» не мешало бы узнать обо всем этом и понять или почувствовать, кто же достоин ее, — заявила я. — Если же ни красота, ни разум не пригодятся ей для этой цели, значит, она заслуживает сурового жизненного урока.

— Не слишком ли вы безжалостны?

— Да, я безжалостна, причем в вашем присутствии я стараюсь сдерживать себя. Послушали бы вы, как сурово я обхожусь с моей «прелестной юной подругой», вы бы пришли в неописуемый ужас от отсутствия у меня мягкой предупредительности по отношению к ее нежной натуре.

— Но ведь она так очаровательна, что невозможно обращаться с ней строго. Вы, как и любая женщина старше ее, непременно должны ощущать своего рода материнскую или сестринскую нежность к такой простодушной, чистой, юной фее. Добрый ангел! Разве не прикипели вы к ней сердцем, когда она шепотом доверяла вам свои безгрешные, наивные тайны? Какое вам выпало счастье! — И он глубоко вздохнул.

— Нередко мне приходится довольно резко обрывать ее признания, заметила я. — Простите, доктор Джон, можно ненадолго переменить тему нашего разговора? Как божественно прекрасен этот де Амаль! Что за нос — истинное совершенство! Даже из глины не слепишь более красивого, прямого и правильного носа. А его классический рот и подбородок! А величественная осанка!

— Де Амаль — не только трус, но и невыносимый лицемер.

— Вы, да и любой человек, не обладающий изысканной утонченностью де Амаля, должны так же восторженно поклоняться ему, как, вероятно, поклонялись юному, грациозному Аполлону Марс и прочие не столь привлекательные божества.

— Безнравственный, непорядочный выскочка! — отрезал доктор Джон. Стоит мне только захотеть, и я в любой момент могу схватить его за

пояс и швырнуть в уличную канаву.

— Кроткий серафим! — не отступала я. — Какая жестокость! Не слишком ли вы безжалостны, доктор Джон?

И тут я умолкла, ибо уже второй раз за этот вечер вышла из себя, нарушила правила, которых всегда придерживаюсь, вела беседу необдуманно, охваченная внезапным порывом. На мгновение прервав свою речь, чтобы собраться с мыслями, я сама испугалась содеянного мною. Разве могла я предвидеть утром того дня, что мне суждено вечером исполнять роль веселого любовника в водевиле, а часом позже совершенно открыто обсуждать с доктором Джоном обстоятельства его злополучного ухаживания и подсмеиваться над его иллюзиями? С таким же успехом я могла бы предположить, что отправлюсь в полет на воздушном шаре или в путешествие к мысу Горн!

Разговаривая, мы с доктором прогуливались по аллее и теперь возвращались к дому; свет из окна вновь упал ему на лицо — он улыбался, но глаза были грустны. Как мне хотелось, чтобы он обрел спокойствие духа! Как было жаль, что он предается скорби, да еще по такому поводу! И это ему-то, обладающему такими достоинствами, выпал жребий любить безответно! Тогда я еще не ведала, что печаль, вызываемая превратностями судьбы, для некоторых людей есть самое возвышенное состояние духа; не знала я и того, что некоторые растения не источают аромата, пока их лепестки не смяты.

— Не грустите, не печальтесь, — прервала я молчание. — Если Джиневра хоть сколько-нибудь ценит ваше к ней расположение, она непременно ответит на ваше чувство — иного быть не может. Не теряйте бодрости и надежды, доктор Джон. Кому же надеяться, если не вам?

Удивленный взгляд послужил ответом на эту речь, чего, следует признать, я и заслуживала; в этом взгляде мне почудился даже оттенок неодобрения. Мы расстались, и я вошла в дом, пребывая в довольно унылом настроении. Часы пробили полночь, гости торопливо расходились — праздник закончился, в лампах догорали фитили. Через час повсюду царили безмолвие и тишина. Я тоже лежала в постели, но не спала. Мне было нелегко заснуть после такого беспокойного дня.

Глава XV

ДОЛГИЕ ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

После именин мадам Бек — целого дня веселья и развлечений, которому предшествовали три недели подготовки, свободные от занятий, — и следующего, тоже праздного, дня — наступило время расплаты — два месяца по-настоящему напряженных и усердных занятий. Эти два месяца, завершающие *annee scolaire*,^[201] честно говоря, были единственными, когда приходилось работать не покладая рук. На это время учителя, наставницы и пансионерки дружно взваливали на себя основной груз подготовки к экзаменам, за которыми следовала раздача наград. Кандидатки на получение таковых вынуждены были трудиться изо всех сил, а учителя тоже должны были всерьез взяться за дело — подогнать отстающих и, не жалея времени, хорошенько вышколить подающих надежды. Предстояло устроить для приглашенных пышное зрелище, яркую и выразительную выставку своих достижений, а для этой цели все средства были хороши.

Я почти не замечала, как работают мои коллеги, потому что у меня самой было много дел; обязанности мои были отнюдь не легкими: мне надлежало вбить примерно в девяносто голов знание английского, который представлялся им самой сложной и трудной наукой, и приучить девяносто языков выговаривать почти непроезжимые для них звуки — шепелявые и шипящие зубные нашего островного наречия.

Настал день экзаменов. Страшный день! К нему готовились с особой тщательностью, одевались молча и быстро — ничего воздушного и развевающегося, никакой белой кисеи, никаких голубых лент — костюм должен быть строгим, закрытым, из плотной материи. На мою долю в этот день выпали, как мне казалось, особые трудности — из всех учительниц именно на мои плечи легло самое тяжелое бремя, самое мучительное испытание. Остальным не предстояло вести экзамены по предметам, которые они преподавали, ибо эту обязанность взял на себя профессор литературы, мосье Поль. Он, этот диктатор, твердой рукой направлял движение нашей школьной колесницы и с гневом отвергал помощь со стороны коллег. Даже сама мадам, явно желавшая лично провести экзамен по своему любимому предмету — географии, — которому искусно обучала, вынуждена была уступить своему деспотичному родичу и подчиниться его

указаниям. Он отстранил всех учителей, как мужчин, так и женщин, и одиноко возвышался на экзаменаторском троне. Его раздражало, что придется сделать одно исключение: он не мог справиться с экзаменом по английскому языку и должен был передать эту отрасль знаний в руки англичанки, что он и сделал, но не без чувства забавной ревности.

Непрерывная борьба против самолюбия, которую он вел со всеми, кроме самого себя, была прихотью этого толкового, но вспыльчивого и честолюбивого коротышки. Ему очень нравилось покрасоваться перед публикой, но подобные склонности у других вызывали в нем крайнее отвращение. Когда можно было, он старался подавить и заглушить их у окружающих, когда же это ему не удавалось, он клокотал, как кипящий чайник.

Вечером, накануне экзаменов, я, как и все учителя и пансионерки, прогуливалась по саду. Мосье Эманюель присоединился ко мне в «*allée defendue*»:^[202] сигара в зубах, бесформенный, как обычно, сюртук, темный и несколько устрашающий, кисть фески отбрасывает мрачную тень на левый висок, черные усы топорщатся, как у разъяренной кошки, блеск голубых глаз затуманен.

— *Ainsi*, — отрывисто произнес он, остановившись передо мной и лишив меня возможности двигаться дальше, — *vous allez troner comme une reine demain — troner a mes cotes? Sans doute vous savourez d'avance les delices de l'autorite. Je crois voir un je ne sais quoi de rayonnant, petite ambitieuse!*^[203]

Однако он глубоко ошибался. Восторги или похвалы со стороны завтрашних зрителей не могли волновать меня (и в самом деле не волновали) в той же мере, что его. Не знаю, как все обернулось бы, если бы среди зрителей у меня было столько друзей и знакомых, сколько у него, но тогда дело обстояло именно так. Меня мало привлекала слава в границах школы. Меня удивляло и продолжает удивлять, почему ему казалось, что эта слава греет и сверкает. Он, по-видимому, слишком сильно тянулся к ней, а я, пожалуй, слишком слабо. Впрочем, у меня тоже были свои прихоти. Мне нравилось наблюдать, как мосье Эманюелем овладевает зависть — она как бы будоражила его жизненные силы и поднимала дух, она отбрасывала причудливые блики и тени на его сумрачное лицо и голубовато-фиалковые глаза (он обычно говорил, что черные волосы и голубые глаза «*une de ses beautés*»^[204]). Что-то привлекательное таилось и в его гневе — непосредственном, искреннем, совершенно безрассудном, но не лицемерном. Я не стала выказывать обиду за то, что он приписал мне

подобное самодовольство, а всего лишь спросила, когда будет экзамен по английскому языку — в начале или в конце дня.

— Я как раз думаю, — ответил он, — устроить ли его в начале, когда придут еще немногие и мало кто сможет удовлетворить ваше тщеславие, или провести его в конце дня, когда все устанут и будут не в состоянии уделить вам должное внимание.

— Que vous etes dur, Monsieur!^[205] — ответила я, приняв горестный вид.

— А с вами иначе нельзя. Вы из тех, кого нужно смирять. Знаю я вас, знаю! Другие, когда видят, как вы проходите мимо, думают, что промелькнула бесплотная тень, но я всего один раз внимательно рассмотрел ваше лицо, и этого было достаточно.

— Вы довольны, что раскусили меня?

Он уклонился от прямого ответа и продолжал:

— Разве вы не радовались своему успеху в этом водевиле? Я наблюдал за вами и уловил у вас на лице неутолимую жажду триумфа. Какой огонь засверкал у вас в глазах! Не просто огонь, а пламя — je me tiens pour averti.^[206]

— Чувство, владевшее мною в тот вечер, размеры и силу которого простите меня, сударь, но я не могу смолчать — вы чрезвычайно преувеличиваете, носило чисто отвлеченный характер. Водевиль был мне совершенно безразличен. Более того, мне была крайне неприятна моя роль в спектакле, и я не испытывала ни малейшего расположения к сидевшей в зале публике. Наверное, это хорошие люди, но я-то никого из них не знаю. Какой интерес составляют они для меня? Зачем мне завтра вновь появляться перед ними? Ведь этот экзамен для меня не что иное, как тягостная обязанность, от которой мне хочется поскорее избавиться.

— Хотите, я освобожу вас от нее?

— С радостью, если только вы не боитесь неудачи.

— Но я непременно потерплю неудачу, ведь я знаю по-английски всего три фразы и несколько отдельных слов — например, сонсе, люна, звиззды, est-ce bien dit?^[207] По-моему, лучше всего было бы вообще отказаться от экзамена по английскому языку, а как вы думаете?

— Если мадам не будет возражать, то я согласна.

Он молчал, куря сигару. Потом внезапно повернулся ко мне со словами «Donnez-moi la main»,^[208] и тут же досада и зависть исчезли у него с лица, и оно осветилось безграничной добротой.

— Мы больше не соперники, а друзья! — провозгласил он. — Экзамен

непременно состоится, и, вместо того чтобы досаждать и мешать вам, — к чему я минут десять тому назад был склонен, потому что пребывал в дурном расположении духа, а это случается со мной с самого детства, — я всеми силами буду помогать вам. Ведь вы здесь чужая, вы одиноки и должны при этом проложить себе дорогу в жизни и обеспечить свое существование, поэтому было бы совсем неплохо, чтобы вас получше узнали. Итак, мы будем друзьями! Вы согласны?

— Я была бы счастлива, мосье. Мне гораздо важнее иметь друга, чем добиться триумфа.

— Pauvrette!^[209] — произнес он и ушел.

Экзамен прошел успешно, мосье Поль сдержал слово и сделал все, чтобы мне было легче исполнить мой долг. На следующий день раздавали награды, это тоже прошло благополучно; школьный год завершился, ученицы разъехались по домам — начались долгие осенние каникулы.

Ох, уж эти каникулы! Забуду ли я их когда-нибудь? Думаю, что нет. Мадам Бек в первый же день уехала на побережье, где уже находились ее дети; у всех трех учительниц были родители или друзья, к которым они и отправились; учителя-мужчины тоже устремились прочь из города — одни поехали в Париж, другие в Бумарин; мосье Поль направился в Рим. В доме остались только я, одна прислуга и несчастная слабоумная девочка, которую мачеха, жившая где-то в далекой провинции, не желала брать на каникулы домой.

Сердце словно остановилось у меня в груди, мною овладела глубокая тоска. Как медленно тянулись сентябрьские дни, какими они были грустными и безжизненными! Каким огромным и пустым казался этот дом! Каким мрачным и заброшенным выглядел сад, покрытый пылью ушедшего городского лета. Я плохо представляла себе, как проживу предстоящие два месяца. Грусть и печаль поселились во мне еще задолго до начала каникул, а теперь, когда я оказалась свободной от работы, настроение мое стало стремительно ухудшаться. Наверное, будущее не сулило надежды, не обещало покоя, не склоняло меня к тому, чтобы ради предстоящего благоденствия сносить сегодняшнее зло. Меня часто одолевало грустное безразличие к жизни, когда я теряла веру, что со временем достигну той цели, к которой стремится всякий человек. Увы! Теперь, располагая достаточным досугом, чтобы всмотреться в жизнь так, как это следует делать людям в моем положении, я обнаружила, что нахожусь среди бескрайней пустыни, где нет ни песчаных холмов, ни зеленых полей, ни пальмы, ни оазиса. Мне не были ведомы надежды, которые питают и увлекают юных, и я не смела даже помышлять о них. Если временами они

стучались ко мне в сердце, я воздвигала перед ними непреодолимые препятствия. Когда же они, отвергнутые мною, отступали, я нередко заливалась горькими слезами, но иначе поступить не могла, ибо нельзя было обольщать сердце надеждами, ибо я смертельно боялась греха самонадеянности.

Вы, вероятно, готовы прочесть мне длинную проповедь, набожный читатель, по поводу того, что я здесь написала, да и вы, моралист, а заодно и вы, строгий философ, не прочь бы разбранить меня; вы же, стоик, нахмуритесь, вы, циник, усмехнетесь, а вы, эпикуреец, расхохочетесь. Ну что ж, каждый из вас да поступит по-своему. Я приемлю все: выговор, хмурый вид, усмешку и хохот. Возможно, вы правы, а может быть, окажись вы в моих обстоятельствах, вы бы не избежали моих ошибок. Так или иначе, но первый месяц оказался для меня долгим, печальным и тягостным.

Моя подопечная была по-своему счастлива. Я делала все, чтоб держать ее в сытости и тепле, а ей ничего и не нужно было, кроме еды и солнечных лучей или горящего камина. В ней сочетались слабые способности со стремлением к неподвижности: ее мозг, глаза, уши и душа пребывали в блаженной дремоте, они не могли воспрянуть ото сна и обратиться к какой-нибудь деятельности, поэтому верхом наслаждения для нее был полусон.

Первые три недели каникул держалась жаркая, ясная и сухая погода, но на третьей и четвертой прошли дожди и грозы. Не знаю, почему эта перемена так мучительно повлияла на меня, почему неистовая буря и ливень сдавили мне сердце так сильно, как никогда не бывало в спокойную погоду, но я пришла в такое состояние, при котором мои нервы уже еле-еле справлялись с тем, что им приходилось переносить в течение многих дней и ночей в этом огромном пустынном доме. Как молила я Провидение ниспослать мне утешение и защитить меня! С каким ужасом я все сильнее убеждалась в том, что Фортуна — мой вечный враг, и я никогда не умиротворю ее. Я не роптала в душе на немилосердие или несправедливость всевышнего; я пришла к выводу, что в его святом предначертании судеб человеческих некоторым выпала жизнь, полная тяжких страданий, и что я, в какое бы отчаяние ни приводила меня эта мысль, принадлежу к их числу.

Мне несколько полегчало, когда тетка несчастной дурочки, добрая старая женщина, в один прекрасный день приехала и забрала с собой мою странную и слабоумную товарку. Временами мне бывало очень тяжело с этим жалким созданием: ее невозможно было вывести за пределы сада и нельзя было оставить ни на минуту одну, ибо ее убогий разум, как и тело, был изуродован и мог стать причиной большого несчастья. Некоторые

дурные склонности и бессмысленная злобность требовали неусыпной бдительности. Поскольку она говорила очень редко и обычно целыми часами сидела на месте, тупо уставившись в одну точку и делая неопишимо уродливые гримасы, я словно жила в одной клетке с диким животным, а не рядом с человеческим существом. Кроме того, некоторые детали ухода за ней требовали выдержки больничной сиделки, поэтому иногда мне изменяла твердость духа. Вообще-то эти обязанности должна была бы исполнять не я, а прислуга, но ее отпустили и в предотъездной суматохе забыли найти ей замену. Эти испытания были не самыми легкими в моей жизни, но, какими бы унижительными и удручающими они ни были, душевные муки опустошали и изнуряли меня гораздо сильнее. Уход за больной часто лишал меня аппетита, и я, вместо того чтобы поесть, в изнеможении выбегала во двор, где свежий воздух и вода из родника или фонтана спасали меня от обморока. И все же из-за этих мучений у меня не разрывалось сердце, глаза не наполнялись слезами и горячие, как расплавленный металл, слезы не обжигали щеки.

Когда больная девочка уехала, я получила возможность выходить из дома. Сначала у меня не хватало смелости отлучаться далеко от улицы Фоссет, но со временем я не раз добиралась до городской заставы и, миновав ее, отправлялась в дальний путь по дорогам, бегущим через поля, мимо католического и протестантского кладбищ, мимо сельских усадеб, а потом через рощицы, по тропинкам — сама не знаю куда. Непреодолимая сила толкала меня вперед, лихорадочное возбуждение не давало мне остановиться. Одиночество, в котором я пребывала, будило во мне чувство острейшего духовного голода. Нередко я бродила целый день — сначала под палящим дневным солнцем, потом в вечерней мгле — и возвращалась домой, когда всходила луна.

Совершая одинокие прогулки, я иногда старалась представить себе, чем занимаются сейчас мои знакомые. Вот — мадам Бек на морских купаниях в веселом обществе своих детей, матери и целого отряда друзей, приехавших сюда же на отдых. Зели Сен-Пьер в Париже, у родных, другие учителя — у себя дома. А вот — Джиневра Фэншо, которую какие-то родственники взяли в приятное путешествие на юг. Мне представлялось, что она — самая счастливая из всех. Путь ее пролегал по красивейшим местам: для нее светило сентябрьское солнце, согревая ласковыми лучами плодородные равнины, на которых зрели хлеба и виноград. Для нее всходила прозрачно-золотистая луна над синеющими на горизонте холмами.

Но все это не имело значения: меня тоже грело осеннее солнце, я тоже

видела луну над полями, но при этом ко мне подкрадывалось желание найти убежище в земле, под дерном, куда не проникнет ни солнечный, ни лунный свет, ибо солнце и луна не поддерживали моих жизненных сил и я не могла подружиться с ними или отдать им свою любовь. А вот Джиневра обладала такой натурой, которая непрерывно посылала ей новые силы и поддерживала способность наслаждаться жизнью, радоваться наступлению дня и благоуханию ночи; наверное, самый милосердный из всех добрых гениев, охраняющих род человеческий, осенял ее крылом и склонялся над ее главой. Джиневру всегда сопровождала Истинная Любовь, она никогда не оставалась одна. Неужели она не ощущала присутствия любви? Мне это казалось невозможным, я не могла представить себе подобную бесчувственность. Мне чудилось, что она таит в душе благодарность, что сейчас любит скрытно, но со временем откроет, как сильна ее любовь; перед моим мысленным взором вставал ее верный друг, лишь догадывающийся о ее робком чувстве, но находящий утешение и в этой догадке. Я верила, что их соединяет магнетическое родство душ, тонкая струна взаимопонимания, которая не рвется, даже когда они разделены расстоянием в сотни миль, и передает от одного к другому просьбы и желания. Постепенно Джиневра превратилась в моем воображении в некую героиню. Однажды, заметив это странное преобразование, я подумала: «По-видимому, у меня начинается нервное переутомление, слишком исстрадался мой мозг, он приходит в болезненное состояние — что мне делать? Как уберечь себя от беды?»

И действительно, в моих обстоятельствах невозможно было оставаться здоровой. В конце концов глубочайшее уныние, тянувшееся целыми сутками, завершилось телесным недугом, и я слегла. Как раз в это время пришла к концу золотая осень и наступило равноденствие с его страшными грозами. В течение девяти темных дождливых, оглушающе бурных дней, ошеломленная воем урагана, лежала я в лихорадке и странном нервном возбуждении. Сон не шел ко мне. По ночам я вставала, искала его, умоляла посетить меня. Ответом был лишь скрип окна или завывание ветра — сон не приходил!

Нет, я ошибаюсь: однажды он посетил меня, но был разгневан. Раздраженный моими назойливыми просьбами, он наказал меня кошмарными видениями. Судя по бою часов на соборе Иоанна Крестителя, это сновидение продолжалось не более пятнадцати минут, но даже короткого промежутка времени оказалось достаточно для того, чтобы подвергнуть меня невыносимым страданиям и наслать на меня нечто, не имеющее названия, но такое страшное, вселяющее такой ужас, какой может

вызвать лишь пришелец из другого мира. Между двенадцатью и часом ночи у губ моих появилась откуда-то чаша — темная, прочная, странной формы, до краев наполненная бурлящей жидкостью из бездонного и безграничного моря. Ни одно страдание, предназначенное смертному, ниспосланное ему в измеримом количестве, рассчитанное на ограниченное во времени действие, нельзя сравнить с мукой, испытанной мною от этого напитка. Испив его и проснувшись, я решила, что наступил мой конец, но когда я пришла в себя, меня охватила ужасная дрожь и непреодолимое желание позвать кого-нибудь на помощь. Но я знала, что никто не услышит моего отчаянного призыва — Готон спала далеко, в мансарде, — и я в кровати стала на колени. Прошло несколько невероятно мучительных часов, которые окончательно истерзали и подавили мой разум. Думаю, что из всех кошмаров той ночи самый жуткий я пережила в эти минуты. Мне мерещилось, что почивший горячо любимый человек, который при жизни преданно любил меня, встретил меня как чужой где-то в незнакомом месте, и душа моя, недоумевая, что же будет дальше, разрывается от невыразимого отчаяния. Казалось бы, у меня нет никаких оснований хотеть исцеления и возвращения к жизни, но самым невыносимым из всего, выпавшего на мою долю той ночью, был безжалостный и надменный голос, которым смерть приглашала меня предстать перед еще не изведанными страданиями. Пытаясь вознести молитву, я не могла промолвить ничего, кроме этих слов: «Я несчастен и истлеваю с юности; несу ужасы твои и изнемогаю».

Так оно и было на самом деле.

На следующее утро, войдя ко мне с чаем, Готон постаралась убедить меня вызвать врача, но я отказалась, так как считала, что врач не может помочь мне.

Однажды вечером, находясь в здравом уме и твердой памяти, я, шатаясь от слабости, встала и оделась. У меня не было больше сил выносить одиночество и давящую тишину длинного дортуара: мертвенно-белые постели превращались в привидения, а каждое изголовье приняло вид огромного выцветшего от времени черепа, в зияющих глазницах которого таились мертвые сны древних и более могущественных, чем мы, поколений. Тот вечер бесповоротно убедил меня в том, что Судьба тверда, как камень, а Надежда — вымышленный кумир, слепой, бесстрастный, с душой из гранита. Я чувствовала также, что испытание, которому подверг меня создатель, приближается к высшей точке и мне предстоит обороняться собственными пылающими, слабыми, дрожащими руками. За окном все еще лил дождь и дул ветер, но, как мне показалось, несколько

милосерднее, чем днем. Спускались сумерки, и я надеялась, что они благотворно повлияют на мое состояние; через окно я видела низко плывущие ночные тучи, подобные приспущенным знаменам. Мне верилось, что в этот час отец небесный ниспосылает любовь и сочувствие всем страждущим на земле; давящая тяжесть ночного кошмара ослабла, невыносимая мысль, что меня никто не любит и никто обо мне не заботится, начала отступать перед надеждой на лучшее; я ощутила уверенность, что надежда засияет ярче, если я уйду из-под крыши этого дома, которая давила на меня как надгробный камень, и отправлюсь за пределы города, к одному мирному холму, возвышающемуся далеко в полях. Закутавшись в плащ (значит, я не была в бреду, раз сообразила, что нужно одеться потеплее), я покинула дом. Проходя мимо одного из храмов, я остановилась, ибо мне почудилось, что звон его колоколов приглашает меня к вечерней службе, и я вошла. Как хлеб голодному, был мне тогда необходим любой священный обряд богослужения, любая возможность обратиться с молитвой к богу. Я преклонила колени на каменном полу рядом с другими молящимися. Это был старинный величественный собор; свет, льющийся сквозь витражи, окрашивал царивший в нем полумрак не в золотистые, а в багряные тона.

Молящихся было мало, так как служба окончилась и половина прихожан разошлась. Вскоре я поняла, что оставшиеся готовятся к исповеди. Я не шелохнулась. Все двери церкви тщательно затворили, и на нас спустилась благостная тишина и строгий полумрак. После безмолвной молитвы одна из кающихся грешниц приблизилась к исповедальне. Я наблюдала за происходящим. Она шепотом исповедалась в грехах и получила шепотом же произнесенное отпущение, после чего, успокоенная, вернулась к нам. Потом к исповедальне направилась следующая женщина, за ней еще одна. Бледная дама, стоявшая на коленях рядом со мной, обратилась ко мне тихим, ласковым голосом: «Идите теперь вы, я еще не совсем готова».

Я машинально поднялась с колен и послушно направилась к исповедальне. Я отчетливо сознавала, что собираюсь делать, мой мозг мгновенно оценил значение предстоящего поступка, и я решила, что подобный шаг не усугубит моих страданий, а может быть, напротив, несколько успокоит меня.

Священник, сидевший в исповедальне, не взглянул на меня, а лишь приблизил ухо к моим губам. Возможно, он был добрым человеком, но эта обязанность стала для него своего рода формальностью, и исполнял он ее бесстрастно, как нечто привычное. Я немного растерялась, ибо не знала, с

чего нужно начинать исповедь,^[210] поэтому вместо принятого введения я просто сказала: «Mon pere, je suis Protestante!».^[211]

Он сразу повернулся ко мне. Он явно не принадлежал к местным священникам, лица которых почти всегда отмечены печатью подобострастия; по профилю и форме лба я тотчас определила, что он француз, и хотя он был немолод и сед, мне показалось, что он сохранил чуткость и силу восприятия. Он мягко спросил меня, почему я, протестантка, решила обратиться к нему, католическому священнику.

Я ответила, что погибаю из-за невозможности получить от кого-нибудь совет или слова утешения. Я поведала ему, что несколько недель прожила в полном одиночестве, тяжело болела, а теперь на душе у меня лежит такой нестерпимый гнет скорби, которого я уже долее не могу нести.

— Вы совершили грех или преступление? — спросил он несколько испуганно.

Я успокоила его, постаравшись, как могла понятнее, коротко описать мои обстоятельства.

На лице у него появилось выражение задумчивости, удивления и растерянности.

— Вы застали меня врасплох, — проговорил он, — никогда у меня не было подобного случая. Мы привыкли к раз и навсегда установленному порядку, а вы внесли смятение в обычный ход исповеди. Я не чувствую себя готовым дать совет, который помог бы вам в вашем положении.

Я и сама не предполагала, что он окажется готовым к этому, но мне помогло и то, что я получила возможность поведать хоть часть своих сокровенных и давно таимых страданий человеку мыслящему и чувствующему, к тому же в сане священника, который никому не расскажет об услышанном. Все это успокоило и утешило меня.

— Теперь мне нужно уйти, отец? — спросила я сидевшего в молчании священника.

— Дочь моя, — произнес он ласковым голосом, и я окончательно убедилась, что он добрый человек, ибо в глазах его светилось сострадание, — сейчас вам лучше уйти, но хочу уверить вас, что ваш рассказ поразил меня. Исповедь, подобно другим обрядам, при многократном повторении превращается в нечто формальное и обыденное. Вы же пришли сюда и открыли свою душу, а такое случается редко. Я бы охотно поразмыслил над вашей историей не только теперь, но и у себя в молельне. Если бы вы принадлежали к нашей вере, я бы знал, что вам сказать — столь потрясенная душа может обрести покой лишь в лоне

уединения и в беспрекословном исполнении канонов благочестия. Известно, что этот мир не может принести успокоение натурам, подобным вашей. Праведники велели таким, как вы, кающимся грешникам, приблизиться к царству божью путем покаяния, самоотречения и добрых дел. Слезами омывают они в этой бременной жизни еду и питье — слезный хлеб и слезную воду,^[212] вознаграждение же обретут лишь в мире ином. Лично я убежден в том, что видения, которые причиняют вам тягостные страдания, ниспосланы богом для того, чтобы вернуть вас в лоно истинной церкви. Вы созданы для нашей веры; уверяю вас, только наша вера может исцелить и поддержать вас; протестантство, по сути своей, слишком сухо, холодно и прозаично для вашей природы. Чем глубже я вникаю в этот предмет, тем яснее вижу, что протестантство нарушает исконный порядок вещей. Ни в коем случае не хочу потерять вас из виду. А сейчас ступайте, дочь моя, но не забудьте вернуться ко мне.

Я поднялась и поблагодарила его. Я уже уходила, когда он сделал мне знак остановиться.

— Вам не следует приходить в этот храм, — сказал он, — видно, что вы больны, а здесь очень холодно. Приходите лучше ко мне домой, я живу (и он дал мне свой адрес). Буду ждать вас завтра в десять часов утра.

Я ограничилась поклоном в ответ на это приглашение и, опустив вуаль и плотно запахнув плащ, бесшумно вышла из собора.

Уж не думаете ли вы, читатель, что я намеревалась вновь пожаловать к этому достойному священнику? Скорее я бы решилась ввергнуть себя в пещь вавилонскую!^[213] Этот священник располагал средствами, которыми мог воздействовать на меня, он был от природы наделен чувствительной французской добротой, коей я, что мне самой было хорошо известно, могла бы легко поддаться. Не питая уважения к некоторым видам человеческих привязанностей, я, однако, не могла полагаться на то, что у меня хватит сил противостоять тем из них, которые обладают хоть тенью искренности. Если бы я вновь посетила его, он постарался бы открыть мне все мягкое, нежное и утешающее, что содержится в бесхитростных католических суевериях. Потом он попытался бы заронить мне в душу искру стремления к добрым делам и раздувать ее до тех пор, пока из нее не возгорится пламя фанатизма. Не знаю, чем все это кончилось бы. Все мы понимаем, что в некоторых случаях обладаем достаточной силой, чтобы противостоять нажиму, но во многих — не способны ему сопротивляться: вполне возможно, что, посети я дом 10 по улице Волхвов в назначенный день и час, я бы сейчас не писала это еретическое повествование, а перебирала бы

четки в келье какого-нибудь монастыря кармелиток^[214] на бульваре Креси в Виллете. В этом кротком священнике было что-то от Фенелона,^[215] и каковы бы ни были его братья по вере, как бы я ни относилась к его церкви и вероисповеданию (а мне не нравится ни то ни другое), о нем я сохраню навсегда благодарное воспоминание. Он был добр ко мне, когда я очень нуждалась в доброте, он сотворил благо по отношению ко мне. Да благословит его господь.

Сумерки уступили место ночи, и, когда я вышла из темного храма, на улицах уже горели лампы. Я почувствовала, что в состоянии вернуться домой; необузданное стремление вдохнуть осеннего ветра на холме, далеко за городской стеной, ослабло. Разум восторжествовал, подавив этот властный порыв, и я повернула, как мне казалось, на улицу Фоссет. Но очутилась я в незнакомой старинной части города с множеством узких улочек, застроенных живописными ветхими домиками. Я была слишком слаба, чтобы быстро собраться с мыслями, и слишком беззаботно относилась к собственному благополучию и безопасности, чтобы соблюдать осторожность, поэтому я растерялась и запуталась в лабиринте каких-то переулков. Заблудившись, я не решалась спросить дорогу у прохожих.

Гроза, немного затихшая при заходе солнца, принялась наверстывать упущенное. С северо-запада на юго-восток низко мчались вихревые потоки ветра, они приносили то водяную пыль, то острый, колющий град; ветер был холодный и пронизывал меня до костей. Я наклоняла голову, чтобы противостоять ему, но он толкал меня назад. Душа моя не сдавалась в этой борьбе, мне лишь хотелось иметь крылья, чтобы вознестись выше ветра, опереться на него крыльями, мчаться вместе с ним, вместе сметать преграды на нашем пути. Внезапно я почувствовала, что замерзаю и теряю силы. Я попыталась добраться до подъезда стоявшего поблизости большого дома, но в глазах у меня потемнело, и фасад дома, увенчанный высоким шпилем, растаял в воздухе. Вместо того чтобы опуститься на ступеньки, я, как мне почудилось, стремглав полетела куда-то в пропасть. Больше ничего не помню.

Глава XVI

ТОВАРИЩ ЮНЫХ ДНЕЙ^[216]

Где пребывала моя душа во время последовавшего забвения — не ведаю. Что она лицемерила, где витала, она сохранила в тайне, которую ни разу не приоткрыла даже перед Памятью, приводя в недоумение мою фантазию своим нерушимым молчанием. Может быть, она вознеслась горе, узрела в вышине свое грядущее вечное пристанище, и в ней вспыхнула надежда остаться в нем, коль скоро ее тягостный союз с телом наконец расторгнут. Но быть может, ее чаяния развеял ангел, приказавший ей покинуть преддверие царства небесного, и, увлекая ее, рыдающую, вниз, направил эту дрожащую и возмущенную душу к воссоединению с той убогой, холодной и забытой формой, слитность с которой ее несказанно утомила.

С уверенностью могу сказать, что возвращение души моей в ее темницу сопровождалось болью, сопротивлением, стонами и лихорадочной дрожью. Трудно было вновь соединить разведенных супругов — Дух и Материю, они встретили друг друга не объятием, а жестокой борьбой. Ко мне вернулось зрение, но все виделось мне алым, словно плавающим в крови; пропавший на время слух внезапно обрушил на меня оглушительные, как гром, звуки; сознание воскресало в муках: в смятении я села на постели, недоумевая, в каком месте и среди каких странных существ я нахожусь. Сначала я ничего не узнавала — не постигала, что стена — это стена, а лампа — лампа. После всего пережитого мне следовало бы воспринимать то, что мы называем призраком, столь же легко, сколь я воспринимала самые обыденные вещи, — хочу сказать этим, что все, на чем останавливался мой взор, казалось мне призрачным. Но вскоре органы чувств стали вновь исполнять свои обязанности, и машина жизни возобновила привычную, четкую работу.

Однако я все еще не могла понять, где я нахожусь, и лишь по прошествии некоторого времени осознала, что меня унесли с того места, где я упала, что я уже не лежу на ступеньках, а ночь и гроза остались где-то за стенами комнаты. Значит, меня внесли в дом, но что это за дом?

Мне в голову, естественно, мог прийти только пансион на улице Фоссет. В полусне я пыталась разобраться, в какой я комнате — в большом дортуаре или в одной из маленьких спален. Меня смущало, что я не могу

обнаружить ничего из утвари, которую я привыкла видеть в спальнях пансиона: исчезли пустые белые постели и длинный ряд больших окон. «Не в комнату же мадам Бек, — подумала я, — меня поместили!» И тут мой взгляд упал на мягкое кресло, обитое синей камкой. Постепенно я стала различать и другие стулья с мягкими сиденьями, обтянутыми этой же тканью, и в конце концов мне удалось охватить взглядом всю уютную гостиную — огонь в очаге, ковер с ярко-синими узорами на коричневом фоне, светлые стены с бордюром из нежных голубых незабудок, переплетенных с несметным множеством золотых листьев и завитков. Зеркало в золоченой раме заполняло простенок между двумя окнами, занавешенными широкими сборчатыми шторами из синей камки. В зеркале я увидела, что лежу не на кровати, а на кушетке. Я была похожа на призрак: огромные ввалившиеся глаза, лицо, столь худое и мертвенно-бледное, что волосы казались более темными, чем были в действительности. Не только вещи, но и расположение окон и дверей ясно указывали на то, что это чужая комната в чужом доме.

Не менее ясным было и то, что сознание мое еще не совсем восстановилось, так как мне начало мерещиться, что я уже некогда видела это синее кресло, кушетку с изголовьем в виде свитка, круглый стол в середине комнаты, покрытый синей скатертью с узорами из осенних листьев. Но больше всего мне были знакомы две подставки для ног с вышитыми чехлами, а также стул черного дерева, мягкое сиденье и спинка которого тоже были вышиты букетиками ярких цветов на темном фоне.

Пораженная этим открытием, я продолжала осмотр. Как ни странно, но обнаружилось, что меня окружают старые знакомцы, из каждого уголка мне улыбались «товарищи юных дней». Над камином висели две овальные миниатюры, где я тотчас узнала жемчужины на высоких напудренных прическах, бархотки на белых шейках, словно ветром раздуваемые муслиновые шарфы, рисунок кружев на манжетах. На каминной полке стояли две фарфоровые вазы, маленькие чашечки, оставшиеся от чайного сервиза, гладкие, как эмаль, и тонкие, как яичная скорлупа, а в центре под стеклянным колпаком — небольшая алебастровая скульптурная группа в классическом стиле. Я могла бы не глядя, подобно ясновидящей, перечислить особенности всех этих вещей — все пятнышки и трещины. Но самым удивительным было то, что предо мной оказалась пара каминных экранов с затейливыми рисунками карандашом, исполненными в стиле штриховой гравюры. У меня разболелись глаза, когда я вспомнила, как они часами следили за старательно движущимся штрих за штрихом, надоевшим, нетвердым карандашом в этих, теперь костлявых, как у

скелета, пальцах.

Где я? В какой точке земного шара? Какой сейчас год от рождества Христова? Ведь все описанные вещи относятся к давнему прошлому и к далекой стране. Я попрощалась с ними десять лет тому назад, когда мне было четырнадцать лет, и с тех пор с ними ни разу не встречалась. И тут я с трудом выдохнула: «Где я?»

Не замеченная мною ранее фигура шевельнулась, встала и подошла ко мне. Фигура эта совершенно не гармонировала со всем окружающим, что еще больше усугубляло загадочность происходящего. Это была всего лишь сиделка из туземок в шаблонном чепце и простом ситцевом платье. Она не говорила ни по-французски, ни по-английски, поэтому я не могла ничего узнать от нее или понять, что она говорит на своем наречии. Но она окропила мне виски и лоб прохладной ароматической водой, взбила подушки, на которых я лежала, показывая знаками, что мне нельзя разговаривать, и вновь заняла свое место около моей кушетки.

Она была занята вязанием и поэтому не смотрела на меня, я же не сводила с нее глаз. Меня чрезвычайно интересовало, как она попала в этот дом и какое имела отношение к поре моего детства и к тем местам, где я его провела. Еще больше волновало меня, что связывает теперь меня с этой эпохой и этими местами.

Однако я была слишком слаба, чтобы глубоко проникнуть в тайну сию, и старалась убедить себя, что все это ошибка, сон, приступ лихорадки; и все же я понимала, что не ошибаюсь, не сплю и нахожусь в здравом уме. Я предпочла бы, чтобы в комнате не было так светло и я бы лишилась возможности столь отчетливо видеть картинки, узоры, экраны и вышитую обивку стула. Все предметы, а также отделанная синей камкой мебель были до мелочей такими же, как и те, которые я столь ясно помнила и с которыми постоянно соприкасалась в гостиной моей крестной в Бреттоне. Изменилась лишь, как мне казалось, сама комната — ее расположение и размеры.

Мне вспомнилась история Бедр-ад-дина Хасана,^[217] которого во сне джинн перенес из Каира к воротам Дамаска. Может быть, во время грозы, которой я не смогла противостоять, некий дух простер ко мне темное крыло, подобрал меня с паперти храма и, «взмыв высоко в поднебесье», как говорится в восточной сказке, перенес через моря и океаны и тихо положил у нашего очага в доброй старой Англии? Увы, нет! Мне было точно известно, что огонь этого очага больше не горит для своих лар,^[218] он давно погас, а домашние боги отправились в другие края.

Сиделка взглянула на меня и, заметив, что глаза у меня широко открыты, и, вероятно, уловив в них тревогу и возбуждение, отложила вязанье. Она на мгновение задержалась у небольшого умывальника, налила в стакан воды и накапала капли из пузырька, а затем подошла ко мне. Что это за темное снадобье она мне предлагает? Волшебный эликсир или магический напиток?

Но спрашивать было поздно — я уже залпом проглотила его, не оказав сопротивления. Волна покоя ласково коснулась моего мозга, она росла и становилась все нежнее, заливая меня теплом, более мягким, чем от успокоительного бальзама. Боль покинула тело, мышцы онемели. Я потеряла способность двигаться, но не страдала от этого, ибо шевелиться мне не хотелось. Я видела, как добрая сиделка встала, чтобы заслонить лампу экраном, но уже не заметила, как она вернулась на место, потому что заснула мертвым сном.

Я проснулась и — вот чудо! — обнаружила, что все опять изменилось. Вокруг царил дневной свет, правда, был он не ласкающим, как летом, а серым и хмурым, какой бывает в промозглые дни осени. Я почувствовала уверенность, что нахожусь в пансионе — тот же ливень стучал в окно, так же порывы ветра раскачивали деревья, и, следовательно, за домом — тот же сад, такой же холод, та же белизна, то же одиночество. Вокруг все бело оттого, что меня отделяет от окружающего белый полотняный полог, закрывавший кровать, на которой я теперь лежала.

Я раздвинула его и выглянула наружу. Глаза мои, ожидавшие увидеть длинную, большую, побеленную комнату, заморгали от удивления, когда перед ними оказался небольшой кабинет со стенами цвета морской волны. Вместо пяти высоких, незанавешенных окон — высокое решетчатое окно, прикрытое муслиновыми фестончатыми занавесками; вместо двух десятков маленьких умывальников из крашеного дерева с тазами и кувшинами — туалетный столик, наряженный, как дама перед балом, во все белое с розовой отделкой. Над ним большое, хорошо отшлифованное зеркало, а на нем — миленькая подушечка для булавок с кружевными оборками. Туалет, небольшое, низкое кресло, обтянутое ситцем с зелеными и белыми узорами, умывальник, покрытый мраморной доской, на которой стояли разные принадлежности для умывания из светло-зеленого фаянса, — все это очень подходило к маленькой комнатке.

Признаюсь, читатель, я испугалась! Вы спросите, почему? Что было такого в простой и довольно уютной спальне, чтобы напугать даже самого робкого человека? А вот что — все эти предметы не могли быть настоящими, осязаемыми креслами, зеркалами и умывальниками, нет, это

были их призраки; если же подобная гипотеза слишком нелепа, какой я и считала ее, несмотря на свою растерянность, оставалось сделать лишь один вывод: у меня помутился разум, т. е. я больна и брежу; но даже при этом условии мои видения были, пожалуй, самыми странными из всех, какие безумие когда-либо обрушивало на свои жертвы.

Я узнала, я должна была узнать зеленый ситец, которым обито креслице, да и само это удобное креслице, блестящую черным лаком, покрытую резьбой в форме листьев, раму зеркала, гладкие молочно-зеленые фаянсовые приборы на умывальнике, да и самый умывальник с крышкой из серого мрамора, треснувшей с одного угла — все это я обязана была узнать и приветствовать, как волей-неволей узнала и приветствовала накануне вечером мебель красного дерева, драпри и фарфор в гостиной.

Бреттон! Бреттон! В этом зеркале отражалось то, что происходило со мной десять лет тому назад. Почему Бреттон и мое отрочество преследуют меня? Почему перед моим смущенным взором возникает домашняя утварь, а вот дом, в котором она находилась, куда-то исчез? Ведь эту подушечку для булавок, сделанную из красного атласа, украшенную золотистым бисером и оборкой из нитяных кружев, я смастерила, как и экраны, собственными руками! Вскочив с кровати, я схватила подушечку, тщательно осмотрела ее и обнаружила монограмму «Л.Л.Б.» Из золотистого бисера, окруженную овальным веночком, вышитым белым шелком. Буквы эти были инициалами моей крестной — Луизы Люси Бреттон.

«Неужели я в Англии? В Бреттоне?» — пробормотала я и стремительно отдернула оконные занавески, чтобы выяснить, где же я нахожусь. В тайниках души я надеялась, что увижу строгие, красивые старинные дома и чистую серую мостовую улицы св. Анны, а на заднем плане — башни собора, или, если уж предо мной откроется не милый, древний английский городок, то, по крайней мере, и на это я больше рассчитывала, город в другом краю, например, Виллет.

Но, увы, сквозь вьющиеся растения, окаймлявшие высокое окно, я увидела поросшую травой лужайку, вернее, газон, а за ней верхушки высоких лесных деревьев, каких мне уж давно не приходилось встречать. Они гнулись и стонали на октябрьском штормовом ветру, а между их стволами я заметила аллею, занесенную ворохами желтых листьев, иные из них кружил и уносил с собой порывистый западный ветер. Дальше, вероятно, тянулась равнина, которую заслоняли гигантские буки. Местность выглядела уединенной и была мне совершенно незнакома.

Я вновь прилегла. Кровать моя стояла в небольшой нише, и, если

повернуться к стене, комната со всеми ее загадками должна бы исчезнуть. Но не тут-то было! Не успела я, в надежде на это, принять указанное положение, как в глаза мне бросился висевший в простенке между расходящимися книзу занавесями портрет, заключенный в широкую позолоченную раму. Это был отлично выполненный акварельный набросок головы подростка, написанный свежо, живо и выразительно. На портрете художник изобразил молодого человека лет шестнадцати — светлокожего, пышущего здоровьем, с длинными золотистыми волосами и веселой, лукавой улыбкой. Лицо это обладало большой привлекательностью, особенно для тех, кто имел право претендовать на привязанность со стороны оригинала, например, для родителей или сестер. Ни одна романтически настроенная школьница не осталась бы равнодушной к этому портрету. Глаза его предсказывали, что в будущем обретут способность молниеносно откликаться на проявление любви. Не знаю, правда, таился ли в них надежный свет верности и постоянства, ибо его обаятельная улыбка, без сомнения, предвещала своенравие и беспечность, если чувство, им овладевшее, будет поверхностным.

Стараясь отнестись как можно спокойнее к каждому новому открытию в этом доме, я шептала про себя: «Ведь именно этот портрет висел в столовой над камином, как мне тогда казалось, слишком высоко». Прекрасно помню, как я взбиралась на вертящийся стул, стоявший у рояля, снимала портрет и, держа его в руке, вглядывалась в красивые, веселые глаза, взгляд которых из-под светло-коричневых ресниц казался источником радостного смеха, как любовалась цветом лица и выразительным ртом. Я не склонна была подозревать, что рту или подбородку была намеренно придана совершенная форма, ибо, при полном своем невежестве, понимала, что они прекрасны сами по себе, и все же я недоумевала вот по какому поводу: «Как же так получается, что одно и то же чарует и вместе причиняет боль?» Однажды, дабы проверить свои ощущения, я взяла на руки маленькую «мисси» Хоум и велела ей всмотреться в картину.

— Тебе нравится этот портрет? — спросила я. Не отвечая, она долго смотрела на акварель, потом ее глубокие глаза сверкнули мрачным светом и она произнесла: «Пустите меня». Я поставила ее на пол и подумала: «Ребенок испытывает такое же чувство».

Теперь, размышляя над прошлым, я пришла к заключению: «У него есть недостатки, но очень редко можно встретить столь превосходного человека великодушного, учтивого, впечатлительного». Рассуждения мои завершились тем, что я громко произнесла: «Грэм!»

— Грэм? — внезапно повторил чей-то голос у моей кровати. — Вы

зовете Грэма?

Я оглянулась. Загадка становилась все таинственнее, удивление мое достигло высшей точки. Если меня поразила встреча с давно знакомым портретом на стене, то еще большее потрясение я испытала, увидев около себя не менее знакомую фигуру — женщину, реально существующую во плоти, высокую, изящно одетую, в темном шелковом платье и в чепце, который очень шел к ее прическе из кос, уложенных подобающим матери семейства и почтенной даме образом. У нее тоже было приятное лицо, возможно, несколько увяла его красота, но на нем по-прежнему светился ясный ум и твердый характер. Она мало изменилась стала, пожалуй, немного строже и грузнее, но несомненно это была моя крестная — не кто иной, как сама госпожа Бреттон.

Я хранила молчание, но ощущала сильное возбуждение: пульс бился часто-часто, кровь отлила от лица, щеки похолодели.

— Сударыня, где я? — спросила я.

— В весьма надежном, отлично защищенном убежище, не думайте ни о чем, пока не выздоровеете, у вас сегодня еще больной вид.

— Я так потрясена, что не знаю, можно ли верить своим ощущениям, или же они меня обманывают — ведь вы говорите по-английски, сударыня, не правда ли?

— По-моему, это совершенно очевидно, мне было бы не по силам вести столь долгую беседу по-французски.

— Неужели вы из Англии?

— Недавно приехала оттуда. А вы уже давно здесь живете? Вы, кажется, знаете моего сына?

— Вашего сына, сударыня? Возможно, что знаю. Ваш сын... это он на том портрете?

— Да, но там он еще совсем юный. Однако вы, глядя на портрет, произнесли его имя!

— Грэм Бреттон?

Она утвердительно кивнула.

— Неужели я говорю с миссис Бреттон из Бреттона, что в графстве ***шир?

— Именно с ней; а вы, как мне сказали, учительница английского языка в здешней школе, не так ли? Мой сын узнал вас.

— Кто меня нашел, сударыня, и где?

— Это вам со временем расскажет мой сын, а сейчас вы еще слишком взволнованы и слабы, чтобы вести подобные беседы. Позавтракайте и постарайтесь уснуть.

Несмотря на все, что мне пришлось перенести — физические страдания, душевное смятение, непогоду, — я, судя по всему, начинала выздоравливать: горячка, которая по-настоящему истомила меня, утихла; если в течение последних девяти дней я не принимала твердой пищи и непрестанно мучилась жаждой, то в это утро, когда мне принесли завтрак, я ощутила потребность в еде, и дурнота заставила меня выпить чай и съесть гренок, предложенный мне миссис Бреттон. Этот единственный гренок поддерживал мои силы целых два или три часа, по прошествии которых сиделка принесла мне чашку бульона и сухарик.

Когда спустились сумерки, а яростный, холодный ветер все не прекращался и дождь продолжал лить, как будто разверзлись хляби небесные, я почувствовала, что мне опостылело лежание в постели. Комната, хоть и уютная, как-то стесняла меня, я ощущала потребность в перемене. Угнетало меня и то, что становилось холоднее и сгущалась тьма, — мне захотелось поглядеть на огонь и погреться возле него. Вдобавок меня продолжали одолевать мысли о сыне высокой дамы — когда же я увижу его? Разумеется, только когда покину пределы этой комнаты.

Наконец, пришла сиделка, чтобы перестелить мне на ночь постель. Она собралась было закутать меня в одеяло и усадить в креслице, обтянутое ситцем, но я отвергла ее услуги и начала одеваться. Едва я завершила эту работу и села, чтобы перевести дух, вновь появилась миссис Бреттон.

— Смотрите-ка, она оделась! — воскликнула миссис Бреттон, и у нее на губах появилась столь хорошо знакомая мне улыбка — приветливая, но не очень мягкая. — Значит, вы совсем здоровы и полны сил?

Мне даже померещилось, что она узнала меня — так похожи были ее голос и манера говорить на прежние: тот же покровительственный тон, который мне в детстве так часто доводилось слышать и которому я с удовольствием подчинялась. Этот тон объяснялся не тем, что она, как нередко бывает, считала себя богаче или знатнее других (кстати, по родовитости я ей нисколько не уступала, мы были совершенно равны), а естественным чувством физического превосходства — она уподоблялась дереву, оберегающему травинку от солнца и дождя. Я обратилась к ней без всяких церемоний:

— Разрешите мне спуститься вниз, сударыня. Мне здесь холодно и тоскливо.

— С радостью, если только у вас достаточно сил, чтобы перенести подобную перемену, — ответила она. — Пойдемте, обопритесь о мою руку. — Я взяла ее под руку, и мы спустились по покрытой ковром

лестнице до первой площадки, на которую выходила открытая высокая дверь, ведущая в гостиную с отделанной синей камкой мебелью. Как отрадно было оказаться в обстановке истинно домашнего уюта! Какое тепло источали янтарный свет лампы и багряный огонь в очаге! Для полноты картины следует добавить, что стол был накрыт к чаю — настоящему английскому чаю в сверкающем сервизе, глядевшем на меня, как на старую знакомую: два массивных серебряных чайника — большой старомодный — для кипятку, а поменьше — для заварки, темно-лиловые позолоченные чашки из тончайшего фарфора. Помнила я и особой формы лепешку с тмином, которую всегда подавали в Бреттоне к чаю. Грэм питал слабость к этому блюду, и сейчас, как в былые времена, лепешку поставили около его тарелки, рядом с которой лежали серебряные нож и вилка. Значит, подумала я, Грэма ждут к чаю, а может быть, он уже дома и я скоро его увижу.

— Садитесь, садитесь, — поспешно сказала моя покровительница, заметив, что я пошатнулась, направляясь к камину. Она усадила меня на диван, но я, сославшись на то, что мне слишком жарко около огня, встала и пересела на другое место — в тень за диваном. Миссис Бреттон не было свойственно навязывать свою волю окружающим, и на этот раз она дала мне возможность поступить, как мне заблагорассудится. Она заварила чай и взяла в руки газету. Мне было приятно наблюдать за всеми действиями крестной: ей было уже за пятьдесят, но двигалась она как молодая, и казалось, старость еще не коснулась ни ее физических, ни духовных сил. Несмотря на дородность, она сохранила подвижность, сквозь присущую ей невозмутимость иногда прорывалась запальчивость, благодаря крепкому здоровью и превосходному характеру, она не утратила юношеской свежести.

Я заметила, что, читая газету, она все время прислушивалась, не идет ли сын. Ей не было присуще выказывать волнение перед посторонними, но буря еще не совсем затихла, и, если Грэма настиг ревущий, как разъяренный зверь, ветер, сердце матери, разумеется, должно было быть рядом с ним.

— Опаздывает уже на десять минут, — промолвила она, посмотрев на часы. Но немного погодя она, видимо, услышала какой-то звук, так как оторвала взгляд от газеты и повернула голову к двери. Потом лицо у нее прояснилось, и даже я, не привыкшая к этому дому, уловила стук железных ворот, шаги по гравию и, наконец, звонок дверного колокольчика. Он дома. Его мать налила в чайник для заварки кипятку и придвинула поближе к огню мягкое синее кресло, которое в прошлом было только в ее

распоряжении; теперь же, как я поняла, некто получил право безнаказанно занимать его.

И когда этот «некто» поднялся наверх, что произошло очень быстро — он потратил совсем немного времени, чтобы привести себя в порядок в той мере, в какой это необходимо после пребывания под дождем в бурную ветреную ночь, — и вошел в гостиную, его мать, стараясь скрыть счастливую улыбку, коротко спросила:

— Это ты, Грэм?

— А кто бы еще это мог быть, мама? — ответил этот «неслух», ничтоже сумняшеся занимая узурпированный трон.

— Разве за опоздание ты не заслуживаешь холодного чая?

— Надеюсь, мне это не угрожает — чайник весело поет.

— Ну, придвинься к столу, ленивец ты эдакий; конечно, тебя устраивает только мое кресло, а ведь, если бы в тебе была хоть капля благовоспитанности, ты бы предоставлял это кресло старенькой мамочке.

— С радостью, но милая старенькая мамочка все время настаивает, чтобы я сидел в нем. Как чувствует себя ваша пациентка, мама?

— Может быть, она подойдет к столу и сама ответит на этот вопрос? — сказала миссис Бреттон, повернувшись к затемненному углу, где я сидела, и я, следуя ее приглашению, вышла вперед Грэм учтиво встал, чтобы поздороваться со мной. Статный и высокий, он стоял на каминном коврике, и, глядя на его стройную, изящную фигуру, можно было понять гордость, которую не могла скрыть его мать.

— Вы даже спустились в гостиную, — заметил Грэм, — значит, вам лучше, гораздо лучше. Я не ожидал, что мы сегодня здесь встретимся. Вчера вечером ваше состояние меня встревожило, и, если бы я не должен был торопиться к умирающему больному, я бы вас не оставил; правда, мама сама почти врач, а Марта — отличная сиделка. Я видел, что у вас просто обморок, возможно, и не очень опасный. Мне еще, разумеется, предстоит узнать от вас, чем он вызван и что вообще произошло, а пока надеюсь, вы действительно чувствуете себя лучше?

— Гораздо лучше, — ответила я спокойным тоном. — Гораздо лучше. Благодарю вас, доктор Джон.

Да, читатель, сей высокий молодой человек, сей обожаемый сын, сей приютивший меня гостеприимный хозяин — Грэм Бреттон — оказался не кем иным, как доктором Джоном! Более того, меня почти не удивило это совпадение, и что еще поразительнее — услышав шаги Грэма по лестнице, я уже знала, кто войдет и кого мне предстоит увидеть. Открытие не было для меня неожиданным, ибо я уже давно обнаружила, что некогда была знакома

с ним. Без сомнения, я хорошо помнила юного Бреттона, и хотя десять лет существенно меняют человека (ведь тогда это был шестнадцатилетний мальчик, а теперь — двадцатилетний мужчина), все-таки разница не столь велика, чтобы я не узнала и не вспомнила его. Доктор Джон Грэм Бреттон еще сохранял сходство с тем шестнадцатилетним мальчиком, некоторые черты лица остались у него прежними, например, великолепно изваянный подбородок и изящный рот. Я быстро разгадала, кто он. Впервые догадка осенила меня, когда в описанном в одной из предшествующих глав случае я испытала стыд, получив завуалированный выговор за то, что неосторожно приглядывалась к доктору Джону с излишним вниманием. Последующие наблюдения подтвердили мою догадку. В его движениях, осанке и манерах я узнавала особенности, присущие ему в ранней юности. В низком грудном тембре его голоса слышала прежние интонации. Сохранились и привычные для него в прошлом обороты речи, а также манера щурить глаза, улыбаться и бросать внезапный лучистый взгляд из-под изящно вылепленного лба. Мой образ мышления и склад характера не допускали, чтобы я промолвила хоть слово по поводу сделанного мною открытия или даже намекнула на прежнее знакомство. Напротив, я предпочла сохранить все в тайне. Мне нравилось, что я прикрыта завесой, сквозь которую он ничего не может увидеть, а сам стоит передо мной, освещенный с головы до ног яркими лучами.

Я отлично понимала, что его не очень взволновало бы, если бы я вдруг вышла вперед и объявила: «Я — Люси Сноу!» Поэтому я вела себя, как подобает скромной учительнице, и поскольку он не интересовался моей фамилией, я ее и не называла, он только знал, что все зовут меня «мисс» или «мисс Люси». Хотя я, вероятно, изменилась за прошедшие годы меньше, чем он, ему и в голову не приходило, что он некогда знал меня, а мне-то зачем нужно было напоминать ему об этом?

Во время чаепития доктор Джон был, как обычно, очень мил и любезен, а когда убрали со стола, он уютно разложил в углу дивана подушки и усадил меня в это теплое гнездышко. Он с матерью тоже устроился у камина. Не прошло и десяти минут, как я заприметила, что миссис Бреттон пристально вглядывается в меня. Известно, что женщины наблюдательнее, чем мужчины.

— Послушайте, — воскликнула она, — в жизни не встречала такого сходства! Грэм, ты не обратил внимания?

— На что? Чем теперь встревожена милая матушка? Мама, вы устали в одну точку, как ясновидица!

— Грэм, кого тебе напоминает эта юная леди? — И она указала на

меня.

— Мама, вы смущаете ее. Я не раз уже повторял, что ваш главный недостаток — порывистость. Не забывайте, для нее вы чужой человек и ей неведомы особенности вашей натуры.

— Ну посмотри, вот когда она опускает глаза или поворачивается в профиль, на кого она похожа?

— Знаете, мама, раз уж вы предлагаете эту загадку, то сами ее и разгадывайте!

— Значит, ты знаком с ней с тех пор, как стал бывать в пансионе на улице Фоссет, и ни разу даже не упомянул об этом сходстве!

— Не мог же я говорить о том, чего я не замечал, да и сейчас не замечаю. Ну, а что же вы обнаружили?

— Глупыш! Да посмотри же на нее внимательнее!

Грэм устремил на меня настойчивый взгляд, но этого я уже не могла вынести: мне было ясно, чем все кончится, и я решила предварить события.

— Доктор Джон, — произнесла я, — был так занят после того, как мы попрощались с ним на улице св. Анны, что, хотя я в нем без труда узнала мистера Грэма Бреттона еще несколько месяцев тому назад, мне и в голову не могло прийти, что он может обнаружить, кто я такая. А я — Люси Сноу.

— Люси Сноу! Я так и чувствовала! Так и знала! — вскрикнула миссис Бреттон и, перешагнув через коврик, тотчас подошла расцеловать меня. Другие дамы, наверное, подняли бы по такому случаю суматоху, на самом деле не испытывая особой радости, но не таков был характер у моей крестной — она избегала громогласного выражения чувств, поэтому мы ограничились несколькими словами и поцелуем, но зато я не сомневаюсь, что она искренне радовалась встрече, а уж как мне было приятно, и говорить нечего. Молча наблюдавший за этой сценой Грэм наконец пришел в себя.

— Мама не зря назвала меня глупым, — заявил он, — но, честное слово, ни разу, хоть мы встречались так часто, я не заподозрил, кто вы такая, а вот теперь все вспомнил. Ну конечно, это Люси Сноу! Я отлично ее помню — передо мной не кто иной, как она собственной персоной. Но ведь и вы не признали во мне старого знакомого?

— Я давно узнала вас, — кратко ответила я.

Доктор Джон промолчал. Думаю, он счел мое поведение странным, но тактично воздержался от критических замечаний. Следует добавить, что он, по-видимому, полагал неуместным расспрашивать меня о причинах моей скрытности, и хотя ему, вероятно, было бы любопытно узнать кое-что, эта история не имела такого значения, чтобы нарушить границы

сдержанности.

Что до меня, то я осмелилась лишь спросить, помнит ли он, как однажды я долго и пристально смотрела на него, а заговорила я об этом потому, что меня все еще угнетало воспоминание о том несколько раздраженном тоне, которым он тогда говорил со мной.

Он ответил на мой вопрос утвердительно и присовокупил:

— Кажется, я даже рассердился на вас.

— Мое поведение, верно, показалось вам дерзким?

— Отнюдь. Просто мне было интересно, какой нравственный или физический порок во мне может привлечь столь неотступное внимание со стороны человека, отличающегося такой робостью и скрытностью, как вы.

— Теперь вы поняли, в чем дело?

— Разумеется.

Тут в разговор вмешалась миссис Бреттон и засыпала меня вопросами о прошлом, а мне, чтобы убоготворить ее, пришлось вернуться к минувшим горестям, объяснить причины кажущегося отчуждения, упомянуть, как я, один на один, боролась с Жизнью, Смертью, Скорбью, Роком. Доктор Джон слушал, лишь изредка вставляя слово. Потом они рассказали мне о том, что выпало на их долю: у них тоже не все шло гладко, и дары Фортуны оскудели. Но столь отважная женщина, как миссис Бреттон, да еще имевшая защитника — сына, была хорошо приспособлена к ратоборству с жизнью, из которого всегда выходила победительницей. Да и сам доктор Джон принадлежал к тем, кто родился под счастливой звездой, и какие бы невзгоды ни вставали у него на пути, он с легкостью сметал их. Сильный и веселый, непоколебимый и добрый, не опрометчивый, но храбрый, он осмелился искать расположения самой Судьбы, чтобы увидеть в ее бесчувственных глазах хотя бы подобие милосердия.

Он, без сомнения, преуспел в избранной профессии. Три месяца назад он приобрел этот дом (небольшой замок, объяснили они, примерно в полулиге от Порт-де-Креси), выбрав сельскую местность потому, что городской воздух был вреден для здоровья матери. Сюда он и пригласил миссис Бреттон, а она, покидая Англию, привезла с собой ту часть мебели из своего дома на улице св. Анны, которую не сочла нужным продать. Вот откуда взялись те некогда знакомые стулья, зеркала, чайники и чашки, которые я, в замешательстве, приняла за призраки.

Когда часы пробили одиннадцать, доктор Джон заметил матери:

— Мисс Сноу совсем бледная, ей пора лечь. Завтра я возьму на себя смелость задать ей несколько вопросов о причине ее недомогания.

Признаюсь, она сильно изменилась с июля, когда я видел, как она, с немалым воодушевлением, исполняла роль умопомрачительного красавца. Не сомневаюсь, что за вчерашними событиями кроется целая история, но сейчас мы не будем об этом говорить. Спокойной ночи, мисс Сноу.

Он учтиво проводил меня до двери и осветил пламенем свечи лестницу, ведущую в спальню.

Когда я прочла молитву, разделась и легла в постель, меня охватило чувство, что я все же имею друзей. Друзей, не притворяющихся безумно любящими, не обещающих навсегда сохранить нежную преданность, друзей, от которых можно поэтому ожидать лишь сдержанного проявления чувств, но к которым инстинктивно устремилась моя душа, полная столь безграничной благодарности, что я умоляла собственный Разум помочь мне преодолеть это состояние духа.

— Помоги мне, — молила я, — не думать о них слишком часто, слишком много и слишком нежно. Сделай так, чтобы я довольствовалась лишь ручейком из живительного источника, чтобы не томила меня жажда прильнуть к его манящим водам, чтобы он не казался мне сладостнее всех родников земли. Дай-то бог, чтобы я обрела силы от нечаянных дружеских встреч — редких, кратких, ненавязчивых и безмятежных, совершенно безмятежных!

Повторяя эти слова, я положила голову на подушку, и, продолжая твердить их, зарыдала.

Глава XVII

«ТЕРРАСА»

Подобная борьба с собственной натурой, с врожденными свойствами души может показаться пустой и бесплодной, но в конечном счете она приносит пользу. Она, пусть в незначительной мере, но придает действиям и поведению человека характер, одобряемый Разумом, но часто отвергаемый Чувством. Борьба эта несомненно меняет привычное течение жизни, дает возможность исправить ее, сделать более уравновешенной, во всяком случае, во внешних проявлениях, а ведь обычно видно лишь то, что лежит снаружи, все же, что таится внутри, предоставим богу. В эту сферу не должно допускать подобного вам слабого смертного, не способного быть вашим судьей; то, что внутри вас, вознесите к создателю, откройте перед ним тайны души, которой он наделил вас, спросите у него, как выдержать страдания, кои он уготовал вам, опуститесь перед ним на колени и молитесь ему, чтобы тьму озарил свет, чтобы жалкую слабость сменила сила, чтобы терпение умеряло желание. И вот наступит час, может быть, еще не вам предназначенный, когда всколыхнутся доселе недвижные воды, и низойдет в некоем облике, возможно не в том, о котором вы грезили, к которому пылало любовью ваше кровоточащее сердце, вестник-исцелитель, и поведет калек и слепых, немых и одержимых бесами окунуться в эти животворные воды. О вестник, гряди скорее! Долгие годы тысячи людей лежат вокруг этого источника, рыдая и отчаиваясь, но воды его — стоячие воды. Сколь медленно тянется время в царстве небесном: для смертного орбиты, по которым парят ангелы-вестники, необозримо велики, целые века могут потребоваться, чтобы облететь их, один круг равен жизни бесчисленных поколений, и родившиеся из праха для короткой скорбной жизни вновь обращаются в прах и забываются навсегда. Для скольких же миллионов страждущих и обремененных первым и единственным посланцем неба оказывается тот, кого на Востоке называют Азраил!^[219]

На следующее утро я попыталась встать, и как раз когда я одевалась, время от времени отдыхая и делая глоток холодной воды из стоявшего на умывальнике графина, чтобы унять дрожь и избавиться от слабости, в комнату вошла миссис Бреттон.

— Ну, это уж никуда не годится, — было ее утреннее приветствие. — Так нельзя! — добавила она и тут же уложила меня в постель со

свойственной ей решительностью и энергией, а мне вспомнилось, как она, к моему удовольствию, таким же образом поступала со своим сыном, чему он оказывал яростное сопротивление.

— Вот так вы будете лежать до вечера, — объявила она. — Мой сын, он мастер своего дела, и его нужно слушаться, оставил такое распоряжение, уходя из дому. Сейчас вы позавтракаете.

Она сама, собственными руками, принесла мне завтрак, не пожелав оставить меня на попечение прислуги. Пока я ела, она сидела у меня в ногах. Следует отметить, что нам не всегда приятно, чтобы любой из наших, даже самых уважаемых, друзей или знакомых находился у нашей постели, подавал нам еду, ухаживал за нами, как сиделка. Не всякий друг освещает своим присутствием комнату больного и приносит ему облегчение, но вот миссис Бреттон всегда умела утешить меня. Не было еды или питья вкуснее, чем то, которое она давала мне из своих рук. Когда она входила, в комнате становилось веселее. Людям присущи в равной мере необъяснимые симпатии и антипатии. Один человек, который, как нам подсказывает разум, отличается порядочностью, внушает почему-то неприязненное чувство и мы избегаем его, а другой, известный тяжелым характером и другими недостатками, притягивает нас к себе, как будто самый воздух вокруг него несет нам благо. Живые черные глаза моей крестной, ее смуглые бархатистые щеки, ловкие руки, постоянство характера, решительный вид — все это действовало на меня как целительный бальзам. Сын обычно называл ее «старушка», и меня всегда приятно удивляло, что она подвижна и проворна, как двадцатилетняя.

— Я бы принесла сюда вязание и просидела бы с вами хоть целый день, говорила она, принимая от меня пустую чашку, — если бы этот деспот — Джон Грэм — не наложил запрет на подобное времяпрепровождение. «Послушайте, мама, — заявил он уходя, — не забивайте вашей крестнице голову болтовней», — и добавил, что советует мне держаться поближе к собственной комнате, лишив таким образом вас моего общества. Он говорит, Люси, что, судя по вашему виду, вы, наверное, перенесли нервное потрясение, — это правда?

Я ответила, что и сама не ведаю, что со мной стряслось, но действительно на мою долю выпало немало страданий, особенно душевных. Я сочла излишним останавливаться на этом предмете более подробно, так как пережитое имело отношение к той сфере моего существования, которой моей крестной не следовало касаться. В какие неизведанные края завела бы моя откровенность эту здоровую, безмятежную натуру! Мы были столь же различны, сколь несхожи меж

собой величавый корабль, крейсирующий по безбурным морям, имея на борту экипаж в полном составе и веселого, отважного, смелого, искусного капитана, и спасательная лодка, которая долгие месяцы валяется в пустом и темном шлюпочном сарае и выходит в море лишь в бурю, когда волны сталкиваются с тучами и великой пучиной правят опасность и смерть. Нет, корабль «Луиза Бреттон» никогда не покидал гавани в такую ночь, при такой погоде, ибо его экипаж не может и вообразить ничего подобного, а вот гребец на спасательной лодке, затерявшейся в волнах, помалкивает и делает свое дело.

Миссис Бреттон пошла к себе; я лежала и с удовлетворением думала о том, что Грэм перед уходом не забыл про меня.

Радостное ожидание вечера скрасило и сократило проведенный в одиночестве день. Правда, я ощущала слабость, и возможность отдохнуть была очень кстати; поэтому, когда миновали утренние часы — а они вселяют даже в довольно праздных людей чувство, что необходимо заняться каким-то делом, что нужно решить какие-то задачи и выполнить определенные обязательства, — так вот, когда миновало это беспокойное время, наступила послеполуденная тишина и в доме затихли шаги горничной, я погрузилась в приятную дрему.

Моя уютная комнатка чем-то напоминала морской грот. Цвет стен — белый и бледно-зеленый — вызывал в памяти представление о пенящихся волнах и морских глубинах, побеленный карниз был отделан орнаментом в форме ракушек, а под потолком в углах виднелись белые лепные дельфины. Единственное яркое пятно алая атласная подушечка для булавок — имела сходство с кораллом, а в темном, сверкающем зеркале, казалось, мелькало отражение русалки. Закрыв глаза, я услышала, как наконец-то затихающий штормовой ветер, то слабея, то усиливаясь, бил о фасад дома, словно о скалу. Я слышала, как он приближается и удаляется подобно приливу и отливу, а когда он уносился в свой далекий, расположенный на недостижимых высотах мир, самые яростные удары его волн звучали в этом подводном приюте не громче, чем шепот или колыбельная.

В подобных грезах дождалась я вечера — Марта внесла зажженную лампу, помогла мне одеться побыстрее, и я, окрепшая, самостоятельно спустилась в синюю гостиную.

Доктор Джон, по-видимому, закончил обход больных раньше чем обычно, и, когда я вошла в комнату, он уже был там. Он стоял у окна, напротив двери, и читал напечатанную убористым шрифтом газету при тусклом свете уходящего дня. В камине жарко горел огонь, но лампу на столе еще не зажгли, и чай еще не был подан.

Моя деятельная крестная, которая, как я потом узнала, весь день провела на свежем воздухе, сидела в глубоком кресле, откинувшись на подушки, и дремала. Ее сын, увидев, что я вошла, направился ко мне. Я заметила, как бесшумно он ступает, чтобы не разбудить мать; говорил он со мной тихо: у него вообще был мягкий голос, а теперь шепот его скорее мог бы убаюкать, чем потревожить спящую.

Предложив мне сесть у окна, он заметил:

— Дом наш, как видите, — тихий маленький замок. Не знаю, добирались ли вы сюда в своих прогулках, да его и не видно с дороги. Чтобы попасть к нам, нужно пройти милю от Порт-де-Креси, повернуть направо по тропинке, которая вскоре переходит в широкую дорогу, ведущую, через луг и рощицу, прямо к нашей двери. Дом наш построен не в современном духе, а в старом архитектурном стиле Нижнего города. Это скорее вилла, чем замок, и называют ее «Терраса», потому что ее фасад возвышается на выстланной дерном площадке, откуда по поросшему травой склону спускаются ступеньки до аллеи, ведущей к воротам. Глядите! Меж стволов деревьев видно, как прекрасна восходящая луна.

А где же луна не выглядит прекрасной? Разве бывает такой пейзаж, раскинувшийся рядом с вами или уходящий вдаль, который не благословляло бы своим появлением это светило? Огненно-красная вставала сейчас луна над видневшимся невдалеке берегом, стремительно поднимаясь вверх, она на наших глазах превратилась в золотой диск и вскоре, сверкая чистотой, появилась в безоблачном небе. Что же произошло — умилил лунный свет доктора Бреттона или опечалил? Растрогал его своей романтичностью? Думаю, что да. Казалось бы, он не был грустен, а тут, глядя на луну, вдруг тихо вздохнул. Причина вздоха не вызвала у меня сомнений: красота ночи пробудила в нем думы о Джиневре. Поняв это, я рассудила, что мне следует произнести имя той, о ком он сейчас грезит. Я чувствовала, что он ждет этого; у него на лице я прочла неудержимое желание засыпать меня вопросами о ней; слова и чувства буквально душили его, но он был, видела я, в затруднении, как начать разговор. Только я могла помочь ему избавиться от ощущения неловкости, для этого мне нужно было лишь упомянуть имя его богини, и молитва любви вырвется из его уст. Мне пришла в голову подобающая случаю фраза, и я собралась было произнести: «Вы знаете, что мисс Фэншо отправилась в путешествие с супругами Чамли?» — как он расстроил мои планы, неожиданно заговорив на другую тему.

— Сегодня утром, — сказал он и, спрятав свои чувства поглубже, отвернулся от луны и уселся на стул, — я прежде всего отправился на

улицу Фоссет и сообщил кухарке, что вы живы и находитесь в надежных руках. Как ни странно, она ни о чем не подозревала и пребывала в уверенности, что вы все еще в дортуаре. Представляю себе, как там за вами ухаживали!

— Ну почему же, все совершенно понятно — Готоп ничего не могла для меня сделать, кроме как принести немного ячменного отвара и корочку хлеба, но последнее время я только часто отказывалась и от того и от другого, что доброй женщине незачем было по нескольку раз в день совершать утомительные переходы из кухни в дортуар, ведь они в разных помещениях, и она стала приходить каждое утро, чтобы перестелить мне постель. Однако я убеждена, что она очень сердечная женщина и с радостью готовила бы мне бараньи отбивные, если бы я могла их есть.

— Как же мадам Бек оставила вас совсем одну?

— Она не могла предвидеть, что я заболею.

— Ваша нервная система, видимо, сильно пострадала?

— Не знаю, но настроение у меня было ужасное.

— Тогда я не смогу помочь вам пилюлями или микстурой. Медицина не в силах улучшать расположение духа, она не в состоянии вторгнуться в мир ипохондрии, а может лишь заглянуть туда и увидеть там обитель страданий, но не способна оказать помощь ни словом, ни делом. Вам следует пореже оставаться в одиночестве, общаться с жизнерадостными людьми и много гулять.

Я не откликнулась на его советы, ибо, при всей своей разумности, они показались мне шаблонными и старомодными.

— Мисс Сноу, — доктор Джон прервал паузу, завершившую, к моей радости, разговор о моем здоровье и нервной системе, — дозволено ли мне будет спросить у вас, какую религию вы исповедуете? Вы католичка?

Я взглянула на него с удивлением:

— Католичка? Отнюдь. Почему вы так решили?

— Меня натолкнули на эту мысль обстоятельства, при которых я нашел вас позавчера вечером.

— Какие обстоятельства? Совсем забыла, ведь мне еще нужно разузнать, как я попала к вам.

— Обстоятельства, которые поразили меня. Позавчера я весь день занимался чрезвычайно интересным, хотя и тяжелым случаем. Заболевание очень редкое, и способы его лечения еще мало изучены. Подобный, но, пожалуй, еще более примечательный случай я видел в одной из парижских больниц, но едва ли вам это интересно. Когда у моего пациента несколько утихли боли (а они непереносимый симптом болезни), я счел возможным

отправиться домой. Кратчайший путь к дому проходит через Нижний город, ночь же была ужасно темная, ветренная и дождливая, и я выбрал именно его. Проезжая мимо старинной церкви, принадлежащей общине бегинок, ^[220] я увидел при свете висевшей над входом лампы, что какой-то священник держит что-то на вытянутых руках. Свет лампы был настолько ярок, что я узнал священника в лицо — мне доводилось нередко встречать его у постели больных, как богатых, так и бедных, причем чаще у последних. Полагаю, он добросердечный человек, гораздо более отзывчивый, чем прочие духовные пастыри в Лабаскуре, он стоит выше них во всех отношениях — много образованнее и преданнее своему долгу. Наши взгляды встретились, и он позвал меня, на руках у него лежала не то потерявшая сознание, не то умирающая женщина. Я вышел из экипажа.

— Это ваша соотечественница, — сказал он, — спасите ее, если она еще жива.

Моей соотечественницей оказалась учительница английского языка из пансиона мадам Бек. Она была в глубоком обмороке, страшно бледная и почти холодная.

— Что здесь произошло? — спросил я.

Он поведал мне странную историю: вы пришли в тот вечер к нему в исповедальню, ваш истощенный и измученный вид в сочетании с тем, что вы ему рассказали...

— С тем, что я ему рассказала? Что же это могло быть?!

— Разумеется, кошмарные преступления, но он не открыл мне, какие именно, ибо тайна исповеди не допускала словоохотливости с его стороны и любопытства с моей. Однако ваша откровенность не породила в милосердном святом отце неприязни к вам, он, по-видимому, был так потрясен случившимся и встревожен тем, почему вам пришлось в одиночестве покинуть дом в грозовую ночь, что счел своим христианским долгом следовать за вами, пока вы не вернетесь к себе домой. Возможно, достойный старец, не сознавая того, вложил в свои действия некоторую долю хитрости, присущей его профессии, то есть решил проведать, где вы живете; кстати, вы что-нибудь сказали об этом, исповедуясь?

— Нет, наоборот, я тщательно избегала даже намека на подобные сведения. Что же касается исповеди, доктор Джон, то вы, верно, считаете этот поступок безумием, но я ничего не могла с собой поделать — вероятно, причина кроется в том, что вы называете моей «нервной системой». Мне трудно выразить словами, в каком я была состоянии, но жизнь становилась все более невыносимой: безысходное отчаяние терзало мне душу, оно должно было либо вырваться наружу, либо убить меня,

подобно (и это вы поймете лучше других, доктор Джон) потоку крови, который, если ему мешает пройти через сердце аневризма или другое препятствие, ищет иного, противоестественного, выхода. Я нуждалась в общении с людьми, в дружбе и совете, но не могла обрести их в чулане или пустой комнате, и поэтому отправилась за ними в церковь, в исповедальную. То, что я говорила, не было ни исповедью, ни подробным рассказом о себе. Я никогда никому не причинила зла; в моей жизни не было места для дурных мыслей или поступков. Перед священником я излила свои горькие жалобы, свое отчаяние.

— Люси, вам необходимо отправиться в путешествие месяцев на шесть: вы теряете присущее вам самообладание! Ах, мадам Бек! Как же безжалостна эта пышная вдовушка, если смогла приговорить свою лучшую учительницу к одиночному заключению!

— Мадам Бек ни в чем не виновата, и вообще никто не виноват, даже и говорить об этом не следует.

— Тогда чья же здесь вина? Ваша?

— Само собой, доктор Джон, только моя. Я возлагаю всю тяжесть ответственности за случившееся на себя самое и на Судьбу, если можно воспользоваться столь отвлеченным понятием.

— «Само собой», — заметил доктор Джон с улыбкой, посмеиваясь, видно, над моим стилем, — вы должны впредь быть к себе повнимательнее. Путешествие, перемена обстановки — вот мои врачебные назначения, — продолжал настойчивый доктор, — однако не будем отвлекаться от главной темы нашей беседы, Люси. Отец Силас, несмотря на всю его сметливость (говорят, он иезуит), проявил не больше предусмотрительности, чем вам хотелось бы, ведь вместо того чтобы вернуться в пансион, вы в своих лихорадочных скитаниях, а у вас несомненно была высокая температура...

— Вы ошибаетесь, доктор Джон, лихорадка началась у меня позже, ночью; и не пытайтесь доказать, что я бредила, я-то знаю, что этого не было.

— Ладно, согласен! Вы в тот момент были не менее спокойны и хладнокровны, чем я. В своих странствиях вы почему-то пошли в сторону, противоположную пансиону. Около приюта бегинок, одолеваемая яростными порывами ветра, проливным дождем и кромешной тьмой, вы потеряли сознание и упали. Вам на помощь пришел священник, а потом, как известно, и врач. Мы наняли фиакр и доставили вас сюда. Отец Силас, невзирая на свой возраст, сам отнес вас наверх и уложил вот на эту кушетку. Он несомненно оставался бы около вас до тех пор, пока вы

оживете, и я сделал бы то же самое, то тут прибыл срочный гонец от умирающего больного, от которого я только что приехал, и долгом врача было нанести последний визит, а долгом священника совершить последний обряд: нельзя же откладывать соборование. Мы с отцом Силасом уехали, матушки моей в тот вечер не было дома, и вы остались на попечении Марты, которая, как видно, точно выполнила оставленные ей распоряжения. Ну, а теперь скажите, вы католичка?

— Пока нет, — ответила я улыбаясь. — И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы отец Силас узнал, где я живу, иначе он непременно обратит меня в свою веру. Однако когда увидите его, передайте мою самую искреннюю благодарность, и если я когда-нибудь разбогатею, то непременно буду посылать ему деньги на благотворительные цели. Глядите, доктор Джон, ваша матушка просыпается; звоните, чтобы подали чай.

Он так и поступил, а когда миссис Бреттон выпрямилась в своем кресле, и, пораженная и возмущенная тем, что позволила себе проявить подобную слабость, приготовилась полностью отрицать случившееся, ее сын радостно бросился в атаку.

— Баю-бай, мамочка! Спи-усни. Во сне вы выглядите такой милой.

— Что вы сказали, Джон Грэм? Во сне? Ты отлично знаешь, что я никогда не сплю днем, я просто чуть-чуть соснула.

— Ну, разумеется! Прикосновение серафима, грезы феи! В таких случаях, матушка, вы всегда напоминаете мне Титанию.^[221]

— Это потому, что ты сам очень похож на Основу.

— Мисс Сноу, встречали вы когда-нибудь более остроумную даму, чем моя матушка? Она самая бойкая из всех женщин ее объема и возраста.

— Ваши комплименты можете оставить при себе, сэр! Обратите лучше внимание на свой объем, который, по-моему, заметно увеличивается. Люси, разве он не похож на начинающего расплываться Джона Булля? Ведь он был гибок, как угорь, а теперь, мне кажется, у него появилась грузная осанка драгуна, эдакого ненасытного лейб-гвардейца. Грэм, поостерегись! Если ты растолстеешь, я отрекусь от тебя.

— Скорее вы отречетесь от себя самой! Без меня эта достойная дама не получала бы от жизни никакого удовольствия, я незаменим, Люси. Она бы зачахла в тоске и печали, если бы не существовало верзилы, которого можно непрерывно награждать взбучками и нагоняями, что помогает ей сохранять живость и бодрость духа.

Мать и сын стояли по обе стороны камина друг против друга, и, хотя они обменивались отнюдь не любезными словами, их любящие взгляды

говорили совсем иное. Во всяком случае, не приходится сомневаться, что для миссис Бреттон самым драгоценным сокровищем на свете был ее сын, ради которого билось ее сердце; что же касается Джона Грэма, то рядом с сыновней любовью в его душе возникло новое нежное чувство, которое, как младшее дитя, заняло главное место. Джиневра! Джиневра! Знала ли уже миссис Бреттон, пред кем благоговееет ее юное божество? Отнеслась ли бы она к этому выбору с одобрением? Этого я не знала, но была убеждена, что если бы ей стало известно отношение мисс Фэншо к Грэму — ее переходы от равнодушия к приветливости, от неприязни к кокетству, если бы она лишь заподозрила, каким мукам Джиневра подвергает его, если бы она могла, подобно мне, видеть, как терзают и попирают его благородную душу, как ему предпочитают недостойного, превращая это ничтожество в орудие его унижения, — то миссис Бреттон назвала бы Джиневру глупой или испорченной, а может быть, и тем и другим вместе. Ну, а я держалась того же мнения.

Второй вечер прошел, пожалуй, даже более приятно, чем первый: нам еще легче удалось найти общий язык, мы не возвращались к разговорам о минувших бедах, и дружба наша крепла. Той ночью не слезы, а отрадные мысли сопровождали меня в страну грез.

Глава XVIII

ССОРА

В течение первых дней моего пребывания в «Террасе» Грэм ни разу не присел около меня, а, расхаживая, как он любил, по комнате, избегал того места, где находилась я; у него был то озабоченный, то печальный вид. Я же думала о мисс Фэншо и ждала, когда это имя сорвется с его уст. Все мои чувства были напряжены в предвидении разговора на эту деликатную тему, терпению моему было приказано сохранять стойкость, а чувство сострадания стремилось выплеснуться наружу. И вот после недолгой внутренней борьбы, которую я заметила и оценила, он наконец обратился к этому предмету. Начал он осторожно, так сказать, не упоминая имен.

— Ваша подруга, я слышал, проводит каникулы в путешествии?

«Подруга — ну и ну! — подумала я. — Но противоречить ему не следует, пусть поступает, как ему заблагорассудится, нужно относиться к нему мягко подруга так подруга». Все же я не удержалась и спросила, кого он имеет в виду.

Он сидел у моего рабочего столика и, начав разговор, взял в руки клубок ниток и стал его, сам того не замечая, разматывать.

— Джиневра... мисс Фэншо... ведь она сопровождает чету Чамли в поездке по югу Франции?

— Да.

— Вы с ней переписываетесь?

— Вас, может быть, и удивит, но я никогда не претендовала на подобную привилегию.

— А вам приходилось видеть письма, написанные ее рукой?

— Да, несколько — к дяде.

— Они, конечно, не страдают отсутствием остроумия и простодушия, ведь у нее такой живой ум и при этом на редкость открытая душа, не правда ли?

— Да, когда она пишет господину де Бассомпьеру, письма ее достаточно вразумительны и понятны всякому. (И действительно, послания Джиневры к богатому родственнику носили обычно чисто деловой характер, ибо в них она просто просила у него денег.)

— А какой у нее почерк? Наверное, изящный, четкий, истинно женский?

Так оно и было в самом деле, и поэтому я ответила на его вопрос утвердительно.

— Я искренне убежден, что она все делает хорошо, — заметил доктор Джон и, поскольку я не спешила разделить его восторг, добавил: — Вот вы, зная ее довольно близко, заметили в ней хоть одну слабость?

— Она многое умеет делать отлично. («В том числе флиртовать», мысленно добавила я.)

— Как вы полагаете, когда она вернется? — спросил он после короткой паузы.

— Простите, доктор Джон, но я должна внести некоторую ясность в наш разговор. Вы достаиваете меня слишком большой чести, приписывая мне ту степень близости с мисс Фэншо, коей я не имею удовольствия пользоваться. Она никогда не поверяла мне своих намерений или тайн. Ее друзья принадлежат не к моему кругу — вы можете встретить их в доме супругов Чамли, например.

Он, разумеется, подумал, что меня, как и его, гложет ревность.

— Не осуждайте ее, — промолвил он, — будьте снисходительны. Ее сбивает с пути истинного обманчивый блеск великосветского общества, но она скоро поймет, сколь легковесны эти люди, и с окрепшей привязанностью и глубоким доверием возвратится к вам. Я знаком с Чамли и знаю, что это люди суетные и себялюбивые; поверьте, в душе Джиневра ставит вас гораздо выше их.

— Вы очень любезны, — сдержанно ответила я.

Я с трудом подавила в себе желание объяснить ему, что не испытываю тех чувств, которые он мне приписывает, и продолжала играть роль униженной, отверженной и тоскующей наперсницы досточтимой мисс Фэншо; должна признаться, читатель, что роль эта давалась мне нелегко.

— Однако, — продолжал Грэм, — успокаивая вас, я не могу утешить себя, у меня нет оснований надеяться, что она обратит на меня благосклонное внимание. Де Амаль — человек крайне непорядочный, но, к сожалению, ей он нравится — какое горестное заблуждение!

Внезапно, без всякого предупреждения, терпение у меня лопнуло; наверное, болезнь и упадок сил ослабили и истощили его.

— Доктор Бреттон, — выпалила я, — сильнее всех заблуждаетесь вы сами. Решительно во всем вы являетесь собой человека открытого, здравомыслящего, разумного и проницательного, но когда дело касается одного предмета, вы превращаетесь в раба. Я считаю нужным заявить, что ваше отношение к мисс Фэншо не заслуживает уважения, в частности и моего.

Я встала и, крайне взволнованная, удалилась.

Этот эпизод произошел утром, а вечером мне предстояло вновь встретиться с ним, и, подумав об этом, я поняла, что совершила дурной поступок. Доктор Джон был скроен иначе, чем люди заурядные: хотя природа наградила его внушительной и сильной внешностью, она сотворила его душевный мир таким тонким и почти по-женски нежным, что это было трудно уловить даже при многолетнем знакомстве. И действительно, его внутренняя деликатность проявлялась в форме острой чувствительности, только когда нервы его подвергались чрезвычайно резкому раздражению. Дело в том, что его способность сочувствовать не проявлялась явно, а ведь чувствовать самому и быстро отзываться на чужие переживания — разные свойства, лишь немногие натуры обладают обоими, некоторые же — ни одним. У доктора Джона первое из них было весьма развито, но пусть читатель не делает из моих слов вывода, что в нем отсутствовала способность сочувствовать и сострадать, напротив, он был добр и великодушен. Откройте ему свою беду, и он немедленно протянет вам руку помощи; расскажите о своей горе, и он будет слушать вас с глубоким вниманием; но понадейтесь на тонкую проницательность, на чудеса интуиции, и вас постигнет разочарование. Когда вечером он вошел в комнату, я сразу же уловила на его освещенном лампой лице отражение всего, что происходило у него в душе.

Несомненно чувства, которые он испытывал к человеку, назвавшему его «рабом» и выразившему свое к нему неуважение по какому бы то ни было поводу, должны были носить несколько своеобразный характер. Вполне вероятно, что употребленное мною слово было справедливо, мой отказ уважать его был достаточно обоснованным — во всяком случае, он не пытался защитить себя и, очевидно, все время размышлял над справедливостью столь огорчительной характеристики. В этих обвинениях он искал причину той неудачи, которая так болезненно нарушила его душевный покой. Внутренне терзаясь самоосуждением, он вел себя, как казалось и мне и его матери, сдержанно, даже холодно. Однако несмотря на подавленное состояние его души, на этом прекраснейшем мужественном лице не было и следа недовольства, озлобления или мелочной мстительности. Когда я пододвинула его стул к столу, поспешив опередить прислугу, и дрожащей рукой осторожно протянула чашку чая, он произнес своим мягким, сочным голосом «Благодарю вас, Люси» так ласково, как только можно себе представить.

Дабы избежать бессонной ночи, мне оставалось лишь одно: искупить мою возмутительную несдержанность. Иначе поступить я не могла,

терпеть подобное положение было выше моих сил, и я была не в состоянии вести борьбу на таких условиях. Все что угодно — одиночество в пансионе, монастырскую тишину, унылое существование — я предпочла бы натянутым отношениям с доктором Джоном. Что касается Джиневры, то пусть она на серебристых крыльях голубки или любой другой птицы взлетит к неприступным высотам, к недостижимым звездам — в те края, куда безудержное воображение ее поклонника поместило созвездие ее чар; никогда более не стану я спорить на эту тему. Долгое время я старалась встретиться с ним глазами, но, когда мне это удавалось, он быстро отводил ничего не говорящий взгляд и мои надежды рушились. После чая он печально и безмолвно читал книгу. Как хотелось мне набраться смелости и сесть с ним рядом, но мне казалось, что, сделай я этот шаг, он непременно выкажет враждебность и негодование. Я страстно желала излить свои чувства вслух, но не решалась изъясниться даже шепотом. Когда его мать вышла из комнаты, я, мучимая жгучим раскаянием, почти неслышно пробормотала: «Доктор Бреттон».

Он поднял голову — ни холодности или озлобления во взгляде, ни язвительной улыбки на устах. Он был явно расположен выслушать меня; душа его была подобна доброму вину, достаточно выдержанному и крепкому, чтобы не скиснуть от одного удара молнии.

— Доктор Бреттон, простите меня за резкость, умоляю вас, забудьте мои слова.

Он улыбнулся, как только я заговорила:

— Возможно, я заслужил их, Люси. Раз вы меня не уважаете, значит, мне думается, я не достоин уважения. Наверное, я изрядный глупец и неудачник, у меня кое-что не получается — стремлюсь быть приятным кому-нибудь, да ничего не выходит.

— В этом нельзя быть уверенным, но, даже если дело обстоит именно так, кто, по-вашему, виноват — ваша натура или неспособность другого человека воспринять ее? Однако разрешите мне опровергнуть мои собственные гневные слова. Прежде всего я глубоко уважаю вас во всех отношениях. Ведь разве одно то, что вы столь невысокого мнения о себе и столь лестного мнения о других, не указывает на ваше нравственное совершенство?

— Неужели я слишком высокого мнения о Джиневре?

— Я считаю так, вы иначе. Пусть мы держимся разных точек зрения. Я прошу лишь одного — простите меня.

— Вы думаете, что я затаил против вас злобу за одно резкое слово?

— Конечно, нет; да вы на такое и не способны. Но прошу вас, скажите:

«Люси, я прощаю вас!» Произнесите эти слова, чтобы освободить меня от душевных страданий.

— Забудьте о ваших страданиях, а я забуду о моих, ведь и вы ранили меня, Люси. Теперь, когда легкая боль прошла, я не только простил вас, но питаю к вам чувство благодарности, как к искреннему доброжелателю.

— Вы не ошибаетесь — я действительно ваш искренний доброжелатель.

Так мы помирились.

Читатель, если вы обнаружите, что мое мнение о докторе Джоне слишком изменчиво, простите мне эту кажущуюся непоследовательность: я передаю то впечатление, которое складывалось у меня в тот или иной момент, и описываю его характер таким, каким он мне представлялся.

Его душевная деликатность проявилась и в том, что он после этой размолвки стал относиться ко мне еще приветливее, чем раньше. Более того, все это недоразумение, которое должно было, согласно с моей теорией, в какой-то мере оттолкнуть нас друг от друга, действительно повлияло на наши отношения, но совсем не так, как я, находясь в мрачном расположении духа, предвидела. Прежде нас всегда разделяло нечто невидимое, едва ощутимое, но цепенящее: всю жизнь между нами стояла преграда, покрытая тонкой корочкой льда. Несколько сказанных в гневе горячих слов коснулись этого хрупкого ледяного слоя, и он начал таять. Мне кажется, что с того дня на протяжении всей нашей дружбы Грэм никогда больше не стеснялся беседовать со мной на любые темы. Он, по-видимому, чувствовал, что, говоря только о себе и своих заботах, удовлетворит мои чаяния и желания. Само собой разумеется, что слово «Джиневра» мне приходилось слышать очень часто.

Джиневра! Он считал ее такой чистой, такой доброй: он говорил о ее очаровании, мягкости и невинности с такой любовью, что, несмотря на то что я знала, какова она в действительности, ее облик засиял отраженным светом даже в моем воображении. Должна признаться, читатель, что он нередко говорил нелепые вещи, но я неизменно старалась хранить терпение и не противоречить ему. Из полученного мною урока я поняла, сколь острую боль я испытываю, если говорю ему резкости, огорчаю или разочаровываю его. В некотором смысле я стала чрезвычайно эгоистична: я не могла отказать себе в удовольствии потакать его настроениям и уступать его желаниям. Мне казалось несуразным, что он теряет надежду в конце концов завоевать расположение мисс Фэншо и впадает от этого в отчаяние. Я крепко вбила себе в голову мысль, что она своим кокетством просто подстрекает его, а в душе дорожит каждым его словом и взглядом. Иногда

он раздражал меня, несмотря на всю мою решимость проявлять терпение и выдержку; как раз когда я испытывала неопишное горькое наслаждение от собственного долготерпения, он наносил такие удары моей неколебимости, что нет-нет да расшатывал ее. Однажды, желая умерить его беспокойство, я выразила уверенность, что в конце концов мисс Фэншо непременно проявит к нему благосклонность.

— Это вы уверены! Вам легко говорить, а вот есть ли у меня основания для подобной уверенности?

— Самые надежные.

— Ну, пожалуйста, Люси, скажите, какие!

— Вам они известны не хуже, чем мне, поэтому, доктор Джон, меня удивляет, что вы сомневаетесь в ее верности. В таких вопросах сомнение почти равносильно оскорблению.

— Вы так быстро говорите, что стали задыхаться, но, если можно, говорите еще быстрее, только растолкуйте мне все до конца, мне это необходимо.

— Так я и сделаю, доктор Джон. В некоторых случаях вы проявляете себя как человек щедрый, даже расточительный: по своему складу вы идолопоклонник, готовый в любую минуту совершить жертвоприношение. Если бы отец Силас обратил вас в свою веру, вы бы осыпали его пожертвованиями для бедных, устали бы его алтарь свечами, не пожалели бы ничего, чтобы роскошно украсить храм вашего любимого святого. Джиневра, доктор Джон...

— Молчите! — воскликнул он. — Не продолжайте!

— Нет, не замолчу и буду продолжать. Так вот, Джиневра принимала от вас несчетные дары. Вы находили для нее самые дорогие цветы, придумывали такие изысканные подарки, о каких женщина может только мечтать; кроме того, мисс Фэншо стала обладательницей таких драгоценностей, для приобретения которых щедрости пришлось уступить место мотовству.

Смущение, которого Джиневра отнюдь не ощущала, когда дело касалось подарков, окрасило румянцем лицо ее обожателя.

— Вздор! — произнес он, бесцельно кромсая ножницами моток шелка. — Я делал эти подарки для собственного удовольствия. Я считал, что, принимая их, она делает мне одолжение.

— Нет, она не только делала вам одолжение, доктор Джон, но и брала на себя обязательство вознаградить вас: если она не может ответить чувством привязанности, пусть вручит вам что-нибудь земное, скажем, стопку золотых монет.

— Вы, оказывается, плохо ее знаете: она слишком бескорыстна, чтобы интересоваться моими подарками, слишком простодушна, чтобы знать им цену.

Мне стало смешно: не раз я слышала, как она определяет стоимость каждой драгоценности, я прекрасно знала, что, несмотря на молодость, голова у нее непрестанно занята мыслями о денежных затруднениях, финансовых проектах, о заманчивости богатства и о том, как обратить в деньги не нужные ей запасы добра.

Между тем доктор Джон продолжал:

— Посмотрели бы вы на нее, когда я вручаю ей какую-нибудь безделицу, как равнодушно она держится, не стремится рассмотреть подарок или взять его в руки. Только не желая, по доброте своей, огорчить меня, разрешает она положить около нее букет и снисходит до того, чтобы взять его себе. Если же я достаиваюсь чести надеть браслет на ее белоснежную ручку, как бы хорош он ни был (а я всегда тщательно выбираю те украшения, которые, во всяком случае мне, кажутся красивыми и, разумеется, стоят недешево), его блеск не слепит ее ясных глаз, и она бросает на него лишь мимолетный взгляд.

— Значит, поскольку она безразлична к подарку, она снимает браслет и возвращает вам?

— Нет, что вы, она слишком добра, чтобы так обидеть меня. Она удовлетворяется тем, что делает вид, будто забыла о моем поступке, и оставляет вещицу у себя с подобающей истинной леди небрежностью. Разве может мужчина считать такое отношение к его подаркам благоприятным симптомом? Что касается меня, то, если бы я предложил ей все, чем владею, а она бы это приняла, я бы не смел поверить, что приблизился к цели хоть на один шаг, ибо она неподвластна корыстным соображениям.

— Доктор Джон, — промолвила я, — любовь слепа... — Как вдруг яркий синий огонек сверкнул у него в глазах и напомнил мне давние дни и его портрет, и мне померещилось, что по меньшей мере часть провозглашенного им убеждения в *paivete*^[222] мисс Фэншо не что иное, как притворство. Мне пришло в голову, что, возможно, несмотря на преклонение перед ее красотой, он гораздо глубже разбирается в ее недостатках, чем можно было предположить, слушая его речи. Впрочем, может быть, тот острый взгляд был случайным или просто привиделся мне. Нечаянный он был или намеренный, действительный или воображаемый, но им завершилась наша беседа.

Глава XIX

КЛЕОПАТРА

После окончания каникул я еще две недели провела в «Терассе». Эту отсрочку я получила благодаря вмешательству миссис Бреттон. Когда ее сын категорически заявил, что «Люси еще не так здорова, чтобы вернуться в этот неуютный пансион», она тотчас поехала на улицу Фоссет, побеседовала с директрисой и добилась этой милости, убедив ее, что для полного выздоровления мне необходимы продолжительный отдых и перемена обстановки. А затем был оказан такой знак внимания, без которого я могла бы легко обойтись, — мадам Бек любезно посетила меня.

В один прекрасный день эта дама прикатила собственной персоной к вилле Бреттонов. Полагаю, что на самом деле она решила посмотреть, как выглядит жилище доктора Джона. По всей вероятности, живописные окрестности и изящное внутреннее убранство дома превзошли ее ожидания; она расхваливала все, что видела, голубую гостиную назвала «une pièce magnifique»,^[223] не переставала поздравлять меня с приобретением новых друзей, «tellement dignes, aimables et respectables»,^[224] не обошла и меня любезным комплиментом, а когда вошел доктор Джон, с весьма оживленным видом направилась к нему, осыпая его градом слов, выражающих всяческие поздравления и восторги по поводу «замка», «madame sa mere, la digne chatelaine»,^[225] а также — его отличного вида, и вправду цветущего, к тому же лицо его украсила добродушная и чуть насмешливая улыбка, которая появлялась всегда, когда он слушал быструю и витиеватую французскую речь мадам. Короче говоря, в тот день мадам пустила в ход все свое обаяние, и визит ее уподобился фейерверку комплиментов, восторгов и любезностей. Как из любопытства, так и из желания разузнать, как дела в пансионе, я проводила ее к фиакру и заглянула в окошко, когда она уже сидела внутри. Какая же перемена произошла в ней за столь краткое мгновение! Только что искрившаяся смехом и шутками, она теперь обрела суровый и угрюмый вид судьи или ученой дамы. Странная особа!

Я вернулась в дом и стала поддразнивать доктора Джона по поводу нежных чувств, которые мадам питает к нему. Как искренне он смеялся! Каким весельем светились его глаза, когда он вспоминал ее любезные речи и, повторяя их, подражал ее многословной болтовне! Он обладал острым

чувством смешного и, когда не думал о мисс Фэншо, становился самым изумительным собеседником на свете.

Говорят, что людям со слабым здоровьем очень полезно греться на нежарком солнышке; от этого к ним возвращаются силы. Я бывало, брала маленькую Жоржетту Бек, только оправившуюся от болезни, на руки и целый час гуляла с ней по саду вдоль стены, увитой виноградом, зреющим под южным солнцем. Под этим солнцем не только разрастались и наливались соком виноградные гроздья, но и покрывалось румянцем бледное личико ребенка.

Есть на свете ласковые, пылкие и доброжелательные люди, воздействие которых на падших духом столь же благотворно, сколь полезно солнечное тепло тем, кто слаб телом. К таким натурам несомненно принадлежали доктор Бреттон и его мать. Им нравилось дарить людям радость не меньше, чем другим нравится приносить ближним своим горе; они делали добро безотчетно, не поднимая шума и не размышляя: они доставляли людям удовольствие как-то непроизвольно, ничего заранее не обдумывая. Пока я жила у них, мне каждый день устраивали какое-нибудь развлечение, непременно приятное. Как ни занят был доктор Джон, он взял себе за правило сопровождать нас во всех прогулках. Трудно сказать, каким образом он справлялся со всеми делами, которых было великое множество, но, пользуясь некоей системой, он распределял их так, что каждый день у него оставалось свободное время. Я часто видела его усталым, но переутомленным он бывал редко, а раздраженным, взволнованным или подавленным — никогда. Все его действия отличались спокойствием, изяществом и надежностью, при этом он всегда был в бодром, веселом настроении, присущем людям, которые обладают неистощимыми силами и энергией. В течение этих счастливейших двух недель мне удалось, под его руководством, повидать гораздо больше мест в Виллете и его окрестностях и узнать много лучше жителей этого города, чем за восемь предшествующих месяцев. Он показывал мне такие достопримечательности, о которых я раньше и не слыхала; при этом он с радостной готовностью рассказывал мне о них много интересного. Было видно, что он не относится к беседам со мной как к тягостному долгу, а я, разумеется, не считала для себя тягостным слушать его. У него не было склонности к холодным и туманным рассуждениям, он редко прибегал к обобщениям и никогда не говорил скучно. Он любил останавливаться на занимательных подробностях не меньше, чем я сама; ему была свойственна наблюдательность, причем не поверхностная. Благодаря этим свойствам его натуры, слушать его было всегда интересно; то, что он высказывал

собственные мысли, а не вызубривал чужие книжные изречения: из одной книги — сухой факт, из другой — избитое выражение, из третьей банальную мысль, придавало обаяние и весьма редкое своеобразие его речам. Под влиянием его доброй натуры передо мной как бы открылась новая страница жизни — надежда на новый день, на более счастливое будущее.

Его мать была великодушным человеком, но он был пожалуй, добрее и щедрее сердцем. Посетив с ним как-то Нижний город — бедный и перенаселенный квартал Виллета, — я убедилась, что он бывает там не только как врач, но и как благотворитель. Я поняла тогда, что он повседневно с радостью делает несчастным людям добро и ни в какой мере не считает свое поведение заслуживающим особых наград. Простой народ любил его, а неимущие пациенты, которых он лечил в больницах, встречали его с восторгом.

Однако мне пора остановиться, не то я из правдивой рассказчицы превращусь в пристрастного апологета. Мне прекрасно известно, что доктор Джон не ближе к совершенству, чем я. Ему свойственно множество человеческих слабостей. Не проходило дня и даже часа, чтобы поступком, словом или взглядом он не обнаружил своей человеческой, а отнюдь не божественной натуры. Божество не могло бы обладать ни безграничной суетностью доктора Джона, ни признаками легкомыслия. Только смертный способен предавать на время полному забвению все, кроме настоящего, испытывая к настоящему мимолетную, но непреодолимую страсть. Страсть эта не проявлялась у него грубо, как потворство своим чувственным желаниям, но он эгоистически извлекал из нее то, что может насытить его мужское самолюбие: он испытывал удовольствие, бросая пищу этому прожорливому чувству, не задумываясь ни о цене, которую платит за нее, ни о том, чего стоит подобное баловство.

Читателю предлагается обратить внимание на явное противоречие между двумя нарисованными здесь образами Грэма Бреттона: одним — на людях, в обществе, а другим — у себя дома. Первый — это человек, забывающий о себе ради других, выполняющий свою работу скромно, но серьезно. Второй же, домашний, ясно сознает, сколь высокими достоинствами обладает, доволен окружающим его преклонением, которое он несколько легкомысленно поощряет и принимает не без тщеславия. Так вот — оба образа правдивы.

Сделать доктору Джону какое-нибудь одолжение втихомолку было почти невозможно. Когда вы воображали, что ловко и незаметно приготовили ему приятный пустячок, который он, подобно другим

мужчинам, примет, не интересуясь, откуда что взялось, он вдруг поразит вас произнесенными с улыбкой замечаниями, доказывающими, что он наблюдал за всей этой тайной деятельностью с начала до конца — уловил замысел, следил за развитием событий и отметил их завершение. Доктору Джону нравилось, когда ему оказывают внимание, глаза у него сияли, а на устах играла улыбка.

Все это выглядело бы очень мило, если бы он ограничивался такой мягкой и ненавязчивой формой благодарности, а не старался бы с неодолимым упорством рассчитаться, как он говорил, с долгами. За любезности, оказываемые ему матушкой, он платил ей такими бурными вспышками восторга и жизнерадостности, которые выходили даже за рамки его неизменной любви к ней — несколько беспечной, насмешливой и ироничной. Если же выяснялось, что ему постаралась угодить Люси Сноу, он, в виде вознаграждения, придумывал какое-нибудь приятное развлечение.

Меня каждый раз поражало, как превосходно он изучил достопримечательности Виллета — не только улицы, но и все картинные галереи, выставки и музеи; казалось, он, как волшебник, произносит: «Сезам, откройся!» — и перед ним отворяется всякая дверь, за которой спрятан достойный внимания предмет, дверь в каждый музей или зал, где хранятся произведения искусства или научные находки. Для науки у меня ума не хватало, но к искусству я ощущала инстинктивное, безотчетное тяготение, несмотря на полное мое невежество. Я очень любила посещать картинные галереи, особенно одна. Если же я оказывалась в обществе знакомых, мой злосчастный характер лишал меня способности видеть или воспринимать хоть что-нибудь. Полчаса, проведенные в компании малознакомых людей, с которыми нужно вести светские беседы о выставленных картинах, приводили меня в состояние физической слабости и умственной апатии. Не существует такого хорошо воспитанного ребенка, не говоря уж об образованном взрослом, который не заставил бы меня стгорать со стыда за самое себя, глядя, как уверенно он держится во время этой пытки — шумного, многословного любования картинами, историческими памятниками и зданиями. Доктор Джон как раз был гидом в моем вкусе; он приводил меня в галерею в то время, когда посетителей еще мало, оставлял меня на два-три часа и, сделав свои дела, заходил за мной. Я же была совершенно счастлива, и, не только потому, что было чем восторгаться, но, пожалуй, в большей мере потому, что я имела возможность размышлять, сомневаться и делать собственные выводы. В начале этих посещений у меня возникло несогласие между

Настроенностью и Ощущением, потом они вступили в борьбу. Первая требовала одобрения всего, что принято восхвалять, второе, стеная, признавалось в полной неспособности платить эту дань; тогда я сама подвергала свое Ощущение насмешкам, торопила его обрести более тонкий острый вкус. Однако чем больше его бранили, тем меньше оно восторгалось. Постепенно убеждаясь, что такая внутренняя борьба вызывает странное чувство усталости, я стала раздумывать, нельзя ли мне отказаться от этого тяжелого труда, и пришла к решению, что можно. Тогда я позволила себе роскошь оставаться равнодушной к девяноста девяти картинам из ста.

Я стала понимать, что неповторимая, талантливая картина встречается не чаще, чем неповторимая, талантливая книга. Я уже не боялась, стоя перед шедевром знаменитого художника, подумать про себя: «Здесь нет и капли правды. Разве в природе бывают при дневном свете такие мутные краски, даже когда небо затянуто тучами или бушует гроза, а тут ведь оно цвета индиго! Нет, этот сине-фиолетовый воздух не похож на дневной свет, а мрачные, как будто наклеенные на полотно длинные сорняки не похожи на деревья». Несколько отлично нарисованных самодовольных толстых женщин удивили меня полной непохожестью на богинь, к которым они себя, по-видимому, причисляли. Десятки великолепно написанных картин и эскизов фламандских мастеров, которые пришлось бы к месту в модных журналах благодаря изображенным на них разнообразным туалетам из самых роскошных тканей, свидетельствовали о похвальном трудолюбии и сноровке их создателей. Но все же то там, то тут мелькали правдивые детали, согревающие душу, или лучи света, радующие глаз. То, глядя на изображение снежной бури в горах, вы улавливали истинную силу природы, то — ее сияние в солнечный день на юге, на этом портрете отражается глубокое проникновение в душу человека, а лицо на том рисунке на историческую тему своей живой выразительностью внезапно напоминает вам, что его породил гений. Мне нравились эти редкие исключения, они стали моими друзьями.

Как-то ранним утром, осматривая галерею, где еще почти никого не было, я забрела в зал, в котором висела всего одна, но невообразимо огромная, картина. Она была искусно освещена, ограждена барьером, а перед ней стояла скамья с мягким сиденьем для удобства проходящих к ней на поклон ценителей искусства, которые, проглядев все глаза и падая с ног от усталости, вынуждены сесть. Это полотно, по-видимому, считалось жемчужиной всего собрания.

На нем была запечатлена женщина, как мне показалось, значительно

более крупных размеров, чем обычные люди. Я подсчитала, что на весах для оптовых грузов она потянула бы пудов пять-шесть. Она действительно была на редкость хорошо откормлена: чтобы обладать таким объемом и ростом, такими крепкими мышцами и пышными телесами, она, должно быть, поглотила огромное количество мяса, не говоря уж о хлебе, овощах и напитках. Она полулежала на кушетке, непонятно по какой причине, ибо кругом царил ясный день, а у нее был столь здоровый и цветущий вид, что она могла бы легко справиться с работой двух кухарок; на боли в позвоночнике жаловаться ей тоже не приходилось, так что ей подобало бы стоять на ногах или хотя бы сидеть, вытянувшись в струнку. Никаких оснований возлежать среди бела дня на диване у нее не было. Кроме того, ей следовало бы одеться поприличней, скажем, в платье, которое должным образом прикрыло бы ее, но и на это она оказалась неспособной; из уймы материала (полагаю, не меньше семидесяти пяти ярдов ткани) она умудрилась сшить какое-то куцее одеяние. Непростителен был и ужасающий беспорядок, царивший вокруг. Горшки и кастрюли — наверное, их положено называть вазами и кубками — валялись тут и там на переднем плане, среди них торчали никуда не годные цветы, а какая-то нелепая, измятая драпировка покрывала кушетку и грубыми складками спускалась на пол. Справившись по каталогу, я обнаружила, что это замечательное творение носит название «Клеопатра».

Так я сидела, дивясь на это полотно (я решила, что раз скамью поставили, я имею право отдохнуть на ней) и отмечая про себя, что, хотя некоторые детали — розы, золотые чаши, драгоценности и т. п. — написаны весьма искусно, все вместе рассчитано на дешевый успех. Между тем зал постепенно наполнялся людьми. Не замечая этого (ибо меня мало интересовало происходящее вокруг), я продолжала сидеть на месте, но только ради отдыха, а не для того, чтобы любоваться на исполинскую, темнокожую, как цыганка, царицу, от лицезрения которой я быстро утомилась; для разнообразия я стала рассматривать скромно висевшие под этим грубым и безвкусным полотном превосходные маленькие натюрморты: полевые цветы, лесные ягоды, покрытые мхом гнезда с яйцами, похожими на жемчужины, просвечивающиеся сквозь чистую зеленоватую морскую воду.

Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Вздогнув, я повернулась — ко мне склонилась нахмуренная, скорее даже возмущенная физиономия.

— Que faites-vous ici?^[226] — прозвучал вопрос.

— Mais, Monsieur, je m'amuse.^[227]

— Vous vous amusez! Et a quoi, s'il vous plait? Mais d'abord faites-moi le plaisir de vous lever; prenez mon bras, et allons de l'autre cote.^[228]

Я исполнила приказание. Мосье Поль Эманюель (а это был именно он) вернулся из Рима, но лавры великого путешественника, видимо, не сделали его более терпимым к непослушанию.

— Разрешите проводить вас к вашим спутникам, — сказал он, куда-то увлекая меня.

— Но у меня нет никаких спутников.

— Не одна же вы здесь?

— Именно одна, мосье.

— Вас никто не сопровождает?

— Никто. А привел меня сюда доктор Бреттон.

— Доктор Бреттон и его мамаша, конечно?

— Нет, только доктор Бреттон.

— И он посоветовал вам посмотреть именно эту картину?

— Отнюдь; я нашла ее сама.

Только потому, что волосы у мосье Поля были острижены очень коротко, они не встали дыбом на голове. Смекнув теперь, чего он добивается, я с некоторым удовольствием изображала полное равнодушие и поддразнивала его.

— Поразительное, чисто британское безрассудство! — воскликнул профессор. — Singulieres femmes que ces Anglaises!^[229]

— А что случилось, мосье Поль?

— Она спрашивает, что случилось! Как вы, юная барышня, осмеливаетесь с хладнокровием какого-нибудь юнца сидеть здесь и смотреть на эту картину?

— Картина отвратительная, но я не понимаю, почему мне нельзя глядеть на нее.

— Ладно! Ладно! Не будем больше говорить об этом. Все же одной вам здесь быть не следует.

— Ну, а если у меня нет компании или, как вы выражаетесь, спутников, что мне делать? И потом, какая разница, одна я или с кем-нибудь? Никто меня не беспокоит.

— Taisez-vous, et asseyez-vous la!^[230] — распорядился он, усаживая меня на стул, стоявший в самом мрачном углу перед целым рядом особенно хмурых картинок в рамках.

— Mais, Monsieur?^[231]

— Mais, Mademoiselle, asseyez-vous et ne bougez pas — entendez-vous?

jusqu'a ce qu'on vienne vous chercher, ou que je vous donne la permission.^[232]

— Quel triste coin! — воскликнула я, — et quels laids tableaux!^[233]

Они и вправду были безобразны, эти четыре картинки, объединенные под названием «Жизнь женщины». Написаны они были в удивительной манере безвкусные, невыразительные, тусклые, отравленные ханжеством. На первой, под названием «Юная девица», эта самая девица выходит из церкви; в руках она держит молитвенник, одета чрезвычайно строго, глаза опущены долу, губы поджаты — гадкая, преждевременно созревшая маленькая лицемерка. Вторая «Замужем» — изображала ее же в длинной белой фате; она у себя дома преклонила колени, молитвенно сложила руки и самым несносным образом закатила глаза так, что видны одни белки. На третьей — «Молодая мать» — она печально склонилась над одутловатым, будто слепленным из глины, младенцем с круглым, как луна, нездоровым лицом. На четвертой — «Вдова» — она, в глубоком трауре, держит за руку девочку в черном одеянии, и эта милая пара старательно рассматривает изящный памятник во французском стиле, сооруженный в уголке какого-то кладбища. Все четыре «ангельских лика» угрюмы и бледны, как у ночного вора, холодны и бесцветны, как у привидения. Как можно жить рядом с подобной женщиной — лицемерной, унылой, бесстрастной, безмозглой, ничтожной! Она по-своему ничуть не приятнее, чем праздная, похожая на цыганку великанша Клеопатра.

Долго задерживать внимание на этих шедеврах было совершенно немислимо, и я потихоньку начала оглядываться и смотреть на другие картины.

Между тем около роскошной Львицы, общества которой меня лишили, собралась целая толпа зрителей, из коих почти половину составляли женщины; однако мосье Поль объяснил мне потом, что это были «дамы» и им можно рассматривать такие вещи, на которые «барышня» и взглянуть не имеет права. Я откровенно заявила ему, что не согласна с его мнением и не вижу в нем никакого смысла. В ответ на это он со свойственной ему властностью велел мне замолчать, не преминув тут же строго осудить меня за безрассудство и невежество. Думаю, профессорскую кафедру никогда не занимал более деспотичный человек, чем малорослый господин Поль. Кстати, он-то сам, как я заметила, смотрел на это полотно довольно долго, ничуть не смущаясь, не забывая, правда, поглядывать в мою сторону, вероятно для того, чтобы убедиться, не перешла ли я дозволенных границ. Вскоре, однако, он вновь заговорил со мной, пожелав узнать, не болела ли я в его отсутствие.

— Болела, но теперь совсем здорова.

Тогда он поинтересовался, где я проводила каникулы, и получил ответ, что большую часть времени я пробыла на улице Фоссет, а остаток каникул — у мадам Бреттон. Он, видите ли, слышал, будто я осталась на улице Фоссет в полном одиночестве, так ли это? Нет, уведомила я его, со мной была Мари Брок (слабоумная девочка).

Он пожал плечами; на лице стремительно сменялись разноречивые чувства. Мосье Поль хорошо знал Мари Брок; ни одно его занятие в третьем отделении, где учились самые неспособные пансионерки, не проходило без того, чтобы она не вызвала в нем столкновения непримиримых ощущений. Ее внешность, отталкивающие повадки и частые необузданные выходки выводили его из терпения и возбуждали к ней ярую неприязнь; это чувство вообще легко вспыхивало в нем, когда кто-нибудь оскорблял его вкус или противоречил его воле. Но наряду с этим ее несчастная судьба взывала к снисходительности и сочувствию, а по своей натуре он не мог отринуть такой призыв. Поэтому у него в душе почти ежедневно происходили стычки между раздражительностью и отвращением, с одной стороны, и жалостью и чувством справедливости, с другой; следует признать, что первые редко одерживали победу, но, если это случалось, мосье Поль становился страшен. Его обуревали необузданные страсти, которые прорывались с равной силой как в ненависти, так и в любви. Попытки сдержать их ни в коей мере не смягчали впечатления, производимого их яростностью. Естественно, что такие черты характера нередко вызывали у заурядных людей чувства страха и неприязни. Однако на самом деле его не следовало бояться, ибо ничто не доводило его до такого остервенения, как трусость и подозрительность, ничто не успокаивало его так, как ласковая доверчивость, проявить которую, правда, мог лишь тот, кто глубоко проник в существо его натуры, а это было нелегко.

— Как вы уживались с Мари Брок?

— Я делала все, что в моих силах, мосье, но как тяжело было оставаться с ней наедине.

— Значит, вы малодушны! Вам не хватает смелости, а может быть, и сострадания. С таким характером сестры милосердия из вас не выйдет.

(По-своему он был религиозен, этот маленький человечек. Душа его благоговела перед католическими законами самоотречения и самопожертвования.)

— Право, не знаю; во всяком случае, я старалась ухаживать за ней как можно лучше, но когда ее увезла тетка, я ощутила огромное облегчение.

— Какая же вы эгоистка! Да известно ли вам, что существуют женщины, которые служат в больницах для таких несчастных. Вы, конечно, не смогли бы за ними ходить?

— А вы, сударь, смогли бы?

— Истинные женщины должны безгранично превосходить нас — грубых, заблуждающихся, капризных мужчин — в умении исполнять подобные обязанности.

— Я мыла ее, держала в чистоте, кормила, старалась развлечь, а она в ответ ничего не говорила, а лишь строила гримасы.

— И вы воображаете, что совершили героические деяния?

— Нет, но я сделала то, на что у меня хватило сил.

— Следовательно, силы ваши не велики — ведь вы заболели от ухода всего за одной слабоумной.

— Дело не в этом, мосье; болезнь поразила мой разум — у меня была нервная лихорадка.

— Vraiment! Vous valez peu de chose.^[234] Героического в вас мало; вашего запаса мужества не хватит на то, чтобы перенести одиночество, а вот чтобы с полным самообладанием глазеть на изображение Клеопатры, безрассудства у вас достаточно.

Было бы уместно рассердиться на насмешливый и неприязненный тон господина Поля, но я никогда раньше на него не обижалась и не имела намерения гневаться сейчас.

— Клеопатра! — тихо повторила я. — Ведь вы, мосье, тоже смотрели на нее, каково же ваше мнение?

— Cela ne vaut rien, — ответил он. — Une femme superbe — une taille d'imperatrice, des formes de Junon, mais une personne dont je ne voudrais ni pour femme, ni pour fille, ni pour soeur. Aussi vous ne jeterez plus un seul coup d'oeil de son cote.^[235]

— Пока мосье разговаривал, я успела взглянуть на нее много раз; да ее прекрасно видно и отсюда.

— Повернитесь к стене и займитесь изучением четырех картин из жизни женщины.

— Простите, мосье Поль, но они отвратительны. Однако, если вам они нравятся, могу уступить свое место, чтобы вы спокойно созерцали их.

— Мадемуазель, — произнес он, пытаясь изобразить что-то вроде улыбки, но гримаса эта тут же улетучилась, и лицо его приняло мрачное выражение, — я поражаюсь вам, питомцам протестантизма. Вот например вы, англичанка, в полном одиночестве спокойно проходите между

раскаленными докрасна острыми лемехами и не обжигаетесь. Полагаю, что, если бы кто-нибудь из ваших был брошен в самую раскаленную печь Навуходносора, он бы выбрался оттуда невредимым, даже не ощутив огня.

— Не отодвинется ли мосье чуть-чуть в сторону?

— Зачем? Куда теперь вы так пристально глядите? Уж не заметили ли вы знакомого в этой группе молодых людей?

— Мне кажется... Да, да, вижу одного знакомого господина.

Я и действительно заметила такую красивую голову, которая могла принадлежать только внушающему трепет полковнику де Амалю. Ах! сколь она совершенна и изысканна! А какая подтянутая, элегантная фигура! Какие миниатюрные ручки и ножки! Как грациозно держит он монокль, с восторгом рассматривая «Клеопатру»! Как изысканно он смеется и шепчет что-то приятелю, стоящему с ним рядом. Что за разумный человек! Каким тонким вкусом и тактом обладает этот благородный джентльмен! Я наблюдала за ним минут десять и заметила, что он увлечен созерцанием темнокожей и дородной Венеры с Нила. Меня так занимало поведение полковника, так увлеклась я отгадыванием, по внешности и манерам, каков у него характер, что на время позабыла о мосье Поле, не то толпа заслонила его, не то он обиделся на меня за невнимание, но, когда я оглянулась, господина Поля нигде не было.

Вместо него мне на глаза попалась совсем иная фигура, выделявшаяся из всей толпы высоким ростом и осанкой, — это приближался доктор Джон, столь же не похожий лицом, статью, цветом кожи и волос на смуглого, угловатого и язвительного коротышку-профессора, сколь не похожи золотые яблоки из сада Гесперид^[236] на дикие плоды тернового кустарника или горячий, но послушный арабский скакун на свирепую и упрямую шотландскую кобылу. Доктор Джон разыскивал меня, но еще не обнаружил того уголка, где меня спрятал профессор. Я не окликнула его, чтобы иметь возможность, пусть недолго, понаблюдать за ним.

Он подошел к де Амалю и остановился рядом, мне показалось, что ему приятно возвышаться над головой полковника. Доктор Джон тоже смотрел на «Клеопатру». Полагаю, картина пришлась ему не по вкусу — он не ухмылялся подобно маленькому графу, выражение лица у него было критическое и холодное. Никак не проявив своего отношения к увиденному, он отошел в сторону, предоставляя место другим. Я убедилась, что теперь он ждет меня, и подошла к нему.

Мы вместе обошли зал, а в обществе Грэма это было особенно приятно. Я всегда с огромным удовольствием выслушивала его мнение о картинах или книгах, потому что, не изображая из себя знатока, он

высказывал собственные мысли, всякий раз отмеченные своеобразием и нередко справедливые и убедительные. Я любила также рассказывать ему о чем-нибудь для него новом он слушал меня внимательно и понимал все с полуслова; не связанный условностями, он не боялся, что, склонив светловолосую голову к женщине и прислушиваясь к ее запутанным и сбивчивым объяснениям, он подвергает унижению свое мужское достоинство. Сам же он говорил о неизвестных мне вещах столь ясно и понятно, что каждое слово отпечатывалось в памяти, и потом я уже никогда не забывала его объяснений и примеров.

По дороге домой я спросила, что он думает о «Клеопатре» (перед этим я рассмешила его, рассказав, как профессор Эманюэль прогнал меня от нее прочь, и показала ему прелестные картинки, которыми мосье Поль велел мне любоваться).

— Фу! — ответил он на мой вопрос. — Моя мама гораздо красивее. Я слышал, как французские щеголи называли Клеопатру «воплощением сладострастия», в таком случае, «сладострастие» мне не по вкусу. Разве можно сравнить эту мулатку с Джиневрой!

Глава XX

КОНЦЕРТ

Однажды утром миссис Бреттон стремительно вошла ко мне в комнату и настоятельно потребовала, чтобы я открыла все ящики и показала ей мои платья. Я безмолвно повиновалась.

— Пожалуй, хватит, — заявила она, тщательно осмотрев их со всех сторон, — ясно, что вам необходим новый туалет.

Она вышла и вскоре вернулась, ведя за собой портниху, которая сразу же сняла с меня мерку.

— Полагаю, с этой безделицей я справлюсь сама по своему вкусу, проговорила миссис Бреттон.

Через два дня принесли... розовое платье!

— Но я не могу надеть такое платье, — немедля воскликнула я, чувствуя, что с тем же успехом могла бы нарядиться в одеяние знатной китаянки.

— Ну, мы еще посмотрим, сможете вы или нет! — возразила крестная и добавила свойственным ей решительным тоном: — Попомните мои слова — сегодня вечером на вас будет это платье!

Я же про себя подумала, что ничего подобного не случится, никакая сила на свете не заставит меня напялить такой наряд. Вообразите: на мне — и вдруг розовое платье! Знать его не хочу, да и оно меня тоже! Я даже не примерила новый туалет.

Крестная продолжала отдавать распоряжения: вечером мне предстоит пойти с ней и Грэмом в концерт. Концерт этот, пояснила она, — величайшее событие, которое будет происходить в самом большом зале музыкального общества столицы. Исполнителями будут лучшие ученики Консерватории, а затем последует лотерея «au benefice des pauvres», ^[237] но самое главное — концерт почтят своим присутствием король, королева и наследный принц Лабаскура. Грэм, передавая билеты, настоятельно просил, из уважения к королевской семье, обратить особое внимание на туалеты, а также попросил нас быть в полной готовности к семи часам.

Около шести часов меня повели наверх. Я не была в состоянии оказывать сопротивление, когда мною стала руководить чужая воля, не спрашивая и не уговаривая, а просто подчинив меня себе. Словом, розовое платье, отделанное черными кружевами, несколько приглушавшими его

цвет, оказалось на мне. Было громогласно объявлено, что я «en grande tenue»,^[238] и предложено взглянуть в зеркало. Дрожа от страха, я повиновалась и с не меньшим ужасом отвернулась от зеркала. Пробило семь часов, вернулся домой доктор Бреттон, мы с крестной спустились вниз. На ней-то был коричневый бархат. Шагая следом за ней, с какой завистью смотрела я на величественные темные складки ее платья! Грэм встретил нас в дверях гостиной.

«Надеюсь, он не вообразит, что я расфуфырилась для того, чтобы на меня глазели», — думала я, испытывая крайнее смущение.

— Люси, вот цветы, — сказал он, протягивая мне букет. Взглянув на меня, он лишь ласково улыбнулся и одобрительно кивнул головой, после чего во мне поутихло чувство неловкости и страх показаться смешной. Следует признать, что фасон платья был очень прост, без всяких воланов и сборок, меня пугало только, что ткань слишком светлая и яркая, но коль скоро Грэм не нашел мой туалет нелепым, я быстро к нему привыкла и успокоилась.

Думаю, что людям, каждый вечер посещающим места развлечений, не присущи те радостные, праздничные чувства, которые переживает тот, кому редко приходится бывать в опере или концерте. Мне помнится, я не надеялась получить большое удовольствие от самого концерта, так как имела о подобных вещах довольно смутное представление, но мне очень понравилась поездка туда. Все очаровательные мелочи, украшавшие наш путь, новизной своей вызывали во мне радостное возбуждение — уютное тепло тесного экипажа в холодный, хотя и ясный вечер; веселые и доброжелательные спутники; звезды, мерцающие меж деревьев, окаймляющих аллею, по которой мы ехали; внезапно распахнувшееся окно ночного неба, когда мы оказались на открытой дороге; городские ворота и сверкающие огнями улицы; насмешившие нас важные лица стражников, делавших вид, что подвергают нас досмотру. Не знаю, в какой мере мое праздничное настроение объяснялось дружеской атмосферой, окружавшей меня в тот вечер, но доктор Джон и его мать были в отличном расположении духа, всю дорогу старались перещеголять друг друга в остроумии и относились ко мне с такой искренней теплотой, как будто я член их семьи.

Наш путь проходил по самым красивым, ярко освещенным улицам Виллета, которые выглядели теперь гораздо наряднее, чем в дневное время. Как сверкали витрины магазинов! Какой веселый и довольный вид был у толпы, двигавшейся по широким тротуарам! Глядя на все это, я невольно вспомнила улицу Фоссет обнесенные высокой каменной оградой сад и

здание пансиона, темные, пустынные классные комнаты, по которым именно в это время я обычно бродила в полном одиночестве, глядя через высокие, не прикрытые шторами окна на далекие звезды и слушая доходивший до меня из столовой голос, монотонно читавший «lecture pieuse». Скоро мне предстоит вновь их слушать и бродить в тоске, и мысль о грядущем вовремя охладила переполнявший меня восторг.

Мы уже попали в вереницу экипажей, двигавшихся в одном направлении, и вскоре увидели ярко освещенный фасад громадного здания. Как было сказано выше, я смутно представляла себе, что меня ждет внутри этого здания, ибо мне ни разу не довелось побывать в местах светских развлечений.

Мы вышли из экипажа к портику, где суеилось и толпилось множество людей; дальнейших подробностей я не помню, так как в голове у меня все смешалось, и я очнулась, когда стала подниматься по широкой и пологой величественной лестнице, покрытой мягким ворсистым малиновым ковром, которая вела к торжественным, еще закрытым дверям внушительных размеров с панелями, обитыми малиновой тканью.

Я не заметила, с помощью какого волшебства открылись двери — делами такого рода ведал доктор Джон, — но они распахнулись, и перед нами возникла грандиозная круглая зала, плавно изогнутые стены и куполообразный потолок которой, как мне почудилось, сотворены из матового золота (так искусно они были покрашены); их украшали карнизы и каннелюры либо цвета начищенного золота, либо белоснежные, как алебастр, и гирлянды из позолоченных листьев и нежно-белых лилий; все шторы, портьеры, ковры и диванные подушки были одного и того же густо-малинового цвета. От центра купола спускалось нечто ослепившее меня — нечто, состоящее, как мне представилось, из горного хрусталя, сверкающего гранями, источающего блестящие капли, мерцающего, как звезды, и блистающего бриллиантовой росой и трепещущими пятнышками радуг. Читатель, это была всего-навсего люстра, но мне она показалась творением джинна из восточной сказки, и я бы, возможно, не удивилась, если бы обнаружила, что огромная, темная, зыбкая рука «Раба лампы»^[239] парит в искрящемся и благовонном воздухе купола, охраняя свое волшебное сокровище.

Мы продолжали двигаться вперед, но куда, я не имела понятия. На одном из поворотов нам навстречу шла группа людей. И сейчас я четко вижу, как они мелькнули передо мной — красивая дама средних лет в темном бархатном платье, господин, возможно ее сын, с таким прекрасным лицом и такой совершенной фигурой, каких я еще никогда не встречала, и

особа в розовом платье и черной кружевной накидке.

Передо мною мелькнули, как мне померещилось, люди незнакомые, внешность которых я оценила без предубеждения, но не успело это впечатление утвердиться у меня в мозгу, как я поняла, что стою перед большим зеркалом, занимающим пространство между двумя колоннами; заблуждение мое рассеялось незнакомцами были мы сами. Так в первый и, вероятно, единственный раз в жизни мне удалось посмотреть на самое себя как бы со стороны. Об эффекте, который произвело на меня это зрелище, распространяться не стоит: я содрогнулась, почувствовав мучительную жалость к себе, ибо ничего обнадеживающего не увидела; однако нужно быть благодарной и за это, ведь могло быть еще хуже.

Наконец мы уселись на места, откуда была видна вся огромная и сверкающая, но приветливая и полная веселья зала. Ее уже заполнила блестящая светская толпа. Не могу сказать, что женщины отличались особой красотой, но что за восхитительные на них были туалеты! Эти чужеземки, столь неизящные в домашней обстановке, словно обладают даром становиться грациозными на людях; эти неуклюжие и шумливые женщины, расхаживающие по дому в пеньюарах и папильотках, чудесно преобразуются, как только надевают бальный наряд и подходящие случаю «raigue»,^[240] ибо держат про запас для торжественных случаев особый наклон головы, изгиб рук, улыбку и выражение глаз.

Изредка среди них попадались и привлекательные образцы, отличающиеся красотой особого рода, какую в Англии, пожалуй, не встретишь, — красотой тяжеловесной, мощной, скульптурной. Плавные линии тел делают их похожими на мраморные кариатиды, монументальностью и величавостью они не уступают богиням, изваянным Фидием. У них черты мадонн голландских мастеров: классические нидерландские лица — правильные, но пухлые, безупречные, но равнодушные, а по беспредельности незыблемого спокойствия и невозмутимой бесстрастности их можно сравнить лишь со снежными просторами Северного полюса. Женщины подобного типа не нуждаются в украшениях, да они их и редко носят — гладко причесанные волосы изящно оттеняют еще более гладкие щеки и лоб, платье простейшего покроя идет им больше, чем пышные наряды, а полные руки и точеная шея не нуждаются в браслетах и цепочках.

Однажды мне выпала честь и счастье близко познакомиться с одной из подобных красавиц: угнетающую силу неизменной и безраздельной любви к себе затмевало в ней лишь высокомерное неумение позаботиться о каком-нибудь другом живом существе. В ее холодных венах не струится кровь, в

ее артериях колыхнется студенистая лимфа.

И вот прямо перед нами сидит подобная Юнона,^[241] сознающая, что притягивает к себе взоры, но не поддающаяся магнетическому воздействию взгляда, будь он пристальный или мимолетный. Пышная, светловолосая, безучастная, величественная, как возвышающаяся возле нее колонна с позолоченной капителью.

Заметив, что к ней приковано внимание доктора Джона, я тихо обратилась к нему с мольбой «ради всего святого надежно оградить свое сердце от беды».

— В эту даму вам не следует влюбляться, — объяснила я, — потому, что, предупреждаю вас, она не ответит вам взаимностью, даже если вы умрете у ее ног.

— Ну и прекрасно, — ответил он, — а откуда вам известно, что ее высокомерный и бесчувственный вид не вызовет во мне благоговения. Мне думается, что муки безнадежного отчаяния являются чудесным возбуждающим средством для моих эмоций, но (и тут он пожал плечами) вы мало разбираетесь в таких вещах, лучше я посоветуюсь с матерью. Матушка, мне угрожает опасность.

— Вот уж до этого мне нет никакого дела! — воскликнула миссис Бреттон.

— О! Сколь жестока ко мне судьба! — откликнулся ее сын. — Ни у кого на свете не было такой бесчувственной матери, как у меня: ей, видно, и в голову не приходит, что на нее может свалиться беда — невестка!

— Если и не приходит, то потому, что беда висит надо мной уже добрых десять лет. «Мама, я скоро женюсь», — твердишь ты чуть не с младенчества.

— Но, матушка, когда-нибудь это непременно произойдет. Внезапно, как раз когда вы будете считать себя в полной безопасности, я, подобно Иакову, Исаву^[242] или другому патриарху, отправлюсь в далекие края и приведу себе жену, может быть, даже из уроженок этой страны.

— Посмей только, Джон Грэм; вот все, что я могу тебе сказать.

— Моя мамочка прочит меня в холостяки. Какая ревнивая мама! Однако посмотрите на это прелестное создание в бледно-голубом атласном платье, на ее каштановые волосы с *reflets satines*,^[243] как на складках ее туалета. Разве вы не преисполнились бы гордости, матушка, если бы в один прекрасный день я привел эту богиню домой и представил ее вам как миссис Бреттон-младшую?

— В «Террасу» никакой богини ты не приведешь: в этом маленьком

замке двум хозяйкам не уместиться, особенно если вторая будет обладать ростом и объемом этой громадной куклы из дерева, воска, лайки и атласа.

— Матушка, она будет так очаровательно выглядеть в вашем синем кресле!

— В моем кресле? Я не поддамся чужеземному узурпатору! На моем троне ее постигнет горькая участь. Но замолкни, Джон Грэм! Прекрати болтовню и открой глаза пошире!

Во время этой схватки зал, который, как мне казалось, уже был набит до отказа, продолжал заполняться людьми и перед сценой полукругом вздымалось множество голов. На сцене или, вернее, на более обширных, чем любая сцена, временных подмостках, где за полчаса до этого никого не было, закипела жизнь. Вокруг двух роялей, стоявших почти в центре сцены, бесшумно расположилась стайка девушек в белом — учениц музыкального училища. Я заметила их появление, еще когда Грэм и его матушка были поглощены обсуждением красавицы в голубом атласе, и с интересом наблюдала, как их выстраивают и расставляют по местам. Два господина, оба мне знакомые, командовали этим девичьим войском. Один из них — человек артистической внешности, с бородой и длинными волосами — был известным пианистом и самым знаменитым учителем музыки в Виллете; дважды в неделю он посещал пансион мадам Бек и давал уроки тем избранным ученицам, родители которых были достаточно богаты, чтобы позволить своим дочерям заниматься со столь дорогостоящим учителем. Его звали Жозеф Эманюель, и он был единокровным братом мосье Поля — второго господина, представшего перед нами во всем своем величии.

Мосье Поль рассмешил меня, и я невольно улыбалась, наблюдая за ним: он был в своей стихии — красуясь перед многолюдным собранием знатной публики, он выстраивал, утихомиривал и устрашал примерно сотню юных девиц. Он был неизменно серьезен, деятелен, озабочен и, главное, уверен в себе, а ведь к этому делу он не имел никакого отношения! Что было общего с музыкой и ее преподаванием у человека, с трудом отличавшего одну ноту от другой? Я понимала, что его привело сюда стремление показать себя и силу своего авторитета, это стремление выглядело бы непорядочным, если бы не его безграничная наивность. Вскоре стало очевидным, что мосье Жозеф подчиняется ему в не меньшей мере, чем упомянутые девицы. Такой хищной птицы, как мосье Поль, по всему свету не сыщешь! Между тем на подмостках появились известные певцы и музыканты; как только взошли эти звезды, закатилось солнце профессора. Для него все знаменитости и светила были совершенно

невыносимы, ибо когда он не мог затмить всех других, он спасался бегством.

Все уже было готово к началу концерта, лишь одна ложа оставалась незанятой. Эта ложа была обита той же малиновой тканью, что парадная лестница и двери; по обе стороны от двух величественных кресел, торжественно возвышающихся под балдахином, стояли скамьи с мягкими сиденьями и подушками.

Прозвучал сигнал, растворились двери, все присутствующие встали, и под оглушительные звуки оркестра и хора в залу вступили король и королева Лабаскура в сопровождении свиты.

Никогда раньше мне не приходилось лицезреть живых короля или королеву, поэтому нетрудно догадаться, как пристально я всматривалась в представителей царственного семейства. Всякий, кому довелось впервые в жизни увидеть королевскую чету, непременно испытывает некое удивление, граничащее с разочарованием, убедившись, что их величества не восседают *en permanence*^[244] на троне с короной на голове и скипетром в руке. Ожидая увидеть короля и королеву и обнаружив лишь офицера средних лет и довольно молодую даму, я почувствовала себя одновременно и несколько обманутой, и удовлетворенной.

Я и сейчас ясно помню короля — человека лет пятидесяти, немного сутулого, с сединой в волосах, лицо у него было совсем иного типа, чем у всех присутствующих.^[245] Я ничего не читала и не слышала о его характере или привычках, и в первое мгновение меня озадачили и смутили глубокие, словно выгравированные острием стилета, странные линии на лбу, вокруг глаз и у рта. Однако вскоре я если не проведала, то догадалась, о чем свидетельствуют эти начертанные природой знаки: передо мной сидел безмолвный страдалец — подверженный приступам меланхолии больной человек. Глаза его уже не раз наблюдали явление некоего призрака, они давно уже пребывают в постоянном ожидании встречи с непостижимой потусторонней тенью, имя которой Ипохондрия. Может быть, он сейчас видит ее на сцене или среди блестящего собрания. Ипохондрия обычно восстает из тысячной толпы — таинственная, как Рок, бледная, как Недуг, и почти не уступающая в могуществе Смерти. Когда ее спутник — страдалец полагает себя на мгновение счастливым, она напоминает: «Погоди, я здесь!» Тогда кровь стынет у него в жилах, а в глазах меркнет свет.

Одни могут сказать, что странные страдальческие морщины на королевском челе образовались оттого, что на чело это давит чужестранный

венец, другие могут сослаться на то, что его слишком рано оторвали от близких. Вероятно, какую-то роль играют оба обстоятельства, но их отягчает присутствие злейшего врага рода человеческого — врожденной меланхолии. Королева, его супруга, знала все. Мне казалось, что мысль о несчастье мужа отбрасывает мрачную тень на ее кроткое лицо. Королева производила впечатление доброй, рассудительной, приятной женщины; она не была красавицей и уж во всяком случае не походила на тех наделенных тяжеловесными прелестями и окаменелыми душами дам, которых я описала на предыдущих страницах. Она была худощава, лицо ее, хотя и достаточно выразительное, слишком явно напоминало лица тех, кто принадлежит к правящим королевским династиям и их ответвлениям, почему безоговорочно любоваться им было невозможно. У этой представительницы королевского рода выражение лица было милым и привлекательным, но глядя на нее, вы невольно вспоминали знакомые вам портреты, на которых выступали те же черты, но отмеченные пороком — безволием, сластолюбием или коварством. Однако глаза королевы не имели себе подобных: они излучали дивный свет сострадания, доброты и отзывчивости. Она выглядела не венценосной государыней, а кроткой, нежной и изящной дамой. Облокотившись о ее колени, сидел юный наследник, герцог де Диндоно. Я заметила, что время от времени она внимательно поглядывает на сидящего рядом супруга, видит его внутреннюю отрешенность и старается разговорами о сыне вывести его из этого состояния. Она то и дело наклоняла голову к мальчику, слушала, что он говорит, а потом с улыбкой передавала слова ребенка отцу. Погруженный в печальные мысли, король вздрагивал, выслушивал ее, улыбался, но как только королева, его добрый ангел, замолкала, вновь отдавался во власть своих видений. Сколь грустна и выразительна была эта сцена! Однако ни аристократы, ни честные бюргеры Лабаскура не обратили на нее внимания — во всяком случае, я не заметила, чтобы она тронула или поразила хоть одного из присутствовавших.

Среди придворных, сопровождавших короля и королеву, находилось несколько чужеземных послов и знатных иностранцев, которые в то время жили в Виллете. Дамы уселись на малиновые скамьи, а мужчины, в большинстве, стояли позади них, и шеренга темных костюмов служила выгодным фоном для роскошных женских туалетов светлых, темных и ярких цветов и оттенков: середину занимали матроны в бархате и атласе, перьях и драгоценностях; скамьи на переднем плане, по правую сторону от королевы, были, очевидно, предназначены только для юных девиц — цвета или, я предпочла бы сказать, поросли виллетской аристократии. Здесь не

было ни бриллиантов, ни величественных причесок, ни груд бархата или блеска шелков: в девичьем строю царили непорочность, простота и неземная грациозность. Скромно причесанные юные головки, очаровательные фигурки (чуть было не написала точеные, но спохватилась, потому что некоторые из этих «jeunes filles»^[246] отличались в свои шестнадцать — семнадцать лет таким плотным и крепким сложением, какое среди англичанок бывает лишь у полных женщин не моложе двадцати пяти лет), так вот, очаровательные фигурки в белом, светло-розовом или бледно-голубом навевали мысли о небесах и ангелах. По меньше мере двух или трех из этих «rose et blanche»^[247] представительниц рода человеческого я знала. Были среди них две бывшие ученицы пансиона мадам Бек — мадемуазель Матильда и мадемуазель Анжелика, — ученицы, коим и на последнем году обучения следовало бы сидеть, по умственному развитию, не в выпускном классе, а в начальном. Английскому языку они учились у меня, и какую же каторжную работу приходилось совершать, чтобы добиться от них мало-мальски толкового перевода одной страницы из «Векфильдского священника».^[248] Кроме того, я имела удовольствие целых три месяца сидеть напротив одной из них за обеденным столом — количество хлеба, масла и компота, которое она поглощала за «second dejeuner»,^[249] можно считать одним из чудес света, правда, еще сильнее поражало то, что, насытившись, она прятала в карман множество бутербродов. Такова истина.

Знала я еще одну из этих херувимоподобных девиц — самую красивую или, во всяком случае, не такую надутую и фальшивую, как все остальные; она сидела рядом с дочерью английского пэра, великодушной, хотя и надменного вида, девушкой; они обе явились сюда в свите британского посла. Она (т. е. моя знакомая) была хрупкой и гибкой и ничем не напоминала здешних барышень: прическа ее не походила ни на блестящую гладкую раковину, ни на плотно прилегающий чепчик, видно было, что это настоящие волосы — волнистые, пушистые, спускающиеся длинными мягкими локонами. Она болтала без умолку и, по-видимому, упивалась собой и своим положением в свете. Я старалась не глядеть на доктора Бреттона, но чуяла, что и он заметил Джиневру Фэншо: он затих, односложно отвечал на замечания матери и украдкой вздыхал. Почему же? Ведь он признался, что ему по душе преодолевать препятствия во имя любви, вот перед ним и открылась возможность доставить себе удовольствие. Дама его сердца сияла где-то в высших сферах, приблизиться к ней он не мог, не был он уверен и в том, что она взглянет на него хоть

одним глазком. Я следила, снизойдет ли она до этого. Мы сидели неподалеку от малиновых скамей, так что быстрый и острый взгляд мисс Фэншо не мог миновать нас, и действительно, через мгновение она уставилась на нашу компанию, вернее, на доктора и миссис Бреттон. Не желая быть узнанной, я старалась остаться в тени и скрыться от ее взора, а она сперва вперила взгляд в доктора Джона, а потом приставила к глазам лорнет, чтобы получше рассмотреть его матушку; через минуту-другую она со смехом зашептала что-то своей соседке на ухо. Тут началось представление, и она с обычной беспечностью отвернулась от нас и устремила все свое внимание на сцену.

Описывать концерт подробно не стоит, едва ли читателя заинтересуют мои впечатления от него, да, по правде говоря, они того и не заслуживают, так как свидетельствуют о *ignorance crasse*.^[250] Юные музыкантши, очень испуганные, дрожащими пальцами изобразили что-то на двух роялях. Мосье Жозеф Эманюэль все время стоял около них, но он не обладал силой воздействия на людей, отличавшей его родича, который в подобных обстоятельствах, несомненно, заставил бы своих учениц преисполниться смелости и самообладания. Перепуганные до полусмерти девицы оказались бы у него меж двух огней страхом перед слушателями и страхом перед ним, — а он сумел бы вселить в них храбрость отчаяния, сделав второй страх неодолимым. Господин Жозеф на такое способен не был.

Вслед за пианистками в белом муслине на подмостках появилась внушительная, рослая, неповоротливая дама в белом атласе. Она запела. Ее пение показалось мне похожим на фокусы мага — я не могла понять, как ей удастся выделять такие трюки голосом, который то взлетал недостижимо высоко, то падал необычайно низко, выкидывая при этом изумительные коленца; однако бесхитростная шотландская песенка, исполняемая простым уличным менестрелем, тронула бы меня гораздо глубже.

Затем нашему взору предстал господин, который, повернувшись в сторону короля и королевы и часто прижимая руку в белой перчатке к области сердца, начал громко упрекать в чем-то некую «*fausse Isabelle*».^[251] Я заподозрила, что он усиленно домогается сочувствия королевы, но если я не заблуждаюсь, ее величества проявляла скорее сдержанную вежливость, чем искренний интерес. Господин этот был настроен так мрачно, что я ощутила облегчение, когда он перестал изливать свою скорбь в музыкальной форме.

Больше всего мне понравился мощный хор, который состоял из настоящих откормленных лабаскурцев, представлявших лучшие хоровые

общества всех провинций. Эти достойные люди пели без жеманства, их искренние старания вызывали по меньшей мере одно приятное чувство — ощущение могучей силы.

Я смотрела на все представление вполглаза и слушала робкие фортепьянные дуэты, самодовольные вокальные соло и громогласные хоры вполуха, потому что внимание мое было по-прежнему занято доктором Бреттоном: я не могла ни на минуту забыть о нем, не могла не думать, как он себя чувствует, о чем размышляет, весело ему или грустно. Наконец он заговорил.

— Ну, Люси, нравится вам все это? Вы что-то притихли, — произнес он своим обычным бодрым тоном.

— Я притихла потому, что увлечена, захвачена не только музыкой, но вообще всем происходящим.

Он продолжал беседовать со мной, сохраняя невозмутимость и самообладание, и я решила, что он, по всей вероятности, не заметил самого главного, и прошептала:

— Вы видели мисс Фэншо?

— Ну, разумеется! Да ведь и вы ее заприметили.

— Как вы думаете, она сопровождает миссис Чамли?

— Да. Миссис Чамли окружена многочисленным обществом, и Джиневра входит в ее свиту, сама же миссис Чамли — в свиту леди ***, а леди *** — в свиту королевы. Все бы выглядело очень мило, если бы этот королевский дом не был одним из замкнутых карликовых европейских дворов, при которых церемонное обращение мало чем отличается от фамильярности, а парадное великолепие лишь блестящая мишура.

— Джиневра, верно, вас заметила?

— Думаю, что да. Я поглядывал на нее и после того, как вы повернулись в сторону сцены, имел честь наблюдать эпизод, который вы пропустили.

Я не стала выпрашивать у него подробности, потому что хотела, чтобы он сам, добровольно, рассказал мне все; он так и поступил.

— Рядом с мисс Фэншо, — начал он, — сидит ее приятельница — особа знатного происхождения. Я знаю леди Сару в лицо, так как был у них в доме с врачебным визитом по просьбе ее матушки. Это гордая, но отнюдь не высокомерная девушка, и я сомневаюсь, что Джиневре удастся завоевать ее уважение ехидными замечаниями по поводу ближних своих.

— Кто же эти ближние?

— Она смеялась надо мною и моей матерью; ну я — ладно, лучшей мишени, чем я, молодой врач из плебеев, пожалуй, не сыщешь, но мама!..

Никогда в жизни ее никто не выставял в смешном свете. Знаете ли, я испытал какое-то особое чувство, когда увидел, как Джиневра скривила губы в презрительной улыбке и с ироническим видом навела на нас лорнет.

— По-моему, доктор Джон, на это не стоит обращать внимания. В таком легкомысленном настроении, как сегодня, Джиневра не постеснялась бы осмеять даже кроткую, задумчивую королеву или печального короля. Она поступает так не по злобе, а по крайнему недомыслию и ветрености. Для беспечной школьницы нет ничего святого.

— Не забудьте, что я не привык смотреть на мисс Фэншо как на беспечную школьницу. Разве не была она моим божеством, моим светлым ангелом?

— Гм! В этом и заключалась ваша ошибка.

— Если говорить чистую правду, без громких слов и излишних преувеличений, полгода тому назад я и впрямь считал ее божеством. Вы помните наш разговор о подарках? Я был тогда не совсем откровенен с вами — меня забавляла горячность, с которой вы отвечали мне. Для того чтобы узнать от вас нужные мне подробности, я старался изобразить себя менее осведомленным, чем на самом деле. Впервые я убедился, что Джиневра — простая смертная, после испытания подарками. Однако обаяние ее красоты не теряло власти надо мной, и еще три дня, даже три часа тому назад я по-прежнему был ее рабом. И сегодня, когда она проходила мимо меня, блистая красотой, я склонился перед ней в благоговейном трепете; если бы не злополучная глумливая усмешка, я бы по сию пору оставался смиреннейшим из ее вассалов. Будь я предметом ее насмешек, она не оттолкнула бы меня, сколь глубока ни была бы нанесенная ею рана. Но, оскорбив мою мать, она в одно мгновение добилась того, чего не могла бы добиться, если бы целых десять лет издевалась надо мною.

Он умолк ненадолго. Раньше мне не приходилось видеть, чтобы в голубых глазах доктора Джона вместо радостного сияния светился яростный гнев.

— Люси, — вновь заговорил он, — взгляните в мою матушку повнимательнее и скажите совершенно беспристрастно, какой она сейчас представляется вам.

— Такой же, как всегда, — английской дамой среднего достатка, одетой строго, но со вкусом; держится она, как обычно, непринужденно, спокойно и доброжелательно.

— Вот и мне она кажется такой же — благослови ее господь! Те, кто умеет веселиться, будут охотно смеяться вместе с мамой, но смеяться над

ней станут лишь мелкие души. Я не допущу, чтоб над ней насмехались, а тот, кто посмеет, заслужит мою неприязнь, мое презрение, мой...

Он осекся — и вовремя, ибо разволновался сильнее, чем того заслуживала вся эта история. Правда, я лишь впоследствии узнала, что у него была еще одна причина быть недовольным Джиневрой Фэншо. Он предстал на сей раз в новом, доселе невиданном обличье: горящее лицо, раздутые ноздри, презрительная улыбка на изящно очерченных губах. Надо сказать, что мягкое и обычно безмятежное лицо, внезапно искаженное гневом, — зрелище не из приятных; не нравилось мне и мстительное настроение, охватившее эту сильную юную душу.

— Я напугал вас, Люси? — спросил он.

— Я просто не могу понять, почему вы так сердитесь.

— А вот почему, — прошептал он мне на ухо, — я убедился, что Джиневра не обладает ни чистотой ангела, ни чистотой целомудренной женщины.

— Чепуха! Вы преувеличиваете: особых грехов за ней не водится.

— По мне, их слишком много. Я вижу то, чего вам не увидеть. Но оставим эту тему. Давайте я развлекусь и подшучу над мамой — скажу ей, что она устала. Мама, очнитесь, пожалуйста!

— Джон, я и впрямь очнусь, если ты не станешь лучше вести себя. Когда, наконец, вы с Люси замолчите и дадите мне послушать пение?

Мы вели разговор под громоподобные звуки хора.

— Послушать пение, матушка?! Ставлю мои запонки из настоящих камней против вашей поддельной брошки...

— Поддельной брошки, Грэм? Нечестивец! Ты же знаешь, что это драгоценный камень!

— О нет! Это одно из ваших заблуждений; вас обманули.

— Меня удастся обмануть гораздо реже, чем ты думаешь. Как это случилось, что ты знаком с барышнями, приближенными ко двору, Джон? Я заметила, что две из них уже не менее получаса уделяют тебе немалое внимание.

— Лучше бы вы их не заметили.

— Это почему же? Только потому, что одна из них насмешливо глядит на меня в лорнет? Какая красивая и глупенькая девочка; но неужели ты боишься, что ее хихиканье может огорчить одну старую даму?

— Ах, моя умная, чудесная старая дама! Матушка, вы мне дороже целого десятка жен.

— Спокойнее, Джон, не то я упаду в обморок и тебе придется тащить меня на себе; под таким грузом ты заговоришь уже по-другому: «Мама, —

воскликнешь ты, — целый десяток жен едва ли обойдется мне дороже, чем вы одна!»

После концерта следовала лотерея «au benefice des pauvres». В антракте все вздохнули свободно, и началась невообразимо приятная общая суматоха. С подмостков увели толпу девиц в белом, вместо них на сцену вышли мужчины и стали готовить ее к предстоящей лотерее; самым деятельным из них был вновь появившийся в зале знакомый нам господин — не высокий, но расторопный, бодрый, полный энергии и подвижный — за троих. Как он работал, этот мосье Поль! Как бойко отдавал приказания, подставляя в то же время плечо под лотерейное колесо! У него в распоряжении было с полдюжины помощников, но он отодвигал рояли и выполнял другую тяжелую работу вместе с ними. Его чрезмерная живость одновременно раздражала и смешала; лично меня вся эта суэта и отталкивала и забавляла. Однако, несмотря на предубеждение и досаду, я все же, наблюдая за ним, ощутила какое-то милое простодушие во всем, что он делал и говорил, и заметила у него на лице выражение силы, выделявшее его из множества бесцветных физиономий: глубина и пронизательность взгляда, мощь бледного, открытого выпуклого лба, подвижность чрезвычайно выразительного рта. Правда, силе его не доставало спокойствия, но зато ее отличали живость и пылкость.

В зале царил хаос: одни просто стояли, другие прогуливались, все смеялись и болтали. Малиновая ложа представляла собой красочное зрелище: длинная черная туча мужчин распалась и перемешалась с радугой дамских нарядов; к королю подошли два или три офицера и заговорили с ним. Королева, покинув кресло, плавным шагом двигалась вдоль ряда барышень, встававших перед ней. Я видела, что каждую она удостаивает любезным словом, ласковым взглядом или улыбкой. Двух хорошеньких англичанок, леди Сару и Джиневру Фэншо, она одарила даже несколькими фразами; когда она удалилась, обе девушки, особенно последняя, казалось, пылают от восторга. Вскоре их окружили дамы, а потом и несколько мужчин, из коих ближе всех к Джиневре оказался граф де Амаль.

— Здесь ужасно душно и жарко, — произнес доктор Бреттон, внезапно поднявшись со стула, — Люси, мама, вам не хочется хоть немного подышать свежим воздухом?

— Идите, Люси, — откликнулась миссис Бреттон, — а я, пожалуй, посижу.

Я бы охотно тоже осталась на месте, но желание Грэма было для меня важнее моего собственного, и я отправилась с ним на улицу.

Ночь была холодной, но Джон, казалось, не замечал этого; ветра не

было, ясное ночное небо усеяли звезды. Я куталась в меховую накидку. Мы несколько раз прошлись туда и обратно по тротуару, и когда попали под свет фонаря, Грэм заглянул мне в глаза.

— Вы что-то загрустили, Люси, — уж не из-за меня ли?

— Мне показалось, что вы чем-то расстроены.

— Нисколько. Хочу, чтобы вы были в таком же хорошем настроении, как я. Я убежден, Люси, что умру не от разбитого сердца. Меня могут мучить боли или слабость, но болезнь или недомогание, вызванные любовными страданиями, никогда еще не одолевали меня. Ведь вы же сами видите, что дома я всегда бываю весел?

— Обычно да.

— Я рад, что она смеялась над моей матерью. Да я не променяю мою старушку на целую дюжину красавиц. Эта издевка принесла мне огромную пользу. Благодарю вас, мисс Фэншо! — Он снял шляпу с кудрявой головы и насмешливо поклонился. — Да, да, — повторил он, — я ей весьма признателен. Благодаря ей я убедился, что девять десятых моего сердца крепки, как булат, и лишь одна десятая кровоточит от легкого укола, но рана заживет мгновенно.

— Сейчас вы сердитесь и негодуете; поверьте, завтра все будет выглядеть по-иному.

— Это я-то сержусь и негодую! Вы меня плохо знаете. Напротив, гнев мой остыл, я холоден, как нынешняя ночь, которая, кстати, для вас слишком прохладна. Пора вернуться в залу.

— Доктор Джон, как внезапно вы переменились!

— Вы ошибаетесь; но, впрочем, если во мне и произошла перемена, то по двум причинам — одну из них я вам открыл. А теперь пойдемте.

Мы с трудом пробрались к нашим местам: лотерея уже началась, кругом царил неразбериха, проход был забит людьми, и мы то и дело останавливались. Вдруг мне почудилось, что кто-то окликнул меня, я оглянулась и увидела поблизости вездесущего, неотвратимого мосье Поля. Он вперил в меня мрачный пристальный взгляд, хотя, пожалуй, этот взгляд относился не ко мне, а к моему розовому платью, которое, наверное, и было причиной саркастического выражения на его лице. Он вообще не отказывал себе в удовольствии покритиковать туалеты учительниц и пансионеров мадам Бек, и первые, надо сказать, считали такую манеру оскорбительной бестактностью; мне же пока ничего подобного пережить не пришлось, вероятно, потому, что мои унылые будничные наряды не могли обратить на себя внимание. В тот вечер я не была расположена терпеть его нападки, поэтому и сделала вид, что не замечаю его, отвернулась и уставилась на

рукав доктора Джона, подумав, что мне доставит больше удовольствия, успокоения, приятности и тепла смотреть на черный рукав, чем на смуглую и противную физиономию коротышки-профессора. Доктор Джон, сам того не ведая, как бы поддержал мой выбор, наклонившись ко мне и промолвив ласковым тоном:

— Вот, вот, держитесь ко мне поближе, Люси, эти суетливые аборигены не слишком заботятся об остальных людях.

Однако остаться до конца последовательной мне не удалось: поддавшись гипнотическому или какому-то иному воздействию — непрошеному, тягостному, но мощному, — я вновь оглянулась, чтобы проверить, ушел ли мосье Поль. Как бы не так, он стоял на прежнем месте и глядел нам вслед, но совсем другими глазами — он проник в мой замысел и понял, что я избегаю его. Насмешливое, но не жестокое выражение лица сменилось мрачной хмуростью, и когда я поклонилась ему, надеясь уладить недоразумение, то ответом мне был невообразимо церемонный и суровый кивок головы.

— Кого вы так разгневали, Люси? — с улыбкой прошептал доктор Бреттон. Что это у вас за свирепый друг?

— Профессор из пансиона мадам Бек, очень сердитый человечек.

— Да, вид у него сейчас очень сердитый — в чем же вы провинились? Что произошло? О Люси! Пожалуйста, скажите мне, что все это значит.

— Уверяю вас, ничего таинственного. Мосье Эманюель очень «exigeant»: ^[252] я устала сидеть на ваш рукав, а не присела перед ним в реверансе, значит, по его мнению, я не выказала ему должного уважения.

— Этот малень... — начал было доктор Джон, но дальнейшее осталось мне неизвестным, ибо тут меня чуть не сбили с ног. Мосье Поль продирался вперед мимо нас, не обращая внимания на безопасность окружающих и расталкивая их локтями, так что люди начали теснить друг друга.

— Мне кажется, он принадлежит к тем, кого сам называл бы «mechant», ^[253] сказал доктор Бреттон. Я с ним согласилась.

С трудом мы пробрались сквозь толпу и наконец уселись на свои места. Колесо лотереи крутилось уже почти целый час; это было веселое и занятное зрелище; у нас были билеты, и мы все трое при очередном повороте колеса переходили от надежды к унынию. Две девочки — одна шести, другая пяти лет вытаскивали из колеса талончики с номерами, и тут же с подмостков объявлялось, какие билеты выиграли. Выигрышей было много, но все они ценности не представляли. Нам с доктором Джоном

повезло — обоим выпало по выигрышу: мне достался портсигар, а ему дамская шляпка — воздушный серебристо-голубой тюрбан, украшенный сбоку белоснежным плюмажем. Доктор Джон горел желанием совершить со мною обмен, но я не вняла доводам рассудка и храню портсигар до сих пор: он напоминает мне былые времена и один счастливый вечер.

Ну, а что до доктора Джона, то он, держа тюрбан двумя пальцами вытянутой вперед руки, глядел на него со смешанным выражением почтительности и смятения, что не могло не вызвать смеха. Наконец, перестав смотреть на шляпку, он вознамерился было положить нежное изделие на пол, у своих ног, не имея, по-видимому, ни малейшего представления, как следует обращаться с предметами подобного рода, и если бы не вмешательство миссис Бреттон, он, я полагаю, прилепнул бы тюрбан на манер цилиндра и сунул его под мышку, однако его матушка уложила шляпу в картонку, откуда ее ранее извлекли.

Грэм весь вечер был в радужном настроении, и его веселость выглядела естественной и непринужденной. Объяснить, как он держался в тот вечер, нелегко: было в его поведении что-то необычное, своеобразное. Я увидела редкое умение обуздывать страсти и неисчерпаемый запас здоровых сил, которые без чрезмерного для них напряжения одолели Разочарование, вырвав до конца его жало. Его тогдашнее поведение напомнило мне те особенности его характера, которые я наблюдала, когда сопровождала его при посещении бедняков, заключенных и других страдальцев, населяющих Нижний город: в докторе Джоне совмещались решимость, терпеливость и доброта. Кому же он мог не нравиться? Он не проявлял ни нерешительности, которая заставила бы вас размышлять, как помочь ему преодолеть колебания, ни раздражительности, нарушающей покой и подавляющей радость; с его уст не слетали язвительные колкости, оскорбляющие человека до глубины души; глаза его не метали злобных взглядов, которые, как отравленные ржавые стрелы, поражают вас прямо в сердце: рядом с ним царили мир и спокойствие, а вокруг него — благодатное дружелюбие.

И все же он не простил и не забыл мисс Фэншо. Сомневаюсь, что гнев быстро улетучивался из души доктора Бреттона, а уж если он разочаровался в ком-нибудь, то — навсегда. Он несколько раз поглядывал на Джинеvру, но не украдкой, со смирением, а открыто, как сторонний наблюдатель. Де Амаль не отходил от Джинеvры ни на шаг, подле нее сидела и миссис Чамли, и они с головой погрузились в оживленную беседу, чем, впрочем, были заняты не только те, кто сидел в малиновой ложе, но и зрители попроще. В пылу разговора Джинеvра один-два раза взмахнула

рукой, и при этом у нее на запястье сверкнул великолепный браслет. В глазах у доктора Джона блеснуло его отражение и загло в них гнев и иронию; он рассмеялся.

— Пожалуй, — заявил он, — я возложу тюрбан на алтарь моих приношений; там он, несомненно, обретет признание: ни одна гризетка не принимает подарков с такой готовностью, как Джиневра. Непостижимо! Ведь она из хорошей семьи.

— Но вам не известно, какое воспитание она получила, доктор Джон, возразила я. — Всю жизнь ее продержали в заграничных пансионах, и она имеет законное основание оправдывать большинство своих недостатков невежеством. Кроме того, из ее слов можно заключить, что родители ее воспитывались в том же духе.

— Мне всегда было ясно, что она не богата, и прежде эта мысль доставляла мне удовольствие, — сказал он.

— Она и мне говорила то же, — подтвердила я, — в таких делах она очень правдива и никогда не станет лгать, в отличие от ее соучениц — уроженок Лабаскура. Семья у нее большая, и родители занимают такое положение в обществе и располагают такими связями, которые вынуждают их жить не по средствам; сочетание стесненных обстоятельств и врожденной беспечности породило беспредельную неразборчивость в средствах при желании сохранить благопристойность. Такова обстановка, в которой выросла девочка.

— Я так и думал... но питал надежду переделать ее. Однако, Люси, по правде говоря, сегодня, глядя на нее и де Амаля, я ощутил нечто новое. Я почувствовал это еще до того, как она столь дерзко поступила с моей матушкой. На меня очень неприятное впечатление произвел взгляд, которым они обменялись, когда вошли в залу.

— Что вы имеете в виду? Ведь для вас не новость, что они заигрывают друг с другом?

— Какое же заигрывание! Это всего лишь невинная девичья хитрость, с помощью которой пытаются привлечь к себе избранника. Я же говорю совсем о другом — во взгляде, которым они обменялись, скрывался тайный сговор, а в ее взгляде не было девической чистоты. На женщине, которая способна послать или принять подобный взгляд, я ни за что не хотел бы жениться, будь она прекрасна, как Афродита. Скорее я уж взял бы за себя простую крестьянку в коротких юбках и высоком чепце, но был бы уверен, что она честная девушка.

Я не могла сдержать улыбку. Он, конечно, сгущал краски — честность Джиневры, несмотря на ее взбалмошность, не вызвала сомнений. Так я

ему и сказала, но он покачал головой в знак несогласия и заявил, что не доверил бы ей свое доброе имя.

— Это как раз единственное, — возразила я, — что вы можете спокойно доверить ей. Она без зазрения совести опустошила бы кошелек мужа, промотала бы его состояние и не пощадила ни его терпения, ни склонностей, но при этом она никому, в том числе и самой себе, не разрешила бы чернить его репутацию.

— Да вы прямо-таки превратились в ее адвоката, — заметил он. — Уж не хотите ли вы, чтобы я вновь надел на себя сброшенные цепи?

— Нет, напротив, я рада видеть вас свободным и надеюсь, что вы надолго останетесь независимым, но будьте при этом справедливым.

— Но, Люси, я справедлив, как сам Радамант.^[254] И все-таки, когда меня отталкивают, я не могу не испытывать гнева. Глядите! Король и королева встали. Мне нравится королева — у нее очень приятное лицо. Мама ужасно устала, боюсь, мы не довезем ее до дому, если тотчас же не уедем.

— Это я-то устала, Джон? — воскликнула миссис Бреттон — вид у нее и впрямь был не менее оживленный и бодрый, чем у сына. — Берусь пересидеть тебя: давай останемся здесь до утра и посмотрим, кто из нас раньше выбьется из сил — я или ты.

— Предпочел бы не ставить подобного опыта, ибо вы, мама, действительно самое неувядаемое из всех вечнозеленых растений и самая цветущая из всех почтенных дам. Будем считать, что мы вынуждены столь срочно покинуть общество из-за слабых нервов и хрупкого организма вашего сына.

— Ленивец! Тебе просто захотелось спать, и ты требуешь, чтобы мы подчинились твоему капризу. Кстати, и у Люси довольно измученный вид. Стыдитесь, Люси! В вашем возрасте я была способна выезжать по семь раз в неделю, сохраняя при этом здоровый цвет лица. Ну так и быть, пойдемте, и можете хихикать над почтенной дамой сколько угодно, а она позаботится о картонке и тюрбане.

Именно так она и поступила. Я хотела взять у нее коробку, но она с притворным презрением оттолкнула меня, заявив, что мне впору позаботиться о самой себе. Не связанная теперь, в разгар наступивших после отбытия короля и королевы «разрухи и разора»,^[255] этикетом, миссис Бреттон двинулась вперед и проложила нам путь через толпу. Грэм следовал за ней, возвещая: «Никогда в жизни не приходилось мне видеть более очаровательной гризетки с картонкой в руках, чем моя матушка». Он

также посоветовал мне обратить внимание на явное пристрастие миссис Бреттон к небесно-голубому тюрбану и высказал уверенность, что она собирается со временем надеть его.

Ночь была очень холодной и темной, но нам удалось быстро нанять экипаж. Внутри было тепло и уютно, как у камина, и поездка домой оказалась, пожалуй, еще более приятной, чем дорога в концерт. Удовольствию нашему не помешало даже то обстоятельство, что кучер, пробыв в лавке «marchand de vin»^[256] значительную часть того времени, которое мы провели на концерте, долго тащился по темной и пустынной дороге и пропустил поворот, ведущий к «Террасе»; мы же, болтая и смеясь, не заметили этой оплошности, пока миссис Бреттон не заявила, что всегда считала их замок местом отдаленным, но лишь теперь поняла, что он расположен где-то на краю света, ибо мы едем уже полтора часа, а нужного поворота еще не сделали.

Тогда Грэм выглянул наружу и увидел лишь затянутые туманом поля, разделенные невидимыми низкими изгородями, о существовании которых можно было только догадываться по окаймлявшим их рядам кустов и лип. Поскольку поблизости от «Террасы» ничего похожего на этот пейзаж не было, он смекнул, что произошло, приказал кучеру осадить лошадей, выбрался из экипажа, сел на козлы и взял вожжи в свои руки. Он и доставил нас благополучно домой после того, как мы пропутешествовали лишние полтора часа.

Марта позаботилась о нас — в камине весело горел огонь, стол был красиво накрыт к ужину; все это производило самое отрадное впечатление. Мы разошлись по своим комнатам, когда уже занималось зимнее утро. Снимая розовое платье и кружевную накидку, я пребывала в гораздо лучшем настроении, чем когда их надевала. Думаю, что не каждый, кто ослепительно блистал на концерте, мог сказать о себе то же самое, ибо не всех судьба одарила радостью дружбы, приносящей успокоение и непритязательные надежды.

Глава XXI

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Еще три дня, и я должна вернуться в пансион. С грустью провожала я уходящие мгновения, с наслаждением остановила бы их бег, но, глядя на часы, я видела, с какой неумолимой быстротой минута сменяет минуту.

— Люси, вы сегодня не уедете от нас, — стала убеждать меня за завтраком миссис Бреттон, — вы ведь знаете, что мы можем выговорить вам отсрочку.

— Я бы не стала просить об отсрочке, даже если это ничего бы не стоило, — возразила я. — Я хочу лишь одного — чтобы прощание было уже позади и я вновь обосновалась на улице Фоссет. Я должна уехать сейчас же, немедленно, мой чемодан уже упакован и стянут ремнями.

Однако мой отъезд зависел от Грэма, выразившего желание сопровождать меня, а он весь день был занят и вернулся домой, когда уже смеркалось. Между мною и Бреттонами завязался недолгий спор — они настаивали, чтобы я осталась до завтра, а я, смирившись перед неизбежным, пришла в такое волнение, что чуть не расплакалась. Я ждала расставания с тем же нетерпением, с каким приговоренный к смерти, стоя на эшафоте, ждет, когда, наконец, опустится топор; я страстно желала, чтобы казнь свершилась. Миссис Бреттон с сыном не могли понять, сколь глубоким было мое нетерпение, ибо им не приходилось переживать подобное состояние души.

Когда доктор Джон помог мне выйти из экипажа, было уже темно. Над входом горел фонарь; как и весь день, моросил мелкий ноябрьский дождь; мокрый тротуар отражал свет фонаря. Еще не прошло и года, как я, точно в такую же ночь, впервые остановилась у этого порога; вокруг ничего не изменилось. Я помнила даже форму булыжников на мостовой, которые я, одинокая просительница, рассеянно созерцала, ожидая с бьющимся сердцем, когда мне откроют дверь. В ту же ночь я ненадолго встретила с тем, кто сейчас стоял рядом со мной. Напомнила ли я ему хоть раз об этой встрече, попыталась ли объяснить? Нет, мне и не хотелось говорить о ней, ибо приятное воспоминание сохранится вернее, если оно спрятано глубоко в памяти.

Грэм дернул дверной колокольчик. Дверь открылась тотчас же, потому что как раз в это время уходили пансионерки, которые оставались здесь до

самого вечера, а дома только ночевали, и Розина была начеку.

— Не входите, — попросила я доктора Джона, но он уже перешагнул порог ярко освещенного вестибюля. Я просто не хотела, чтобы он заметил у меня на глазах слезы — его мягкой натуре не следовало лишний раз сталкиваться с подобными проявлениями печали. Он стремился прийти людям на помощь, исцелить их даже в тех случаях, когда его врачебное искусство, по всей вероятности, не могло ни вылечить, ни принести облегчения.

— Не унывайте, Люси. Помните, что матушка и я остаемся вашими верными друзьями. Мы вас не забудем.

— Я тоже, доктор Джон.

Внесли мой чемодан. Мы пожали друг другу руки, он направился было к выходу, но вновь повернулся ко мне, видимо, не сделав или не договорив чего-то, что выразило бы полнее его великодушные побуждения.

— Люси, — произнес он, следуя за мной, — вам будет здесь очень одиноко?

— Сначала — да.

— Ну, ничего, мама скоро заедет к вам, а я... сейчас скажу вам, что я сделаю. Я напишу письмо, знаете, какую-нибудь веселую чепуху, которая взбредет мне в голову, — ладно?

«Чуткое, благородное сердце!» — подумала я, а вслух, улыбаясь, сказала:

— И думать не смейте — брать на себя еще и такую работу. Вы да чтобы писали мне — у вас на это нет времени.

— Ну, время-то я найду. До свидания!

И он ушел. Тяжелая дверь с грохотом захлопнулась — топор опустился, казнь свершилась.

Запретив себе думать, запретив себе отдаваться чувствам, глотая обильные слезы, я направилась в гостиную мадам, чтобы, в соответствии с этикетом, выразить ей свое почтение. Она встретила меня с отлично разыгранным радушием и даже, правда, весьма недолго, изображала гостеприимную хозяйку. Через десять минут мне было разрешено удалиться. Из *salle à manger* я прошла в трапезную, где в это время собрались на вечерние занятия пансионерки и учителя; здесь тоже была выражена радость по поводу моего возвращения, на этот раз, мне кажется, искренняя. Теперь я получила возможность удалиться в дортуар.

«Неужели Грэм и вправду напишет мне?» — задала я себе вопрос, опустившись без сил на край кровати.

Разум, потихоньку вернувшийся ко мне в полумраке этой длинной,

тускло освещенной комнаты, бесстрастно прошептал: «Разок он, может, и напишет тебе. Присущая ему доброта способна побудить его к такому действию, но нельзя надеяться, что это повторится. Крайнее безрассудство — полагаться на подобное обещание, неслыханное легкоеверие — принимать несколько дождевых капель за родник, воды которого бесконечно долго не иссякают».

Еще целый час сидела я в раздумье, склонив голову. Мой Разум, положив мне на плечо дряблую руку и касаясь моего уха холодными, посиневшими старческими губами, продолжал шептать.

«Ну, а если, — бормотал он, — он и напишет, что тогда? Уж не рассчитываешь ли ты с наслаждением отвечать ему? О неразумная! Внемли моим предостережениям! Да будет твой ответ кратким. Не обольщайся надеждой, что душа твоя возрадуется, а ум расцветет: не давай воли чувствам, держи себя в руках, не делай из дружбы развлечения, а из тесного общения с друзьями забавы».

«Но ведь ты не выговаривал мне за то, что я вела беседы с Грэмом», оправдывалась я.

«Да, — отвечал он, — но мне и не нужно было. Беседовать тебе полезно. Твоя речь несовершенна. Во время разговора неполноценность твоя становится явной, призрачные мечты не получают поддержки — речь твоя несет следы горя, лишений и нищеты...»

«Но, — перебила я, — коли мое присутствие не производит впечатления, а речь неряшлива и невежественна, разве письмо не лучше выразит мысли, чем дрожащие, невнятно бормочущие уста?»

Разум ответил коротко: «Перестань лелеять эту мысль и не вздумай пользоваться ею в своих писаниях!»

«Значит, мне никогда нельзя будет открыть свои чувства?»

«Никогда!» — возгласил он.

Я застонала от его непреклонной суровости. Никогда... никогда... Какое страшное слово! Этот злой дух — мой Разум — не допустит, чтобы я подняла голову, рассмеялась или исполнилась надежды; он не успокоится, пока я не буду окончательно подавлена, устрашена, укрощена и сломлена. Разум полагает, что я рождена лишь для того, чтобы трудиться ради куска хлеба, ждать смертного часа и предаваться грусти на протяжении всей жизни. Может быть, эти доводы и справедливы, но ведь нет ничего удивительного, что мы, время от времени, пренебрегаем ими, освобождаемся от их власти и выпускаем на волю врага Разума — нашу добрую живую Фантазию, которая поддерживает и обнадеживает нас. Мы непременно должны иногда разбивать свои цепи, как ни ужасны кары,

ожидающие нас. Разум обладает дьявольской мстительностью: он всегда отравлял мое существование, как мачеха отравляет жизнь падчерице. Если я и подчинялась ему, то из страха, а не из уважения. Не будь у меня в запасе доброй Фантазии, которой я тайно поклялась в верности, Разум давно довел бы меня до гибели своим жестоким обращением: лишениями, разочарованиями, скудной пищей, ледяным ложем, непрерывными безжалостными ударами. Не однажды Разум выбрасывал меня зимней ночью на холодный снег, швырнув мне для пропитания изглоданные собаками кости, клянясь, что ничего иного у него в запасе нет, и отказывая мне в праве просить лучшего... Но потом, запрокинув голову, я различала лик в кругу вращающихся звезд, из коих самая яркая, та, что находилась в центре, ниспосылала мне свет сочувствия и участия. Дух, более нежный и добрый, чем Человеческий Разум, в бесшумном полете нисходил к пустынному краю, принося с собой аромат вечного лета, благоухание никогда не увядающих цветов, свежий запах деревьев, плоды коих суть жизнь, и чистый ветерок из мира, где днем светло и без солнца. Этот добрый ангел утолял мой голод лакомыми и неведомыми яствами, взятыми у собирающих колосья ангелов, которые снимают урожай ранним росистым утром райского дня. Дух этот — Фантазия — нежно осушал мучительные слезы, уносящие с собой самое жизнь, утишал смертельную усталость, щедро дарил надежду и силу отчаявшемуся. Каким состраданием дышал он, какой опорой служил! Если мне суждено преклонить колена перед кем-нибудь, кроме бога, то припаду я лишь к твоим белоснежным, легким, всегда прекрасным стопам. В честь солнца воздвигнуты храмы, луне посвящены жертвенники, но твоя слава сияет ярче! Человеческие руки не воздвигают святилищ, уста не шепчут молитв в твою честь, но души, испокон веков, неизменно поклоняются тебе. Твоя обитель не ограждена стенами, не вздымается куполом, это храм, основанием которому служит бесконечное пространство; это богослужение, таинства которого совершаются во имя гармонии миров!

О безраздельная властительница! Твое бессмертие охраняет громадная рать мучеников; свершениям твоим споспешествует когорта избранных достойнейших героев. Непререкаемое божество, самой сутью твоей ты противостоишь разрушению!

Эта дочь Неба не забыла обо мне в тот вечер; увидев, как я рыдаю, она пришла, чтобы успокоить меня: «Усни и спи спокойно, я позлащу твои сновидения».

Она сдержала слово и всю ночь охраняла мой сон, но на заре ее сменил Разум. Я проснулась в испуге; в оконные стекла стучал дождь;

время от времени слышались сердитые завывания ветра; в ночнике, стоявшем на черной круглой подставке в центре дортуара, догорал огонь — день вступал в свои права. Как жаль мне тех, кто, просыпаясь, испытывает душевные муки! В то утро острая боль пробуждения с титанической силой выхватила меня из постели. Как поспешно я одевалась в холоде дождливого утра! С какой жадностью пила ледяную воду, охладившуюся за ночь в графине! К этому укрепляющему средству я часто прибегала, как пьяница к вину, когда меня терзала печаль.

Вскоре зазвонил колокол, призывающий всех проснуться. Но я уже была одета и первой спустилась в столовую, где топилась печь. В остальных комнатах царил холод, так как сюда уже пришла суровая континентальная зима, и хотя было еще только начало ноября, над Европой проносился пронизывающий северный ветер. Помню, что когда я впервые увидела эти черные печи, они мне не понравились, но теперь у меня стало связываться с ними ощущение уюта, и я любила их, как любим мы в Англии каминь.

Усевшись около одной из этих утешительниц, я предалась серьезному спору с самой собою о жизни и ее превратностях, о Судьбе и ее велениях. Мой рассудок, успокоившийся и окрепший после пережитого, установил для себя несколько непреложных законов, запрещающих под страхом жестокой кары вспоминать о минутах счастья в прошлом, приказывающих терпеливо продвигаться по невозделанной пустыне настоящего, предписывающих возлагать надежды на веру — но помнить при этом, что столп облачный для одних «был тучей и мраком, а другим освещал путь», [\[257\]](#) — умиряющих влечение к безрассудному идолопоклонству, сдерживающих страстное стремление к земле обетованной, реки которой, вероятно, явятся взору лишь в предсмертных видениях, а цветущие пастбища ее можно увидеть с пустынной вершины могильного холма только перед смертью, как то случилось на горе Нево. [\[258\]](#)

Понемногу сложное чувство силы и страдания обьяло мое сердце, успокоило или, во всяком случае, умерило его биение и помогло мне обратиться к повседневному труду. Я подняла голову.

Повторяю, я сидела около печи, встроенной в стену между столовой и сарге и таким образом обогревающей оба помещения. Неподалеку от печи, в той же стене, было окно, выходившее в сарге. Я глянула в него и увидела за стеклом... край фески с кистью, лоб и два глаза. Мой взор натолкнулся на пронзительный взгляд этих глаз, которые явно следили за мною. Только тогда я заметила, что лицо мое залито слезами.

В этом странном доме нельзя найти уголка, защищенного от вторжения, нельзя уронить слезу или предаться размышлению в одиночестве — всевидящий соглядатай всегда тут как тут. Какое же дело привело во внутренние покои в столь необычный час еще одного соглядатая — нового, в доме не живущего, да еще мужчину? По какому праву он осмелился подсматривать за мной? Никто другой из профессоров не решился бы пересечь *сalle* до звонка, возвещающего начало занятий. Мосье Эманюель не обращал внимания ни на время, ни на правила: ему понадобился какой-то справочник в библиотеке старшего класса, а путь туда лежал через столовую. Поскольку он обладал способностью сразу видеть все, что происходит впереди, сзади и по сторонам, он через маленькое оконце узрел и меня — и вот он стоит в дверях столовой.

— *Mademoiselle, vous etes triste.*^[259]

— *Monsieur, j'en ai bien le droit.*^[260]

— *Vous etes malade de coeur et d'humeur,*^[261] — продолжал он. — Вы опечалены и в то же время возмущены. У вас на щеках слезы, и они, я уверен, горячи, как искры, и солонь, как кристаллики морской соли. Какой у вас отчужденный взгляд. Хотите знать, кого вы мне сейчас напоминаете?

— Мосье, меня скоро позовут к молитве; в это время дня я не располагаю временем для долгих разговоров... простите, но...

— Я готов все простить, — перебил он меня, — я нахожусь в столь смиренном расположении духа, что его не смогут нарушить ни холодный прием, ни даже оскорбление. Так вот, вы напоминаете мне только что пойманного, неприрученного дикого звереныша, с яростью и страхом глядящего на впервые появившегося дрессировщика.

Какая непростительная вольность в обращении! Подобная манера разговаривать даже с ученицей выглядела бы опрометчивой и грубой, а уж с учительницей — была просто недопустимой. Он рассчитывал вывести меня из терпения; я видела, как он старается раздражить меня и вызвать взрыв. Но нет, я не собиралась доставить ему такое удовольствие и хранила молчание.

— Вы похожи, — заявил он, — на человека, который готов выпить сладкого яду, но с отвращением оттолкнет полезное снадобье, если оно горькое.

— Терпеть не могу горькое и не верю, что оно может приносить пользу. А вот все сладкое, будь то яд или обычная пища, обладает, что ни говорите, одним приятным свойством — сладостью. Думаю, что лучше умереть мгновенно и легко, чем влачить долгое безрадостное

существование.

— Вы бы каждый день исправно принимали дозу горького снадобья, если бы я обладал правом прописать вам его, а что касается вашего любимого яда, то я, наверное, разбил бы самый сосуд, в котором он хранится.

Я резко отвернулась от него, потому что, во-первых, его присутствие было мне весьма неприятно, а во-вторых, я хотела избежать дальнейших вопросов, опасаясь, что усилия, требующиеся для ответа на них, лишат меня самообладания.

— Послушайте, — произнес он более мягким тоном, — признайтесь, — ведь вы грустите потому, что расстались с друзьями, — не правда ли?

Вкрадчивая мягкость была не более привлекательна, чем инквизиторская цепкость. Я продолжала безмолвствовать. Тогда он вошел в комнату, уселся на скамейку ярдах в двух от меня и с завидным упорством и несвойственным ему терпением пытался втянуть меня в разговор, но попытки его оказались тщетными, поскольку говорить я была просто не в состоянии. В конце концов я стала умолять его оставить меня одну, но голос у меня дрогнул, я закрыла лицо руками и, уронив голову на стол, беззвучно, горько разрыдалась. Он посидел еще немного. Я не подняла головы и не произнесла ни слова, пока не услышала стука закрывающейся двери и звука удаляющихся шагов. Слезы принесли мне облегчение.

Я успела ополоснуть глаза до завтрака и появилась в столовой, как мне кажется, в таком же спокойном виде, что и все остальные, хотя, разумеется, не в столь оживленном настроении, в каком пребывала сидевшая напротив юная девица, которая вперила в меня сверкающие весельем глаза и без лишних церемоний протянула мне через стол белую ручку, чтобы я ее пожалала. Путешествие, развлечения и возможность пофлиртовать явно пошли мисс Фэншо на пользу: она поправилась, щеки округлились и стали похожи на яблочки. В последний раз я видела ее в изящном вечернем туалете. Нельзя сказать, что сейчас, в будничном платье свободного покроя из темно-синей материи в дымчато-черную клетку, она выглядела менее очаровательной. По-моему, этот неяркий утренний наряд даже подчеркивал ее красоту, оттеняя белизну колеи, свежесть румянца и великолепие золотистых волос.

— Рада, что вы вернулись, Тимон,^[262] — сказала она. — «Тимон» было одно из доброго десятка прозвищ, которыми она наградила меня. — Вы представить себе не можете, как мне не хватало вас в этой мрачной дыре.

— Да неужели? Значит, вы припасли для меня работу — например, починить вам чулки. — Я ни на мгновение не допускала мысли, что Джиневра способна быть бескорыстной.

— Брюзга и ворчунья, как всегда! — воскликнула она. — Я иного и не ожидала — вы не были бы собой, если бы перестали делать выговоры. Послушайте, бабуся, надеюсь, вы по-прежнему обожаете кофе и не любите pistols, [\[263\]](#) желаете меняться?

— Как вам угодно.

Дело в том, что у нас установился удобный для меня обычай: Джиневре не нравился здешний кофе, потому что на ее вкус, он был недостаточно крепким и сладким, но зато она, как и всякая здоровая школьница, питала пристрастие к действительно очень вкусным и свежим pistols, которые подавали за завтраком. Так как порция была для меня слишком велика, я отдавала половину Джиневре, и только ей, хотя многие не отказались бы от добавки; она же взамен жертвовала мне свой кофе. В то утро мне это было особенно кстати есть я не хотела, но во рту пересохло от жажды. Сама не знаю, почему я всегда отдавала булочки именно Джиневре и почему, если приходилось пить из одной посуды, — например, когда мы отправлялись на долгую прогулку за город и заходили перекусить куда-нибудь на ферму, — я всегда устраивала так, чтобы моей компаньонкой была она, и, будь то светлое пиво, сладкое вино или парное молоко, обычно отдавала ей львиную долю: какова бы ни была причина, но я поступала именно так, и ей это было известно; поэтому, хоть мы бранились чуть не каждый день, до полного разрыва мы не доходили.

После завтрака я обычно удалялась в комнату старшего класса и там наедине с собой читала или, чаще, сидела и размышляла до девяти часов, когда по звонку открывались все двери и в школу врывалась толпа пансионеров, приходящих кто только на занятия, а кто на целый день, до самого вечера; звонок этот служил сигналом для начала шумного делового дня, который тянулся без отдыха до пяти часов пополудни.

В то утро, едва я уселась, послышался стук в дверь.

— Pardon, Mademoiselle, [\[264\]](#) — произнесла, бесшумно войдя в комнату, пансионерка. Она взяла с парты нужную ей книгу или тетрадь и удалилась на цыпочках, пробормотав, когда проходила мимо меня: — Que Mademoiselle est appliquee! [\[265\]](#)

Ну уж и appliquee! Вообще-то при желании было к чему приложить усердие, но я ровно ничего не делала ни в ту минуту, ни раньше, да и не собиралась ничего делать. Нередко нам приписывают достоинства,

которыми мы не обладаем. Даже сама мадам Бек считала меня образцовым *bas-bleu*^[266] и нередко с весьма озабоченным видом предостерегала меня от чрезмерного увлечения работой, чтобы, как она выражалась, «кровь не ударила в голову». И вообще все на улице Фоссет прониклись ложным убеждением, что «мисс Люси» — особа чрезвычайно образованная; иного мнения держался лишь мосье Эманюель, который одному ему известным, а для меня непостижимым путем составил себе довольно правильное представление о моих истинных талантах и старался не пропустить возможности, злорадно ухмыляясь, шепотом доложить мне, что они довольно ограничены. Меня же их скудость несколько не смущала. Больше всего на свете я люблю отдаваться собственным мыслям; получаю я огромное наслаждение и от чтения книг, но не всех без разбору: я предпочитаю такие книги, стиль и мысли которых четко отражают душу автора, и неизбежно прихожу в уныние от безликих книг, далее когда они изобилуют ученостью и другими похвальными качествами: ведь я сознаю, что господь поставил предел возможностям и плодотворности моего разума, благодарного, я надеюсь, за то, что ниспослано ему, не претендующего на более ценный дар и не рвущегося к высотам знаний.

Не успела благовоспитанная ученица оставить комнату, как без всяких церемоний, не постучась, ко мне ворвалась вторая незваная гостья. Даже лишившись зрения, я бы узнала ее. Свойственная мне сдержанность давно уже оказала на поведение моих подопечных полезное влияние — теперь они редко докучали мне бестактностью, что облегчило мне жизнь. А вот в начале моей деятельности не раз бывало и так: подойдет ко мне какая-нибудь туповатая немка, хлопнет по плечу и предложит бежать с ней наперегонки, или же эдакая неугомонная уроженка Лабаскура схватит меня за руку и потащит к площадке для игр, настоятельно требуя, чтобы я покаталась с ней на «*Pas de Geant*»^[267] или приняла участие в шумной игре, напоминающей наши прятки, которая у них называется «*Un, deux, trois*»;^[268] однако спустя некоторое время меня перестали одолевать подобными мелкими знаками внимания, причем произошло это само собой, без прямых указаний или замечания с моей стороны. Мне не приходилось теперь ждать такого рода выходов, кроме как от одной особы, но, поскольку она была английского происхождения, терпеть ее проделки я могла. Джиневра Фэншо была способна, ничуть не стесняясь, схватить меня где-нибудь в саге и насильно покружить в вальсе, наслаждаясь моим смущением и неловкостью. Вот она-то и нарушила мое «серьезное времяпрепровождение». Под мышкой у нее был огромный клавир.

— Отправляйтесь в малую гостиную и займитесь упражнениями, — в тот же миг огорошила я ее, — марш! марш!

— Не уйду, пока не поговорю с вами, *chère amie*.^[269] Мне известно, где вы провели каникулы, как отдали должное удовольствиям и вели жизнь, подобающую светской даме. На днях я видела вас в концерте, и вы были одеты не хуже других. А кто вам шьет?

— Ишь, как хитро она подъехала! Кто мне шьет — вот что, оказывается, ее интересует! Не виляйте, Джиневра, говорите, что вам от меня надо! У меня вовсе нет желания проводить с вами время.

— Но если мне хочется побыть с вами, *ange farouche*,^[270] то разве такое уж большое значение имеет ваше неудовольствие? *Dieu merci*,^[271] я-то знаю, как справиться с моей одаренной талантами соотечественницей, с этой «*ourse Britannique*». ^[272] Итак, *Ourson*,^[273] вы знакомы с Исидором?

— Я знакома с Джоном Бреттоном.

— Ах, замолчите! — зажав уши, воскликнула она. — От этих английских имен у меня лопнут барабанные перепонки. Как же поживает наш милейший Джон? Прошу вас, расскажите мне о нем. Он, наверное, грустит, бедняга? Какого он мнения о моем поведении на концерте? Не была ли я жестока?

— А вы воображаете, что я обращала на вас внимание?

— Изумительный был вечер. О, божественный де Амаль! А какое удовольствие глядеть, как дуются и умирают от огорчения другие! Да еще эта почтенная дама — моя будущая свекровь! Боюсь только, мы с леди Сарой слишком пристально рассматривали ее.

— Леди Сара не взглянула на нее, а что до вашего поведения, то не тревожьтесь: ваши насмешки миссис Бреттон как-нибудь перенесет.

— Возможно, ведь старые дамы малочувствительны, но вот ее несчастный сын — дело другое! Что же он сказал? — я видела, он терпел страшные муки.

— Он сказал, что у вас такой вид, будто вы уже считаете себя госпожой де Амаль.

— Да неужели? — воскликнула она, не помня себя от радости. — Значит, он заметил? Какая прелесть! Он, верно, с ума сойдет от ревности, не правда ли?

— Джиневра, вы действительно решили порвать с доктором Бреттоном? Неужели вы хотите, чтобы он оставил вас?

— Да вы отлично знаете, что он не в состоянии так поступить, но скажите, он действительно обезумел?

— Конечно, — подтвердила я, — просто спятил.

— Как же вы довезли его до дому?

— Даже и сама не знаю! Неужели вам не жаль его несчастную мать и меня? Можете себе представить: мы с двух сторон крепко держим его, а он беснуется, как в бреду, и пытается вырваться. Даже кучер так перепугался, что потерял дорогу.

— Да не может быть! Вы смеетесь надо мной! Послушайте, Люси Сноу...

— Уверяю вас, все это чистая правда; более того, он все-таки вырвался из наших рук, выскочил из экипажа и поехал отдельно от нас.

— Ну, а потом?

— А потом, когда он, наконец, добрался до дому, последовали неописуемые события.

— Пожалуйста, расскажите — это так забавно!

— Вам это кажется забавным, мисс Фэншо, но, — добавила я с мрачной суровостью, — не забывайте поговорки: «Кому смех, а кому слезы».

— Ну, и что же дальше, миленький Тимон?

— Я не смогу продолжать, если не уверюсь, что у вас в сердце таится хоть капля великодушия.

— Таится, таится! Вы и понятия не имеете, сколько его у меня!

— Прекрасно! В таком случае вы можете представить себе, как сперва доктор Грэм Бреттон оставляет нетронутым приготовленный ему ужин — цыпленок в кисло-сладком соусе, затем... но не стоит задерживаться на душераздирающих подробностях; достаточно сказать, что никогда в жизни, даже когда он тяжело болел в детстве, миссис Бреттон не приходилось столько раз поправлять ему одеяло и простыни, как в ту ночь.

— Так он метался?

— Да, он непрестанно ворочался с боку на бок, и трудность заключалась не только в том, чтобы подоткнуть одеяло, но, главным образом, в том, чтобы оно вновь не падало.

— А что он говорил?

— Что говорил! Неужто вы сами не понимаете? Он звал свою дивную Джиневру, проклинал этого дьявола — де Амаля, бредил золотистыми локонами, голубыми глазами, белоснежными руками, сверкающими браслетами.

— Не может быть! Он заметил браслет?

— Заметил ли он браслет? Разумеется, даже я его приметил; более того, он, вероятно, впервые увидел браслет у вас на руке. Джиневра, — я

встала и резко изменила тон, — давайте прекратим этот разговор. Ступайте заниматься музыкой. — И я отворила дверь.

— Но вы не рассказали мне всего.

— Вам, пожалуй, лучше не дожидаться, пока я расскажу вам все как есть. Подобная откровенность с моей стороны едва ли доставит вам удовольствие. Ступайте!

— Злюка! — воскликнула она, но подчинилась, ибо у нее не было законных оснований оставаться на территории старшего класса, где распоряжалась я.

Честно говоря, на сей раз она не вызвала во мне особой неприязни, потому что я испытывала удовольствие, сравнивая истинные события с моими выдумками и вспоминая, как веселился доктор Джон по дороге домой, с каким аппетитом ужинал и в какой христианской умиротворенности отошел ко сну. А это белокурое, хрупкое создание, причинявшее ему муки, вызывало во мне гнев лишь тогда, когда я видела, что он и вправду страдает.

Прошло две недели; я вновь надела ярмо школьных занятий, переходя от страстных мечтаний о радостных переменах к смирению перед привычным. Как-то днем, пересекая *corridor* по пути в выпускной класс, где мне надлежало присутствовать на уроке по «стилю и литературе», я заметила у одного из венецианских окон Розину, нашу консьержку. Вид у нее, как всегда, был беспечный. Она вообще имела обыкновение «стоять вольно». Одну руку эта барышня засунула в карман передника, а в другой держала письмо, невозмутимо, но внимательно рассматривая адрес на конверте и сосредоточенно изучая печать.

Письмо! Видение в образе письма терзало мой мозг уже целую неделю, и сейчас неодолимая магнетическая сила потянула меня к этому белому конверту, запечатанному в центре красным сургучом. Не знаю, решилась ли бы я предложить Розине хоть на мгновение показать мне его... нет, нет, я бы, вернее всего, трусливо проскользнула мимо, страшась унижительной встречи с Разочарованием: сердце так трепетало у меня в груди, словно уже слышалась его тяжелая поступь. Но то было заблуждение, вызванное моим нервным состоянием! Это звучали стремительные шаги профессора литературы, распознав которые я обратилась в бегство. Если до его появления в классе я успею занять свое место, обуздать учениц и привести их в состояние покорной готовности к уроку, он, возможно, обойдет меня вниманием, но если он заметит, что я стою без дела в *corridor*, не миновать мне многословного внушения. К счастью, мне удалось сесть на место, заставить девиц утихнуть, вытащить

рукоделие и приняться за него в окружении полной, благопристойной тишины до того, как, задев щеколду и с грохотом захлопнув дверь, в комнату ворвался мосье Эманюель и отвесил преувеличенно низкий поклон, предвещающий взрыв гнева.

Он, как обычно, обрушился на нас, подобно удару грома, но, вместо того чтобы с быстротой молнии метнуться от двери к кафедре, он прервал движение на полпути — у моего стола. Повернувшись лицом ко мне и к окну, а спиной к ученицам и комнате, он устремил на меня мрачный взгляд, полный такого недоверия, что в ответ мне надлежало бы тут же встать и потребовать объяснения.

— Voila pour vous,^[274] — провозгласил он, вытащив из жилета и возложив мне на стол письмо — то самое, что я видела в руках у Розины, то самое, глянцевого лик и единственный, как у циклопа, кроваво-красный глаз которого столь четко и точно отпечатались на сетчатке моего внутреннего зрения. Я чувствовала, я была твердо уверена, что это и есть ожидаемое мною письмо, которое утолит мои упования, удовлетворит мои желания, избавит меня от сомнений и освободит от оков страха. Вот это-то письмо мосье Поль, с присущей ему непозволительной бесцеремонностью, забрал у консьержки и преподнес мне.

Я имела довольно причин, чтобы рассердиться, но мне было не до того. Свершилось — я держу в руках не жалкую записочку, а заключающий в себе по меньшей мере целый лист бумаги конверт — плотный, твердый, прочный и приятный на ощупь. А вот и надпись — «Мисс Люси Сноу», — сделанная четким, ясным, ровным, решительным почерком, и сургучная печать — круглая, без изъянов, умело оттиснутая крепкой рукой с изящными инициалами «Д.Г.Б.». Меня охватило ощущение счастья — это радостное чувство переполнило мое сердце и оттуда заструилось по всем жилам. В кои-то веки и мое желание исполнилось. Я держала в руках зримую и осязаемую частицу истинного счастья, а не мечту, не плод воображения, не одно из тех фантастических, несбыточных упований на удачу, какие не поддерживают человека, а лишь истощают его, не кушанье из манны небесной, лишь недавно превозносимое мною столь неумеренно и безотрадно, которое вначале тает на устах, оставляя вкус невыразимой и сверхъестественной сладости, а в конце концов вселяет отвращение в наши души, бредящие природной земной пищей и исступленно умоляющие небожителей забрать себе небесную росу и благовонные масла, — пищу богов, несущую гибель смертным. На мою же долю выпали не леденцы, не зернышки кориандра,^[275] не ломкие вафли, не приторный мед, а

первозданная лакомая снедь охотника, питательная, здоровая дичь, вскормленная в лесу или в поле, — свежая, полезная и поддерживающая жизнь. Снедь, какую требовал умирающий патриарх^[276] от своего сына Исава, обещая взамен последнее отеческое благословение. Для меня она была неожиданным подарком, и я в душе благодарила бога за то, что он ниспослал его мне, а вслух поблагодарила простого смертного, воскликнув: «Благодарю вас, благодарю вас, мосье!»

Мосье презрительно скривил губы, бросил на меня злобный взгляд и зашагал к кафедре. Мосье Поль не отличался добросердечием, хотя и у него были некоторые хорошие черты.

Прочла ли я письмо сразу, тут же на месте? Набросилась ли немедленно на свежее мясо, как если бы Исав приносил его каждый день?

Нет, я соблюдала осторожность. Пока мне с избытком хватало того, что я вижу конверт с печатью и на ней три четких инициала. Я выскользнула из комнаты и разыскала ключ от большого дортуара, который на день запирали. Там я подошла к своему бюро и стремительно, боясь, что мадам проберется вверх по лестнице и оттуда будет подсматривать за мной, выдвинула ящик, открыла шкатулку, вынула из нее бумажник и, усладив себя еще одним взглядом на конверт, со смешанным чувством благоговейного страха, стыда и восторга прижалась губами к печати. Потом я завернула неиспробованное, но зато чистое и неоскверненное сокровище в папиросную бумагу, вложила его в бумажник, закрыла шкатулку и ящик, заперла на ключ дортуар и вернулась в класс; мне казалось, что волшебные сказки и дары фей стали явью. Какое поразительное и сладостное безумие! А ведь я еще не прочла письмо — источник моего восторга, даже не ведала еще, сколько в нем строк.

Я переступила порог классной комнаты и... о, ужас!.. Мосье Поль буйствовал как помешанный! Одна из учениц отвечала урок недостаточно внятно и не ублажила его слух и вкус, и вот теперь она и другие девочки рыдали, а он, с багровым от гнева лицом, неистовствовал на кафедре. Смешно сказать, но, лишь только я появилась в комнате, он набросился на меня.

«Не я ли наставница этих девиц? А учила ли я их, как надлежит вести себя благородным барышням? Не я ли разрешила, а вернее, в чем он ни минуты не сомневается, советовала им давиться собственным родным языком, жевать и мять его зубами, словно из каких-то низких соображений они стыдятся слов, которые произносят? Нет, дело тут не в застенчивости! Он-то знает, что за этим кроется: гадкая лжечувствительность — детище или предтеча всяческого зла. Вместо того чтобы видеть ужимки, гримасы и

жеманство, слышать, как жуют и глотают слова благородного языка, терпеть поголовное притворство и отталкивающее упрямство учениц старшего класса, лучше уж подбросить их этим несносным *petites-maitresses*,^[277] а самому довольствоваться преподаванием азбуки малюткам третьего класса».

Что можно было ответить на эту тираду? Ровным счетом ничего, и я надеялась, что он разрешит мне промолчать. Однако гроза вспыхнула вновь.

«Ага, значит, мы не желаем отвечать на его вопросы? По-видимому, здесь, в этом похожем на изысканный будуар старшем классе с вычурными книжными шкафами, покрытыми зеленым сукном партами, с безвкусными жардиньерками, дрянными картинами и картами в рамках и с наставницей иностранкой — так вот, здесь, по-видимому, принято считать, что профессор литературы не заслуживает ответа на вопросы! Он не сомневается, что эта идея, новая для здешних мест, ввезена из *la Grande Bretagne*,^[278] — уж слишком она отдает островной наглостью и высокомерием».

На мгновение наступило затишье — девочки, которые никогда и слезинки не уронили из-за учительских нотаций, захлебывались в рыданиях и, казалось, таяли от неистового жара, исходившего от мосье Эманюеля. Я пока еще сохраняла спокойствие и даже отважилась продолжать свою работу.

Не то мое затянувшееся молчание, не то движение руки, делающей стежки, окончательно вывело мосье Эманюеля из терпения: он спрыгнул с возвышения, понесся к печке, стоявшей около моего стола, налетел на нее, зацепил и чуть не сорвал с петель железную дверцу, так что из печки полыхнул огонь и посыпались искры.

— *Est-ce que vous avez l'intention de m'insulter?*^[279] — проговорил он тихим разъяренным голосом, делая вид, что приводит в порядок печку.

Пора было хоть немного утихомирить его, если удастся.

— *Mais, Monsieur,*^[280] — ответила я, — да ни за что на свете я не стану вас оскорблять. Я ведь не забыла, как вы однажды предложили, чтобы мы были друзьями.

Я не ожидала, что у меня дрогнет голос, но это произошло, и, как я полагаю, не от испуга, переживаемого в тот момент, а от того восторженного волнения, которое посетило меня ранее. Следует признать, правда, что гневу мосье Поля была присуща некая затаенная страстность, способная исторгать слезы. И я, не чувствуя себя ни несчастной, ни

испуганной, все же расплакалась.

— Allons, allons!^[281] — воскликнул он, оглянувшись вокруг и увидев настоящий всемирный потоп. — Я поистине чудовище и злодей. У меня только один носовой платок, — добавил он, — и, конечно, если бы их было двадцать, я бы обеспечил вас всех, а так придется отдать его вашей учительнице. Возьмите, пожалуйста, мисс Люси.

И он протянул мне сверкающий чистотой шелковый носовой платок. Будь на моем месте человек, не знающий мосье Поля и не привыкший к нему и его поступкам, он бы, разумеется, опешил, отверг сделанное ему предложение и так далее, и тому подобное. Но мне было совершенно ясно, что такое поведение к добру не приведет, что малейшее колебание оказалось бы роковым для уже забрезжившего мирного завершения конфликта. Я встала, с благопристойным видом и готовностью взяла у мосье Поля платок, отерла глаза и села на место, продолжая держать в руке белый флаг и принимая все предосторожности, чтобы до конца урока не притронуться ни к иголке, ни к наперстку, ни к ножницам, ни к муслину. Мосье Поль уже много раз бросал подозрительные взгляды на эти предметы — он их смертельно ненавидел, так как считал, что рукоделие отвлекает внимание от его персоны. В оставшееся до звонка время он сумел дать очень увлекательный урок и был чрезвычайно бодр и дружелюбен. Тучи сразу же рассеялись, засияло солнце, слезы уступили место улыбкам.

Покидая класс, он вновь задержался у моего стола.

— Ну, а как ваше письмо? — спросил он, на этот раз уже с меньшим раздражением.

— Я еще не прочла его, мосье.

— Разумеется, самое вкусное оставили на закуску, в детстве я тоже оставлял напоследок самый зрелый персик.

Догадка его была столь близка к истине, что лицо у меня внезапно вспыхнуло.

— Не правда ли, вы с нетерпением ждете сладостного мгновения, когда останетесь одна и прочтете, наконец, письмо? О, вы улыбаетесь! Что ж, нельзя судить вас слишком строго — «la jeunesse n'a qu'un temps».^[282]

Он было повернулся к выходу, но я воскликнула, вернее, прошептала:

— Мосье, мосье! Я не хочу, чтобы вы заблуждались относительно этого письма, — это просто дружеское письмо, ручаюсь вам, хоть еще и не прочла его.

— Je conçois, je conçois: on sait ce que c'est d'un ami. Bonjour,

Mademoiselle. [\[283\]](#)

— Мосье, вы забыли платок.

— Оставьте его у себя, пока не прочтете письмо, а потом вернете его мне, и я прочту в ваших глазах, каков дух послания.

Когда он ушел, а девочки высыпали из класса и побежали в берсеац, а оттуда в сад, чтобы, как обычно, порезвиться до обеда, то есть до пяти часов, я еще недолго постояла в раздумье, рассеянно наматывая платок на руку. Сама не знаю почему — скорее всего, обрадованная мелькнувшим отблеском золотого детства, ободренная внезапно возвратившейся ко мне детской веселостью, счастливая сознанием свободы и, главное, тешимая мыслью, что наверху, в бумажнике, в шкатулке, в ящике хранится мое сокровище, — я принялась подбрасывать и ловить платочек, как бы играя в мяч. Но вдруг у меня над плечом появилась рука, высунувшаяся из обшлага сюртука, прервала забаву, схватив изобретенную мною игрушку и спрятав ее со словами:

— Je vous bien que vous vous moquez de moi et de mes effets. [\[284\]](#)

Коротышка был поистине страшен — эдакий вечно меняющийся и вездесущий дух, причуды и местопребывание которого невозможно угадать.

Глава XXII

ПИСЬМО

Когда все в доме стихло, когда отобедали и смолк шум игр, когда сгустились сумерки и в столовой зажгли тихую настольную лампу, когда приходящие разошлись по домам, до утра открывался звонок, отстучалась дверь, когда мадам уютно уселась в столовой с матерью и подружками, тогда-то я проскользнула на кухню — вымалывать свечку для особенного случая; прошение мое было удовлетворено приятельницей моей Готон, она шепнула:

— Mais certainement, chou-chou, vous en aurez deux, si vous voulez. [\[285\]](#)
И со свечой в руке я тихонько пошла в спальню.

К великой своей досаде, я обнаружила в постели захворавшую воспитанницу и еще более опечалилась, узнав под батистовыми сборками чепчика черты мисс Джиневры Фэншо; правда, она лежала тихо, но во всякую минуту могла обрушить на меня град своей болтовни; в самом деле, веки ее дрогнули под моим взглядом, убеждая меня в том, что недвижность эта лишь уловка и она зорко за мною следит; я слишком хорошо ее знала. А до чего же хотелось мне побыть наедине с бесценным письмом!

Что ж, оставалось идти в классы. Нащупав в заветном хранилище свой клад, я спустилась по лестнице. Неудачи меня преследовали. В классах, при свечах, наводили чистоту, как заведено было раз в неделю: скамейки взгромоздили на столы, столбом стояла пыль, пол почернел от кофейной гущи (кофе потреблялся в Лабаскуре служанками вместо чая); беспорядок совершенный. Растерянная, но не сломленная, я отступила в полной решимости во что бы то ни стало обрести уединенье.

Взявши в руки ключ, которого назначение я знала, я поднялась на три марша, дошла до темной, узкой, тихой площадки, открыла старую дверь и нырнула в прохладную черную глубину чердака. Здесь-то уж никто меня не застигнет, никто мне не помешает, — никто, ни даже сама мадам. Я прикрыла за собой дверь; поставила свечу на расшатанный ветхий поставец; закуталась в шаль, дрожа от пронизывающего холода; взяла в руки письмо; и, сладко замирая, сломала печать.

«Длинное оно или короткое?» — гадала я, ладонью стараясь отогнать серебристую мглу, застилавшую мне глаза.

Оно было длинное.

«Холодное оно или нежное?»

Оно было нежное.

Я не многого ждала, я держала себя в руках, обуздывала свое воображение, и оттого письмо мне показалось очень нежным. Я измучилась ожиданием, истомилась, и оттого, верно, оно мне показалось еще нежней.

Надежды мои были так скромны, страхи — так сильны; и меня охватил такой восторг сбывшейся мечты, каким мало кому во всю жизнь хоть однажды дано насладиться. Бедная английская учительница на промозглом чердаке, читая в тусклом неверном свете свечи письмо — доброе, и только, — радовалась больше всех принцесс в пышных замках; ибо мне эти добрые слова показались тогда божественными.

Разумеется, столь призрачное счастье не может долго длиться; но куда длилось — оно было подлинно и полно; всего лишь капля — но какая сладкая капля — настоящей медвяной росы. Доктор Джон писал ко мне пространно, он писал с удовольствием, писал благосклонно, весело припоминая сцены, прошедшие перед глазами у нас обоих, места, где мы вместе побывали, и наши беседы, и все маленькие происшествия блаженных последних недель. Но самое главное в письме, то, что наполняло меня таким восторгом, — каждая строка его, веселая, искренняя, живая, говорила не столько о добром намерении меня утешить, сколько о собственной радости. Быть может, ему не захочется к ней вернуться — я об этом догадывалась, более того, была в этом убеждена; но то в будущем. Настоящий же миг оставался не омрачен, чист, не замутнен; совершенный, ясный, полный, он осчастливил меня. Словно мимолетящий серафим присел рядышком, склонясь к моему сердцу, сдерживая трепет утешных, целящих, благословенных крыл. Доктор Джон, потом вы причинили мне боль; да простится вам все зло — от души вам прощаю — за этот бесценный миг добра!

Правда ли, что злые силы стерегут человека в минуты счастья? Что злые духи следят за нами, отравляя воздух вокруг?

На огромном пустом чердаке слышались странные шорохи. Среди них я точно различала словно бы тихие, крадущиеся шаги: словно бы со стороны темной ниши, осажденной зловещими плащами, ко мне подбирался кто-то. Я оглянулась; свеча моя горела тускло, чердак был велик, но — о господи, честное слово! я увидела посреди мрачного чердака черную фигуру; прямое, узкое черное платье; а голова перевязана и окутана белым.

Говори что хочешь, читатель; скажи, что я разволновалась, лишилась рассудка, утверждай, что письмо совсем выбило меня из колеи, объяви, что

мне все это приснилось; но клянусь — я увидела на чердаке в ту ночь образ, подобный монахине.

Я закричала; мне сделалось дурно. Приблизься она ко мне — я бы лишилась чувств. Но она отступила; я бросилась к двери. Уж не знаю, как одолела я лестницу. Миновав столовую, я побежала к гостиной мадам. Я к ней ворвалась. Я выпалила:

— На чердаке что-то есть. Я там была. Я видела. Пойдите все, поглядите!

Я сказала «все», потому что мне почудилось, будто в комнате множество народу. Оказалось же, что там всего четверо: мадам Бек, мать ее, мадам Кинт, дама с расстроенным здоровьем, у нее гостившая в ту пору, брат ее, мосье Виктор Кинт, и еще какой-то господин, который, когда я влетела в комнату, беседовал со старушкой, поворачив к дверям спину.

Верно, я смертельно побледнела от ужаса; я вся тряслась, меня бил озноб. Четверо вскочили со своих мест и меня обступили. Я молила их подняться на чердак. Заметив незнакомого господина, я осмелела; все же спокойней, когда у тебя под рукой двое мужчин. Я обернулась к двери, приглашая всех следовать за мной. Тщетно пытались они меня урезонить; я убедила их, наконец, подняться на чердак и взглянуть, что это там стоит. И тогда-то я вспомнила о письме, оставленном на поставце рядом со свечою. Бесценное письмо! Как могла я про него забыть! Со всех ног я бросилась наверх, стараясь обогнать тех, кого сама же и пригласила.

И что же! Когда я взбежала на чердак, там было темно, как в колодце. Свеча погасла. По счастью, кому-то — я полагаю, это мадам не изменили спокойствие и разум — пришло в голову захватить из комнаты лампу; быстрый луч прорезал густую тьму. Но куда же подевалось письмо? Оно теперь больше меня занимало, чем монахиня.

— Письмо! Письмо! — Я стонала, я задыхалась. Я ломала руки, я шарила по полу. Какая жестокость! Средствами сверхъестественными отнять у меня мою отраду, когда я не успела еще ею насладиться!

Не помню, что делали остальные, я их не замечала; меня расспрашивали, я не слышала расспросов; обыскали все углы; толковали о беспорядке на вешалке, о дыре, о трещине в стекле на крыше — бог знает о чем еще, не знаю.

«Кто-то либо что-то тут побывало» — таково было мудрое умозаключение.

— Ох! У меня отняли мое письмо! — сама не своя, вопила бедная одержимая.

— Какое письмо, Люси? Девочка моя, какое письмо? — шепнул

знакомый голос прямо мне в уши. Поверить ли ушам? Я не поверила. Я подняла глаза. Поверить ли глазам? Неужто это тот самый голос? Неужто передо мной лицо самого автора письма? Неужто передо мной на темном чердаке — Джон Грэм, доктор Бреттон собственной персоной?

Да, это был он. Как раз в тот вечер его позвали пользоваться бедную мадам Кинт; он-то и разговаривал с нею в столовой, когда я туда влетела.

— Речь о моем письме, Люси?

— Да, да, о нем. О письме, которое вы ко мне писали. Я пришла сюда, чтоб прочесть его в тишине. Я не нашла другого места. Весь день я его берегла — я его не открывала до вечера. Я едва успела его пробежать. Неужто я его лишусь! Мое письмо!

— Тш-ш! Зачем же так убиваться? Полноте! Пойдемте-ка лучше из этой холодной комнаты. Сейчас вызовут полицию для дальнейших розысков. Нам не к чему тут оставаться. Пойдемте-ка лучше вниз.

Мои закоченелые пальцы очутились в его теплой руке, и он повел меня вниз, туда, где горел камин. Мы с доктором Джоном сели у огня. Он успокаивал меня с несказанной добротой, обещал двадцать писем взамен одного утраченного. Бывают слова и обиды, острые как нож, и раны от них, рваные и отравленные, никогда не заживают. Но бывают и утешения столь нежные, что эхо от них навсегда остается в ушах и до гробовой доски не умолкает, не гложет, и тепло их не стынет и согревает тоскующую душу до самой смерти. Пусть говорили мне потом, что доктор Бреттон вовсе не так прекрасен, как я вообразила, что душа его лишена той высоты, глубины и широты, какими я наградила ее в мечтах. Не знаю: он для меня был как родник для жаждущего путника, как для иззябшего узника — солнце. Я считала его прекрасным. Таков он, без сомненья, и был в те минуты.

Он с улыбкой спросил меня, отчего мне так дорого его письмо. Я не сказала, но подумала, что оно мне дороже жизни. Я ответила только, что не так уж много я получала на своем веку милых писем.

— Уверен, вы просто не прочитали его, вот и все, — сказал он. — Не то не стали бы вы так о нем плакать!

— Нет, я прочитала, да только один раз. Я хочу его перечесть. Как жалко, что оно пропало. — Тут уж я не удержалась и снова разразилась слезами.

— Люси, Люси, бедненькая! Сестричка моя крестная! (Если существует такое родство.) Да вот оно, вот оно, ваше письмо, нате возьмите! Ах, если б оно стоило таких слез, соответствовало бы такой нежной безграничной вере!

Любопытная черточка! Быстрый глаз заметил письмо на полу, и

столь же быстрая рука выхватила его прямо у меня из-под носа. Он упрятал его в жилетный карман. Будь мое отчаянье хоть на йоту поменьше, вряд ли бы он сознался в похищении письма и вернул его мне. Будь мои слезы чуть-чуть менее бурными и горячими, они бы, верно, лишь потешили доктора Джона.

Я до того обрадовалась, обретя письмо, что и не подумала упрекать его за попытку, я не могла скрыть радость. Однако ее выразило скорее мое лицо, чем слова. Говорила я мало.

— Ну, теперь вы довольны? — спросил доктор Джон.

Я отвечала, что довольна и счастлива.

— Хорошо же, — сказал доктор Джон. — Как вы себя чувствуете? Успокоились? Нет, я вижу, вы дрожите как осиновый лист.

Но мне самой казалось, будто я совершенно спокойна. Я уже не испытывала ужаса. Я овладела собой.

— Стало быть, вы в состоянии рассказать мне о том, что видели? Знаете ли, пока из ваших слов ничего нельзя понять. Вы вбежали в гостиную, белая как полотно, и твердили все о «чем-то», а о чем, непонятно. Это был человек? Или зверь? Что это было такое?

— Не стану я точно описывать, что видела, — сказала я, — если только кто-то еще не увидит то же самое. Пусть тот и расскажет, а я подтвержу. Иначе мне не поверят, решат, что я просто видела сон.

— Нет, лучше скажите, — убеждал меня доктор Джон. — Я как врач должен все выслушать. Вот я смотрю на вас как врач и читаю, быть может, то, что вы желаете утаить, — по глазам вашим, странно живым, беспокойным, по щекам, с которых схлынула вся кровь, по руке, в которой вы не в силах унять дрожь. Ну, Люси, говорите же.

— Вы смеяться станете...

— Не скажете — не получите больше писем.

— Вот вы уже и смеетесь.

— Я отниму у вас и сие единственное посланье. Оно мое, и, думаю, я вправе так поступить.

Я поняла, что он надо мною подтрунивает. Это меня успокоило. Но я сложила письмо и убрала с глаз долой.

— Прячьте на здоровье, я все равно, если захочу, его раздобуду. Вы недооцениваете мою ловкость рук. Я бы мог в цирке фокусы показывать. Мама утверждает, что у меня глаз такой же острый, как язык, а вы этого не замечали, верно, Люси?

— Нет, нет, правда, когда вы были еще мальчиком, я все это замечала. Тогда больше, чем теперь. Теперь вы сильный, а сила не нуждается в

тонкости. Но вы сохранили «un air fin»,^[286] как говорят в этой стране, заметный всякому, доктор Джон. Мадам Бек все разглядела и...

— И оценила, — засмеялся он. — У нее у самой он есть. Но верните мне мое письмо, Люси, вам оно, я вижу, недорого.

Я не ответила на его вызов. Грэм чересчур уж развеселился. На губах играла странная усмешка, нежная, но она лишь опечалила меня, в глазах мелькнули искорки — не злые, но и не обнадеживающие. Я поднялась уходить, не без унынья пожелав ему доброй ночи.

Обладая свойством чувствовать, проникать, угадывать чужое настроенье, удивительная его способность! — он тотчас понял мое невысказанное недовольство, почти неосознанный упрек. Он спокойно спросил, не обиделась ли я. Я покачала головой в знак отрицания.

— Тогда позвольте на прощанье сказать вам кое-что всерьез. Вы взволнованы до чрезвычайности. По лицу и поведению вашему, как бы вы ни держали себя в руках, я вижу точно, что с вами случилось. Вы остались одна на холодном чердаке, в мрачном склепе, темнице, пропахшей сыростью и плесенью, где, того гляди, схватишь простуду и чахотку — вам бы лучше и на миг туда не заходить, — и, верно, увидели (или вам это показалось) нечто ловко рассчитанное на то, чтоб вас поразить. Знаю, вас не испугать простыми страхами, вы не боитесь разбойников и прочее. Но думаю, страх вмешательства потусторонних сил способен совсем расстроить ваше воображение. Успокойтесь же. Все это нервы, я вижу. Объясните же, что вы видели.

— Вы никому не скажете?

— Ни одной живой душе. Положитесь на меня, как положились бы на отца Силаса. Возможно, я даже лучший хранитель тайн, хоть не дожил покамест до седых волос.

— И смеяться не будете?

— Возможно, и посмеюсь, ради вашей же пользы. Не издевки ради. Люси, я ведь вам друг, только вы по своей робости не хотите этому поверить.

Он правда смотрел на меня дружески; странная улыбка исчезла, погасли те искорки в глазах, сгладились странные складки у губ, глаз и носа, лицо выражало участие. Я успокоилась, прониклась к нему доверием и рассказала в точности все что видела. Еще прежде я поведала ему легенду об этом доме коротая время в тот октябрьский денек, когда мы с ним скакали верхом по Bois L'Etang.

Он задумался, и тогда мы услышали шаги на лестнице — все спускались.

— Они нам не помешают? — осведомился он, недовольно оглядываясь на дверь.

— Нет, они сюда не войдут, — ответила я. Мы сидели в малой гостиной, куда мадам не заходила вечерами и где просто каким-то чудом еще не погас огонь в камине. Все прошли мимо нас в столовую.

— Ну вот, — продолжал он. — Они станут толковать о ворах, грабителях и прочее. И пусть их. Ничего им не объясняйте, не рассказывайте никому о своей монахине. Она может снова вас посетить. Не пугайтесь.

— Стало быть, вы считаете ее, — сказала я в тайном ужасе, — плодом моего воображенья? И она может неожиданно-негаданно явиться снова?

— Я считаю ее обманом зренья. И боюсь, ей помогло дурное состояние вашего духа.

— Ох, доктор Джон. Неужто мне могло привидеться такое? Она была совсем как настоящая. А можно это лечить? Предотвратить?

— Лечить это надобно счастьем, предотвратить можно веселостью нрава возвращайте в себе и то и другое.

Возвращать счастье? Я не слыхивала более нелепой насмешки. И что означает подобный совет? Счастье ведь не картофель, который сажают и удобряют навозом. Оно сияет нам с небес. Оно — как божья роса, которую душа наша неким прекрасным утром вдруг пьет с чудесных трав рая.

— Возвращать счастье? — выпалила я. — А вы-то сами его возвращаете? И удастся это вам?

— Я от природы веселый. Да и беды меня пока минуют. Нам с матушкой было пригрозила одна напасть, но мы над ней насмеялись, отмахнулись от нее, и она прошла стороной.

— И это называете вы возвращать счастье?

— Я не поддаюсь тоске.

— А я сама видела, как она вас одолела.

— Уж не из-за Джиневры ли Фэншо?

— Будто она не сделала вас несчастным!

— Вздор, какие глупости! Вы же видите, теперь мне хорошо.

Если веселые глаза и лицо, излучающее бодрость и силу, могут свидетельствовать о радости — то ему и впрямь было хорошо.

— Да, вы не кажетесь унылым и растерянным, — согласилась я.

— Но почему же, Люси, и вам не глядеть и не чувствовать себя, как я, весело, смело, и тогда никаким монахиням и кокеткам во всем крещеном мире не подступиться к вам. Дорого б я дал, чтоб вы ободрились. Попробуйте.

— Ну, а что, если я вот сейчас приведу к вам мисс Фэншо?

— Клянусь вам, Люси, она не тронет моего сердца. Разве что единственным средством — истинной, о да! — и страстной любовью. Меньшей ценой ей прощенья не заслужить.

— Полноте! Да вы готовы были умереть за одну ее улыбку!

— Переродился, Люси, переродился! Помните, вы называли меня рабом. А теперь я свободен!

Он встал; в посадке головы, осанке его, в сияющих глазах, во всей манере, во всем — была свобода, не простая непринужденность, но прямое презрение к прежним узам.

— Мисс Фэншо, — продолжал он, — заставила меня пережить чувства, какие теперь мне уж не свойственны. Теперь уж я не тот и готов платить любовью за любовь, нежностью за нежность, и притом доброй мерой.

— Ах, доктор, доктор! Не вы ли сами говорили, что в натуре вашей искать препятствий в любви, попадаться в сети гордой бесчувственности?

Он засмеялся и ответил:

— Натура моя переменчива. Часто я сам же смеюсь над тем, что недавно поглощало все мои помыслы. А как вы думаете, Люси (это уже натягивая перчатки), придет еще ваша монахиня?

— Думаю, не придет.

— Если придет, передайте ей от меня поклон, поклон от доктора Джона, и умолите ее подождать его визита. Люси, а монахиня хорошенькая? Хорошенькое у нее лицо? Вы не сказали. А ведь это очень важно.

— У нее лицо было закутано белым, — сказала я. — Правда, глаза блестели.

— Неполадки в ведьминой оснастке! — непочтительно закричал он. — Но глаза-то хоть красивые — яркие, нежные?

— Холодные и неподвижные, — был ответ.

— Ну и господь с ней совсем. Она не будет вам докучать, Люси. А если придет, пожмите ей руку — вот так. Как вы думаете — она стерпит?

Нет, рукопожатье было, пожалуй, чересчур нежное и сердечное, так что призраку не стерпеть; такова же была и улыбка, которой сопровождалось рукопожатье и два слова: «покойной ночи».

Что же было на чердаке? Что нашли они там? Боюсь, они обнаружили немного. Сначала говорили о переворошенных плащах; но потом мадам Бек мне сказала, что висели они как всегда. Что же до разбитого стекла на крыше, то она утверждала, будто стекла там вечно бьются и трескаются;

вдобавок, недавно прошел ужасный ливень и град. Мадам с пристрастием допросила меня о причине моего испуга, но я рассказала ей только про смутную фигуру в черном. Слова «монахиня» я избегала тщательно, опасаясь, как бы оно тотчас не навело ее на мысль о романтических бреднях. Она велела мне молчать о происшедшем, ничего не говорить воспитанницам, учителям, служанкам; я удостоилась похвал за то, что благоразумно явилась сразу к ней в гостиную, а не побежала в столовую с ужасной вестью. На том и оставили разговоры о событии. Я же тайно и грустно размышляла наедине сама с собою о том, явилось ли странное существо из сего мира или из края вечного упокоенья; или оно и впрямь всего лишь порожденье болезни, которой я стала жертвой.

Глава XXIII

ВАШТИ

Грустно размышляла, сказала я? Нет! Новые впечатления мною завладели и прогнали мою грусть прочь. Вообразите овраг, глубоко упрятанный в лесной чащобе; он таится в туманной мгле. Его покрывает сырой дерн, бледные, тощие травы; но вот гроза или топор дровосека открывают простор меж дубов; свежий ветерок залетает в овраг; туда заглядывает солнце; и грустный холодный овраг оживает, и жаркое лето затопляет его сияньем блаженных небес, которых бедный овраг прежде и не видывал.

Я перешла в новую веру — я поверила в счастье.

Три недели минуло с события на чердаке, а в мой ларец, мою шкатулку, вернее, в ящик комода вдобавок к первому письму легли четыре ему подобных, начертанные той же твердой рукой, запечатанные той же отчетливой печатью, полные той же живой отрадой. Живой отрадой дарили они меня тогда; спустя годы я перечла их; милые письма, приятные письма, ибо тому, кто писал их, все было приятно в ту пору; два последних содержат несколько заключительных строк полувеселых-полунежных, — «в них чувств тепло, но не огонь». Со временем, любезный читатель, напиток сей отстоялся и стал весьма некрепким питьем. Но когда я отвела его впервые из источника, столь дорогого моему сердцу, он показался мне соком небесной лозы из кубка, который сама Геба^[287] наполнила на пиру богов.

Припомнив, о чем я говорила немного ранее, читатель, верно, захочет узнать, как отвечала я на эти письма: повинуюсь ли холодной строгой узде Рассудка или свободно велью Чувства?

Сказать по правде, я отдавала должное обоим. Я служила двум господам: я поклонялась в доме Риммона^[288] и возносила сердце к иной святыне. На каждое письмо я писала два ответа: один — чтоб излить душу, второй — для глаз Грэма.

Сначала мы вдвоем с Чувством изгоняли Рассудок за дверь, запирались от него на все замки и засовы, садились, клали перед собой бумагу, макали в чернильницу резвое перо и строчили о том, что лежало на сердце. Две страницы наполнялись завереньями в истинной склонности, в глубокой, горячей признательности (раз и навсегда замечу в скобках, что с

презрением отвергаю всякое подозрение в «пылких чувствах»; никакая женщина себе их не позволит, ежели на всем протяжении знакомства ее никогда не разуверяли в том, что им предаться было бы прямым безумием: никто не пускается в плаванье по морю Любви, если только не различит или не вообразит звезды Надежды над его бурными волнами); далее речь велась о трепетном почтении и привязанности, готовой принять на себя все беды и напасти, уготованные судьбою ее предмету, взвалить на себя все тяготы, лишь бы они миновали существо, достойное забот самых горячих, — и вот тут-то Рассудок ломился в дверь, сбивал все замки и засовы, мстительно хватал исписанные листы, читал, насмешничал, вымарывал, рвал, переписывал заново, складывал, запечатывал и отправлял адресату короткое, сдержанное посланье. И правильно делал.

Мне доставались не одни только письма; меня навещали, меня проводывали; всякую неделю меня приглашали на «Террасу»; со мной носились. Доктор Бреттон не преминул объяснить, отчего он так мил: «Чтоб прогнать монахиню». Он взялся отвоевать у ней ее жертву. Ему, по его словам, она решительно не нравилась, особенно из-за белого покрова на лице и холодных серых глаз; лишь только он услышал об отвратительных этих подробностях, он зажегся желаньем ее побороть; он задался целью проверить, кто из них двоих умнее, он или она, и мечтал лишь о том, чтоб она посетила меня в его присутствии; этого, однако же, не случилось. Словом, я была для него пациенткой, предметом научного интереса и средством проявить природное добродушие, заботливо и внимательно пользуя больную.

Однажды, вечером первого декабря, я одна бродила по сарге; было шесть часов, двери классов стояли закрытые, но за ними воспитанницы, пользуясь вечерней переменой, воссоздавали в миниатюре картину всемирного хаоса. Сарге тонуло во тьме, и лишь в камине сиял красный огонь; широкие стеклянные двери и высокие окна все замерзли; то и дело острый звездный луч прорезал выбеленную зимнюю завесь, расцвечивая бледные ее кружева и доказывая, что ночь ясна, хоть и безлунна. Я спокойно оставалась одна в темноте, и стало быть, нервы мои были уже не так расстроены; я думала о монахине, но ее не боялась, хоть лестница рядом со мною ступенька за ступенькой вела в черной слепой ночи на страшный чердак. Однако признаюсь, сердце во мне замерло и кровь застучала в висках, когда я вдруг различила шелест, дыханье и, обернувшись, увидела в густой тени лестницы тень еще более густую, и тень эта двигалась и спускалась. На миг она замерла у двери класса и скользнула мимо меня. И тотчас задрезжал колокольчик у входа; живой

звук вернул меня к жизни; смутная фигура была чересчур кругла и приземиста для моей изможденной монахини; то мадам Бек спустилась исполнять свои обязанности.

— Мадемуазель Люси! — с таким криком Розина явилась из тьмы коридора с лампой в руке. — on est la pour vous en salon. [\[289\]](#)

Мадам видела меня, я видела мадам, Розина видела нас обеих; взаимных приветствий не последовало. Я бросилась в гостиную. Там нашла я того, кого, признаюсь, и ожидала найти, — доктора Бреттона; но он был в вечернем костюме.

— У дверей стоит карета, — объявил он. — Мама послала за вами везти вас в театр; она сама туда собиралась, но к ней приехали гости; и она сказала мне — возьми с собой Люси. Вы поедете?

— Сейчас? Но я не одета! — воскликнула я, невольно оглядывая свою темную кофту.

— У вас остается еще целых полчаса. Я бы вас предупредил, да сам надумал ехать только в пять часов, когда узнал, что спектакль ожидается удивительный, с участием великой актрисы.

И он назвал имя, которое привело меня в трепет, которое в те дни привело бы в трепет всякого. Теперь его замалчивают, утихло некогда неугомонное его эхо, та, что его носила, давно лежит в земле, над ней давно сомкнулись ночь и забвенье; но тогда солнце ее славы стояло в жарком зените.

— Я иду. Я через десять минут буду готова, — пообещала я. И я убежала, даже и не подумавши о том, о чем, верно, подумали сейчас вы, мой читатель, что являться на люди с Грэмом без сопровождения мадам Бреттон мне, быть может, и не следовало. Такая мысль не могла даже родиться у меня в голове, тем более не могла я высказать ее Грэму, иначе бы я стала жертвой собственного презренья, меня бы стал жечь огонь стыда, столь неугасимый и пожирающий, что я бы его не вынесла. Да и крестной моей, знавшей меня, знавшей своего сына, следить в роли дуэнья за братом и сестрой показалось бы так же нелепо, как держать платного шпиона, стерегущего наш каждый шаг.

Нынешний случай был не такой, чтоб наряжаться в пух и прах; я решила надеть мое дымчатое платье и стала искать его в дубовом шкафу в спальне, где висело не меньше сорока вещей. Но в шкафу произвели реформы и нововведения, чья-то прилежная рука кропотливо расчистила ряды одежд и кое-что перенесла на чердак, в том числе и мой наряд. Я отправилась туда. Я взяла ключ и пошла наверх бесстрашно, почти бездумно. Я открыла дверь и вошла. И что же! Вы, быть может, не

поверите, мой читатель, но я нашла на чердаке не ту темноту, какой ожидала. Откуда-то его озарял торжественный свет, словно от огромной звезды. Он светил так ясно, что я различила глубокий альков, задернутый красным линиялым пологом; и вдруг, на глазах у меня, все исчезло — и звезда, и полог, и альков; на чердаке сгустилась тьма; у меня не было ни времени, ни охоты расследовать причины этого дива. Быстро сдернула я с крюка на стене свое платье, дрожащей рукой заперла дверь и опрометью кинулась вниз, в спальню.

Однако меня так трясло, что я не могла одеться сама. Такими руками не уберешь волосы, не застегнешь крючки. Потому я призвала Розину и дала ей взятку. Взятка пришлась по душе Розине, и уж она постаралась мне угодить: расчесала и убрала мои волосы, не хуже любого парикмахера, кружевной ворот приладила с математической точностью, красиво повязала бархотку — словом, сделала свое дело, как проворная Филлида, ^[290] какой она умела стать, когда пожелает. Дав мне в руки платочек и перчатки, она со свечой сопровождала меня вниз; я позабыла шаль, она кинулась за нею; и вот мы с доктором Джоном стояли внизу, ожидая ее.

— Что с вами, Люси? — спросил он, пристально в меня вглядываясь. Опять вам не по себе. О! Снова монахиня?

Я горячо отрицала его подозрения. Он уличал меня в том, что я снова поддавалась обману чувств, и раздосадовал меня. Он не хотел мне верить.

— Она приходила, клянусь, — сказал он. — Являясь к вам на глаза, она оставляет в них отблеск, какой ни с чем не смешашь.

— Но ее не было, — настаивала я; и ведь я не лгала.

— Вернулись прежние признаки болезни, — утверждал он, — особенная бледность и то, что француз назвал бы «опрокинутое лицо».

Его было не переспорить, и я сочла за благо рассказать ему обо всем, что увидела. Разумеется, он рассудил по-своему: мол, все порождение тех же причин, обман зренья, расстроенные нервы и прочее. Я ни на йоту ему не поверила; но противоречить ему не решилась — доктора все такие упрямы, так неколебимы в своих сухих материалистических воззрениях.

Розина принесла шаль, и меня усадили в карету.

Театр был полон, набит битком, явилась придворная и знатная публика, обитатели дворца и особняков хлынули в партер и кресла, заполняя зал сдержанным говором. Я радовалась чести сидеть перед этим занавесом и ждала увидеть существо, чья слава наполняла меня таким нетерпением. Оправдает ли она мои надежды? Готовясь судить ее строго и беспристрастно, я, однако ж, не могла оторвать глаз от сцены. Я еще не видывала людей столь необыкновенных и хотела воочию удостовериться в

том, что являет собой великая и яркая звезда. Я ждала, когда же она взойдет.

Она взошла в девять часов в тот декабрьский вечер. Над горизонтом засияли ее лучи. Свет их еще был полон ровной силы; но эта звезда уже клонилась к закату; вблизи различались в ней признаки близкой гибели, упадка. Так яркий костер еще догорает, но вот-вот рассыплется темной золой.

Мне говорили, будто эта женщина дурна собою, и я ожидала увидеть черты грубые и резкие, нечто большое, угловатое, желтое. Увидела же я тень царственной Вашти: королева, некогда прекрасная, как ясный день, потускнела, как сумерки, истаяла, как восковая свеча.

Сперва, и даже долго, она мне казалась всего лишь женщиной, хоть и удивительной женщиной, в силе и славе двигавшейся перед пестрым собранием. Скоро я поняла свое заблуждение. Как я ошиблась в ней! Я увидела перед собой не женщину, вообще не человека; в обоих глазах сидело у ней по черту. Исчадья тьмы питали ее слабые силы — ибо она была хрупким созданием; действие шло, росло волнение, и они все более сотрясали ее страстями преисподней. Они начертали на ее высоком челе слово «Ад». Они придали голосу ее мучительные звуки. Они обратили величавое лицо в сатанинскую маску. Они сделали ее живым воплощением Ненависти, Безумия, Убийства.

Удивительный вид — тоска смотреть. На сцене творилось нечто низкое, грубое, ужасное.

Пронзенный шпагой фехтовальщик, умирающий в своей крови на песке арены, конь, вспоротый рогами быка, — не так возбуждали охочую до острых приправ публику, как Вашти, одержимая сотней демонов — вопящих, ревуших, неотступных.

Страдания осаждали царицу сцены; и она не покорялась им, не сдавалась, ими не возмущалась, нет, — неуязвимая, она жаждала борьбы, ждала новых ударов. Она стояла не в платье, но окутанная античным плащом, прямая и стройная, подобно статуе. На пурпурном фоне задника и пола она выделялась, белая, как алебастр, как серебро, — нет, как сама Смерть.

Где создатель Клеопатры? Пусть бы явился он сюда, сел и поглядел на существо, столь непохожее на его творенье. Он не нашел бы в нем мощи, силы, полнокровия, плоти, столь им боготворимой; пусть бы пришли все материалисты, пусть бы полюбовались.

Я сказала, что муки ее не возмущают. Нет, слово это чересчур слабо, неточно и оттого не выражает истины. Она словно видит источник скорбей

и готова тотчас ринуться с ними в бой, одолеть их, низвергнуть. Сама почти бесплотная, она устремляется на войну с отвлеченностями. В борьбе с бедой она тигрица, она рвет на себе напасти, как силок. Боль не ведет ее к добру, слезы не приносят ей благой мудрости, на болезни, на самое смерть смотрит она глазами мятежницы. Дурная, быть может, но сильная, она силой покорила Красоту, одолела Грацию, и обе пленницы, прекрасные вне сравнения, столь же несравненно ей послушны. Даже в минуты совершенного неистовства все движения ее царственны, величавы, благородны. Волосы, растрепавшиеся, как у бражницы или всадницы, — все же волосы ангела, сияющие под нимбом. Бунтующая, поверженная, сраженная, она все же помнит небеса. Свет небес следует за нею в изгнание, проникает его пределы и озаряет их печальную оставленность.

Поставьте перед ней препятствием ту Клеопатру или иную ей подобную особу, и она пройдет ее насквозь, как сабля Саладина вспарывает пуховую подушку. Воскресите Пауля Петера Рубенса, поднимите из гроба, поставьте перед нею вместе с полчищами пышнотелых жен — и она, этот слабый жезл Моисеев, одаренный волшебной властью, освободит очарованные воды, и они хлынут из берегов и затопят все их тяжкие сопмы.

Мне говорили, что Вашиш недобра; и я уже сказала, что сама в этом убедилась; хоть и дух, однако ж дух страшного Тофета.^[291] Но коли ад порождает нечестивую силу, такую могучую, не прольется ли однажды ей в ответ столь же сильная благодать свыше?

Что думал о ней доктор Грэм? Я надолго забыла на него смотреть, предлагать ему вопросы. Власть таланта вырвала меня из привычной орбиты; подсолнух отвернулся от юга и повернулся к свету более яркому, не солнечному, — к красной, раскаленной слепящей комете. Я и прежде видывала актерскую игру, но не предполагала, что она может быть такой — так сбивать с толку Надежду, так ставить в тупик Желанье, обгонять Порыв, затмевать Догадку; вы не успели еще вообразить, что покажут вам через мгновенье, не успели ощутить досаду, оттого что вам этого не показали, а уж душу вашу захватил восторг, будто бурный поток низвергся шумным водопадом и подхватил ее, словно легкий лист.

Мисс Фэншо с присущей ей зрелостью суждений объявила доктора Бреттона человеком серьезным, чувствительным, слишком мрачным и слишком внушаемым. Мне он никогда не являлся в таком свете, подобных недостатков я не могу ему приписать. Он не склонен был ни к задумчивости, ни к излишностям; впечатлительный, как текущая вода, он почти как вода не был внушаем — легкий ветерок мог его всколыхнуть и он мог выстоять в языках пламени.

Доктор Джон умел думать, и думать хорошо, но он был человек действия, не мысли; он умел чувствовать, и чувствовать живо, но он не отдавался порывам; глаза его и губы вбирали светлые, нежные, добрые впечатления, как летние облака вбирают баgreц и серебро, зато все, что несет грозу, бурю, пламя, опасность, оставляло его чуждым и безучастным. Когда я наконец-то взглянула на него, я, к облегчению своему, обнаружила, что он следит за мрачной, всеильной Вашти не с изумлением, не с восхищением и не со страхом даже, а лишь с большим любопытством. Ее муки его не задевали, ее стоны хуже всяких воплей — его не трогали, неистовство ее, пожалуй, его отталкивало, но не внушало ему ужаса. Холодный юный бритт! Бледные скалы его родного Альбиона не так спокойно смотрят в воды канала, как он смотрел сейчас на жреческий огонь искусства!

Глядя на его лицо, я захотела узнать его точное суждение и наконец спросила, что он думает о Вашти. Звук моего голоса словно разбудил его ото сна, ибо он глубоко погрузился в собственные думы.

— М-м, — был его первый, не вполне внятный, зато выразительный ответ; а затем на губах его заиграла странная усмешка, холодная, почти бессердечная. Полагаю, как подобным натурам он и был бессердечен. Несколькими сжатыми фразами он высказал свое мнение о Вашти. Он судил о ней не как об актрисе, но как о женщине, и приговор оказался безжалостным. Вечер уже был отмечен в моей книге жизни не белым, но ярко-красным крестом. Но еще он не кончился; ему суждено было навсегда остаться в моей памяти, запечатлеться в ней неизгладимыми буквами благодаря еще одному важному событию.

Перед самой полуночью, когда трагедия подошла к финалу, к сцене смерти, и все затаили дыхание, и даже Грэм закусил губу, наморщил лоб и затих, когда все замерли, и все глаза устремились в одну точку, уставясь на белую фигуру, дрожащую в борьбе с: последним, ненавистным, одолевающим врагом, когда все уши вслушивались в стоны, хрипы, все еще исполненные непокорства, когда смерть на вызов и нежелание ее принять отвечала последним «нет» и всеильным «покорись», — тогда-то по залу пронесся шорох, шелест и за сценой раздался топот ног и гул голосов. «Что случилось?» — спрашивали все друг у друга. И запах дыма был ответом на этот вопрос.

— Горим! — пронеслось по галерее. — Горим! — повторяли, кричали, орали сотни голосов; и затем, с быстротой, за какой не поспеть моему перу, театр охватило ужасное, жестокое и слепое волнение.

А что же доктор Джон? Читатель, я и теперь еще так и вижу его лицо,

спокойное и смелое.

— Я знаю, Люси, вы будете сидеть тихонько, — сказал он, глядя на меня с точно той же ясной добротой и твердостью, какую я видела в нем, сидя в уютной тишине у очага его матушки. С такой поддержкой я, верно, сидела бы тихонько и под рушащейся скалой; тем более что и природа моя подсказывала мне то же, я б не шелохнулась ни за что на свете, только б не нарушить его волю, не ослушаться его, ему не помешать. Мы сидели в креслах, и через несколько секунд нас уже отчаянно теснили.

— Как женщины напуганы! — сказал он. — Но если б мужчины им не уподоблялись, легко было б сохранить порядок. Печальная картина — я вижу пятьдесят себялюбивых грубиянов, не меньше, которых, будь я к ним поближе, я с удовольствием бы вздул. Иные женщины смелей мужчин. Вон там, например... О боже!

Покуда Грэм говорил, молодую девушку, спокойно державшуюся за локоть седовласого господина неподалеку от нас, какой-то громила оттеснил от спутника и повалил прямо под ноги толпе. Грэм, не теряя ни секунды, бросился на выручку; вместе с седовласым господином они растолкали толпу, и Грэм поднял пострадавшую. Голова ее откинулась ему на плечо, длинные волосы разметались; она была, кажется, без памяти.

— Доверьте ее мне, я врач, — сказал доктор Джон.

— Если вы без дамы, будь по-вашему, — отвечал господин. — Несите ее, а я расчищу дорогу; надо поскорей вынести ее на свежий воздух.

— Я с дамой, — сказал Грэм. — Но она не будет нам помехой.

Он взглядом подозвал меня к себе; толпа уже нас разделила. Я решительно к нему устремилась и, как могла, то бочком, то чуть ли не ползком, протиснулась сквозь толпу.

— Держитесь за меня покрепче, — приказал он, и я послушалась.

Вожатый наш оказался сильным и ловким; он клином врезался в людскую гущу; с терпением и упорством он наконец прорубил живую скалу — горячую, плотную, копошащуюся — и вывел нас под свежий, прохладный покров ночи.

— Вы англичанин! — обратился он к доктору Бреттону, едва мы очутились на улице.

— Англичанин. И, верно, имею честь разговаривать с соотечественником? — был ответ.

— Да. Прошу вас, побудьте здесь минутку, покуда я отыщу свою карету.

— Со мной ничего не случилось, — произнес девичий голос. — А где папа?

— Я ваш друг, а папа неподалеку.

— Скажите ему, что со мной ничего не случилось, только плечо болит. Ой! На него наступили.

— Возможно, растяжение, — пробормотал доктор. — Надо надеяться, ничего больше. Люси, дайте-ка руку.

Я помогла ему поудобней устроить девочку. Она сдерживала стоны и лежала у него на руках тихо и послушно.

— Какая легонькая, — сказал Грэм, — совсем ребенок! — И он шепнул мне на ухо: — Она еще маленькая, да, Люси? Вы не заметили, сколько ей лет?

— Вовсе я не ребенок, мне уже семнадцать лет, — с достоинством возразила его пациентка. И тотчас добавила: — Пусть папа придет, мне без него страшно.

Карета подъехала. Отец девочки сменил Грэма. Но передавая ее из рук в руки, ей причинили боль, и она застонала.

— Милая моя, — сказал отец нежно. И обратился к Грэму: — Вы говорите, сэр, что вы врач?

— Да. Доктор Бреттон с «Террасы».

— Не угодно ли сесть в мою карету?

— Меня ждет моя. Я пойду поищу ее и поеду следом.

— Сделайте милость. — И он назвал свой адрес: — Отель Креси на улице Креси.

Мы отправились следом за ними. Кучер гнал. Мы с Грэмом оба молчали. Начиналось необычайное приключение.

Мы не сразу нашли свою карету и добрались до «отеля» минут через десять после незнакомцев. То был «отель» в здешнем понимании слова — целый квартал жилых домов, не гостиница — просторные, высокие здания, с огромной аркой над воротами, ведущими крытым переходом во внутренний дворик.

Мы высадились, прошли по широким мраморным ступеням и вошли в номер второй во втором этаже: бельэтаж, как объяснил мне Грэм, отвели какому-то русскому князю. Мы снова позвонили в дверь и получили доступ к анфиладе прекрасных покоев. Слуга в ливрее доложил о нас, и мы ступили в гостиную, где по-английски горел камин, а на стенах сверкали чужеземные зеркала. У камина теснилась группка — легкое созданище тонуло в глубоком кресле, подле хлопотали две женщины и стоял седой господин.

— Где Хариет? Пусть она придет ко мне! — слабо произнес девичий голосок.

— Где миссис Херст? — нетерпеливо и строго осведомился седой господин у доложившего о нас слуги.

— Барышня, на беду, сама отпустила ее до завтра.

— Да, верно. Я отпустила ее. Она поехала к сестре. Я отпустила ее, теперь я вспомнила, — откликнулась барышня. — Так жаль. Манон и Луизон ни слова моего не понимают и, сами того не желая, делают мне больно.

Доктор Джон и господин, обменявшись поклонами, принялись совещаться, а я тем временем направились к креслу и сделала все, о чем просила бедняжка. Я еще помогала ей, когда подошел Грэм; столь же умелый костоправ, как и врачеватель прочих недугов, осмотрев больную, он заключил, что случай несложный, серьезных повреждений нет и он справится сам. Он велел горничным отнести ее в спальню и шепнул мне на ухо:

— Идите и вы, Люси; они, кажется, бестолковые. Последите за ними, чтоб не сделали ей больно. С ней надо обращаться очень осторожно.

Спальню затеняли тяжелые голубые шторы и дымка муслиновых занавесок; постель показалась мне снежным сугробом или облаком, до того была она воздушная, сверкающая, пушистая. Отстранив женщин, я раздела их госпожу без их помощи, добронамеренной, но неловкой. Тогда мне было не до того, чтоб замечать отдельные предметы ее одежды, но я вынесла общее впечатление изысканности, утонченности, изящества, и уж потом, размышляя на досуге, я дивилась тому, насколько непохоже все это на оснастку мисс Джиневры Фэншо.

Сама девушка была маленькая, хрупкая и сложена как статуя. Откинув ее густые, легкие волосы, мягкие, сияющие и ароматные, я разглядела юное, измученное, но благородное лицо, лоб, ясный и гладкий; тонкие, неяркие брови, ниточками убегающие к вискам; природа подарила ей удивительные глаза; огромные, глубокие, ясные, они словно господствовали над остальными чертами, быть может, в иное время и значительными, но сейчас попросту жалкими. Кожа была гладкая и нежная, шею и руки, словно цветочные лепестки, испещряли нежные жилки; тонкий ледок гордости подернул эти черты, а изгиб рта, без сомнения неосознанный, привелось мне увидеть его впервые в обстоятельствах иных, более счастливых, показался бы мне непозволительным свидетельством того, что юная особа чересчур о себе мнит.

Поведение ее, когда доктор Джон ее осматривал, сперва вызывало у меня улыбку; она вела себя ребячески, но твердо, однако же вдруг обращалась к нему со странной резкостью и требовала, чтоб он

поосторожней ее трогал и не мучил. Большие глаза то и дело устремлялись на его лицо, словно изумленный взгляд милого ребенка. Не знаю, чувствовал ли Грэм, что она его изучает, но если и чувствовал, но ничем себя не выдал и ни разу не спугнул ее ответным взглядом. Он делал свое дело с редким тщанием и заботой, стараясь, сколько возможно, не причинять ей боли, и был вознагражден произнесенным сквозь зубы:

— Спасибо, покойной ночи, доктор.

Она едва пробормотала эти слова, однако же, скрепила их глубоким, прямым взором, удивительно твердым и пристальным.

Повреждения оказались неопасны; отец ее встретил это заключение с улыбкой, такой благодарной и счастливой, что она тотчас меня к нему расположила. Он принялся выказывать Грэму свою признательность, оставаясь, разумеется, в рамках, какие положены англичанину в обращении к незнакомцу, пусть и сослужившему ему добрую службу; он пригласил его завтра же прийти.

— Папа, — раздался голос из-за полога постели. — Поблаговари и даму. Она еще здесь?

Я раздвинула полог и с улыбкой посмотрела на нее. Боль отпустила ее, и она лежала спокойно, бледная, но хорошенькая. Тонкое ее лицо, верно, лишь с первого взгляда казалось гордым и заносчивым; я уже начинала угадывать в нем нежность.

— Я весьма признателен нашей новой знакомой, — откликнулся отец, — за ее доброту к моей дочери. Уж и не знаю, как рассказать миссис Херст о том, кто ее заменил; боюсь, как бы она не стала ревновать и стыдиться.

Полные самых дружеских чувств, мы откланялись, отказались от гостеприимного приглашения подкрепиться, сославшись на поздний час, и покинули отель Креси.

На возвратном пути мы проезжали мимо театра. Он тонул во тьме. Стояла мертвая тишина; ревущая, бурлящая толпа исчезла, будто не бывала; фонари погасли, как и злополучное пламя. На другое утро газеты сообщали, что это искра упала на обрывок декорации, он вспыхнул, но его тотчас погасили.

Глава XXIV

МОСЬЕ ДЕ БАССОМПЬЕР

Того, кто обречен жить в тиши, кому выпала жизнь в стенах школы или другого отгороженного от мира прибежища, порой надолго забывают друзья, обитатели шумного света. Вдруг, ни с того ни с сего, после особенно частых встреч, которые сулили оживление, а не прекращение дружбы, — наступает пауза, полное молчание, долгая пустота забвенья. Ничто не нарушает этой пустоты, столь же полной, сколь и необъяснимой. Нет больше писем, прежде приходивших то и дело; нет визитов, ставших уже привычными; почта не приносит ни книг, ни бумаги, никаких вестей.

Всегда сыщутся причины этим перерывам, только они неведомы бедному отшельнику. Покуда он томится в тесной келье, знакомцы его кружатся в вихре света. Пустые дни катятся для него так медленно, что бескрылые часы едва влекутся, словно унылые бродяги, не чающие добраться до межевого столба, а то же самое время, быть может, для друзей его полно событий и летит, не успевая оглядеться.

Отшельнику, ежели он отшельник разумный, — остается забыть обо всем, не предаваться ни чувствам, ни мыслям и пережидать холод. Ему следует понять, что Судьба судила ему уподобиться маленькому зверьку соне и не горевать о себе, свернуться калачиком, забиться в норку, покориться и перезимовать во льду.

Ему остается сказать себе: «Что поделать, чему быть, того не миновать». И быть может, в один прекрасный день отворится ледяной склеп, повеет весною, его согреет луч солнца и теплый ветерок; колыханье трав, птичий щебет и пенье раскованных струй коснется его слуха, призывая к новой жизни. Это может случиться, но может и не случиться. Сердце его может сковать мороз так, что оно уж не оттает. Теплой веселой весной лишь косточки бедного сони могут достаться ворону или сороке. Но даже и тогда — что поделать! С самого начала ему следовало помнить о том, что он смертен и однажды пройдет путь всякой плоти.

После того знаменательного вечера в театре для меня настали семь недель пустых, как семь листов белой бумаги; ни слова не начерталось на них, ни встречи, ни знака.

Когда прошла половина этого срока, я стала тревожиться, не случилось ли чего с моими друзьями на «Террасе». Середина пустоты —

всегда самое тяжкое для затворника время: нервы напряжены долгим ожиданием; страхи и сомнения, которые он прежде отгонял, набирают силу и мстительно на него набрасываются всею ордой. Даже ночь не несет ему покоя, сон бежит от него, ложе его осаждают вражеские силы, полчища мрачных видений, с угрозой всеобщей гибели во главе, смыкают свои ряды и на него наступают. Бедняга! Напрасно тщится он их побороть, где ему выстоять против них, жалкому одиночке!

На последней из этих долгих семи недель я уступила мысли, в которой целых шесть недель не хотела себе признаться, — что пустот таких не избежать, что они следствие обстоятельств, указ судьбы, моя участь, и главное — о причине их нечего и дознаваться, и винить решительно некого. Разумеется, я не стала корить себя за то, что мучаюсь, слава богу, в моей душе есть справедливость и она не допускала меня до подобной глупости, но упрекать других за молчанье — для этого я слишком хорошо их знала, считала безупречными, и здесь мой ум был с сердцем в ладу. Но на моем долгом и тернистом пути я томилась по лучшим дням. Чего только я не перепробовала, чтоб скоротать одинокие часы: затеяла плести мудреное кружево, корпела над немецкими глаголами, перечла все самые толстые и скучные книжки, какие отыскились на полках; и все это с большим прилежаньем. Быть может, я просто выбирала занятия невпопад? Не знаю. Знаю только, что успех был такой же точно, как если б я жевала оглоблю, чтобы насытиться, или пила рассол, чтобы утолить жажду.

Час мучений наступал, когда ждали почту. Увы, я хорошо знала, когда ее приносят, и тщетно старалась себя обмануть и отвлечь, страхась пытки ожидания и горечи обманутой надежды, ежедневно предварявших и сопровождавших слишком знакомый звонок.

Думаю, звери, которых держат в клетках и кормят так скудно, что они едва не гибнут с голоду, ждут кормежки с тем же нетерпением, с каким я ожидала письма. Ох! Говоря по правде и отступая от притворно спокойного тона, в каком уже нет сил продолжать больше, за семь недель я пережила непереносимую боль и страх, мучилась догадками, не раз теряла всякую веру в жизнь и делалась добычей отчаянья самого горького. Тоска камнем давила мне на сердце, и оно даже билось с трудом, мучительно ее одолевая. Письмо, милое письмо никак не приходило; а мне не было иной отрады.

Совершенно истомясь, я снова и снова прибегала к одному и тому же средству: я перечитывала пять старых писем.

Как быстро пролетел блаженный месяц, свидетель пяти этих дивных чудес! Я принималась за них всегда ночью и, не смея каждый вечер спрашивать свечу на кухне, купила себе тоненькую свечку и спички,

прокрадывалась с нею в спальню и лакомила черствой коркой на пиру Бармесидов.^[292] Она меня не насыщала. Я чахла и скоро исхудала, как тень. А ведь других болезней у меня не было.

Однажды вечером я перечитывала письма уже не без досады, от непрерывного мельканья в глазах их строки начинали терять значение и прелесть; золото осыпалось сухой осенней листвой, и я горевала об его утрате — как вдруг на лестнице раздались быстрые шаги. Я узнала походку мисс Джиневры Фэншо. Верно, она ужинала в городе, теперь воротилась и собиралась повесить в шкаф шаль или что-то еще. Так и есть. Она явилась, разодетая в пестрые шелка, шаль сползла с плеч, локоны развились от сырости и небрежно падали ей на плечи. Я едва успела спрятать и запереть свои сокровища, а она уже стояла рядом со мной и была, кажется, в прескверном расположении духа.

— Какой глупый вечер. Какие они глупые, — начала она.

— Кто? Уж не миссис ли Чамли? А мне казалось, что вам очень нравится у нее бывать.

— Я не была у миссис Чамли.

— Вот как? Вы еще с кем-то подружились?

— Приехал мой дядя де Бассомпьер.

— Дядя де Бассомпьер! И вы не рады? А я-то думала, что вы его обожаете.

— И неверно думали. Он несносен. Я его ненавижу.

— Оттого, что он иностранец? Или по какой-то еще столь же важной причине?

— Вовсе он не иностранец. Он, слава богу, англичанин. И года три назад еще прекрасно носил английскую фамилию. Но мать у него была иностранка, де Бассомпьер, и кто-то у нее в семье умер и оставил ему титул, состояние и эту фамилию; теперь он большой человек.

— Оттого-то вы и возненавидели его?

— А знаете, что про него мама говорит? Он мне не родной дядя, а муж тетки. Мама его не выносит, она говорит, что он свел в могилу бедную тетю Джиневру. Злючка, так волком и смотрит. Ужасный вечер! — продолжала она. Больше я не пойду к нему в отель. Вообразите — я вхожу в комнату, одна, а старый пятидесятилетний дядя выходит ко мне, но, не поговорив со мной и пяти минут, поворачивает мне спину, — и это буквально! — а потом вдруг выходит из комнаты. Ну и манеры! Видно, его совесть мучит, ведь говорят, я вылитая тетя Джиневра. Мама говорит, я до смешного на нее похожа.

— Вы были единственной гостьей?

— Единственной гостьей? Да. Потом пришла девчонка, моя кузина. Она такая неженка, он так с нею носитя.

— Значит, у мосье де Бассомпьера есть дочь?

— Да, да. Вы просто истерзали меня расспросами. Господи! Я так устала!

Она зевнула. Без всяких церемоний она растянулась на моей кровати и добавила:

— Кажется, мадемуазель чуть не в кашу раздавили, когда была толкучка в театре, месяца два тому назад.

— А вот оно что! Так они живут в большом отеле на улице Креси, да?

— Именно там. Откуда вы знаете?

— Я там была.

— Вы? Любопытно! Где только вы не бываете! Верно, вас повезла туда матушка Бреттон. Они с эскулапом вхожи в отель. Кажется, «мой сын Джон»^[293] пользовал мамзель после несчастного случая. Несчастный случай! Вздор! Помяли ее не больше, чем она того заслуживает за свое зазнайство! А теперь там завязалась такая дружба! Я уж слышала и про «Товарища юных дней», и бог знает про что еще. Ох, до чего же они все глупы!

— Все! Вы же, говорите, были единственной гостьей.

— Я так сказала? Ну, просто старуха с сыном не в счет.

— Доктор и миссис Бреттон тоже были у мосье де Бассомпьера?

— О! В натуральную величину; и мамзель разыгрывала из себя хозяйку. Надутая кукла!

Мисс Фэншо вяло и равнодушно поведала о причинах своего изнеможенья. Ей не курили фимиама, не расточали любезностей, кокетство ее не попадало в цель, тщеславие потерпело крах. Она негодовала.

— Но теперь-то мисс де Бассомпьер уже здорова? — спросила я.

— Конечно, здорова, как мы с вами. Только она ужасная притворщица и корчит из себя больную, чтоб с нею носились. И вы бы посмотрели, как старый вдовец укладывает ее на софу, а «мой сын Джон» запрещает ей волноваться и прочее. Отвратительное зрелище!

— Оно не было бы столь отвратительно, если б предмет забот изменился и на месте мисс де Бассомпьер оказались вы.

— О! Ненавижу этого Джона! «Мой сын Джон».

— Да кого вы означаете этим именем? Мать доктора Бреттона никогда его так не называет.

— И напрасно. Шут гороховый!

— Тут вы грешите против истины. Эта последняя капля переполняет

чашу моего терпенья, и я настоятельно вас прошу встать с моей кровати и удалиться из комнаты.

— Какие страсти! А личико-то покраснело, как маков цвет! И отчего это вы всегда так горячо заступаетесь за Джона? «Джон Андерсон, мой друг!» Прелестное имя!

Кипя злостью, которой дать выход было бы прямым безумием, — как сладить с этим невесомым перышком, легкокрылым мотыльком! — я задула свечу, заперла стол и оставила Джиневру, раз уж она не захотела меня оставить. Всегдашняя пустышка стала вдруг уморительно желчной.

На другой день был четверг, так что классов почти не было. Отзавтракали; я забила в дальний угол. Страшный час, час почты близился, и я ждала его, как одержимый видениями ждет, верно, появления призрака. Письма сегодня вряд ли следовало ждать, но, как ни старалась, я не могла отогнать мысль о том, что прийти оно все-таки может.

Минуты бежали одна за другой, и страх и тревога терзали меня почти непереносимо. Дул зимний восточный ветер, а я давно уж изучила свойства ветров, такие незаметные, такие неважные для людей благополучных. Восточный и северный влияют на нас дурно, все боли делают они вдвойне мучительней, все горести вдвойне печальней. Южный ветер порой успокаивает, западный иногда бодрит, если только не несет на своих крыльях грозowych туч, тяжелых, гнетущих, давящих на всякую волю.

Помню, в тот серый, печальный январский день я выбежала за двери, простоволосая, побежала в глубь сада и затаилась меж голых кустов, в унылой надежде, что звонок почтальона не достигнет моего слуха и пощадит нервы, измученные одной несчастной мечтой. Я пробыла там, сколько возможно было пробыть, не привлекая внимания к своему отсутствию. Я закутала голову передником и заткнула уши, страшась ужасного звонка, за которым, я знала, последуют для меня пустота и молчанье. Наконец, я отважилась войти в класс, куда по причине раннего часа ученицам входить еще запрещалось. И что же! Первое, что увидела я, был белый предмет на черной столешнице, белый плоский предмет. Почтальон приходил, и я его не слыхала. Розина посетила мою келью и, подобно ангелу, оставила после себя сверкающий след своего прихода. На столе сияло письмо, я ни с чем не могла его спутать, а коль скоро на всем свете я имела одного-единственного корреспондента, то и прийти оно могло только от него. Значит, он меня не забыл. И как благодарно забилося мое сердце!

Подойдя поближе, нагнувшись к письму в отчаянной, но почти верной надежде узнать знакомую руку, я, напротив того, увидела почерк

совершенно незнакомый — неясные женские каракули вместо твердых, мужских букв — и подумала, что судьба ко мне слишком сурова. «Как жестоко!» — сказала я вслух.

Но и эту боль я перенесла. Жизнь остается жизнью, как бы она нас ни ранила: уши и глаза наши продолжают нам служить, как бы мало радости и утешенья ни сулило то, что придется увидеть и услышать.

Я сломала печать, и тут уже я узнала знакомую руку. Письмо было помечено «Терраса» и содержало следующее:

«Милая Люси, мне пришло в голову поинтересоваться, отчего я совсем не слышала о Вас весь последний месяц! Думаю, вам нетрудно будет дать отчет о своем времяпрепровождении. Наверное, вы были заняты и довольны не меньше, чем мы тут на «Террасе». Что до Грэма, то спрос на него растет, его ищут, его ценят, приглашают, и я боюсь, как бы он совсем не зазнался. Я стараюсь быть хорошей матерью и умеряю его гордость. Вы сами знаете, лести он от меня никогда не слышит. И однако же, Люси, до чего же он мил. Мое материнское сердце при виде его так и прыгает. День целый проводя в хлопотах и заботах, сразившись с сотней капризов, поборов сотню причуд, а иной раз насмотревшись и на неподдельные муки — ведь и это иногда бывает, — он возвращается вечером ко мне домой в таком добром, славном расположении духа, что я, право же, делаюсь не как все люди, и когда всем пора спать, для меня словно наступает ясное утро. И все же за ним надобно следить, поправлять его и наставлять, и я оказываю ему такую добрую услугу; но мальчик очень жизнерадостен, и раздосадовать его вполне мне не удастся. Только я подумаю, что огорчила его, а тут он в отместку и обрушит на меня град своих шуток. Но вы и сами достаточно его знаете, и напрасно я, старая дура, посвящаю ему целое письмо.

Сама же я недавно виделась со своим бреттонским поверенным и теперь с головой окунулась в дела. Мне бы отчаянно хотелось выхлопотать для Грэма хоть часть отцовского состояния. Он посмеивается над моей заботой, призывает меня понять, что он легко может обеспечить и себя и меня, спрашивает, чего же еще мне угодно, намекает на «голубые тюрбаны», обвиняет меня в тщеславной мечте красоваться в бриллиантах, держать ливрейных лакеев, купить роскошный особняк и сделаться законодательницей моды среди англичанок Виллета.

Кстати о «голубых тюрбанах», как жаль, что вас не было со мною на этих днях. Он вернулся усталый, я напоила его чаем, и он, как всегда не церемонясь, рухнул в мое кресло. И к великому моему удовольствию, тотчас заснул. (Сами знаете, как он трунит надо мной за мою якобы

сонливость; это надо мной-то, которая во всю жизнь свою днем ни разу не сомкнула глаз!) Покуда он спал, я разглядывала его и пришла к выводу, что он у меня просто красавец, Люси. Конечно, я глупа, но я не могу им не восхищаться. Укажите мне, кто может сравниться с ним? Сколько б ни смотрела вокруг, я не нахожу равного ему в Виллете. И вот я надумала над ним подшутить: принесла голубой тюрбан и увенчала его чело сим украшением. Вышло, уверяю вас, вовсе недурно; Грэм у меня не темный, но он стал выглядеть решительно по-восточному. Теперь ведь никто уж не скажет, будто он рыжий, — волосы у него каштановые, настоящие каштановые, блестящие и яркие. Но когда я вдобавок накинула на него большую кашмировую шаль, он сделался такой вылитый паша или бей, что лучше и не придумаешь. Я наслаждалась этим зрелищем; жаль только, что я была одна, что вас со мною не было.

Наконец, мой повелитель пробудился. Зеркало над камином тотчас поведало ему о том, как с ним поступили. Вы легко поймете, милая Люси, в каком страхе отмищения я сейчас пребываю.

Но пора обратиться к главной цели моего посланья. Я знаю, в четверг у вас на улице Фоссет почти совсем нет классов. Итак, приготовьтесь: в пять часов пополудни, и не позднее, я пришлю за вами карету, и она повезет вас на «Террасу». Не вздумайте уклониться. Здесь найдете вы старых знакомых. Прощайте же, милая моя, разумная, храбрая крестница. От души преданная Вам Луиза Бреттон».

Да, такое письмо хоть кого тотчас отрезвит! Печаль моя по прочтении его не исчезла, но я успокоилась, веселей мне не стало, но стало легче. По крайней мере, друзья мои здоровы и благополучны; Грэм не попал в беду, мадам Бреттон не постигла болезнь — а ведь эти кошмары мучили меня ночами. Чувства их ко мне тоже не переменились. Но подумать только, как непохожи семь недель мадам Бреттон на недели, прожитые мною! Однако ж, ежели ты попал в обстоятельства исключительные, всего умней держать язык за зубами и не давать выхода своим обидам! Любой легко посочувствует мукам голода; но мало кто может даже вообразить терзанья узника в одиночной камере. Исстрадавшийся затворник делается одержимым или идиотом, но как утратил он способность чувствовать, как нервы его, сперва воспалясь, терпят несказанные муки и потом уж ни на что не откликаются, — это предмет слишком сложный и среднему уму недоступный. Объяснять такое! Да лучше уж, бродя по шумным площадям Европы, вещать на темном древнем наречии о той древней тоске, какую изливал на смущенных халдеев угрюмый венценосец Навуходоносор! И долго, долго еще и впредь редко кто поймет пытку оставленности и живо

на нее отзовется. Долго еще будут думать, будто лишения телесные только и достойны жалости, а прочее все — химеры и гиль. Когда мир был моложе и здоровей нынешнего, душевные муки и вовсе оставались для всех загадкой, быть может, во всей земле Израильской Саул^[294] один и испытывал их, однако ж достало одного Давида, чтоб его понять и утишить его печаль.

Крепкий утренний морозец к полудню сменился холодным ветром из России; тяжкий, мрачный небосвод, обложенный снежными тучами, навис над выжидающей Европой. А потом повалило. Я боялась, что никакая карета не рискнет пробиваться сквозь бушующий белый вихрь. Но не такова моя крестная! Если уж она кого пригласила, гость к ней непременно явится. Часов в шесть карета доставила меня к заснеженному крыльцу.

Взбежав по лестнице в гостиную, я увидела там миссис Бреттон, сияющую как ясная заря. Закоченной я еще пуще, меня бы и то отогрели ее горячее объятие и нежный поцелуй. За долгое время я успела привыкнуть к голым столам и черным скамьям, и голубая гостиная оттого показалась мне дворцовым покоем. По-рождественски веселый огонь в камине меня ослепил.

Крестная моя сперва жала мне руки, болтала со мной, распекала меня за то, что я похудела со времени нашей последней встречи, затем объявила, что от пурги у меня растрепались волосы, и отослала меня наверх причесаться и оставить там шаль.

В моей зеленой комнатке тоже ярко пылал камин и горели свечи; по обе стороны большого зеркала стояло по свече; а между ними перед зеркалом прихорашивалось какое-то существо — воздушное, светлое, белое, маленькое, легкое — зимний дух.

Я, признаюсь, уж подумала было про Грэма, про мой «обман зренья». Подозрительно разглядывала я новый призрак. Платье было белое в красную крапинку, красный пояс, а в волосах блистал венок из остролиста. Потустороннее или нет, существо это вовсе меня не напугало, и я подошла поближе.

Огромные глаза из-под длинных ресниц взметнули взгляд на прищелицу; ресницы, не только длинные, но и темные, оттеняли этот взгляд и делали его бархатным.

— А, вот и вы наконец! — произнесла она тихим, нежным голосом и широко улыбнулась, продолжая в меня всматриваться.

Теперь я узнала ее. Однажды увидев это тонкое лицо, эти черты, их уж нельзя было не узнать.

— Мисс де Бассомпьер, — сказала я.

— Нет, — был ответ. — Для вас я не мисс Бассомпьер.

Я не стала ни о чем расспрашивать и ждала разъяснений.

— Вы переменялись, и все же остались прежняя, — сказала она и подошла ко мне вплотную. — Я хорошо вас помню, и ваш румянец, и цвет волос, и овал лица...

Я наклонилась к камину, а она, стоя рядом, не отрывала от меня глаз; и глаза ее все больше теплели от воспоминаний, пока, наконец, не затуманились.

— Я чуть не плачу, как вспомню те далекие дни. Только не подумайте, будто мне грустно. Мне, напротив, хорошо и весело.

Я в замешательстве не знала, что говорить.

Она улыбнулась:

— Так вы, стало быть, забыли, как я сживала у вас на коленях, как вы брали меня на руки, как я делила даже с вами постель? Вы уже не помните, как я прибежала к вам ночью, хныча, словно капризное дитя, каким и была тогда, а вы меня успокаивали? Из памяти вашей изгладились те добрые слова, какими вы утешали мои горести? Вспомните Бреттон. Вспомните мистера Хоума.

И вдруг я все поняла.

— Так вы маленькая Полли?

— Полина Мэри Хоум де Бассомпьер.

До чего же время все меняет! В бледном личике маленькой Полли, в его живой игре уже был залог прелести; но как хороша стала Полина Мэри! Не той поражающей красотой розы — пышной, яркой, завершенной; у нее не было ни пунцовых щечек, ни золотистых кудрей кузины ее Джиневры; но ее семнадцатая весна принесла ей очарование, зависевшее не от цвета лица (хоть лицо у нее было ясное и нежное), не от черт и сложенья (хоть черты были тонки, а сложенье изящное); ее очарование шло от пробивающейся наружу души. Не чудесная ваза, пусть из самого драгоценного фарфора, но прозрачная лампа, хранящая свое пламя и блюдушая для поклоненья живой огонь весталок. Мне не хотелось бы ничего преувеличивать, говоря про ее обаяние, но, право же, оно было неодолимо. Хоть и маленькая, фиалка эта источала такой аромат, который делал ее заметней самой роскошной камелии, самой царственной далии, когда-нибудь украшавшей землю.

— О! Так вы помните наши старые дни в Бреттоне?

— Лучше даже, — ответила она, — лучше, наверное, чем вы сами. Я помню все подробности. Не только дни, но помню часы и минуты.

— Кое-что ведь позабылось, не правда ли?

— Очень немного.

— Вы тогда были совсем маленькая и ужасно как переменчивы. Признайтесь, вы давно выбросили из головы привязанности, лишения, радости и беды, приключившиеся десять лет назад?

— Вы, верно, думаете, я забыла, до чего сильно и кого именно я любила тогда?

— Нет, не забыли, но воспоминанья ведь утратили отчетливость, признайтесь?

— Нет, все, что тогда было, я хорошо помню.

И кажется, она не обманывалась. У кого такие глаза, тот умеет помнить; у того детство не проходит как сон, юность не гаснет как солнечный луч. Она-то не станет глотать жизнь небрежно и неразборчиво, кусками, и с каждым новым годом забывать год минувший; она все сохранит и скопит в памяти; часто возвращаясь мыслью к прошедшему, она, мужая душой, будет делаться все постоянной. Однако ж я никак не могла поверить тому, что все картины, теснившиеся в моей голове, могли и для нее быть так же живы и полны значенья. Ее пристрастия, соревнования и споры с любимым товарищем детских игр, нежное, преданное поклоненье детского сердца, страхи, приступы скрытности, смешные невзгоды и, наконец, мучительная боль разлуки... Все это я перебрала в уме и недоверчиво покачала головой. Она прочла мои мысли.

— Нет, правда, семилетний ребенок продолжает жить в человеке, когда ему семнадцать лет.

— Вы души не чаяли в миссис Бреттон, — заметила я, поддразнивая. Она тотчас меня поправила.

— Не то что души не чаяла, а она мне нравилась. Я почитала ее, как и теперь почитаю. Она, кажется мне, почти не переменилась.

— Да, она все такая же, — подхватила я.

Мы помолчали. Потом она обвела глазами комнату и сказала:

— Тут много вещей, какие были еще в Бреттоне! Я это зеркало помню и подушечку для булавок.

Как видно, она не заблуждалась несчет добрых свойств своей памяти.

— Стало быть, вы сразу узнали бы миссис Бреттон? — продолжала я.

— Я прекрасно ее запомнила. И черты, и смуглый цвет лица, и черные волосы, рост, походку, голос.

— Ну, а доктора Бреттона — само собой. Но я же видела первую вашу встречу, и, бьюсь об заклад, вы его приняли за незнакомца.

— Просто я совсем смешалась, — был ответ.

— Но как же потом вам удалось друг друга опознать?

— Они с папой обменялись визитными карточками. Прочли имена — Грэм Бреттон и Хоум де Бассомпьер, ну и спохватились. Это на другой день уже было. Но я еще раньше стала догадываться.

— Как это — догадываться?

— Да вот как, — начала она. — Ведь просто удивительно, до чего иные люди не чувствуют правды. Не то что не видят, а не чувствуют! Доктор Бреттон навещал меня раз, другой, сидел рядом, расспрашивал. И когда я разглядела его глаза, выражение губ, форму подбородка, посадку головы — словом, все, что нельзя не разглядеть в человеке, который сидит с тобою рядом, — как же могла я не вспомнить о Грэме Бреттоне? Грэм был тоньше, меньше ростом, лицо у него было нежнее, волосы светлей и длинней и голос не такой глубокий, почти девичий. Но ведь он же Грэм, точно так же, как я — Полли, а вы Люси Сноу.

Я думала то же; но я подивилась тому, что мысли наши совпадают. Иным мыслям так редко встречаешь отзыв, что чудом кажется, когда выпадает этот случай.

— Вы с Грэмом очень дружили.

— Вы и это помните? — спросила она.

— И он тоже помнит, разумеется.

— Я его не спросила. Просто удивительно, если он помнит. Думаю, он все так же весел и беспечен?

— Он вам таким казался? Вы таким его запомнили?

— Другим и не помню. Иногда он вдруг делался прилежен; иногда веселился. Но углублялся ли он в чтение или предавался игре — думал он только о книге или об игре, — на окружающих же он мало обращал внимания.

— Но к вам он был пристрастен.

— Пристрастен ко мне? О нет! У нею другие были товарищи, его однокашники. Обо мне он вспоминал разве по воскресеньям. Он любил воскресные дни. Помню, мы за руку с ним ходили в храм Пресвятой Девы, и он отыскивал нужные места в моем молитвеннике; и какой же тихий и добрый бывал он по воскресным вечерам! Как терпеливо сносил мои ошибки, когда я читала. И на него всегда можно было положиться, воскресенья он всегда проводил дома; я вечно боялась, что он примет какое-нибудь приглашение и нас покинет; но нет, такого не случилось, он и не стремился никуда. Теперь, верно, не то. Теперь доктор Бреттон по воскресеньям ужинает в гостях, я думаю.

— Дети, спускайтесь! — раздался снизу голос миссис Бреттон. Полина хотела еще помешкать, но я решила тотчас идти вниз, и мы спустились.

Глава XXV

ГРАФИНЮШКА

Как ни была весела от природы моя крестная, как ни старалась она нас занять, все мы радовались несколько натянуто, покуда не различили сквозь вой ночного ветра говор у крыльца. Женщинам и девушкам нередко случается сидеть у камелька, в то время как сердце их блуждает по темным дорогам, бросается навстречу непогоде, а воображение влечет то к воротам, то к одинокой калитке — вглядываться и вслушиваться, не идет ли домой отец, сын или муж.

Отец и сын наконец-то явились; доктора Бреттона сопровождал граф де Бассомпьер. Уже не помню, кто из нас троих раньше услышал голоса, и немудрено, что все мы бросились вниз встречать двух всадников, прорвавшихся сквозь такую бурю, однако ж они отстранили нас; оба были белы — два снеговых сугроба; и потому миссис Бреттон тотчас препроводила их на кухню, строжайше воспретив ступать на ковер лестницы, пока не скинут с себя обретенное ими обличье Дедов Морозов.

Разумеется, мы последовали за ними на кухню — то была старая голландская кухня, уютная и поместительная. Белая графинюшка скакала вокруг столь же белого своего родителя, хлопала в ладоши и кричала:

— Ой, папа, вы совсем как белый медведь!

Медведь отряхнулся, и белый эльф метнулся прочь от ледяного душа. Но тотчас она с хохотом снова к нему подбежала, чтобы помочь разоблачиться. Граф уже высвободился из своего пальто и грозился обрушить его на дочь.

— Ой, папа, — крикнула она, уклоняясь и отбегая в сторону, как проворная серна.

В движениях ее была мягкость, бархатная грация кошечки; смех ее звенел нежней серебряного и хрустального звона; когда она поднялась на цыпочки и потянулась к губам отца за поцелуем, она вся засветилась радостью и любовью. Строгий, почтенный сеньор глядел на нее так, как смотрят лишь на существо самое дорогое на свете.

— Миссис Бреттон, — вздохнул он. — Научите, что мне делать с этой егозой? Пора бы уж, кажется, и за ум взяться. Не правда ли, она сейчас такое же дитя, как десять лет назад?

— Она не более дитя, чем мой взрослый ребенок, — ответила миссис

Бреттон, раздосадованная тем, что сын противился ее совету сменить одежду. Он стоял, опершись на кухонный стол, смеялся и отстранял ее рукой.

— Полно, мама, — сказал он. — Чтоб согреться изнутри и снаружи, выпьем-ка мы лучше в честь рождества и помянем прямо тут у очага нашу добрую Старую Англию.

И покуда граф стоял у огня, а Полина Мэри танцевала, наслаждаясь простором кухни, миссис Бреттон принялась наставлять Марту, как сдобрить и разогреть питье, и затем его передали по кругу в серебряном сосуде, в котором я опознала крестильную чашу Грэма.

— За счастье прежних дней! — сказал граф, поднимая сверкающую чашу. И глянув на миссис Бреттон, он с чувством произнес:

За дружбу старую до дна,
За счастье прежних дней
С тобой мы выпьем, старина,
За счастье прежних дней.
Побольше кружки приготовь
И доверху налей.
Мы пьем за старую любовь
И дружбу прежних дней. [\[295\]](#)

— Шотландец! Папа у меня шотландец. Отчасти. Хоум и де Бассомпьер! Мы галлы и каледонцы.

— И верно, ты, краса шотландских гор, сейчас танцуешь шотландский рил? — спросил ее отец. — Я не удивлюсь, миссис Бреттон, ежели у вас посреди кухни вдруг вырастет зеленый лучок. Уж она наколдует! Престранное созданье!

— Скажите, чтоб Люси тоже со мной танцевала. Папа, это Люси Сноу.

Мистер Хоум (сделавшись гордым графом де Бассомпьером, он остался простым мистером Хоумом) протянул мне руку с любезным завереньем, что он меня не забыл, а если б ему даже изменила собственная память, дочь его так часто твердит мое имя и так много обо мне рассказывает, что я стала для него близкой знакомой.

Все уже приложились к чаше, исключая Полину, ибо никому не приходило в голову прерывать ее танцы ради такого прозаического напитка, однако ж она не преминула потребовать свое.

— Дайте попробовать, — обратилась она к Грэму, который отставил

чашу подальше на полку.

Миссис Бреттон и доктор Хоум были увлечены беседой. От доктора Джона не укрылось ни одно ее па. Он следил за танцем, и танец ему нравился. Не говоря уж о мягкости и грации движений, отрадных для его жадного до красоты взгляда, его пленяло, что она так свободно чувствует себя у его матери, и самому ему оттого делалось легко и весело; он увидел в ней прежнего ребенка, почти прежнюю подругу детских игр. Мне интересно было, как он с ней заговорит; я пока еще не слышала их разговора; и первые же слова его доказали, что нынешняя ее ребяческая простота воскресила былые времена у него в памяти.

— Ваша светлость желает глоточек?

— Кажется, я достаточно ясно выразилась.

— Никоим образом не соглашусь на подобный шаг. Прошу прощенья, но я буду тверд.

— Почему? Я же здорова. У меня ключица снова не сломается, плечо не вывихнется. Это вино?

— Нет. Но и не роса.

— А я и не хочу росы; я не люблю росу. А что это?

— Эль. Крепкий эль. Рождественский. Его сварили, надо думать, еще когда я родился.

— Любопытно. И хорош он?

— Превосходен.

Тут он снял чашу, снова угостился, лукавым взглядом выразил полное свое удовлетворение и торжественно поместил чашу обратно на полку.

— Хоть бы попробовать дали, — протянула Полина. — Я никогда не пробовала рождественского эля. Сладкий он?

— Убийственно сладкий.

Она все смотрела на чашу, словно ребенок, кланчающий запретное лакомство. Наконец доктор смягчился, снял чашу и доставил себе удовольствие поить Полли из собственных рук; глаза его, всегда живо отображающие приятные чувства, сияя, подтвердили, что он и впрямь доволен; и он длил свое удовольствие, норовя наклонить чашу таким образом, чтобы питье лишь по каплям стекало с края к жадным розовым губам.

— Еще чуточку, еще чуточку, — молила она, нетерпеливо стуча по его руке пальчиком. — Пахнет пряностями и сахаром, а я никак их не распробую, вы так неудобно руку держите, скупец!

Он уступил ей, строго шепнув при этом:

— Только не говорите Люси и моей матушке. Они меня не похвалят.

— Да и я тоже, — ответила она, вдруг переменяя тон и манеру, будто добрый глоток питья подействовал на нее как напиток, снявший чары волшебника. — И ничего в нем нет сладкого. Горький, горячий — я просто опомниться не могу! Мне и хотелось-то его только оттого, что вы запрещали. Покорно благодарю, больше не надо!

И с поклоном небрежным, но столь же изящным, как ее танец, она упорхнула от него прочь, к отцу.

Думаю, она сказала правду — в ней продолжал жить семилетний ребенок.

Грэм проводил ее взглядом растерянным, недоуменным; глаза его часто останавливались на ней в продолжение вечера, но она, казалось, его не замечала.

Когда мы спустились пить чай в гостиную, она взяла отца под руку; и дальше она от него не отходила, она ловила каждое его слово. Он и миссис Бреттон говорили больше других членов нашего тесного кружка, а Полина была самой благодарной слушательницей и вставляла только просьбы повторить ту или иную подробность.

— А где вы тогда были, папа? А что вы сказали? Нет, вы рас скажите миссис Бреттон, как все вышло, — то и дело понукал она отца.

Теперь она уже не уступала порывам брызжущего веселья; детская веселость выдохлась; она сделалась задумчива, нежна, послушна. Одно удовольствие было смотреть, как она прощается на ночь; Грэму она поклонилась с большим достоинством; в легкой улыбке, спокойных жестах сказалась графиня, и ему ничего не оставалось, как тоже спокойно поклониться в ответ. Я видела, что ему трудно свести воедино пляшущего бесенка и эту светскую даму.

Наутро, когда все мы собрались за завтраком, дрожа после холодных омовений, миссис Бреттон объявила, что ни под каким видом никого нынче от себя не отпустит.

В самом деле, дом так занесло, что и не выйти; снизу завалило все окна, а выглянув наружу, вы видели мутную мгу, нахмуренное небо и снег, гонимый безжалостным ветром. Хлопья уже не падали, но то, что успело насыпаться, ветер отрывал от земли, кружил, взметал и взвихрял множеством престранных фантомов.

Графиня поддержала миссис Бреттон.

— Папа никуда не пойдет, — сказала она, усаживаясь подле отцовского кресла. — Уж я за ним пригляжу. Ведь вы не пойдете в город, папа, не правда ли?

— Как сказать, — был ответ. — Если вы с миссис Бреттон будете ко

мне милы, внимательны, будете всячески мне угождать, холить меня и нежить, я, возможно, и соглашусь посидеть часок-другой после завтрака и переждать, покуда уляжется этот ужасный ветер. Но сама видишь — завтрак мне не дают, а я просто умираю с голоду.

— Сейчас! Миссис Бреттон, вы, пожалуйста, налейте ему кофе, взмолилась Полина, а я снабжу графа всем прочим: он, только графом заделался, стал ужасно какой привередливый.

Она отрезала и намазала ломтик булочки.

— Ну вот, папа, теперь вы во всеоружии, — сказала она. — Это то же варенье, что было в Бреттоне, помните, вы еще говорили, что оно не хуже шотландского?

— А ваше сиятельство выпрашивали его для моего сына, помните? — вставила миссис Бреттон. — Бывало, станете, рядом, тронете меня за рукав и шепнете: «Ну, пожалуйста, мэм, дайте Грэму сладкого — варенья, меда или джема!»

— Нет, мама, — перебил ее с хохотом сильно, впрочем, покрасневший доктор Джон. — Вряд ли это возможно: я же никогда не любил ни того, ни другого, ни третьего.

— Любил он это все или нет, а, Полина?

— Любил, — подтвердила Полли.

— Не краснейте, Джон, — приободрил его мистер Хоум. — Я и сам, признаюсь, до этих вещей большой охотник. А Полли умеет угодить друзьям в их простых нуждах; мое хорошее воспитание, не скрою. Полли, передай-ка мне кусочек вон того языка.

— Пожалуйста, папа. Но не забудьте, вам так угождают лишь на том условии, что вы остаетесь на «Террасе».

— Миссис Бреттон, — сказал граф. — Вот я решил избавиться от дочки, хочу отдать ее в школу. Не знаете ли тут школу хорошую?

— Это где Люси служит. У мадам Бек.

— Мисс Сноу служит в школе?

— Я учительница, — сказала я и обрадовалась, что мне представилась такая возможность. Я уже начинала чувствовать себя неловко. Миссис Бреттон и сын ее знали мои обстоятельства, но граф с дочерью их не знали. Их сердечное расположение ко мне могло перемениться при известии о том, каково мое место на общественной лестнице. Я сообщила о нем с готовностью; но тотчас в голове моей закружился рой неожиданных и непрошенных мыслей, от которых я даже невольно вздохнула. Мистер Хоум минуты две не поднимал взгляда от тарелки и молчал; быть может, он не находил слов, быть может, полагал, что простая вежливость требует

молчанья в ответ на откровение такого рода; всем известна пресловутая гордость шотландцев, и как бы ни был прост мистер Хоум во вкусах и обращении, я давно подозревала, что он не чужд этого национального свойства. Была ли то спесь? Или подлинное достоинство? Не берусь, однако, судить о нем так вольно. Сама я всегда наблюдала в нем лишь свойства самые благородные.

Он был склонен предаваться чувствам и размышленьям; чувства и размышления его овевались легким облачком грусти. Не всегда легким: при огорченьях и трудностях облачко тотчас сгущалось и делалось грозовой тучей. Он не много знал о Люси Сноу; да и то, что знал, понимал не вполне верно; заблужденья его на мой счет часто вызывали у меня улыбку; но он видел, что путь мой не усыпан розами; он отдавал должное моим стараньям честно пройти отмеренное мне поприще; он помог бы мне, если б то было в его власти, и, не будучи в силах мне помочь, он все же желал мне добра. Когда он поднял на меня глаза, в них было тепло; когда заговорил, голос звучал благожелательно.

— Да, — сказал он. — Поприще ваше нелегкое. Желаю вам здоровья и силы достигнуть на нем... м-м, успеха.

Прелестная дочь его встретила мое сообщение, далеко не так сдержанно: она устремила на меня взор, полный удивленья — почти ужаса.

— Вы учительница? — воскликнула она и, еще раз обдумав эту неприятную мысль, добавила: — Я ведь и не знала и не спрашивала, кто вы; для меня вы всегда были Люси Сноу.

— Ну, а сейчас? — не удержалась я от вопроса.

— И сейчас. Но вы правда учите? Здесь, в Виллете?

— Правда.

— И нравится вам?

— Не всегда.

— Отчего же вам это не бросить?

Отец взглянул на нее, и я испугалась, как бы он не задал ей нагоняй. Но он сказал только:

— Так-то, Полли, продолжай свой допрос. Покажи лишний раз, какая ты у меня разумница. Ну, смешайся мисс Сноу, покрасней, я б тотчас приказал тебе попридержать язычок, и нам пришлось бы удалиться с позором. Но она только улыбается, а посему не стесняйся, расспрашивай! Да, мисс Сноу, отчего же вам это не бросить? Зачем вы учительствуете?

— Главным образом, увы, из-за денег.

— Стало быть, не из чистой филантропии? А мы-то с Полли сочли бы такое предположение единственным оправданьем вашего странного

чуждачества.

— Нет. Нет, сэр. Скорей ради крова над головою и ради отрады, какую доставляет мне мысль о том, что я сама зарабатываю себе на хлеб, никому не будучи в тягость.

— Вы как хотите, папа, а мне жаль Люси.

— Берегите эту жалость, мисс де Бассомпьер. Береги ее, дочка, охраняй, как неоперившегося птенца в теплом гнездышке твоего сердца. И если когда-нибудь тебе придется на собственном опыте убедиться, как неверны земные блага, я хотел бы, чтоб ты последовала примеру Люси: сама бы работала и никого не обременяла.

— Да, папа, — сказала она задумчиво и покорно. — Но бедняжка Люси! Я-то думала, что она богатая дама и у нее богатые друзья.

— Вольно ж тебе, дурочка, было так думать! Я никогда так не думал. Когда я размышлял об ее поведении, а случалось это не часто, я приходил к выводу, что она не из тех, у кого в жизни есть надежная опора, что она должна действовать сама и помощи ниоткуда не ждет, но за такую судьбу она, если доживет до почтенной старости, верно, лишь возблагодарит Провидение. Да, так насчет этой школы, — продолжал он, переходя снова на легкий тон, как вы думаете, мисс Люси, примет мадам Бек мою дочь?

Я сказала, что надо просто спросить самое мадам; думаю, что примет, она любит учениц-англичанок.

— Стоит вам, сэр, — добавила я, — посадить мисс де Бассомпьер в карету, сегодня же к нам отправиться, и привратница Розина, я не сомневаюсь, не замедлит отворить дверь на ваш звонок, а мадам, бесспорно, натянет самые лучшие свои перчатки и выйдет в гостиную вас встретить.

— В таком случае, — ответил мистер Хоум, — зачем же откладывать дело в долгий ящик? Пусть миссис Херст отправит за юной леди ее пожитки, Полли нынче же засядет за букварь, а вы, мисс Люси, я полагаю, не откажете в любезности за нею присматривать и время от времени подавать мне о ней вести. Надеюсь, вы одобряете мой план, графиня де Бассомпьер?

Графиня мялась и не сразу нашлась с ответом.

— А я-то думала, — наконец сказала она, — что мне уже нечему учиться...

— Это говорит лишь о том, как тяжело мы порой можем заблуждаться. Я придерживаюсь мнения совсем иного, и его разделит бы всякий, кто послушал бы тебя сегодня и убедился в твоем глубоком знании жизни. Ах, дочь моя, тебе еще многому надобно учиться, бедный твой отец, увя, мало

в чем тебя наставил! Делать нечего, придется проситься к мадам Бек. Да и погода, кажется, разгулялась, и я уж позавтракал.

— Но, папа!

— Да?

— Я вижу одно препятствие.

— А я — так не вижу никакого.

— Огромное препятствие, папа; неодолимое; оно больше того сугроба, какой вы вчера принесли на своих плечах!

— И, подобно всякому сугробу, может растаять?

— Никогда! Оно чересчур — ну, чересчур плотное! Это вы сами, папенька! Мисс Люси, упредите мадам Бек, чтоб меня не принимала, потому что ей тогда придется принять и папу. О, я много могу про него порассказать! Миссис Бреттон, вы только послушайте. Слушайте все! Пять лет назад, когда мне исполнилось двенадцать, папа забрал себе в голову, будто он меня совсем разбаловал, испортил, что мне придется в жизни туго, и прочее, и единственный выход — отдать меня в школу. Я плакала, молила, но мосье де Бассомпьер оказался тверд и неколебим, как скала, и пришлось мне идти в школу. И что же? Папа тоже поступил в школу! Чуть не каждый день он туда являлся проводить меня. Мадам Эгреду ворчала, но без толку. И наконец нас с папой, так сказать, исключили. Пусть Люси расскажет мадам Бек про эту милую подробность. Нечестно было б ее утаивать.

Миссис Бреттон спросила у мистера Хоума, что он может сказать в свое оправдание. А коль скоро он не нашелся, ему вынесли обвинительный приговор, и Полли восторжествовала.

Но не всегда была она лукавой и наивной. После завтрака, когда старшие удалились — верно, потолковать о делах миссис Бреттон, — и предоставили нас с доктором Бреттоном и графиней самим себе, она тотчас повзрослела. С нами, почти сверстниками, она превратилась вдруг в светскую даму, даже лицо у нее переменилось; открытый взгляд, улыбка, с какой она смотрела на отца и от которой лицо ее делалось таким округлым, живым, переменчивым, уступили место строгости, определенности и меньшей подвижности черт.

Грэм, без сомненья, не хуже меня заметил перемену. Несколько минут он постоял у окна, глядя на снег; потом подошел к камину и затеял разговор, но без всегдашней своей непринужденности; он, казалось, не сразу нашел тему; перебирал в уме одну за другой и не очень счастливо остановил выбор на Виллете — завел речь о его обитателях, живописных видах и строениях. Мисс де Бассомпьер отвечала ему со взрослым

достоинством и умно, правда, какая-нибудь нотка, взор или движение, скорее быстрое и порывистое, нежели сдержанное и тихое, вдруг выдавали прежнюю Полли.

И все же эти ее черточки смягчались такой непринужденной изысканностью, таким спокойным изяществом, что человек менее чуткий, чем Грэм, не догадался бы усмотреть в них надежду на отношения более короткие.

Доктор же Бреттон, оставаясь сдержанным и не по своему обычаю степенным, однако, не утратил своей наблюдательности. От него не укрылись ни один ее невольный порыв, ни одна оплошность. Он не пропустил ни одного характерного ее жеста, ни одной заминки, ни одного шепеляво произнесенного слога. Она, когда говорила быстро, иногда шепелявила; и всякий раз при таком огрехе краснела и старательно и трогательно повторяла — уже правильно произнося — слово, в котором сделала ошибку.

И всякий раз доктор Бреттон улыбался. Понемногу в обоих стала исчезать натянутость; продлись их беседа, я думаю, она и вовсе сделалась бы сердечной; уже на губах Полины заиграла прежняя улыбка и вернулись ямочки на щеках; уже она произнесла слово шепеляво и не поправилась. Что до доктора Джона, я не могу сказать, в чем была перемена, но перемена была. Он не развеселился — лицо его не отражало ни легкости, ни веселья, но он заговорил, пожалуй, уверенней, проще и мягче. Десять лет назад эти двое могли часами болтать друг с дружкой без умолку; протекшие годы не сделали их обоих ни скучней, ни глупей; но есть натуры, для которых важно видеться непрестанно, и чем больше они говорят, тем больше у них находится, что еще сообщить; в беседах рождается привязанность, а из нее полная общность.

Но Грэму пришлось нас оставить: ремесло его не терпело небрежения и оттяжек. Он вышел из комнаты, но, прежде чем уйти из дому, воротился. Думаю, он воротился не за бумагой и не за визитной карточкой, какие якобы ему понадобились, а чтобы бросить еще один взгляд на Полину и удостовериться, та ли она, какой он уносит ее в памяти, не украсил ли он ненароком ее облик своим пристрастием, не ввела ли его в заблуждение собственная нежная склонность. Нет! Впечатление подтвердилось, от проверки скорее окрепло, чем рассеялось, — Грэм унес с собой прощальный взор, робкий, нежный и такой прелестный и доверчивый, какой мог бы бросить олененок из зарослей папоротника или овечка с пушистого луга.

Наедине мы с Полиной сперва помолчали; обе достали шитье и

принялись за кропотливый труд. Белый деревянный ящичек былых дней сменила шкатулка, украшенная драгоценными инкрустациями и выложенная золотом; крошечные пальчики, прежде едва державшие иголку, хоть и остались крошечными, сделались проворными и быстрыми; но так же точно, как в детстве, она озабоченно морщила лоб и с той же милой повадкой то и дело поправляла взбившийся локон либо смахивала с шелковой юбки воображаемую пыль, приставшую тоненькую ниточку.

В то утро разговаривать мне не хотелось; меня пугала и гнала злобная зимняя буря; неистовство января никак не утихало; ветер выл, ревел и не думал уgomониться. Будь со мной сейчас в гостиной Джиневра Фэншо, она бы не дала мне тихо посидеть и подумать. Только что ушедший непременно сделался бы темой ее речей — и как бы взялась она переливать из пустого в порожнее! Как замучила бы она меня расспросами и догадками, как истерзала бы откровенностями, от которых я б не знала куда деться!

Полина Мэри разок-другой бросила на меня спокойный, но проникающий взор из-под густых ресниц; губы ее приоткрылись, словно готовясь произнести слово; но она заметила и тотчас поняла мое желание помолчать.

Нет, думала я про себя, долго это не продлится; ибо я не привыкла встречать в женщинах и девушках умение властвовать собой, себя обуздывать. Насколько я изучила их, они редко могут отказать себе в удовольствии излить в болтовне свои тайны, обычно пустые, и свои чувства, порою вздорные и глупые.

Графиня, кажется, составляла исключенье. Она шила, а наскуча шитьем, взялась за книгу.

По воле случая внимание ее привлекла одна из тех полок, где стояли книги доктора Бреттона; и она тотчас нашла знакомую книгу — иллюстрированный том по естественной истории. Часто видела я Полли рядом с Грэмом, на коленях у которого лежал этот том; он учил ее читать; а окончив урок, она молила в награду рассказать ей про все, что изображено на картинках. Я стала пристально на нее смотреть; настал час проверить хваленую память; верны ли окажутся ее воспоминанья?

Верны ли? В том не было сомненья. Она листала страницы, а лицо ее принимало разные выраженья, но за всеми ними видно было, как дорого ей Прошлое. Вот она открыла книгу на титульном листе и вгляделась в имя, написанное школьным, мальчишеским почерком. Она смотрела на него долго, но этим не удовольствовалась; она чуть тронула буквы пальчиком и невольно улыбнулась, тем обратив свое прикосновенье в нежную ласку. Прошлое было ей дорого; но вся особенность этой сценки состояла в том,

что Полина не проронила ни слова, она умела чувствовать, не изливая своих чувств потоками речей.

Чуть не час целый перебирала она книги на полках, вынимала том за томом и обновляла свое с ними знакомство. Покончив с этим занятием, она села на низенький стул, оперлась щекой о кулачок и, по-прежнему не нарушая молчанья, задумалась.

Но вот снизу раздался стук отворяемой двери, пахнуло холодом и послышался голос ее отца, адресовавшегося к миссис Бреттон. Полина тотчас вскочила, и через минуту она была уже внизу.

— Папа, папа, вы уходите?

— Мне нужно в город, милая.

— Папа, но сейчас так... так холодно!

Далее я услышала, как мосье де Бассомпьер доказывает ей, что достаточно защищен от холода, обещает ехать в карете, где ему будет тепло и уютно, и уверяет ее, что ей не следует за него тревожиться.

— Но вы обещаетесь вернуться еще засветло? И доктор Бреттон тоже пусть вернется. И в карете оба. Верхов теперь нельзя.

— Хорошо. Если увижу доктора Бреттона, я передам, что некая дама приказала ему беречь свое драгоценное здоровье и воротиться в карете под моим водительством.

— Верно, так и скажите, что некая дама велела, он решит, будто речь идет о миссис Бреттон, и послушается. Папа, только не запаздывайте, я очень буду ждать.

Дверь захлопнулась, и карета мягко покатила по снегу, а графиня вернулась, тревожная и задумчивая.

Она и правда очень ждала весь день, но по-прежнему была тиха и бесшумно бродила взад-вперед по гостиной. Время от времени она замирала, наклоняла голову и вслушивалась в вечерние шумы, или, вернее сказать, в вечернюю тишину, ибо ветер наконец-то улегся. Небо очистилось от вихревых туч и висело голое и бледное; сквозь нагие ветки мы хорошо видели его и холодный блеск новогоднего месяца, блиставшего на нем белым, льдистым кругом. А потом, не очень поздно, мы увидели и воротившуюся карету.

На сей раз Полина не стала прыгать от радости, встречая графа. Она даже почти сурово завладела отцом, как только он переступил порог гостиной, тотчас по-хозяйски взяла его за руку, подвела к стулу, осыпая, однако же, похвалами за то, что он так скоро воротился. Взрослый, крепкий человек безропотно повиновался хрупкому созданию, верно, с радостью признавая власть слабого существа, сильного лишь своей любовью.

Грэм показался только несколько минут спустя. Полина едва обернулась на звук его шагов; они обменялись всего двумя-тремя фразами, их пальцы едва соединились в рукопожатье. Полина не отходила от отца; Грэм сел в кресло в дальнем углу.

Хорошо еще, что миссис Бреттон с мистером Хоумом разговаривали без умолку, без конца перебирая старые воспоминанья; не то, я думаю, нам выпал бы очень уж тихий вечер.

После чая проворная игла Полины и быстрый золотой наперсток так и замелькали в свете лампы, но она не разжимала губ и почти не поднимала век. Грэм тоже, кажется, устал от дневных трудов — он послушно внимал речам старших, сам больше молчал, а наперсток завораживал его взгляд, будто то порхала на легких крыльях яркая бабочка или мелькала головка юркой золотистой змейки.

Глава XXVI

ПОХОРОНЫ

С этого дня в жизни моей не было недостатка в разнообразии; я много выезжала, с полного согласия мадам Бек, которая одобряла мои знакомства. Достойная директриса и всегда обращалась со мной уважительно, а когда узнала, что меня то и дело приглашают в замок и в «отель», стала и вовсе почтительной.

Она, разумеется, передо мной не лебезила; охотница до мирских благ, мадам ни в чем не проявляла слабости; она всегда гонялась за собственной выгодой, никогда не теряя разума и чувства меры; она хватала добычу, не лишаясь спокойствия и осторожности; не вызывая моего презрения суетностью и подхалимством, мадам умела подчеркнуть, что рада, если люди, связанные с ее заведением, возвращаются в таком кругу, где их могут ободрить и наставить, а не в таком, где их, того гляди, испортят и уничтожат. Она не расхваливала ни меня, ни моих друзей; и лишь однажды, когда она грелась на солнышке в саду, прихлебывая кофе и читая газету, а я вышла к ней отпроситься на вечер, она объяснилась в следующих любезных выражениях:

— Oui, oui, ma bonne amie, je vous donne la permission de coeur et de gre. Votre travail dans ma maison a toujours ete admirable, rempli de zele et de discretion: vous avez bien le droit de vous amuser. Sortez donc tant que vous voudrez. Quant a votre choix de connaissances, j'en suis content; c'est sage, digne, laudable.^[296]

Она сомкнула уста и вновь устремила взор в газету.

Читателю не следует слишком строго судить о том обстоятельстве, что в это же приблизительно время бережно охраняемый мною пакет с пятью письмами исчез из бюро. Первым моим впечатлением от печального открытия был холодный ужас; но я тотчас ободрилась.

— Терпенье! — шепнула я про себя. — Остается лишь молчать и смиренно ждать, письма вернутся на свое место.

Так оно и вышло; письма вернулись; они только погостили немного в спальне у мадам и после тщательной проверки вернулись целыми и невредимыми; уже на другой день я обнаружила их в бюро.

Интересно, какое мнение составила мадам о моей корреспонденции? Какое вынесла она суждение об эпистолярном даре доктора Джона

Бреттона? Как отнеслась она к его мыслям, порою резким, всегда здоровым, к его суждениям, иной раз странным, всегда вдохновенно и легко преданным бумаге? Как оценила она его искренность, его шутливость, столь тешившие мое сердце? Что подумала она о нежных словах, блистающих здесь и там, не изобильно, как рассыпаны бриллианты по долине Синдбада, но редко — как встречаются драгоценности в краях иных, невымышленных? О мадам Бек! Как вам все это понравилось?

Думаю, что мадам Бек не вовсе осталась безучастна к достоинствам пяти писем. Однажды, после того как она их взяла у меня взаймы (говоря о благородной особе, и слова надобно выбирать благородные), я поймала на себе ее взгляд, слегка озадаченный, но скорей благосклонный. То было во время короткого перерыва между уроков, когда ученицы высыпали во двор проветриться; мы с нею остались в старшем классе наедине; я встретила ее взгляд, а с губ ее уже срывались слова.

— Il y a, — сказала она, — quelque chose de bien remarquable dans le caractere anglais.^[297]

— Как это, мадам?

Она усмехнулась, подхватывая мой вопрос по-английски.

— Je ne saurais vous dire «как это»; mais, enfin, les Anglais ont des idees a eux, en amitie, en amour en tout. Mais au moins il n'est pas besoin de les surveiller,^[298] — заключила она, встала и затрусила прочь, как лошадка пони.

— В таком случае, надеюсь, — пробормотала я про себя, — вы впредь не тронете моих писем.

Увы! У меня потемнело в глазах, и я перестала видеть класс, сад, яркое зимнее солнце, как только вспомнила, что никогда уже не получу письма, подобного ему читанным. С этим покончено. Благодатная река, у берегов которой я пребывала, чья влага живила меня, та река свернула в новое русло; она оставила мою хижину на сухом песке, далеко в стороне катя бурные воды. Что поделать — справедливая, естественная перемена; тут ничего не скажешь. Но я полюбила свой Рейн, свой Нил, я едва ли не боготворила свой Ганг и горевала, что этот вольный поток меня минует, исчезнет, как пустой мираж. Я крепилась, но я не герой; по рукам моим на парту закапали капли — соленым недолгим дождем.

Но скоро я сказала себе: «Надежда, которую я оплакиваю, погибла и причинила мне многие страдания; она умерла лишь тогда, когда давно пришел ее срок; после столь томительных мук смерть — избавление, она желанная гостя».

И я постаралась достойно встретить желанную гостью. Долгая боль приучила меня к терпению. И вот я закрыла глаза усопшей Надежде, закрыла ей лик и спокойно положила ее во гроб.

Письма же следовало убрать подальше; тот, кто понес утрату, всегда ревниво прячет от собственных взоров все то, что может о ней напомнить; нельзя, чтоб сердце всечасно ранили уколы бесплодных сожалений.

Однажды в свободный вечер (в четверг) я собралась взглянуть на свое сокровище и решить, наконец, как обойтись с ним дальше. Каково же было мое огорчение, когда я обнаружила, что письма опять кто-то трогал: пакет остался на месте, но ленточку развязывали и снова завязали; я заметила и по другим приметам, что кто-то совал нос в мое бюро.

Это, пожалуй, было уж слишком. Сама мадам Бек была воплощенная осмотрительность и к тому же наделена здравостью ума и суждений, как редко кто из смертных; то, что она знакома с содержимым моего ящика, меня не ободряло, но и не убивало; мастерица козней и каверз, она, однако, умела оценить вещи в правильном свете и понять их истинную суть. Но мысль о том, что она посмела поделиться с кем-то сведениями, добытыми с помощью таких средств, что она, быть может, развлекалась с кем-то вместе чтением строк, дорогих моему сердцу, глубоко меня уязвила. А у меня были основания этого опасаться, и я даже догадывалась уже, кто ее наперсник. Родственник ее, мосье Поль Эманюель накануне провел с нею вечер. Она имела обыкновение с ним советоваться и делилась с ним соображениями, каких никому более не доверила бы. А нынче утром в классе сей господин подарил меня взглядом, словно заимствованным у Вашти, актрисы; я тогда не поняла, что выразилось в угрюмом блеске его злых, хоть и синих глаз, теперь же мне все сделалось ясно. Уж он-то, разумеется, не мог отнестись ко мне со снисхождением и терпимостью; я всегда знала его за человека мрачного и подозрительного; догадка о том, что письма, всего лишь дружеские письма, побывали у него в руках и, может статься, еще побывают, — надрывала мне душу.

Что мне делать? Как предотвратить такое? Найдется ли в этом доме надежное, укромное местечко, где мое сокровище оградит ключ, защитит замок?

Чердак? Но нет, о чердаке мне не хотелось и думать. Да к тому же все почти ящики там сгнили и не запирались. И крысы прогрызли себе ходы в трухлявом дереве, а кое-где обосновались мыши. Мои бесценные письма (все еще бесценные, хоть на конвертах у них и стояло «Ихавод»^[299]) сделаются добычей червей, а еще того раньше строки расплывутся от сырости. Нет, чердак место неподходящее. Но куда же мне их спрятать?

Раздумывая над этой задачей, я сидела на подоконнике в спальне. Стоял ясный морозный вечер; зимнее солнце уже клонилось к закату и бледно озаряло кусты в «allee defendue». Большое грушевое дерево — «груша монахини» стояло скелетом дриады — нагое, серое, тощее. Мне пришла в голову неожиданная идея, одна из тех причудливых идей, какие нередко посещают одинокую душу. Я надела капор и салоп и отправилась в город.

Завернув в исторический квартал города, куда меня всегда, если я бывала не в духе, влек унылый призрак седой старины, я бродила из улицы в улицу, покуда не вышла к заброшенному скверу и не очутилась перед лавкой старьевщика.

Среди множества старых вещей мне захотелось найти ящичек, который можно было бы запаять, либо кружку или бутылку, какую можно было бы запечатать. Я порылась в ворохах всякого хлама и нашла бутылку.

Потом я свернула письма, обернула их тонкой клеенкой, перевязала бечевкой, засунула в бутылку, а еврея-старьевщика попросила запечатать горлышко. Он исполнял мою просьбу, а сам искоса разглядывал меня из-под выцветших ресниц, верно, заподозрив во мне злые умыслы. Я же испытывала нет, не удовольствие, но унылую отраду. Такие же приблизительно побужденья однажды толкнули меня в исповедальню. Быстрым шагом пошла я домой и пришла к пансиону, когда уже стемнело и подавали обед.

В семь часов вошел месяц. В половине восьмого, когда начались вечерние классы, мадам Бек с матерью и детьми устроилась в столовой, приходящие разошлись по домам, а Розина удалилась из вестибюля и все затихло, я накинула шаль и, взявши запечатанную бутылку, проскользнула через дверь старшего класса в berceau, а оттуда в «allee defendue».

Грушевое дерево Мафусаил стояло в конце аллеи, возвышаясь неясной серой тенью над молодой порослью вокруг. Старое-престарое, оно еще сохраняло крепость, и только внизу, у самых корней его было глубокое дупло. Я знала про это дупло, упрятанное под густым плющом, и там-то надумала я упокоить мое сокровище, там-то решила я похоронить мое горе. Горе, которое я оплакала и закутала в саван, надлежало, наконец, предать погребенью.

И вот я отодвинула плющ и отыскала дупло; бутылка без труда в нем помещалась, и я подальше засунула ее вовнутрь. В глубине сада стоял сарай, и каменщики, недавно поправлявшие кладку, оставили там кое-какие орудия. Я взяла там аспидную доску и немного известки, прикрыла дупло доской, закрепила ее, сверху все засыпала землей, а плющ расправила. А

потом еще постояла, прислонясь к дереву, как всякий, понесший утрату, стоит над свежей могилой.

Ночь была тихая, но туманная, и свет месяца пробивался сквозь дымку. То ли в самом ночном воздухе, то ли в этом тумане что-то странное электричество, быть может, — действовало на меня удивительным образом. Так однажды давно, в Англии, ночь застигла меня в одиноких полях, и, увидев, как на небо взошла Северная Аврора, я очарованно следила за сбором войск под всеми флагами, за дрожью сомкнутых копий и за стремительным бегом гонцов снизу, к темному еще замковому камню небесного свода. Я тогда не испытала радости, — какое! — но ощущала прилив свежих сил.

Если жизнь — вечная битва, то мне, верно, судьба судила вести ее в одиночку. Я стала раздумывать, как бы мне сбежать с зимней квартиры, как бы удрать из лагеря, где недоставало еды и фуража. Быть может, во имя перемен придется вести еще одно генеральное сражение с фортуной; что ж, терять мне нечего, и может статься, господь даст мне силы победить. Но по какому маршруту двигаться? Какой разработать план?

Я все еще размышляла над этими вопросами, когда месяц, прежде такой тусклый, вдруг засветил как будто бы ярче; в глазах у меня засиял белый луч, и, ясная и отчетливая, пролегла тень. Я вгляделась пристальней, чтобы узнать причину вдруг разыгравшейся в темной аллее борьбы контрастов; они с каждым мигом делались резче, и вот в трех ярдах от меня очутилась женщина в черном, скрывавшая под белой вуалью свое лицо.

Прошло пять минут. Я не двигалась с места. Она застыла. Наконец я обратилась к ней:

— Кто вы такая? И зачем явились ко мне?

Она молчала. Лица у нее не было — не было черт — все скрывалось под белой тканью; но были глаза — и они смотрели на меня.

Я не расхрабрилась, — я отчаялась; а отчаяние порой заменяет храбрость. Я сделала шаг к темной фигуре. Я вытянула руку, чтобы ее коснуться. Она отступила. Я сделала еще шаг, потом еще. Она, все так же молча, обратилась в бегство. Кусты остролиста, тиса и лавра отделили меня от преследуемой цели. Когда я обошла препятствие, я не увидела ничего. Я стала ждать. Я сказала:

— Если тебе чего-то надобно от людей, вернись и попроси.

Ответом мне были пустота и молчанье.

На сей раз я не могла прибегнуть к утешеньям доктора Джона. И мне некому уже было шепнуть: «Я опять видела монахиню».

Полина Мэри часто посылала за мною. В старые дни, в Бреттоне, она,

правда, не признавалась в своей привязанности, но так ко мне привыкла, что постоянно нуждалась в моем обществе. Стоило мне уйти в свою комнату, она тотчас туда бежала, отворяла дверь и тоном, не терпящим возражений, требовала:

— Идемте вниз. Отчего вы одна тут сидите? Идемте со мной в гостиную.

Точно таким же тоном убеждала она меня теперь:

— Уходите с улицы Фоссет и живите у нас. Папа будет вам гораздо больше платить, чем мадам Бек.

Сам мистер Хоум тоже предлагал мне солидную сумму — втрое против нынешнего моего жалованья, — если я соглашусь быть компаньонкой при его дочери. Я отказалась. Я отказалась бы, будь я даже еще бедней, будь моя дальнейшая судьба еще темней и неизвестней. Я не создана компаньонкой. Я умею учить, давать уроки. Но ни на роль гувернантки, ни на роль компаньонки я не гожусь. Скорей уж я нанялась бы в служанки, не боялась бы черной работы, мела бы комнаты и лестницы, чистила бы замки и печи, только бы меня предоставили самой себе. Лучше быть нищей швеей, чем компаньонкой.

Я — не тень блистательной леди — хотя бы то была даже мисс де Бассомпьер. Мне свойственно уступать первое место, отступать в сторонку — но лишь собственной охотой. Я могу покорно сидеть за столом среди прирученных воспитанниц в старшем классе заведения мадам Бек; или на скамье, прозванной моею, у нее в саду; или на своей постели в спальне ее же заведения. Но какова бы я ни была, я не умею приноравливаться к чуждым обстоятельствам и по заказу меняться, каковы бы ни были мои скромные способности — они никогда не послужат оправой ни для какого перла, не станут дополнением чужой красоты, принадлежностью чужого величия. Мы с мадам Бек, отнюдь не сближаясь, сумели понять друг друга. Уж ее-то компаньонкой я не стала, как и гувернанткой ее детей; она предоставила мне свободу и ничем ее не связывала. Однажды болезнь близкой родственницы принудила ее на две недели покинуть улицу Фоссет, и она исходила тревогой, как бы в ее отсутствие дела не пошли прахом; найдя по возвращении своем все по-прежнему, как всегда, она всем учителям сделала подарки в благодарность за верную службу. Ко мне же она подошла в полночь, когда я уже легла спать, и сказала, что для меня у нее нет подарка.

— Я могу вознаградить верность Сен-Пьер, но приди мне мысль вознаградить вашу верность, это повлекло бы недоразумение и даже разрыв. Одно, во всяком случае, я могу для вас сделать и сделаю — я

предоставлю вам полную свободу.

И она сдержала слово. Если и прежде были легки налагаемые ею на меня оковы, теперь она их вовсе сняла. Так досталось мне удовольствие добровольно следовать ее правилам, честь посвящать воспитанницам вдвое больше времени против прежнего и радость отдавать им вдвое больше трудов.

Что касается до мисс де Бассомпьер, я охотно к ней ездила, но жить с нею я не хотела. Я чувствовала, что даже и без коротких, добровольных визитов моих она в скором времени научится обходиться. Сам же мосье де Бассомпьер оставался слеп к такой возможности и не сознавал ее, как дитя не замечает вероятностей и знаков надвигающегося события, сулящего огорченья.

Я нередко размышляла о том, будет ли он в самом деле огорчаться или, напротив, обрадуется. Я затруднялась ответом. Научные интересы его поглощали; он упрямо и даже люто отстаивал их, в житейских же будничных делах был прост и доверчив; насколько я заметила, дочь свою он считал всего лишь ребенком и не догадывался, что другие могут видеть ее в ином свете; он любил поговорить о том, как Полли вырастет и станет взрослой женщиной, а «Полли», стоя у его кресла, частенько при этом улыбалась, охватывала ладошками его почтенную голову, целовала в седые кудри, а то надувала губки и пожимала плечиками; но ни разу она не сказала: «Папа, да ведь я уже взрослая».

С разными людьми она бывала разная. С отцом она и впрямь оставалась ребенком, нежным, живым, веселым. Со мной представляла она серьезной и делилась мыслями и чувствами, отнюдь не ребяческими. С миссис Бреттон она делалась послушна, мягка, но на откровенности не отваживалась. С Грэмом она теперь держалась робко, очень робко; иногда напускала на себя холодность, иногда его избегала. Она вздрагивала от звука его шагов, краснела, когда он входил в комнату, на вопросы его отвечала с запинкой, а когда он прощался, оставалась смущенной и рассеянной. Даже отец заметил странность ее поведения.

— Полли, — сказал он однажды. — Ты ведешь жизнь слишком уединенную. Если у тебя и у взрослой будут такие робкие манеры, что скажут про тебя в свете? С доктором Бреттоном ты говоришь, как с чужим. Отчего? Неужели ты забыла, как ты в детстве была к нему привязана?

— Привязана, папа, — подхватила она суховато, но просто и тихо.

— Что ж теперь он тебе не нравится? Что он сделал плохого?

— Ничего. Да нет, отчего же, он очень мил. Только мы друг от друга отвыкли.

— А ты это перебори. Вспомни старое и перестань его дичиться, разговаривай с ним побольше, когда он приходит.

— Он и сам-то не много разговаривает. Боится он меня, что ли, папа?

— Ох, да если ты все молчишь. Ты хоть на кого нагонишь страху.

— А ты бы сказал ему, что это ничего, если я молчу. Сказал бы, что у меня привычка такая, что я люблю молчать и молчу вовсе не со зла.

— Привычка! Это у тебя-то! Ну нет, маленькая моя трещотка, никакая не привычка, а просто твой каприз.

— Ах, папа, я исправлюсь!

И на другой день она очень мило силилась сдержать слово. Она старалась любезно беседовать с Грэмом на общие темы; ее внимание, видимо, льстило гостю; он отвечал ей обдуманно, осторожно и мягко, словно боялся, слишком глубоко вздохнув, порвать ненароком тонкий тенетник счастья, повисший в воздухе. В самом деле, ее робкая, но серьезная попытка завязать с ним прежнюю дружбу была трогательна и полна прелести.

Когда доктор откланялся, она подошла к отцовскому креслу.

— Сдержала я слово? Я лучше себя вела?

— Моя дочь вела себя как королева. Если так и дальше продолжится, я смогу ею гордиться. Моя дочь скоро научится принимать гостей спокойно и величаво. Нам с мисс Люси придется немало потрудиться над улучшением наших манер и постоянно быть начеку, чтоб ты нас не затмила. И все же, должен тебе заметить, ты иногда запинаешься, заикаешься, а то и шепелявишь, как шепелявила когда-то давно, еще шестилетней девочкой.

— Нет, папа, — перебила она его с негодованием. — Этого быть не может!

— Спросим у мисс Люси. Правда ли, мисс Люси, что, отвечая на вопросы доктора Бреттона, Полли дважды произнесла «ражумеется»?

— Папа, папа, ну как вам не совестно, какой вы злой! Я не хуже вашего могу произнести любую букву алфавита. Но вот вы объясните: отчего вам важно, чтоб я была учтива с доктором Бреттоном? Вам-то он нравится?

— Конечно, он мне нравится, я ведь так давно его знаю, и он хороший сын, и добрый малый, и мастер своего дела, и не шепелявит, и говорит без шотландского акцента, и воспитан, словом, не нуждается в уроках, наставлениях и руководстве мисс Сноу, как ты или я.

Мнение мосье де Бассомпьера о «мисс Сноу» не в первый раз навело меня на странные мысли. До чего же разное впечатление оставляем мы в людях, различных меж собою! Мадам Бек считала меня синим чулком;

мисс Фэншо находила меня едкой, иронической, резкой; мистер Хоум видел во мне примерную учительницу, пусть немного ограниченную и чересчур дотошную, но все же воплощение сдержанности и положительности, необходимых гувернантке; в то время как еще один человек — профессор Поль Эманюель не упускал случая высказать свое суждение о моем характере — горячем, неумном, непокорном и дерзком. Все эти взгляды были мне смешны. Если кто и понял меня правильно, то одна только маленькая Полина Мэри.

Платной компаньонкой ее я не сделалась, общество ее день ото дня становилось мне приятней, а потому я согласилась, когда она предложила мне, чтобы почаще видеться, брать вместе какие-нибудь уроки; она выбрала занятия немецким языком, который, как и мне, казался ей трудным. Мы договорились ходить к одной учительнице на улице Креси, а значит, каждую неделю несколько часов проводить друг с другом. Мосье де Бассомпьер, кажется, очень обрадовался, что мадам Серьезность будет отныне делить часть своего досуга с его прелестной любимой дочерью.

Нельзя сказать этого о моем непрошеном наставнике, профессоре с улицы Фоссет. Тайно выследив меня и узнавши, что я более не сижу безвылазно в пансионе, но в известные дни и в известные часы его покидаю, он взял на себя добровольный труд надзирать за мною. Говорят, мосье Эманюель воспитывался у иезуитов. Я бы скорее этому поверила, будь его действия удачней замаскированы. Его же поведение не подтверждало этих слухов. Никогда еще не видывала я человека столь неискусного в плетении интриг, столь неопытного в составлении коварных планов; он сам пустился разбирать собственные замыслы и хвастаться своей прозорливостью; не знаю, рассердил ли он меня или скорей позабавил, когда подошел ко мне однажды утром и важно шепнул, что «он за мною присматривает», что он решил исполнить свой дружеский долг и более не оставит меня во власти моих прихотей, что мое поведение ему представляется странным, и он, право, не знает, как ему со мной поступить, и напрасно кузина его, мадам Бек, закрывает глаза на мой столь легкомысленный образ жизни, и он не понимает, как особа, выбравшая высокое призвание воспитывать других, может порхать по отелям и замкам, вращаться среди графов и графинь? По его мнению, я совершенно «en l'air».^[300] Ведь я шесть дней на неделе куда-то езжу.

Я ответила, что мосье преувеличивает. Мне, в самом деле, предоставили возможность новых впечатлений, но не ранее чем они стали для меня необходимы.

— Необходимы! Каким же образом?

Нет, он решительно не мог взять этого в толк. Необходимы новые впечатления! Да полно, здорова ли я? Он советовал бы мне изучать жизнь католических монахинь. Уж они-то не требуют новых впечатлений.

Я не могу судить о том, какое выражение приняло мое лицо во время его речи, но его оно возмутило. Он назвал меня суетной, беспечной охотницей до удовольствий, сказал, что я жадно гоняюсь за житейскими радостями и льну к высшим кругам. В моей натуре, оказывается, нет «devouement»,^[301] нет «recueillement»,^[302] нет чувства чести, благородства, жертвенности и смирения. Полагая бесполезным отвечать на его нападки, я молча правила ошибки в стопке тетрадей по английскому языку.

Оказывается, я вовсе и не христианка. Я, как и многие протестанты, погрязла в гордости и языческом своеволии.

Я слегка отвернулась от него, понадежней забиваясь под крылышко молчанья.

Он издал какой-то странный звук. Что произнес он? Конечно, не *jupon*,^[303] он слишком был религиозен для этого, но я ясно расслышала слово *sacre*.^[304] Как ни горестно в этом признаться, то же слово, да еще в сопровождении *mille*^[305] кое-чего, я услышала, когда обогнала его через два часа в коридоре, отправляясь на свой урок немецкого языка. Милейший человек мосье Поль, просто несравненный; но и несравненный, язвительнейший деспот.

Обучавшая нас немецкому языку фрейлейн Анна Браун была добрая, достойная особа лет сорока пяти; судя по тому, какое количество пива и мяса поглощала она за завтраком, ей следовало бы жить во времена королевы Елизаветы; ее прямая и открытая немецкая душа жестоко страдала из-за нашей, как называла она, английской чопорности; нам, правда, казалось, что мы с нею держимся очень сердечно, но мы не хлопали ее по плечу, а если она подставляла нам щеку для поцелуя, целовали ее тихо, спокойно, без смачного чмокания. Подобные упущенья немало ее удручали. Во всем же прочем мы прекрасно ладили. Привыкши обучать иностранных девиц, не желающих ни думать, ни заниматься, не удостаивающих претерпевать ради знаний ни малейших трудов, она, кажется, поражалась нашим успехам, на мой взгляд, довольно скромным. В ее глазах мы были немислимыми, сверкающими звездами, гордыми, холодными, невиданными.

Юная графиня и впрямь была немного горда, немного взыскательна; к тому же, при тонкости ее и красоте, она, быть может, имела на это право; но совершеннейшей ошибкой было приписывать мне подобные свойства. Я

никогда не избегала поцелуйного обряда при встрече, от которого Полина, если только могла, уклонялась; в моем арсенале защитного оружия не было и холодного презренья, тогда как Полли всегда держала его наготове и пускала в ход при всякой грубой немецкой вылазке.

Честная Анна Браун в известной мере чувствовала это различие; и трепеща Полины, боготворя ее, как прелестную нимфу, ундину, она искала поддержки во мне, существе земном и смертном.

Больше всего мы любили читать с нею Шиллеровы баллады. Полина скоро выучилась выразительно их читать. Фрейлин слушала ее с широкой блаженной улыбкой и говорила, что голос у нее звучит словно музыка. Переводила она их тоже очень свободно и бегло, с живым огнем вдохновенья: у нее тогда пылали щеки, на губах играла дрожащая усмешка, а на глаза иногда даже набегали слезы. Лучшие стихи она выучивала наизусть и часто повторяла их, когда мы с нею оставались наедине. Особенно любила она «Des Mädchens Klage»;^[306] вернее, она любила повторять слова, ее зачаровывали печальные звуки, смысл ей не нравился. Однажды вечером, сидя рядом со мной у камина, она тихонько мурлыкала:

Du Heilige, rufe dein Kind zuruck,
Ich habe genossen das irdische Glück,
Ich habe gelebt und geliebt.^[307]

— Жила и любила! — сказала она. — Значит, предел земного счастья, цель жизни — любить? Не думаю. Ведь это и самая горькая беда, и потеря времени, и бесполезная пытка. Сказал бы Шиллер — «меня любили», вот тут бы он не ошибся. Правда ведь, Люси, это совсем другое дело?

— Возможно. Только к чему пускаться в подобные рассужденья? Что знаете вы о любви?

Она залилась краской стыда и раздраженья.

— Нет, Люси, — ответила она. — Зачем вы так? Пусть уж папа обращается со мной как с малым ребенком. Мне даже лучше. Но вы-то должны понять, что мне скоро восемнадцать лет!

— Да хоть бы и все двадцать восемь. Рассужденьями чувств не объяснишь. О любви толковать нечего.

— Разумеется, — горячо подхватила она. — Вы можете затыкать мне рот, сколько вам вздумается. Но я достаточно уже говорила о любви и достаточно о ней наслушалась! И совсем недавно! И очень вредных рассуждений наслушалась, вам бы они не понравились!

И она зло, торжествующе расхохоталась.

Я не могла понять, что имеет она в виду, и расспрашивать тоже не решалась. Я была в замешательстве. Видя, однако, за дерзостью и упрямством полное ее простодушие, я, наконец, спросила:

— Да кто же пускается с вами в эти вредные рассужденья? Кто посмел вести с вами такие разговоры?

— Ах, Люси, — ответила она смягчаясь. — Эта особа чуть не до слез меня доводит. Лучше бы мне не слышать ее!

— Да кто же это, Полина? Не томите меня.

— Это... это моя кузина Джиневра. Всякий раз, когда ее отпускают к миссис Чамли, она является к нам, и всякий раз, когда застанет меня одну, начинает рассказывать о своих обожателях. Да, любовь! Послушали бы вы, как она рассуждает о любви!

— Да уж я слушала, — отозвалась я очень холодно. — Недурно, быть может, что и вы ее слушали. Это вам не повредит. Джиневра не может на вас повлиять. Вряд ли вас могут интересовать ее душа или образ мыслей.

— Нет, она очень на меня влияет. Она, как никто, умеет меня расстроить и сбить с толку. Она умеет меня задеть, задевая самых дорогих мне людей и самые дорогие мне чувства.

— Да что же она говорит, Полина? Мне надо знать. Надо же вас спасти от скверного влияния.

— Она унижает тех, кого я давно и высоко чту. Она не щадит миссис Бреттон. Она не щадит... Грэма.

— Полноте. И как же впутывает она их в свои чувства, в свою... любовь? Ведь она их впутывает, не правда ли?

— Люси, она такая наглая. И она лгунья, я думаю. Вы же знаете доктора Бреттона. Обе мы его знаем. Он бывает горд и небрежен, я верю; но неужто может он быть низким, недостойным? А она твердит мне, что он ходит за ней по пятам, ползает перед ней на коленях! Она отталкивает его, а он опять перед ней унижается! Люси, неужто это правда! Неужто в этом есть хоть слово правды?

— Когда-то она казалась ему красивой. Но она и теперь выдает его за искателя?

— Она говорит, что в любой день может за него выйти. Он, дескать, только и дожидается ее согласия.

— И эти-то рассказы причина вашей холодности с Грэмом, которую и отец ваш заметил?

— Разумеется, я стала к нему приглядываться. Конечно, на Джиневру нельзя полностью полагаться. Конечно, она преувеличивает, возможно, и

сочиняет. Но насколько? Вот что хотела бы я знать.

— Давайте ее испытаем. Предоставим ей возможность показать свою хваленую власть.

— Можно сделать это завтра же. Папа пригласил кой-кого на обед. Все ученых. Грэм, которого даже папа начинает признавать за ученого, тоже приглашен. Мне нелегко будет в таком обществе. Я совсем потеряюсь среди важных господ, совсем провалюсь. Вы с мадам Бреттон должны прийти ко мне на выручку. И Джиневра пусть тоже пожалует.

— Хорошо. Я передам ей ваше приглашение, и ей представится случай доказать свою правдивость.

Глава XXVII

НА УЛИЦЕ КРЕСИ

Следующий день получился приятней и беспокойней, чем ожидали мы, по крайней мере я. Кажется, был день рождения одного из молодых принцев Лабаскура, по-моему, старшего, Дюка де Диндоно, — и в его честь устраивались торжества во всех школах и, уж разумеется, в коллеже — в Атене. Молодежь этого заведения заготовила поздравительный адрес, и затевалось собрание в актовом зале, где проходили ежегодные экзамены и раздавались награды. После церемонии поздравления один из профессоров собирался сказать речь.

Ждали кое-кого из связанных с Атенею ученых приятелей мосье де Бассомпьера, должен был явиться и почтенный Виллетский муниципалитет, бургомистр мосье Кавалер Стаас, и родители и близкие атенейцев. Друзья мосье де Бассомпьера уговорили его тоже пойти; разумеется, его прелестная дочь тоже собиралась на вечер и послала записку к нам с Джиневрой, прося нас приехать пораньше, чтобы сесть рядом.

Мы с мисс Фэншо одевались в дортуаре на улице Фоссет, и вдруг она расхохоталась.

— В чем дело? — осведомилась я, потому что она отвлеклась от собственного туалета и уставилась на меня.

— Как странно, — сказала она с обычной своей наивной и вместе оскорбительной откровенностью, — мы с вами так теперь сравнялись, что приняты в одном обществе и у нас общие знакомые.

— Пожалуй, — сказала я. — Мне не очень нравились прежние ваши друзья: общество миссис Чамли совершенно мне не подходит.

— Да кто вы такая, мисс Сноу? — спросила она с таким неподдельным и простодушным любопытством, что я даже расхохоталась. — Обыкновенно вы называете себя гувернанткой; когда вы в первый раз тут появились, вы и вправду ходили за здешними детьми: я видела, как вы, словно няня, носили на руках маленькую Жоржетту — не каждая гувернантка на такое согласится, — и вот уже мадам Бек обходится с вами любезнее, чем с парижанкою Сен-Пьер; а эта зазнайка, моя кузина, делает вас своей наперсницей!

— Поразительно! — согласилась я, полагая, что она просто меня

дурачит, и притом забавно. — В самом деле, кто я такая? Наверное, я прячусь под маской. С виду я, увы, не похожа на героиню романа.

— По-моему, все это не слишком вам льстит, — продолжала она. — Вы остаетесь странно хладнокровны. Если вы и впрямь никто, как я одно время полагала, то вы довольно самонадеянная особа.

— Никто, как полагали вы одно время! — повторила я, и тут уж в лицо мне бросилась краска; не стоит, однако, горячиться: что мне за дело до того, как глупая девчонка употребляет слова «никто» и «кто-то»? Поэтому я только заметила, что меня встречают с простою учтивостью, и спросила, почему, по ее мнению, от простой учтивости надо приходиться в смятенье или восторг.

— Кое-чему нельзя не удивляться, — настаивала она.

— Вы сами изобретаете всякие чудеса. Ну, готовы вы, наконец?

— Готова; дайте вашу руку.

— Не нужно; пойдемте рядом.

Беря меня под руку, она всегда повисала на мне всей тяжестью, и, не будучи джентльменом и ее поклонником, я стремилась от этого уклониться.

— Ну вот опять! — воскликнула она. — Я предложила вам руку, чтобы выразить одобренье вашему туалету и вообще наружности; я хотела вам польстить.

— Неужто? То есть вы хотите сказать, что не стыдитесь появиться на улице в моем обществе? И если миссис Чамли, играя с моськой у окна, или полковник де Амаль, ковыряя в зубах на балконе, ненароком нас заметят, вы не станете очень уж краснеть за свою спутницу?

— Да, — сказала она с той прямою, что составляла главное ее достоинство и даже лживым выдумкам ее сообщала честную безыскусственность и была солью, главной скрепляющей чертою характера, который без нее бы просто рассыпался.

Я предоставила отозваться на это «да» лишь моему выражению лица; а точнее, выпятив нижнюю губу, избавила от работы язык; разумеется, взгляд, которым я ее подарила, не выражал ни уважения, ни почтения.

— Несносное, надменное создание! — говорила она, покуда мы пересекали широкую площадь и входили в тихий, милый парк, откуда рукой подать до улицы Креси. — Со мной в жизни никто не обращался так высокомерно!

— Держите это про себя, а меня оставьте в покое; лучше опомнитесь, не то мы расстанемся.

— Да разве можно с вами расстаться, когда вы такая особенная и загадочная!

— Загадочность эта и особенность — плод вашего воображения, ваша причуда — не более; сделайте милость, избавьте меня от них.

— Но неужели же вы и вправду — кто-то? — твердила она, силой беря меня под руку; однако рука моя весьма негостеприимно прижалась к телу, отклоняя непрошеное вторжение.

— Да, — сказала я, — я многообещающая особа: некогда компаньонка пожилой дамы, потом гувернантка, и вот — школьная учительница.

— Нет, вы скажите, кто вы? Я не стану просить в другой раз, настойчиво повторяла она, с забавным упорством подозревая во мне инкогнито; и она сжимала мне руку, получив ее, наконец, в полное свое распоряжение, и ласкалась, и причитала, покуда я не остановилась с хохотом посреди парка. В продолжение пути как только не обыгрывала она эту тему, утверждая с упрямой наивностью (или подозрительностью), что она не в состоянии постичь, каким образом может человек, не возвышенный происхождением или состоянием, без поддержки, которую доставляют имя или связи, держаться спокойно и независимо. Что до меня, то для душевного покоя мне вполне довольно, чтобы меня знали там, где мне это важно; прочее меня мало заботит — родословие, общественное положение и ловкие ухищренья наторевшего ума меня равно не занимают: то постояльцы третьего разряда — им отвожу я только маленькую гостиную да боковую спальню; пусть столовая и зала пустуют, я никогда им их не отворю, ибо им, по-моему, более пристало ютиться в тесноте. Знаю, что свет держится другого мнения и, безусловно, прав, хотя думаю, что не так уж не права и я.

Иных невысокое положение унижает нравственно, для них лишиться связей все равно что потерять к себе уважение; и легко можно извинить их, если они дорожат обществом, которое служит им защитой от унижений. Если кто чувствует, что станет себя презирать, когда будет известно, что предки его люди простые, а не благородные, бедные, а не богатые, работники, а не капиталисты, — неужто же следует судить его строго за желание утаить роковые сведения, — за то, что он вздрагивает, мучится, ежится перед угрозой случайного разоблачения? Чем дольше мы живем, тем больше у нас опыта; тем менее склонны мы судить ближнего и сомневаться в избитой мудрости: защищается ли добродетель недотроги или безупречная честь человека светского с помощью мелких оборонительных уловок — значит, в них есть нужда.

Мы подошли к особняку Креси; Полина ждала нас, с нею была миссис Бреттон, и, сопровождаемые ею и мосье де Бассомпьером, мы вскоре присоединились к собранию и заняли удобные места поближе к трибуне.

Перед нами выстраивали учащихся Атеней; муниципалитет и бургомистр сидели на почетных местах; юные принцы со своими наставниками располагались на возвышении; в зале было полно знати и видных граждан.

До сих пор меня не интересовало и не заботило, кто из профессоров произнесет «discours». Я смутно ожидала, что какой-нибудь ученый встанет и скажет официальную речь в назидание атенейцам и в угоду принцам.

Когда мы вошли, трибуна была еще пуста, но уже через десять минут она заполнилась; над ярко-красной кафедрой вдруг выросла голова, плечи, руки. Я узнала эту голову: ее форма, посадка, цвет были хорошо знакомы и мне и мисс Фэншо; узкая темная маковка, широкий бледный лоб, синий и горячий взор так укоренились в сознании и влекли сразу так много забавных воспоминаний, что одним неожиданным появлением своим вызывали смех. Я, признаюсь, не смогла удержаться и расхохоталась до слез; но я наклонилась, и только носовой платок да опущенная вуаль были свидетелями моего веселья.

Все же я, кажется, обрадовалась, узнав мосье Поля; я не без удовольствия увидела, как он, свирепый и открытый, мрачный и прямой, вспыльчивый и бесстрашный, царственно завладел трибуной, будто привычной классной кафедрой. Я очень удивилась, что он здесь; у меня и в мыслях не было его встретить, хотя я и знала, что он ведет в коллеже изящную словесность. Я сразу поняла, что если уж на трибуне он, мы избавлены и от казенных наставлений, и от льстивых заверений; но к тому, что нас ожидало, к тому, что вдруг стремительно и мощно обрушилось на наши головы, — признаюсь, я не была готова.

Он обращался к принцам, к аристократам, магистрату и горожанам с тою же непринужденностью, почти с тою же резкой пылкой серьезностью, с какой он обыкновенно витийствовал в трех классах на улице Фоссет. Он обращался не к школярам, но к будущим гражданам и патриотам. Тогда еще не предвидели мы той судьбы, что готовилась Европе, и мне было странно слышать слова мосье Эманюеля. Кто б мог подумать, что на плоской жирной почве Лабаскура произрастают политические взгляды и национальные чувства, с такой силой убеждения преподносимые нам сейчас? Не стану разбирать смысл его суждений; но все же позволю себе заметить, что в словах этого маленького господина была не только страсть, но и истина; при всей горячности он был точен и строг; он нападал на утопические воззрения; он с презрением отвергал нелепые мечты, но когда он смотрел в лицо тиранству, — о, тогда стоило поглядеть, какой свет источал его взор; а когда он говорил о несправедливости — голос его уже не звучал неверно, но напоминал мне звук оркестровой трубы, звянущей в

сумерках парка.

Не думаю, чтобы все его слушатели могли разделить его чистый пламень; но иные загорелись, когда он ярко обрисовал им будущую их деятельность, указал их долг перед родиной и Европой. Когда он кончил, его наградили долгими, громкими, звонкими рукоплесканиями; при всей свирепости он был любимый их профессор.

Он стоял у входа, когда наша компания покидала залу, он увидел меня и узнал, приподнял шляпу, подал мне руку и произнес: «Qu'en dites-vous?»^[308] вопрос характерный и даже в минуту его триумфа напоминавший мне о его беспокойстве и несдержанности, об отсутствии необходимого, на мой взгляд, самообладания, вовсе его не украшавшем. Ему не следовало тотчас добиваться моего да и ничьего суждения, но ему оно было важно, и, слишком простодушный, он не мог этого скрыть, и, слишком порывистый, он не мог себя побороть. Что ж! если я и осудила его нетерпение, мне все же нравилась его naïvete.^[309] Я бы и похвалила его: в сердце моем было довольно похвал, но увы! Слов у меня не нашлось. Да и у кого слова наготове в нужную минуту? Я выдавила несколько неловких фраз, но искренне обрадовалась, когда другие, подходя и расточая комплименты, возместили их избыточностью мою скудость.

Кто-то представил его мосье де Бассомпьеру, и весьма польщенный граф тотчас просил его отобедать в обществе друзей (почти все они были и друзьями мосье Эманюеля) на улице Креси. Обедать он отказался, ибо всегда отклонял ласки богачей: весь состав его пронизывала стойкая независимость — не вызывающая, но скорее приятная для того, кто сумел узнать его характер; он, однако, обещал зайти вечером со своим приятелем мосье N, французским ученым.

В тот день за обедом Джиневра и Полина обе выглядели прекрасно; быть может, первая и затмевала вторую красотой черт, зато вторая сияла обаянием тонким и духовным; всех покорял ясный взор, тонкая манера обхождения, пленительная игра лица. Пурпурное платье Джиневры удачно оттеняло светлые локоны и шло к розовому румянцу. Наряд Полины — строгий, безукоризненно сшитый из простой белой ткани — радовал взор, сочетаясь с нежным цветом ее лица, с ее скрытым одушевлением, с нежной глубиной глаз и щедрой пышностью волос, — более темных, чем у ее саксонской кузины, как темнее были у ней и брови, и ресницы, и сами глаза, и крупные, подвижные зрачки. Природа только наметила черты мисс Фэншо небрежною рукою, тогда как в мисс де Бассомпьер она довела их до высокой и изящной завершенности.

Полина робела ученых, но не теряла дара речи: она отвечала им скромно, застенчиво, не без усилия, но с таким неподдельным очарованием, с такой прелестной и проникновенной рассудительностью, что отец не раз прерывал разговор, чтобы послушать ее, и задерживал на ней гордый и довольный взгляд. Ее увлек беседой один любезный француз, мосье N, человек весьма образованный, но светский. Меня пленил ее французский; речь ее была безупречна; правильные построения, настоящие обороты, чистый выговор; Джиневра, проведя полжизни на континенте, ничем таким не блистала; не то чтобы мисс Фэншо не находила слов, но ей недоставало истинной точности и чистоты выражения, и вряд ли ей предстояло это наверстать. Мосье де Бассомпьер сиял: к языку относился он взыскательно.

Был тут еще один слушатель и наблюдатель; задержавшись по служебной надобности, он опоздал к началу обеда. Доктор Бреттон, садясь за стол, украдкой оглядел обеих дам; и не раз потом тайком он на них поглядывал. Его появление расшевелило мисс Фэншо, прежде безучастную; она заулыбалась, стала приветлива и разговорилась — хотя она редко говорила впопад, — вернее, убийственно не попадала в тон беседы. Ее легкая, несвязная болтовня когда-то, кажется, тешила Грэма; быть может, она и теперь еще ему нравилась, возможно, мне просто почудилось, что, в то время как он насыщал свой взор и потчевал слух, вкус его, острое внимание и живой ум держались в стороне от этих угощений. Одно можно сказать с уверенностью: его внимания неотвязно требовали, и он уступал, не выказывая ни раздражения, ни холодности, Джиневра сидела с ним рядом, и в продолжение обеда он был занят почти исключительно ею. Она, кажется, наслаждалась и перешла в гостиную в прекрасном расположении духа.

Но едва мы там водворились, она снова сделалась скучна и безразлична, бросившись на диван, она объявила и «discours» и обед вздором и спросила кузину, как может она выносить общество этих прозаических «grosbonnets»,^[310] которыми ее отец себя окружает. Но вот послышались шаги мужчин, и брюзжание ее прекратилось; она вскочила, подлетела к фортепьянам и с воодушевлением стала играть. Доктор Бреттон вошел среди первых и стал подле нее. Мне показалось, что он не надолго там задержится; я подозревала, что его привлечет местечко подле камина; но он только взглянул в ту сторону, а пока он присматривался, остальные не теряли времени. Обаяние и ум Полины очаровали ученых-французов: ее прелесть, изысканность манер, несозревший, но настоящий, прирожденный такт отвечали их национальному чувству; они увивались

около нее — не затем, разумеется, чтобы толковать о науках, что лишило бы ее дара речи, но для того, чтобы коснуться до разнообразных вопросов искусств, литературы и жизни, о которых, как вскоре стало ясно, она и читала и размышляла. Я слушала. Не сомневаюсь, что хотя Грэм и стоял поодаль, он тоже прислушивался: он обладал прекрасным слухом и зрением острым и схватчивым. Я знала, что он ловит каждое слово, и чувствовала, что самый стиль разговора нравится ему, доставляет удовольствие почти болезненное.

В Полине было больше силы чувств и характера, чем полагали многие — чем воображал даже Грэм — и чем видели те, кто не хотел этого понимать. По правде говоря, читатель, ни выдающейся красоты, ни совершенного обаяния, ни настоящей утонченности нет без силы, столь же выдающейся, столь же совершенной и надежной. Искать прелести в слабой, вялой натуре все равно что искать плодов и цветов на иссохшем, сломанном дереве. Ненадолго немощь может украситься подобием цветущей красы, но она не перенесет и легких порывов ветра и скоро увянет в самую ясную погоду. Грэм поразился бы, открой ему некий услужливый дух, какие стойкие опоры поддерживают эту изящную хрупкость; но я, помня ее ребенком, знала или догадывалась о добрых и сильных корнях, удерживавших эту грацию на твердой почве действительности.

Выжидая возможности войти в магический круг счастливых, Бреттон тем временем беспокойно оглядывал комнату и случайно задержался взглядом на мне. Я сидела в укромном уголке неподалеку от моей крестной и мосье де Бассомпьера, как всегда поглощенных тем, что мистер Хоум именовал «каляканьем с глазу на глаз» и что граф предпочитал называть беседой *tete-a-tete*. Грэм улыбнулся, пересек комнату, спросил меня о здоровье, заметил, что я немного бледна. А я улыбнулась своим собственным мыслям: прошло уже три месяца с тех пор, как Грэм говорил со мною, — но вряд ли он это помнил. Он сел и умолк. Ему хотелось наблюдать, а не говорить. Джиневра и Полина были теперь напротив него: он мог вдоволь насмотреться; он разглядывал их, изучал выражения лиц.

После обеда в комнате появилось несколько новых гостей обоего пола, они зашли поболтать, и между мужчинами, должна признаться, я тотчас выделила строгий, темный профессорский облик, одиноко мелькавший по пустой зале в глубине анфилады. Мосье Эманюель был тут знаком со многими господами, но не знал никого из дам, исключая меня; бросив взгляд в сторону камина, он не мог меня не заметить и уже сделал шаг, намереваясь ко мне подойти; но, увидев доктора Бреттона, передумал и

отступил. Если бы тем и кончилось, не было бы причин ссориться; но он не довольствовался своим отступлением, от досады наморщил лоб, выпятил губу и стал так безобразен, что я отвела взор от неприятного зрелища. Вместе со строгим братом явился и мосье Жозеф Эманюель и тотчас заменил Джиневру за фортепьянами. Какая мастерская игра сменила ее ученическое брнчанье! Какими великолепными, благодарными звуками отзывался инструмент на прикосновенья истинного артиста!

— Люси, — начал доктор Бреттон, нарушая молчание и улыбаясь Джиневре, на ходу окинувшей его взглядом. — Мисс Фэншо, безусловно, прелестная девушка.

Я, разумеется, согласилась.

— Может ли здесь кто соперничать с ней обаянием?

— Вероятно, она красивее прочих.

— Я того же мнения, Люси: мы часто сходимся во мнениях, вкусах или, во всяком случае, в суждениях.

— Вы полагаете? — возразила я не без сомненья.

— Мне кажется, будь вы мужчина, Люси, а не девушка — не крестница мамина, но крестник, — мы бы очень подружились; меж нашими суждениями просто нельзя бы было провести границу.

Он давно усвоил себе шутливый этот тон; во взгляде его мелькали ласковые, озорные искорки. Ах, Грэм! Сколько раз гадала я в тишине о том, как вы относитесь к Люси Сноу — всегда ли снисходительно и справедливо? Будь Люси такой как есть, но вдобавок обладай она преимуществами, которые доставляют богатство и положение, — разве так обходились бы вы с нею, разве не изменили бы вы своего суждения? И все же я не очень вас виню. Да, не раз вы огорчали и удручали меня, но ведь я сама легко предаюсь унынию — мне мало надобно, чтобы огорчиться. Быть может, перед лицом строгой справедливости моя вина окажется даже больше вашей.

И вот, унимая неразумную боль, пронзившую мне сердце, когда я сравнила серьезность, искренность и пыл мужской души, какие Грэм дарит другим, с тем легким тоном, какого удостаивается у него Люси, товарищ юных дней, я спокойно спросила:

— В чем же, по-вашему, мы так сходимся?

— Мы оба наблюдательны. Вы, может быть, отказываете мне в этом даре, но напрасно.

— Но вы говорили о вкусах: можно замечать одно и то же, но различно оценивать, не так ли?

— Сейчас мы это проверим. Вы, без сомнения, не можете не воздать

должного достоинства мисс Фэншо; но что думаете вы об остальных присутствующих? Например, о моей матери, или вон о тех львах, господах N и NN, или, скажем, о бледной маленькой леди, мисс де Бассомпьер?

— Что думаю я о вашей матушке, вам известно. О господах же N и NN я вовсе ничего не думаю.

— Ну, а о ней?

— По-моему, она, и точно, бледная маленькая леди — бледная она, правда, только теперь, от усталости и волнения.

— Помните вы ее ребенком?

— Иногда мне хочется знать, помните ли ее вы.

— Я забыл ее; но замечательно, что обстоятельства, люди, даже слова и взгляды, стершиеся в памяти, могут ожить в известных обстоятельствах усилием твоего или чужого ума.

— Вполне вероятно.

— Все же, — продолжал он, — оживают они не совсем, но нуждаются в подтверждении; тусклые, как сновиденья, и немыслимые, как мечты, они требуют еще свидетельских показаний о своей подлинности. Кажется, вы гостили в Бреттоне десять лет тому, когда мистер Хоум привез и оставил у мамы свою дочку, которую мы тогда звали «Полли»?

— Я была там в тот вечер, когда она появилась, и в то утро, когда она уехала.

— Она была странный ребенок, не правда ли? Интересно, как я с нею обходился? Любил ли я тогда детей? Довольно ли было снисходительности и доброты у тогдашнего беспечного, долговязого школьника? Но вы, конечно, не помните меня?

— Вы знаете ваш портрет на «Террасе». Он на редкость похож. Внешне вы мало переменились.

— Но, Люси, как это возможно? Такие истины всегда разжигают мое любопытство. Каков же я теперь? И каков я был тогда, десять лет назад?

— Вы были милы ко всем, кто вам нравился, и совсем не были злым и жестоким.

— Тут вы ошибаетесь: с вами, по-моему, я был едва ли не груб.

— Грубы! Нет, Грэм: грубости я бы не стерпела.

— Ну, уж я-то помню: тихоня Люси Сноу не пользовалась моим расположением.

— Но и не страдала от вашей жестокости.

— Еще бы, и сам Нерон не стал бы мучить существо, скромное как тень.

Я улыбнулась; но подавила стон. Ах, только бы он оставил меня в

покое, перестал говорить обо мне. Я не желала слышать этих эпитетов, этих характеристик. Я оставляла на его совести «тихоню Люси Сноу» и «скромную тень»; я не оскорбилась, я только ужасно устала; его слова давили меня свинцовой холодностью; не смеет он так меня обременять. К счастью, скоро он переменял разговор.

— А в каких отношениях были мы с «Полли»? Если память мне не изменяет, мы не враждовали...

— Вы выражаетесь слишком туманно. Не думаете ли вы, что у «Полли» такая же слабая память?

— О, к чему теперь толковать про «Полли»; скажите лучше — мисс де Бассомпьер; и уж, конечно, сия важная особа не помнит Бреттон. Взгляните в эти глазищи, Люси: могут ли они прочесть хоть слово на странице памяти? Неужто их заставлял я глядеть в букварь? Она и не подозревает, что я учил ее чтению.

— По Библии воскресными вечерами?

— Теперь у ней безмятежный, тонкий, милый профиль, а тогда какое у нее бывало беспокойное, встревоженное личико? Что за блажь — детская привязанность! Верите ли? эта дама была в меня влюблена!

— Да, она была к вам привязана, — отвечала я сдержанно.

— О, так вы, значит, помните? Я и сам забыл, но теперь вспомнил. Я больше всего в Бреттоне ей нравился.

— Так вам казалось.

— Я прекрасно все помню. Мне бы хотелось рассказать ей об этом; или лучше бы кто-нибудь, хоть вы, например, нашептывал все это ей на ушко, а я бы следил — вот с этого самого места — за выражением ее лица. Послушайте, Люси, не согласитесь ли вы разодолжить меня по гроб жизни?

— Разодолжить вас по гроб жизни? Нет, не могу. — Я крепко сжала дрожащие пальцы и вдруг осмелела. Я вовсе не собиралась доставлять доктору Джону такое удовольствие. Я уже не без торжества поняла, как ошибается он на мой счет. Он всегда отводил мне роль, мне несвойственную. Сама природа моя ему воспротивилась. Он не подозревал моих чувств; он не умел читать в моих глазах, лице, жестах, хотя, уж верно, они были красноречивы. Просительно склонившись ко мне, он вкрадчиво проговорил: «Ну, я прошу вас, Люси».

Еще немного, и я просветила бы его, я научила бы его не ждать от меня вперед услуг расторопной субретки из любовной драмы; но тут, почти одновременно с его нежным, настойчивым, умоляющим «Ну, прошу вас, Люси!» другого моего уха коснулся резкий шепот.

— *Ptite chatte, doucerette, coquette*, — зашипел подкравшийся боа-

констриктор. — Vous avez l'air bien triste, soumis, reveur, mais vous ne l'etes pas: c'est moi qui vous le dis: sauvage. La flamme a l'ame, l'eclair aux yeux!^[311]

— Oui, j'ai la flamme a l'ame, et je dois l'avoir!^[312] — отвечала я и обернулась в совершенной ярости, но профессор Эманюель, прошипев свою дерзость, был таков.

Всего хуже то, что доктор Бреттон, обладавший, как я сказала, тонким и острым слухом, расслышал каждое слово этой тирады; он прижал к лицу платок и затрясся от смеха.

— Грандиозно, Люси, — восклицал он, — бесподобно! Petite chatte, petite coquette!^[313] Ох, надо рассказать маме! А это правда, Люси, хотя бы отчасти? Думаю, правда: вы красны, как платье мисс Фэншо. Позвольте — теперь я вижу: ведь он же еще так свирепо обошелся с вами в концерте: ну да, он самый, и сейчас он в бешенстве оттого, что видит, как я смеюсь. О, надо его подразнить.

И Грэм, уступая своей любви к озорству, хохотал, острил и шептал, пока я не выдержала и на глаза не навернулись слезы.

Вдруг он пришел в себя; около мисс де Бассомпьер освободилось место; толпа, ее окружавшая, несколько поредела. Его взгляд, бдительный, даже в смехе, тотчас все подметил; он встал, собрался с духом, пересек комнату и воспользовался случаем. Доктор Джон во всю свою жизнь был счастлив — и удачлив. А отчего? Оттого, что зоркие глаза его высматривали благоприятную возможность, оттого, что сердце в нужную минуту побуждало его к действию и у него были крепкие нервы. Его ничем было не сбить с пути; не мешали ни восторги, ни слабости. Как хорош был он в ту минуту! Вот Полина подняла голову, и взор ее тотчас встретился с его взором — взволнованным, но скромным; вот он заговорил с нею, и лицо его залилось краской. Он стоял перед нею, отважный и робкий, смиренный и ненавязчивый, но полный решимости и поглощенный единой целью. Я поняла это тотчас и не стала смотреть дальше если б мне и хотелось смотреть, то просто времени не оставалось; уж было поздно; мы с Джиневрой собрались на улицу Фоссет. Я поднялась и распрощалась с крестной и с мосье де Бассомпьером.

То ли профессор Эманюель заметил, что я не поощряла веселости доктора Бреттона, то ли догадался, что мне горько и что вообще для легкомысленной мадемуазель Люси, охотницы до развлечений, вечер оказался не таким уж праздником, но когда я покидала залу, он встал и спросил, провожает ли меня кто-нибудь до улицы Фоссет. Теперь-то профессор говорил вежливо и даже почтительно и смотрел виновато; но я

не могла сразу поверить его любезности и, не задумываясь, принять его раскаянье. Никогда прежде не случилось мне серьезно обижаться на его дерзости или леденеть от его горячности; нынешняя выходка его показалась мне непростительной. Я решила показать, что очень им недовольна, и произнесла только: «Меня проводят».

Нас с Джиневрой, и точно, отвозили домой в карете; и я прошла мимо него, поклонившись бочком, как обыкновенно кланялись ему воспитанницы, выходя на эстраду.

Я вышла в прихожую за накидкой. Мосье Эманюель, кажется, меня поджидал. Он заметил, что погода прекрасная.

— Да? — сказала я, сама довольная сухостью и холодностью своего тона. Мне так редко удается оставаться спокойной и холодной, когда мне горько и досадно, что в ту минуту я почти гордилась собой. Это «да?» прозвучало у меня именно так, как его произносят иные. Сколько раз слышала я, как это словцо, жеманное, кургузое, сухое, слетает с поджатых коралловых уст холодных, самонадеянных мисс и мадемуазелей. Я знала, что мосье Поль долго не вынесет подобного диалога; но он, конечно, заслужил мою сухость. Наверное, он и сам так думал, ибо покорно проглотил пилюлю. Он посмотрел на мою накидку и заметил, что она слишком легка. Я решительно отвечала, что она вполне соответствует моим требованиям. Немного отступив, я прислонилась к перилам лестницы, закуталась в накидку и принялась разглядывать мрачную религиозную живопись, темневшую на стене.

Джиневра все не шла; я досадовала, что она мешкает. Мосье Поль не уходил; я ожидала, что он вот-вот рассердится. Он приблизился. «Сейчас опять зашипит!» — подумала я; я бы просто зажала уши, если бы не боялась показаться чересчур невежливой. Ожидания наши никогда не сбываются: ждешь шепота и воркованья, а слышишь мучительный вопль; ждешь пронзительного крика — к тебе обратятся тихим, приветливым, добрым голосом. Мосье Поль заговорил мягко: «Друзья, — сказал он, — не ссорятся из-за пустяков. Скажите, кто из нас — я или се grand fat d'Anglais^[314] (так скромно означил он доктора Бреттона) — виноват в том, что еще теперь у вас мокрые глаза и горят щеки?»

— Не думаю, мосье, чтобы из-за вас или кого бы то ни было другого со мной могло произойти нечто подобное, — отвечала я, и я опять превзошла себя, намеренно и холодно солгав.

— Ну что я такого сказал? — продолжал он. — Скажите мне; я вспылil; я все позабыл — напомните мне мои слова.

— Нет уж, лучше их забыть! — сказала я, по-прежнему спокойно и

холодно.

— Значит, все-таки мои слова вас ранили? Забудьте их; с вашего позволения, я беру их обратно; примите мои извинения.

— Я не сержусь, мосье.

— Тогда еще хуже — вы огорчены. Простите мне мои слова, мисс Люси.

— Я вас прощаю, мосье Эманюель.

— Нет, скажите обычным вашим, а не этим чужим тоном — «Mon ami, je vous pardonne». [\[315\]](#)

Я не могла сдержать улыбки. Кто бы не улыбнулся при виде этой печали, этого простодушия, этой серьезности?

— Bon! — вскричал он. — Voila que le jour va poindre! Dites donc — «mon ami». [\[316\]](#)

— Monsieur Paul, je vous pardonne. [\[317\]](#)

— Никакого «мосье»: скажите по-другому, иначе я не поверю в вашу искренность; ну, пожалуйста, — «mon ami», или, если хотите, по-вашему: «друг мой»!

Что же, «друг мой» звучит не так, как «mon ami», и значит другое; «друг мой» не выражает тесной, домашней привязанности; я не могла сказать мосье Полю «mon ami», а «друг мой» сказала без колебаний. Он же не ощутил разницы и вполне удовлетворился моим английским обращением. Он улыбнулся. Если бы только вы увидели его улыбку, мой читатель, вы бы тотчас заметили разницу между теперешней его наружностью и тем, как он выглядел полчаса назад. Не помню, случалось ли мне прежде видеть на устах и в глазах мосье Поля улыбку радостную, довольную или нежную. Сотни раз наблюдала я у него ироническое, язвительное, презрительное, торжествующее выражение, которое сам он, верно, считал улыбкой, но внезапное проявление чувств более теплых и нежных совершенно меня поразило. Лицо преобразилось так как будто с него сняли маску, глубокие борозды разгладились; даже цвет кожи стал светлей; южную желтоватую смуглость, говорившую об испанской крови, вытеснил более свежий оттенок. Кажется, никогда еще я не видела, чтобы человеческое лицо так менялось. Он проводил меня до кареты, тут же вышел и мосье де Бассомпьер с племянницей.

Мисс Фэншо была вне себя; она считала, что вечер совершенно не удался; едва мы уселись и за нами затворились дверцы кареты, она дала волю своему раздражению. С горечью нападала она на доктора Бреттона. Она была не в силах ни очаровать его, ни уязвить, ей осталась одна

ненависть, и эту ненависть она изливала так преувеличенно и неудержимо, что сперва я стоически ее слушала, но, наконец, оскорбилась несправедливостью и вдруг вспылила. Меня взорвало, ведь я тоже иногда бушую, а общество моей красивой, но несовершенной спутницы всегда трогало во мне все самые худшие струнки. Хорошо еще, колеса кареты страшно грохотали по шозвилльской мостовой, ибо, могу заверить читателя, в экипаже нашем не водворилось ни мертвой тишины, ни покойной беседы. Отчасти искренно, отчасти играя я стала умирять Джиневру. Она бесилась от самой улицы Креси; следовало укротить ее прежде, чем мы окажемся на улице Фоссет: пора было показать ей самой ее неоценимые качества и высокие достоинства; и сделать это надлежало в тех выраженьях, которые доходчивостью и любезностью могли соперничать с комплиментами, какие Джон Нокс^[318] расточал Марии Стюарт. Джиневра получила хороший урок; и он пошел ей на пользу. Я совершенно уверена, что после моей трепки она легла спать, вполне отрезвев, и спала еще слаще обычного.

Глава XXVIII

ЦЕПОЧКА ДЛЯ ЧАСОВ

Мосье Поль Эманюель совершенно не выносил, чтобы в продолжение занятий его прерывали; поэтому преподаватели и воспитанницы школы, все вместе и каждая порознь, считали, что пройти мимо него в то время, когда он ведет урок, — значит рисковать жизнью.

Сама мадам Бек, в случае необходимости, семенила, подхватив юбки, и с опаскою огибала эстраду, как корабль огибает рифы. Что же до привратницы Розины, на которой лежала опасная обязанность каждые полчаса извлекать учениц прямо из класса и тащить их на урок музыки в часовню, в большую или малую залу, в *salle a manger*, словом, туда, где стояли фортепьяна, то после второй-третьей попытки она от ужаса теряла дар речи, ибо всякий раз ей метали неопиcуемый взгляд сквозь смертоносные очки.

Как-то раз утром я сидела в *carte* за вышиваньем, начатым и брошенным одной из учениц, и покуда руки мои трудились над пальцами, слух упивался раскатами голоса, бушевавшего в соседнем классе и каждую минуту становившегося все беспокойней и грозней. Прочная стена защищала меня от надвигавшегося шторма, а если б не помогла и она, можно было легко спастись бегством во двор через стеклянные двери; поэтому, признаюсь, нараставшие признаки бури скорее забавляли, чем тревожили меня. Но бедная Розина подвергалась опасности: тем незабвенным утром она четырежды совершала свой рискованный поход — и вот теперь ей предстояло в пятый раз выхватывать, так сказать, головню из пламени — ученицу из-под носа у мосье Поля.

— *Mon Dieu! Mon Dieu!* — воскликнула она. — *Que vais-je devenir? Monsieur va me tuer, je suis sure, car il est d'une colere!* ^[319]

Движимая мужеством отчаяния, она открыла дверь.

— *Mademoiselle La Malle au piano!* ^[320] — крикнула она.

И не успела она отбежать или хоть прикрыть дверь, как оттуда донеслось:

— *Des ce moment! La classe est defendue. La premiere qui ouvrira cette porte, ou passera par cette division, sera pendue — fut-ce Madame Beck elle-meme!* ^[321]

Не прошло и десяти минут после обнародования этого указа, как в

коридоре снова послышалось шарканье Розининых пан-туфель.

— Мадемуазель, — сказала она, — я теперь и за пять франков туда не войду, жуть, как я боюсь его очков. А тут пришел нарочный из Атенея. Я сказала мадам Бек, что не смею ему передать, а она говорит, чтобы я вас попросила.

— Меня? Нет, мне это вовсе не улыбается. Это не входит в круг моих обязанностей. Полно, Розина! Несите свой крест. Смелей — рискните еще разок!

— Я, мадемуазель? — ни за что! Я сегодня пять раз проходила мимо него. Пусть мадам нанимает для такой службы жандарма. Ouf! Je n'en puis plus!^[322]

— Э, да вы просто трусиха. Ну, что надо передать?

— Как раз то, чего он больше всего не любит; дескать, просят не мешкая идти в Атеней, потому что туда пожаловал официальный гость — инспектор, что ли, и мосье должен с ним повидаться: сами знаете, как он ненавидит такое.

Да, это я знала. Упрямец и причудник, он не выносил шпор и узды; он восставал против всякой повинности и неизбежности. Я, однако, решилась — не без страха, конечно, но страх мой мешался с другими чувствами, и, между прочим, с любопытством. Я отворила дверь, вошла, закрыла ее так быстро и тихо, как только позволяла не слушавшаяся меня рука; промешкать или засуетиться, загреметь задвижкой или оставить дверь неприкрытой значило усугубить вину и навлечь еще более страшные громы. Итак, я стояла, а он сидел; его дурное (если не ужасное) расположение духа было заметно; он давал урок из арифметики (он мог преподавать все, что ему вздумается), арифметика же своею сухостью неизменно его раздражала; ученицы трепетали, когда он говорил о числах. Он сидел, склонясь над столом; с минуту он крепился, чтобы не замечать шороха у дверей в нарушение его воли и закона. Мне того и надо было: я выиграла время и успела пересечь залу; легче отражать взрыв ярости с близкого расстояния, чем подвергаться угрозе издалека.

У эстрады я остановилась, прямо напротив него; конечно, я не заслуживала внимания; он продолжал урок. Но презрением он не отделается ему придется выслушать меня и ответить.

У меня не хватало росту дотянуться до его стола, вознесенного на эстраду, и я неловко пыталась сбоку заглянуть ему в лицо, которое еще от дверей поразило меня близким и ярким сходством с черно-желтой физиономией тигра. Дважды выглядывая из укрытия, я безнаказанно

пользовалась тем, что меня не видят; но на третий раз его lunettes^[323] перехватили и насквозь пронзили мой взгляд. Розина оказалась права: сами стекла наводили ужас, независимо от яростного гнева прикрываемых ими глаз.

Но я верно рассчитала преимущество близкого расположения: близорукие эти «lunettes» не могли изучать преступника под самым носом у мосье; потому он сбросил их, и вот мы были в равном положении.

К счастью, я не очень его боялась — стоя совсем рядом, я даже вообще не испытывала страха; и тогда как он требовал веревку и виселицу во исполнение только что объявленного приказа, я предлагала взамен нитки для вышивания с такой любезной готовностью, которая хоть отчасти укротила его гнев. Разумеется, я не стала перед всеми демонстрировать свою учтивость; я просто завела нитку за край стола и прикрепила ее к решетчатой спинке профессорского стула.

— Que me voulez-vous?^[324] — зарычал он, и вся эта музыка осталась в недрах груди и глотки, ибо он тесно стиснул зубы и, казалось, поклялся ничему на свете уже не улыбаться.

Я отвечала не колеблясь: «Monsieur, — сказала я, — je veux l'impossible, des choses inouïes»,^[325] — и решив, что всего лучше говорить напрямик, сразу окатив его душем, я передала тихо и скоро просьбу из Атенея, всячески преувеличив неотложность дела.

Конечно, он и слышать ни о чем не хотел. Он не пойдет; он не уйдет с занятий, даже если за ним пошлют всех чиновников Виллета. Он не сдвинется с места, даже если его призовут король, кабинет и парламент вместе взятые.

Но я знала, что ему надобно идти; что бы он ни говорил, интересы его и долг призывали его немедленно и буквально исполнить то, чего от него хотели; поэтому я молча выжидала, не обращая никакого внимания на его слова. Он спросил, что еще мне нужно.

— Только чтобы мосье ответил нарочному.

Он раздраженно тряхнул головой в знак отрицанья.

Я осмелилась протянуть руку к его феске, мрачно покоившейся на подоконнике. Он проводил это дерзкое поползновение взглядом, безусловно, удивленный и опечаленный моей наглостью.

— А, — пробормотал он, — ну, если так, — если мисс Люси смеет касаться до его фески — пусть сама ее и надевает, превращаясь для такого случая в garçon'a, и смело идет вместо него в Атений.

Я с великим почтением положила шапку на стол, и она величаво

кивнула мне кисточкой.

— Я пошлю извинительную записку, и довольно! — сказал он, все еще уклоняясь от неизбежного.

Сознавая тщетность своего маневра, я мягко подтолкнула шапку к его руке. Она скользнула по гладкой наклонной крышке полированного, не покрытого сукном стола, увлекла за собою легкие, в стальной оправе «lunettes», и страшно сказать — они упали на эстраду. Сколько раз видела я, как они падали благополучно — но теперь, на беду злополучной Люси Сноу, они упали так, что каждая ясная линза превратилась в дрожащую бесформенную звезду.

Тут уж я не на шутку испугалась — испугалась и огорчилась. Я знала цену этим «lunettes»; у мосье Поля был особый трудноисправимый недостаток зрения, а эти очки выручали его. Я слышала, как он называл их своим сокровищем; рука моя дрожала, подбирая бесполезные осколки. Я ужаснулась того, что наделала, но раскаяние мое, кажется, было еще сильнее испуга. Несколько секунд я не решалась взглянуть в лицо обездоленному профессору; он заговорил первый.

— La! — сказал он. — Me voila veuf de mes lunettes!^[326] Я полагаю, теперь мадемуазель Люси признает, что вполне заслужила веревки и виселицы; и трепещет в ожидании своей участи. Какое коварство! Вы решили воспользоваться моей слепотой и беспомощностью!

Я подняла взор: вместо гневного, мрачного и свирепого лица я увидела расплывшуюся улыбку, светившую, как в тот вечер на улице Креси. Он не рассердился — даже не опечалился. На настоящую обиду он отвечал терпимостью; действительный вызов он принял кротко, как святой. Происшествие, которое меня так напугало и лишило было всякой надежды его уговорить, вдруг как нельзя лучше помогло мне. Непреклонный, когда за мной не было никакой вины, он вдруг чудесно преобразился, когда я стояла перед ним, сокрушаясь и раскаиваясь.

Продолжая ворчать: «Une forte femme — une Anglaise terrible — une petite cassetout»,^[327] — он объявил, что не смеет послушаться той, которая явила образец столь опасной доблести; так же точно «великий император» разбивал вазу, чтобы внушить страх. Наконец, он водрузил на голову феску, взял у меня разбитые «lunettes», примирительно пожал мне руку, поклонился и в самом лучшем расположении отправился в Атеней.

После всей этой приятности читателю грустно будет узнать, что в тот же день я снова поссорилась с мосье Полем; но делать нечего, это правда.

Он имел обыкновение — впрочем, весьма похвальное — врываться по

вечерам, всегда а l'improviste,^[328] без предупреждения, в часы, когда мы тихо готовили уроки, и тотчас брался распоряжаться нами и нашими занятиями: заставлял отложить книги, достать рукоделие и, вытащив толстенный фолиант или стопку брошюр, заменял сонную воспитанницу, уныло произносившую «lecture pieuse»,^[329] и читал нам трагедию, прекрасную, благодаря прекрасному чтению, либо огненную, благодаря огненности исполнителя, драму, в которой я, признаться, чаще всего не видела прочих достоинств, но для мосье Эманюеля то был лишь сосуд, и он наполнял его, как живой водой, собственной энергией и страстью. Или, бывало, он заносил в наш монастырский мрак луч иного яркого мира, знакомя нас с современной словесностью; читал отрывки чудесной повести либо свежую остроумную статью, смешившую парижские салоны, всегда безжалостно выбрасывая из трагедии, мелодрамы, повести или эссе всякий пассаж, выражение или слово, по его мнению, неподходящее для ушей «jeunes filles».^[330] Не раз замечала я, что если сокращение вело к бессмысленным зияниям или портило текст, он мог выдумать, да и выдумывал на ходу целые куски, силою не уступавшие их целомудренности; диалог или описание, привитые им к старой лозе, часто оказывались куда лучше срезанных.

Итак, в тот самый вечер мы сидели тихо, как монахини после «отбоя», ученицы за книгами, учительницы за работой. Помню, что я работала; одна причуда занимала меня; я кое-что задумала; я не просто коротала время: я собиралась подарить свою работу, а случай приближался, надо было торопиться, и пальцы мои трудились без устали.

Мы услышали резкий звонок, который все знали, потом быстрые, привычные слуху шаги; едва раздалось хором: «Voila Monsieur!»^[331] — как двустворчатые двери распахнулись (они всегда распахивались при его появлении: неторопливое «отворились» здесь не годится), и вот он уже стоял среди нас.

Вокруг двух письменных столов были длинные лавки; посередине над каждым столом висела лампа; ближе к лампе друг против друга сидели учительницы; девушки устраивались по правую и по левую руку от них; кто постарше и поприлежней — ближе к лампе, к тропикам; ленивицы же и те, кто поменьше, располагались у северного и южного полюсов. Обыкновенно мосье вежливо подвигал стул одной из учительниц, чаще всего Зели Сен-Пьер, старшей наставнице; потом он садился на освободившееся место, пользуясь, таким образом, ярким светом Рака или Козерога, в котором нуждался вследствие своей близорукости. Вот Зели,

как всегда проворно, вскочила и улыбнулась своей странной улыбкой до ушей, обнажающей и верхние и нижние зубы, но не порождающей ни ямочек на щеках, ни света в глазах. Мосье не то не обратил на нее внимания, не то просто решил ее не замечать, ибо он был капризен, как, по общему мнению, бывают капризны одни женщины; вдобавок «lunettes» (он раздобыл новые) служили ему оправданием мелких оплошностей. Как бы то ни было, он прошел мимо Зели, обогнул стол и, не успев я вскочить и посторониться, пробормотал: «Ne bougez pas»,^[332] — и водворился между мною и мисс Фэншо, вечной моей соседкой, чей локоть я чувствовала постоянно, как ни упрашивала я ее то и дело «убраться от меня подальше».

Легко сказать «Ne bougez pas»; но как это сделать? Я должна была освободить ему место и еще просить подвинуться учениц. Джиневра «грелась», как она выражалась, возле меня в зимние вечера, докучала мне вознёю и вынуждала меня порой закалывать в пояс булавку для защиты от ее локтя; но, очевидно, с мосье Эманюелем так обращаться не следовало, и потому я отложила работу, очищая место для его книги, и отодвинулась сама — не более, однако, чем на метр: всякий разумный человек счел бы такое расстояние достаточным и приличным. Но мосье Эманюель вовсе не был благоразумен: трут и огниво, вот что он был такое! — и он тотчас высек пламя.

— Vous ne voulez pas de moi pour voisin, — зарычал он, — vous donnez des airs de caste; vous me traitez en paria, — сказал он мрачно. — Soit, je vais arranger la chose.^[333] — И он принялся за дело. — Levez-vous toutes, Mesdemoiselles,^[334] — возгласил он.

Девушки встали. Он заставил их перейти за другой стол. Затем он усадил меня на краю лавки и, аккуратно передав мне мою корзинку, шелк, ножницы все мое имущество, — уселся на противоположном конце.

При полной нелепости этой сцены никто не посмел засмеяться: шутнице бы дорого обошелся этот смех. Что же до меня, я отнеслась ко всему совершенно хладнокровно. Я сидела в одиночестве, лишенная возможности общения, занималась своим делом, была покойна и ничуть не печалилась.

— Est-ce assez de distance? — спросил он строго.

— Monsieur en est l'arbitre, — сказала я.

— Vous savez bien que non. C'est vous qui avez cree ce vide immense; moi je n'y ai pas mis la main.^[335]

И он приступил к чтению.

На свою беду, он выбрал французский перевод того, что он назвал «un

drame de William Shakespeare; le faux dieu, — продолжал он, — de ces sots païens, les Anglais». ^[336] Едва ли мне следует объяснять, как изменилась бы его оценка, будь он в духе.

Разумеется, французский перевод никуда не годился, а я и не пыталась скрыть презрения, которое вызывали иные жалкие пассажи. Я не собиралась высказываться, но ведь можно выразить отношение и без слов. Навострив свои «lunettes», мосье ловил каждый мой взгляд; кажется, он ни одного не прозевал; в конце концов глаза его отбросили свое укрытие, чтобы ничто не мешало им метать молнии, и уже он распалялся в добровольном изгнании на северном полюсе, горячей — судя по атмосфере в комнате, — чем уместно б распаляться под прямыми лучами Рака.

Когда чтение окончилось, трудно было предсказать, даст ли он выход своему раздражению или уйдет сдержавшись.

Сдержанность была ему несвойственна; но какой же дала я ему повод для прямого неудовольствия? Я не произнесла ни звука и, по справедливости, не заслуживала осуждения или кары за то одно, что дала мускулам у глаз и рта несколько больше вольности, чем обыкновенно.

Внесли ужин, состоявший из хлеба и молока, разбавленного теплой водичкой. Булочки и стаканы стояли на столе, и из уважения к профессору их не раздавали.

— Ужинайте, сударыни, — сказал он, будто бы поглощенный пометами на своем Шекспире. Все повиновались. Я тоже взяла стакан и булку, но тут мне сильнее прежнего захотелось кончить работу, и я принялась за нее, не покидая места ссылки, жуя хлеб и отхлебывая из стакана с совершенным sangfroid, ^[337] с несвойственным мне самообладанием, самое меня приятно удивлявшим. Верно, беспокойный, раздражительный, колючий мосье Поль как магнит собирал вокруг себя все возбуждение и напряжение, и мне не оставалось ничего, кроме безмятежности.

Он поднялся. Неужто так и уйдет, не произнеся ни слова? Да, вот уж он повернулся к дверям.

Нет: возвращается; но, быть может, затем лишь, чтобы взять карандашный футляр, забытый на столе?

Взял — вложил карандаш, выхватил, сломал грифель, очинил, сунул в карман и... быстро подошел ко мне.

Девушки и наставницы, сидевшие за другим столом, разговаривали без стеснения; они всегда беседовали за едой и, привыкши говорить быстро и громко, теперь не церемонились.

Мосье Поль подошел и стал позади меня. Он спросил, чем я занята, и я отвечала, что делаю цепочку для часов.

Он спросил, для кого, и я сказала, что «для одного моего друга».

Мосье Поль наклонился и (как пишут в романах, но сейчас эта метафора буквально соответствовала истине) «прошипел» мне на ухо несколько колкостей.

Он говорил, что из всех известных ему женщин я самая неприятная; что со мною немисливо быть в дружеских отношениях. Что у меня «caractere intraitable»^[338] и упрямый до невозможности. Он сам не знает, что на меня находит; но с какими бы мирными и дружественными намерениями ко мне ни подойти, глядь — и я обращаю согласие в раздор, а доброжелательство во враждебность. Он смеет заверить меня, что он, мосье Поль, желает мне добра; он никогда умышленно не огорчал меня и мог бы, кажется, по крайней мере рассчитывать на то, что к нему станут относиться хотя бы как к доброму знакомому; и что же? как я с ним обращаюсь! Сколько язвительной бойкости, что за страсть перечить и «fougue»^[339] несправедливости!

— Бойкость? Страсть? Fougue? я и не знала...

— Chut! a l'instant!^[340] Вот, вот вы опять за свое! — vive comme la poudre.^[341] — Жаль, очень жаль; он сожалеет об этой моей несчастной особенности. «Emportement» и «chaleur»,^[342] быть может, и великодушные, и все же он боится, как бы они мне не повредили. А жаль: в глубине души он полагает, что я не вовсе лишена добродетелей, и если бы только я прислушалась к доводам рассудка и держалась бы сдержанней, скромней, не была бы «en l'air», такой «coquette»,^[343] не рисовалась бы, не придавала бы такого значения наружному блеску, который и нужен-то лишь затем, чтобы привлекать внимание людей, замечательных главным образом своим ростом, «des couleurs de poupee», «un nez plus ou moins bien fait»^[344] и неслыханной глупостью, — мой характер можно бы еще назвать сносным, а то и образцовым. Но так... И здесь он запнулся.

Мне стоило только посмотреть на него, или протянуть руку, или сказать что-нибудь примирительное; но я испугалась, а когда я пугаюсь, я либо смеюсь, либо плачу; во всем этом трогательное как-то странно мешалось со вздором.

Я думала, он кончил, но нет: он сел, чтобы продолжать со всем удобством.

Раз уж он, мосье Поль, коснулся этого болезненного предмета, то он осмелится ради моего же блага навлечь на себя мой гнев и остановиться на

перемене, которую он заметил в моем наряде. Он без колебаний признает, что, когда он впервые меня заметил — или, вернее, стал время от времени мимоходом меня замечать, — он был доволен мною: основательность, строгая простота, в этих стенах особенно приятная, внушали ему на мой счет лучшие надежды. Чье роковое влияние заставило меня вдруг прикалывать к шляпе цветы, надевать «des cols brodes»,^[345] а однажды даже появиться в алом платье? Он, конечно, догадывается, но не скажет этого вслух.

Я снова прервала его, но на сей раз с возмущением.

— Алое, мосье Поль? Вовсе оно не алое. Розовое, и притом бледно-розовое, да еще с черными кружевами.

— Розовое или алое, барежевое или желтое, палевое или лазоревое — мне все равно: щегольские, легкомысленные цвета; что же до кружев, то это просто «colifichet de plus».^[346] — И он вздохнул, сожалея о моем падении. Он вынужден с грустью признать, что не может рассмотреть эту тему подробно, как ему бы того хотелось: не зная в точности названий этих «babioles»,^[347] он рискует напутать и неизбежно стать мишенью моих насмешек и раздражить мой неуравновешенный и порывистый нрав. Он только хочет сказать — и уж здесь-то не боится ошибиться, — что в последнее время мои наряды приобрели «des facons mondaines»,^[348] и ему больно это видеть.

Признаюсь, мне трудно было понять, что за «facons mondaines» усмотрел он в моем зимнем меринесе с простым белым воротником: когда я задала ему этот вопрос, он сказал, что все вместе выглядит вызывающе — и вдобавок «шейный бант»...

— Но если вы не позволяете носить ленты женщине, мосье, то вы уж, верно, и у мужчин не одобряете ничего такого? — и я показала ему свою цепочку из шелка и золота. В ответ он только застонал — очевидно, из-за моего легкомыслия.

Он помолчал немного, наблюдая за моей как никогда усердной работой, потом спросил, стану ли я ненавидеть его после того, что он сейчас наговорил.

Не помню в точности, что я ему отвечала; кажется, промолчала вообще; знаю только, что мы сумели расстаться дружески и уже от дверей мосье Поль вернулся объяснить, что не следует думать, будто он решительно против моего алого платья («Розового! Розового!» — не утерпела я); он не станет отрицать, что оно, вообще говоря, выглядит красиво (на самом-то деле, мосье Эманюэль определенно предпочитал

яркие цвета); он только хотел посоветовать мне, надевая его, держаться так, словно оно шито из «bure» цвета «gris de poussiere».^[349]

— А как же цветы на шляпе, мосье? — осведомилась я. — Они ведь такие маленькие...

— Бог с ними, — сказал он. — Только не давайте им распускаться.

— А бант, мосье, хотя бы ленточка?..

— Va pour le ruban!^[350] — был милостивый ответ.

На том мы и порешили.

«Браво, Люси Сноу! — сказала я себе. — Ну и выслушала ты лекцию, получила «rude savon»,^[351] и все из-за несчастной привязанности к светской суеде! Кто бы мог подумать? А ты-то считала себя унылой и благонравной особой! Мисс Фэншо полагает, что ты второй Диоген. На днях мосье де Бассомпьер деликатно переменял разговор, когда речь зашла о бурных дарованиях актрисы Вашти, оттого что, как он мягко заметил, «мисс Сноу, кажется, неинтересна эта тема». Для доктора Бреттона ты только «тихоня Люси» — существо скромное, словно тень, и ты слышала, как он говорил: «Все беды Люси от чрезмерной чопорности во вкусах и поведении, и еще ей не хватает яркости в характере и костюме». Ты сама так думаешь; того же мнения и твои друзья; но вот откуда ни возмись является человек, совершенно на них не похожий, и резко осуждает тебя за то, что ты слишком легкомысленна и бойка слишком подвижна и непостоянна — чересчур ярка и пестра. Суровый маленький человечек — безжалостный блюститель нравов — собирает мелкие разрозненные грешки твоего тщеславия: жалкие розовые сборки, бахромку венчиком, кусок ленты, глупое кружево — и призывает тебя к ответу за все вместе взятое. Ты уж привыкла, что мимо тебя проходят, как мимо тени, тебе в диковину, если кто-то с раздражением поднимает руку, чтобы заслониться от твоих палящих лучей».

Глава XXIX

ИМЕНИНЫ МОСЬЕ ПОЛЯ

На другое утро я поднялась чуть свет и кончала свою цепочку, стоя на коленях на полу посредине спальни, возле столика, при слабом свете угасающего ночника.

У меня вышел весь бисер и весь шелк, а цепь все была коротковата и не так красива, как мне бы хотелось; я сплела ее вдвое, зная, что бьющая в глаза красота, по закону притяжения противоположностей, должна удовлетворить вкусу того, для кого я старалась. Мне понадобился еще и маленький золотой зажим, по счастью, он имелся на единственном моем ожерелье; я осторожно отделила и прикрепила его, потом плотно смотала готовую цепочку и вложила ее в шкатулку, которую купила, соблазнившись ее привлекательностью: она была из тропических ракушек кораллового цвета и украшена венчиком сверкающих синих камней. На внутренней крышке я старательно выцарапала ножницами известные инициалы.

Читатель, верно, помнит описание именин мадам Бек; не забыл он и того, что каждый год в сей праздник полагалось подносить виновнице красивый подарок по подписке. Кроме самой мадам, этой привилегией пользовался лишь родственник ее и советчик мосье Эманюель. В последнем случае все, однако, происходило иначе, без заранее составленного плана, и это еще раз доказывало, что профессор литературы пользовался уважением воспитанниц, несмотря на свои чудачества, вспыльчивость, предубеждения. Ничего особенно дорогого ему не дарили: он ясно давал понять, что не примет ни серебра, ни драгоценностей. Но ему нравились скромные подношения — цена нисколько его не занимала: бриллиантовое кольцо или золотая табакерка, врученные торжественно, обрадовали бы его меньше, чем цветок или рисунок, подаренные просто и от души. Такова была его натура. Он был человек, может быть, не очень разбиравшийся в окружающем, зато он чувствовал сердцем «Восток свыше». [\[352\]](#)

Именины мосье Поля приходились на четверг, первое марта. Стоял чудесный солнечный день; с утра по обыкновению была служба, а занятия кончились раньше, и разрешалось днем гулять, делать покупки и ходить в гости; все вместе повлекло некоторую нарядность туалетов. Пошли в ход чистые воротнички, унылые шерстяные платья сменились более светлыми

и яркими. Мадемуазель Зели Сен-Пьер в этот четверг облачилась даже в robe de soie,^[353] что скарденый Лабаскур почитал непозволительной роскошью; более того говорили, будто она посылала за coiffeur'ом,^[354] чтобы он причесал ее; иные наблюдательные воспитанницы заметили, что она оросила носовой платок и руки новыми и модными духами. Бедная Зели! В то время она постоянно твердила, как ей надоело жить в трудах и одиночестве; как мечтает она об отдыхе, о том, чтобы кто-то позаботился о ней, о том, чтобы муж платил ее долги (долги ужасно ее стесняли), пополнял ее гардероб и не мешал ей, как она выражалась, *gouter un peu les plaisirs*.^[355] Давно поговаривали, будто она заглядывается на мосье Эманюеля. Мосье Эманюель нередко в свою очередь разглядывал ее. Иногда он несколько минут кряду смотрел ей в глаза. Я видела, как он с четверть часа глядел на нее, пока класс сочинял в тишине, а он празднично восседал на эстраде. Чувствуя на себе этот взгляд василиска, она ежилась, польщенная и в то же время растерянная, а мосье Поль наблюдал ее переживания, иногда словно пронзая ее взглядом; он обнаруживал порой безошибочную проницательность, умея пробраться в тайники самых сокровенных движений сердца и различить под пышным покровом тощие пустоши духа — его уродливые стремления, потаенные лживые изгибы — врожденную увечность, хромоту или, что еще много того хуже, возвращенный порок или уродство. Не существовало такого изъяна, которого не простил бы мосье Эманюель, если в нем честно сознавались; но если его испытующий взор встречал низкое упорство, если его неумолимое исследование обнаруживало скрытность и ложь о, тут он делался жесток и, я бы даже сказала, зол! Торжествующе срывал он завесу с несчастного, съезжившегося горемыки, безжалостно выставляя его на позор, — и вот он стоял нагишом, жалкое воплощение лжи и добыча ужасной правды, чей неприкрытый лик ослепляет. Он полагал, что поступает справедливо; что же до меня, то я сомневаюсь, вправе ли человек так поступать с другим; не раз в продолжение этих экзекуций хотелось мне вступить за жертву, а сам он вызывал у меня негодование и горькую укоризну. Но я не в силах была его разуверить.

Отзавтракали, отстояли службу; прозвенел звонок, и залы стали наполняться народом: начинался любопытный спектакль. Ученицы и воспитательницы сидели ровными рядами, чинно и настороженно; в руках у каждой было по букету чудесных свежих цветов, наполнявших воздух благоуханием; только у меня не было букета. Мне нравится, когда цветы растут, но, сорванные, они теряют для меня прелесть. Я вижу, как они

обречены погибели, и мне становится грустно от этого сходства их с жизнью. Я никогда не дарю цветов тем, кого люблю, и не желаю принимать их от того, кто мне дорог. Мадемуазель Сен-Пьер заметила, что я сижу с пустыми руками; она не могла поверить, что я оказалась так оплошна; ее взгляд с жадностью блуждал по мне и вокруг — не припрятала ли я где цветочка, хоть пучка фиалок например, — чтобы заслужить похвалу своему вкусу и оригинальности. Прозаическая «Anglaise» не оправдала опасений парижанки: она не припасла решительно ничего, ни цветка, ни листика — точно зимнее дерево. Сообразив это, Зели улыбнулась с явным удовольствием.

— Как умно с вашей стороны, мисс Люси, что вы не стали тратить, и какая я дура, что выбросила на ветер два франка! За пучок тепличных цветов!

И она с гордостью показала великолепный букет.

Но тише! шаги: его шаги. Они приближались как всегда скоро, но в этой стремительности нам мерещилась не просто живость или решимость. В то утро мы различили в «поступи» (выражаясь романтически) нашего профессора некое благоволение; и мы не ошиблись.

Он вошел, как еще один луч солнца, в уже и без того ярко озаренное первое отделение. Утренний свет, пробежавший по нашим цветам и смеявшийся по стенам, еще пуще разыграл от добродушного приветствия Поля. Для этого случая он оделся как настоящий француз (хотя я сама не знаю, для чего это говорю, ведь у него в крови не было ничего французского или лабаскурского). Контуры тела не исчезали за неотчетливыми и словно злоумышленными складками черного, как сажа, сюртука; напротив, его фигуру (какая уж есть — не стану ее расхваливать) ловко облегал пристойный костюм с шелковой манишкой — одно удовольствие смотреть. Вызывающая варварская феска исчезла: он вошел с непокрытой головою, держа в облитой перчаткой руке вполне христианскую шляпу. Он был хорош, очень хорош; в его синем взоре сквозило расположение, а сияющая благожелательность на смуглом лице вполне заменяла благообразие; вас уже не смущали ни нос его, внушительный, более размером, нежели изысканностью формы, ни впалые щеки, ни выпуклый широкий лоб, ни рот, отнюдь не похожий на розовый бутон; вы принимали его как он есть, вы просто смотрели на него и радовались.

Он прошел к кафедре; положил на нее шляпу и перчатки. «Bon jour, mes amies», [\[356\]](#) — сказал он тоном, искупившим для иных множество его придировок и резкостей; не то чтобы тон этот был шутлив или сердечен; еще

менее напоминал он елейный распев священника, но то был истинный его голос — так говорил он тогда, когда сердце посылало слова к устам. Да, порой это сердце само говорило; оно легко раздражалось, но не окостенело; в глубине его таилась нежность, заставлявшая мосье снисходить до маленьких детей и девушек и женщин, к которым он, как ни противился этому, не мог не питать симпатии и как бы он этого ни отрицал — с которыми ему было легче, нежели с представителями сильного пола.

— Мы желаем вам благополучия и поздравляем вас с праздником именин, сказала мадемуазель Зели, произведя себя в председатели собрания; и, пройдя к кафедре с ужимками, необходимыми ей для успешного передвижения, она положила перед ним свой разорительный букет. Он поклонился.

Засим последовала процедура подношений; воспитанницы, стремительно проходя скользящей иноземной походкой, оставляли свои презенты. Они так ловко складывали подарки, что когда последний букет лег на кафедру, он завершил цветочную пирамиду, которая до того быстро росла ввысь и вширь, что скоро закрыла собою самого именинника. Церемония окончилась, все снова расселись по местам, и в ожидании речи воцарилась гробовая тишина.

Прошло минут пять, десять — ни звука.

Тут многие, естественно, начали спрашивать себя, чего же мосье ждет; и не случайно. Безгласен и невидим, недвижим и безмолвен, он все стоял за цветочной грудой.

Наконец оттуда донесся глухой голос, как из ущелья:

— Est-ce la tout?^[357]

Мадемуазель Зели поглядела вокруг.

— Все вручили букеты? — осведомилась она.

Да, все отдали цветы, от старших до самых юных, от самых рослых до самых маленьких. Так отвечала старшая надзирательница.

— Est-ce la tout? — раздалось опять, причем, если и прежде голос был низкий, теперь он еще опустился на несколько октав.

— Мосье, — сказала мадемуазель Сен-Пьер, на сей раз со свойственной ей приятной улыбкой, — я имею честь сообщить вам, что весь класс, за одним исключением, подарил букеты. Что же до мисс Люси, то пусть мосье ее извинит; будучи иностранкой, она, вероятно, не знает наших обычаев или не считает нужным им следовать; мисс Люси считает церемонию не настолько значительной, чтобы удостоивать ее вниманием.

— Славно! — процедила я сквозь зубы. — Вы, однако, недурной оратор, Зели.

За речью мадемуазель Сен-Пьер последовал взмах рукой из-за пирамиды. Взмах означал, по-видимому, несогласие со сказанным и призывал к тишине.

Наконец, вслед за рукою показалось и тело. Мосье вышел из укрытия и предстал на краю эстрады; глядя прямо и неотрывно на огромную тарре-
monde, [\[358\]](#) закрывавшую противную стену, он в третий раз спросил, теперь уже совсем трагическим голосом:

— Est-ce la tout?

Еще можно было все поправить, выйдя и вручив ему красную шкатулку, которую я сжимала в руках. Я так и хотела сделать, но меня удержала комическая сторона его поведения и вдобавок вмешательство жеманной мадемуазель Сен-Пьер. Читатель до сих пор не имел оснований считать характер мисс Сноу хотя бы отдаленным приближением к совершенству и едва ли удивится, узнав, что она не нашла в себе достаточно кротости, чтобы защищаться от нападков парижанки, да и потом мосье Поль выглядел так трагично, так серьезно отнесся он к моей небрежности, что мне вздумалось его подразнить. Я почла за благо сохранить и шкатулку и самообладание и осталась невозмутима, как камень.

— Ну, что ж! — обронил наконец мосье Поль, и тень сильного чувства волна гнева, презрения, решимости — осенила его лоб, исказила губы, избороздила щеки. Проглотив желание еще что-то сказать, он, по обычаю, приступил к «discours». [\[359\]](#)

Совершенно не помню содержания «discours». Я не слушала: то, как он вдруг пересилил обиду и раздражение, почти извиняло в моих глазах все его смехотворные «Est-ce la tout?».

К концу речи я опять очень мило развлеклась.

Из-за одного пустякового события (я уронила на пол наперсток, а когда поднимала, ударилась макушкой о край стола; каковые случайности — если для кого и огорчительные, то только для меня — произвели некоторый шум) мосье Поль взорвался и, отбросив деланное равнодушие, махнув рукою на сдержанность и достоинство, которыми он никогда долго себя не обременял, дал, наконец, волю природной своей стихии.

Уж не знаю, когда он в продолжение «discours» успел пересечь пролив и высадиться на британском берегу, но именно там я застала его, когда вслушалась.

Меча по комнате быстрые беззастенчивые взоры — уничтожающие, а вернее, желавшие уничтожить меня, когда они на мне останавливались, —

он с неистовством набросился на «les Anglaises».^[360]

Никто никогда при мне так не честил англичанок, как мосье Поль в то утро: он ничего не пощадил: ни ума, ни поведения, ни манер, ни наружности. Мне особенно запомнилось, как он бранил высокий рост, длинные шеи, худые руки, неряшливость в одежде, педантическое воспитание, нечестивый скептицизм, несносную гордыню, показную добродетель; тут он зловеще заскрежетал зубами, словно хотел сказать что-то совсем ужасное, но не решился. Ох! Он был злобен, язвителен, дик — и, следственно, отвратительно безобразен.

«Вот злюка! — думала я. — И с какой стати мне заботиться о том, чтобы ненароком не огорчить, не задеть тебя? Ну, нет — теперь ты решительно мне безразличен, как самый жалкий букет в твоей пирамиде».

С грустью признаюсь, что мне не удалось стойко держаться до конца. Сперва я слушала поношение Англии и англичан вполне невозмутимо; минут пятнадцать я переносила его стоически; но шипящий василиск просто не мог не ужалить, и наконец он так набросился не только на наших женщин, но и на величайшие наши имена и лучших мужей, так пятнал Британский щит и марал королевский флаг — что меня проняло. С злобным наслаждением он вытащил на свет самые пошлые исторические выдумки континента — ничего более оскорбительного нельзя и придумать. Зели и весь класс сияли одной общей ухмылкой мстительного удовольствия; забавно, до чего лабаскурские жеманницы втайне ненавидят Англию. В конце концов я с силойхватила по столу, открыла рот и издала такой вопль:

— Vive l'Angleterre, l'Histoire et les Heros. A bas la France, la Fiction et les Faquins!^[361]

Класс был совершенно сражен. Наверное, они решили, что я спятила. Профессор поднес к лицу носовой платок и спрятал в его складках сатанинскую усмешку. Чудовище! Злючка! Небось он торжествовал победу, раз ему удалось меня рассердить. Тотчас он сделался благодушен. Чрезвычайно ласково он перешел на цветы; поэтически и аллегорически заговорил он об их нежности, аромате, чистоте и прочее, на французский лад сравнив «jeunes filles»^[362] с лежавшими перед ним нежными букетами; наградил мадемуазель Сен-Пьер за ее превосходный букет пышным комплиментом и в заключение объявил, что в первый же погожий, тихий и ясный весенний день он пригласит весь класс за город на пикник. Во всяком случае, тех, добавил он со значением, кого он может считать своими друзьями.

— *Donc je n'y serai pas*,^[363] — невольно выпалила я.

— *Soit!*^[364] — был ответ, и, собрав цветы, он вылетел из класса, а я, швырнув в стол работу, ножницы, наперсток и непонадобившуюся шкатулку, помчалась наверх. Не знаю, рассердился ли он, но я была вне себя.

Но, как ни странно, гнев мой испарялся; я присела на край постели, припоминая его взгляды, движения, слова, и уже через час я не могла думать обо всем происшедшем без улыбки. Немного досадно, что я так и не отдала шкатулки. Мне же хотелось ему угодить. Судьба судила иное.

Вспомнив днем, что классный стол вовсе не надежное хранилище и что шкатулку надо бы перепрятать, ведь на крышке ее выгравированы инициалы П.К.Д.Э., то есть Поль Карл (или Карлос) Давид Эманюель (полное его имя: у этих чужеземцев всегда вереница крестных имен), я спустилась в классы.

Тут было по-праздничному сонно. Те, кто занимается утром, разошлись по домам, пансионерки отправились на прогулку, воспитательницы, кроме дежурных, делали в городе визиты и покупки; в комнатах было пусто; пустовала и большая зала, там только висел внушительный глобус, стояла пара ветвистых канделябров, а рояль — закрытый, безмолвный — наслаждался неурочной субботой посреди недели. Я слегка удивилась, что дверь первой комнаты приотворена, этот класс обыкновенно запирали, и он был недоступен никому, кроме мадам Бек и меня, — у меня имелся второй ключ. Еще больше удивилась я, когда, приблизившись, услышала невнятную возню — там ходили, двигали стулом, кажется, открывали стол.

«Должно быть, мадам Бек учиняет свой обычный обыск», — решила я после минутного размышления. Приоткрытая дверь позволяла это проверить. Я заглянула. Ого! да это вовсе не деловой наряд мадам Бек — шаль, опрятный чепец, — тут костюм и коротко стриженная черная голова мужчины. Он восседал на моем стуле; смуглая рука придерживала крышку моего стола; он рылся в моих бумагах. Он сидел ко мне спиною, но я, ни секунды не колеблясь, узнала его. Праздничное облачение исчезло; вернулся любимый, замаранный чернилами сюртучок; уродливая феска валялась на полу, как бы оброненная преступною рукою.

Я поняла, да и прежде догадывалась, что рука мосье Эманюеля была накоротке с моим столом; она открывала и закрывала крышку и рылась в содержимом едва ли не с такою же уверенностью, как моя собственная. Ошибиться было невозможно, да он и не думал скрываться; всякий раз он

оставлял несомненные, осязаемые свидетельства своих посещений; до сих пор, однако, мне не удавалось поймать его с поличным; как я ни старалась, я не могла установить, когда он приходит. Я находила следы домового в тетрадках, которые оставляла вечером с бездной ошибок, а наутро находила тщательно выправленными; я пользовалась его чудаковатым расположением, которым он щедро меня оделял. Между чахлым словарем и потрепанной грамматикой вдруг чудом вырастала свежая интересная новинка или классическое сочинение, зрелое, сочное и нежное. Бывало, из моей корзинки забавно выглядывает роман, под ним прячется брошюра, журнал, статью из которого мы читали накануне. Не оставалось сомнений в источнике всех этих сокровищ; если бы и не было других доказательств, одна характерная предательская особенность решала дело: от них разило сигарами. Это, конечно, отвратительно; по крайней мере, так мне сперва казалось, и я тотчас распахивала окно, чтобы проветрить стол, брезгливо брала греховные брошюры двумя пальцами и подставляла очистительному сквозняку. Потом эту процедуру пришлось отменить. Однажды мосье застал меня за таким занятием, догадался в чем дело, мгновенно выхватил у меня мой трофей и чуть было не сунул в пылавшую печь. То оказалась книга, которую я как раз просматривала; поэтому я, превзойдя его решительностью и проворством, спасла добычу, но, выручив этот том, вперед уже не рисковала. И все-таки мне покамест не удавалось застать врасплох странное, доброжелательное, курящее сигары привидение.

Но вот он, наконец, попался; вот он, домовый; а вот и сизое, клубящееся у губ дыхание его возлюбленной индианки; она выдала его с головой. Радостно предвкушая его замешательство — то есть испытывая смешанное чувство хозяйки, застигнутой, наконец, в маслобойне странного помощника-эльфа за неурочной работой, — я тихонько подкралась к нему, стала позади и осторожно заглянула ему через плечо.

Сердце во мне замерло, когда я увидела, что, после утренней стычки, после моей очевидной невнимательности, после перенесенного им укола и раздражения, он, желая все забыть и простить, принес мне несколько чудесных книжек, которых названия сулили увлекательное чтение. Он сидел, склонясь над столом, и осторожно копался в содержимом — устраивая, конечно, беспорядок, но ничего не портя. Мое сердце сильно билось; я склонилась над ним, а он, ни о чем не догадываясь, любезно одаривал меня и, по-видимому, не испытывал ко мне недоброго чувства, и мой утренний гнев совершенно рассеялся: я больше не сердилась на профессора Эманюеля.

Должно быть, он услышал мое дыхание. Он резко обернулся; хотя он

был нервического нрава, он никогда не вздрагивал и редко менялся в лице; он обладал выдержкой.

— Я думал, вы в городе с другими учительницами, — сказал он, вновь обретя самообладание. — Тем лучше. Полагаете, я смущен тем, что вы меня тут застали? Нимало. Я часто навещаюсь к вам в стол.

— Я это знаю, мосье.

— Время от времени вы находите брошюру или книгу; но вы их не читаете, ведь они подверглись вот этому. — Он коснулся сигары.

— Они от этого не стали лучше, но я их читаю.

— Без удовольствия, однако?

— Не стану возражать, мосье.

— Но они нравятся вам, хоть некоторые? Нужны они вам?

— Мосье сотни раз видел, как я читаю их, и знает, что у меня слишком мало развлечений и я непривередлива.

— Я хотел вам угодить, и если вы цените мои усилия и извлекаете из них некоторое удовольствие, то отчего бы нам не подружиться?

Оттого, что нам это не суждено, сказал бы фаталист.

— Нынче утром, — продолжал он, — я встал в превосходном настроении и был счастлив, когда входил в класс; вы омрачили мне этот день.

— Нет, мосье, всего час или два, да и то невольно.

— Невольно! Нет. Сегодня мои именины; все пожелали мне счастья, кроме вас. Самые младшие — и те подарили по пучку фиалок и пролепетали поздравления; вы же — ничего. Ни цветка, ни листика, ни слова, ни взгляда. И все это невольно?

— Я не хотела вас обидеть.

— Так вы действительно не знали о нашем обычае? Или у вас не достало времени? Вы с радостью выложили бы несколько сантимов за букетик ради моего удовольствия, если б только знали, что так принято, да? Скажите «да», и все будет забыто, и я утешусь.

— Я знала, что так принято; у меня достало времени, и со всем тем я не выложила ни сантима на цветы.

— Что ж, хорошо — хорошо, что вы откровенны. Я бы, пожалуй, возненавидел вас, если бы вы стали притворяться и лгать. Лучше прямо сказать: «Paul Carl Emanuel, je te deteste, mon garçon!»^[365] — чем участливо улыбаться и преданно глядеть, оставаясь в душе лживой и холодной. Я не считаю вас лживой и холодной, но мне кажется, вы совершили в жизни большую ошибку; я думаю, у вас извращенные представления, вы равнодушны там, где должны бы испытывать

благодарность, зато вас занимают и трогают те, с кем вам следовало бы быть холодной, как ваше имя.^[366] Не думайте, мадемуазель, будто я хочу внушить вам страсть; Dieu vous en garde!^[367] Отчего вы вскочили? Потому, что я сказал «страсть»? А я и повторю. Есть слово, а есть и то, что оно означает, — правда, не в этих стенах, слава богу! Вы не дитя, почему с вами нельзя говорить о том, что на самом деле существует! Только я ведь просто слово сказал — означаемое им, уверяю вас, чуждо моей жизни и понятиям. Было, и умерло, и теперь покоится в могиле, и могила эта глубоко вырыта, высоко насыпана, и ей уж много зим; утешаюсь только надеждой на воскресение. Но тогда все переменится — облик и чувство; преходящее обретет черты бессмертные — возродится не для земли, но для неба. А говорю я все это вам, мисс Люси Сноу, для того, чтобы вы пристойно обходились с профессором Полем Эманюелем.

Я не возражала, да и не могла ничего возразить на эту тираду.

— Скажите, — продолжал он, — когда ваши именины; и уж я-то не пожалею нескольких сантимов на скромный подарок.

— Вы только уподобитесь мне, мосье; это стоит дороже нескольких сантимов, но о деньгах я не думала.

И достав из открытого стола шкатулку, я подала ее ему.

— Утром она лежала у меня наготове, — продолжала я, — и если бы мосье запасся терпением, а мадемуазель Сен-Пьер столь бесцеремонно не вмешивалась, и быть может, вдобавок, будь я сама спокойней и рассудительней, — я бы сразу ее подарила.

Он посмотрел на шкатулку: я видела, что ему нравится чистый теплый цвет и ярко-синий венчик. Я велела ему ее открыть.

— Мои инициалы! — сказал он, имея в виду литеры на крышке. — Откуда вы знаете, что меня зовут Карл Давид?

— Сорока на хвосте принесла, мосье.

— Вот как? Значит, в случае чего можно привязывать к крыльям этой сороки записки?

Он вынул цепочку; в ней не было ничего особенного, но она отливала шелком и играла бисером. Она ему тоже понравилась; он радовался как дитя.

— И это мне?

— Вам.

— Так вот что вы работали вчера вечером?

— Именно.

— А кончили — утром?

— Утром.

— Вы за нее принялись с тем, чтобы подарить мне?

— Безусловно.

— На именины?

— На именины.

— И это намерение сохранялось у вас все время, пока вы ее плели?

Я и это подтвердила.

— Значит, мне не следует отрезать от нее кусочек — дескать, вот эта часть не моя, ее сплетали для другого?

— Вовсе нет. Это было бы не только не обязательно, но и несправедливо.

— Так она вся моя?

— Целиком ваша.

Мосье тотчас распахнул сюртучок, ловко укрепил цепочку на груди, стараясь, чтобы видно было как можно больше и по возможности меньше спрятано; он не имел обыкновения скрывать то, что ему нравилось и, по его мнению, к нему шло. Что же до шкатулки, то он объявил, что это превосходная бонбоньерка — он, между прочим, обожал сладости, — а так как он любил делить свои удовольствия с другими, то он угощал вас своим драже с тою же щедростью, с какой оделял книгами. В числе подарков доброго волшебника, которые я находила у себя в столе, я забыла упомянуть бездну шоколадных конфетов. Тут сказывался южный вкус, а по-нашему, ребячество. Часто он вместо обеда съедал бриош, да и тот делил с какой-нибудь крошкой из младшего класса.

— *A present c'est un fait accompli*, ^[368] — сказал он, застегивая сюртучок; тема была исчерпана. Проглядев принесенные книги и вырезав несколько страниц перочинным ножом (он урезал книги, прежде чем давал их читать, особенно романы, и строгость цензуры раздражала меня, если сокращения прерывали ход рассказа), он встал, учтиво коснулся фески и любезно откланялся.

«Ну вот мы и друзья, — подумала я, — покуда снова не рассоримся».

Мы чуть не повздорили в тот же вечер, но, как ни странно, не использовали подвернувшуюся возможность.

Мосье Поль, против всех ожиданий, пришел в час приготовления уроков. Наглядевшись на него утром, мы теперь не ждали его общества. Но не успели мы сесть за уроки, как он явился. Признаться, я обрадовалась при виде его, до того обрадовалась, что не удержалась от улыбки; и пока он пробирался к тому месту, из-за которого в прошлый раз произошло недоразумение, я не стала отодвигаться; он ревниво, искоса следил, не

отстранюсь ли я, но я не шелохнулась, хотя мне было довольно тесно. У меня постепенно исчезало бывшее желание отстраняться от мосье Поля. Я привыкла к сюртучку и к феске, и соседство их стало мне приятно. Теперь я сидела возле него без напряжения, не «asphyxie»^[369] (по его выражению); я шевелилась, когда мне хотелось пошевелиться, кашляла, когда было нужно, даже зевала, когда чувствовала утомление, — словом, делала что хотела, слепо доверяясь его снисходительности. И моя дерзость в этот вечер не была наказана, хоть, быть может, того и заслуживала; он был снисходителен и добродушен; он не метал косых взглядов, с его уст не сорвалось ни единого резкого слова. Правда, он ни разу не обратился ко мне, но почему-то я догадывалась, что он преисполнен самых дружеских чувств. Бывает разное молчание, и о разном оно говорит; никакие слова не доставили б мне большего удовольствия, чем безмолвное присутствие мосье Поля. Когда внесли поднос с ужином и началась обычная суета, он только пожелал мне на прощанье доброй ночи и приятных снов; и в самом деле, ночь была добрая, а сны приятны.

Глава XXX

МОСЬЕ ПОЛЬ

Советую читателю, однако ж, не торопиться с добрыми умозаключениями, легковерно полагая, будто с того самого дня мосье Поль вдруг переменился, сделался приятен в обращении и перестал сеять раздоры и тревогу.

Нет; разумеется, нрав его по-прежнему был труден. Переутомясь (а это с ним случалось, и нередко), он становился нестерпимо раздражителен; к тому же кровь его была отравлена горькой примесью ревности. Я говорю не только про нежную ревность сердца, но и про то чувство, более сильное и мучительное, которого обиталище — голова.

Глядя, как мосье Поль морщит лоб и топырит нижнюю губу во время какого-нибудь моего упражнения, содержащего недостаточно ошибок, чтобы его потешить (гроздь моих ошибок была для него слаще кулька конфетов), я, бывало, находила в нем сходство с Наполеоном Бонапартом. Я по-прежнему его нахожу.

Бессовестно пренебрегая великодушием, он напоминал великого императора. Мосье Поль мог рассориться сразу с дюжиной ученых женщин, мог известить мелочными уколами и пререканьями любой их кружок, нимало не боясь тем уронить свое достоинство. Он отправил бы в изгнание целых пятьдесят мадам де Сталь, буде они утомили, оскорбили, переспорили или задели бы его.

Помню, как он повздорил с некоей Панаш, госпожою, которую мадам Бек пригласила на время читать курс истории. Она была умна, то есть много знала и к тому же обладала искусством выказать сразу все свои познания. Язык у нее был хорошо подвешен, уверенности не занимать, и собою она была отнюдь не дурна, я даже думаю, иные сочли бы ее прелестной. Но что-то в изобильных и сочных ее прелестях, что-то в шумной и суетливой ее повадке не могло удовлетворить прихотливому, капризному вкусу мосье Поля. Звук ее голоса, эхом разносившийся по сарре, внушал ему необъяснимое беспокойство, а быстрый бодрый шаг, почти топот по коридору повергал его в немедленное бегство.

Однажды он злонамеренно ворвался к ней в класс и с быстротою молнии проник секреты ее преподавания, столь отличные от собственных его тонких приемов. Нимало не церемонясь и еще менее стесняясь, он

указал ей на то, что определил как ее ошибки. Не знаю, ждал ли он внимания и согласия, но встретил ожесточенный отпор, сдобренный упреками за поистине неизвинительное вторжение.

Вместо того чтоб хоть тут-то достойно отступить, он в ответ, вызывая на открытый бой, бросил ей перчатку. Воинственная, как Пентесилея,^[370] она тотчас ее подняла. Она окатила обидчика градом насмешек, лавиной слов. Мосье Поль был красноречив; мадам же Панаш — велеречива. Оба ожесточились. Вместо того чтоб потихоньку посмеяться над прелестной противницей, над ее уязвленным самолюбием и громкой самозащитой, мосье Поль серьезнейшим образом выказал ей свое презрение; он удостоил ее самой истовой своей ярости. Он преследовал ее, неумоимо и мстительно, отказавшись от радостей мирного сна, от приятностей пищи и даже наслаждения хорошей сигарой, покуда ее не изгонят из стен заведения. Профессор победил, но не знаю, достойно ли украсили его чело лавры такой победы. Однажды я осмелилась ему на это намекнуть. Каково же было мое изумление, когда он со мною согласился, однако заметил, что, соприкасаясь с людьми грубыми и, подобно мадам Панаш, самодовольными, он всякий раз теряет власть над собою. Невыразимая неприязнь и вынудила его вести эту истребительную войну.

Три месяца спустя, прослышав, что побежденная противница его столкнулась с превратностями судьбы, не нашла работы и стоит на пороге нищеты, он позабыл свою ненависть и, равно неугомонный в злом и добром, лез из кожи вон, покуда не приискал ей место. Когда же она явилась к нему, чтоб положить конец былым распрям и благодарить за недавнюю помощь, прежний голос ее — чересчур громкий — и прежние повадки — чересчур бойкие — так на него подействовали, что уже через десять минут он выскочил за дверь в порыве раздражения.

Словом, продолжу мою дерзкую параллель — любовью к власти, стремлением главенствовать мосье Эманюель походил на Бонапарта. Не следовало вечно ему потакать. Иногда полезно было ему воспротивиться: посмотреть ему прямо в глаза и объявить, что требовательность его чрезмерна и непримиримость граничит с тиранством.

Проблески, первые признаки таланта, им замеченные, всегда странно волновали, даже тревожили его. Нахмурившись, следил он за муками родов и отстранял свою руку, как бы говоря: «Рождайся сам, коли найдешь в себе силы».

Когда же страх и боль минуют, когда с уст сорвется первое дыханье, начнут сокращаться и распрямляться легкие, биться сердце, он и тогда не бросался пестовать народившееся дарованье.

«Докажи, что ты истинно, и я буду тебя холить» — таков был его устав, и как трудно было ему следовать! Какие тернии, шипы, какие кремни бросал он под непривычные к трудному пути ноги. Без слез, без жалости смотрел он, как преодолеваются им назначенные испытанья. Он изучал следы, порой окрашенные кровью, он строжайше надзирал за бедным путником и, когда наконец разрешал ему отдохнуть, собственной рукой размыкал веки, которые смежала дрема, и глубоко заглядывал сквозь зрачок в мозг, в сердце, чтоб удостовериться, не осело ли там каких остатков Суетности, Гордости, Фальши. Если ж затем он даровал новообращенному отраду сна, так и то спустя мгновение будил его для новых проверок, гонял по томительным порученьям; проверял нрав, ум, здоровье. И лишь когда кончалась самая строгая проверка, когда самая едкая кислота не мрачила благородного металла, лишь тогда признавал он его подлинным и ставил на нем свое тавро.

Мне пришлось на себе во всем этом убедиться.

До того самого дня, каким заключаются события последней главы, мосье Поль не был моим наставником, он не давал мне уроков. Но вот он случайно услышал, как я жалуясь на неосведомленность в какой-то отрасли познаний (кажется, в арифметике), по справедливому замечанию мосье Поля, непростительную и для ученика приходской школы. Тотчас он занялся мною, сперва проэкзаменовал и, разумеется, найдя совершенно неподготовленной, надавал мне книг и заданий.

На первых порах эта опека доставляла ему радость, он чуть не ликовал и снизошел даже объявить, что я «*bonne et pas trop faible*» (иными словами, не вовсе лишена способностей), но, верно, по вине несчастливых обстоятельств, покуда стою на плачевно низкой ступени развития.

В самом деле, во всех начинаниях моих я с первых шагов всегда выказываю глупость довольно редкую. Вступая в новое знакомство, я теряю даже самую обыкновенную понятливость. Всякую новую страницу в книге жизни я всегда переворачиваю с большим трудом.

Покуда длился этот труд, мосье Поль был очень снисходителен; он видел мои муки, понимал, как терзает меня мысль о собственной бездарности; уж не знаю, какими словами описать всю его заботливость и нежность. Когда глаза мои от стыда наполнялись слезами, увлажнялся и его взор; перегруженный работой, он урывал для меня время от своего недолгого отдыха.

Однако — вот беда! Когда серый утренний сумрак начал рассеиваться перед ясным светом дня, когда способности мои высвободились и настало время свершенья, когда я доброй волей стала удваивать, утраивать,

учетверять задания, в надежде его порадовать, — доброта его обратилась строгостью. Сиянье глаз сменилось злыми искрами. Уже он раздражался, спорил, безжалостно меня обуздывал. Чем больше я старалась, чем больше трудилась, тем меньше, кажется, бывал он доволен. Он осыпал меня насмешками, которых язвительность меня удивляла и угнетала. Потом начались речи о «гордости разума»; мне туманно грозили бог весть какими карами, если я посмею преступить границы, положенные моему полу, и начну тешить свой недозволенный аппетит к познаниям, для женщины совершенно лишним. Увы! У меня не было такого аппетита. Я радовалась обретенным сведениям, но благородная страсть к науке, к ее отвлеченностям, божественная жажда открытий — эти чувства лишь редко и едва во мне просыпались.

Однако насмешки мосье Поля будили их; его несправедливость подстрекала мои дерзкие стремленья, их окрыляла.

Вначале, покуда я еще не поняла ее причин, несообразная колкость его ранила мне сердце, но потом она лишь подогревала мою кровь и живее гнала по жилам. Каковы бы ни были мои способности, приличествовали они женщине или нет — они от бога, и я решилась не стыдиться ни одного из его даров.

Борьба скоро ожесточилась. Я, казалось, утратила расположение мосье Поля; он странно со мной обращался. В минуты самой большой несправедливости он обвинял меня в том, что я обманула его, прикинувшись слабой ученицей; говорил, что я нарочно выставила себя тупой и незнающей, а порой невольно предполагал во мне несусветную, безмерную премудрость и силу ума, утверждая, будто бы я похитила главную мысль из какой-нибудь книги, известной мне лишь по названию и от чтения которой я непременно свалилась бы во сне с окна, подобно юному Евтиху,^[371] усыпленному Павловой беседой.

Однажды, в ответ на подобные обвинения, я воспротивилась мосье Полю, я восстала. Я взяла со своего стола кипу его книг, побросала в передник и кучей швырнула к его ногам.

— Берите их, мосье Поль, — сказала я. — И больше мне не преподавайте. Я не просила вас приобщать меня к ученью, и вы успешно показали мне, как оно горько.

Вернувшись к столу, я положила голову на руки. Два дня целых я потом не сказала ему ни слова. Он оскорбил и обидел меня. Его вниманье было мне дорого, он подарил мне новую для меня несравненную радость. И раз я лишилась его милостей, я более не нуждалась в уроках.

Книг он, однако же, не взял. Заботливой рукой он поставил их на

прежнее место и снова явился меня учить. Он предложил мне мир, быть может, чересчур поспешно: я выстояла бы и дольше. Но как только он посмотрел на меня добрым взглядом и дружески протянул мне руку, из памяти моей тотчас изгладились все огорчения, какие он мне причинил. Ведь примиренье всегда сладко!

И вот в одно прекрасное утро крестная пригласила меня на лекцию, подобную уже описанной выше. Доктор Джон собственной персоной явился с приглашением и передал его на словах Розине, каковая не постеснялась пойти следом за мосье Эманюелем, вошла в старший класс, встала перед моим столом в присутствии мосье Эманюеля и громко и нагло передала мне поручение Джона, заключив его словами:

— Qu'il est vraiment beau, Mademoiselle, ce jeune docteur! Quels yeux quel regard! Tenez! J'en ai le coeur tout emu!^[372]

Когда она удалилась, мой профессор осведомился, зачем я позволяю «cette fille effrontee, cette creature sans pudeur»^[373] обращаться ко мне в подобных выражениях.

Я не знала, что отвечать. Выражения были точно такие же, с какими Розина — юная особа, в мозгу которой попросту отсутствовал центр, ведающий почтительностью, постоянно ко мне адресовалась. Зато про доктора она сказала сущую правду. Грэм в самом деле был красив. У него в самом деле были прекрасные глаза и волнующий взгляд. Сама того не желая, я выговорила:

— Elle ne dit que la verite.

— Az! Vous trouvez?

— Mais, sans doute.^[374]

Урок в тот день оказался из тех, какие радуют нас, когда кончатся. Освобожденные ученицы тотчас, дрожа и ликуя, высыпали за дверь. Я тоже собралась уходить. Меня остановили строгим приказом. Я пролепетала, что очень хочу на свежий воздух, камин натопили, и в классе стояла духота. Неумолимый голос призвал меня к молчанью; и зябкий, как тропическая птица, мосье Поль, усевшись между моим столом и камином, — и как только он не поджарился! — обрушил на меня — что бы вы думали? — греческую цитату!

В душе мосье Поля пылало вечное подозрение, что я знаю греческий и латынь. Говорят, будто обезьяны владеют речью, но из осторожности это от нас скрывают. Так и он мне приписывал множество познаний, которые я якобы преступно и ловко таю. Он утверждал, что я получила классическое образование, сбирала мед с аттических лугов и мой ум до сих пор

подкармливается из сладостных его запасов.

Мосье Поль использовал тысячи уловок, чтоб выведать мой секрет, выманить, вытребовать, вырвать его у меня. Бывало, чтоб вывести меня на чистую воду, он подсовывал мне греческую или латинскую книгу, как тюремщики Жанны д'Арк соблазняли ее воинскими доспехами. Цитируя мне бог весть каких авторов, бог весть какие пассажи, он, покуда звучные, нежные строки слетали с его уст (а классические ритмы передавал он прекрасно, ибо голос у него был редкий — глубокий, гибкий, выразительный), сверлил меня острым, бдительным, а нередко и неприязненным взглядом. Он явственно ждал моего разоблачения; его так и не последовало; не разбирая смысла, я не выказала ни восторга, ни неудовольствия.

Озадаченный — даже злой, — он не отказывался от своей навязчивой идеи; мои обиды считал он притворством, выражение лица — маской. Он словно не желал примириться с грубой действительностью и принять меня такой, как я есть; мужчинам, да и женщинам тоже нужен обман; если они не сталкиваются с ним, они сами его создают.

Иногда я хотела, чтоб подозрения его были более основательны. Бывали минуты, когда я отдала бы свою правую руку, только бы владеть сокровищами, какие он мне приписывал. Мне хотелось достойно наказать мосье Поля за дикие причуды. С каким бы счастьем я оправдала самые горькие его опасения! С каким восторгом я ослепила бы его ярким фейерверком премудрости! О! Отчего никто не занялся моим обучением, покуда я была еще в том возрасте, когда легко усваиваются науки? Я могла бы сейчас холодно, внезапно, жестоко вдруг открыться ему; я могла бы неожиданно, величаво, бесчеловечно восторжествовать над ним и навсегда выбить дух насмешки из Поля Карла Давида Эманюеля!

Увы! То было не в моей власти. Сегодня, как и всегда, цитаты его не достигли цели. Он скоро перешел на другую тему.

Тема была — «умные женщины», и тут он чувствовал себя как рыба в воде. «Умная женщина», по его мнению, являет некую «*lusus naturae*»,^[375] несчастный случай, это существо, которому в природе нет ни места, ни назначения, — не работница и не жена. Красота женщине куда более пристала. Он полагал в душе, что милая, спокойная, безответная женская заурядность одна может покоить неугомонный мужской нрав, дарить ему отраду отдохновения. Что же касается до трудов, то лишь мужской разум способен к трудам плодотворным — *hein?*^[376]

Это «*hein?*» предполагало с моей стороны возражение. Но я сказала

только:

— Cela ne me regarde pas: je ne m'en soucie pas,^[377] — и тотчас прибавила: — Мне можно идти, мосье? Уже звонили ко второму завтраку.

— Что из того? Вы разве голодны?

— Разумеется, — отвечала я, — я не ела с семи утра, и, если я пропущу второй завтрак, мне придется терпеть до пяти часов, до обеда.

Он пребывал в столь же печальном состоянии, но почему бы мне не разделить его трапезу?

С такими словами он вынул два бриоша, призванные подкрепить его силы, и отдал мне один. На деле он был куда добрее, чем на словах. Но самое страшное оставалось еще впереди. Жуя бриош, я не смогла удержаться и высказала ему свою тайную мечту — обладать всеми познаниями, какие он мне приписывал.

Значит, я и впрямь считаю себя невеждой?

Тон вопроса был мягок, и, ответь я на него бесхитростным «да», мосье Поль, я думаю, протянул бы мне руку и мы бы навеки стали друзьями.

Однако ж я ответила:

— Не совсем. Я невежда, мосье, потому что не располагаю теми знаниями, какие вы мне приписываете, но кое в чем я считаю себя знающей.

— В чем же именно? — был резкий, настороженный вопрос.

Я не могла ответить на него сразу и предпочла переменить тему. Он как раз кончил свой бриош; будучи уверена, что такой малостью он не утолил голода, как и я не утолила, и почуяв запах печеных яблок, доносившийся из столовой, я осмелилась спросить, не улавливает ли он тоже этот чудесный аромат. Он признался, что улавливает. Я сказала, что, если он выпустит меня в сад, я перебегу двор и принесу ему целое блюдо яблок; я заверила его, что яблоки, верно, великолепны, ибо Готониха большая мастерица печь, вернее тушить фрукты, добавляя к ним специй и стакан-другой белого вина.

— Petite gourmande!^[378] — произнес он с улыбкой. — Я прекрасно помню, как вы обрадовались, когда я угостил вас слоеным пирожком, и вы знаете, что, принеся яблоки для меня, вы тоже в обиде не останетесь. Ступайте же да возвращайтесь поскорее!

И он отпустил меня, поверив моему честному слову. Я же решила вернуться как можно быстрее, поставить перед ним яблоки и тотчас исчезнуть, не заботясь о будущем.

Мой план, кажется, не ускользнул от его неумолимой

проницательности; он встретил меня на пороге, повлек в комнату и усадил на прежнее место. Взяв у меня из рук блюдо с яблоками, он разделил их на две равные части и приказал мне съесть мою долю. Я уступила ему, но с какой неохотой! И вот тут-то он открыл по мне ожесточенный огонь. Все прежние его речи были лишь «сказка в пересказе для глупца» и ничто в сравнении с теперешней атакой.

Он неразумно предлагал план, каким докучал мне и прежде. Он предлагал мне, чтоб я — иностранка! — выступила на публичном экзамене вместе с лучшими ученицами старшего класса с импровизацией на французском языке, для которой тему будут предлагать присутствующие; а, разумеется, импровизировать надо без словаря и грамматики.

Я хорошо понимала, чем может кончиться такое предприятие. Природа отказала мне в способности сочинять на ходу; при публике я вообще тушуюсь; даже наедине способности мои глохнут среди бела дня, и лишь в ясной тишине утренних и в мирной уединенности вечерних часов является ко мне Дух Творчества. Этот дух вообще играет со мной скверные шутки, он непослушен, капризен, вздорен — странное божество, упрямо молчащее в ответ на все мои домогательства и вопросы, не слышащее молений и прячущееся от моего жадно взыскующего глаза, твердое и холодное, как гранит, как мрачный Ваал,^[379] с сомкнутыми губами и пустыми глазницами и грудью, подобной каменной крышке гроба; когда же я не зову его и не ищу, дух этот, потревоженный вздохом ветра или невидимым током электричества, вдруг срывается с пьедестала, как смятенный Дагон, от жреца требует жертвы, а у закланного животного крови, обманно сулит пророчества, полнит храм странным гулом прорицаний, внятных лишь роковым ветрам, а бедному молеельщику бросает от этих откровений лишь жалкие крохи до того скаречно и неохотно, будто каждое слово — капля бессмертного ихова из собственных его темных жил. И вот от меня требовали, чтоб этого-то тирана я обратила в рабство и заставила импровизировать на школьной эстраде, среди девчонок, под присмотром мадам Бек, на потеху публике Лабаскура!

Мы с мосье Полем уже не раз об этом спорили отчаянно, поднимая шум, в котором сливались просьбы и отказы, требованья и возраженья.

В этот день меня, наконец, оценили по достоинству. Оказывается, все упрямство, свойственное моему полу, сосредоточилось во мне; у меня обнаружилась *orgueil du diable*.^[380] Но, господи, ведь я боюсь провалиться! Да что за печаль, если я и провалюсь? Отчего бы мне не провалиться, кто я такая? Мне это только полезно будет. Он даже рад будет увидеть мой

провал (о, тут я не сомневалась!). Наконец, он умолк, чтоб отдышаться, но лишь на секунду.

...Итак, согласна ли я его слушаться?

— Нет, не буду я вас слушаться. Меня и судом нельзя к этому принудить. Я лучше штраф заплачу, в тюрьму пойду, чем эдак срамиться.

...Неужто меня нельзя добром уговорить? Неужто я не уступлю ради дружбы?

— Ни на волосок, ни на йоту. Никакая дружба на свете не может требовать подобных уступок. Истинный друг не может быть так жесток.

Итак, надо полагать (и тут мосье Поль усмехнулся великолепно, как только он один и умел усмехаться, — скривя губы, раздув ноздри и сощурясь), оставалось лишь одно средство на меня воздействовать, но к этому средству сам он прибегнуть не мог.

— Кое-какие доводы, кое-какие обстоятельства заставили бы вас с готовностью согласиться.

— Да, — возразила я, — и сделать из себя дуру, пугало, посмешище для сотни мамочек и папочек Виллета.

И тут, окончательно потеряв терпенье, я снова закричала, что хочу высвободиться, выйти на свежий воздух, что я не в силах более терпеть, мне душно и жарко.

...Глупости, возразил неумолимый, все это только уловки. Ему-то вот не жарко, а он сидит спиной к самой печке. Отчего же мне жарко, если он служит мне чудесным экраном?

...Но моему уму это недоступно. Мне неизвестно строение сказочных саламандр. Что до меня, я — привыкшая к прохладе островитянка, и сидеть на горячей плите — развлечение не по мне; могу ли я, наконец, сходить хоть за стаканом воды — от сладких яблок у меня разыгралась ужасная жажда?

...И только-то? Да он сам принесет мне воды.

И он отправился за водой. Дверь была не заперта, и я воспользовалась случаем. Не дожидаясь возвращения мучителя, едва уцелевшая жертва спаслась бегством.

Глава XXXI

ДРИАДА

Наступила весна, и погода вдруг стала теплее. Перемена температуры вызвала во мне, как, верно, и во многих других, упадок сил. Я легко уставала, не спала ночей и днем с трудом перемогалась.

Однажды в воскресенье, одолев расстояние в пол-лиги до протестантской церкви, на возвратном пути я едва волочила ноги; и уединясь, наконец, в старшем классе, верном своем прибежище, я, как на подушку, положила голову на бюро.

Я слышала колыбельную песенку пчел, жужжавших за окном, и видела сквозь тоненькую первую листву, как мадам Бек в веселом кругу гостей, которых она успела попотчевать после обедни, прогуливалась по главной аллее под сводом садовых деревьев в весеннем цвету, ярком и нежном, как горный снег в лучах рассвета.

Внимание мое особенно привлекла, помнится, прелестная молодая девушка, которую я и прежде видывала у мадам Бек и о которой мне говорили, кажется, что она крестница мосье Эманюеля, и не то мать ее, не то тетка, не то еще какая-то родственница связана с профессором давней дружбой. Мосье Поля не было в нынешнем воскресном обществе, но я уже прежде встречала эту девушку с ним вместе, и, насколько можно судить на расстоянии, отношения их показались мне непринужденными и легкими, обычными отношениями снисходительного покровителя и подопечной. Я видывала, как она подбегает к нему и ласково берет под руку.

Однажды меня даже кольнуло неприятное предвзятое чувство, какое-то предубеждение, но я не стала о нем раздумывать и постаралась отогнать. Я глядела на девушку, которую звали мадемуазель Совер, на мелькавшее среди цветов и светлой зеленой листвы яркое шелковое платье (одевалась она великолепно и, говорили, была богата), и у меня заболели глаза; сами собой они закрылись; усталость и тепло сделали свое, жужжанье пчел и пенье птиц убаюкали меня, и я уснула.

Два часа пролетели незаметно. Когда я проснулась, солнце уже скрылось за домами, в саду и в комнате померк день, пчелы улетели, стали закрываться цветы; рассеялись куда-то и гости, и опустела аллея.

Проснувшись, я обнаружила, что нисколько не замерзла, хоть и сидела неподвижно целых два часа, что руки у меня не затекли и не болят. Оно и

неудивительно. Они уже не лежали на голой столешнице, под них подложили шаль, а другая шаль (и ту и другую, очевидно, принесли из коридора) уютно окутывала мои плечи.

Кто все это устроил? Кто был мой добрый друг? Кто-то из учителей? Или из учениц? Кроме Сен-Пьер, я ни в ком не встречала неприязни, но у кого достало проворства так нежно обо мне позаботиться? Чья поступь была так бесшумна и так осторожна рука, ведь я ничего не услышала и не заметила? Что до Джиневры Фэншо, от нее не приходилось ждать нежностей, эта блистательная юная особа скорее уж стащила бы меня со стула. Наконец, я сказала самой себе: «Это сама мадам Бек, не иначе. Она вошла, явилась свидетельницей моего сладкого сна и испугалась, как бы я не схватила простуду. Я для нее машина, исправно исполняющая свою работу, и потому меня следует беречь. А теперь, решила я, — пойду-ка я прогуляюсь; сейчас свежо, но нисколько не холодно».

Я открыла стеклянную дверь и вышла в сад.

Я побежала к своей любимой аллее; в темноте, даже в сумерках, я бы вряд ли на такое отважилась, ибо еще не забыла, что мне привиделось (если привиделось!) несколько месяцев назад в этой аллее. Но последний луч заходящего солнца еще серебрил серый купол Иоанна Крестителя; птицы еще не попрятались на ночлег в мохнатых кустах и густом плюще, увивавшем стены. Я брела и думала те же думы, что и в тот вечер, когда хоронила свою бутылку, я размышляла о том, как мне жить дальше, как добиться независимого положения; эти мысли хоть и нечасто посещали меня, но никогда не оставляли меня совсем; при всякой своей обиде, при всякой несправедливости я вновь к ним обращалась; и понемногу в голове моей начал складываться план.

«Прожить в Виллете можно на очень ограниченные средства, — рассуждала я, — люди тут куда разумней, чем в доброй Старой Англии, и куда менее пекутся о ревливой моде. Здесь никто не стыдится жить бережливо и скромно. Жилье можно при желании нанять совсем недорогое. Если мне удастся отложить тысячу франков, я найму квартиру из одной большой комнаты и двух-трех поменьше, в большую поставлю столы и скамьи, повешу черную доску, для себя поставлю эстраду, а на ней стул и стол; заведу мел и губку; и начну давать уроки, а там поглядим. Мадам Бек — она это часто повторяла — начинала с того же, а чего достигла? Все эти постройки с садом вместе — ее собственность, куплены на собственные ее деньги; ей самой обеспечена безбедная старость, а детям ее благополучная будущность.

Смелей, Люси Сноу. Трудись, будь бережлива, ни в чем не давай себе

потачки, и ты добьешься цели. Не говори, что цель эта эгоистична, узка, скучна. Трудись во имя собственной независимости, достигни ее, а там уже будешь стремиться к большему. Да и что у меня есть в жизни дорогого? У меня нет своего дома. У меня нет ничего, кроме меня самой, и больше мне не о ком заботиться. Нет, мне не дано ни к чьим ногам повергнуть бремя себялюбия, мне не дано взвалить на себя ношу более благородную и посвятить жизнь самоотреченному служению другим. Думаю, Люси Сноу, тебе не дождаться полнолуния в своей судьбе; она — лишь робкий росток молодого месяца, и такой ей суждено остаться. И прекрасно. Многим вокруг выпал такой же точно жребий. Сколько мужчин, а тем более женщин влачат свое земное бытие в лишениях и тяготах. Отчего же мне посягать на счастливую долю избранных? Самую горькую участь смягчают надежда и радость. Я верю — здесь, в этом мире, не кончается наша жизнь. Я трепещу и верю, я плачу и надеюсь.

Итак, с этим покончено. Надо честно смотреть правде в глаза и время от времени проверять свои счета с жизнью. Бесчестный мошенник тот, кто лжет самому себе, подводя итоги, подтасовывает результат и называет беду блаженством. Нет, ты назови страх — страхом, отчаянье — отчаяньем и твердым пером, большими буквами впиши их в книгу судьбы — и ты честно выплатишь долг извечному Судье. Попробуй сжульничать, запиши «поощрение» там, где следовало записать «штраф», и посмотрим, согласится ли могучий кредитор на твою подтасовку, примет ли он от тебя фальшивую монету. Предложи сильнейшему, хоть и самому мрачному из небесного воинства ангелу воды, когда он требует крови, и посмотрим, примет ли он ее. За одну ее красную каплю он не возьмет и целого моря. Нет, я составила честный счет».

Остановясь подле Мафусаила — садового патриарха, уткнувшись лбом в старую кору и попирая ногами камень, прикрывавший крошечный склеп у корней, я вспомнила погребенные там чувства. Я вспомнила доктора Джона, мою нежную к нему привязанность, мою веру в его необыкновенные качества, мое восхищение его добротой. Что случилось с этой односторонней дружбой, такой верной и переменчивой, такой шуточной и серьезной?

Умерло ли это чувство? Не знаю. Но оно было погребено. Порой мне казалось, что могила потревожена, и мне мерещилась разворошенная земля и живые, золотые локоны, пробивающиеся сквозь крышку гроба.

Не поспешила ли я? Я часто себя о том спрашивала. Особенно мучил меня этот вопрос после коротких случайных встреч с доктором Джоном. Он по-прежнему смотрел на меня ласково, тепло пожимал мою руку, голос

его с прежней сердечностью произносил мое имя: никогда оно не казалось мне таким милым, как в его устах. Но я уже научилась понимать, что доброта эта и приветливость, эта музыка — не мое достояние, что такова сама его природа, таков его склад, его нрав. Он всем равно дарит свое благоволение, как цветок дарит мед жадной пчеле, он всем его расточает, как растение расточает аромат. Разве сладкий плод любит пчелу или птицу, которую поит своим соком? Разве шиповник пылает любовью к воздуху, который он полнит благоуханьем?

«Доброй ночи, доктор Джон. Вы благородны, вы прекрасны, но вы не для меня. Доброй ночи, и благослови вас господь!»

Так заключила я свои размышленья. И губы мои невольно произнесли вслух: «Доброй ночи». Я услышала свои слова, и тотчас, будто эхом, на них отозвалось:

— Доброй ночи, мадемуазель; или верней сказать — добрый вечер, ведь солнце только что село. Надеюсь, вам сладко спалось?

Я вздрогнула, но скоро пришла в себя, узнав голос и говорящего.

— Спалось, мосье? Где? Когда?

— Спрашивайте-спрашивайте, на здоровье. Вы, оказывается, путаете день с ночью, а бюро с подушкой. Весьма твердая постель, а?

— Чья-то невидимая добрая рука, мосье, сделала ее мягче, покуда я спала. Не важно, как я заснула. Проснулась я в тепле и на мягкой подушке.

— Вам было тепло под шалью?

— Очень тепло. Вы ждете благодарностей?

— Нет. Вы во сне выглядели такой бледной. Вас, верно, мучит тоска по дому?

— Чтобы тосковать по дому, надобно его иметь. У меня его нет.

— Стало быть, вам особенно нужно участие друга. Я едва ли знаю еще кого, мисс Люси, кто бы так нуждался в дружбе, как вы. Сами недостатки ваши о ней взывают. Кто-то должен вечно поправлять вас, наставлять, обуздывать.

Мосье Поль постоянно носился с идеей о том, что меня следует обуздывать. Идея эта прочно засела у него в мозгу, и, как бы покорна я ни была, он бы от нее все равно не отказался. Я слушала его и не старалась выказать чрезмерное смирение, чтоб не лишать его благородной цели.

— За вами надо следить и присматривать, — продолжал он, — радуйтесь, что я взялся исполнять обе эти обязанности. Я слежу за вами и за другими тоже, постоянно и пристально, чаще, чем вы о том подозреваете. Видите вы вон то освещенное окно?

Он показал на чердачное оконце в одном из домиков пансиона.

— Там комната, — пояснил он, — которую я нанял якобы для занятий, а на деле как наблюдательный пункт. Там сижу я и читаю часами; это мне по вкусу, это в моих привычках. Книга, которую я читаю, — сад, содержание ее человеческая природа, особенно женская. Я всех вас знаю назубок. Я превосходно вас знаю — и парижанку, и госпожу, мадам Бек тоже.

— Это нехорошо, мосье.

— Отчего же? Что в этом дурного? Какой верой это запрещено? Какое правило Лютера или Кальвина это осуждает? Я не протестант. Мой богатый батюшка (ибо, хоть я познал бедность и год целый голодал на римском чердаке, голодал отчаянно, ел часто раз в день, а то и не ел вовсе — однако ж, родился я среди роскоши) — мой богатый батюшка был добрый католик и в наставники ко мне призвал духовную особу — иезуита. Я помню его уроки. И к каким это меня приводит открытиям, о боже!

— Открытия, сделанные исподтишка, по-моему, открытия бесчестные.

— Пуританка! Ну, конечно! Нет, вы лучше послушайте, как действуют мои иезуитские уловки. Вот, например, знаете ли вы Сен-Пьер?

— Отчасти.

Он засмеялся.

— То-то, верно вы сказали — отчасти. Тогда как я знаю ее вполне. В этом различие. Она разыгрывала передо мной приветливость; пробовала кошачьи ухватки; льстила, угождала, унижалась. А лесть женщины меня подкупает, подкупает против воли. Она никогда не была хорошенькой, но, когда мы только познакомились, была молода или умела казаться молодой. Как все ее соплеменницы, она умела одеваться, она умела вести себя — спокойно, непринужденно, сдержанно, и это избавляло меня от робости.

— Помилуйте, мосье. Я в жизни не видывала, чтобы вы робели.

— Мадемуазель, вы плохо меня знаете. Я иногда робею, как школьница. Во мне заложены неуверенность и скромность.

— Никогда, мосье, их в вас не замечала.

— Мадемуазель, уж поверьте моему слову. Странно, что вы их не замечали.

— Мосье, я наблюдала вас при стечении публики — на сценах и кафедрах, в присутствии титулованных и коронованных особ — и вы были сама непринужденность, словно стоите в младшем классе.

— Мадемуазель, смущенье во мне вызывают вовсе не титулы и не коронованные особы; и публичные выступления — моя стихия; я создан для них, на людях я дышу вольней; но... но... словом, ну, вот, как раз на меня сейчас и нашло это чувство; однако ж я не дам ему меня одолеть.

Если бы, мадемуазель, я надумал жениться (каковых намерений я не питаю, а потому не трудитесь усмехаться над подобной возможностью) и счел бы нужным осведомиться у дамы, не желает ли она увидеть во мне супруга, тут-то бы и обнаружилось, что я таков, каким себя считаю, — я скромн.

Я совершенно ему поверила; а поверив, прониклась к нему такой искренней признательностью, что у меня даже защемило в груди.

— Что же до Сен-Пьер, — продолжал он, снова овладев слегка дрогнувшим было голосом, — она некогда решила стать мадам Эманюель; и не знаю, куда бы это меня завело, если б не тот освещенный чердачок. О волшебный чердак! Каких только не творил ты чудес, не совершал открытий! Да, — продолжал он, я увидел ее суетность и ветреность, ее злобу; я насмотрелся на такое, что вооружило меня против всех ее атак, и бедняжка Зели мне уже не опасна.

— А ученицы мои, — начал он снова, — светловолосые создания, слабые и нежные, о, я видел, как они скачут, что твои сорванцы-мальчишки (и это самые скромницы), рвут виноград, трясут груши. Когда явилась учительница-англичанка, я тотчас увидел ее, сразу заметил, что она любит гулять в тиши, вот по этой самой аллее, понял ее склонность к уединению; я знал о ней многое, пока не слышал от нее еще не единого слова; помните, я однажды молча подошел к вам и протянул вам букетик подснежников, а мы еще не были знакомы?

— Помню. Я засушила цветы, я до сих пор их храню.

— Мне понравилось, что вы так просто взяли букетик, не чинясь и не ломаясь, без всякого ханжества, я всегда боюсь на него натолкнуться и не прощаю, обнаружив в жесте или взоре. Так о чем это я? Не я один наблюдал вас, но часто, и особенно под прикрытием сумерек, другой ангел-хранитель бесшумно бдел подле вас; кухня моя, мадам Бек, еженощно кралась вниз вон по тем ступеням и тайно, невидимо следовала за вами.

— Помилуйте, мосье, не могли же вы с такого расстояния видеть, что делается в саду ночью?

— Отчего же, при луне и в бинокль все видно; да сад сам собой мне открывался. В сарае есть дверца, она ведет во дворик, сообщающийся с коллежем; у меня ключ от этой дверцы, и я могу входить в нее, когда мне заблагорассудится. Нынче я в нее вошел и застал вас спящею в классе; а вечером я снова воспользовался своим ключом.

Я не удержалась и выпалила:

— Будь вы человеком дурным и коварным, как все это могло бы скверно обернуться!

Такой взгляд на предмет, казалось, не привлек его внимания. Он зажег

сигару и стал дымить ею, привалясь к стволу и устремив на меня спокойные, смешливые глаза, свидетельствовавшие о ровном расположении духа. Я же сочла за благо продолжить свою проповедь. Он отчитывал меня часами, так отчего и мне хоть однажды не высказаться? И я пустилась толковать о том, как я смотрю на его иезуитскую систему.

— Вы чересчур дорогой ценой обрываете свои сведения, мосье, ваши потайные ходы унижают ваше собственное достоинство.

— Мое достоинство! — смеясь, вскричал он. — Разве вы замечали, что я пекусь о своем достоинстве? Это вы ведете себя «достойно», мисс Люси! Да я не раз в вашем присутствии позволял себе удовольствие топтать то, что вам угодно было назвать моим достоинством; я топтал его, плевал на него, издевался над ним с увлечением, которое вашим высокомерным взорам представлялось ужимками захудалого лондонского актеришки.

— Уверяю вас, мосье, каждым взглядом, брошенным из этого окошка, вы вредите лучшему в своей природе. Таким образом изучать сердце человеческое все равно что тайно и кощунственно объедаться яблоками Евы. Жаль, что вы не протестант.

Он продолжал курить, равнодушный к моим сожаленьям, молча улыбаясь. Затем довольно неожиданно он произнес:

— Я видывал и кое-что другое.

— Что же вы такое видели?

Вынув изо рта сигару, он бросил ее в кусты, и там она тлела еще мгновенье.

— Поглядите, — сказал он, — эта искра похожа на красный глаз, следящий за нами, не правда ли?

Он прошелся по аллее, вернулся и продолжал:

— Я видывал, мисс Люси, кое-что непонятное, я раздумывал, бывало, всю ночь и не умел этого разгадать.

Он говорил странным тоном; меня бросило в жар; он заметил, как я вздрогнула.

— Вы испугались? Моих слов или красного, ревнивого, мигающего ока?

— Я озябла. Уже темно и поздно, стало холодно. Пора идти в комнаты.

— Совсем недавно пробило восемь, но хорошо, скоро вы уйдете. Ответьте мне только сперва на один вопрос.

Однако же, он не сразу его задал. Сад быстро темнел. Облака затянули небо, и дождевые капли застучали по листве. Я надеялась, что он это заметит, но он был слишком сосредоточен и не сразу обратил внимание на

дождь.

— Скажите, мадемуазель, верите ли вы, протестанты, в сверхъестественное?

— Среди протестантов, как и среди прочих, одни верят в сверхъестественное, другие не верят, — ответила я. — Но отчего вы меня спрашиваете, мосье?

— А отчего вы вся сжались и говорите таким слабым голосом? Вы суеверны?

— У меня просто раздражены нервы. Я не люблю рассуждать о подобных предметах. Тем более не люблю, что...

— Стало быть, верите?..

— Нет. Но мне пришлось испытать кое-какие впечатленья...

— Здесь уже?

— Да. Не так давно.

— Здесь? В этом доме?

— Да.

— Так! Я рад. Я знал все прежде, чем вы мне сказали. Я чувствовал соответствие меж нами. Вы терпеливы, я вспыльчив; вы покойны и бледны, я смугл и неистов; вы строгая протестантка, я — мирянин-иезуит. Но мы схожи меж нами существует сродство. Разве не замечали вы его, глядясь в зеркало? Вы не подумали о том, что у вас в точности такой же, как у меня, лоб, тот же разрез глаз? Вы не расслышали в своем голосе кое-каких моих ноток? А знаете ли вы, что часто глядите с тем же выражением, что и я? Все это я осознал и думаю, что вы рождены под моей звездой. Да, под моей звездой! Трепещите! Ибо если такое случается со смертными, нити их судеб плотно сплетены, станешь распутывать — сделаются затяжки, зацепки и вся ткань расползется. Но вернемся к вашим «впечатлениям», как вы обозначаете их со своей английской сдержанностью. У меня тоже были кое-какие «впечатления».

— Мосье, расскажите мне о них.

— Именно это я и собираюсь сделать. Знаете ли вы, какая ходит легенда про этот дом и сад?

— Я знаю. Да. Говорят, много лет назад у корней вот этого самого дерева погребли живую монахиню, ее предали той самой земле, которую мы с вами теперь топчем.

— И призрак монахини встарь бродил по дому.

— Мосье, а вдруг он бродит еще и сейчас?

— Что-то тут бродит. Некий образ, отличный от всех, являющихся нам среди бела дня, бродит по дому ночами. Я бесспорно видел его не однажды.

А монастырские покровы мне говорят больше, чем кому другому. Монахиня!

— Мосье, я тоже ее видела.

— Я это знал. Состоит ли монахиня из плоти и крови или из того, что остается, когда иссякнет кровь и иссохнет плоть, ей от меня и от вас чего-то нужно. Я намерен докопаться до истины. Долго я ломал себе голову, но пора раскрыть эту тайну. Пора...

Не договорив фразы до конца, он вдруг поднял голову; тотчас подняла голову и я; оба мы посмотрели на одно и то же — на высокое дерево, затеняющее окно старшего класса и покоящее ветви на его крыше. Оттуда донесся какой-то неизъяснимый, странный звук, будто дерево само согнуло ветви, словно руки, и зашелестело листвой по мощному стволу. Да... В воздухе не пронеслось ни ветерка, и легкие кустики стояли недвижно, а могучее дерево заколыхалось. Оно трепетало еще несколько минут кряду. В кромешной тьме мне представилось, что нечто, еще плотней ночных теней, налегло на ствол и вычернило его. Наконец, дерево перестало дрожать. Что родилось ценою его судорог — какая дриада? Мы смотрели туда неотрывно. Вдруг в доме раздался колокольный звон, и вот на аллее явилась черно-белая фигура. И быстро, будто в гневе, мимо нас, чуть не задев, метнулась сама монахиня! Никогда еще не видела я ее так ясно. Она была высока ростом и стремительна в движениях. Она ушла, и тотчас завыл ветер, хлынул холодный ливень, будто она растревожила всю ночную природу.

Глава XXXII

ПЕРВОЕ ПИСЬМО

Пора спросить, где же Полина Мэри? И как сложились далее мои взаимоотношения с роскошным домом на улице Креси? Взаимоотношения наши на время прервались. Мосье и мисс де Бассомпьер путешествовали несколько недель по французской провинции, навещая то и дело в столицу. По счастливой случайности, как только они воротились, я тотчас об этом узнала.

Однажды под вечер я брела тихим бульваром, радуясь ласковому апрельскому солнышку, предавшись легким мечтам, и вдруг увидела перед собой троих всадников, кажется, только что повстречавшихся и остановившихся для приветствия посреди широкой, обсаженной липами аллеи. То были седовласый господин и девушка, с одной стороны, а с другой — молодой красавец. Девушка выглядела очень мило, ее внешность, поза и снаряжение радовали глаз. Все трое сразу показались мне знакомыми, а подойдя поближе, я разглядела, что это граф де Бассомпьер с дочерью и доктор Грэм Бреттон.

Как сияло лицо Грэма! Какой светилось оно глубокой, истинной, хоть и сдерживаемой радостью! Все сошлось, все будто сговорилось пленить и покорить доктора Джона. Перл, его обвороживший, и сам по себе сверкал чистотой и поражал драгоценностью, но не такой человек был Грэм, чтобы, любясь камнем, забывать об оправе. Встреть он Полину, столь же юную, нежную и прекрасную, но одну, пешком, в бедном платье, простой работницей или горничной, он бы, разумеется, счел ее премилым созданием и ласкал взором ее стан и черты, но она не завоевала бы его сердца, не стала бы его кумиром, он не сложил бы добровольно к ее ногам свое достоинство. Доктор Джон зависел от общества; ему не довольно было живого суждения сердца, он хотел, чтобы свет восхищался его предметом, иначе он не доверял собственным чувствам. В своей владычице он желал видеть все то, в чем судьба не отказала Полине, все то, что диктует прихотливая мода, покупает щедрое богатство и изобретает тонкий вкус; душа его требовала этих условий и только на этих условиях сдавалась вполне; наконец, он встретил все, чего искал, и, гордый, пылкий и робкий, он чтит Полину как свою госпожу. У нее же в глазах играла улыбка, скорее свидетельствующая о нежности, чем о сознании власти.

Они расстались. Он проскакал мимо меня, не чуя под собой земли, ничего вокруг не видя. Он был очень красив в ту минуту.

— Папа, это ведь Люси! — нежно воскликнул звонкий голосок. — Люси, милая, идите же сюда!

Я поспешила к ней. Она отвела вуаль с лица, нагнулась с седла и поцеловала меня.

— Я собиралась к вам завтра, — сказала она. — Но теперь лучше вы завтра к нам приходите.

Она назначила мне час, и я обещала зайти.

На другой день вечером мы заперлись у нее в комнате. Я не видела ее со времени ее состязания с Джиневрой Фэншо и безусловной победы. Она стала рассказывать о своем путешествии. Рассказывала она хорошо, умела ловко подметить частности. Никогда не бывала чересчур многословна, болтлива. Мое внимание не успело истощиться, а ей самой уже захотелось переменить тему. Она быстро заключила рассказ, однако ж не сразу перешла к другому. Наступило неловкое молчание; я чувствовала, что она сосредоточенно о чем-то думает. Потом, оборотясь ко мне, она смиренно, почти умоляюще произнесла:

— Люси...

— Да, я вас слушаю.

— Моя кузина Джиневра Фэншо все еще у мадам Бек?

— Да, она здесь. А вам, верно, очень хочется ее видеть?

— Нет... не очень.

— Вам вздумалось снова ее пригласить?

— Нет... А она... она все собирается замуж?

— Во всяком случае, не за кого-то, кто вам дорог.

— Но ведь она думает еще о докторе Бреттоне? Не изменились же ее мысли, ведь два месяца назад у ней все было решено.

— Какая разница? Вы сами видели, каковы их отношения.

— Да, в тот вечер, конечно, вышло недоразумение. Она очень огорчена?

— Нисколько. Но довольно о ней. Видели вы Грэма, слышали о нем, пока были во Франции?

— Папа получил от него два письма, деловые, кажется. Он что-то тут улаживал, пока нас не было. Доктор Бреттон, по-моему, уважает папу и рад ему услужить.

— Да. А вчера вы встретились с ним на бульваре и могли заключить по его виду, что друзьям его незачем беспокоиться о его здоровье.

— Папа, кажется, того же мнения. Видите, я даже улыбаюсь. Вообще

он не слишком наблюдателен, часто погружен в свои мысли и не замечает того, что делается вокруг, но вчера он мне сказал, когда доктор Бреттон с нами простился: «Как весело смотреть на этого мальчика!» Он назвал мальчиком доктора Бреттона. Он, верно, считает его чуть ли не ребенком, как считает маленькой девочкой меня. Он это не мне сказал, а пробормотал про себя. Люси...

Снова в голосе у нее слышались просительные нотки, и она тотчас встала со стула, перешла ко мне и села на скамейке у моих ног.

Я любила Полину. Я, кажется, не часто докучала читателю подобными признаниями на этих страницах и думаю, на сей раз он меня извинит. Чем больше я ее узнавала, тем больше обнаруживала в ней ума, чистоты и искренности; я к ней привязалась. Будь мое восхищение более поверхностно, оно, верно, обнаруживалось бы заметней; мои же чувства прятались глубоко.

— Что вы хотели спросить? — сказала я. — Смелей, не стесняйтесь.

Но в глазах у нее не было храбрости; встретившись со мной взглядом, она потупилась. Щеки у нее зарделись, как маков цвет, я увидела, как она волнуется.

— Люси, мне надо знать ваше мнение о докторе Бреттоне. Расскажите мне честно, что вы думаете о его характере, о его склонностях?

— Я ценю его характер очень высоко.

— Ну, а его склонности? Скажите мне о них, — настаивала она. — Вы ведь так хорошо его знаете.

— Я очень хорошо его знаю.

— Вы знаете, каков он у себя дома. Вы наблюдали его с матерью. Расскажите, какой он сын?

— Он сын нежный и любящий, утешенье и надежда своей матери, ее радость и гордость.

Она держала мою руку в своих и сжимала при каждом моем добром слове.

— А что еще в нем хорошего, Люси?

— Доктор Бреттон доброжелателен, снисходителен и чуток к нуждам ближнего. Он сумел бы кротко обойтись и с преступником и с дикарем.

— Я слыхала однажды, как папины друзья говорили о докторе Бреттоне, и они говорили то же самое. Они рассказывали, что его любят бедные пациенты, которые боятся других, заносчивых и безжалостных врачей.

— Верно. Я сама это видела. Он однажды водил меня к себе в больницу. Я видела, как его там встречали. Правду рассказывали друзья

вашего отца.

В глазах ее выразилась живейшая признательность. Я видела, что у нее вертится на языке еще какой-то вопрос, но задать его она все не решалась. Сумрак сгущался в гостиной у Полли; огонь в камине раздумячился в серой тьме; но хозяйка, кажется, ждала, когда совсем стемнеет.

— Как тут уютно и покойно, — сказала я, чтоб ее подбодрить.

— Правда? Ну и хорошо. Чай мы будем пить у меня, папа ужинает в гостях.

Не выпуская мою руку, она перебирала пальцами другой руки свои локоны; потом приложила ладонь к пылающей щеке и, наконец, прочистив горло, произнесла обычным своим голосом, чистым, как песня жаворонка:

— Вы, верно, удивляетесь, почему я все говорю о докторе Бреттоне, спрашиваю, испытываю, да ведь я...

— Нисколько я не удивляюсь. Просто он вам нравится.

— А если бы и нравился, — немного чересчур поспешно отозвалась она, разве это причина много говорить о нем? Вы, верно, думаете, что я болтушка, вроде моей кузины Джиневры?

— Если б вы казались мне похожей на мадам Джиневру, я не сидела бы сейчас тут в ожидании ваших сообщений. Я бы встала и бродила бы по комнате, заранее предвидя все ваши слова от первого и до последнего. Но продолжайте же.

— Я и собираюсь продолжать, — возразила она. — Как же иначе?

И маленькая Полли, Полли прежних дней, бросив на меня быстрый взгляд, торопясь, заговорила:

— Пусть бы мне и нравился доктор Бреттон, пусть бы он мне до смерти нравился, одно это еще не заставило б меня говорить, я б молчала, молчала, как могила, как вы сами умеете молчать, Люси Сноу, — вы ведь это знаете, — и вы первая презирали бы меня, если б я потеряла власть над собой и принялась бы изливать свои чувства и плакаться на неразделенную привязанность.

— Я, и точно, мало ценю тех женщин и девушек, которые, не жалея красноречия, хвастаются победами и так же точно сетуют на поражения. Но что до вас, Полина, ради бога, говорите, я очень хочу вас выслушать. Облегчите или потешьте свою душу, больше я ни о чем не прошу.

— Скажите, Люси, вы любите меня?

— Люблю.

— И я вас тоже. Я вам радовалась уже тогда, когда была упрямой, непослушной девчонкой; тогда я щедро потчевала вас шалостями и капризами; а теперь мне нужно с вами говорить, вам довериться.

Выслушайте же меня, Люси.

И она устроилась рядышком со мною, опершись на мое плечо, легонько, вовсе не налегая на меня всей тяжестью, как сделала бы на ее месте Джиневра Фэншо.

— Вы только что спрашивали, получали ли мы известия от Грэма во время нашего отсутствия, и я сказала вам, что он прислал папе два деловых письма. Я не солгала, но я не все вам сказала.

— Вы уклонились от истины?

— Я схитрила, увернулась, знаете ли. Но теперь я вам все расскажу; уже стемнело, в темноте говорить легче. Ну вот. Папа часто дает мне первой разбирать почту. И однажды утром, недели три назад, я очень удивилась, обнаружив среди доброй дюжины писем, адресованных мосье де Бассомпьеру, одно письмо к мисс де Бассомпьер. Оно тотчас кинулось мне в глаза, почерк был знакомый, я сразу его заприметила. Я чуть было не сказала: «Папа, вот еще письмо от доктора Бреттона», но прочитала это «мисс» и осеклась. Никогда еще никто, кроме подруг, не посылал мне писем. Наверное, я должна была бы показать письмо папе, чтоб он его открыл и первым прочитал? Люси, я этого не сделала. Я же знаю, что папа про меня думает; он забывает мой возраст; он думает, я еще маленькая; он не понимает, что другие видят, как я выросла, и больше мне уже ни вершка не прибавится росту. И, ругая себя, но и гордясь и радуясь, так что даже нельзя описать, я отдала папе его двенадцать писем, его законное достоянье, а свое единственное сокровище оставила себе. Пока мы завтракали, оно лежало у меня на коленях и будто подмигивало мне, и я все время помнила, что для папы я ребенок, а сама-то знаю, что я взрослая. После завтрака я понесла письмо наверх и заперлась у себя в комнате со своим кладом. Несколько минут я разглядывала его и только потом решилась вскрыть и справилась с печатью. Такую крепость не возьмешь штурмом; говоря языком войны, ее надо «обложить». Почерк у Грэма, как сам он, Люси, и такова же его печать — не грязные брызги воска, но полный, прочный круг, не крючки и закорючки, раздражающие глаз, но ясные, легкие, быстрые строки, одним своим видом доставляющие радость. Почерк у него так же четок, как его черты. Вы знаете его?

— Я видела его почерк, но продолжайте.

— Печать была такая красивая, что мне жаль стало ее ломать, и я вырезала ее ножницами. И вот, уже собравшись читать письмо, я еще помедлила, оттягивая минуту радости. Потом вдруг я вспомнила, что не помолилась утром; я услышала, как папа спустился завтракать чуть пораньше обычного, и, едва одевшись, тотчас сошла вниз, отложив

молитвы на после и не сочтя это большим прегрешением (кое-кто скажет, наверное, что прежде надобно служить богу, а уж потом человеку; быть может, я верую неправильно, но вряд ли небесам вздумается ревновать меня к папе). Я, кажется, суеверна. Теперь же какой-то голос будто сказал мне, что бывают чувства иные, кроме дочерней привязанности, и что, прежде чем я осмелюсь читать заветное письмо, мне следует вспомнить о своем долге. Со мной такое бывало и раньше, сколько я себя помню. Я отложила письмо, помолилась и в конце вознесла к богу мольбу, чтоб не попустил меня никогда обидеть папу, причинить ему горе своей любовью к кому-нибудь другому. От одной мысли о такой возможности я расплакалась. И все же, Люси, я поняла, что придется открыть папе правду, уговорить его, все ему объяснить.

Я прочитала письмо. Люси, говорят, жизнь полна разочарований. Я не разочаровалась. Когда я начала читать, пока я читала, сердце мое не просто прыгало, оно чуть не выскочило у меня из груди, оно дрожало, как дрожит зверь, когда, изныв от жажды, припадает наконец к ручью, чистому, прозрачному и щедрому. В струях моего ручья играло солнце и не было ни пылинки, Люси, ни водорослей, ни букашек, ничто не мрачило его сверкающих вод. Говорят, — продолжала она, — жизнь для иных полна муки. Я читала про несчастных, путь которых ведет от одной горести к другой, надежда манит их, но только дразнит, не дается в руки. Я читала про тех, кто сеет доброе, но ничего доброго не пожинает, урожай губит порча или вдруг налетевший ураган; и зиму встречают они с пустым амбаром и умирают от горькой нужды, в холоде и тоске.

— Их ли то вина, Полина, что они умирают так?

— Не всегда это их вина. Многие из них люди добрые и работающие. Я не работающая и не очень добрая, но господь судил мне расти под теплым солнышком, под крылышком любящего, заботливого, умного отца. А сейчас сейчас ему на смену является другой. Грэм меня любит.

Несколько минут после ее признания мы обе молчали.

— Ваш отец знает? — тихо выговорила я наконец.

— Грэм писал о папе с глубоким почтением, но дал мне понять, что покуда не задевал с ним эту тему; сперва он хочет доказать, чего он сам стоит; и еще он добавил, что должен убедиться в ответных моих чувствах, прежде чем решиться на какой-нибудь шаг.

— Как же вы ему ответили?

— Я ответила коротко, но я его не отвергла. Правда, я ужасно боялась, как бы ответ мой не вышел чересчур сердечным: у Грэма такой прихотливый вкус! Я три раза переписывала письмо, вымарывала,

сокращала строки и, только уподобив свое посланье льдышке, чуть сдобренной подслащенным фруктовым соком, я решилась запечатать его и отправить.

— Превосходно, Полина! У вас тонкое чутье. Вы раскусили доктора Бреттона.

— Но как мне уладить дело с папой? Вот что меня мучает.

— А вы ничего не улаживайте. Обождите. И не поддерживайте сообщений с Грэмом, покуда отец ваш все не узнает и не даст своего согласия.

— А он его даст?

— Время покажет. Обождите.

— Доктор Бреттон писал ко мне опять, рассыпаясь в благодарностях за мою коротенькую, сдержанную записку; я же, в предвиденье вашего совета, объявила, что больше не буду писать без отцовского ведома.

— И куда как правильно сделали. Доктор Бреттон это оценит, станет еще больше вами гордиться, еще больше любить вас, если только то и другое возможно. Полина, ваш холодок, хранящий пламя в глубине, — бесценный дар природы.

— Видите, я понимаю склонности Грэма, — сказала она. — Я понимаю, что с его чувствами надо обращаться очень осторожно.

— О, вы его понимаете, вы это доказали. Но каковы бы ни были склонности Грэма, с отцом вашим вы должны вести себя честно, открыто и бережно.

— Люси, я всегда буду себя так вести. Как мне жаль будить папу от сладкого сна и объявлять ему, что я уже не ребенок!

— А вы и не торопитесь, Полина. Положитесь на Время и благую Судьбу. Я вижу, как нежно она вас ласкает; не бойтесь, она сама о вас порадеет и назначит верный час. Правда. Я тоже размышляла о вашей жизни, как и вы о ней раздумывали; мне на ум приходили те же сравнения. Будущее от нас скрыто, но прошлое сулит счастливое продолжение. Когда вы были ребенком, я боялась за вас; ничто живое не могло сравниться с вами по впечатлительности. При небрежном уходе вы не стали бы тем, что являетесь сейчас, и внутренний мир ваш и внешний облик были бы иными. Горе, страх, забота исказили бы и замутили ваши черты, нарушили бы их четкость, перенапрягли бы ваши нервы; вы утратили бы здоровье, веселость, приветливость и прелесть. Провидение вас хранило и холило, я думаю, не только ради вас самой, но и для Грэма. Он тоже родился под счастливой звездой; чтобы полностью развить свои способности, ему нужна такая, как вы, подруга. И вот вы вошли в его жизнь. Вы должны

соединиться. Я поняла это, как только увидела вас вдвоем, на «Террасе». Вы созданы друг для друга, вы друг друга дополняете. Не думаю, что блаженная юность обоих предвестник грядущих невзгод. Я думаю, вам суждены тихие, счастливые дни не за гробом, а здесь, — удел немногих смертных. На иных судьбах есть такое благословенье; такова воля божья. Это след и свидетельство утраченного рая. Другим суждены иные тропы. Других путников встречает переменчивая, злая, лихая погода, грудью прокладывают они себе путь против ветра, но их застигает в поле суровая зимняя ночь. Ни то, ни другое невозможно без произволения господня. И я знаю: где-то кроется тайна его последней справедливости. На всех сокровищах его стоит проба, и это обетование милости.

Глава XXXIII

МОСЬЕ ПОЛЬ ИСПОЛНЯЕТ СВОЁ ОБЕЩАНИЕ

Первого мая всем нам, т. е. двадцати пансионеркам и четверем учительницам, было велено подняться в пять часов утра, а к шести одеться, подготовиться и предоставить себя в распоряжение мосье профессора Эманюеля, дабы он вывел наши сомкнутые ряды из Виллета, ибо в этот день нам был обещан завтрак на лоне природы. Правда, я, как, верно, помнит читатель, сначала не удостоилась чести приглашения; скорей наоборот; однако, когда я намекнула теперь на это обстоятельство и пожелала узнать, как же мне все-таки быть, ухо мое претерпело такой щипок, что я не отважилась, вновь подвергаясь опасности, чересчур рьяно допытываться совета.

— Je vous conseille de vous faire prier,^[381] — сказал мосье Эманюель, властно угрожая другому моему уху. Наполеоновский прием оказал на меня свое действие, и я решилась отправиться со всеми.

Утро было спокойное и ясное, птицы пели в саду, а легкий росистый туман предвещал зной. Все сочли, что будет жарко, с радостью отложили тяжелые одежды и оделись под стать солнечной погоде. На всех были свежие ситцевые платица и соломенные шляпки, изготовленные ловкими, несравненными руками француженок, умеющих сочетать предельную простоту с совершенным изяществом. Никто не красовался в блеклых шелках; никто не блистал убогой роскошью.

В шесть часов радостно прозвенел колокольчик, и мы высыпали на лестницу и спустились в вестибюль. Там нас уже ждал наш профессор, но не в диком своем всегдашнем сюртучке и феске, а в молодящей подпоясанной блузе и лихой соломенной шляпе. Он припас нам приветливейшее «с добрым утром» и в ответ получил почти от всех благодарственные улыбки. Нас построили и торжественно вывели.

Улицы еще не проснулись, а бульвары тянулись тихие и свежие, как поля. Кажется, всем нам было очень весело по ним шагать. Наш предводитель умел, когда хотел, вызвать счастливое настроение; зато, будучи не в духе, он точно так же умел внушить тоскливый страх.

Он не возглавлял и не замыкал шествия, но шел с нами рядом, каждой

дарил словечко, больше болтал с любимицами, но не забывал и опальных. Я решила — и не без причины — держаться подальше от его глаз и шла в паре с Джиневрой Фэншо, предоставив этому отнюдь не бесплотному ангелу повиснуть на моей руке (Джиневра пребывала в отличной форме, и смею уверить читателя, мне было не так-то легко влачить бремя ее прелестей; не раз в продолжение жаркого дня мне отчаянно хотелось, чтобы вместилище ее чар весило поменьше), но идя, как я уже сказала, с нею в паре, я норовила извлечь из нее пользу и то и дело подсовывала ее мосье Полю, как только слышала его шаги справа либо слева от меня. Тайной причиной таких маневров являлось мое новое ситцевое платьице, пронзительно розовый цвет которого, из-за характера нашего конвойного, ставил меня сейчас приблизительно в такое же положение, как тогда, когда мне пришлось в шали с красной каймою пересечь луг под самой мордой у быка.

Сперва с помощью ловких перемещений и черного шелкового шарфа я успешно достигала своей цели; но вот мосье Поль обнаружил, что, как ни подойди, он неизменно оказывается рядом с мисс Фэншо. Взаимоотношения их не сложились столь благоприятно, чтобы победить отвращенье профессора к ее английскому акценту. Они вечно вздорили; стоило им сойтись на минутку, они тотчас сердили друг друга; он считал ее пустой и жеманницей, она его — неотесанным, докучливым, несносным.

Наконец, переместившись в шестой раз и с тем же неблагоприятным результатом, он вытянул шею, заглянул мне в глаза и спросил рассерженно:

— Qu'est ce que c'est? Vous me jouez de tours?^[382]

Не успел он произнести эти слова, как с обычной своей быстротой соображения уже понял мои побудительные причины — напрасно я изо всех сил натягивала на себя шарф.

— Ах! C'est la robe rose!^[383] — слетело с его уст и коснулось моего слуха, словно гневное мычанье некоего повелителя лугов.

— Да это же ситец, — взмолилась я, — он дешевый, и цвет это не маркий!

— Et Mademoiselle Lucie est coquette comme dix Parisiennes, — возразил он. — A-t-on jamais vu une Anglaise pareille? Regardez plutot son chapeau, et ses gants, et ses brodequins!^[384]

На самом деле все это у меня было ничуть не нарядней, чем у моих товарок, а даже куда проще, чем у большинства из них, но мосье уже сел на своего конька, и я заранее злилась в ожидании проповеди. Грозу, однако ж, пронесло, как и подобало в такой ясный день. Обошлось лишь вспышкой

молнии то есть насмешливо сверкнули его глаза, — и он тотчас сказал:

— Courage! — a vrai dire je ne suis pas fache, peutetre meme suis-je content qu'on c'est fait si belle pour ma petite fete.

— Mais ma robe n'est pas belle, Monsieur — elle n'est que propre.

— J'aime la proprete,^[385] — возразил он. Положительно, его сегодня было не сбить с веселого тона; на нынешнем благом небе сияло солнце безмятежности, и если на него набегали легкие тучки, оно тотчас их поглощало.

Но вот мы уже добрались до лона природы, что называется, «les bois et les petits sentiers».^[386] Лесам этим и тропкам через месяц суждено было запылиться и выцвести, но теперь, в мае, они сияли яркой зеленью и сулили приятный отдых.

Мы дошли до источника, обсаженного во вкусе Лабаскура аккуратным кружком лип; здесь был объявлен привал; нам приказали приземлиться на зеленом валу, окружавшем источник, мосье сел посередке и милостиво предоставил нам обсесть его со всех сторон. Те, что любили его больше, чем боялись, сели поближе, это были самые маленькие ученицы; те, что больше боялись его, чем любили, остались в сторонке, те же, в ком привязанность сообщала даже остаткам страха приятное волнение, держались дальше всех.

Он начал рассказывать. Рассказывать он умел хорошо, тем языком, который любят дети и так стремятся превзойти ученые мужи, языком простым в своей выразительности и выразительным в своей простоте. В его повести были прекрасные находки, нежные проблески чувства и штрихи в описаниях, запавшие мне в память, да так из нее и не изгладившиеся. Он набросал, например, картину сумерек, — я все ее помню и таких красок не видывала ни у одного художника.

Я уже говорила, что сама обделена даром сочинять на ходу; быть может, мой недостаток особенно побуждал меня восхищаться тем, кто владел этой способностью в совершенстве. Мосье Эманюель не писал книг; но я слышала, как он с беспечной щедростью расточал такие духовные богатства, какими редкая книга может похвастаться; его ум служил мне библиотекой, доставлявшей много радости. При недостаточной образованности я мало читала, толстые томы нагоняли на меня тоску, частенько усыпляли меня — но эти фолианты изустных мыслей были глазами каплями для внутреннего зренья; ими оно усиливалось и прояснялось. Я подумывала о том, с каким бы счастьем кто-то, движимый любовью к нему (которой самому ему не хватало), мог собрать все эти

разбрасываемые по ветру золотые россыпи.

Окончив рассказ, он подошел к холмику, на котором сидели мы с Джиневрой. По обычаю своему не дождавшись, пока ему добровольно выскажут суждение, он спросил:

— Вам было интересно?

Я, как всегда не ломаясь, ответила:

— Да.

— Хорошая история?

— Очень хорошая.

— А вот не могу ее записать, — сказал он.

— Отчего же, мосье?

— Я ненавижу физический труд. Сидеть, гнуться над бумагой... Я бы с удовольствием диктовал переписчику. Согласились бы вы, мисс Люси, послужить мне в этой роли?

— Боюсь, вы станете торопиться, понукать меня и бранить, если мое перо не угонится за вашим языком.

— Как-нибудь попробуем. Посмотрим, каким чудищем сделаюсь я в этих обстоятельствах. Но теперь не о диктовке речь; я хочу от вас иной услуги. Видите вон тот дом?

— Среди деревьев? Вижу.

— Там мы и позавтракаем; и покуда добрая фермерша будет готовить нам кофе с молоком, вы и еще пятеро, которых я выберу, должны намазать маслом полсотни булочек.

И снова выстроив нас сомкнутыми рядами, он повел нас к ферме, которая, при виде наших сил, тотчас сдалась без боя.

В наше распоряжение предоставили чистые ножи и тарелки, и мы, по выбору нашего профессора, вшестером принялись мазать к завтраку огромную корзину булочек, которые хозяин заранее заказал булочнику, предвидя наше вторжение. Уже согрели кофий и шоколад; пир дополнили сливки и свежеснесенные яйца. Щедрый мосье Эманюель хотел было вдобавок заказать «jambon и confitures»,^[387] но многие дерзко восстали против такой бессмысленной траты продуктов. Он обрушил на нас град обвинений, называл «menageres avares»,^[388] мы с ним не спорили, однако ж распорядились по-своему.

Какое доброе было у него лицо, когда он стоял у кухонной плиты на ферме! Он принадлежал к числу тех людей, которые радуются, доставляя другим радость. Оживление, веселье вокруг заражали его. Мы спросили, где он намеревается сесть. Он отвечал, что он раб наш, а мы его

повелительницы, и он не осмеливается сам выбрать себе место. И тогда мы его усадили в большое кресло хозяина во главе стола.

До чего же мило он порой себя вел, при всей необузданной вспыльчивости своего характера, каким умел быть кротким, послушным! Несносен же он бывал не из-за дурного нрава, а из-за раздражительности нервов. Успокоить его, понять, утешить, — и он становился овцой; такой мухи не обидит. Только самым глупым, испорченным, черствым натурам следовало опасаться мосье Поля.

Всегда помня о вере, он велел самым маленьким помолиться перед завтраком и истово, как женщина, перекрестился. Раньше я никогда не видела, чтоб он крестился или молился. Жест его был полон такой простодушной детской веры, что, глядя на него, я не удержалась от ласковой улыбки; он перехватил ее взглядом и тотчас протянул ко мне руку со словами:

— *Donnez moi la main!*^[389] Я вижу, при разнице обрядов, мы поклоняемся одному богу.

В отличие от мосье Эманюеля учительская братия обычно воспитана в духе свободомыслия и безверия; и у многих жизнь небезупречна; он же, старомодно религиозный, не давал никакой пищи придиричивой молве. Доверчивому детству и прекрасной юности было покойно под его крылышком. Пылкий и увлекающийся, он, благодаря чувству чести и набожности, успешно разгонял всех злых духов.

Завтрак прошел весело, но не в одной пустой болтовне. Общим весельем руководил и управлял мосье Поль. Никогда еще не видела я его таким непринужденным. Среди детей и женщин он чувствовал себя как рыба в воде. Ничто не раздражало его и ему не мешало.

Отзавтракав, все разбежались по лугам, только кое-кто остался помочь жене фермера убрать со стола, и я в том числе. Скоро мосье Поль подозвал меня и попросил ему почитать. Он устроился под деревом, откуда ему хорошо были видны резвящиеся в траве девчонки. Он сидел на лавочке, а я села прямо на корни. Покуда я читала (карманное издание Корнеля, мне он вовсе не понравился, зато нравился профессору, который находил в нем красоты, мне решительно незаметные), он слушал спокойно и блаженно и вся поза его говорила о состоянии, совершенно отличном от обычной порывистости, в синих глазах сияла радость, высокий лоб разгладился. Мне тоже было радостно оттого что день так хорош, оттого что мосье Поль рядом, оттого что он так мил со мною.

Потом он спросил, отчего я не бегу к своим товаркам. Я отвечала, что мне нравится быть с ним рядом. Он спросил меня, сидела ли бы я с ним

часто, будь я его сестрой? Я отвечала, что, верно, сидела бы с таким братцем. И я сказала правду. Потом он спросил, огорчусь ли я, если ему придется покинуть Виллет. И тут я уронила Корнеля и ничего не ответила.

— *Petite soeur*, [\[390\]](#) — сказал он, — долго ль будете вы помнить меня, если мы расстанемся?

— Этого я не могу сказать, мосье, оттого что не знаю, долго ль мне суждено еще помнить все земное.

— Если я уеду за море на два-три, на пять лет, обрадуетесь ли вы моему возвращенью?

— Но как же, мосье, мне жить в промежутке?

— *Pourtant j'aie pour vous bien dur, bien exigeant*. [\[391\]](#)

Я спрятала лицо за книгой, чтоб он не видел моих слез. Я спросила, зачем он так говорит. И он обещал, что больше так говорить не станет, и постарался меня ласково ободрить. Однако доброта, с какою он обращался ко мне потом в продолжение всего дня, давила мне на сердце. Она была слишком нежной. Она меня печалила. Уж лучше б он был резок, капризен и язвителен, каким я привыкла его видеть.

С наступленьем жаркого полудня — ибо день выдался, согласно нашим ожиданиям, знойный, как в июне, — пастырь наш созвал с пастбища своих овец и вознамерился вести их в обратный путь. Но нам предстояло отмахать целую лигу, потому что ферма, на которой мы завтракали, стояла далеко от Виллета; дети устали от игр; многие пали духом при мысли о кремнистой, раскаленной и пыльной дороге. Но профессор это предвидел. Сразу же за фермой нас ждали два поместительных экипажа, из тех, какие обычно нанимают для школьных экскурсий; всем нашлось место, и час спустя мосье Поль в полной сохранности доставил своих подопечных на улицу Фоссет. День прошел приятно; он был бы еще приятней, если б не легкая тучка, на минуту омрачившая его ясную лазурь.

Вечером эта лазурь снова замутилась.

На закате я увидела, как мосье Эманюель вышел через парадную дверь вместе с мадам Бек. Чуть не битый час они бродили по главной аллее, серьезно беседуя. Он казался расстроенным, но на чем-то настаивал, она возражала, убеждала, не соглашалась.

Я подивилась, о чем бы мог идти спор; и когда стемнело и мадам Бек вернулась в комнаты, оставя своего родича Поля бродить по саду, я сказала себе: «Он назвал меня утром «*petite soeur*». Если б и вправду он был моим братом, неужто я не побежала б сейчас к нему спросить, какая у него на

душе забота? Бедный! Как печально прислонился он к дереву! Он нуждается в утешении, я знаю. Мадам не может утешить, она умеет только пенять. Что же мне делать?»

Мосье Поль недолго оставался неподвижным. Вот он снова выпрямился и зашагал по саду. Двери *saire* были открыты; я подумала, что он хочет, по своему обыкновению, полить апельсиновые деревца в кадках. Однако, дойдя до самого входа, он резко повернул и направился к стеклянной двери старшего класса. Там-то, в старшем классе, и сидела я, наблюдая за ним, но мне не достало смелости спокойно дожидаться, когда он переступит порог. Он повернул так внезапно, так быстры были его шаги, весь вид его так странен. Трусливая часть моего существа одержала верх, и, услышав, как хрустит под его ногами гравий и как шуршат при его приближении кусты, — я выскочила из класса и метнулась прочь что было духу.

Остановилась я, лишь найдя прибежище в часовне, пустой в этот час. Там я стояла одна и с безотчетным замиранием сердца слушала, как он прошел по классам, изо всех сил хлопая дверьми. Я слышала, как он ворвался в столовую, где учениц томили сейчас *lecture pieuse*.^[392] Я слышала, как он произнес:

— *Ou est Mademoiselle Lucie?*^[393]

И в тот самый момент, когда я собрала всю свою смелость, готовясь спуститься и, наконец, осуществить свое самое горячее желание — то есть увидеть его, подойти к нему и заговорить, — фальшивый голос мадемуазель Сен-Пьер как ни в чем не бывало ответил:

— *Elle est au lit.*^[394]

И раздраженно топнув ногой, он выскочил в коридор. Там встретила его мадам Бек, завладела им, распекла, довела до входной двери и наконец отпустила.

Только когда входная дверь хлопнула, меня вдруг поразила несуразность собственного моего поведения. Я же сразу поняла, что именно меня он ищет, что я нужна ему. А мне — разве не был он нужен? Отчего я убежала? Что унесло меня с его пути? Он собирался мне что-то сказать, он шел ко мне это сказать, я рвалась его выслушать, и вот — уклонилась от его откровенности. Стремясь выслушать и утешить, я считала свое желание неосуществимым, а когда возможность вдруг представилась, я бросилась от нее прочь, как от горного обвала.

Глупость моя была достойно наказана. Вместо утешения, радости, какие я получила бы в награду, сумей я победить нелепое смятение и

спокойно подождать две минуты, я обрела лишь мрачные сомнения и терзания неизвестности.

Это горькое достояние я подсчитывала всю ночь.

Глава XXXIV

МАЛЕВОЛИЯ

В четверг днем мадам Бек послала за мной и спросила, свободна ли я и не смогла ли бы я пойти в город за кое-какими покупками.

Ничто не препятствовало мне ответить согласием, меня тотчас снабдили списком разных мелочей — шелковых, шерстяных ниток и прочего, — потребных ученицам для вышивания, и, облачившись соответственно пасмурной погоде, которая грозила дождем, я взялась уже за дверную ручку, когда голос мадам вновь призвал меня в столовую.

— Ах, простите ми-и-ис Люси! — вскричала она, будто ее осенила внезапная идея, — я кое-что еще вспомнила, но, боюсь, не злоупотребляю ли я вашим великодушием?

Я, разумеется, уверила ее в противном, и мадам, забежав в малую гостиную, вынесла оттуда хорошенькую корзиночку, наполненную прекрасными парниковыми плодами, розовыми, сочными, соблазнительно уложенными на зеленых, будто восковых, листьях и бледно-желтых цветах какого-то неведомого мне растения.

— Вот, — сказала она, — корзинка не тяжелая, да и вид у нее милый, под стать вашему туалету, не то что грязная какая-нибудь поклажа. Окажите милость, оставьте эти фрукты в доме у мадам Уолревенс и поздравьте ее от меня с днем ангела. Она живет в Старом городе, в номере третьем по улице Волхвов. Боюсь, вам это покажется далеко, но в вашем распоряжении весь вечер, так что спешить некуда. Если не поспеете к ужину, я велю оставить для вас еду, а не то Готонша сама для вас расстается, ведь вы же ее любимица. Вас не забудут, моя милая. Да! Еще одно (она снова меня задержала): непременно отдайте корзину мадам Уолревенс в собственные руки, только ей, смотрите же, и чтобы не вышло какой ошибки, она, знаете ли, такая щепетильная. Adieu! Au revoir!

И я наконец вышла. На покупки ушло немало времени, подбирать шерстяные и шелковые нитки всегда ужасная тоска, но наконец я справилась с заданием. Я выбрала образцы вышивок для туфель, выбрала закладки, и шнурки для колокольчиков, и кисточки для кисетов. Покончив со всей этой чепухой, я выбросила ее из головы, и мне осталось только доставить фрукты имениннице.

Меня даже радовала долгая прогулка по унылым старым улицам

Нижнего города и нисколько не обескураживало, что на вечернем небе проступила черная туча, покраснела по краям и стала постепенно наливаться пламенем.

Я боюсь сильного ветра, ибо порывы бури вызывают необходимость усилия, напряжения сил, и я всегда подчиняюсь ей с неохотой; ливень же и снегопад или град требуют только покорности — терпи и жди, пока промокнет до нитки твое платье. Зато перед тобой расстилаются чистые, пустынные проспекты, расступаются тихие, широкие улицы; город цепенеет, застывает, как по манию волшебной палочки. Виллет превращается в Фадмор.^[395] Так пускай же хлынут ливни и разольются реки — лишь бы мне сперва отделаться от своей корзинки.

Неведомые часы на неведомой башне (ибо голос Иоанна Крестителя не мог донестись в такую даль) пробили без четверти шесть, когда я достигла указанного мне начальницей дома. Это была даже и не улица; скорее нечто вроде бульвара. Здесь царила тишина, между широких серых плит проросла трава, дома были большие, очень старые с виду, а над крышами виднелись купы деревьев, означая, что позади раскинулись сады. Дремлющая тут старина, очевидно, изгнала отсюда все деловое и бойкое.

Некогда здесь жили богачи, и еще сохранились остатки былого величия. Церковь, темные обветшалые башни которой высились над округой, была славным и некогда процветающим храмом Волхвов. Но богатство и слава давно расправили золоченые крыла и улетели прочь, предоставляя древнему гнездовью либо стать приютом Бедности, либо уныло, пусто и одиноко влачить бремя грядущих зим.

Пройдя по пустынной «площади», где на плитах уже темнели капли величиной чуть не с пятифранковые монеты, я нигде не заметила никаких признаков жизни, исключая увечного и согбенного старика священника, который проковылял мимо меня, опираясь на посох и олицетворяя упадок и старость.

Он вышел из того самого дома, куда я направлялась, и когда я встала перед только что захлопнувшейся за ним дверью и позвонила, он оглянулся и посмотрел на меня. Он нескоро отвел взгляд; быть может, облик мой, не облагороженный преклонными годами, и моя корзинка показались ему здесь неуместными. Я и сама, признаться, немало бы удивилась, случись мне сейчас увидеть на пороге круглолицую, розовую горничную; но мне отворила совсем старенькая старушка в допотопном крестьянском уборе, равно безобразном и пышном, с длинными рюшами кружев ручной работы и в сабо, скорее похожих на какие-то утлые ладьи, чем на обувь, — и я совершенно успокоилась.

Выражение лица ее было менее успокаивающим, нежели покроем платья. Редко случалось мне встречать более брюзгливый вид. Она едва ответила на мои расспросы о мадам Уолревенс. Кажется, она так и вырвала бы у меня из рук корзинку, не подоспей к нам священник, услужливо подставивший мне ухо.

Из-за очевидной его глухоты я не сразу сумела растолковать ему, что мне надобно увидеть самое мадам Уолревенс и передать ей фрукты в собственные руки. В конце концов, он понял, однако, в чем суть моего поручения, которое долг предписывал мне неукоснительно выполнить. Обратясь к престарелой горничной не по-французски, но на особом наречии граждан Лабаскура, он убедил ее впустить меня на негостеприимный порог, сам препроводил наверх в некое подобие гостиной и там оставил.

Комната была просторная, с высоким потолком и цветными, почти как церковными, окнами, но она казалась унылой и странно покинутой в сером свете близящейся грозы. Далее открывался проход в другую комнату, поменьше; единственное окно ее прикрывали ставни, и в сумраке смутно вырисовывались очертания скудной мебели; то, что глазу моему удалось различить, поразило меня, особенно портрет на стене.

Вот портрет, к моему изумленью, дрогнул, качнулся, свернулся — и обратился в ничто и, исчезнув, открыл арку, а за ней сводчатый проход и дальше таинственную винтовую лестницу, каменную, холодную, некрашеную и не покрытую ковром. На этой лестнице, мрачной, как в застенке, раздался стук тросточки — тук-тук-тук — и потом на ступени легла тень, а затем я увидела и некий образ.

Но было ли то подлинно человеческое существо? Ко мне, затеняя арку, двигалось странное виденье.

Оно приблизилось, и я его разглядела. Я начала понимать, где я нахожусь. Недаром это место называется улицей Волхвов; верно, башни, высящиеся над округой, переняли у крестных своих, трех таинственных мудрецов, их темное и древнее колдовское искусство. Здесь царят чары седой старины; колдовские силы перенесли меня в очарованную темницу, и вдруг исчезнувший портрет, и арка, и сводчатый переход, и каменные ступени — все только подробности волшебной сказки. И еще отчетливее декораций стояло на сцене главное действующее лицо — Кунигунда, колдунья! Малеволия — злая волшебница!

Росту в ней было фута три, при совершенной бесформенности, худые руки, одна на другой, сжимали золотой набалдашник посоха из слоновой кости, похожего на скипетр. Широкое лицо не возвышалось над плечами,

но торчало перед грудью, а шеи не было вовсе. На черты ее легла печать столетней старости, а еще старше казались ее глаза — злые, настороженные, под седыми густыми бровями и синеватыми веками. Как сурово она на меня поглядела, с каким угрюмым недоброжелательством!

Ее укрывало платье из ярко-голубой парчи, затканной крупными шелковыми листьями, а поверх него — шаль с пышной каймою, такая большая, что разноцветная опушка волочилась по полу. Но особенно поражали взгляд ее драгоценности — в ушах ослепительно сверкали длинные серьги, конечно, не фальшивые и не взятые напрокат, а на тощих пальцах красовались толстые золотые кольца с жемчугами, изумрудами и рубинами. Горбатая карлица была разодета, словно языческая царица.

— Que me voulez-vous?^[396] — прохрипела она скорей стариковским, чем старушечьим голосом; и то сказать — на подбородке у нее пробивались седые волосы.

Я вручила ей корзину и передала поздравление.

— И это все? — спросила она.

— Все, — отвечала она.

— Вот уж стоило труда, — проворчала она. — Верните это мадам Бек, да скажите, что я сама могу купить себе фруктов, коли мне захочется, et quant a ses felicitations, je m'en moque!^[397] — И сия любезная дама поворотила мне спину.

Не успела она отвернуться, грянул гром и вспышка молнии озарила будуар и гостиную. Все, казалось, разыгрывалось по всем правилам волшебной сказки. Путник, попавший в очарованный замок, услышал за окном грохот колдовской бури.

Но что прикажете думать о мадам Бек? Выбор знакомств ее показался мне странен. Она складывала свои дары к непонятной святыне, а злобные повадки ее идола не предвещали добра. Меж тем мрачная Сидония, дрожа как паралитик, стуча драгоценным посохом по мозаике паркета и глухо ворча, удалилась.

Хлынул дождь, ниже надвинулся небесный полог; тучи, еще только что такие красные, вдруг смертельно побледнели, словно от ужаса. Хотя я и похвалялась выше своим бесстрашием, мне вовсе не хотелось теперь выходить под ливень и мокнуть. К тому же молния сверкала ослепительно, гром гремел совсем рядом; над Виллетом разразилась ужасная гроза. Расщепленные стрелы пронзали обрушивавшуюся стеной водную лавину, красные зигзаги прочерчивали весь свод, белый, как сталь, и лило, лило, словно разверзлись вышние хляби.

Покинув хмурую гостиную мадам Уолревенс, я направилась к холодной лестнице. На площадке стояла скамья, и я на нее опустилась. Кто-то скользнул по верхней галерее; это оказался старый священник.

— Мадемуазель, вам не следует тут сидеть, — сказал он, — наш благодетель опечалится, если узнает, какой прием оказали незнакомому пришельцу у него в доме.

И он столь истово принялся меня уговаривать вернуться в гостиную, что мне оставалось лишь подчиниться, чтобы не обидеть его. Задняя комната была уютней и лучше обставлена, чем передняя, большая комната, и старик провел меня прямо туда. Он приоткрыл ставни, и я увидела строгую комнатуху, похожую скорее на часовню, чем на будуар, и словно предназначенную для воспоминаний и сосредоточенных раздумий, а не для приятностей отдыха и праздных развлечений досуга.

Святой отец сел, будто собирался занять меня беседой, однако разговаривать не стал, а вместо этого открыл какую-то книгу, упер взгляд в страницу и зашептал не то литанию, не то молитву. Желтые вспышки молний золотили его лысину, а весь он оставался в глубокой, лиловой тени. Он сидел как изваянье. Казалось, за своими молитвами он совсем позабыл обо мне и поднимал глаза лишь тогда, когда особенно яркий разряд либо особенно громкий удар грома возвещали об опасности. Да и тогда во взоре его угадывался не испуг, но благоговейный страх. Я тоже испытывала благоговейный ужас, но не так ему предавалась, и мысли мои свободно блуждали.

Мне сдавалось, по правде говоря, что я узнаю отца Силаса, перед которым склоняла колени в храме Бегинок. Я не могла решить этого с уверенностью, ибо видела тогда отца Силаса в сумраке и сбоку, однако сходство я находила без сомненья, мне сдавалось, что и голос похож. Неожиданно вскинув на меня глазами, он дал мне понять, что заметил мой интерес к его особе. Тогда я принялась разглядывать комнату, тоже необъяснимо затронувшую мое воображение.

Подле распятия из старой слоновой кости, украшенного причудливой резьбой, на темно-красном налойчике, как водится, помещались роскошно переплетенный требник и эбеновые четки, а повыше висел портрет, который я уже и прежде заметила, тот самый, что дрогнул, сдвинулся и исчез, впуская духов. Тогда, не разглядев, я приняла было его за образ божьей матери, теперь же, на свету, я увидела, что это женщина в монашеском облачении. Лицо, хоть и некрасивое, было прелестно, бледное, юное лицо, затененное печалью или болезнью. Я уже сказала, что красивым оно не было, да и прелестно оно было скорее беззащитностью и

томной своей покорностью. Но я долго вглядывалась в эти черты и не могла отвести взгляд.

Старик священник, сперва показавшийся мне столь глухим и разбитым, оказывается, еще вполне владел своими органами чувств, ибо, поглощенный книгой, не поднимая глаз и даже, насколько я могла заметить, не поворачивая головы, он заметил, куда направлено мое внимание, и, четко и тихо выговаривая слова, уронил следующие четыре замечания:

— Она была горячо любима.

— Она посвятила себя господу.

— Она умерла молодой.

— Ее все еще помнят, ее оплакивают.

— Кто оплакивает? Эта старушка, мадам Уолревенс? — спросила я, тотчас вообразив, что в безутешном горе кроется причина неприветливости сей почтенной особы.

Смутно улыбнувшись, святой отец покачал головою.

— Нет, какое, — отвечал он. — Как бы ни любила досточтимая дама своих внуков, как бы ни горевала об утрате, но тяжело оплакивает Жюстин Мари до сих пор не кто иной, а суженый ее, которому Судьба, Вера и Смерть втройне отказали в блаженстве союза.

Мне показалось, что он ждет от меня расспросов, а потому я и спросила, кто же это оплакивает Жюстин Мари. В ответ я услышала целую романтическую повесть, рассказанную довольно впечатляюще под рокот стихающей грозы. Правда, признаюсь, она бы меня еще более впечатлила, будь в ней поменьше французских красот, воздыханий в духе Жан-Жака Руссо и смакования частных, зато побольше простоты и безыскусственности. Но преподобный отец, очевидный француз по рождению и воспитанию (я все более убеждалась в сходстве его с моим духовником), был истинный католик; подняв глаза, он вдруг взглянул на меня с коварством, какого едва ли приходилось ожидать от такого старика. И все же, думаю, у него было доброе сердце.

Герой его повести, прежний его ученик, которого именовал он своим благодетелем, любил, оказывается, эту бледную Жюстин Мари, дочь богатых родителей, во времена, когда собственные его виды позволяли выбирать невесту в обеспеченной среде. Но отец его, богатый банкир, разорился и умер, оставя в наследство сыну лишь долги и позор. О Мари ему теперь и думать было нечего. Старая ведьма, которую я видела, мадам Уолревенс, противилась их союзу с той лютостью нрава, которою судьба часто награждает калек. Бедной Мари не достало ни хитрости водить жениха за нос, ни сил остаться ему верной. Она отказала первому

искателю, но, отказавши и второму, с тугим кошельком, ушла в монастырь и там, послушницей, умерла.

Преданное сердце, ее обожавшее, кажется, до сих пор терпело муки, и история этой любви и страданий была преподнесена мне в таких словах, что даже я, ее слушая, растрогалась.

Вскоре после смерти Жюстин Мари ее семья тоже разорилась; отец, известный как ювелир, на самом деле участвовал в биржевых операциях, его втянули в какое-то мошенничество, и оно окончилось разоблачением и крахом. Тоска по упущенным барышам и стыд от бесчестья свели его в могилу. Горбунья-мать и горькая вдова остались без всяких средств, и голодная смерть их ожидала. Однако отвергнутый жених покойной дочери, прослышав об их бедственном положении, с удивительной преданностью поспешил им на выручку. За гордыню и заносчивость он отплатил чистейшей добротой — призрел их, накормил и обласкал, словом, позаботился о них так, как редкий сын мог бы позаботиться. Мать — женщина, в сущности, добрая — умерла, благословляя его; самодурная, безбожная, злая старуха бабка еще живет на его самоотверженном попечении. Ее, сгубившую его надежды, разбившую ему жизнь, одарившую его вечной тоской и унылым одиночеством взамен любви и семейного счастья, он нежит и холит с почтительностью примерного сына к преданной матери. «Он поместил ее в этом доме и, — продолжал священник с неподдельными слезами на глазах, — здесь же дал кров и мне, старому своему наставнику, и Агнессе, престарелой служанке, ухаживавшей за ним еще в детстве. На наше содержание и на другие добрые дела, я знаю, он тратит три четверти своего жалованья, оставляя лишь четверть на хлеб и прочие скромные нужды. Из-за этого он и жениться не может, он посвятил себя господу и ангелу-невесте, будто он сам священник, вроде меня».

Перед тем как заключить свою речь, святой отец утер слезы и, произнося последние слова, на миг украдкой взглянул на меня. Я успела перехватить его взгляд, и значение его меня поразило.

Престранные существа эти католики! Вот вы встречаете одного из них и знаете о нем не более, нежели о последнем перуанском инке или о первом китайском императоре, а он, оказывается, видит вас насквозь; и, оказывается, говорит он вам то или другое неспроста, а вы-то думали, что он невесть почему вдруг пустился в откровенности. И встречаете-то вы его, оказывается, оттого, что так ему нужно, а вовсе не по прихоти случая или по воле неуклонных обстоятельств. Вдруг осенившая мадам Бек мысль о подарке, и поручение к старухе на улицу Волхвов, неожиданное явление

священника на пороге, вмешательство его в намерения желавшей меня прогнать горничной, второй его приход и столь услужливо навязанный мне рассказ по поводу портрета — все эти мелкие происшествия казались случайными и несвязанными; всего лишь рассыпанные, разрозненные бусины. Но вот острый взор иезуитского ока пронзил их все и нанизал, как те лежавшие на налойчике четки. Где же таится запорчик, где замок этой монашеской снизки? Я чуяла связь, но не могла нащупать, в каком она месте.

Раздумья мои не укрылись от подозрительного старца, и он нарушил их ход вежливым вопросом.

— Мадемуазель, — сказал он, — надеюсь, вам недалеко придется идти по этим затопленным улицам.

— Около мили.

— Вы живете, стало быть?..

— На улице Фоссет.

— Но ведь (встрепенувшись) не в пансионе же у мадам Бек?

— Именно там.

— Donc (всплеснув руками) donc vous devez connaitre mon noble eleve, mon Paul?^[398]

— Мосье Поля Эманюеля, преподавателя литературы, профессора?

— Именно его.

Мы оба умолкли. Я вдруг нащупала среди бусин замок. Он уже поддавался под моими пальцами.

— Так вы, значит, говорили про мосье Поля? — тотчас спросила я. — Это он ваш ученик и благодетель мадам Уолревенс?

— Да, и Агнессы, старухи служанки; и сверх того (с явственным нажимом) он был и остается истинным, преданным, постоянным и вечным другом этого небесного ангела — Жюстин Мари!

— Но кто же вы сами, отец мой? — спросила я, и, несмотря на мое нетерпенье, вопрос мой прозвучал почти непринужденно. Я заранее знала, что он ответит.

— Я, дочь моя, отец Силас; тот недостойный сын святой церкви, кого почтили вы некогда трогательной и высокой доверенностью, открыв святыню сердца и глубины духа, который я столь пламенно желал бы наставить на путь истины. С тех пор я ни на день не упускал вас из виду и ни на единый час не терял к вам глубокого интереса. Прошедший выучку в лоне веры католической, возвращенный ею, вдохновленный живительными ее догматами, согретый лишь ею даваемым жаром ревностного служения — уж я-то знаю, чего вы стоите, какой участи достойны, и скорблю, что вы

соделались добычею ереси.

«Ах, вот оно как, — подумалось мне, — неужто и со мной хотят осуществить такое: подвергнуть выучке, взрастить, вдохновить и согреть жаром. Только не это!» Однако вслух я ничего подобного не сказала и произнесла совсем другое.

— Но ведь мосье Поль, кажется, здесь не живет? — только и спросила я, не почтя уместным вступить с ним в богословские прения.

— Нет, он лишь иногда приходит поклониться своему ангелу, исповедаться мне и отдать дань уваженья той, кого он называет своей матерью. Сам он занимает две тесные комнатенки, обходится без прислуги, но не допускает того, чтобы мадам Уолревенс рассталась со своими бесценными украшениями, какие вы на ней видели и какими она тешится с младенческой гордостью, ибо это уборы ее юности и последние остатки бывшего богатства сына ее — ювелира.

— Сколько раз, — тихонько пробормотала я, — этот человек, мосье Эманюель, по пустякам не проявлял должного великодушия и как велика его душа в делах существенных!

Правда, признаюсь, меня пленили великодушием вовсе не исповеди его и не поклоненье «ангелу».

— А когда она умерла? — спросила я, снова окидывая взглядом портрет Жюстин Мари.

— Двадцать лет назад. Она была немного старше мосье Эманюеля, ему ведь совсем недавно минуло сорок.

— И он все еще ее оплакивает?

— Сердце его будет вечно горевать по ней. Главное в натуре Эманюеля постоянство.

Он проговорил это, нажимая на каждый слог.

Но вот сквозь облака прорвалось бледное, жидкое солнце; дождь еще лил, но гроза улеглась; проблистали последние молнии; день клонился к закату, и, чтобы поспеть домой засветло, мне не следовало более задерживаться, а потому я встала, поблагодарила святого отца за его гостеприимство и рассказ и получила в ответ «рах vobiscum»,^[399] произнесенное, к моей радости, с истинным благоволением; зато последовавшая затем загадочная фраза куда менее мне понравилась.

— Дочь моя, вы будете тем, чем вам должно быть.

Это приорицание заставило меня пожать плечами, как только я очутилась за дверью. Немногие знают, наверное, что с ними станет, но, судя по всему уже случившемуся со мною, я предполагала жить далее и умереть трезвой протестанткой; пустота внутри и шумиха вокруг «святой

церкви» весьма умеренно меня привлекали. Я шла домой, погружаясь в глубокие раздумья. Каково бы ни было само католичество, есть добрые католики. Эманюель, кажется, среди них из лучших; затронутый предрассудками и зараженный иезуитством, он способен, однако, к глубокой вере, самоотречению и подвигам благотворительности. Остается только убедиться в том, как обращается Рим с этими качествами: берегает ли во имя их самих и во имя господне, либо обращается с ними как ростовщик, используя для наживы.

Домой я добралась на закате. Я не на шутку проголодалась, а Готонша оставила для меня порцию ужина. Она заманила меня поесть в маленькую комнатку, куда скоро явилась и сама мадам Бек со стаканом вина.

— Ну как? — начала она, усмехаясь. — Как встретила вас мадам Уолревенс? Elle est drôle, n'est-ce pas?^[400]

Я рассказала ей о том, как та меня встретила, и дословно передала ее любезное поручение.

— Oh la singulière petite bossue! — расхохоталась она. — Et figurez-vous qu'elle me deteste, parcequ'elle me croit amoureuse de mon cousin Paul; ce petit devot qui n'ose pas bouger, a moins que son confesseur ne lui donne la permission! Au reste^[401] (продолжала она), если б он уж так хотел жениться, хоть на мне, хоть на ком-то еще — он бы все равно не смог. У него уже и так на руках огромное семейство — матушка Уолревенс, отец Силас, почтенная Агнес и еще без числа всяких оборванцев. Виданное ли дело — вечно взваливать на себя непосильный груз, какие-то нелепые обязанности. Нет, другого такого поискать! А к тому же он носит с романтической идеей о бледной Жюстин Мари, personnage assez naïve a ce que je pense^[402] (так непочтительно высказалась мадам), которая якобы все эти годы пребывает среди ангелов небесных и к которой он намеревается отправиться, освободясь от грешной плоти, pure comme un lis a ce qu'il dit.^[403] Ох, вы бы умерли со смеху, узнай вы хоть десятую долю всех его выходок! Но я мешаю вам подкрепляться, моя милочка, кушайте на здоровье, ешьте ужин, пейте вино, oubliez les anges, les bossues, et surtout, les professeurs — et bon soir!^[404]

Глава XXXV

БРАТСТВО

«Oubliez les professeurs». Так сказала мадам Бек. Мадам Бек, женщине мудрой, лучше б не произносить этих слов. Напрасно дала она мне такой совет. Добро бы ей оставить меня в покое, и я предавалась бы своим мыслям, мирным, безразличным, равнодушным и не связанным с тем лицом, какое она предписывала мне забыть.

Забыть его? Ах! Хитрый же сочинили они способ, как заставить меня забыть его, — умные головы! Они открыли мне, до чего он добр; они сделали моего милого чудака в глазах моих безупречным героем. И еще распространялись о его любви! А я до того дня и не знала, умеет ли он вообще любить!

Я знала его ревность, подозрительность; видела в нем проявления нежности, порывы чувства, мягкость, находившую на него теплой волной, и сострадание, проступавшее в душе его ранней росой и иссушаемое гневливым жаром, — вот и все, что я видела. А эти двое, преподобный отец Силас и мадам Бек (я не сомневалась, что они сговорились), приоткрыли мне святыню его сердца, показали детище его юности, великую любовь, столь крепкую и безграничную, что она насмеялась над самой Смертью, презрела похищение плоти, прикрепилась к бестелесному духу и победно и верно бдит над гробом вот уже двадцать лет.

И то была не праздная, пустая потачка чувствам; он доказал свою преданность, посвятив лучшие порывы души цели самоотреченного служения и жертвуя собою безмерно; он лелеял тех, кем некогда она дорожила, он забыл о мести и взвалил на себя крест.

Что же до Жюстин Мари, я представила ее себе так живо, как если бы видела ее воочию. Я поняла, что она очень мила; таких девушек я то и дело встречала в школе у мадам Бек — флегматических, бледных, тихих, бездейственных и мягкосердечных; глухих ко злу и не согретых огнем добра.

Если она парила на ангельских крылах, я-то знаю, чья поэтическая фантазия ими ее наделила. Если на чело ее падал отблеск божественного нимба, я-то знаю, чей мечтательный взор первым различил над нею это сиянье.

И мне ее бояться? Неужто в портрете бледной мертвой монахини

таится для меня вечная угроза? Но как же быть с благотворительностью, поглощавшею все средства? Как же быть с сердцем, клятвой обреченным на ненарушимую верность усопшей?

Мадам Бек и отец Силас — зачем вы заставили меня биться над этими вопросами? Они обескуражили, озадачили и неотвязно мучили меня. Целую неделю я засыпала по ночам и просыпалась по утрам с этими вопросами. И они смутно тревожили меня даже во сне. И решительно никто не мог мне на них ответить, кроме маленького смуглого человечка в бандитской феске и ветхом и пыльном, выпачканном чернилами сюртучке.

После своего визита на улицу Волхвов я очень хотела его увидеть. Мне сдавалось, что теперь, когда я все знаю, лицо его тотчас приоткроет предомной новую, интересную и ясную страницу; я мечтала по нему удостовериться в странной его приверженности, отыскать следы полурыцарственного, полумолитвенного поклонения, о котором толковал отец Силас. Он стал святым мучеником в моих глазах, и таким мне хотелось теперь его встретить.

Случай не замедлил представиться. На другой же день мне пришлось проверить свои новые впечатления. Да. Я удостоилась свидания со «святым мучеником» — свидания не торжественного, не чувствительного, отнюдь не библейски-возвышенного и весьма оживленного.

Часа в три пополудни мир старшего класса, благополучно водворенный под безмятежным правлением мадам Бек, каковая *in propria persona*^[405] давала один из безупречных своих и весьма поучительных уроков, — этот мир, говорю я, был неожиданно нарушен безумным вторжением сюртучка.

Я сама сохраняла совершенное спокойствие духа. Избавленная от ответственности присутствием мадам Бек, убаюканная мерными переливами ее голоса, наставляемая и услаждаемая ясностью ее объяснений (преподавала она и впрямь хорошо), я рисовала, склоняясь над своим бюро, точнее, копировала затейливую гравированную надпись, уныло доводя мою копию до полной неотличимости от образца, в чем я и полагала задачи искусства. И — странное дело — я извлекала из этих трудов высшее наслаждение и научилась воспроизводить витиеватые китайские письма на стали или меццотинтовых пластинах, создавая произведения, приблизительно столь же ценные, как вязанье, хоть в те времена я очень с ним носилась.

И вдруг — о боже! Рисунки, карандаш — все разом скомкала беспощадная, сокрушающая рука. Самое меня согнали, стряхнули со стула — так раздраженная кухарка выбрасывает из коробочки для специй

завалившийся на дне одинокий и сморщенный миндальный орешек. Бюро и стул разъехались в разные стороны. Я поспешила на выручку своим мебелиам.

Но вот уже и бюро, и меня, и стул водрузили в центре залы — просторного помещения, соседствующего с классом и используемого обыкновенно только для уроков пения и танцев, — и водрузили столь непререкаемо, что и отдаленной надежды не осталось у нас вернуться восвояси.

Едва овладев собой после потрясения, я обнаружила против себя двоих, видимо, я должна сказать — джентльменов, — первого черноволосого, другого светлого; первый был вида сурового, как бы военного, и в сюртуке с галунами, второй небрежной одеждой и развязностью манер скорее походил на поклонника изящных искусств. Оба блистали великолепием усов, бакенбард и эспаньолок. Мосье Эманюель держался от них в некотором отдалении. Лицо его пылало гневом; жестом трибуна он выбросил руку вперед.

— Мадемуазель, — сказал он, — вам должно доказать этим господам, что я не лжец. Соболаговолите ответить, в полную меру способностей ваших на вопросы, какие они вам предложат. Вам придется написать и композицию на ими выбранную тему. Они считают меня бесчестным обманщиком. Якобы я сам пишу эссеи и собственные работы подписываю именами своих воспитанниц и похваляюсь их успехами. Вам должно снять с меня это обвинение.

Grand ciel!^[406] Тщетно избегала я столько времени этого судилища! Оказалось, что двое холеных, усатых, язвительных господ не кто иные, как профессора колледжа, мосье Буассек и Рошморт, педанты, снобы, скептики и насмешники. Мосье Поль опрометчиво показал им один из моих опусов, которого самой мне вовсе не хвалил и вообще не упоминал. Я думала, он про него и забыл. Тот эссеи ничем не был примечателен, он казался примечательным лишь в сопоставлении с обычными изделиями иностранных учениц, в английском заведении его бы и не заметили. Мосье Буассек и Рошморт сочли за нужное подвергнуть сомнению его подлинность и заподозрить подлог. Мне предстояло доказать свое авторство и подвергнуться экзаменационной пытке.

Произошла памятная сцена.

Начали с классиков. Полное неведение. Перешли к французской истории. Я едва сумела отличить Меровея^[407] от Фарамона. Меня пытали множеством «измов», а я в ответ лишь трясла головой либо произносила

неизменное «Je n'en sais rien».^[408]

После красноречивой паузы стали проверять общее мое развитие, затронув одну-две темы, очень мне знакомые, над которыми мне случалось часто размышлять. Мосье Эманюель, дотоле мрачный, как зимнее солнцестояние, слегка повеселел, решив, что наконец-то я покажу себя хотя бы не душой.

Он скоро убедился в своей ошибке. Мысли меня переполняли, но мне не хватало слов. Я не могла или не хотела говорить — сама не пойму, что со мною сделалось, отчасти я разобиделась, отчасти разволновалась.

Я расслышала, как экзаменатор мой — тот, что был в сюртуке с галунами, — обратился к собрату, шепнув ему на ухо:

— Est-elle donc idiote?^[409]

«Да, — подумала я, — она, и точно идиотка и всегда будет идиоткой для таких, как вы».

Но я страдала, страдала жестоко. Я видела, как нахмурился мосье Поль, а в глазах его затаился страстный и горький упрек. Он не поверил в то, что я совершенно лишена здравого смысла, и думал, что я просто заупрямилась.

Наконец, чтобы облегчить душу ему, профессорам и себе самой, я выдавила:

— Господа, лучше вы отпустите меня; проку от меня мало; как вы верно заметили, я идиотка.

Лучше бы мне говорить со спокойным достоинством, а еще бы лучше держать язык за зубами; язык мой — враг мой. Увидев, как судьи победно переглядываются, а потом казнят взорами мосье Поля, услышав предательскую дрожь в собственном голосе, я бросилась к дверям и разразилась слезами. Я испытывала не столько горечь, сколько гнев. Будь я мужчиной, я тотчас вызвала бы этих двоих! Таковы были мои чувства, но я ни за что бы их не выдала!

Невежды! Неужто они сразу не распознали в моем опусе робкую руку ученицы! Тема была классическая. Трактат, который диктовал мосье Поль и который следовало использовать для рассуждений, я услышала впервые. В нем все было для меня ново, и я не сразу поняла, как подступиться к работе. Но потом я обложила себя книгами, набралась оттуда фактов, кропотливо собрала скелет из их сухих костей, а потом уж одела их плотью и постаралась вдохнуть жизнь в образовавшееся тело и в этой последней задаче нашла удовлетворение. Выискивая, отбирая и сочленяя факты, я совсем измучилась. Я не находила отдыха, пока не убедилась в

правильности этой анатомии. Отвращение мое к подтасовкам и натяжкам уберегло меня от грубых огрехов; но знания мои не были прочными, заботливо собранными и сохраняемыми — лишь к случаю схваченные сведения. Господа Буассек и Рошморт этого не раскусили. И приняли мою работу за труд зрелого ученого.

Но они не захотели меня отпустить, заставили сесть и писать тут же, при них. Дрожащей рукой я обмакнула перо в чернильницу и взглянула на расплывающийся перед глазами белый лист, а один из судий принялся лицемерно извиняться.

— Nous agissons dans l'interet de la verite. Nous ne voulons pas vous blesser, ^[410] — сказал он.

Презрение придало мне смелости. Я ответила только:

— Диктуйте, мосье.

И Рошморт объявил тему: «Человеческая справедливость».

Справедливость! Что тут было делать? Холодная, голая отвлеченность не вызвала в уме моем никаких идей, а рядом стоял мосье Эманюель, печальный, как Саул, и неумолимый, как Иоав, ^[411] и гонители его торжествовали.

Я посмотрела на этих двоих. Я собиралась с духом сказать им, что ни говорить, ни писать на такую тему я не стану, что тема мне не подходит, а присутствие их меня не вдохновляет, что, однако, всякий, кто усомнится в чести мосье Эманюеля, оскорбляет ту самую истину, поборниками которой они оба только что назвались. Я собиралась все это им выложить, как вдруг внезапное воспоминание меня осенило.

Два лица, выглядывавшие из густых зарослей волос, усов и бакенбард, два лица, холодных и наглых, сомнительных и самонадеянных, — были те самые лица, которые в смутном свете газовых фонарей чуть не до смерти меня напугали в ночь моего невеселого прибытия в Виллет. Я готова была поклясться, что эти самые два героя прогнали тогда через целый квартал несчастную бездомную иностранку.

«Благостные наставники! — подумала я. — Чистые учителя юности! Если б подлинная «Человеческая справедливость» распорядилась вами, вряд ли вам удалось бы занять нынешние ваши места и пользоваться доверием сограждан».

Осененная этой мыслью, я взялась за работу. «Человеческая справедливость» предстала предо мной краснорожей, подбоченившейся каргою. Я увидела ее у нее в доме, пристанище беспорядка: слуги ждали ее указаний или помощи, она же молчала; нищие стояли при дверях, она их не

замечала; множество детей, больных и плачущих, ползали у ее ног и просили накормить их, обогреть и утешить. Добрая женщина не замечала ничего. Она уютно сидела у камелька, с удовольствием потягивала трубочку и живительную влагу из бутылки. Пила, курила и пребывала в раю. А если кто-нибудь из несчастных уж очень назойливо надсаживался в крике, милая дама хваталась за кочергу. Если оплошавший проситель оказывался слабым, больным, убогим, она быстро с ним управлялась. Если же он был сильный, дерзкий, настойчивый, она только грозила кочергой, а потом запускала руку в карман и щедро осыпала невежд леденцами.

Такой набросок «Человеческой справедливости» я наскоро составила и отдала на суд мосье Буассека и мосье Рошморта. Мосье Эманюель прочел сочинение из-за моего плеча. Не ожидая отзывов, я поклонилась всем троим и вышла за дверь.

После занятий мы снова встретились с мосье Полем. Разговор сперва был не из приятных, пришлось выяснять отношения, не очень-то легко сразу выбросить из головы такой насильственный экзамен. Перепалка кончилась тем, что он назвал меня «une petite moqueuse et sans-cœur»^[412] и удалился.

Я не хотела, чтоб он уходил совсем, я желала только, чтобы он почувствовал, что происшествия, подобные сегодняшнему, не вызывают во мне живой благодарности, а потому я обрадовалась, увидев, как он возится в саду. Вот он подошел к стеклянной двери. Я тоже подошла. Поговорили о растущих вблизи цветах. Наконец, мосье отложил лопату. Потом возобновил беседу, поговорил о том о сем и перешел к вещам, для меня интересным.

Понимая, что нынче он заслужил обвинения в несдержанности, мосье Поль чуть ли не извинялся. Он чуть ли не раскаивался во всегдашней своей вспыльчивости, но намекнул на то, что заслуживает снисхождения.

— Правда, — сказал он, — от вас я вряд ли могу его ожидать, мисс Люси. Вы не знаете ни меня, ни положения моего, ни моей истории.

Его история. Я тотчас ухватилась за это слово и принялась развивать идею.

— Нет, мосье, — возразила я. — Разумеется, как говорите вы, я не знаю ни истории вашей, ни ваших жертв, ни ваших печалей, испытаний и привязанностей. Ах нет! Я ничего о вас не знаю. Вы для меня совершенный незнакомец.

— Nein?^[413] — пробормотал он, удивленно подняв брови.

— Знаете, мосье, я ведь вижу вас только в классе — строгим,

требовательным, придирчивым, повелительным. В городе я слышу о вас, как о человеке решительном и своевольном, скором на выдумку, склонном руководить, недоступном убеждению. Вы ничем не связаны, значит, и душа ваша свободна. На шее у вас нет никакой обузы, стало быть, и обязанности вас не тяготят. Мы все, с кем вы сталкиваетесь, для вас лишь машины, и вы швыряете нас туда-сюда, не спрашивая наших пожеланий. Отдыхать вы любите на людях, в ярком свете свечей. Эта школа и тот колледж — фабрика для вас, где вы обрабатываете сырье, называемое учениками. Я не знаю даже, где вы живете. Можно легко предположить, что у вас вовсе нет дома и вы в нем не нуждаетесь.

— Таков ваш приговор, — сказал он. — Я не ожидал иного. Я для вас и не христианин и не мужчина. Вы полагаете меня лишенным религии и привязанностей, свободным от семьи и от друзей, не руководимым ни верой, ни правилами. Что ж, хорошо, мадемуазель. Такова наша награда на земле.

— Вы философ, мосье, и притом из циников (тут я бросила взгляд на его сюртучок, и он тотчас принялся отряхивать ветхий рукав), ибо презираете слабости человечества, особенно стремление к роскоши, и обходитесь без ее утех.

— Et vous, Mademoiselle? Vous etes proprette et douillette, et affreusement insensible, par-dessus le marche.^[414]

— Но ведь должны же вы где-нибудь жить, мосье? Скажите мне, где вы живете? И какой содержите вы штат прислуги?

Отчаянно выпятив нижнюю губу и тем выражая наивысшее презрение к моему вопросу, он выпалил:

— Je vis dans un trou!^[415] Я живу в берлоге, мисс, в пещере, куда вы и носика своего не сунете. Однажды, позорно постыдясь истины, я говорил вам о каком-то своем «кабинете». Так знайте же, у меня нет иного обиталища, кроме этого кабинета. Там и гостиная моя и спальня. Что же касается до «штата прислуги» (подражая моему голосу), слуг у меня числом десять. Les voila.^[416]

И он, поднеся их к самым моим глазам, мрачно расправил обе свои пятерни.

— Я сам чищу себе башмаки, — продолжал он свирепо. — Я сам чищу сюртук...

— Нет, мосье, чего вы не делаете, того не делаете, — в скобках заметила я. — Это слишком очевидно.

— Je fais mon lit et mon menage;^[417] я добываю себе обед в ресторане;

ужин мой сам о себе печется; дни мои полны трудов и не согреты любовью, длинны и одиноки мои ночи. Я свиреп, бородат, я монах. И ни одна живая душа на всем белом свете не любит меня, разве старые сердца, усталые, подобно моему собственному, да еще несколько существ, бедных, страждущих, нищих и духом и кошельком, не принадлежащих миру сему, но которым, не будем спорить с Писанием, завещано царствие небесное. [\[418\]](#)

— Ах, мосье, я же знаю!

— Что знаете вы? Многое, истинно верю, но только не меня, Люси!

— Я знаю, что в Нижнем городе у вас есть милый старый дом подле милого старого сквера — отчего вам там не жить?

— Nein? — пробормотал он снова.

— Мне там очень понравилось, мосье. Крылечко, серые плиты перед ним и позади деревья — настоящие, не кустики какие-то — темные, высокие, старые. Будуар один чего стоит! Эту комнату вам следует сделать своим кабинетом. Там так торжественно и покойно.

Он возвел на меня взгляд, слегка покраснел и усмехнулся.

— Откуда вы знаете? Кто вам рассказал? — спросил он.

— Никто не рассказывал. Как вы думаете, мосье, быть может, мне это приснилось?

— Откуда же мне догадаться? Разве могу я проникнуть в сны женщины, а тем паче в грезы наяву?

— Пусть это мне приснилось, но тогда мне приснились и люди, не только дом. Я видела священника, старого, согбенного, седого, и служанку — тоже старую и нарядную, и даму, великолепную, но странную, ростом она мне едва ли по плечо, а роскоши ее достало бы выкупить князя. Платье на ней сверкало лазурью, шаль стоила тысячу франков, я сроду не видывала эдаких узоров; зато самое ее будто сломали надвое и снова сложили. Она будто давно пережила отпущенный ей срок, и ей остались одни лишь труды и скорби. Она стала неприветливой, почти злобной. И кто-то, кажется, взялся покоить ее старость, кто-то отпустил ей долги ее, яко же и ему отпустятся долги его. [\[419\]](#) Эти трое поселились вместе, госпожа, священник и служанка, — все старые, все слабые, все они пригрелись под одним теплым крылышком.

Он прикрыл рукой глаза и лоб, но губы были видны, и на них играло то выражение, которое я любила.

— Я вижу, вы выведали мои секреты, — сказал он. — Но каким же образом?

И я ему про все рассказала — про поручение мадам Бек, про

задержавшую меня грозу, неприветливость хозяйки и любезность священника.

— Покуда я пережидала дождь, отец Силас помог мне коротать время своей повестью, — сказала я.

— Повестью? О чем вы? Отец Силас вовсе не сочинитель.

— Вам ее пересказать?

— Да. Начинайте с самого начала. Дайте-ка я послушаю французскую речь мисс Люси — можете стараться, можете и не очень, мне не важно, — все равно вы не скупясь уснастите ее варварскими оборотами и щедро приправите островными интонациями.

— Вам не придется насладиться всей пространной повестью и зрелищем рассказчика, увязнувшего на полуслове. Но извольте название — «Ученик священника».

— Ба! — воскликнул он, и смуглый румянец снова залил его щеки. — Худшей темы добрый старик подыскать не мог. Это его слабое место. Так что же «ученик священника»?

— О! Чего я только про него не услышала!

— Хотелось бы знать, что именно.

— Ну, про юность ученика и зрелые годы, про скупость его, неблагодарность, черствость, непостоянство. Ох, мосье, какой он скверный, плохой, этот ученик! Жестокий, злопамятный, мстительный, себялюбивый!

— Et puis?^[420] — спросил он, берясь за сигару.

— Et puis, — подхватила я, — претерпел бедствия, которым никто не сочувствовал, сносил их так, что ни в ком не вызывал уважения, страдал от обид так, что никто его не жалел, и, наконец, осыпал своего врага горящими угольями.

— Вы не все мне передали, — сказал он.

— Почти все, кажется. Я назвала вам главы повести.

— Одну вы забыли — ту, где шла речь об отсутствии в нем нежных привязанностей, о его черством, холодном, иноческом сердце.

— Верно. Теперь припоминаю. Отец Силас, и точно, сказал, что призвание его почти духовное, что жизнь его посвящена служению.

— Каким богам?

— Узам прошедшего и добрым делам в настоящем.

— Значит, вы знаете все?

— Вот я и рассказала вам все, что было мне рассказано.

Несколько минут мы оба молчали.

— А теперь, мадемуазель Люси, посмотрите на меня и отвечайте по правде, от которой вы никогда, я знаю, нарочно не отступите, на один

вопрос. Поднимите-ка глаза, смотрите мне в зрачки. Не смущайтесь. Не бойтесь довериться мне, мне можно верить.

Я подняла взгляд.

— Теперь вы знаете меня всего, все мое прошлое, все мои обязанности — а слабости мои вы знали и раньше. Так можем ли мы остаться друзьями?

— Если мосье угодно иметь во мне друга, и я буду рада приобрести друга в нем.

— Нет, но друга близкого, истинного, преданного, человека родного, разве не по крови. Угодно ли мисс Люси быть сестрою бедняка, скованного, спутанного по рукам и ногам?

Я не нашла слов для ответа, но он понял меня и без слов и укрыл мою руку в своих. Его дружба не была тем сомнительным, неверным благом, смутной, шаткой надеждой, призрачным чувством, которое рассыпается от легкого дуновения. Я тотчас ощутила (или это мне только показалось) опору ее, твердую, как скала.

— Когда я говорю о дружбе, я имею в виду дружбу настоящую, — повторил он убежденно; и я едва поверила, что столь серьезные речи коснулись моего слуха; я едва поверила, что мне не снится этот нежный, встревоженный взор. Если и впрямь он ищет во мне доверенности и внимания и в ответ предлагает мне то же, мне не надо от жизни больших и лучших даров. Стало быть, я сделалась богатой и сильной; меня осчастливили. Чтобы в том удостовериться, утвердиться, я спросила:

— Серьезно ли вы говорите, мосье? Серьезно ли вы полагаете, что нуждаетесь во мне и хотите видеть во мне сестру?

— Разумеется, — сказал он. — Почему бы одиночке, вроде меня, не радоваться, если он найдет, наконец, в сердце женщины чистую сестринскую привязанность?

— И я могу рассчитывать на ваше внимание? Могу говорить с вами, когда мне вздумается?

— Попробуйте сами в этом убедиться, сестричка. Я не даю никаких обещаний. Наставляйте, муштруйте своего несносного братца, пока не добьетесь от него всего, чего хотите. Кое-кому удавалось с ним сладить.

Покуда он говорил, звук его голоса и его ласковый взгляд доставляли мне такую радость, какой я прежде не испытывала. Я не завидовала ни одной девушке, счастливой в своем возлюбленном, ни одной невесте, счастливой в женихе, ни жене, счастливой в муже. Мне довольно было его добровольной, щедро предлагаемой дружбы. Если только на него можно положиться (а мне так казалось), чего мне еще желать? Но если все развееется, как сон и как уже было однажды?..

— Qu'est-ce donc? Что с вами? — спросил он, прочтя на лице моем отражение этой тайной заботы. Я ему в ней призналась. И после минутного молчания он задумчиво улыбнулся и открыл мне, что подобный же страх — как бы я не наскучила им из-за вспыльчивого, несносного его нрава — преследовал его не один день и даже не один месяц.

От этих слов я совсем приободрилась. Я осмелилась его успокоить. Он не только допустил эти уверения, но попросил их повторить. Я испытывала радость, странную радость, видя его утешенным, довольным, спокойным. Вчера еще я не поверила бы, что жизнь может подарить мне такие мгновения. Сколько раз судьба судила мне видеть исполнение самых печальных моих ожиданий. Но наблюдать, как нежданная, нечаянная радость близится, воплощается, сбывается в мгновение ока, мне не приходилось еще никогда.

— Люси, — спросил мосье Поль тихим голосом, не выпуская моей руки, видели вы портрет в будуаре старого дома?

— Да. Писанный прямо на стене.

— Портрет монахини?

— Да.

— Слышали вы ее историю?

— Да.

— А помните, что мы с вами видели тогда вместе в саду?

— Никогда этого не забуду.

— А вы не находите между ними связи? Или это, по-вашему, безумие?

— Я вспомнила привидение, взглянув на портрет, — сказала я. И не солгала.

— И вы не вообразили, надеюсь, — продолжал он, — будто святая на небесах тревожит себя земным соперничеством? Протестанты редко бывают суеверны; вы-то не станете предаваться столь мрачным фантазиям?

— Я уж и не знаю, что думать; но, полагаю, в один прекрасный день этим чудесам сыщется вполне естественное объяснение.

— Истинно так. К тому же зачем доброй женщине, а тем более чистому, блаженному духу мешать дружбе, подобной нашей?

Не успела я еще найтись с ответом, к нам влетела розовая и стремительная Фифина Бек, возгласив, что меня зовут. Мать ее собралась навестить некое английское семейство и нуждалась в моих услугах переводчицы. Вторжение оказалось ко времени. «Довлеет дневи злоба его». [\[421\]](#) Этому дню довлело добро. Жаль только, я не успела спросить мосье Поля, родились ли те «мрачные фантазии», против которых он меня предостерегал, в собственной его голове.

Глава XXXVI

ЯБЛОКО РАЗДОРА

Не одно только вторжение Фифины Бек мешало нам тотчас скрепить дружеский договор. За нами надзидало недреманное око: католическая церковь ревниво следила за своим сыном сквозь оконце, подле которого я однажды преклоняла колени и к которому все более тянуло мосье Эмануэля — сквозь оконце исповедальни.

«Отчего тебе так захотелось подружиться с мосье Полем? — спросит читатель. — Разве не стал он уже давно твоим другом? И разве не доказывал он уже столько раз своего к тебе пристрастия?»

Да, он давно стал моим другом; и однако ж, как отратно мне было слышать серьезные его заверения, что он друг мой, близкий и истинный; как отратно мне было, когда он открыл мне робкие свои сомнения, нежную преданность и надежды своей души. Он назвал меня «сестрой». Что же, пусть зовет меня, как ему вздумается, лишь бы он мне доверял. Я готова была стать ему сестрой, но с условием, чтобы он не связывал меня этим родством еще и с будущей своей женою; правда, благодаря его тайному обету безбрачия, такая опасность едва ли мне угрожала.

Всю ночь я раздумывала о вечернем разговоре. Я не сомкнула глаз до рассвета. А потом с трудом дождалась звонка; утренние молитвы и завтрак показали мне томительно долгими, и часы уныло влеклись, покуда не пробил тот, что возвестил об уроке литературы. Мне не терпелось убедиться в том, насколько крепки узы нового братского союза; узнать, по-братски ли станет он теперь со мной обращаться; проверить, сестринское ли у меня у самой к нему отношение, удостовериться, сумеем ли мы с ним теперь беседовать открыто и свободно, как подобает брату с сестрой.

Он явился. Так уж устроена жизнь, что ничего в ней заранее не предскажешь. Во весь день он ни разу ко мне не обратился. Урок он вел спокойней, уверенней, но и мягче обычного. Он был отечески добр к ученицам, но он не был братски добр ко мне. Когда он выходил из класса, я ждала хоть прощальной улыбки, если не слова, но и той не дождалась — на мою долю достался лишь поклон — робкий, поспешный.

Это случайность, он не нарочно от меня отдалился, — уговаривала я себя; терпение — и это пройдет. Но ничего не проходило, дни шли, а он держался со мною все отчужденней. Я боролась с недоумением и другими

обуревавшими меня чувствами.

Да, я спрашивала его, смогу ли я на него положиться, да, он, разумеется, зная себя, удержался от обещаний, но что из того? Правда, он предлагал мне мучить его, испытывать его терпение. Совет невыполнимый! Пустая, ненужная честь! Пусть другие пользуются подобными приемами! Я к ним не прибегну, они мне не по нутру. Когда меня отталкивают, я отдаляюсь, когда меня забывают, я ни взглядом, ни словом не стану о себе напоминать. Верно, я сама что-то неправильно поняла, и мне требовалось время, чтобы во всем разобраться.

Но вот настал день, когда ему предстояло, как обычно, заниматься со мною. Один из семи вечеров он великодушно пожаловал мне, и мы с ним всегда разбирали все уроки прошедшей недели и готовились к занятиям на будущую. Занимались мы где придется, либо в том же помещении, где случались ученицы и классные дамы, либо рядом, и чаще всего отыскивали во втором отделении уютный уголок, где наставницы, распрощавшись до утра с шумливыми приходящими, беседовали с пансионерками.

В назначенный вечер пробил назначенный час, и я собрала тетради, книжки, чернильницу и отправилась в просторный класс.

В классе не было ни души и царила прохладная тень; но через отворенную дверь видно было саге, полное света и оживления; всех и вся заливало красное закатное солнце. Оно так ярко алело, что разноцветные стены и оттенки платьев слились в одно теплое сияние. Девочки сидели кто над книжкой, кто над шитьем; посреди их кружка стоял мосье Эманюель и добродушно разговаривал с классной дамой. Темный сюртучок и черные волосы словно подпалил багряный луч; на испанском лице его, повернутом к солнцу, в ответ на нежный поцелуй светила отобразилась нежная улыбка. Я села за стол.

Апельсинные деревья и прочая изобильная растительность, вся в цвету, тоже нежились в щедрых веселых лучах; целый день они ими упивались, а теперь жаждали влаги. Мосье Эманюель любил возиться в саду; он умел ухаживать за растениями. Я считала, что, орудуя лопатой и таская лейку с водой, он отдыхает от волнений; он нередко прибегал к такому отдыху; вот и теперь он оглядел апельсинные деревья, герани, пышные кактусы и решил утолить их жажду. В зубах его меж тем торчала драгоценная сигара — первейший (для него) и необходимейший предмет роскоши; голубые кудерьки дыма весьма живописно клубились среди цветов. К ученицам и наставнице он более не обращал ни слова, зато очень внимательно беседовал с миловидной спаниелицей (если позволительна такая форма слова), якобы принадлежащей всему дому, на деле же только

его избравшей своим хозяином. Изящная, шелковистая, ласковая и хорошенькая сучка трусила у его ног и преданно заглядывала ему в лицо; и когда он нарочно ронял феску или платок, она тотчас усаживалась их караулить с важностью льва, охраняющего государственный флаг.

Сад был велик, любитель-садовник таскал воду из колодца своими руками, и потому поливка отняла немалое время. Снова пробили большие школьные часы. Еще час прошел. Последние лучи солнца поблекли. День угасал. Я поняла, что нынешний урок будет недолог; однако апельсиновые деревья, кактусы и герани свое уже получили. Когда же придет моя очередь?

Увы! В саду оставалось еще кое за чем приглядеть — любимые розовые кусты, редкостные цветы; веселое таяканье Сильвии понеслось вслед удаляющемуся сюртучку. Я сложила часть книг; они мне сегодня не все понадобятся; я сидела и ждала и невольно заклинала неотвратимые сумерки, чтоб они подольше не наступали.

Снова показалась весело скачущая Сильвия, сопровождающая сюртучок; лейка поставлена у колодца; она на сегодня отслужила свое; как же я обрадовалась! Мосье вымыл руки над каменной чашей. Для урока не осталось времени; вот-вот прозвонит колокол к вечерней молитве; но мы хоть встретимся; мы поговорим; я смогу в глазах его прочесть разгадку его уклончивости. Закончив омовения, он медленно поправил манжеты, полюбовался на рожок молодого месяца, бледный на светлом небе и чуть мерцающий из-за эркера Иоанна Крестителя. Сильвия задумчиво наблюдала за мосье Полем; ее раздражало его молчание; она прыгала и скулила, чтобы вывести его из задумчивости. Наконец он взглянул на нее.

— *Petit exigeante*, ^[422] — сказал он, — о тебе ни на минуту нельзя забыть.

Он нагнулся, взял ее на руки и пошел по двору чуть не рядом с моим окном; он брел медленно, прижимая собачонку к груди и нашептывая ей ласковые слова; у главного входа он оглянулся; еще раз посмотрел на месяц, на серый собор, на дальние шпили и крыши, тонущие в синем море ночного тумана; вдохнул сладкий вечерний дух и заметил, что цветы в саду закрылись на ночь; его живой взор окинул белый фасад классов, скользнул по окнам. Может статья, он и поклонился, не знаю; во всяком случае, я не успела ответить на его поклон. Он тотчас скрылся; одни лишь ступени главного входа остались безмолвно белеть в лунном свете.

Собрав все, что разложила на столе, я водворила ненужную кипу на место. Зазвонили к вечерней молитве; я поспешила откликнуться на этот призыв.

Завтра на улице Фоссет его ожидать не следовало; то был день, всецело посвященный колледжу. Кое-как я одолела часы классов; я ждала вечера и вооружилась против неизбежной вечерней тоски. Я не знала, что томительней оставаться в кругу ближних или уединиться; и все же избрала последнее; никто в этом доме не мог подарить развлечение моему уму и отраду сердцу; а за моим бюро, быть может, меня и ждало утешение — кто знает, вдруг оно гнездится где-то между книжных страниц, дрожит на кончике пера, прячется у меня в чернильнице. С тяжелой душой подняла я крышку бюро и принялась скучливо перебирать бумаги.

Один за другим перебирала я знакомые тома в привычных обложках и снова клала на место: они не привлекали меня, не могли утешить. Да, но это что за лиловая книжица, никак, новое что-то? Я ее прежде не видывала, а ведь только сегодня разбирала свои бумаги; верно, она появилась здесь, пока я ужинала.

Я открыла книжицу. Что такое? К чему она мне?

Оказалось, это не рассказ, не стихи, не эссей и не историческая повесть; нечто не для услады слуха, не для упражнения ума и не для пополнения знаний. То был богословский трактат, и назначался он для наставления и убеждения.

Я тотчас принялась за книжицу, ибо маленькая, но не без обаяния, она сразу меня захватила. То была проповедь католицизма; цель ее была обратить. Голос книжицы был голос медовый; она вкрадчиво, благостно увещевала, уещала. Ничто в ней не напоминало мощных католических громов, грозных проклятий. Протестанту предлагалось обратиться в католичество не ради страха перед адом, ждущим неверных, а ради благих утешений, предлагаемых святой церковью; вовсе не в правилах ее грозить и принуждать; она призвана учить и побеждать. Святая церковь — и вдруг кого-то преследовать, наказывать? Никогда! Ни под каким видом!

Жиденьякая книжица вовсе не предназначалась суетным и злым; то не была даже простая грубая пища для здорового желудка; нет, сладчайшее грудное молочко, нежнейшее излияние материнской любви на слабого младенца; тут царили доводы сердца, не рассудка; нежных побеждали нежностью, сострадательных — состраданием; сам святой Венсен де Поль ^[423] не так ласково беседовал с сиротками.

Помнится, в качестве одного из главных доводов в пользу отступничества приводилось то соображение, что католик, утративший близких, может черпать невыразимую отраду, вымаливая их душам выход из чистилища. Автор не посягал на безмятежный покой тех, кто в чистилище вообще не верит; но я подумала о них и нашла их взгляды куда

более утешительными.

Книжица развлекала и нисколько не покорила меня. Ловкая, чувствительная, неглубокая книжица — но отчего-то она развеяла мою тоску и вызвала улыбку; меня позабавили резвые прыжки неуклюжего волчонка, прячущегося в овечьей шкуре и подражающего бляению невинного агнца. Кое-какие пассажи напомнили мне методистские трактаты последователей Уэсли,^[424] читанные мною в детстве; они отдавали тем же ухищренным подстрекательством к фанатизму. Написал эту книгу человек неплохой, хоть в нем замечался опыт лукавства (католицизм показывал свои когти), и я не спешила обвинять его в неискренности. Выводы его, однако ж, нуждались в подпорках; они были шатки.

Я усмехнулась про себя материнской нежности, которую столь изобильно расточала дебелая старая дама с Семи Холмов;^[425] улыбнулась, когда подумала, сколь я не склонна, а быть может, и неспособна достойно ее воспринять. Потом я взглянула на титульный лист и обнаружила на нем имя отца Силаса. И тут же мелкими четкими буковками знакомой рукой было начертано «От П.К.Д.Э. — Л... и». И заметив эти буковки, я расхохоталась. Все разом переменилось. Я точно заново родилась на свет.

Вдруг развеялись мрачные тучи; загадка Сфинкса решила сама собою; в сопоставлении двух имен — отца Силаса и Поля Эманюеля таился ответ на все вопросы. Кающийся грешник побывал у своего наставника; ему ничего не дали скрыть; заставили открыть душу без малейшей утайки; вырвали у него дословный пересказ нашей последней беседы; он поведал о братском договоре, о приемной сестре. Как могла церковь скрепить подобный договор, подобное родство! Братский союз с заблудшей? Я так и слышала голос отца Силаса, отменяющего неправый союз, остерегающего своего духовного сына от опасностей, какие сулила ему такая связь; разумеется, он пустил в ход всевозможные средства, уговаривал, молил, нет, заклинал памятью всего, что было у мосье Эманюеля дорогого и святого, восстать против ереси, проникшей в мою плоть и кровь.

Кажется, предположения не из приятных; однако приятней того, что представлялось раньше моему воображению. Лучше уж призрак этого строгого баламута, чем внезапная перемена в чувствах самого мосье Поля.

Теперь, когда столько времени прошло, я уже не могу с уверенностью сказать, созрели ли эти умозаключения тотчас или еще ждали подтверждения. Оно не замедлило явиться.

В тот вечер не было яркого заката; запад и восток слились в одну серую тучу; даль не сияла голубой дымкой, не светилась розовыми отблесками; липкий туман поднялся с болот и окутал Виллет. Нынче лейка могла спокойно отдыхать подле колодца; весь вечер сыпался дождичек, и теперь еще скучно, упорно лило. В такую погоду вряд ли кому придет охота слоняться под мокрыми деревьями по мокрой траве; поэтому тьяканье Сильвии в саду — приветственное тьяканье — меня удивило. Разумеется, она бегала одна; но такой радостный, бодрый лай она издавала обычно, лишь с кем-нибудь здороваясь.

Сквозь стеклянную дверь и *berceau* мне далеко открывалась *allée défendue*: туда-то, ярким пятном мелькая в седом дожде, и устремилась Сильвия. Она бегала взад-вперед, повизгивала, прыгала и вспугивала птиц на кустах; пять минут я смотрела на нее, за ее приветствиями ничего не последовало; я вернулась к своим книгам; Сильвия вдруг умолкла. Снова я подняла глаза. Она стояла совсем близко, изо всех сил махала пушистым белым хвостиком и пристально следила за неутомимой лопатой. Мосье Эманюель, склоняясь долу, рыл мокрую землю под капающим кустом, так истово, будто зарабатывал хлеб насущный в буквальном смысле слова в поте лица своего.

За этим я угадала совершенное смятение. Так он в самый холодный зимний день вскапывал бы снеговой наст под влиянием душевного расстройства, волнения или печального недовольства самим собою. Он мог копать часами, сжав зубы, наморща лоб, не поднимая головы и даже взгляда.

Сильвия следила за работой, пока ей не надоело. Потом она снова принялась скакать, бегать, обнюхивать все кругом; вот она обнаружила меня в классе. Тотчас она принялась лаять под окном, призывая меня разделить то ли ее удовольствие, то ли труды хозяина; она видела, как мы с мосье Полем прогуливались по этой аллее, и, верно, считала, что мой долг — выйти сейчас к нему, несмотря на сырость.

Она заливалась таким громким, пронзительным лаем, что мосье Поль наконец принужден был поднять глаза и обнаружить, к кому относились ее убеждения. Он засвистел, подзывая ее к себе; она только громче залаяла. Она настаивала на том, чтобы стеклянную дверь отворили. Наскучив ее назойливостью, он отбросил, наконец, лопату, подошел и распахнул дверь. Сильвия опрометью кинулась в комнату, вскочила ко мне на колени, в одно мгновение облизала мне нос, глаза и щеки, а пушистый хвостик так и колотил по столу, разбрасывая мои книги и бумаги.

Мосье Эманюель подошел, чтобы унять ее и устранить беспорядок.

Собрав книги, он схватил Сильвию, сунул к себе за пазуху, и она тотчас затихла у него под сюртучком, высунув оттуда только мордочку. Она была крошечная, и физиономия у нее была прехорошенькая, шелковые, длинные уши и прелестные карие глаза — красивейшая сучка на свете. Всякий раз, как я ее видела, я вспоминала Полину де Бассомпьер; да простит мне читатель это сравнение, но ей богу же, оно не натянуто.

Мосье Поль гладил ее и трепал по шерстке; она привыкла к ласкам; красота ее и резвость нрава во всех вызывали нежность.

Он ласкал собачку, а глаза его так и рыскали по моим бумагам и книгам; от они остановились на религиозном трактате. Губы мосье Поля шевельнулись; на языке у него, конечно, вертелся вопрос, но он промолчал. Что такое? Уж не дал ли он обещание никогда более ко мне не обращаться? Ежели так, он, видимо, счел что сей обет «похвальнее нарушить, чем блюсти», ^[426] ибо молчал он недолго.

— Вы покуда не прочитали эту книжку, я полагаю? — спросил он. — Она не заинтересовала вас?

Я отвечала, что ее прочла.

Он, кажется, выжидал, чтобы я сама, без его расспросов, высказала свое суждение. Но без расспросов мне не хотелось вообще ничего говорить. Пусть на уступки и компромиссы идет верный ученик отца Силаса, я же к ним не расположена. Он возвел на меня ласковый взгляд: в синих глазах его была нежность, искательность и даже немного душевной боли; они отражали разные, несколько противоречивые чувства — укоризну и муки совести. Верно, ему хотелось бы и во мне заметить душевное волнение. Я решила его не показывать. Через минуту, конечно, смущение бы меня одолело, но я вовремя спохватилась, взяла в руки гусиные перья и принялась их чинить.

Я так и знала, что это занятие мое тотчас придаст его мыслям иное направление. Ему не нравилось, как я чиню перья; ножик у меня вечно был тупой, руки неловки; перья ломались и портились. Сейчас я порезала палец отчасти нарочно. Мне хотелось, чтобы мосье Поль пришел в себя, в обычное свое расположение духа, чтобы он снова мог меня распекать.

— Maladroit! ^[427] — наконец-то закричал он. — Эдак она все руки себе искромсает.

Он спустил Сильвию на пол и определил ее караулить феску, отнял у меня ножик и перья и сам принялся их чинить, вострить, обтачивать с точностью и проворством машины.

— Понравилась ли мне книга? — был его вопрос.

Я подавила зевок и отвечала, что сама не знаю.

— Но тронула ли она меня?

— Пожалуй, скорее нагнала сон.

Он помолчал немного, а потом началось:

— Напрасно я избрала с ним эдакий тон. При всех моих недостатках — а ему не хотелось бы их разом перечислять — господь и природа подарили мне «trop de sensibilité et de sympathie»,^[428] чтобы меня не тронуло убеждение столь доходчивое.

— Будто бы! — отвечала я, поспешно поднимаясь с места. — Нет, оно нисколько, ни на йоту не тронуло меня.

И в подтверждение своих слов я вынула из кармашка носовой платок, совершенно сухой и аккуратно заглаженный. Далее последовало внушение, скорее едкое, чем вежливое. Я слушала во все уши. После двух дней нелепого молчания воркотня мосье Поля в обычном его тоне казалась мне слаще музыки. Я слушала его, теша себя и Сильвию шоколадными конфетами из бомбоньерки, никогда не иссякавшими благодаря заботам мосье Поля. Он с удовольствием заметил, что хоть какие-то его дары оценены по заслугам. Он поглядел, как лакомимся мы с собачкой, и отложил ножик, коснулся моей руки пучком отточенных перьев и сказал:

— Dites donc petite soeur,^[429] скажите откровенно, что передумали вы обо мне за последние два дня?

Но тут я сделала вид, будто не замечаю вопроса; глаза мои наполнились слезами. Я прилежно гладила Сильвию. Мосье Поль наклонился ко мне через стол.

— Я себя называл вашим братом, — сказал он. — А я и сам не знаю, кто я вам — брат, друг... нет, не знаю. Я думаю о вас, я желаю вам добра, но сам же себя останавливаю: как бы вы не испугались. Лучшие друзья мои чуют опасность и предостерегают меня.

— Что ж, слушайтесь ваших друзей. Остерегайтесь.

— А все ваша религия, ваша странная, самонадеянная, неуязвимая вера, это она защищает вас проклятым, непробиваемым панцирем. Вы добры, отец Силас считает вас доброй и вас любит, но вся беда в ужасном вашем, гордом, суровом, истом протестантстве. Порой я так и вижу его в вашем взгляде; от иного вашего жеста, от иной нотки в вашем голосе у меня мурашки бегут по коже. Вы сдержанны, и все же... вот хоть сейчас — как отозвались вы об этом трактате. Господи! Я думаю, сатана от души хохотал.

— Ну да, трактат мне не понравился, что же из этого?

— Не понравился? Но ведь в нем сама вера, любовь, милосердие! Я надеялся, что он вас тронет; я надеялся, что мягкость его хоть кого убедит. Я с молитвой положил его вам на бюро. Нет, верно, я настоящий грешник: небеса не откликнулись на горячие моления моего сердца. Вы насмеялись над моим скромным подношением. Oh, cela me fait mal!^[430]

— Мосье, вовсе я не насмеялась. Уж над вашим-то подношением я не насмеялась нисколько. Сядьте, мосье; выслушайте меня. Я не язычница, я не жестокосердна, я не нехристь, я не опасна, как внушают вам; я не смущу вашей веры; вы веруете в господа, и во Христа, и в Писание, и я тоже.

— Но вы-то разве веруете в Писание? Вам-то разве явлено богооткровение? И как далеко заходят страна ваша и ваша церковь в своей необузданной, безоглядной дерзости? Намеки отца Силаса на этот счет мрачны.

Я от него не отстала, покуда он не разъяснил мне этих намеков; они оказались ловкой иезуитской клеветой. Разговор наш с мосье Полем был в тот вечер серьезным и откровенным. Он уговаривал меня, он спорил. Я спорить не умею — и оно к счастью. Духовник мосье Поля, конечно, рассчитывал на логические, стройные возражения и заранее вооружился против них; но я говорила так, как всегда говорю, а мосье Поль к этому привык и понимал меня с полуслова, додумывал недосказанное и прощал уже более не странные для него паузы и запинки. Нисколько его не стесняясь, я сумела защитить свою веру и обычай своей страны; я смягчила его предубеждение. Он ушел от меня, не изменив своих мыслей и не успокоясь, пожалуй; однако он убедился вполне, что протестанты вовсе не наглые язычники, как настаивал его духовник; он понял отчасти, каким образом чтут они Свет и Жизнь и Слово; он почувствовал, что они поклоняются святыням хоть и не так, как предписывает католичество, но с благоговением быть может и более глубоким.

Я поняла, что отец Силас (сам, повторяю, человек не злой, но поборник злых целей) беспощадно честил протестантство вообще и меня в частности странными прозваниями, обвиняя в разных «измах». Мосье Эманюель откровенно поведал мне все это, не обинуясь и без утайки, глядя на меня серьезным, слегка испуганным взором, словно боясь обнаружить, что в обвинениях этих есть доля правды. Отец Силас, оказывается, пристально следил за мной и заметил, что я без разбора хожу по разным протестантским храмам Виллета — и во французский, и в английский, и в немецкий, то есть и в лютеранский, и в епископальный, и в пресвитерианский. По мнению отца Силаса, такие вольности доказывают глубокое безразличие — ибо тот, кто терпим ко всему, ничему не

привержен. А ведь я-то как раз часто размышляла о несущественности и мелочности различий между тремя этими церквями, о единстве и общности их учения, думала о том, что ничто не препятствует им однажды слиться в один великий священный союз, я их все уважала, хоть и находила повсюду кое-какие несущественные недостатки. Свои мысли я честно высказала мосье Эманюэлю и призналась, что учителем своим, вожатаем и прибежищем считаю одно Писание и заменить его мне не может ни одна из церквей, независимо от страны и направления.

Он ушел от меня утешенный, но все еще в тревоге, высказав желание, почти мольбу, чтобы небеса наставили меня на истинный путь, если я заблуждаюсь. Я слышала, как уже на пороге он шепотом вознес молитву к «Marie, Reine du Ciel»,^[431] чтобы я сама разделила его упования.

Странное дело! У меня вовсе не являлось такого пылкого стремления отторгнуть его от веры отцов. Католицизм я почитала золоченым глиняным идолом; но этот католик, казалось мне, берег свою веру в такой невинности сердца, какая не могла не быть угодна богу.

Описанный разговор произошел вечером, между восьмым и девятым часом на тихой улице Фоссет в классной комнате, выходящей окнами в глухой сад. В то же приблизительно время на другой вечер он, вероятно, слово в слово был воспроизведен добросовестным исповедником под вековыми сводами храма Волхвов для чуткого уха духовника. Вследствие этого отец Силас нанес визит мадам Бек и, движимый уж не знаю какими побуждениями, убедил последнюю разрешить ему заняться духовным воспитанием англичанки.

Затем меня принудили прочесть целую кипу книг; правда, я их только просматривала; они были настолько не по мне, что я не могла внимательно их читать, запоминать, ими проникаться. К тому же под подушкой у меня лежала книга, иные главы которой утоляли мою духовную жажду, служили мне путеводной звездой и примером, и в глубине души я считала, что прибавить тут уже нечего.

Затем отец Силас показал мне достоинства католицизма, его добрые дела и советовал судить дерево по его плодам.

В ответ я заметила ему, что дела эти вовсе не плоды католицизма, но лишь цветочки, лишь обещание, которое католицизм дает миру. Завязь этих цветов не отдает вкусом добродетели; ягодки же суть невежество, унижение и фанатизм. Из скорбей и страстей человеческих куются заклепки рабства. Бедных кормят, одевают и призируют, чтобы опутать их долгом перед «святой церковью»; сиротам дают опору и воспитание, чтобы они выросли в лоне «святой церкви»; за больными ходят для того, чтобы

они умерли по всем правилам «святой церкви»; и мужчины трудятся в поте лица, а женщины приносят непосильные жертвы, и все отвергаются мира, который сотворен господом людям на радость, и несут тяжкий, непосильный крест в угоду Риму, утверждая непогрешимость, и силу, и славу «святой церкви».

Для блага человека делается мало; еще менее для славы господней; всюду смерть, и плач, и голод; отворяется кладезь бездны,^[432] и земля поражается язвою; а для чего? Чтобы духовенство могло гордо шагать во славе и величии, утверждая владычество безжалостного Молоха^[433] — «святой церкви».

Но нет, Рим — одно, а бог — другое, человек еще скорбит о муках распятого Христа, и господь печалится о жестокостях и властолюбии католической церкви, как некогда печалился он о грехах и горестях несчастного Иерусалима!

О властолюбцы! О венчанные митрами охотники за земными благами! И для вас пробьет час, когда сердца ваши, слабея с каждым ударом, ощутят, что есть Доброта выше человеческого сострадания, Любовь сильнее непреклонной, даже и для вас неминуемой смерти, Милосердие больше всякого греха, даже вашего греха, и Жалость, которая искупает мир и даже прощает священников.

Потом меня подвергли третьему искушению — меня впечатляли роскошью и величием католицизма. Меня водили в храм на праздничные, особые богослужения; мне показывали католические обряды и церемонии. Я на них смотрела.

Многие — мужчины и женщины, без сомнения во всех отношениях превосходящие меня, попадали под обаяние этого зрелища, признавались, что оно пленяет их воображение, несмотря на протестующие доводы рассудка. Я же сказать этого не могу. Ни пышные процессии, ни сама служба, ни блеск свечей, ни взмахи кадил, ни высокодуховные головные уборы, ни возвышенные драгоценности ни на йоту не затронули моего воображения. Все, что видела я, поражало меня безвкусицей, а не величием; все казалось грубо вещественным, а не поэтически вдохновенным.

Я не признавалась в своих впечатлениях отцу Силасу; он был человек старый и, кажется, почтенный; при всей неудаче его опытов, при всех моих разочарованиях, сам он был добр ко мне, и я боялась оскорбить его чувства. Но однажды вечером, после того, как днем меня заставили смотреть с высокого балкона на грандиозное шествие военных и духовных лиц

впережку, на священников с наперсными крестами и солдат с ружьями, на грузного старого архиепископа в кружевах и батисте, который почему-то казался сереньким воробушком в оперении райской птицы, и на стайку девочек, немыслимо разодетых и изукрашенных — тогда-то вечером я не выдержала и высказала свое мнение мосье Полю.

— Не понравилось мне все это, — сказала я ему. — Я не поклонница таких церемоний. Больше мне не хочется на них смотреть.

И облегчив душу откровенным признанием, я разговорила и, с красноречием, неожиданным для меня самой, объяснила ему, отчего я останусь преданной своей вере; чем ближе я наблюдала католичество, тем протестантизм делался мне дороже; разумеется, во всяком учении могут быть ошибки; но сравнение помогло мне понять, насколько моя вера строже и чище той, которую мне навязывали. Я объяснила ему, что у нас куда меньше церковных обрядов и, чтя господа, мы обходимся, верно, лишь теми, какие подсказывает обычный здравый смысл. Я сказала ему, что не могу смотреть на цветы и позолоту, на блеск свечей и парчи в те минуты и при таких обстоятельствах, когда духовный взор наш должен возноситься к тому, чей дом — Бесконечность и чье бытие Вечность. И когда я думаю о грехе и скорби, о людских пороках, о смертельной порче, о тяжком земном бремени — мне не до ряженных прелатов; и когда тяготы жизни и ужас перед кончиной теснят мне грудь, когда безграничная надежда и безмерное сомнение в будущем меня обуревают — тогда всякая премудрость и даже молитва, произносимая на языке ученом и мертвом, только мешают сердцу, из которого рвутся простые слова: «Господи, помилуй меня, грешного!»

И когда я все это ему высказала, когда я так резко провела между нами границу — вот тут-то вдруг струны его души зазвучали в тон моим.

— Что бы ни толковали священнослужители и богословы, — пробормотал мосье Эманюель, — господь добр и любит чистых сердцем. Верьте так, как можете; но верьте, если можете — одна молитва, во всяком случае, общая у нас; я тоже кричу: «O Dieu, sois apaise epvers moi, qui suis pecheur!»^[434]

Он склонился над моим стулом. Подумав немного, он продолжал:

— Что значат в глазах бога, создавшего небосвод, вдохнувшего жизнь во все земное и придавшего движение всем небесным телам, — что значат в его глазах различия меж людей? Но как нет для господа ни Времени, ни Пространства, так нет для него ни Меры, ни Сравнения. Мы унижаемся в своей малости и правильно делаем; и все же постоянство одного сердца, истинное, честное служение одного ума свету, им указанному, значат для него не меньше, чем движение спутников вокруг планет, планет вокруг

солнц и солнц вокруг незримого центра, непостижимого, недоступного и только угадываемого умственным усилием. Да поможет нам бог! Благослови вас бог, Люси!

Глава XXXVII

ЯСНАЯ ЛАЗУРЬ

Добро было Полине отклонять дальнейшие сношения, покуда отец ее не даст на все согласия. Доктор Бреттон попросту не мог жить в расстоянии одной лиги от улицы Креси и не стремиться то и дело туда наведываться. Сперва оба любящих решили держаться отчужденно. Внешне в их обращении друг с другом ничего и не менялось, но не таковы были их чувства.

Все лучшее в Грэме рвалось к Полине; все самое благородное в нем просыпалось и росло в ее присутствии. Прежде, когда он вздыхал по мисс Фэншо, ум его, я полагаю, вовсе не был затронут, теперь же он работал усиленно. Все силы его напряглись и требовали выхода.

Не думаю, чтобы Полина намеренно наводила его на рассуждения о книгах, заставляла размышлять или затеяла совершенствовать его, думаю даже, она считала, что его и совершенствовать-то невозможно, столь он хорош. Нет, сам Грэм, сперва по чистой случайности, завел разговор о какой-то книге, недавно его заинтересовавшей, и, найдя в Полине живой отклик и полное согласие со своим мнением, разошелся и говорил лучше, чем ему когда-нибудь еще приходилось говорить о подобных предметах. Она ловила каждое слово и отвечала с увлечением. Каждый ответ звучал для уха Грэма как сладкая музыка, в каждом отзыве он ловил тайный смысл и находил ключ к неожиданным богатствам собственного ума и, что гораздо важнее, к неизведанным сокровищам собственного сердца. Он наслаждался, слушая ее речи, как и она наслаждалась, слушая его, их обоих тешила тонкая острота всего услышанного, они понимали друг друга с полуслова и часто удивлялись совпадению своих идей. Грэм от природы сверкал веселой живостью; Полина была скорей чужда ей и, если ее не растормошить, обычно погружалась в молчаливую задумчивость. Теперь же она щебетала словно птичка и в присутствии Грэма вся светилась. И как она еще похорошела от счастья, этого я не могу даже описать. Куда подевался тонкий ледок сдержанности, столь ей свойственный прежде! Ах! Грэм не долго его терпел и горячим напором чувства растопил искусственно возведенные ею робкие преграды.

Теперь уже не избегали вспоминать о прежних деньках в Бреттоне, сначала о них говорили с тихой застенчивостью, потом все с большей

простотой и открытостью. Грэм сам куда лучше справился с той задачей, которую хотел было возложить на непокорную Люси. Он сам заговорил о «маленькой Полли» и нашел для нее в своем голосе такие нежные, лишь ему свойственные нотки, какие решительно утратились бы в моей передаче.

Не раз, когда мы оставались с ней наедине, Полина радостно дивилась тому, как точно сохранились те времена в его памяти, как, глядя на нее, он вдруг вспоминал, казалось, забытые подробности. Он вспоминал, как однажды она обняла его голову руками, погладила по львиной гриве и воскликнула: «Грэм, я тебя люблю!» Он рассказывал, как она ставила возле него скамеечку и с ее помощью взбиралась к нему на колени. Он запомнил — он говорил ощущение ее нежных ручонков, гладивших его по щекам и перебиравших его густые волосы. Он помнил ее крошечный пальчик на своем подбородке и ее взгляд и шепоток: «ох, какая ямочка», и ее удивление: «какие у тебя пронзительные глаза», и в другой раз: «у тебя милое, странное лицо, гораздо милей и удивительней, чем у твоей мамы или у Люси Сноу».

— Непонятно, — говорила Полина, — я была такая маленькая, а такая смелая. Теперь-то он для меня неприкосновенен, просто святыня, и, Люси, я чуть ли не со страхом гляжу на его твердый мраморный подбородок, на его античное лицо. Люси, женщин называют красивыми, но он на женщину несколько не похож, значит, он не красивый, но какой же он тогда? Интересно, другие смотрят на него теми же глазами? Вот вы, например, восхищаетесь ли им?

— Я скажу вам, как я на него смотрю, — ответила я, наконец, однажды на все ее настойчивые расспросы. — Я его вообще не вижу. Я взглянула на него раз-другой год назад, прежде чем он узнал меня, а потом закрыла глаза. И потому, если б он ходил мимо меня ежедневно и ежечасно, от восхода до заката, я бы и то уже не различала его черт.

— Люси, что вы такое говорите? — спросила она пресекающимся голосом.

— Я говорю, что ценю свое зрение и боюсь ослепнуть.

Я решила этим резким ответом пресечь нежные излияния, сладким медом стекавшие с ее уст и расплавленным свинцом падавшие мне в уши. Больше она со мной про его красоту не говорила.

Но вообще она говорила про него. Иногда робко, тихими, краткими фразами, иногда дрожащим от нежности и звеневшим, как флейта, голосом, прелестным, но для меня мучительным; и я смотрела на нее строго и даже ее обрывала. Однако безоблачное счастье затуманило ее от

природы ясный взор, и она думала только — ах, какая нервозная эта Люси.

— Спартанка! Гордячка! — говорила она усмехаясь. — Недаром Грэм вас находит самой своенравной из всех своих знакомых. Но вы удивительная, чудная, мы оба так считаем.

— Сами вы не знаете, что считаете! — отозвалась я. — Поменьше бы касались моей особы в беседах ваших и в мыслях — премного б одолжили! У меня своя жизнь, у вас — своя.

— Но наша жизнь так прекрасна, Люси, или будет прекрасна. И вы должны разделить с нами нашу будущность.

— Я ни с кем не хочу делить будущность в том смысле, как вы это понимаете. Я надеюсь, у меня есть мой собственный единственный друг, но я еще не уверена. И покуда я не уверена, я предпочитаю жить сама по себе.

— Но такая жизнь печальна.

— Да. Печальна. Но бывают печали более горькие. Например, разбитое сердце.

— Ах, Люси, найдется ли кто-нибудь, кто понял бы вас до конца...

Любовь часто ослепляет людей и делает их ко всему, кроме нее, бесчувственными; им подавай свидетеля их счастьем, а чего это стоит свидетелю — не важно. Полина запретила писать письма, однако же доктор Бреттон их писал. И сама она на них отвечала, несмотря на все свои решения. Она показывала мне письма. Со своеволием избалованного дитяти и повелительностью наследницы она заставляла меня их читать. Читая послания Грэма, я понимала ее гордость и желание поделиться — то были дивные письма, мужественные и нежные, скромные и пылкие. Ее же письма должны были ему нравиться. Она писала их, вовсе не стремясь выказать свои таланты и еще менее, полагаю, выказать свою любовь. Напротив, казалось, она положила себе задачей таить собственные чувства и обуздывать жар своего обожателя. Но только могли ли такие письма послужить ее цели? Грэм ей стал дороже жизни; он притягивал ее как магнит. Все, что писал он, или говорил, или думал, было для нее полно невыразимого значения. И строки ее горели этим невысказанным признанием. Оно согревало их от начала до конца, от обращения до подписи.

— Если бы папа знал, хоть бы он узнал, — вдруг сказала она однажды. — Я и хочу этого и боюсь. Но я не удержу Грэма, он ему скажет. Хоть бы все поскорее уладилось, по правде-то я ведь ничего так не хочу. Но я боюсь взрыва. Я знаю, уверена, папа сперва рассердится. Он даже возмутится мною, сочтет меня дурной, своенравной, он удивится, поразится, о, я не знаю даже, что с ним будет.

В самом деле, отец ее, всегда спокойный, начал нервничать, всегда ослепленный любовью к дочери, начал вдруг прозревать. Ей он ничего не говорил, но когда она на него не смотрела, я нередко перехватывала его взгляд, устремленный на нее в раздумье.

Однажды вечером Полина сидела у себя в гостиной и писала, я полагаю, к Грэму. Меня она оставила в библиотеке, и я читала там, когда вошел мосье де Бассомпьер. Он сел. Я хотела уйти, но он попросил меня остаться, мягко, но настойчиво. Он устроился подле окна, поодаль от меня, открыл бюро, вынул оттуда, по-видимому, записную книжку и долго изучал в ней какую-то страницу.

— Мисс Сноу, — сказал он наконец, — знаете ли вы, сколько лет моей дочери?

— Около восемнадцати, да, сэр?

— Вероятно, так. Этот старый блокнот говорит мне, что она родилась пятого мая восемнадцать лет тому назад. Странно; я перестал осознавать ее возраст. Мне казалось, ей лет двенадцать, четырнадцать. Она ведь совсем еще ребенок.

— Нет, сэр, ей уже восемнадцать, — повторила я. — Она взрослая. Больше она не вырастет.

— Сокровище мое! — сказал мосье де Бассомпьер проникновенным тоном, какой я так знала у его дочери.

И он глубоко задумался.

— Не горюйте, сэр, — сказала я. Ибо я без слов поняла все его чувства.

— Это мой драгоценнейший перл, — сказал он. — А теперь кое-кто еще распознал его ценность. На него зарятся.

Я не ответила. Грэм Бреттон обедал с нами нынче. Он блистал умом в беседе, он блистал красотой. Не могу передать, как особенно сиял его взгляд, как прекрасно было каждое движение. Верно, благая надежда так окрылила его и отметила все его поведение. Думаю, он положил в тот день открыть причины своих усилий, цель своих стремлений. Мосье де Бассомпьеру пришлось наконец понять, что вдохновляет Джона. Не очень-то наблюдательный, он зато умел мыслить логически; стоило ему схватить нить, он уже без труда находил выход из запутанного лабиринта.

— Где она?

— Наверху.

— Что она делает?

— Пишет.

— Пишет? И она получает письма?

— Лишь такие, какие может мне показать. И — сэр... она... они давно хотели поговорить с вами.

— Полноте! Какое дело им до старика отца! Я им просто мешаю.

— Ах, мосье де Бассомпьер, не надо, зачем вы так... Впрочем, Полина вам сама все скажет, да и доктор Бреттон сумеет с вами объясниться.

— Поздно несколько, я полагаю. Кажется, дела у них уже идут на лад?

— Сэр, они ничего не предпримут без вашего согласия. Но только они любят друг друга.

— Только! — эхом отозвался он.

Выставленная судьбой на роль наперсницы и посредницы, я вынуждена была продолжать:

— Доктор Бреттон сотни раз собирался обратиться к вам, сэр. Но, при всей его смелости, он отчаянно вас боится.

— Пусть... пусть боится. Он посягнул на мое сокровище. Если б он не помешал, она бы еще долгие годы оставалась ребенком. Да. Они помолвлены?

— Помолвка невозможна без вашего согласия.

— Хорошо вам, мисс Сноу, так говорить и думать! Вам вообще свойственна правильность суждений. Но мне-то каково! Что у меня еще есть на свете, кроме дочери! Она единственная у меня дочь, и у меня нет сыновей. Неужели Бреттон не мог где-нибудь еще поискать невесту? Есть сотни богатых и хорошеньких женщин, он любой из них мог бы понравиться — он красив, воспитан, со связями. Почему ему непременно понадобилась моя Полли?

— Не встретить он вашей Полли, ему бы многие могли понравиться. Ваша племянница мисс Фэншо, например.

— Ах! Джиневру я отдал бы за него с легким сердцем! Но Полли! Нет, я не в силах с этим смириться. Он ее не стоит, — решительно заключил он. — Чем он ее заслужил? Он ей неровня. Вот говорят о состоянии. Я не стяжатель и не скряга, но приходится об этом думать, и Полли будет богата.

— Да, это известно, — сказала я. — Весь Виллет знает, что она богатая наследница.

— Неужели о моей девочке это говорят?

— Говорят, сэр.

Он глубоко задумался. Я отважилась спросить:

— А кто достоин Полины, сэр? Кого предпочли бы вы доктору Бреттону? Разве богатство и более высокое положение в обществе способны примирить вас с будущим зятем?

— А ведь вы правы, — сказал он.

— Посмотрите на здешних аристократов — хотели б вы в зятя кого-нибудь из них?

— Никого, ни князя, ни барона, ни виконта.

— А мне говорили, многие из них имеют на нее виды. — И я продолжала, ободренная его вниманием: — Если вы откажете доктору Бреттону, сыщутся другие. Куда бы вы ни отправились, повсюду найдется довольно охотников. Независимо от своего будущего богатства, Полина, по-моему, чарует всех, кто ее видит.

— Неужто? Моя дочь вовсе не красавица.

— Сэр, мисс де Бассомпьер очень хороша собой.

— Глупости! Ах, простите, мисс Сноу, но вы к ней, кажется, пристрастны. Полли мне нравится, мне нравится в ней все, но я отец ее. И даже я никогда не считал ее красивой. Она мила, прелестна, ну — забавна. Нет, помилуйте, разве можно ее назвать красавицей?

— Она привлекает сердца, сэр, и привлекала бы их без помощи вашего богатства и положения.

— Мое богатство и положение! Неужто это приманка для Грэма? Если б я думал так...

— Доктор Бреттон прекрасно о них знает, уверяю вас, мосье де Бассомпьер, и ценит, как ценил бы всякий на его месте, как вы сами бы ценили в подобных обстоятельствах, но они не приманка для него. Он очень любит вашу дочь. Он сознает ее высокие качества и находится под их обаянием.

— Как? У моей ненаглядной дочки есть, оказывается, высокие качества?

— Ах, сэр! Разве не видели вы ее в тот вечер, когда столько ученых и выдающихся людей обедали здесь?

— И точно, я удивлялся тогда ее поведению; меня потешило, что она строит из себя взрослую.

— А заметили вы, как те образованные французы окружили ее в гостинной?

— Заметил. Но я думал, они просто хотели развлечься, позабавиться милым ребенком.

— Сэр, она вела себя блистательно, и я слышала, как один француз говорил, что она *petrie d'esprit et de graces*.^[435] Доктор Бреттон того же мнения.

— Она милое, резвое дитя и, думаю, не лишена характера. Помнится, болезнь приковала меня к постели, и Полли выхаживала меня, врачи боялись за мою жизнь. И чем хуже мне становилось, тем, помнится,

мужественней и нежней делалась моя дочь. А когда я начал выздоравливать, каким сиянием радости озаряла она мою комнату! Поистине, она играла на моем кресле беспечно и бесшумно, как солнечный луч. И вот к ней сватаются! Нет, я не хочу с ней расставаться, — сказал он и застонал.

— Вы так давно знакомы с доктором и с миссис Бреттон, — решила я, и, отдавая ее ему, вы словно с ней и не расстанетесь.

Несколько минут он печально раздумывал.

— Верно, — пробормотал он наконец. — Луизу Бреттон я давно знаю. Мы с ней старые, старые друзья; до чего мила была она в юности. Вы говорите «красота», мисс Сноу. Вот кто был красив — высокая, стройная, цветущая, не то что моя Полли, всего лишь эльф или дитя. В восемнадцать лет Луиза выглядела настоящей принцессой. Теперь она прекрасная, добрая женщина. Малый пошел в нее, я всегда к нему хорошо относился и желал ему добра. А он чем мне отплатил? Каким разбойным помыслом! Моя девочка так меня любила! Мое единственное сокровище! И теперь все кончено. Я лишь досадная помеха.

Тут дверь отворилась, впуская «единственное сокровище». Она вошла, так сказать, в уборе вечерней красоты. Угасший день покрыл румянцем ее щеки, зажег искры в глазах, локоны свободно падали на нежную шею, а лицо успело покрыться тонким загаром. На ней было легкое белое платье. Она думала застать меня одну и принесла мне только что написанное, но незапечатанное письмо. Она хотела, чтобы я его прочитала. Увидев отца, она запнулась на пороге, застыла, и розовость, расплывшись со щек, залила все ее лицо.

— Полли, — тихо сказал мосье де Бассомпьер, грустно улыбаясь, — почему ты краснеешь при виде отца? Это что-то новое.

— Я не краснею. Вовсе я не краснею, — заявила она, совершенно заливаясь краской. — Но я думала, вы в столовой, а мне нужна Люси.

— Ты, верно, думала, что я сижу с Джоном Грэмом Бреттоном? Но его вызвали. Он скоро вернется, Полли. Он может отправить твоё письмо и тем избавить Мэтью от «работы», как он это величает.

— Я не отправляю писем, — ответила она довольно дерзко.

— Так что же ты с ними делаешь? Ну-ка поди сюда, расскажи.

Мгновенье она колебалась, потом подошла к отцу.

— Давно ли ты занялась сочинением писем, Полли? Кажется, ты вчера еще и писать-то выучилась!

— Папа, я писем моих не шлю по почте. Я их передаю из рук в руки одному лицу.

— Лицу! Мисс Сноу, иными словами?

— Нет, папа. Не ей.

— Кому же? Уж не миссис ли Бреттон?

— Нет, и не ей, папа.

— Но кому же, дочка? Скажи правду своему отцу.

— Ах, папа! — произнесла она с большой серьезностью. — Сейчас, сейчас я все скажу. Я давно хотела сказать, хоть я дрожу от страха.

Она, в самом деле, дрожала от растущего волнения, вся трепетала от желания его побороть.

— Не люблю ничего от вас скрывать, папа. Вы и любовь ваша для меня превыше всего, кроме бога. Читайте же. Но сперва взгляните на адрес.

Она положила письмо к нему на колени. Он взял его и тотчас прочел. Руки у него дрожали, глаза блестели.

Потом, сложив письмо, он принялся разглядывать его сочинительницу со странным, нежным, грустным недоумением.

— Неужто это она — девчонка, еще вчера сидевшая у меня на коленях, могла написать такое, почувствовать такое?

— Вам не понравилось? Вы огорчились?

— Нет, отчего же не понравилось, милая моя, невинная Мэри; но я огорчился.

— Но, папа, выслушайте меня. Вам незачем огорчаться! Я все бы отдала почти все (поправилась она), я бы лучше умерла, только б не огорчать вас! Ах, как это ужасно!

Она побледнела.

— Письмо вам не по душе? Не отправлять его? Порвать? Я порву, коли вы прикажете.

— Я ничего не стану приказывать.

— Нет, вы прикажите мне, папа. Выскажите вашу волю. Только не обижайте Грэма. Я этого не вынесу. Папа, я вас люблю. Но Грэма я тоже люблю, потому что... потому что... я не могу не любить его.

— Этот твой великолепный Грэм — просто негодяй, только и всего, Полли. Тебя удивляет мое мнение? Но я ничуть его не люблю. Давным-давно еще я заметил в глазах у мальчишки что-то непонятное — у его матери этого нет, — что-то опасное, какие-то глубины, куда лучше не соваться. И вот я попался, я тону.

— Вовсе нет, папа, вы в совершенной безопасности. Делайте что хотите. В вашей власти завтра же усладить меня в монастырь и разбить Грэму сердце, если вам угодно поступать так жестоко. Ну что, деспот, тиран, — сделаете вы это?

— Ах, за ним хоть в Сибирь! Знаю, знаю. Не люблю я, Полли, эти рыжие усы и не понимаю, что ты в нем нашла?

— Папа, — сказала она, — ну как вы можете говорить так зло? Никогда еще я вас не видела таким мстительным и несправедливым. У вас лицо даже стало совсем чужое, не ваше.

— Гнать его! — продолжал мистер Хоум, в самом деле злой и раздраженный, — да только вот, если он уйдет, моя Полли сложит пожитки и кинется за ним. Ее сердце покорено, да, и отлучено от старика отца.

— Папа, перестаньте же, не надо, грех вам так говорить. Никто меня от вас не отлучал и никто никогда отлучить не сможет.

— Выходи замуж, Полли! Выходи за рыжие усы! Довольно тебе быть дочерью. Пора стать женою!

— Рыжие! Помилуйте, папа! Да какие же они рыжие? Вот вы мне сами говорили, что все шотландцы пристрастны. То-то и видно сразу шотландца. Надо быть пристрастным, чтоб не отличить каштановое от рыжего.

— Ну и брось старого пристрастного шотландца. Уходи.

С минуту она молча смотрела на него. Она хотела выказать твердость, презрение к колкостям. Зная отцовский характер, его слабые струнки, она заранее ожидала этой сцены, была к ней подготовлена и хотела провести ее с достоинством. Однако она не выдержала. Слезы выступили ей на глаза, и она кинулась к отцу на шею.

— Я не оставлю вас, папа, никогда не оставлю, не огорчу, не обижу, никогда, — причитала она.

— Сокровище мое! — пробормотал потрясенный отец. Больше он ничего не мог выговорить, да и эти два слова произнес совершенно осипшим голосом.

Меж тем начало темнеть. Я услышала за дверью шаги. Решив, что это слуга несет свечи, я подошла к двери, чтоб встретить его и предотвратить помеху. Однако в прихожей стоял не слуга: высокий господин положил на стол шляпу и медленно стягивал перчатки — словно колеблясь и выжидая. Он не приветствовал меня ни словом, ни жестом, только глаза его сказали: «Подойдите, Люси», и я к нему подошла.

На лице его играла усмешка; только он, и больше никто, мог так усмехаться при всем явственно сжигавшем его волнении.

— Мосье де Бассомпьер тут, ведь правда? — спросил он, указывая на библиотеку.

— Да.

— Он видел меня за обедом? Он понял?

— Да, Грэм.

— Значит, меня призвали к суду и ее тоже?

— Мистер Хоум (мы с Грэмом по-прежнему часто так называли его между собой) разговаривает с дочерью.

— Ох, это страшные минуты, Люси!

Он был ужасно взволнован; рука дрожала; от предельного (чуть не написала «смертельного», но очень уж такое слово не подходит к тому, кто так полон жизни), от предельного напряжения он то ускоренно дышал, то дыхание у него пресекалось. Но, несмотря ни на что, улыбка играла на его губах.

— Он очень сердится, Люси?

— Она очень предана вам, Грэм.

— Что он со мною сделает?

— Грэм, верьте в свою счастливую звезду.

— Верить ли? Добрый пророк! Как вы меня приободрили! Думаю, все женщины — преданные существа, Люси. Их надобно любить, я их и люблю, Люси. Мама добра. Она — божественна. Ну, а вы тверды в своей верности, как сталь. Ведь правда, Люси?

— Правда, Грэм.

— Так дайте же руку, крестная сестричка, дайте вашу добрую дружескую руку. И, господи, помощи правому делу! Люси, скажите «аминь».

Он оглянулся и ждал, чтоб я сказала «аминь», и я сказала это, ради его удовольствия: я вдруг замерла от радости, исполняя его просьбу, на миг вернулась прежняя моя подвластность ему. Я пожелала ему удачи, я знала, что удача его не оставит. Он был рожден победителем, как иные рождены для поражений.

— Идемте, — сказал он, и я последовала за ним.

Представ перед мистером Хоумом, Грэм спросил:

— Сэр, каков мой приговор?

Отец смотрел ему в лицо, дочь прятала взгляд.

— Так-то, Бреттон, — сказал мистер Хоум, — так-то вы отплатили мне за гостеприимство. Я развлекал вас — вы отняли у меня самое дорогое. Я всегда радовался вам — вас радовало мое единственное сокровище. Вы приятно со мной беседовали, а тем временем, не скажу — ограбили, но лишили меня всего, и то, что я утратил, вы приобрели, кажется.

— Сэр, в этом я не могу раскаиваться.

— Раскаиваться? Вы? О, вы, без сомнения, торжествуете. Джон Грэм, в ваших жилах недаром течет кровь шотландских горцев и кельтов, она сказывается и во внешности вашей, и в речах, и в мыслях. Я узнаю в вас их

коварство и чары. Рыжие (ах, прости, Полли, белокурые) волосы, лукавые уста и хитрый ум — все это вы получили в наследство.

— Сэр, но чувства мои честны, — сказал Грэм, и истинно британский румянец смущенья залил его щеки, красноречиво свидетельствуя об искренности. — Хотя, — добавил он, — не стану отрицать, кое в чем вы правы. В присутствии вашем меня всегда посещала мысль, которую я не осмеливался вам открыть. Я и впрямь всегда считал вас обладателем всего, что есть для меня в мире драгоценного, самого главного сокровища. Я его желал, я его добивался. Сэр, теперь я его прошу.

— Многого просите, Джон.

— Очень многого, сэр. От вашей щедрости я жду тороватого подарка, и от вашей справедливости я жду награды. Разумеется, я их не стою.

— Слыхали? Речи коварного горца, — воскликнул мистер Хоум. — Что же ты, Полли? Ответь-ка смелому женишку. Гони его взашей!

Она подняла глаза. И робко взглянула на своего прекрасного и пылкого друга. А потом устремила нежный взор на разгневанного родителя.

— Папа, я вас обоих люблю, — сказала она. — Я об вас обоих буду заботиться. Зачем мне гнать Грэма? Пусть останется. Он нас не беспокоит, добавила она с той простотой, которая временами вызывала улыбки и у Грэма и у ее отца. Сейчас улыбнулись оба.

— Меня-то он даже очень беспокоит, — артачился мистер Хоум. — Он мне не нужен, Полли, слишком уж он высокий, он мне мешает. Скажи ему, чтоб уходил.

— Вы привыкнете к нему, папа. Он мне самой сперва казался чересчур высоким — как башня. А теперь мне уже кажется, что только таким и надо быть.

— Я вообще никого не хочу, Полли. Мне вообще не нужно никакого зятя. Да будь он и лучшим человеком на всей земле — и то я не стал бы его приглашать на такую роль. Отсылай-ка его, дочка.

— Но он так давно знает вас, папа, и он вам так подходит!

— Мне! Подходит! О господи! То-то он пытался подсунуть мне свои собственные суждения и вкусы. Он недаром ко мне подольщался! По-моему, Полли, нам пора пожелать ему всего доброго.

— Только до завтра. Папа, подайте Грэму руку.

— Нет. И не подумаю. Он мне не друг. И не старайтесь меня уломать.

— Да нет же, он друг ваш. Дайте-ка руку, Грэм. Папа, протяните вашу. А теперь — пожмите ему руку. Да нет, папа, не так! Ну, не упрямитесь, папа. Но я просила вас ее пожать, а не стукнуть по ней... Ой, нет, папа, вы же ее раздавите, ему же больно!

Грэму, верно, и в самом деле стало больно, потому что брильянты, усыпавшие массивный перстень мосье де Бассомпьера, впились ему в пальцы острыми гранями и поранили до крови. Однако Джон только рассмеялся.

— Пойдемте ко мне в кабинет, — наконец сказал мистер Хоум доктору. И они ушли. Свидание было недолгое, но, очевидно, решительное. Жениха подвергли допросу с пристрастием. Как бы ни были порою коварны речи и взоры Грэма, под ними крылась честная натура. Как я потом узнала, он отвечал умно и искренне. Он справился со всеми трудностями, дела его поправились, он доказал, что может быть супругом.

Снова жених и отец появились в библиотеке. Мосье де Бассомпьер прикрыл дверь и показал на свою дочь.

— Бери ее, — сказал он. — Бери ее, Джон Бреттон, и пусть господь с тобой обращается так же, как ты будешь с нею обращаться.

Вскоре после этого, недели через две, кажется, я увидела всех троих графа де Бассомпьера, его дочь и доктора Грэма Бреттона — на скамейке под тенью раскидистого вяза недалеко от дворца в Vois l'Etang. Они пришли сюда насладиться летним вечером; за великолепными воротами ждала их карета, рядом расстился прохладный дерн, вдали высился дворец, белый, как Пентеликон,^[436] над ним сияла вечерняя звезда, от кустов поднимался ароматный дух свежести, все замерло, никого, кроме них, не было вокруг.

Полина сидела между двух господ, они беседовали, а она что-то проворно делала руками, сперва мне показалось, что она плетет венок, но нет. Ножницы блестели у нее на коленях, и с помощью этих ножниц она похитила по пряди волос с двух дорогих голов и теперь сплетала седой локон с золотым. Сплетя косицу, она, за неимением шелковой нитки, заменила ее собственными волосами, закрепила косицу, а потом положила ее в медальон и спрятала у себя на груди.

— Ну вот, — сказала она, — теперь у меня есть амулет, и он сохранит вашу дружбу. Пока я его ношу, вы не можете рассориться.

В самом деле, ее амулет отгонял злых духов. Полли стала связью между этими двоими, источником их согласия. Оба дали ей счастье, и она постаралась им за это отплатить.

«Бывает ли на земле такое счастье?» — спрашивала я себя, глядя на отца, дочь и будущего мужа — любящих, блаженных.

Да, бывает. То не романтические бредни, не сладкий вымысел сочинителя. Иную жизнь — в иные дни и годы — вдруг озарит предчувствие небесной благодати, и если добрый человек ощутит это совершенное счастье (к дурному оно никогда не придет), он уже никогда

его не забудет. Какие бы потом ни свалились на него испытания, каким бы ни подвергся он напастям, болезням и бедам, как бы ни омрачили его смертные тени, сквозь них сияет былая радость, пронизывает самые черные тучи, смягчает самую горькую скорбь.

Скажу больше. Я верю — есть люди, которые так рождены и возвращены, так проходят весь свой путь от мягкой колыбели до мирной, поздней кончины, что никакое чрезмерное страдание не вторгается в их судьбу, никакие бури не сбивают с дороги. И часто это не себялюбивые, кичливые создания, но любимцы природы, гармонические и прекрасные мужчины и женщины, наделенные великодушием, живые свидетели милости господней.

Но не буду более томить читателя и поведаю радостную правду. Грэм Бреттон и Полина де Бассомпьер поженились, и доктор Бреттон оказался одним из таких свидетелей. Время не омрачило его, недостатки его стерлись, расцвели достоинства, ум его отточился, стала глубже душа, осадок отстоялся, и еще ярче заблестало драгоценное вино. Столь же прекрасна была судьба нежной его жены. Она всегда пользовалась горячей любовью мужа и стала краеугольным камнем в прочном здании его счастья.

Мирно текли их дни, но благополучие не очерстило их сердец, они помогали другим великодушно и разумно. Конечно, и они узнали огорчения, разочарования и тяготы, но умели их одолевать. Не раз приходилось им смотреть в лицо той, которая так пугает смертного, покуда он дышит. Да, они заплатили свою дань курносой. Достигнув полноты лет, ушел от них мосье де Бассомпьер. Дожив до старости, покинула их и Луиза Бреттон. Однажды раздался под их кровом и плач Рахили по детям. Но другие дети, здоровые и цветущие, восполнили утрату. Доктор Бреттон вновь узнавал себя в сыне, унаследовавшем его нрав и наружность; были у него и стройные дочери, тоже в него. Детей он воспитывал бережно, но строго, и они выросли достойным потомством.

Словом, я не преувеличиваю, когда утверждаю, что на жизнь Грэма с Полиной пало высшее благоволение, и, подобно любимому сыну Иакова, господь благословил их «благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу». Так это было, и бог видел, что это «хорошо весьма».

Глава XXXVIII

ТУЧА

Но не для всех так бывает. Что ж! Да будет воля его, которая, впрочем, и осуществляется всегда независимо от того, склоняемся ли мы перед нею в смиренной покорности. Сами законы творения ей способствуют; силы, видимые и невидимые, заняты ее исполнением. Знак будущей жизни нам дается. Кровью и огнем, когда надобно, начертан бывает этот знак. В крови и огне мы его постигаем. Кровью и огнем окрашивается наш опыт. Страдалец, не лишайся чувств от ужаса при виде огня и крови. Усталый путник, препояшь свои чресла; гляди вверх, ступай вперед. Паломники и скорбящие, идите рядом и дружно. Темный пролег для многих путь посреди житейской пустыни; да будет поступь наша тверда, да будет наш крест нашим знаменем. Посох наш — обетования того, чье «слово право и дела верны», упование наше — промысл того, кто «благоволением, как щитом, венчает нас», обитель наша — на лоне его, чья «милость до небес и истина до облаков»; и высшая наша награда — царствие небесное, вечное и бесконечное. Претерпим же все, что нам отпущено; снесем все тяготы, как честные солдаты; пройдем до конца наш путь, и да не иссякает в нас вера, ибо нам уготована участь славнейшая, нежели участь победителей: «Но не ты ли издревле господь бог мой, Святый мой? Мы не умрем».

В четверг утром мы все собрались в классе, ожидая урока литературы. Час пробил; мы ждали учителя.

Ученицы старшего класса сидели совсем тихо; перебеленные сочинения, приготовленные к уроку, аккуратно перевязанные ленточками, ждали, когда же их соберет быстрая рука профессора. Стоял июль, утро было ясное, стеклянную дверь приотворили, и в нее врывался свежий ветерок, а увивавший ее плющ колыбался, заглядывал в комнату и словно нашептывал новости.

Мосье Эманюель не отличался точностью; мы не удивлялись, что он запаздывает, но каково же было наше удивление, когда дверь распахнулась и вместо стремительного мосье Поля на пороге показалась степенная мадам Бек.

Она подошла к столу мосье Поля, остановилась, поплотней закуталась в свою яркую шаль и произнесла твердым, тихим голосом, не спуская с нас пронзительного взгляда:

— Сегодня урока литературы не будет.

Она помолчала минуты две и лишь затем продолжила:

— Возможно, у вас целую неделю не будет уроков. Мне она понадобится, чтобы найти достойную замену мосье Эманюелю. А пока надо постараться заполнять освободившееся время полезными занятиями. Ваш профессор, мои милые, намеревается, если удастся, сам как следует с вами проститься. Покамест у него нет досуга для этой церемонии. Он готовится к долгому путешествию. Внезапный и неотступный долг призывает его в дальний путь. Он решился надолго покинуть Европу. Возможно, сам он еще расскажет вам обо всем подробнее. Сегодня, мои милые, вместо обычного урока мосье Эманюеля вы займетесь английским чтением с мисс Люси.

Она величаво склонила голову, поправила на плечах шаль и выплыла из класса.

Все притихли; потом по комнате прокатился рокот; кое-кто, кажется, плакал.

Время шло. Шум, шепот, всхлипывания делались все громче. Дисциплина разлаживалась, начинался беспорядок, девицы словно почувствовали, что надзор ослаблен и они остались без присмотра. Привычка и чувство долга заставили меня быстро собраться с силами, подняться как ни в чем не бывало, заговорить обычным голосом, потребовать и наконец добиться тишины. Мы долго и тщательно разбирали английский текст. Все утро я их этим занимала. Помню, рыдающие ученицы вызвали во мне досаду. В самом деле, чувствительность их немногого стоила — просто истерика. Я это не обинуясь им объявила. Я их чуть не подняла на смех. Я была сурова. По правде же, меня мучили их слезы, их рыдания; я не могла их вынести. Одна глуповатая, унылая ученица продолжала всхлипывать, когда все другие уже умолкли; безжалостная необходимость заставила меня и помогла мне так с ней обойтись, что ей пришлось проглотить слезы.

Девочка эта вправде была бы меня возненавидеть, но после урока, когда все стали расходиться, я задержала ее, подозвала и — чего никогда не случалось со мною прежде — прижала к своей груди и поцеловала в щеку. Но, поддавшись этому невольному порыву, потом я тотчас вытолкала ее за дверь, потому что, не выдержав моей ласки, она залилась совсем уже в три ручья.

Весь день я трудилась не покладая рук, а ночью вовсе не стала бы ложиться, если б можно было жечь свечу до утра. Ночь, однако, прошла мучительно и плохо подготовила меня к предстоявшему на другой день

испытанию — необходимости выслушивать сплетни. Новость обсуждали все кому не лень. Лишь сперва все от удивления попридержали языки; эта сдержанность скоро прошла; языки развязались; у учительниц, учениц, даже у служанок не сходило с уст имя «Эманюель». Как, служить в школе с самого начала и вдруг уйти! Все находили это странным.

Говорили о нем так много, так долго, так часто, что из всей этой груды слов в конце концов кое-что выяснялось. На третий день, кажется, я от кого-то узнала, что он едет через неделю; потом услышала, что он собирается в Вест-Индию. Я заглядывала в глаза мадам Бек, отыскивая в них подтверждения либо опровержения этих сведений, но не выудила из нее ничего, кроме обычных пошлостей.

Она сообщила, что этот уход для нее большая потеря. Она просто не знает, кем заменить мосье Поля. Она так привыкла к своему родственнику, он стал ее правой рукой; как ей без него обойтись? Она старалась удержать его, но мосье Поль заявил, что его призывает долг.

Все это она объявляла во всеуслышание, в классах, за обедом, громко обращаясь к Зели Сен-Пьер.

«Какой долг его призывает?» — хотелось мне у нее спросить. Иногда, когда она спокойно проплывала мимо меня в классе, мне хотелось броситься к ней, схватить ее за полу и сказать: «Постойте-ка. Объясните-ка что к чему. Почему долг призывает его в изгнание?» Но мадам обращалась всегда к кому-нибудь еще, а на меня даже не глядела, словно и не предполагала во мне интереса к отъезду мосье Поля.

Неделя шла к концу. Больше нам не говорили о предполагавшемся прощании с мосье Полем; никто не спрашивал, придет он или нет; никто не выражал опасений, как бы он не уехал, не повидавшись с нами, не сказав нам ни слова; говорили о нем по-прежнему беспрестанно, но никого, кажется, не мучил такой неотвязный вопрос. Мадам-то сама, разумеется, его видела и могла наговориться с ним вдоволь. И что ей за дело, явится он в школу или нет?

Неделя миновала. Нам сообщили назначенный день отъезда и сказали, что едет он «на остров Бас-Тер в Гваделупе»: призывают его туда не собственные интересы, но интересы друга; разумеется, так я и думала.

«Бас-Тер в Гваделупе»... Я тогда плохо спала, но лишь только меня одолевала дремота, я тотчас просыпалась, будто кто произнес слова «Бас-Тер» и «Гваделупа» над самой моей подушкой, а то вдруг они мерещились мне, начертанные огненными буквами во тьме.

Я не могла с этим сладить, да и как сладишь с чувствами? Мосье Эманюель был в последнее время так добр ко мне; он час от часу делался

все добрее и лучше. Прошел уже месяц с тех пор, как мы уладили наши богословские разногласия, и с тех пор мы с ним ни разу не повздорили. Мир этот не явился холодным плодом отдаления; напротив, мы сблизились; он стал чаще ко мне приходить, он говорил со мной больше, чем прежде; он оставался подле меня часами, спокойный, довольный, непринужденный, мягкий. О чем только мы не переговорили. Он расспрашивал меня о моих планах, и я ими поделилась; мысль моя о собственной школе пришла к нему по душе; он заставлял меня снова и снова развивать ее перед ним в подробностях, хоть самое идею называл мечтою Альфашара.^[437] Все несогласия кончились, крепло и росло понимание; мы оба ощущали родство и надежду; привязанность, уважение и пробудившееся доверие все вернее связывали нас.

Как спокойно проходили мои уроки! Куда подевались насмешки над моим умом и вечные угрозы публичного экзамена! Как безвозвратно ревнивые филиппики и еще более ревнивые, страстные панегирики уступили место тихой, терпеливой помощи, нежному руководству и ласковой снисходительности, которая не превозносила, но прощала. Бывало, он просто сидел возле меня, несколько минут кряду не произнося ни слова; и когда сумерки или дела, наконец, предписывали наше разлученье, он говорил прощаясь:

— Il est doux, le repos! Il est précieux, le calme bonheur!^[438]

Однажды вечером — с тех пор не прошло и десяти дней — он встретил меня в моей аллее. Он взял меня за руку. Я взглянула ему в лицо. Я решила, что он просто собирается мне что-то сказать.

— Vonne petite amie. - проговорил он ласково, — douce consolatrice!^[439]

Но его прикосновение и звук голоса навели меня на странные мысли. Не стал ли он мне больше чем братом и другом? Не светится ли во взгляде его нежность больше дружеской и братской?

Красноречивый взгляд его обещал дальнейшие признания, он притянул меня к себе, губы его дрогнули. Но нет. Не теперь. В сумраке аллеи мелькнули две зловещие фигуры, они грозно надвигались на нас — одна фигура была женская, рядом шел священник; то были мадам Бек и отец Силас.

Никогда не забуду лица последнего в ту минуту. Сперва оно выразило тонкую чувствительность Жан-Жака, невольно спугнувшего чужую нежность; но тотчас омрачилось желчным высокодуховным осуждением. Он елеинно обратился ко мне. Ученика своего он окинул взглядом неодобрения. Что же касается до мадам Бек, то она, как водится, ничего,

решительно ничего не заметила, хотя родственник ее, не в силах выпустить пальцы иноверки, лишь сильнее сжимал их в своей руке.

Легко понять поэтому, что я сначала просто не поверила столь внезапному объявлению об отъезде. Лишь выслушав новость сто раз со всех сторон, повторенную сотней уст, я вынуждена была отнестись к ней серьезно. Как прошла неделя ожидания, как тянулись пустые, мучительные дни, не приносившие от него ни слова объяснения, — я помню, но описать не могу.

И вот обещанный день настал. Мы ждали мосье Поля. Либо он придет и попрощается с нами, либо так и исчезнет без слов навсегда.

Но в такое, кажется, не верила ни одна живая душа во всей школе. Встали мы в обычный час; позавтракали, как обычно; не поминая и словно бы позабыв своего профессора, лениво принялись за обычные дела.

В доме стояла дремотная тишина, все были вышколены и покорны — а мне было трудно дышать в этом затхлом, застойном воздухе. Неужто никто не заговорит со мной? Не обратится ко мне со словом, желанием, с молитвой, которую бы я могла заключить аминем?

Я видывала не раз, как их сплачивали пустяки, как дружно требовали они развлечения, отдыха, отпуска с уроков; и вот они даже не собирались сообща осаждать мадам Бек и настаивать на последнем свидании с учителем, которого они, конечно, любили (те из них, кто может вообще любить), — да, но что такое для большинства людей любовь!

Я знала, где он живет; я знала, где наводить о нем справки, где искать с ним встречи; до него было рукой подать; но прячась он хоть в соседней комнате, я по своей воле не явилась бы к нему. Преследовать, искать, звать, напоминать о себе — для этого я плохо приспособлена.

Пусть мосье Эманюэль где-то рядом. Но раз он сам молчит, я ни за что не нарушу первая его молчания.

Утро кое-как прошло. Близился вечер, и я решила, что все кончено. Сердце во мне переворачивалось. Кровь стучала в висках. Я совсем расхворалась и не знала, как справлюсь с работой. А вокруг меня равнодушно кипела жизнь; все казались безмятежными, невозмутимыми, спокойными; даже те ученицы, которые неделю назад заливались слезами, услышав новость об отъезде мосье Поля, теперь словно вовсе забыли и о нем и о своих чувствах.

Незадолго до пяти часов, перед концом классов, мадам Бек послала за мной, чтобы я прочла ей какое-то английское письмо, перевела его и написала для нее ответ. Я заметила, что она тщательно прикрыла за мной обе двери своей спальни; она и окно закрыла, хоть день был жаркий и

обычно она не терпела духоты. К чему эти предосторожности? Во мне шевельнулось острое чувство недоверия. Верно, она хочет приглушить звуки. Но какие?

Я вслушивалась чутко, как никогда; я вслушивалась в тишину, как зимний волк, рыскающий по снегу и чующий добычу, вслушивается в звуки дальних бубенцов. Я слушала, а сама писала. Посреди письма — перо мое так и запнулось на бумаге — я услышала в вестибюле шаги. Колокольчик не прозвенел; Розина — безусловно, повинаясь приказаниям — предупредила его. Мадам заметила мою заминку. Она кашлянула, поерзала на стуле, возвысила голос. Шаги прошли к классам.

— Продолжайте же, — сказала мадам; но рука меня не слушалась, слух мой напрягся, мысли мои путались.

Классы располагались в другом крыле; вестибюль отделял их от жилой части дома; несмотря на расстояние, я услышала шум, стук, грохот — все разом вскочили.

— Это они уходить собираются, — сказала мадам. В самом деле, пора было расходиться — но отчего же они вдруг, так же разом, стихли, замерли?

— Подождите меня, мадам, я пойду взгляну, что там такое.

И я положила перо и ушла от нее. Ушла? Не тут-то было. От нее не уйдешь: будучи не в силах меня удержать, она тоже встала и последовала за мной неотвязно, как тень. На последней ступеньке я оглянулась.

— Вы тоже идете? — спросила я.

— Да, — подтвердила она, отвечая на мой взгляд странным взглядом туманным, но решительным.

И дальше она пошла за мной по пятам.

Он явился. Я открыла дверь старшего класса и увидела его. Я еще раз увидела знакомые черты. Уверена, его приход хотели предотвратить, но он все-таки явился.

Девочки сошлись вокруг него полукругом; он обошел всех, каждой пожал руку, каждой приложился к щеке. Иностраный обычай допускал в подобных случаях такую церемонию: она затянулась и выглядела весьма торжественно.

Меня мучила неотвязность мадам Бек; она не отходила от меня, не спускала с меня глаз, она дышала прямо мне в шею, и у меня от этого бежали по коже мурашки; она ужасно раздражала меня.

Он был уже совсем близко; он обошел уже почти всех; вот он приблизился к последней ученице; он оглянулся. Но мадам Бек заслонила меня; она быстро выступила вперед; она будто вся расширилась и выросла

усилием воли; она спрятала меня; я стала невидима. Она знала мои слабости и несовершенства; она верно рассудила, что меня охватит столбняк. Она поспешила к своему родственнику, обрушила на него поток речей, завладела его вниманием и увлекла его к двери — стеклянной двери, отворявшейся в сад. Кажется, он озирался; когда бы мне удалось поймать его взгляд, надежда придала бы мне сил и смелости; я бы бросилась к нему; но в комнате уже поднялась суматоха, полукруг разбился на группы, и я потерялась среди тридцати других, куда более шумных. Мадам своего добила; она увела его, и он меня не заметил; он решил, что я не пришла. Пробыло пять часов, громко прозвенел звонок, возвестивший конец классов, комната опустела.

Потом, помнится, наступили совершенно черные одинокие минуты — я испытывала нестерпимую печаль невосполнимой утраты. Что было делать? О, что делать, когда у твоего поруганного сердца отняли упование всей жизни?

Уж не знаю сама, что стала бы я делать, но тут маленькая девочка самая маленькая во всей школе — невольно и просто прервала мои отчаянные мысли.

— Мадемуазель, — пролопотала она, — вот, это вам. Мосье Поль велел мне вас искать по всему дому, от подвала до чердака, а когда я вас найду, передать вам это.

И она протянула мне записку; голубок вспорхнул ко мне на колени и выронил из клюва свежий масляный листок. Записка была без имени и адреса и содержала следующее:

«Я не мыслил проститься с Вами, расставаясь со всеми прочими, но надеялся найти и Вас в классе. Меня ждало разочарование. Встреча наша откладывается. Будьте к ней готовы. Прежде чем ступлю на корабль, я должен видеть Вас наедине и долго говорить с Вами. Будьте готовы, минуты мои все на счету и принадлежат не мне; к тому же мне надлежит исполнить одно дело, которого я не могу никому ни порекомендовать, ни поведать, даже Вам. Поль».

Будьте готовы? Когда же? Сегодня же вечером? Ведь завтра он едет. Да; это я знала наверное. Я знала, когда назначено отплытие парохода. О! Я-то буду готова, но состоится ли наше долгожданное свидание? Времени оставалось так мало, недруги действовали так изобретательно и неотступно; меж нами пролегло препятствие, неодолимое, как узкая расщелина, как глубокая пропасть; и над пропастью сам ангел бездны Аваддон уже дышит пламенем. Одолеет ли ее великодушный друг? Перейдет ли ко мне мой вожатый?

Кто знает? Но мне уже стало немного легче, я немного утешилась, я словно почувствовала, как сердце его бьется в лад моему, и я немного успокоилась.

Я ждала защитника. Надвигался Аваддон и влек за собой свое адское воинство. Я думаю, грешники в аду вовсе не горят на вечном огне и не отчаяние — самая страшная пытка. Наверное, в чреде безначальных и незакатных дней настал для них такой, когда ангел сошел в Гадес^[440] — осиял их улыбкой, поманил обещанием, что прощение возможно, что и для них настанет день веселья, но не теперь еще, а неизвестно когда, и, глядя на собственное его величие и радость, они поняли, как сладостны эти посулы, а он вознесся, стал звездой и исчез в дальних небесах. И оставил им в наследство тревогу ожидания, которая хуже отчаяния.

Весь вечер я ждала, доверяясь масличному листку^[441] в голубином клюве, а сама отчаянно тревожилась. Страх давил мне на сердце. Такой холодный, сжимающий страх — признак дурных предвестий. Первые часы едва влеклись; последние неслись, как снежные хлопья, как прах, разметаемый бурей.

Но вот миновали и они. Долгий жаркий летний день сгорел, как святочное полено;^[442] истлела последняя зола; мне остался голубой, холодный пепел; настала ночь.

Молитвы были прочитаны; пора ложиться; все ушли спать. Я осталась в темном старшем классе, пренебрегши правилами, которыми никогда еще не пренебрегала.

Не знаю, сколько часов подряд я мерила шагами класс. Я пробыла на ногах очень долго; я бродила взад-вперед по проходу между партами. Так бродила я, пока не поняла, что все спят и ни одна живая душа меня не услышит; и тогда я, наконец, расплакалась. Полагаясь на укрытие Ночи и защиту Одиночества, я более не сдерживала слез, не глотала рыданий; они переполняли меня, они вырвались наружу. Какое горе могут уважать и щадить в этом доме?

Вскоре после одиннадцати — а для улицы Фоссет это час очень поздний дверь открыли — тихонько, но не украдкой; сияние лампы затмило лунный свет; мадам Бек вошла с обычным своим невозмутимым видом, как ни в чем не бывало. Словно не заметив меня, она прошла прямо к своему бюро, взяла ключи и принялась как будто что-то искать; долго занималась она этими притворными поисками, очень долго. Она была спокойна, слишком спокойна; я с трудом сносила ее кривлянье; последние два часа изменили меня, от меня трудно было добиться обычных знаков

почтения и обычного трепета. Всегда послушная и кроткая, я вдруг сбросила хомут, прокусила узду.

— Давно пора спать, — сказала мадам. — Вы давно нарушаете правила заведения.

Ответа не последовало; я продолжала бродить по классу; когда она преградила мне путь, я отстранила ее.

— Позвольте успокоить вас, мисс; дайте-ка я провожу вас в вашу комнату, — сказала она, стараясь придать своему голосу всю возможную мягкость.

— Нет, — отвечала я. — Ни вы, ни кто другой меня не успокоит и не проводит.

— Надо согреть вашу постель. Готон еще не легла. Она о вас позаботится; она даст вам снотворное.

— Мадам, — перебила я ее. — Вы сластолюбивы. При всей вашей безмятежности, важности и спокойствии — вы сластолюбивы, как никто. Пусть вам самой греют постель; сами принимайте снотворное, ешьте и пейте всласть, на здоровье. Если что-то беспокоит и тревожит вас — а может быть — да нет, я знаю, вас, конечно, кое-что тревожит, — принимайте пилюли и исцеляйтесь, а меня оставьте в покое. Слышите — оставьте меня в покое!

— Я пошлю кого-нибудь приглядеть за вами, мисс; я пошлю Готон.

— Не смейте. Оставьте меня в покое. Не трогайте меня. Какое вам дело до моей жизни, до моих печалей. О мадам! В вашей руке холод и яд. Вы отравляете и морозите сразу.

— Что я вам сделала, мисс? Вы не можете выйти за Поля. Он не может жениться.

— Собака на сене! — сказала я; ведь я-то знала, что втайне она хотела за него замуж, всегда хотела. Она называла его «невыносимым», ругала «ханжою»; она не любила его, но замуж за него она хотела, чтобы выжать из него все соки. Я проникла в тайну мадам, удивительно, но я проникла в нее чутьем ли, или озарением, — сама не знаю. Прожив с ней рядом немало дней, я постепенно поняла к тому же, что враждовать она может только с низшим. Она враждовала со мной, хоть и тайно, прикрывая свои чувства самой ласковой личиной, и ни одна живая душа этого не замечала, кроме нее самой и меня.

Две минуты я смотрела ей в лицо, понимая, что она совершенно в моей власти, ибо в иных обстоятельствах, например, когда ее видели насквозь, вот как теперь я, — ее маскарадный костюм, маска и домино, обращался в совершенную ветошь, всю в дырках; и сквозь дыры

обнаруживалось бессердечное, самовлюбленное и низкое существо. Она спокойно отступила; мягко и сдержанно, правда, весьма неловко, она сказала, что «если я никак не соглашаюсь лечь, ей придется меня оставить».

И с этими словами она без промедления удалилась, наверное, не меньше радуясь концу нашей беседы, нежели я сама.

То был у меня единственный честный, беспощадный разговор с мадам Бек; никогда более такое не повторялось. Ее обращение со мной после знаменательной ночной встречи не изменилось ни на йоту. Не заметила, чтобы ненависть ее усилилась из-за моей горькой откровенности; не знаю, затаила ли она планы мести. Думаю, она укрепила себя рассуждениями о силе своего духа и почла за благо забыть то, что неприятно вспоминать. Одно могу сказать с определенностью — во все продолжение нашей совместной жизни мы не повторяли и не вспоминали рокового столкновения.

Та ночь прошла; всякой ночи, даже беззвездной ночи нашей кончины, суждено кончиться. Около шести — в час, когда дом просыпался, я вышла во двор и умылась холодной свежей водой из колодца. В зеркальце, вправленном в дубовую стену беседки, я увидела себя. Я изменилась за эту ночь — щеки и губы были у меня бледные, как у утопленницы, глаза смотрели мертво, а веки распухли и покраснели.

Все разглядывали меня — я решила, что тайна моего сердца разоблачилась; я решила, что себя выдала. Даже самая маленькая, конечно, понимала, по ком я убиваюсь.

Изабелла — девочка, которую я когда-то выхаживала во время болезни, подошла ко мне. Неужто и она вздумала смеяться надо мной?

— *Que vous etes pale! Vous etes donc bien malade, Mademoiselle!* ^[443] произнесла она, держа пальчик во рту и глядя на меня с тоскливым глупым недоумением, которое в ту минуту показалось мне прекрасней самой тонкой проницательности.

Изабелла не единственная хранила полное неведение на мой счет; скоро я с благодарностью поняла, что никто ничего не заметил. У большинства всегда находятся другие заботы, кроме чтения в чужих сердцах и разгадки недомолвок. При желании секрет сохранить легко. В течение дня я одно за другим получала доказательства тому, что не только никто не догадывается о причине моей печали, но и вся моя душевная жизнь последнего полугода осталась всецело моим достоянием. Никто не дознался, никто не заметил, как среди всех людей мне стал дорог один. Сплетни меня миновали; ничье любопытство не задело меня; оба этих

чутких духа, порхая вокруг, меня попросту не замечали. Так иной будет жить в больнице, охваченной тифозной горячкой, и не подцепит заразу. Мосье Эманюель навевался то и дело, он спрашивал обо мне; мы занимались вместе; когда бы он ни вызывал меня, я к нему спускалась. «Мисс Люси, вас зовет мосье Поль», «Мисс Люси сейчас с мосье Полем» — без конца слышалось в доме; и никто этого не замечал и, уж разумеется, не осуждал. Ни намеков, ни шуток. Мадам Бек разгадала загадку; более никто ею не занимался. Мои нынешние страдания окрестили головной болью, и я приняла это название.

Но какая боль телесная сравнится с такой мукой? Знать, что он уехал не простясь, знать, что судьба и злые силы — завистливая женщина и священник-ханжа — не дали мне увидеть его на прощанье! И конечно, во второй вечер мне стало легче, чем в первый, и я так же неуютно, одиноко, отчаянно меряла шагами пустую комнату.

На сей раз мадам Бек уже не увещевала меня — она ко мне не явилась; она послала вместо себя Джиневру Фэншо и не могла выбрать удачней. При первых же словах Джиневры: «Ну как голова, очень болит?» (ибо Джиневра, как и все прочие, считала, что у меня болит голова — нестерпимо болит, и оттого я такая бледная и мечусь из угла в угол), — итак, при первых же ее словах мне захотелось бежать куда глаза глядят, только бы от нее подальше. Затем последовали ее жалобы на собственную головную боль — и они довершили успех предприятия.

Я побежала наверх. Я бросилась в постель — в жалкую свою постель, одолеваемая горькими чувствами. Не пролежала я и пяти минут, как от мадам явилась новая посланница — Готониха принесла мне какое-то питье. Меня мучила жажда — и я залпом выпила жидкость — она была сладкая, но я поняла, что в нее подсыпан сонный порошок.

— Мадам говорит, вы крепче заснете, — сказала Готониха, принимая от меня пустую чашку.

Ах! Она решила меня усыпить. Порошок был какой-то сильный. Предполагалось, что на одну ночь я успокоюсь.

Залегли ночник, все заснули, все стихло. Сон воцарился; он легко одолел тех, у кого не болели головы и сердца, — но миновал беспокойную.

Порошок подействовал. Уж не знаю, пересыпала или недосыпала его мадам; только подействовал он вовсе не так, как она хотела. Вместо оцепенения меня охватило лихорадочное беспокойство; на меня нахлынули мысли, странные, необычайные. Все силы мои напряглись, словно проснулись по сигналу побудки. Мечта оживилась и властно, победно завладела мной. Презрительно окинув взором грубую Существенность,

свою соперницу, Мечта повелела мне: «Вставай, лентяйка! Нынче ночью да будет моя воля!»

«Посмотри только, какая ночь!» — закричала Мечта; и отведя тяжелые ставни лишь ей одной присущим царственным движением руки, она показала мне полный месяц, плывущий по глубокому, яркому небу.

Мрак, теснота и спертый воздух спальни вдруг показались мне непереносимыми. Мечта манила меня прочь из этой берлоги, на волю, в росистую прохладу.

Моему мысленному взору странно рисовался полночный Виллет. Я увидела парк, летний парк, длинные, молчаливые, одинокие, укромные аллеи; а под сенью густых деревьев — каменную чашу водоема; я знала его и часто стаивала подле него, любуясь прозрачными прохладными струями и густым зеленым тростником по краям. Но что толку? Ворота парка закрыты, заперты, их охраняют, туда нельзя войти.

А вдруг можно? Тут стоило поразмыслить; ломая голову над этой задачей, я машинально принялась одеваться. И что оставалось мне делать, если сна у меня не было ни в одном глазу и я вся трепетала от головы до ног?

Ворота заперты, их охраняют часовые; но неужто же нельзя пробраться в парк?

На днях, проходя мимо, я, не придав, впрочем, никакого значения своему наблюдению, заметила проем в частоколе, и теперь этот проем всплыл у меня в памяти — я отчетливо увидела тесный узкий проход, загороженный стволами лип, стоящих стройной колоннадой. В проход не мог бы пролезть мужчина, ни дородная женщина наподобие мадам Бек; но я, наверное, могла через него протиснуться; во всяком случае, следовало попробовать. Зато, если я одолею его, весь парк будет мой — ночной, лунный парк!

Как сладко спали ученицы! Каким здоровым сном! Как мирно дышали! И во всем доме какая воцарилась тишина! Который теперь час? Мне вдруг понадобилось непременно это узнать. Внизу в классе стояли часы; отчего бы мне на них не взглянуть? При таком светлом месяце белый циферблат и черные цифры видны отчетливо.

Осуществлению моего плана не мог воспрепятствовать ни скрип дверных петель, ни стук задвижки. В жаркие июльские ночи не допускали духоты и дверей спальни не затворяли. Не выдадут ли меня половицы предательским стоном? Нет. Я знала, где отстаёт доска, и могла ее обойти! Дубовые ступеньки покряхтели под моими шагами, но чуть-чуть — и вот уже я внизу.

Двери классов все заперты на засов. Зато коридор открыт. Классы представляются моему воображению огромными мрачными застенками, упрятыми подальше от глаз людских, и призрачные, нестерпимые воспоминания томятся там взаперти, в оковах. Коридор весело бежит в вестибюль, а оттуда дверь открывается прямо на улицу.

Ш-ш-ш! Бьют часы. Хоть в этих стенах давно водворилась глубокая, монастырская тишина, сейчас только одиннадцать. В ушах моих еще не отзвенел последний удар, а я уже смутно улавливаю вдалеке гул не то колоколов, не то труб — звуки, в которых мешаются торжество, печаль и нежность. Как бы подойти поближе и послушать эту музыку подле каменной чаши водоема? Скорее, скорее туда! Что может мне помешать?

Тут же в коридоре висит моя соломенная шляпа, моя шаль. На высоких тяжелых воротах нет замка; и ключа искать не надобно. Ворота заперты на засов, и снаружи их не открыть, зато изнутри засов можно снять беззвучно. Справлюсь ли я с ним? Засов, словно добрый друг, тотчас безропотно поддается моим рукам. Я дивлюсь тому, как почти тотчас же отворяются ворота; я миную их, ступаю на мостовую и все еще дивлюсь тому, как просто я спаслась из тюрьмы. Словно какие-то благие силы укрыли меня, взяли под опеку и сами вытолкали за порог; я почти не прикладывала усилий к своему избавлению.

Тихая улица Фоссет! Вот она, эта ночь, тоскующая по прохожему, которая заранее рисовалась моему воображению; над головой у меня плывет ясный месяц; и воздух полон росой. Но здесь мне нельзя остановиться; мне надо бежать подальше отсюда; здесь бродят старые тени; слишком близко подземелье, откуда несутся стоны узников. Да и не того торжественного покоя я искала; лик этого неба для меня — лик смерти мира. Но в парке тоже тишина, я знаю, всюду теперь царит смертный покой, и все же — скорее в парк.

Я пошла знакомой дорогой и вышла к пышному, прекрасному Верхнему городу, отсюда-то и неслась та музыка, теперь она затихла, но вот-вот загремит вновь. Я пошла дальше; ни трубы, ни колокола не зазвучали мне навстречу; их заменил иной звук, как бы грохот волн могучего прибоя. И вдруг — яркие огни, людские толпы, россыпь перезвона — что это? Войдя на Гран-Плас, я словно по волшебству очутилась среди веселой, праздничной толчеи.

Виллет весь сверкает огнями; жители словно все до единого высыпали из домов; не видно ни месяца, ни неба; город затмил их своим блеском — нарядные платья, пышные экипажи, выхоленные кони и стройные всадники заполонили улицы. А вот и маски, сотни масок. Как это все странно,

удивительней всякого сна. Но где же парк? Я ведь, кажется, шла к парку, он должен быть совсем рядом. В соседстве шума и огней парк лежит тенистый и тихий, там-то, надо думать, нет ни факелов, ни людей, ни фонариков?

Я все еще задавалась этим вопросом, когда мимо меня проехала открытая карета, везя знакомых седоков. Она медленно пробиралась в густой толпе; нервно били копытами норовистые кони; я хорошо разглядела всех, кто был в карете; они же меня не заметили, во всяком случае, не узнали под складками шали и полями соломенной шляпы (в этой пестрой толпе никакая одежда не кидалась в глаза своей странностью). Я увидела графа де Бассомпьера; я увидела свою крестную, красиво одетую, миловидную и веселую; я увидела и Полину Мэри, увенчанную тройным нимбом — красоты, юности и счастья. Тому, кто видел ее сверкающее лицо и торжествующий взор, было уже не до блеска ее наряда; помню только, что вокруг нее развевалось что-то белое и легкое, словно брачные одежды; напротив нее сидел Грэм Бреттон; это его присутствие сообщало сияние ее чертам — свет в ее глазах был от него отраженным светом.

Я с тайной отрадой следила за ними, незамеченная, и я проводила их, как мне казалось, до самого парка. Они вышли из кареты (далее экипажи не пропускали), и уже их ждало новое великолепное зрелище. Что это? Над чугунными воротами высилась сверкающая, увитая гирляндами арка; я проследовала за ними под этой аркой — и где же мы оказались?

Волшебная страна, пышный сад, долина, усеянная сверкающими метеорами, леса, как драгоценными камнями разубранные золотыми и красными огоньками; не сень деревьев, но дивные чертоги, храмы, замки, пирамиды, обелиски и сфинксы; слыханное ли дело — чудеса Египта вдруг заполонили виллетский парк.

Не важно, что уже через пять минут я разгадала секрет, подобрала ключ к тайне и вновь обрела трезвость взгляда, не важно, что очень скоро мрамор оказался крашеным картоном — эти неизбежные открытия не вовсе разрушили чары, не вовсе перечеркнули чудеса необыкновенной ночи. Не важно, что я вскоре поняла причину всего этого праздника, который не нарушил монастырской тиши улицы Фоссет, но начался еще на рассвете и к полночи достиг наибольшего размаха.

В былые времена, гласит история, в судьбе Лабаскура случился роковой поворот, и бог знает что грозило правам и свободам доблестного его населения. Слухи о войнах (хоть и не самые войны) лишили страну покоя; уличные беспорядки ее сотрясали; строились баррикады; созывались войска; летели булыжники и даже пули. Предание уверяет, что тогда сложил голову не один патриот; в старом Нижнем городе почтительно

сберегается могила, где покоятся священные останки героев. Словом, как бы там ни было, а память возможно и впрямь существовавших мучеников отмечается и поныне каждый год, причем утром в храме Иоанна Крестителя служат по ним панихиду, а вечер посвящается зрелищам, иллюминации и гуляньям, какие и открылись сейчас моему взору.

Пока я разглядывала изображение белого ибиса^[444] на верхушке колонны, пока прикидывала длину озаренной факелами аллеи, в конце которой покоился сфинкс, общество, привлекавшее мое внимание, вдруг скрылось, верней растаяло, словно видение. Да и все происходило будто во сне; очертания расплывались, движения порхали, голоса звучали эхом, смутно и будто дразнясь. Вот Полина с друзьями исчезла, и я уже не знала, точно ли я видела их; и я не жалела, что теперь мне больше не за кем пробираться в толпе; я не горевала о том, что теперь мне не у кого искать защиты.

И ребенку нечего было бояться в этой праздничной толчее. Из окрестностей Виллета съехались чуть не все крестьяне, и достойные горожане, разодетые в пух и прах, высыпали на улицы. Моя соломенная шляпа мелькала незамеченная среди капоров и жакетов, легоньких юбочек и миткалевых мантилек; правда, я, предосторожности ради, хитро пригнула поля с помощью лишней ленты и чувствовала себя безопасно, как под маской.

Я благополучно прошла по улицам и благополучно вмешалась в самую гущу толпы. Не в моей власти было удержаться на месте и спокойно наблюдать; общий стих веселого буйства мне передался; я глотала ночной воздух, полнившийся внезапными вспышками света и взрывами звуков. Что до Надежды и Счастья — я с ними уже распростилась, но нынче я презрела Отчаяние.

Смутной целью моей было отыскать каменную чашу водоема с ясной водой и зеленым тростником; эта зелень и прохлада манили меня, как родник манит путника, изнывающего от жажды. Посреди грохота, блеска, толчеи и спешки я тайно мечтала приблизиться к круглому зеркалу, в которое смотрится тихая бледная луна.

Я хорошо знала дорогу, но внезапный шум или зрелище то и дело отвлекали меня, и я все время сворачивала то в одну, то в другую аллею. Вот я уже увидела густые деревья, окаймляющие зыбкую гладь, как вдруг над поляною справа грянул такой звук, словно разверзлись небеса, — верно, такой же точно звук грянул над Вифлеемом^[445] в ночь благих известий.

Песнь, сладкая музыка родилась где-то вдали, но неслась на стремительных крылах, неся сквозь ночные тени гармонию, столь мощную и сокрушительную, что, не будь у меня под боком дерева, я бы, верно, свалилась на землю. Голосов было без счета; пели разные и многие инструменты — я различила только рог. Словно само море завело дружную песнь волн.

Прибой накатил, а потом отхлынул, и я пошла следом за ним. Я пришла к постройке в византийском духе, вроде беседки, почти в самом центре парка. Вокруг стояла тысячная толпа, собравшаяся слушать музыку под открытым небом. Кажется, то был «Хор охотников»; ночь, парк, луна и собственное мое настроение удесятняли силу звуков и впечатление от них.

Здесь собрались знатные дамы, и при этом освещении все они казались очень красивыми; на одних были одежды из газа, на других из сверкающего атласа. Дрожали цветы и блонды и колыхались вуали, когда раскаты могучего хора сотрясали воздух. Большинство дам сидело в легких креслах, а у них за спиной и рядом стояли их спутники. Остальную толпу составляли горожане, простонародье и блюстители порядка. Среди них-то я и встала. Я с радостью поместилась рядом с коротенькой юбочкой и сабо, не будучи знакома с их владелицей, а потому не рискуя разделить ее шумные впечатления; я могла спокойно издали поглядывать на шелковые платья, бархатные мантильи и перья на шляпах. Мне нравилось быть одной, совсем одной посреди всего этого оживления и гама. Не имея ни сил, ни желания проталкиваться сквозь плотную людскую массу, я осталась в самом заднем ряду, откуда мне все было слышно, но видно немногое.

— Мадемуазель очень неудобно встали, — произнес голос у меня над ухом. Кто это осмелился заговорить со мной, когда я вовсе не расположена к беседе? Я оглянулась довольно сердито. Я увидела господина, совершенно мне незнакомого, как мне сперва показалось; но уже через мгновение я узнала в нем книгопродавца, снабжавшего улицу Фоссет книгами и тетрадями; в пансионе знали его за человека вздорного и резкого, даже с нами, оптовыми покупателями; я же была к нему скорей расположена и находила учтивым, а иногда и любезным; однажды он даже оказал мне услугу, взяв на себя труд разобраться вместо меня в скучной операции обмена иностранных денег. Он был неглуп; за суровостью его скрывалось доброе сердце; иной раз меня посещала мысль, что кое-что в нем схоже с кое-какими чертами мосье Эманюеля (который был с ним коротко знаком и которого я нередко заставляла у него за конторкой листаящим свежие номера журналов); этим-то сходством и объясняю я свою снисходительность к мосье Мире.

Странно сказать, но он узнал меня под соломенной шляпой и шалью; и, несмотря на мои протесты, он тотчас провел меня сквозь толпу и нашел для меня место поудобней; на этом не кончились его бескорыстные заботы; откуда-то он раздобыл мне стул. Я лишний раз убедилась в том, что люди суровые — часто отнюдь не худшие представители рода человеческого, и скромное положение в обществе отнюдь не доказательство грубости чувств. Мосье Море, например, нисколько не удивился, повстречав меня здесь одну; и счел это лишь поводом оказывать мне ненавязчивые, но деятельные знаки внимания. Подыскав для меня место и стул, он удалился, не задавая вопросов, не отпуская замечаний и вообще больше ничем не докучая мне. Недаром профессор Эманюель любил расположиться с сигарой в кресле у мосье Море и листать журналы — эти двое подходили друг к другу.

Я не просидела и пяти минут, как обнаружила, что случай и достойный буржуа вновь свели меня с уже знакомой семейной группой. Прямо напротив сидели Бреттоны и де Бассомпьеры. Рядом со мной — рукой подать располагалась сказочная фея, чей снежно-белый и нежно-зеленый наряд был словно соткан из лилий и листвы. Крестная моя сидела тут же, и подайся я вперед, ленты на ее капоре задрожали бы от моего дыхания. Совсем рядом сидели они; меня узнал человек почти чужой, и мне сделалось не по себе от соседства близких друзей.

Я вздрогнула, когда миссис Бреттон обернулась к мистеру Хоуму и, словно вдруг что-то припомнив, сказала:

— Интересно, как понравился бы праздник моей неколебимой Люси, если бы она тут оказалась? Надо бы нам захватить ее сюда, она бы порадовалась.

— Да, конечно, конечно, порадовалась бы на свой манер; жаль, мы ее не позвали, — возразил добрый господин и добавил: — Я люблю смотреть, как она радуется; сдержанно, тихо, но от души.

О милые, как я любила их тогда, как люблю и поныне, вспоминая их трогательное участие. Если б они знали, какая пытка согнала Люси с постели, довела чуть не до исступления. Я готова была повернуться к ним и ответить на их доброту благодарным взглядом. Мосье де Бассомпьер почти не знал меня, зато я его знала и ценила его душу, ее простую искренность, живую нежность и способность зажигаться. Возможно, я бы и заговорила, но тут как раз Грэм повернулся; он повернулся пружинисто и твердо, движение это было столь отлично от суетливых движений низкорослых людей; за ним гудела огромная толпа; сотни глаз могли встретить и поймать его взгляд — отчего же он устремил на меня всю силу синего,

пристального взора? И отчего, если уж ему так хотелось на меня посмотреть, не довольствовался он беглым наблюдением? Отчего откинулся он в кресле, упер локоть в его спинку и принялся меня изучать? Лица моего он не видел, я прятала его; он не мог меня узнать; я наклонилась, отвернулась, я мечтала остаться неопознанной. Он встал, хотел было пробраться ко мне, еще бы минута — и он бы меня разоблачил; и мне бы никуда от него не деться. Мне оставалось одно только средство — я всем своим видом выразила страстное желание, чтобы меня не тревожили; если б он настоял на своем, он, быть может, увидел бы наконец-то разъяренную Люси. Тут вся его доброта, прелесть и величие (а уж кто-кто, а Люси отдавала им должное) не усмирили бы ее, не превратили в покорную рабу. Он посмотрел и отступился. Он покачал красивой головой, но не произнес ни звука. Он снова сел и больше уж меня не тревожил, лишь один-единственный раз посмотрел на меня скорей просительно, нежели любопытно, пролил бальзам на все мои раны, и я совершенно успокоилась. Отношение Грэма ко мне ведь не было, в сущности, каменно равнодушным. Наверное, в солидном особняке его сердца было местечко на чердаке, где Люси мило приняли бы, вздумай она нагряться в гости. Нечего и сравнивать эту клетушку с уютными покоями, где привечал он приятелей; ни с залой, где он занимался своей филантропией, ни с библиотекой, где царила его наука; еще менее походил этот закуток на пышный чертог, где уже он готовил свой брачный пир; но постепенно долгое и ровное его участие убедило меня в том, что в его обиталище имеется кладовка, на двери которой значится «Комната Люси». В моем сердце тоже хранилось для него место, но точных размеров его мне не определить — что-то вроде шатра Пери-Бану.^[446] Всю жизнь свою я сжимала его в кулаке — а расслабь я кулак, кто знает, во что бы он разросся, быть может, в кущи для сонмов.

Несмотря на всю сдержанность Грэма, мне не хотелось оставаться рядом; мне следовало уйти подальше от опасного соседства; я дождалась удобной минуты, встала и ушла. Возможно, он подумал, возможно, он даже понял, что за шляпой и шалью скрывается Люси; уверенно сказать этого он не мог, раз он не видел моего лица.

Кажется, духу перемен и беспокойства пора бы утомиться? А мне самой не пора ли было сдаться и отправиться обратно домой, под надежную крышу? Ничуть не бывало. Одна мысль о моем ложе повергала меня в дрожь отвращения; я старалась всеми средствами от нее отвлечься. К тому же я сознавала, что нынешний спектакль далеко не кончился; едва лишь прочитан пролог; на устланной травой сцене царила тайна; новые

актеры прятались за кулисами и ждали выхода; так думала я; так мне подсказывало предчувствие.

Я брела без цели, куда ни толкало меня безучастное сборище, и наконец вышла на поляну, где деревья стояли группками или поодиночке и поредела толпа. До поляны едва долетала музыка, почти не достигал свет фонарей; но звуки ночи заменяли музыку, а полная яркая луна делала ненужными фонари. Здесь располагались, больше семьями, почтенные буржуа; к иным жалась выводки детей, которых они не отваживались вести в толчею.

Три стройных вяза, почти сплетаясь стволами, столь близко стояли они друг к другу, распростерли шатер листвы над зеленым холмом, где стояла довольно большая скамья, занятая, однако, лишь одной особой, тогда как остальные, пренебрегая счастливой возможностью усестись, почтительно стояли рядом; в их числе была и дама, державшая за руку девочку.

Девочка вертелась на каблуках, тянула спутницу за руку, немыслимо дергалась и ломалась. Ее выходы привлекли мое внимание и показались знакомыми; я вгляделась попристальней, знакомым показалось мне и ее платье; лиловая шелковая пелеринка, боа лебяжьего пуха, белый капор — все это составляло праздничный наряд слишком хорошо известного мне херувимчика и головастика — Дезире Бек, — и предо мной была именно Дезире Бек либо бесенок, принявший ее облик.

Открытие поразило бы меня словно гром с ясного неба, если бы мне не пришлось чуть попридержать эту гиперболу; потрясение мое тотчас достигло еще больших размеров. Чьи же пальцы так нещадно терзала прелестная Дезире, чью так беспечно рвала перчатку, чью руку так безнаказанно дергала и чей подол так бессовестно топтала, если не пальцы, перчатку, руку и подол своей достопочтенной матушки? В индийской шали и зеленом капоре, свежая, осанистая, безмятежная, рядом с ней стояла собственной персоной мадам Бек.

Любопытно! А я-то была уверена, что мадам Бек и Дезире вкушают сон праведниц в священных стенах пансиона в глубокой тиши улицы Фоссет. Без сомнения, точно то же думали и они про «мисс Люси»; и вот, однако ж, мы, все три, вкушали забавы в полуночном, залитом светом парке!

Но мадам уступала лишь давней привычке. Я вдруг вспомнила, как про нее говорили учительницы (просто я не придавала значения этим сплетням), что нередко, когда все полагают, будто мадам крепко спит в своей постели, она наряжается в пух и прах и уходит наслаждаться оперой, драмой или балом. Монашеский уклад был ей не по нутру, и она украшала

существование с помощью мирских сует.

Вокруг нее стояла горстка господ — ее друзей; кое-кого из них я тотчас узнала. Один был брат ее, мосье Виктор Кинт; в чертах другого господина усатого, длинноволосого, спокойного и молчаливого — я заметила печать сходства с другим человеком. Невозмутимое, неподвижное, лицо это все же напоминало другое лицо — нервное, живое, чуткое, лицо переменчивое, то мрачное, то сияющее, лицо, исчезнувшее с моих глаз долой, но освещавшее и омрачавшее лучшие дни моей жизни, лицо, в котором часто замечала я проблески таланта, которое таило его жар и секрет. Да, Жозеф Эманюель, сей спокойный господин, — напомнил мне своего неистового брата.

Рядом с Виктором и Жозефом я заметила еще одного знакомца. Он стоял в тени и сутулился, но больше других кидался в глаза благодаря своему платью и сверкающей лысине. То была духовная особа — отец Силас. Не вздумайте, читатель, искать в его присутствии на празднике несообразность. Не Ярмаркой тщеславия,^[447] но данью героям-патриотам почитала это гулянье святая церковь и решительно его поощряла. Парк так и кишел священнослужителями.

Отец Силас склонился над сельской скамьей и покоящейся на ней единственной фигурой; фигура была странная — бесформенная, но величавая. Правда, лицо и черты вырисовывались довольно отчетливо, но казались столь мертвенными и столь странно располагались, что впору предположить, будто голову отделили от корпуса и наобум приткнули к жерди, увешанной богатым товаром. Лучи фонарей высвечивали издалека яркие подвески и толстые кольца; ни стыдливость луны, ни отдаленность факелов не могли унять полыхающих красок убора. Здравствуйте, мадам Уолревенс! Вот уж подлинно исчадье ада! Но сия дама скоро сумела доказать, что она не выходец с того света; ибо, когда Дезире Бек слишком уж шумно потребовала, чтобы мать повела ее лакомиться в киоск, горбунья вдруг урезонила ее, вытянув тросточкой с золотым набалдашником.

Итак, мадам Уолревенс, мадам Бек, отец Силас — весь заговор, вся тайная хунта. Вид этой троицы доставил мне удовольствие. Я не дрогнула, не испытала ни смятения, ни испуга. Они превосходили меня в числе, и я была повержена к их ногам; но покуда не растоптана и жива.

Глава XXXIX

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ЗНАКОМЦЫ

Завороженная этими тремя головами, словно взором василиска, я не могла сдвинуться с места; они точно притягивали меня. Кроны деревьев укрывали меня своей тенью, ночь шепотом обещала не давать меня в обиду, пламя факела в руке служителя выбросило длинный язык, указав мне укромное место, и тотчас уплыло прочь. Но пора коротко рассказать читателю о том, какие мне в последние смутные недели удалось вывести заключения об отъезде мосье Эманюеля. Повесть будет недолгая, да она и не нова: маммона и корысть — ее альфа и омега.

Мадам Уолревенс, страшная, как индийский идол, пользовалась, кажется, подобающим идолу жреческим поклонением своих приспешников; и неспроста. Некогда она была богата, очень богата; ныне она не располагала средствами, но могла в один прекрасный день снова разбогатеть. В Бас-Тере в Гваделупе лежали обширные земли, которые она шестьдесят лет тому назад получила в приданое; после того как муж ее разорился, на них наложили арест; теперь арест сняли, и если бы за дело взялся с умом честный управляющий, они еще могли принести солидный доход.

Отец Силас вдохновился этими видами в интересах религии и церкви, которой мадам Уолревенс была преданной дочерью. Мадам Бек, дальняя родственница горбуны, зная, что у той нет прямых наследников, здраво взвесила все возможности и с предусмотрительностью любящей матери, корысти ради, заискивала перед нелюбезной с ней старухой. Мадам Бек и священник, стало быть, равно искренне и живо интересовались участью вест-индских богатств.

Но доходные земли далеко, и климат там опасный, а потому на роль умного управляющего подходил лишь человек преданный. Такого-то человека и держала двадцать лет на посылках мадам Уолревенс, сперва загубила его жизнь, а потом сосала из него соки; такого-то человека выучил и наставил на путь истинный отец Силас, опутав узами привычки, благодарности и убеждений. Этого человека знала и умела использовать мадам Бек. «Мой ученик, — решил отец Силас, буде он останется в Европе, может стать отступником, ибо связался с еретичкой». У мадам Бек были свои причины желать, чтобы его услали подальше, которые она предпочла

не высказывать: то, что не давалось ей в руки, она не хотела уступать никому. А мадам Уолревенс попросту желала вернуть свои земли и свои деньги и знала, что Поль, если захочет, сможет, как никто, сослужить ей эту службу; так трое себялюбцев взяли в оборот одного самоотверженного. Они уговаривали, они заклинали, они увещевали его, они покорно вручали ему свою судьбу. Они просили, чтобы он посвятил им всего-навсего три каких-то года — а потом пусть живет в свое удовольствие; а уж одна особа из троих, быть может, втайне желала ему живым не вернуться. А кто бы ни испрашивал его содействия, кто бы ни вверялся его заботам, мосье Поль попросту не мог отринуть ничьего ходатайства, ничьей доверенности не мог обмануть. Страдал ли он от необходимости покинуть Европу, каковы были собственные его виды и мечты — никто не знал, не задумывался, не спрашивал. Сама я ничего не понимала. Я могла только предполагать, о чем ведется речь на исповеди; я могла воображать, как духовный отец напирает на веру и долг, выставляя их главными доводами. Он исчез, не подав мне знака. Я осталась в неизвестности.

Опустив голову и уткнувшись лбом в ладони, я сидела среди кустов. Мне было слышно все, что говорилось по соседству; я сидела совсем близко; но долгое время ничего интересного они не говорили. Болтали о нарядах, о музыке, иллюминации, о погоде. То и дело кто-нибудь произносил: «Отличная погода, ему повезло; «Антига» (его судно) поплывет прекрасно». Но что это за «Антига», и куда направляется, и кого везет, не упоминалось.

Эта приятная беседа, кажется, занимала мадам Уолревенс не более, чем меня; она ерзала, беспокойно озиралась, вытягивала шею, вертела головой, вглядывалась в толпу, словно кого-то ожидая и досадуя на промедление.

— *Ou sont-ils? Pourquoi ne viennent-ils?*^[448] — то и дело бормотала она себе под нос; и вот, будто решившись наконец добиться ответа на свой вопрос — она громко выговорила одну фразу и довольно короткую, но фраза эта заставила меня вздрогнуть. — *Messieurs et mesdames,* — сказала она, — *ou donc est Justine Marie?*^[449]

Жюстин Мари? Как? Где Жюстин Мари — мертвая монахиня? Да в могиле, конечно, мадам Уолревенс, — вам ли этого не знать? Вы-то к ней скоро отправитесь, но она к вам уж никогда не вернется.

Так отвечала бы я ей, если бы от меня ждали ответа; но никто, кажется, не разделял моих мыслей; никто не удивился, не растерялся, никого не покорило. На сей удивительный, кощунственный, достойный

аэндорской волшебницы^[450] вопрос горбуны ответили преспокойно и буднично.

— Жюстин Мари, — сказал кто-то, — сейчас будет здесь. Она в киоске. Она вот-вот придет.

После этого вопроса и ответа перешли к новой теме, но болтовня осталась обычной болтовней, легкой, рассеянной, небрежной. Все обменивались намеками, замечаниями, столь отрывочными, столь неясными, ибо касались они людей, которых не называли, и обстоятельств, о которых не рассказывали, что, как ни вслушивалась я в разговор (а я теперь вслушивалась в него с живым интересом), я поняла только одно, что затевается какой-то план, связанный с призрачной Жюстин Мари — живой или мертвой. Семейная хунта, верно, всерьез занялась ею; речь шла о браке, о состоянии, но за кого ее прочили, я так и не поняла, возможно, за Виктора Кинта, возможно, за Жозефа Эманюеля, оба были холостяки. Потом мне было показалось, будто намеки метят в находившегося тут же молодого белокурого иностранца, которого называли Генрихом Миллером. Посреди всеобщего веселья и шуток мадам Уолревенс время от времени вдруг подымала ворчливый, недовольный голос; правда, нетерпенье ее несколько умерял неусыпный надзор упрямой Дезире, которая отступала от старухи лишь тогда, когда та замахивалась на нее палкой.

— La voila! — вдруг закричал один из собравшихся, — voila Justine Marie qui arrive!^[451]

Сердце во мне замерло. Я припомнила портрет монахини; вспомнила печальную любовную повесть; перед моим внутренним взором прошли смутный образ на чердаке, призрак в аллее, странная встреча подле berceau; я предвкушала разгадку, предчувствовала открытие. Ах, когда уж разгуляется наша фантазия, как нам ее удержать? Найдется ль зимнее дерево, столь нагое, или столь унылое жвачное, жующее ограду, которое мечта наша, скользящее облако и лунный луч не обратят в таинственное видение?

С тяжелой душой ожидала я чуда; дотоле я видела как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, теперь же увижу лицом к лицу. Я вся подалась вперед; я смотрела.

— Идет! — крикнул Жозеф Эманюель.

Все расступились, пропуская долгожданную Жюстин Мари. В эту минуту как раз мимо проносили светильник; пламя его, затмив бледный месяц, отчетливо высветило решительную сцену. Верно, стоявшие рядом со мной тоже ощущали нетерпенье, хоть и не в такой степени, как я. Верно,

даже самые сдержанные тут затаили дыхание. У меня же все оборвалось внутри.

Все кончено. Монахиня пришла. Свершилось.

Факел горит совсем рядом в руке у служителя; длинный язык пламени чуть не лижет фигуру пришельцы. Какое у нее лицо? В каком она наряде? Кто она такая?

В парке нынче столько масок, часы бегут и всеми до того овладел дух веселья и тайны, что объяви я, будто она оказалась вылитой монахиней с чердака, что на ней черная юбка, а на голове белый покров, что она похожа на видение из потустороннего мира — объяви я такое, и вы бы мне поверили, не так ли, любезный читатель?

Но к чему уловки? Мы не станем к ним прибегать. Будемте же и далее честно придерживаться бесхитростной правды.

Слово «бесхитростная» тут, однако, и не очень подходит. Моим глазам открылось зрелище не совсем простое. Вот она — юная жительница Виллета, девушка только что из пансиона. Она хороша собой и похожа на множество других здешних девиц. Она пышнотела, откормлена, свежа, у нее круглые щеки, добрые глазки, густые волосы. На ней обдуманый наряд. Она не одна; ее свита состоит из трех человек, двое из них стары, и к ним она обращается «mon oncle», «ma tante».^[452] Она смеется, она щебечет; резвая, веселая, цветущая она, что называется, настоящая буржуазная красотка.

И довольно о «Жюстин Мари»; довольно о призраках и тайне; не то чтоб я разгадала эту последнюю; девушка эта безусловно не моя монахиня; та, кого я видела на чердаке и в саду, была на голову выше ее ростом.

Мы насмотрелись на городскую красотку; мы с любопытством взглянули на почтенных тетюшку и дядюшку. Не пора ли бросить взор на третье лицо в ее свите? Не пора ли удостоить его внимания? Займемся же им, мой читатель; он имеет на то права; нам с вами встречать его не впервой. Я изо всех сил сжала руки и глубоко заглотнула воздух; я сдержала крик, так и рвавшийся из моей груди; я молчала, как каменная; но я его узнала; хоть глаза мои плохо видели после стольких пролитых слез, я узнала его. Говорили, что он отплывает на «Антиге». Мадам Бек так говорила. Она солгала или сказала в свое время правду, но когда обстоятельства переменились, не удосужилась о том сообщить. «Антига» ушла, а Поль Эманюэль стоял тут как тут.

Обрадовалась ли я? У меня словно гора с плеч свалилась. Но стоило ли мне радоваться? Не знаю. Какими обстоятельствами вызвана эта оттяжка? Из-за меня ли отсрочил он свой отъезд? А вдруг из-за кого-то другого?

Да, но кто же такая, однако, Жюстин Мари? Вы уже знакомы с ней, мой читатель, я видывала ее и прежде; она посещает улицу Фоссет; она частый гость на воскресных приемах у мадам Бек. Она родственница и ей и Уолревенсам; окрестили ее в честь святой монахини, которая, будь она жива, стала бы ей всего лишь тетушкой; фамилия ее Совёр; она сирота и наследница большого состояния, а мосье Эманюель ее опекун; говорят, он вдобавок ее крестный. Семейная хунта прочит ее замуж за своего же — но за кого? Вопрос насущный — за кого?

Как же я теперь обрадовалась, что снадобье, подмешанное в сладкое питье, возбудило меня и выгнало вон из дому. Всегда, всю жизнь мою я любила правду; я безбоязненно вхожу к ней в храм, я бесстрашно встречаю ее грозный взгляд. О могучая богиня! Облик твой, неясно различимый под покровами, часто пугает нас неопределенностью, но приоткрой свои черты, покажи свое лицо, слепящее безжалостной искренностью, — и мы задохнемся в несказанном ужасе, а задохнувшись, припадем к истокам твоей чистоты; сердца наши содрогнутся, кровь застынет в жилах, но мы сделаемся сильнее. Увидеть и узнать худшее значит победить Страх.

Компания, умножась в числе, совсем развеселилась. Мужчины принесли из киоска вина и закуски, все уселись на траве под деревьями; провозглашались тосты; смеялись, острили. Шутили над мосье Эманюелем, больше добродушно, но кое-кто и зло, особенно мадам Бек. Я скоро поняла, что путешествие отложено по собственной его воле, без согласия и даже против желания друзей; «Антига» ушла, и он заказал билет на «Поля и Виргинию», который отправится только через две недели. Они, труня, пытались выведать у него причину задержки, которую он обозначил весьма туманно, как «одно дело, очень для него важное». Но что за дело? Этого не знал никто. Впрочем, одно лицо, кажется, было в него посвящено, хотя бы отчасти. Мосье Поль обменивался значительными взглядами с Жюстин Мари.

— La petite va m'aider-n'est ce pas?^[453] — спросил он.

О господи, и с какой готовностью она ему ответила:

— Mais oui, je vous aiderai de tout mon coeur. Vous ferez de moi tout ce que vous voudrez, mon parrain.^[454]

И милый «parrain» взял ее ручку и поднес к своим губам. Я заметила, что юному тевтонцу Генриху Миллеру сцена эта не очень понравилась. Он даже проворчал несколько жалких слов, но мосье Эманюель засмеялся ему в лицо и с безжалостным торжеством победителя притянул к себе свою крестницу.

Мосье Эманюель в ту ночь веселился вовсю. Казалось, будущие перемены нисколько не заботили его и не тяготили. Он был душой общества; пожалуй, он даже тиранически направлял других в развлечениях, как и в трудах, но ему охотно уступали пальму первенства. Он всех острее шутил, всех смешней рассказывал забавные случаи, всех заразительней смеялся. Он лез из кожи вон, чтобы всех развлечь, всем угодить; но — о господи! — я заметила, для кого он особенно старался, я видела, у чьих ног лежал он на траве, я видела, чьи плечи он заботливо кутал в шаль, защищая от ночного холода, кого он охранял, лелеял, берег как зеницу ока.

Намеки все сыпались, и наконец я поняла, что покуда мосье Поль будет вдалеке, трудясь на благо других, другие, не чуждые благодарности, будут стеречь сокровище, оставляемое им в Европе. Пусть привезет он им из Индии золотые россыпи; в ответ он получит юную невесту с богатым приданым. Что же до святых обетов и постоянства — это позади: цветущее милое Настоящее восторжествовало над Прошлым; и монахиня ведь в конце концов действительно погребена.

Да, вот оно как все разрешилось. Предчувствие меня не обмануло; есть предчувствия, какие нас никогда не обманывают; просто сама я ошиблась было в расчетах; не поняв предсказаний оракула, я подумала, что речь в них идет о провидении, тогда как они касались жизни действительной.

Я могла бы и дольше наблюдать это зрелище; я могла бы помедлить, покуда не сделаю точных выводов. Иная, пожалуй, сочла бы посылки сомнительными, доказательства скудными; иной скептический ум отнесся бы с недоверием к намеренью человека бедного, бескорыстного и немолодого жениться на своей собственной богатой и юной крестнице; но прочь сомнения, прочь трусливые уловки. Довольно! Пора покориться всесильному факту, единственному нашему властелину, и склонить голову перед неопровержимой Истиной.

Я поспешила довериться своим выводам. Я даже судорожно уцепилась за них, как сраженный на поле боя солдат цепляется за рухнувшее рядом с ним знамя. Я отгоняла сомненья, призывала уверенность, и, когда она острыми гвоздями вонзилась мне в сердце, я поднялась, как показалось мне, совершенно обессиленная.

Я твердила в ослеплении: «Правда, — ты добрая госпожа для верных своих слуг! Покуда меня угнетала Ложь, как же я страдала! Даже когда притворство сладко льстило моему воображению, и то я казнилась всечасной пыткой. Тешась мыслью, что завоевала его привязанность, я не могла избавиться от ужаса, что вот-вот ее потеряю. Но вот Правда прогнала Притворство, и Лечь, и Надежды, и, наконец-то, я снова свободна!»

Свободной женщине оставалось только отправиться к себе, потащить домой свою свободу и начать думать о том, как этой свободой распорядиться. Комедию пока не сыграли до конца. Можно было бы еще полюбоваться на эти милые сельские радости, на нежности в тени деревьев. Воображение мое в тот час работало щедро, напряженно и живо и нарисовало картину самой горячей любви там, где иной, быть может, вообще ничего бы не заметил. Больше я смотреть не хотела. Я собрала всю свою решимость и более не собиралась себя переламявать. К тому же сердце мне когтил такой страшный коршун, что я уже не могла оставаться на людях. До той поры, думаю, я не извела ревности. Я закрывала глаза и затыкала уши, чтобы не наблюдать любви Джона и Полины, но все равно не могла не признать в ней прелести и гармонии. Нынешнее же зрелище оскорбляло меня. Любовь, рожденная лишь красотой, — не по моей части; я ее не понимаю; все это просто не касается до меня; но иная любовь, робко пробудившаяся к жизни после долгой дружбы, закаленная болью, сплавленная с чистой и прочной привязанностью, отчеканенная постоянством, подчинившаяся уму и его законам и достигшая безупречной полноты, Любовь, насмеявшаяся над быстрой и переменчивой Страстью, — такая любовь мне дорога; и я не могу оставаться безучастным свидетелем ни торжества ее, ни того, как ее попирают. Я покинула общество под деревьями, веселую компанию. Было далеко за полночь, концерт окончился, толпа редела. Я вместе с другими направилась к выходу. Оставив озаренный огнями парк и залитый светом Верхний город (до того светлый, будто в Виллете настали белые ночи), я углубилась в темную улочку.

Она была даже не совсем темная, ибо ясная луна, такая незаметная среди огней, здесь снова щедро изливала ласковое сияние. Она плыла в высоком небе и спокойно светила оттуда. Музыка и веселье праздника, пламя факелов и блеск фонарей заглушили было ее и затмили, но вот тихость лунного лика вновь восторжествовала над сверканьем и гамом. Гасли фонари; а она, как белая парка,^[455] смеялась в вышине. Барабаны и трубы отдудели, отгремели свое, и о них забыли; она же вычерчивала по небу острым лучом свою вечную повесть. Она да еще звезды вдруг показались мне единственными свидетелями и провозвестниками Правды. Ночные небеса озаряли ее царство; неспешно вращались они, медленно приближая ее торжество, и движение это всегда было, есть и пребудет отныне и до века.

Узкие улочки словно замерли; я радуюсь тишине и покою. Время от времени меня обгоняют направляющиеся по домам горожане, но они идут

пешком, без грохота и скоро проходят. Ночной пустынный Виллет так нравится мне, что впору и не спешить под крышу, однако же мне надо незаметно лечь в постель до возвращения мадам Бек.

Вот всего одна улочка отделяет меня от улицы Фоссет; я сворачиваю в нее, и тут впервые грохот колес нарушает глубокий мирный сон квартала. Карета катит очень быстро. Как громко стучат колеса по булыжной мостовой! Улица узкая, и я осторожно жмусь к стене. Карета мчит мимо, но что же я вижу — или мне это почудилось? Но нет, что-то белое, и точно, мелькнуло в окошке, словно из кареты помахали платочком. Не мне ли предназначался этот привет? Значит, меня узнали? Но кто же мог узнать меня? Это карета ни мосье де Бассомпьера, ни миссис Бреттон; да и улица Крести и «Терраса» совсем в другой стороне, далеко отсюда. Впрочем, у меня уже нет времени строить догадки; надо спешить домой.

Я добралась до улицы Фоссет, до пансиона; все тихо; мадам Бек с Дезире еще не вернулись. Я оставила незапертой входную дверь, а вдруг ее заперли? Вдруг ее захлопнуло ветром и щеколда защелкнулась? Тогда уж ничего не поделаешь, тогда — полный провал. Я легонько толкнула дверь; подается ли она? Да, и она подалась, беззвучно, послушно, словно благие силы только и дожидались моего возвращения. Затаив дыханье, я сняла туфли и бесшумно поднялась по лестнице, вошла в спальню и направилась к своей постели.

Ах! Я направилась к ней и чуть не вскрикнула — но сдержалась, слава богу!

В спальне, во всем доме в тот час царила мертвая тишина. Все спали, и даже дыханья не было слышно. На девятнадцати постелях лежало девятнадцать тел, простертых, недвижных. На моей — двадцатой по счету — никому бы не следовало лежать; я оставила ее пустой и пустой намеревалась найти. Но что же увидела я в тусклом луче, пробивавшемся сквозь плохо задернутые шторы? Что за существо — длинное, плоское, странное — нагло заняло мое ложе? Не грабитель ли пробрался с улицы и затаился, выжидая удобного часа? Черное что-то и — кажется, — даже непохожее на человека! Уж не бродячая ли собака забрела к нам ненароком? Сейчас вскочит, залает на меня! Подойду-ка я. Смелее!

Но тут голова у меня закружилась, ибо в свете ночника я различила на своей кровати образ монахини.

Крик в ту минуту погубил бы меня. Что бы ни случилось, мне нельзя было ужасаться, кричать, падать в обморок. Я овладела собой; да и нервы мои закалились после последних событий. Еще разгоряченная музыкой, огнями, шумом толпы и подстегнутая новым испытанием, я смело

двинулась к призраку. Не проронив ни звука, я бросилась к своей постели; загадочное существо не вскочило, не прыгнуло, не шелохнулось; шевелилась, двигалась и чувствовала лишь одна я, это вдруг подсказал мне безошибочный инстинкт. Я схватила ее инкубу!^[456] Я стащила ее с постели — ведьму! Я потрянула ее — тайну! И она рухнула на пол и рассыпалась лоскутами и клочьями, и вот уже я попирала ее ногами. Ну полюбуйтесь-ка, опять — голое дерево, Росинант, выведенный из стойла; и обрывки облаков, зыбкий лунный луч. Высокая монахиня оказалась длинным брусом, окутанным длинной черной робой и искусно украшенным белой вуалью. Одежда, как ни странно, была подлинная монашеская одежда, и чья-то ловкая рука хитро приладила ее на брус, обманывая взоры. Откуда взялась эта одежда? Кто все подстроил? Я терялась в догадках. К вуали был пришпилен листок бумаги, на котором чье-то насмешливое перо вывело следующие слова:

«Монахиня с чердака завещает Люси Сноу свой гардероб. Больше ее на улице Фоссет не увидят».

Но кто же такая была она, мучившая мое воображение? Кого трижды видела я воочию? Ни одна из знакомых мне женщин не обладала столь высоким ростом. Рост был не женский. И ни одного из знакомых мне мужчин я не могла заподозрить в подобном коварстве.

Все еще теряясь в догадках, но внезапно полностью освободясь от мистических и суеверных мыслей, положив за благо не ломать себе голову над глупой да и неразрешимой тайной, я, не долго думая, собрала робу и вуаль, сунула их под подушку, легла в постель и, когда услышала скрип колес воротившейся кареты мадам Бек, повернулась на другой бок и, истомленная многими бессонными ночами и, возможно, сраженная наконец-то злополучным зельем, крепко заснула.

Глава XL

СЧАСТЛИВАЯ ЧЕТА

День, последовавший за этой фантастической ночью, тоже был днем необычным. Я не хочу сказать, что он принес великие знаменья с неба и чудеса земные; я не намекаю и на потрясения метеорологические — бури, вихри, потопа, ураганы. Напротив того, солнце сияло весело, как ему и подобает сиять в июле. Заря украсилась рубинами, набрала полный подол роз и сыпала их оттуда, как из рога изобилия; часы, свежие, словно нимфы, излили на ранние холмы чаши росы и, стряхнув с себя туманы, лазоревые, яркие, светлые, повлекли колесницу Феба по безмятежным вышним просторам.

Короче говоря, стоял ясный летний день, прекрасный, лучше и пожелать нельзя; но боюсь, что кроме меня на улице Фоссет ни одна душа этого даже не заметила. Всех занимали другие мысли; я тоже не совсем осталась им чужда; но коль скоро они не содержали для меня той неожиданности, новизны и странности, а главное таинственности, какую ошеломили других обитателей пансиона, я одна и могла предаваться побочным рассуждениям.

Однако ж, гуляя по саду, любясь солнцем и цветами, я невольно думала о занимавшем всех в доме происшествии.

Каком же?

Да вот о каком. Когда читали утренние молитвы, одно место среди молеальщиц оказалось незанятым. Когда отзавтракали, на столе осталась нетронутая чашка кофе. Когда служанка стелила постели, в одной она обнаружила брус, одетый в ночную рубашку и чепчик; а когда учительница музыки пришла, как всегда в ранний час, дать урок Джиневре Фэншо, ей отнюдь не удалось обнаружить присутствия этой многообещающей и блистательной особы.

Мисс Джиневру Фэншо искали повсюду; обшарили весь дом; тщетно; ни следа, ни знака, нигде не нашли даже записки; прелестная нимфа исчезла, пропала прошлой ночью, словно падучая звезда, растаявшая во тьме.

Классные дамы ужасались, еще более ужасалась оплошавшая директриса. Никогда не видывала я мадам Бек столь бледной и потерянной. Ее задела за живое, ее интересам нанесли урон. Как могла произойти такая

нелепица? Как удалось ускользнуть беглянке? Окна все закрыты, не разбиты стекла, двери надежно заперты! Мадам Бек и по сей день не удалось разрешить эту загадку, да и никто ее не разгадал, если не считать некоей Люси Сноу, которая не забыла, каким образом ради одного предприятия парадная дверь была отворена, а затем тщательно прикрыта, но уж какое там надежно заперта! Тут кстати вспоминалась и грохочущая карета, запряженная парой, и нежданное приветствие — взмах платочка из окна.

Из этих и еще двух-трех посылок, недоступных никому, кроме меня, я делала единственный вывод. Джиневра сбежала с женихом. Будучи в этом уверена и видя глубокое недоумение мадам Бек, я в конце концов поделилась с ней своими соображениями. Коснувшись сватовства мосье де Амаля, я убедилась, как и ожидала, что мадам Бек знала о нем сама. Она давно уже обсуждала событие с миссис Чамли и переложила всю ответственность за дальнейшее на плечи сей почтенной особы. И сейчас она бросилась за помощью к миссис Чамли и мосье де Бассомпьеру.

В особняке Креси уже обо всем было известно. Джиневра написала к кухне Полли, туманно намекая на свои брачные виды; семейство Амаль подняло тревогу; мосье де Бассомпьер взялся поймать беглецов. Но он настиг их слишком поздно.

Через неделю почтальон доставил мне письмо. Приведу его полностью; оно на многое проливает свет:

«Милый старый Тим (сокращенное от Тимон), — как видите, я — того исчезла. Мы с Альфредом почти с самого начала решили улепетнуть; пусть других окручивают по всем правилам; Альфред не такой дурак, да и я — грех жаловаться, кажется, тоже. Между прочим, Альфред, который прежде называл Вас «Дуэньей», в последнее время так часто видел Вас, что от души к Вам привязался. Он надеется, Вы не будете слишком страдать от разлуки с ним; он просит у Вас прощенья, если невольно чем-нибудь Вам досадил. Он боится, что некстати нагрянул к Вам на чердак, когда Вы читали посланье, кажется, для Вас весьма важное; но уж очень ему хотелось Вас напугать в ту минуту, когда Вы забыли обо всем на свете, кроме автора письма. Правда, и вы нагнали на него страху, когда вбежали за платьем, или шалью, словом, за каким-то тряпьем, а он как раз зажег свет и собрался уютно подымить сигарой, пока я не вернусь домой.

Начали ли Вы наконец постигать, что граф де Амаль и есть монахиня с чердака и что он навещал Вашу покорную слугу? Сейчас расскажу, как он все это устроил. Понимаете ли, он вхож в Атений, где обучается кое-кто из его племянников, сыновья его старшей сестры, мадам де Мельси. А двор

Атенея расположен по другую сторону стены, высящейся вдоль *allée defendue*, где Вы так любите прогуливаться. Альфред взбирается на высокие стены с той же ловкостью, с какой он танцует и дерется на шпагах; он штурмовал наш пансион, сперва взбираясь на стену, затем с помощью большого грушевого дерева, развесившего ветви над *betceau* и упирающегося сучьями в нижний этаж нашего дома, он проникал в старший класс и в столовую. Между прочим, как-то ночью он свалился с этой груши, сломал ветки и чуть не сломал себе шею, и потом, удирая, до смерти перепугался потому, что чуть не попался в лапы к мадам Бек и мосье Эмануэлю, которые шли по аллее. Ну, а уж из столовой проще простого забраться этажом выше и наконец на чердак; стеклянную крышу, сами знаете, из-за духоты не закрывают ни днем ни ночью; через нее-то он и влезал. Примерно год назад я передала ему рассказ про монахиню; и у него родилась романтическая затея загробного маскарада, которую, согласитесь, он очень мило осуществил.

Если б не черная роба и не белая вуаль, его бы уж давно сцапали Вы или этот жуткий иезуит мосье Поль. Вас обоих он считает тонкими спиритами и отдает должное Вашей отваге. Я-то лично дивлюсь не столько Вашей храбрости, сколько скрытности. Как это Вы сносили посещение длинного призрака и ни разу себя не выдали, никому ничего не сказали, не подняли на ноги весь дом?

Ну, а понравилась ли Вам монахиня в постели? Тут уж я сама ее нарядила. Что Вы на это скажете, а? Небось закричали, когда ее увидели? Я бы на Вашем месте просто рехнулась! Ну, да ведь у Вас какие нервы! Железные нервы. Вы, верно, вообще ничегошеньки не ощущаете. Разве можно Вашу чувствительность сравнить, например, с моей? Вы, по-моему, не знаете ни боли, ни страха, ни печали. Вы настоящий старик Диоген.

Ну хорошо, ходячая добродетель! Надеюсь, Вы не очень сердитесь, что я выкинула такую штуку? Уверяю Вас, мы отлично позабавились, я вдобавок насолила несносной жеманнице Полине и глупому увальню доктору Джону; я доказала им, что напрасно они дерут нос, я не хуже них могу замуж выйти! Мосье де Бассомпьер сперва почему-то ужасно рассвирепел; кричал на Альфреда, грозился поднять дело о «*detournement de mineur*»^[457] и бог знает чем еще грозился; словом, такую трагедию разыграл, что мне пришлось тоже к нему подлаживаться, падать на колени, плакать, рыдать, выжимать три носовых платка. Разумеется, «*mon oncle*»^[458] скоро сдался; да и что толку поднимать шум! Я замужем — и баста. Он мне толкует, что брак незаконный, потому что я, мол, слишком

молода, вот умора! Я замужем, и какая разница, сколько мне лет! К тому же мы еще раз поженимся, и я получу свое *trousseau*,^[459] и миссис Чамли им распорядится; надо надеяться, мосье де Бассомпьер меня не обделит, да и как же иначе, ведь у бедняжки Альфреда за душой ничего, кроме знатности, родословной и жалованья. Если бы дядюшка повел себя, наконец, как благородный человек! А то, представьте, он требует от Альфреда письменного обещанья не притрагиваться к картам с того дня, как он выдаст мне приданое. Моего ангела обвиняют в пристрастии к картам; я про это ничего не знаю, зато знаю, что он чудо как мил.

У меня не хватает слов достойно описать изобретательность де Амаля при нашем побеге. Какой он умница, что выбрал праздничную ночь, когда мадам (а он ее обычаи знает) не могла не отправиться в парк. Ну, а Вы, верно, ее сопровождали. Часов в одиннадцать Вы встали и вышли из спальни. Не пойму только, отчего Вы вернулись пешком и одна. Ведь это Вас встретили мы на узкой старой улочке святого Иоанна? Видали Вы, как я помахала Вам платочком?

Adieu! Порадуйтесь же моей удаче; поздравьте меня с совершеннейшим счастьем и, милый циник и мизантроп, примите мои искренние и нежные пожеланья. Ваша Джиневра Лаура де Амаль, урожденная Фэншо.

P.S. Не забудьте, я теперь графиня. Как обрадуются папа, мама и девчонки! «Моя дочь графиня! Моя сестра графиня!» Браво! — звучит получше, чем миссис Бреттон, *hein?*»^[460]

Приближаясь к концу жизнеописания мисс Фэншо, читатель, без сомненья, ждет, когда же она горько расплатится за беспечные грехи юности. Разумеется, не весь путь ее усеян розами.

То, что мне известно о дальнейшей ее участи, можно пересказать в немногих словах.

Я увидела ее в конце ее медового месяца. Она посетила мадам Бек и вызвала меня в гостиную. Она с хохотом бросилась ко мне в объятья. Выглядела она премило; еще длинней стали локоны, еще ярче румянец; белая шапочка и вуаль из фламандских кружев, флердоранж и подвенечное платье послужили ей к украшению.

— Я получила свою долю! — тотчас выпалила она. (Джиневра всегда тяготела к существенному; по-моему, она отличалась коммерческим складом ума, несмотря на все свое презрение к «буржуазии».) — Дядя де Бассомпьер совершенно смирился. Пусть его называет Альфреда

лоботрясом, это он от грубого шотландского воспитания; Полина, верно, мне завидует, доктор Джон умирает от ревности, того гляди, пустит себе пулю в лоб — а я так счастлива! Больше мне и желать нечего, разве что карету, но ах — я же Вам еще не представила «mon mari».^[461] Альфред, поди-ка сюда!

И Альфред явился в дверях задней гостиной, где он беседовал с мадам Бек, осыпавшей его поздравленьями и упреками вместе. Меня рекомендовали ему под разными именами — Дуэньи, Диогена, Тимона. Юный полковник держался весьма любезно. Он принес мне учтивейшие и ловкие извиненья за монахиню и прочее, заключив свои слова жестом в сторону молодой жены и восклицаньем: «Кто, глядя на нее, не простит мне моих прегрешений!»

Затем молодая жена отослала его снова к мадам Бек, а сама завладела мною и обрушила на меня безудержные описания своих настроений и прочих пустой девичий вздор. Она хвасталась своим кольцом, она называла себя госпожой графиней де Амаль и сто раз спрашивала, каково это на слух. Я больше молчала. С ней я держалась сурово. Не беда; она и не ждала от меня ласковостей, мои колкости доставляли ей удовольствие, и чем моя мина делалась натянутой и скучней, тем безмятежней хохотала Джиневра.

Вскоре после женитьбы мосье де Амаля, чтобы отлучить его от сомнительных связей и привычек, убедили выйти в отставку; ему доставили место атташе, и они с женой отправились за границу. Я думала, что теперь она, наконец, забудет обо мне, но не тут-то было. Много лет она время от времени ни с того ни с сего вдруг посылала мне письма. Первые года два речь в них шла лишь о ней самой и об Альфреде; затем Альфред отступил в тень; осталась она и некая новая особа; Альфред Фэншо де Бассомпьер де Амаль прочно воцарился на месте отца; она на все лады превозносила это близкое ей лицо; пространно живописала проявленные им чудеса сообразительности и осыпала меня пылкими укоризнами, когда я в ответ отваживалась выражать скромные сомнения. Я-де не понимаю, «что такое любовь к ребенку», я, мол, «бесчувственное существо и радости материнства для меня китайская грамота» и прочее. Сей юный господин подвергался, разумеется, всем испытаньям, положенным ребенку природой, — у него резались зубки, он болел корью и коклюшем; но чего только в ту пору не претерпела я, бедная. Письма любящей маменьки стали просто сигналами бедствия; ни на одну женщину не сыпались такие невзгоды; никто никогда так не нуждался в сочувствии; скоро я, однако же, поняла, что не так страшен черт, как его малюют, и погрязла в своей обычной сухой бесчувственности. А юный страдалец каждую бурю сносил

как герой. Пять раз был этот несчастный «in articulo mortis»^[462] и чудом выжил все пять раз.

Через несколько лет началось недовольство Альфредом Первым; мосье де Бассомпьеру приходилось вмешиваться, платить долги, из которых часть принадлежала к числу давящих и сомнительных «долгов чести»; сетования и затруднения все учащались. И каковы бы ни были ее неприятности, Джиневра, как и встарь, истово взывала о помощи и поддержке. Ей и в голову не приходило самой бороться с волнами житейского моря. Она знала, что так или иначе своего добьется, загребала жар чужими руками и продолжала жить припеваючи, как никто.

Глава XLI

ПРЕДМЕСТЬЕ «КЛОТИЛЬДА»

Не пора ли, однако, вернуться к Духам Свободы и Обновления, обретенным мной в ту праздничную ночь? Не пора ли рассказать о том, как сложились дальнейшие мои отношения с двумя этими дюжими приятелями, которых я привела с собой из парка?

На другой день я стала испытывать их верность. Они громко хвастались своей силой, когда спасали меня от любви и ее уз, но стоило мне потребовать с них дел, а не слов, свидетельств облегчения и удобства новой вольной жизни — как Дух Свободы извинился тем, что несколько поиздержался, иссяк и помочь мне не в состоянии; Дух же Обновления вообще молчал; ночью он скоропостижно скончался.

Мне ничего не оставалось, как втайне предполагать, что выводы мои, быть может, и чересчур поспешны, и вновь перебирать доводы иссушающей ревности. После недолгой и тщетной борьбы я снова оказалась на дыбе, где меня терзали смутные надежды и вопросы.

Увижу ли я его перед разлукой? Вспомнит ли он обо мне? Намеревается ли прийти? А вдруг он явится нынче, тотчас? Или опять меня ждет пытка долгого ожидания, щемящая тоска разлада и нестерпимая боль оттого, что сомнение и надежду вырывают из сердца одновременно? И руку, учиняющую эту жестокость, не смягчить и не разжалобить, ибо она далеко!

Было успенье; классов, разумеется, не было. Учителя и пансионеры, отстояв долгую службу, отправились на загородную прогулку, с тем чтобы позавтракать или пообедать где-нибудь на лоне природы. Я с ними не пошла, потому что оставалось всего двое суток до отплытия «Поля и Виргинии», и я хваталась за последнюю надежду, как утопающий за соломинку.

В старшем классе вели плотницкие работы — чинили то ли столы, то ли скамьи; выходные дни часто использовали для подобных предприятий, каким мешает шумное присутствие учениц. Я одиноко сидела у стола и собиралась выйти в сад, но уныло это откладывала, когда услышала шаги.

Здесьние мастеровые и слуги все делают сообща; наверное, чтобы забить гвоздь, и то понадобилось бы двое лабаскурских плотников. Надевая капор, до тех пор праздно свисавший на лентах с моего локтя, я невольно

подивилась тому, что слышу шаги всего одного «ouvrier».^[463] Я заметила еще (так узник в темнице досуже замечает всякие мелочи), что на пришедшем не сабо, а туфли; я заключила, что, верно, это подрядчик хочет сперва поглядеть, какую работу задать поденщикам. Я закуталась в шаль. Он приближался; он отворил дверь; я сидела к ней спиной; и вдруг я вздрогнула, меня охватило странное, безотчетное волнение. Я встала и обернулась к «подрядчику»; взглянув на дверь, я увидела в ее проеме мужскую фигуру, и глаза мои тотчас запечатлели в моем мозгу изображение мосье Поля. Сотни молитв возносим мы к небесам, и они не сбываются. И вдруг золотой дар нежданно падает к нам с высоты полное, яркое и безупречное благо.

Мосье Эманюэль приоделся, верно, уже для путешествия — на нем был сюртук с бархатными отворотами; мне казалось, что он совсем собрался ехать, однако ж я помнила, что до отхода «Поля и Виргинии» осталось целых два дня. Он выглядел свежим и довольным. Приветливый взгляд светился добротой; порывисто переступил он порог; он чуть не бегом подбежал ко мне; он был само дружелюбие. Верно, мысль о невесте так его ободряла. Чему бы он ни радовался, я не хотела смущать его веселость. Я не хотела портить последнюю нашу встречу нарочитым принуждением. Я любила его, я очень его любила и не могла позволить даже самой Ревности испортить доброе прощанье. Одного сердечного слова, одного ласкового взгляда его мне достало бы на всю мою дальнейшую жизнь; ими утешалась бы я в теснинах моей оставленности; я готовилась испить блаженную чашу до дна и не дать гордости расплескать драгоценную влагу.

Конечно, свиданье наше будет коротким; он скажет мне в точности то же, что говорил каждой из провожавших его учениц; он пожмет мне руку; он коснется губами моей щеки в первый, последний, единственный раз — и ничего больше. А дальше — последнее расставанье, дальше разлука, пропасть между нами, которую мне уж не перейти и через которую он на меня не оглянется.

Одной рукой он взял меня за руку, а другою сдвинул мне на затылок капор; он смотрел мне в лицо; улыбка сошла с его губ, губы его сложились в жалостную гримаску, почти как у матери, видящей, что ребенок ее внезапно исхудал, занемог или ему грозит беда. Но тут нам помешали.

— Поль, Поль! — раздался откуда-то сзади задыхающийся женский голос. Поль, пойдемте-ка в гостиную; мне столько всего нужно вам сказать — на целый день разговору хватит — и Виктор тоже хочет вас видеть; и Жозеф. Идемте же, Поль, вас ждут друзья.

Мадам Бек, руководимая чутьем или бдительностью, оказалась совсем рядом, едва не бросилась между мосье Эмануелем и мной.

— Идемте, Поль! — повторила она, и глаза ее так и вонзились в меня. Она метнулась к своему родственнику. Он, кажется, отступил; я решила, что он сейчас уйдет. Осмелев от нестерпимой муки, я перестала сдерживаться и крикнула:

— У меня сердце разорвется!

Мне казалось, что у меня в буквальном смысле слова сейчас будет разрыв сердца; но тут я услышала шепот мосье Поля «положитесь на меня», и рухнули плотины, разверзлись хляби, я не могла унять слез, я всхлипывала, меня бил озноб — но я почувствовала облегчение.

— Оставьте ее со мной; это кризис; я дам ей сердечные капли, и все пройдет, — спокойно произнесла мадам Бек.

Остаться с ней и с ее сердечными каплями было для меня все равно что остаться наедине с отравителем и отравленной склянкой. Когда мосье Поль отвечал глухо, хрипло и коротко: «Laissez moi!»^[464] — его ответ прозвучал для меня как странная, напряженная, но жизнетворная музыка.

— Laissez moi! — повторил он, и ноздри у него раздулись и в лице задрожала каждая жилка.

— Нет, это не дело, — строго сказала мадам.

Но родственник ее возразил еще строже:

— Sortez d'ici!^[465]

— Я пошлю за отцом Силасом; я сейчас же за ним пошлю, — упрямо грозила она.

— Femme! — закричал профессор, голосом уже не глухим, но срывающимся и пронзительным. — Femme! Sortez a l'instant!^[466]

Он был сам не свой от гнева, и в эту минуту я любила его как никогда.

— Вы поступаете неправильно, — продолжала мадам, — так всегда поступают мужчины вашего склада, неосновательные фантазеры; необдуманый, нелепый, ни с чем не сообразный шаг; поступок досадный и недостойный уважения в глазах людей более положительных и твердых.

— Что знаете вы о моей положительности и твердости? — сказал он. — Но вы еще в них убедитесь; вы увидите их на деле. Модеста, — продолжал он несколько смягчаясь, — постарайтесь быть доброй, отзывчивой, будьте женщиной; посмотрите на ее несчастное лицо и сжальтесь. Вы знаете, я вам друг и друг вашим друзьям; при всех ваших колкостях, вы прекрасно знаете, что на меня можно положиться. Я легко бы пожертвовал собой, но сердце во мне обрывается от того, что я вижу; этому

пора положить конец. Оставьте меня!

На сей раз это «оставьте меня» было столь горько и повелительно, что я даже от самой мадам Бек ожидала немедленного повиновения; но она не двинулась; она неустрашимо смотрела на него; она гордо встретила его неумолимый взгляд. Она уже открыла рот для ответа; но тут лицо мосье Поля озарилось странным огнем; не могу точно обозначить пылавшее на нем чувство; то не был гнев, в чертах сохранялась даже учтивость; он протянул руку, он едва коснулся мадам Бек; но она побежала, она выбежала вон из комнаты, хлопнув дверью.

Мосье Поль тотчас пришел в себя. Он улыбнулся и велел мне утереть слезы; он терпеливо ждал, пока я успокоюсь, время от времени роняя добрые утешительные слова. Скоро я уже сидела с ним рядом, почти овладев собой уже не вздрагивала, не рыдала; уже не чувствовала отвращения к жизни, бездны одиночества, уже не мечтала умереть.

— Значит, вам жаль было терять друга? — спросил он.

— Меня убивало, что я забыта, мосье, — отвечала я. — Все эти трудные дни я не слышала от вас ни слова и страдала от подозрения, выраставшего в уверенность, что вы можете уехать, не простясь со мной!

— Повторить вам то же, что я говорил и Модесте Бек, — что вы не знаете меня? Показать вам свой характер, объяснить вам его? Вам доказательств надобно, что я друг верный? Без неопровержимых доказательств эта рука не станет покоиться в моей руке, не обопрется о мое плечо, как на надежную опору? Хорошо же. Вам будут доказательства. Я оправдаюсь.

— Говорите, объясняйте, оправдывайтесь, мосье. Я вас слушаю.

— Но сперва вы должны отправиться вместе со мной довольно далеко в город. Я нарочно пришел за вами.

Не задавая ему никаких вопросов, ничего не выпытывая и не противясь даже для виду, я завязала капор и приготовилась сопровождать мосье Поля.

Он пошел бульварами; несколько раз он останавливался и усаживал меня на скамейку под липами; он не спрашивал, устала ли я, он только смотрел на меня и делал собственные выводы.

— Все эти трудные дни, — повторил он мои слова нежно, мягко, подражая моему голосу и иностранному акценту; он не впервые так надо мною подтрунивал, но я никогда не обижалась, даже если звукоподражание сопровождалось уверениями, что, как бы отлично ни писала я на его языке, говорить я всегда буду неверно и нетвердо. — «Все эти трудные дни» я ни на минуту не забывал вас. Верная женщина вечно заблуждается, полагая,

что только она, единственная из всех божьих тварей, способна сохранять верность. Честно глядя правде в глаза, до недавнего времени и я не чаял в ком-то встретить преданные чувства. Но взгляните же на меня.

Я подняла к нему счастливое лицо. Конечно, счастливое, иначе оно не отражало бы моей души.

— Да, — сказал он, после того как несколько минут пристально меня рассматривал. — Подпись подлинна; это почерк верности; у ней железное перо; она пишет с нажимом; вам не больно?

— Очень больно, — искренно отвечала я. — Отведите ее руку, мосье; я более не в силах сносить этот нажим.

— Elle est toute pale, — пробормотал он про себя, — cette figure-la me fait mal. [\[467\]](#)

— Ах, так на меня неприятно смотреть?..

Я не сдержалась; слова вырвались у меня против воли; меня никогда не оставляла навязчивая мысль о том, насколько велико несовершенство моей внешности; в ту минуту мысль эта особенно меня мучила.

Черты его выразили бесконечную нежность; фиалковые глаза увлажнились и заблестели под густыми испанскими ресницами; он вскочил.

— Пойдемте.

— Я совсем не радую вашего взгляда? — осмелилась я допытываться; от его ответа слишком многое для меня зависело.

Он остановился и ответил коротко и твердо; ответ его усмирил и глубоко утешил меня. С тех самых пор я поняла, что я значу для него, а что я значу для всех прочих, мне тотчас стало решительно безразлично. Не трусость ли, не малодушие — так бояться впечатления, производимого твоим лицом? Быть может, и трусость. Но в тот день мною двигала не простая трусость. Я, признаюсь, испытывала великий страх, что не понравлюсь, и огромное желание понравиться мосье Полю!

Я шла с ним рядом, не разбирая дороги. Мы шли долго, а пришли быстро; путь был приятен, погода прекрасна. Мосье Эманюель говорил о своем путешествии — он собирался провести в дальних краях три года. По возвращении из Гваделупы он надеялся избавиться от всех долгов и начать свободную жизнь; а как я думаю жить во время его отсутствия? — спросил он. Он напомнил мне, что однажды я поделилась с ним намерением обрести независимость и устроить свою собственную школу, — не оставила ли я эту мысль?

...Нет, отчего же. Я стараюсь изо всех сил копить деньги, чтобы осуществить свое намерение.

...Ему не хочется оставлять меня на улице Фоссет; он боится, что я буду слишком по нему скучать, буду тосковать, печалиться.

Все это было верно. Но я пообещала ему, что постараюсь с собою сладить.

— И все же, — сказал он, понизив голос, — есть и еще причина, отчего вам лучше переехать в другое место. Мне бы хотелось изредка к вам писать; и не хотелось бы сомневаться в том, дойдут ли письма по назначению; а на улице Фоссет... словом, наши католические правила кое в чем — вообще извинительные и разумные — иногда, при особых обстоятельствах, могут быть ложно истолкованы и ведут к злоупотреблениям.

— Но если вы будете писать, — сказала я, — я должна получить ваши письма непременно, и я получу их, и никакие наставники и директрисы не отнимут их у меня. Я протестантка, мне эти правила не подходят, слышите, мосье?

— Doucement — doucement,^[468] — возразил он. — Мы разработаем план; у нас есть кое-какие возможности. Soyez tranquille.^[469]

С этими словами он остановился.

Мы шли уже долго. Теперь мы оказались посреди чистенького предместья, застроенного милыми домиками. Перед белым крыльцом одного такого домика и остановился мосье Поль.

— Я сюда зайду, — сказал он.

Он не стал стучать, но достал из кармана ключ, открыл дверь и тотчас вошел. Пригласив войти и меня, он закрыл за нами дверь. Служанка не вышла нас встретить. Прихожая была небольшая, под стать всему домику, но приятно выкрашена свежей краской; с другой стороны ее была другая дверь, стеклянная, увитая виноградом, и зеленые листики и усики ласково тыкались в стекло. В жилище царила тишина.

Из прихожей мосье Поль ввел меня в гостиную — крошечную, но, как мне показалось, премилую. Стены были розового, словно нежный румянец, цвета, лоснился воощеный пол; ковер ярким пятном лежал посередке; круглый столик сверкал так же ярко, как зеркало над камином; стояла тут и кушетка и шифоньерка, и в ней, за обтянутой красным шелком полуоткрытой дверцей, виднелась красивая посуда; лампа, французские часы; фигурки из матового фарфора; в нише большого единственного окна стояла зеленая жардиньерка, а на ней три зеленых цветочных горшка, и в каждом — цветущие растения; в углу помещался gueridon^[470] с мраморной столешницей, а на нем корзинка с шитьем и фиалки в стакане. Окно было

отворено; в него врывался свежий ветерок; фиалки благоухали.

— Как тут уютно! — сказала я. Мосье Поль улыбнулся, видя мою радость.

— Нельзя ли нам тут посидеть? — спросила я шепотом, потому что глубокая тишина во всем доме нагнала на меня странную робость.

— Сперва нам надо еще кое-куда заглянуть, — отвечал он.

— ...Могу ли я взять на себя смелость пройти по всему дому? — осведомилась я.

— Отчего же нет, — отвечал он спокойно.

Он пошел впереди. Мне была показана кухонька, в ней печка и плита, уставленная немногочисленной, но сверкающей утварью, стол и два стула. В шкафчике стояла крошечная, но удобная глиняная посуда.

— В гостиной есть еще фарфоровый кофейный сервиз, — заметил мосье Поль, когда я стала разглядывать шесть зеленых с белым тарелок, и к ним четыре блюда, чашки и кружки.

Он провел меня по узкой чистенькой лестнице, и я увидела две хорошеньких спальни; потом мы вернулись вниз и торжественно остановились перед дверью побольше.

Мосье Эманюель извлек из кармана второй ключ и вставил в замочную скважину, отпер дверь и пропустил меня вперед.

— Voici!^[471] — воскликнул он.

Я очутилась в просторном помещении, очень чистом, но пустом в сравнении с остальной частью дома. На тщательно вымытом полу не было ковра; здесь в два ряда стояли столы и скамьи, и меж них проход вел к помосту, на котором стоял стол и стул для учителя, а рядом висела доска. По стенам висели две карты; на окнах цвели зимостойкие цветы; словом, я попала в класс настоящий класс.

— Стало быть, тут школа? — спросила я. — И чья? Я и не слыхала, что в этом предместье школа есть.

— Не будете ли вы добры принять от меня несколько проспектов для распространения в пользу одного моего друга? — спросил он, извлек из кармана сюртука несколько визитных карточек и сунул мне в руку. Я взглянула и прочла отпечатанную красивыми буквами надпись:

«Externat de demoiselles. Numero 7. Faubourg Clotilde, Directrice Mademoiselle Lucie Snowe».^[472]

И что же сказала я мосье Полю Эманюелю?

Кое-какие обстоятельства жизни упрямо ускользают из нашей памяти. Кое-какие повороты, некоторые чувства, радости, печали, сильные

потрясения по прошествии времени вспоминаются нам неясно и смутно, словно стертые, мелькающие очертания быстро вертящегося колеса.

О том, что я думала и что говорила в те десять минут, которые последовали за прочтением визитной карточки, я помню не более, чем о самом первом моем младенчестве; помню только, что потом я вдруг очень быстро затараторила:

— Это все вы устроили, мосье Поль? Это ваш дом? Вы его обставили? Вы заказали карточки? Это вы обо мне? Это я-то директриса? Может быть, есть еще другая Люси Сноу? Скажите. Ну говорите же.

Он молчал. Но я заметила, наконец, его улыбку, опущенный взгляд, довольное лицо.

— Но как же это? Я должна все, все знать, — закричала я.

Карточки упали на пол. Он протянул к ним руку, но я схватила ее, забыв обо всем на свете.

— Ах! А вы еще говорите, я забыл вас в эти трудные дни, — сказал он. Бедняга Эманюель! Вот какую благодарность получил он за то, что целых три недели бегал от обойщика к маляру, от столяра к уборщице и только и думал, что о Люси и ее жилище!

Я не знала что делать. Я погладила мягкий бархат его манжеты, а потом и запястье. Доброта, его молчаливая, живая, деятельная доброта открылась мне неопровержимо. Его неусыпная забота излилась на меня как свет небесный; его — теперь уж я осмелюсь это сказать — нежный, ласковый взгляд невыразимо трогал меня. И все же я принудила себя вспомнить о практической стороне дела.

— Сколько трудов! — закричала я. — А расходы! У вас разве есть деньги, мосье Поль?

— Куча денег, — отвечал он простодушно. — Широкие связи в кругах учителей обеспечили мне кругленькую сумму; часть ее я решил употребить на себя и доставить себе самое большое удовольствие, какое позволял себе в жизни. Я обдумывал свой план день и ночь. Я не мог показаться вам на глаза, чтобы вдруг все не испортить. Скрытность не принадлежит к числу ни добродетелей моих, ни пороков. Если б я предстал пред вами, вы бы одолели меня вопросительными взорами или бы вопросы посыпались с ваших уст: «Где вы были, мосье Поль?», «Что делали?», «Что у вас от меня за тайны?». И тогда бы мне не удержать своего первого и последнего секрета. А теперь, — продолжал он, — вы будете тут жить и у вас будет школа; у вас будет занятие, пока я буду далеко, иной раз вы и обо мне вспомняете; вы будете беречь свое здоровье и покой ради меня, а когда я вернусь...

Он оставил эту фразу незаконченной.

Я обещала исполнить все его просьбы. Обещала, что буду работать неустанно и с радостью.

— Я буду вашим ревностным служителем, — сказала я. — По возвращении вашем я вам во всем отчитаюсь. Мосье, вы слишком, слишком добры!

Так отчаянно пыталась я выразить обуревавшие меня чувства, усилия мои были тщетны; слова ничего не передавали; голос мой дрожал и не слушался. Мосье Поль смотрел на меня; потом он тихонько поднял руку и погладил меня по волосам; вот его рука случайно коснулась моих губ; я прижалась к ней, я уплатила ему дань преданности. Он был царь мой; царствен был дар его души, и я засвидетельствовала свое преклонение с радостью и по чувству долга.

День угас, и тихие сумерки настали в спокойном предместье. Мосье Поль попросил моего гостеприимства; с утра он был на ногах и теперь нуждался в отдыхе; он объявил, что с удовольствием выпил бы шоколаду из моего китайского, белого с золотом сервиза. Он отправился в ресторан по соседству и доставил оттуда все необходимое; он поставил *gueridon* и два стула на балкончике за стеклянной дверью под завесой винограда. И с каким же счастьем исполняла я роль хозяйки и потчевала своего гостя и благодетеля.

Балкончик этот был в задней части дома, и с него открывался вид на сады предместья и расстилавшиеся за ними поля. Воздух был тих, свеж и тонок. Над тополями, лаврами, кипарисами и розами безмятежно сияла улыбчивая луна и веселила сердце; рядом с нею горела одинокая звезда, посылая нам кроткий луч чистой любви. В соседнем саду бил фонтан, и бледная статуя склонялась над его струями.

Мосье Поль говорил. Голос его вливался в серебристый хор той вечерней службы, которую служили журчащий фонтан, вздыхающий ветер и шепчущаяся листва.

Блаженный час — остановись, мгновенье! Отдохни, упокой биенье крыл; склонись к моему челу, чистое чело Неба! Белый Ангел! Подожди, не гаси твоего ясного света; пусть подольше разгоняет он неминуемо грядущие тучи; пусть ляжет отблеск его на тоскливую тьму, которой суждено его сменить.

Угощение было нехитрое: шоколад, булочки, да еще вишни и клубника, уложенные на блюде на зеленых листьях, — вот и все; но нам обоим этот ужин показался роскошней самого пышного пира, а я вдобавок с несказанной радостью ухаживала за мосье Полем. Я спросила, знают ли

его друзья, отец Силас и мадам Бек о том, что он сделал, видели ли они мой дом?

— Mon amie, ^[473] — сказал он, — об этом никто, кроме нас с вами, не знает: это только наша с вами, ни с кем не разделенная радость. По правде говоря, в самом секрете для меня особенно тонкое наслаждение, и гласность бы все испортила. К тому же (здесь он улыбнулся) я хотел еще доказать Люси Сноу, что умею держать язык за зубами. Как часто трунила она над недостатком во мне сдержанности и осторожности! Как часто она дерзко намекала мне на то, что все предприятия мои — секрет Полишинеля!

Он говорил чистую правду; я нещадно высмеивала его излишнюю откровенность, да и не только ее одну. Великодушный, возвышенный, благородный, милый, смешной чудак! Ты заслужил искренность, и уж я-то тебе в ней никогда не отказывала.

Я продолжала допытываться, мне хотелось знать, кому принадлежит дом, и кто мой домовладелец, и какова арендная плата. Он тотчас представил мне письменные расчеты, он все предвидел и предусмотрел.

Дом не принадлежал мосье Полю — об этом я догадалась; на роль собственника он не очень годился; я подозревала в нем плачевный недостаток бережливости; заработать-то он еще мог, но не скопить; ему нужен был казначей. Итак, дом принадлежал жителю Нижнего города, по словам мосье Поля, человеку состоятельному; и он поразил меня, вдруг присовокупив: «вашему другу, мисс Люси, лицу, которое относится к вам с большим почтением». К приятному моему удивлению выяснилось, что лицо это не кто иной, как мосье Мире, вспыльчивый и добросердечный книготорговец, столь любезно отыскавший для меня удобное место незабвенной ночью в парке. Кажется, мосье Мире был столь же уважаем, сколь богат, и владел не одним домом в предместье; плата оказалась весьма умеренная; за такой дом ближе к центру Виллета запросили бы по крайней мере против нее вдвое.

— А потом, — заметил мосье Поль, — если даже фортуна вам не улыбнется я-то надеюсь на лучшее, — я утешусь мыслью, что вы попали в хорошие руки; мосье Мире не станет вас притеснять. На первый год вы уже скопили денег; а дальше пусть мисс Люси положится на себя и на божью помощь. Ну, так как же думаете вы обзавестись ученицами?

— Надо распространять карточки.

— Верно! И не теряя времени, я уже вчера одну вручил мосье Мире. Ведь вы не станете возражать против трех мещаночек, дочек мосье Мире для начала? Они к вашим услугам.

— Мосье, вы ничего не забыли; вы просто прелесть, мосье. Возражать? Этого не доставало! Я и не рассчитываю собрать в своей школе созвездье аристократок; да и бог с ними совсем. Я счастлива буду принять дочек мосье Мире.

— А кроме них, — продолжал он, — к вам просится еще ученица, она хочет приходить ежедневно и брать уроки английского, она богата, так что платить может хорошо. Я имею в виду мою крестницу и воспитанницу Жюстин Мари Совёр.

Что имя? Три каких-то слова? До этого мига я слушала его с живой радостью — я отвечала на вопросы тотчас и весело; имя заморозило меня; от этих трех слов я онемела. Я не могла скрыть своих чувств, да и не хотела, пожалуй.

— Что с вами? — спросил мосье Поль.

— Ничего.

— Ничего! Да вы побледнели. У вас глаза изменились. Ничего! Вы, верно, заболели; что случилось? Отвечайте.

Мне нечего было ответить.

Он подвинул свой стул поближе ко мне. Он не рассердился, хотя я по-прежнему хранила ледяное молчание. Он старался выжать из меня хоть слово; он был кроток и терпелив.

— Жюстин Мари — хорошая девочка, — сказал он, — послушная и ласковая, не очень смышленная, но вам она придется по душе.

— Вряд ли. Полагаю, она сюда не явится.

Таков был мой ответ.

— Вы, я вижу, решили меня удивить? Разве вы ее знаете? Нет, как хотите, а тут что-то кроется. Вот вы опять стали бледная, как статуя. Положитесь на Поля Карлоса; доверьте мне свою печаль.

Стул его коснулся моего стула; он тихонько протянул руку и повернул к себе мое лицо.

— Вы знаете Жюстин Мари? — повторил он.

Лучше бы ему не произносить этого имени. Я не могу описать, что сделалось со мной. Я пришла в страшное волнение, сердце во мне замерло, мне вдруг вспомнились часы острых мучений, дни и ночи несказанной душевной боли. Вот он сидел так близко, он так тесно связал свою жизнь с моей жизнью, мы так породнились, так сблизились с ним — и одна мысль о разлуке наших сердец приводила меня в отчаянье, и когда он произнес имя Жюстин Мари, я не сдержала гнева, глаза и щеки у меня вспыхнули, я больше не могла молчать, и думаю, любая повела бы себя так на моем месте.

— Я хочу вам кое-что рассказать, — начала я. — Я расскажу вам все.

— Говорите, Люси; подите сюда; говорите. Кто еще ценит вас так, как я? Кто друг ваш ближе Эманюеля? Говорите!

Я заговорила. Я высказала ему все; слова теперь свободно и безудержно потекли с моих губ; я говорила и говорила. Я вернулась к той ночи в парке; я упомянула о сонном питье — о том, почему мне его дали — о неожиданном его воздействии — как я лишилась покоя, покинула постель и устремилась за странной мечтой — на лоно уединенной летней ночи, на траву, под сень деревьев, к берегу глубокого, прохладного пруда; я рассказала о том, что я на самом деле увидела; о толпе, о масках, музыке, о фонарях, огнях и дальнем грохоте пушек, и перезвоне колоколов в вышине. Обо всем, что видела я тогда, я ему рассказала, и обо всем, что я слышала; и о том, как я вдруг заметила в толпе его; и как я стала слушать, и что я слышала, что из этого заключила; словом, доверила ему всю свою правдивую, точную, жгучую, горькую повесть.

Он же не останавливал меня, но просил продолжать; он подбадривал меня то улыбкой, то жестом, то словом. Я не успела еще кончить, а уже он взял обе мои руки в свои и пристально, испытующе заглянул мне в глаза; в лице его не выражалось стремленья меня усмирить; он забыл про все свои наставленья, забыл о том, что в известных случаях лучшим средством воздействия считал строгость. Я заслужила хорошую выволочку; но когда получаем мы по заслугам? Ко мне следовало бы отнестись сурово; взгляд его выражал снисходительность. Я сама себе казалась неразумной и надменной, отказывая в приеме бедняжке Жюстин Мари; но его улыбка сияла восхищеньем. Я и не знала до сих пор, что могу быть такой ревнивой, высокомерной и несдержанной; ему во мне все нравилось. Оказалось, что я полна пороков; он полюбил меня такой, какая я есть. Мой мятежнейший порыв он встретил предложением самого глубокого мира.

— Люси, примите любовь мою. Разделите когда-нибудь мою жизнь. Станьте моей самой дорогой, самой близкой.

Назад к улице Фоссет мы брели в лунном свете — такая луна сияла, верно, в раю, освещая предвечный сад и прихотливо золотя тропу для благих шагов божества. Раз в жизни иным мужчинам и женщинам дано вернуться к радости родителя нашего и праматери, вкусить свежесть первой росы и того великого утра.

По дороге он рассказал мне, что всегда относился к Жюстин Мари как к дочери, что с согласия мосье Поля она несколько месяцев назад обручилась с Генрихом Мюллером, молодым богатым купцом из немцев, и в этом году состоится их свадьба. Кое-кто из родни и близких мосье Поля,

кажется, и точно, прочил ее за него самого, чтобы богатство осталось в семье; его же возмущал этот план и коробило от этой затеи.

Мы дошли до дверей мадам Бек. Часы на башне Иоанна Крестителя пробили девять. В этот же самый час, в этом же доме полтора года назад склонился надо мной этот человек, заглянул мне в лицо и определил мою судьбу. И вот он снова склонился, посмотрел, решил. Но как переменился его взгляд и как переменился мой жребий!

Он понял, что я рождена под его звездой; он будто распростер надо мною ее лучи, как знамя. Когда-то, не зная его и не любя, я полагала его резким и странным; невысокий, угловатый, щуплый, он мне не нравился. Теперь же я поняла всю силу его привязанности, обаянье ума и доброту сердца, и он стал мне дороже всех на свете.

Мы расстались; он объяснился и простился со мной.

Мы расстались; наутро он уехал.

Глава XLII

КОНЕЦ

Нам не дано предсказывать будущее. Любовь не оракул. У страха глаза велики. О, годы разлуки! Как пугали они меня! Я не сомневалась в том, что они будут печальны. Я заранее рисовала себе пытки, какими они чреваты. Джаггернаут, ^[474] конечно, заготовил мрачный груз для неумолимой своей колесницы. Я чуяла ее приближение и — простертая в пыли жрица — с трепетом слышала заранее скрип безжалостных колес.

Удивительно — и однако ж, это чистая правда, и тому есть в жизни немало других примеров, — но само мучительное ожидание беды оказалось чуть ли не хуже всего. Джаггернаут мчался в вышине громко и грозно. Он пронесся как гром среди ясного неба. На меня повеяло холодом. И только. Я подняла глаза. Колесница промчалась мимо; жрица осталась в живых.

С отъезда мосье Эманюеля прошло три года. Читатель, то были счастливейшие годы в моей жизни. Вы с презрением отвергаете нелепый парадокс? Нет, вы лучше послушайте.

Я работала в собственной школе; я работала много. Я себя полагала как бы его управляющим и собиралась с божьей помощью хорошенько перед ним отчитаться. Являлись ученицы — сперва из мещанок, а потом и из лучшего общества. Через полтора года в мои руки неожиданно попали еще сто фунтов; в один прекрасный день я получила эту сумму из Англии в сопровождении письма. Отправитель, мистер Марчмонт, кузен и наследник моей дорогой покойной госпожи, только что оправлялся после тяжелой болезни; посылая мне деньги, он задабривал собственную совесть, которую задели уж не знаю какие бумаги, оставшиеся после его родственницы и касавшиеся до Люси Сноу. Миссис Баррет сообщила ему мой адрес. Насколько погрешил он против собственной совести, я не спрашивала. Я не задавала вообще никаких вопросов, но деньги приняла и употребила с пользой.

Располагая этой сотней фунтов, я отважилась снять еще и соседний дом. Мне не хотелось оставлять жилище, присмотренное для меня мосье Полем, где он оставил меня и рассчитывал найти по возвращении. Школа моя стала пансионом; пансион процветал.

Успехи мои объяснялись вовсе не моими дарованиями и вообще

зависели не от меня самой, но от переменившихся обстоятельств и бодрости моего духа. Источник моей энергии находился далеко за морем, на острове в Индии. При разлуке мне оставили в наследство столько попечений о настоящем, столько веры в будущее, столько побуждений к упорству и выносливости — что я не могла унывать. Меня теперь мало что задевало; мало что раздражало, огорчало или пугало меня; мне все нравилось, в любой мелочи открывалась своя прелесть.

Не думайте, однако, будто огонь моей души горел без подкормки лишь на завещанной надежде и прощальных обетах. Мне щедро поставлялось изобильное топливо. Меня избавили от озноба и холода; я не боялась, что пламя загаснет; меня не терзали муки ожидания. С каждым рейсом он отправлял мне письма; он писал так, как привык он дарить и любить — щедро, от полноты сердца. Он писал потому, что ему нравилось писать; он ничего не сокращал, не перебеливал, не вымарывал. Он садился, брал перо и бумагу, потому что любил Люси и ему многое надо было ей сказать; потому что он был верен и заботлив, нежен и честен; ни притворства, ни пустой болтовни, ни раздутого воображения не было в нем. Никогда не пускался он извиняться, не прибегал к трусливым уловкам; он не бросал камень и не оправдывал, не бичевал и не разочаровывал; письма его были истинной пищей, которая насыщала живой водой, которая утоляла жажду.

Была ли я благодарна ему? Думаю, каждый, о ком так заботятся, кого так поддерживают, кому помогают с таким постоянством, не может не быть благодарен до гробовой доски.

Преданный собственной религии (легкие отступники скроены совсем иначе), он оставил мне мою веру. Он не дразнил и не испытывал меня. Он говорил:

«Оставайтесь протестанткой. Милая моя англичанка-пуританочка, я в вас люблю самый ваш протестантизм. Я признаю его строгое очарование. Кое-что в обычаях ваших мне не подходит, но для «Люси» — это вера единственная». Сам папа римский не превратил бы его в ханжу, все силы католичества не сделали бы из него подлинного иезуита. Он родился честным, а не лживым, чистосердечным, а не лукавым, — свободный человек, не раб. Тонкость делала его податливым в руках священника, пристрастие, преданность, истовая увлеченность часто застили его добрый взор, заставляли забывать о справедливости и служить чужим коварным и себялюбивым целям; но недостатки эти столь редки и так дорого обходятся обладателю, что едва ли не будут признаны когда-нибудь драгоценнейшими достоинствами.

Три года минули; вот-вот воротится мосье Эманюель. Сейчас осень;

еще до ноябрьских туманов он будет со мной. Школа моя процветает, дом приготовлен к его возвращению; я устроила для него библиотеку, заставив полки книгами, какие он сам купил до отъезда; из любви к нему (сама я не питаю страсти к садоводству) я ухаживала за его любимыми растениями, и иные как раз цветут. Когда он уезжал, я думала, что люблю его; сейчас это любовь иная; он стал мне еще родней.

Прошло равноденствие; дни делаются короче, вянет листва; а он — он скоро приедет.

Небо нависло темно и хмуро — с запада несутся черные тучи; каких только не принимают они образов, разбросавшись, словно острова в море; зори сверкают — пурпурные, царственные, как венценосный монарх; небо объято пожаром; на нем разыгралась горячая битва; кровавое, оно решилось посрамить гордую Победу. Я разбираюсь в небесных знамениях; они знакомы мне с детства. Господи, сохрани этот парус! Помилуй и спаси!

Ветер изменился, теперь он западный. Тихо ты, тихо, Бэнши, не голоси ты под каждым окном! Ветер воет, ревет, надсаживается, броди не броди я всю ночь по дому, все равно мне его не унять. Все бессонные полуночники с ужасом слышат, как безумствует юго-западный шторм.

Буря неистовствовала семь дней. Она не успокоилась, пока всю Атлантику не усеяла обломками; не унялась, пока не насытились алчные недра. И лишь покончив с этой страшной работой, ангел бури сложил свои крылья, чей взмах был гром, чей трепет — ураган.

Воцарись, покой! Тысяча плакальчиков, отчаянно воссылающих молитвы с жадно ждущих берегов, уповали на эти слова, но они не были произнесены — не были произнесены до тех пор, пока не настала тишина, которой многие уже не заметили, пока не воссиял свет солнца, для многих оказавшийся чернее ночи!

Но довольно; довольно об этом. Уже достаточно сказано и так. Печаль, не терзай доброго сердца; оставь надежду доверчивому воображению. Пусть насладится оно радостью, заново родившейся из великой муки, счастливым избавленьем от бед, отменой скорбей и сладким возвращением. Пусть нарисует оно картину встречи и долгой счастливой жизни потом.

Мадам Бек процветала до конца дней; так же как и отец Силас; мадам Уолревенс дожила до девяноста лет. Прощайте.

Примечания

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 10. С. 648.

Фокс Р. Роман и народ. М., 1960. С. 121.

3

Там же.

Кеттл А. Введение в изучение английского романа. М., 1966. С. 111.

Христиан и Верный — персонажи аллегорического романа английского писателя Джона Беньяна (1628–1688) «Путь паломника».

Методист — член секты англиканской церкви, основанной в 1729 году в Оксфордском университете. Секта отличается строгим методическим соблюдением внешних религиозных обрядов.

Вдвоем (фр.).

Иосиф — библейский персонаж, сын Иакова, которого братья обнаженным бросили в ров без воды (Бытие, XXXVII, 23–24). Самуил библейский царь, которому в отрочестве явился бог (1 Книга Царств, III, 11–14). Даниил — библейский пророк, которого, согласно преданию, персидский царь Дарий по наущению завистников бросил в львиный ров, но ангел, посланный богом, закрыл львам пасти, и Даниил остался невредим (Книга Даниила, VI, 4–23).

«С печалью сойду...» — слова, сказанные библейским персонажем Иаковом, когда он получил ложное известие о смерти своего любимого сына Иосифа (Бытие, XXXVII, 35).

Банши — в ирландском и шотландском фольклоре образ призрака-плакальщицы, воплями предвещающей смерть человека.

Дерево Ионы. — По библейскому преданию, у пророка Ионы было дерево, которое по велению бога выросло и расцвело, чтобы укрыть Иону от лучей солнца (Книга Ионы, IV, 6).

Улица Патерностер находится в центре Лондона, на ней располагались самые большие книжные магазины и типография газеты «Тайме».

Стикс — в греческой мифологии река, по которой Харон перевозил души умерших в подземное царство.

Юных мисс (искаж. англ.).

Неприличной (фр.).

Надзор (фр.).

Пресыщена (фр.).

«Красивая девушка» (нем.).

В устной речи заменяет забытое слово, примерно соответствуя русскому «как бышь...», «это самое...» и т. п. (фр.).

Наставницами, учительницами (фр.).

Учителями (фр.).

Учениками (фр.).

К черту (фр.).

Иов — библейский персонаж, на которого, чтобы укрепить его веру и терпение, бог наслал все возможные бедствия, в том числе и полную нищету.

К счастью, я умею обращаться с этой публикой (фр.).

«Не в четырех стенах — тюрьма...» — цитата из стихотворения английского поэта Ричарда Лавлейса (1618–1658) «Послание Альтее из тюрьмы» (перевод В. Орла).

Англичанка! (фр.).

Что вы делаете? Это мой чемодан (фр.).

На такое способны только англичанки, они удивительно бесстрашны!
(фр.)

Звонят к вечерней молитве (фр.).

Ну что же вы скажете? (фр.).

Многое (фр.).

Послушайте, кузина, ведь поступок этот все равно останется благородным (фр.).

Спокойной ночи (фр.).

Вечерней молитвы (фр.).

Настоящий кашемир (фр.).

Детская (фр.).

«как будто прегрешений»... — частичная цитата из трагедии В. Шекспира «Отелло»: «Вот все мои, как будто, прегрешенья» (перевод Б. Пастернака).

Минос — в греческой мифологии критский царь, ставший после смерти судьей над мертвыми в подземном царстве.

...кое-кто в юбке... — намек на Игнасио Лайолу, главу испанской инквизиции.

Англии (фр.).

Англичанок (фр.).

Бесшумной обуви (фр.).

Для бедных (фр.).

Гефсиманский сад — местность недалеко от Иерусалима, где, по евангельскому преданию, Христос провел последнюю ночь перед распятием (Евангелие от Матфея, XXVI. 38–42).

Беседке (фр.).

Дней отдыха (фр.).

Вафлями и легким вином (фр.).

Пеклеванным хлебом (фр.).

Скажите, вы действительно чувствуете себя столь неподготовленной?
(фр.)

Вперед! (фр.)

Прекрасно! (фр.).

Это уроженки Лабаскура — непосредственные, свободолюбивые, резкие и немножко строптивые (фр.).

Верно (фр.).

Юной девушки (фр.).

Бонна, няня (фр.).

Совершенно равнодушно (фр.).

Хорошо (фр.).

Дело пойдёт (фр.) — название и припев песни времен Великой французской революции.

Я много раз говорила неправду (фр.).

Господи, как трудно! Не хочу этим заниматься! Слишком скучно (фр.).

Потому, что, когда вы умрете, вы будете гореть в геенне огненной (фр.).

И вы в это верите? (фр.)

Конечно, верю. Это всем известно, мне сам священник сказал (фр.).

Шепотом (um.).

Уж лучше бы, чтобы обеспечить вам спасение там, в небесах, вас сожгли бы заживо здесь, на земле (фр.).

Беспечной (фр.).

Бонну (фр.).

Ну, как сказать (фр.).

И этого достаточно (фр.).

Здесь: весьма (фр.).

Говорят (фр.).

Красив, но красотой скорее мужской, чем юношеской (фр.).

Кушак голубого цвета (фр.).

Драгоценности, украшения (фр.).

Диоген — древнегреческий философ (404–323 гг. до н. э.), проповедовавший строгую мораль и аскетический образ жизни.

За мадемуазель Фэншо приехали! (фр.)

Послушайте (фр.).

Послушайте, милая ворчунья! (фр.)

Здесь: мальчишеский вид (фр.).

Ничего подобного! (фр.).

Я — его королева, но он отнюдь не мой король (фр.).

Мыслители, люди глубокомысленные и пылкие, мне не по вкусу. Полковник Альфред де Амаль... Лучше уж красивые повесы и милые плутишки! Да здравствуют радости и удовольствия! Долой сильные страсти и строгие добродетели! (фр.)

Я люблю моего красивого полковника... я никогда не полюблю его соперника. Я никогда не стану женой буржуа! (фр.)

Их будущем (фр.).

Осторожно, дитя мое! (фр.)

До чего же вредная эта Дезире! Какой это ужасный ребенок! (фр.)

За Дезире нужен глаз да глаз (фр.).

И нужно немедленно найти фиакр! (фр.)

Подсахаренной воды (фр.).

Вот так-то лучше (фр.).

Спасибо, мадам, очень хорошо, отлично! (фр.)

Вот пример столь необходимого хладнокровия, которое неизмеримо более ценно, чем неуместная чувствительность (фр.).

Пансионе для девиц (фр.).

Мягкость и искренность (фр.).

Бедный доктор Жан! Милый юноша! Добрейшее существо! (фр.)

Вот и все! (фр.)

Столовой (фр.).

Свежий ветерок, Венеция (фр.).

100

Розового муслина (фр.).

Чересчур добра (фр.).

Запретная аллея (фр.).

Взгляните только, какая искусница эта мадемуазель Люси! Вам нравится эта аллея, мисс? (фр.)

Верно (фр.).

Сисара — по библейскому сказанию, полководец хананеян, которого убила женщина по имени Иаиль, пронзив ему виски колом от шатра и пригвоздив его к полу (Книга Судей, IV, 17).

«Той, что в сером платье» (фр.).

Что ни говорите, настоящая английская тихоня, эдакое чудовище, злое и грубое, как старый капрал, и суровое, как монашка (фр.).

Серое платье, соломенная шляпка (фр.).

Какой вздор! Здесь никого не было (фр.).

Вечерним ветерком (фр.).

Какая прекрасная ночь! (фр.).

Как чудесно! Какой свежий воздух! (фр.)

Спокойной ночи, дружок, счастливых снов! (фр.)

...опутанная... паутиной глупая муха... — Автор имеет в виду известное стихотворение Мери Ховвет (1799–1888) «Паук и Муха», в котором Паук приглашает Муху зайти к нему в гостиную, т. е. запутаться в паутине.

Вечерние занятия (фр.).

Чтению на религиозные темы (фр.).

Ратуша (фр.).

Елизавета Венгерская — ландграфиня Тюрингенская (1207–1231), дочь короля Венгрии, религиозная фанатичка, доведенная ее духовником Конрадом Марбургским до полного нравственного падения и уничтоженная им физически; канонизирована в 1235 г.

Моз Хедриг... сержант Босуелл — персонажи из романа Вальтера Скотта (1771–1832) «Пуритане».

Ложе ангела (фр.).

Здесь: ящиков (фр.).

Мериба — местность, где, по библейскому сказанию, Моисей ударом жезла высек из скалы воду.

123

Этого ребенка всегда немного лихорадит (фр.).

Доктору Джону не приходилось видеть ребенка в последнее время?
(фр.)

Найму фиакр и поеду по некоторым делам (фр.).

Веселый нищий — образ, заимствованный из кантаты Р. Бернса «Веселые нищие» (1785).

Шляпу светло-зеленого цвета (фр.).

Несмотря на маму и доктора (фр.).

У девушки ничего нет, конечно? (фр.)

Ничего серьезного (фр.).

Ну что ж! (фр.)

Порыв ветра (фр.).

Но ведь (фр.).

Ах, вот что! значит, тут ничего не кроется — ни секрета, ни любовной интрижки? (фр.)

Не больше, чем у меня на ладони (фр.).

Как жаль! А у меня-то как раз начали складываться некоторые предположения (фр.).

Неужели? Значит, вы потерпели на этом убыток (фр.).

Простужена (фр.).

В фиакре по делам (фр.).

Я прекрасно знаю, что она беспринципна и, возможно безнравственна (фр.).

Но в классе она держит себя всегда надлежащим образом и, может быть, даже с некоторым достоинством, а это все, что требуется. Ученицы и их родители большего и не желают, следовательно, и я тоже (фр.).

Большой беседке (фр.).

Кротости, доброты (фр.).

Гримасой (фр.).

Побыстрее! (фр.).

Ну ладно! Столовое серебро — две или три ложки и столько же вилок (фр.).

Слушайте! (фр.)

Вы куклы, а не люди. Вам неведомы страсти. Вы ничего не чувствуете! Плоть ваша — снег, а кровь — лед! А я хочу, чтобы вы воспламенились, чтобы в вас вселилась жизнь, душа! (фр.).

С наслаждением (фр.).

Олдермен — член магистрата, избираемый жителями одного из районов города.

Чаша со священной водой у входа в католический храм (фр.).

Портниха (фр.).

Такой печальный, такой тусклый (фр.).

Прилично, благопристойно (фр.).

Приличие и Благопристойность (фр.).

Зрелые дамы (фр.).

А что касается Сен-Пьер, то она похожа на старую кокетку в роли инженю (фр.).

Парикмахеры (фр.).

Портнихи (фр.).

Феска (фр.).

Ну вот!.. Я не знаю. Она англичанка. Тем хуже. Англичанка и, следовательно, недотрога. Но все равно она мне поможет, будь я неладен (фр.).

Самолюбие (фр.).

Одному богу известно, что я их вообще-то боюсь как чумы (фр.).

Нет, нет, нет! (фр.)

Да (фр.).

Скорей за работу! (фр.)

Медведь (фр.).

Дело идет на лад! (фр.)

Пирожными с кремом (фр.).

Кстати (фр.).

Браво!.. Я все слышал. Это неплохо. Повторите! (фр.)

Повторите! И хватит кривляться! Долой робость! (фр.)

По крайней мере, она знает слова (фр.).

До свидания! (фр.)

- Ну, в чем дело, мадемуазель? (фр.)
- Я очень хочу есть (фр.).
- Почему это вы голодны? А закуска? (фр.)

А ведь и правда! (фр.)

Лакомка (фр.).

На здоровье (фр.).

Не правда ли, красиво? (фр.)

Спокойно! Тихо! (фр.)

Увольте! (фр.)

Фат, щеголь, франт (фр.).

Милый друг — прелестная англичанка (фр.).

Прелестной (фр.).

Самолюбию, гордости (фр.).

Водевиль на сцене пансиона (фр.).

Смелей, дружок! Немного хладнокровия, немного самоуверенности, мосье Люсьен, и все будет хорошо! (фр.)

Пожалуй, это более совершенно, чем то, что написано в пьесе, но уж слишком от нее отличается (фр.).

Молодых людей (фр.).

Прелестной блондинкой (фр.).

Хорошенькой брюнеткой (фр.).

Этой очаровательной девушкой с волосами черными, как смоль (фр.).

Замолчите! (фр.)

Вы пройдёте туда только через мой труп, а танцевать будете лишь с монахиней из сада (фр.).

Молодого человека (фр.).

Надзирательницы (фр.).

Идите, идите, да побыстрее! (фр.)

Он самый (фр.).

Хватит с меня, надоело (фр.).

«Разве я сторож ей?» — измененная цитата из Библии; когда бог спросил Каина, где брат его Авель, которого он убил, он ответил: «Разве я сторож брату моему?» (Бытие, IV, 9).

201

Учебный год (фр.).

Запретной алле (фр.).

Итак, вы намерены воссесть завтра на королевский престол рядом со мной? Не сомневаюсь, что вы заранее упиваетесь предстоящей властью. Я насквозь вас вижу, честолюбица вы эдакая! (фр.)

Здесь: украшают его (фр.).

Как резко вы говорите, мосье! (фр.)

С вами надо поосторожней (фр.).

Ну как, хорошее у меня произношение? (фр.)

Дайте мне вашу руку (фр.).

Бедняжка! (фр.)

...ибо не знала, с чего нужно начинать исповедь... — Речь идет о том, что протестантская церковь не признает исповеди.

Отец мой, я протестантка! (фр.)

...слезный хлеб и слезную воду... — намек на библейское выражение:
«Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере...»

...ввергнуть себя в печь вавилонскую! — Имеется в виду печь, в которую, по библейскому преданию, Навуходоносор приказал ввергнуть юношей Ананию, Азарию и Мисаила, отказавшихся воздать божеские почести золотому идолу (Книга Даниила, III, 3).

Кармелиты — нищенствующий монашеский орден у католиков, основанный в 1156 г. Назван по горе Кармель, находящейся в Ливанском хребте.

Фенелон Франсуа (1651–1715) — французский писатель, академик, архиепископ; автор романа «Приключения Телемака», в котором отстаивал принципы просвещенной монархии и выступал с критикой деспотизма и религиозной нетерпимости, за что был отлучен от церкви.

«Товарищ юных дней» — строка из песни Р. Бернса (1759–1796)
«Старая дружба» (перевод С. Маршака).

Бедр-ад-дин Хасан — персонаж «Сказки о везире Нур-ад-дине и его брате» из «Тысячи и одной ночи».

Лары — в римской мифологии боги, охраняющие дом и семью.

Азраил — ангел смерти в мусульманской мифологии.

Бегинки — немонашеская сестринская община, основанная в XII в. в Нидерландах.

Титания, королева фей и эльфов, и ее возлюбленный, ткач Основа, которого эльф Пэк наградил ослиной головой, — персонажи комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Простодушии, наивности (фр.).

Великолепной (фр.).

Таких достойных, милых и почтенных (фр.).

Его матушки — хозяйки замка (фр.).

Что вы здесь делаете? (фр.)

Я развлекаюсь, сударь (фр.).

Вы развлекаетесь! Чем, разрешите узнать? Но сперва сделайте мне одолжение — встаньте, возьмите меня под руку и пойдем в другую сторону (фр.).

Странные женщины эти англичанки! (фр.)

230

Замолчите и садитесь вот сюда! (фр.)

Однако, сударь? (фр.)

Однако, мадемуазель, садитесь и не двигайтесь с места, пока вас тут не найдут или я не дам разрешения подняться, ясно? (фр.)

Какой мрачный угол... и какие безобразные картины! (фр.)

Ах, вот как! Не многого же вы стоите (фр.).

Она никуда не годится. Роскошная женщина — осанка царицы, формы Юноны, но я бы не пожелал ее ни в жены, ни в дочери, ни в сестры. И вы не смейте даже голову поворачивать в ее сторону (фр.).

Геспериды — в греческой мифологии дочери божества вечерней звезды Геспера, хранительницы сада, в котором росла яблоня, приносившая золотые плоды.

В пользу бедных (фр.).

238

В парадном виде (фр.).

Раб лампы — джинн из сказки «Аладдин и волшебная лампа» («Тысяча и одна ночь»).

240

Драгоценности (фр.).

Юнона — в римской мифологии сестра и жена главного божества Юпитера.

...подобна Иакову, Исаву... — Согласно библейской легенде, Иаков женился на сестрах Лии и Рахили, а его брат-близнец Исав взял себе несколько жен (Бытие, XXVIII, 9; XXIX, 16–39).

Атласными отблесками (фр.).

Безотрывно (фр.).

...лицо... совсем иного типа, чем у всех присутствующих. Ш. Бронте под названиями Лабаскур и Виллет вывела Бельгию и Брюссель. Бельгия с 1815 по 1830 гг. входила в состав Нидерландов и находилась во власти нидерландского короля. Поэтому король не был похож на уроженцев Лабаскура.

Юных девиц (фр.).

247

Розово-белых (фр.).

«Векфильдский священник» — роман английского писателя Оливера Голдсмита (1728–1774), отличающийся простотой стиля и языка.

Вторым завтраком (фр.).

Крайнем невежестве (фр.).

Вероломную Изабеллу (фр.).

Требовательный (фр.).

Злюка (фр.).

Радамант — в греческой мифологии сын Зевса и Европы, за свою справедливость поставленный судьей в подземном царстве мертвых.

...в разгар... «разрухи и разора»... — слова из поэмы английского поэта Джона Мильтона (1608–1674) «Потерянный рай».

Торговца вином (фр.).

...столп облачный для одних «был тучей и мраком, а другим освещал путь»... — Имеется в виду библейское сказание об исходе израильтян, во главе с Моисеем, из Египта: облачный столп освещал израильтянам путь через Чермное (Красное) море, окружая мраком преследующих их египтян.

Нево — гора, на которой, по библейскому сказанию, умер Моисей. Перед смертью бог показал ему с вершины Нево землю обетованную.

Мадемуазель, вы грустите (фр.).

Но я имею на это право, сударь (фр.).

А все же на душе у вас невесело (фр.).

Тимон — герой трагедии В. Шекспира «Тимон Афинский», проклявший человеческое общество за то, что оно подчиняется власти золота.

Булочек (фр.).

Простите, мадемуазель (фр.).

Какая мадемуазель усердная! (фр.)

266

Синим чулком (фр.).

Гигантских шагах (фр.).

«Раз, два, три» (фр.).

Милый друг (фр.).

Неприступный ангел (фр.).

Слава богу (фр.).

Британской медведицей (фр.).

Медвежонок (фр.).

Извольте! Это вам (фр.).

Кориандр — растение, плоды которого, похожие на семена, употребляются как приправа.

Снедь, какую требовал... патриарх... — По библейскому сказанию, патриарх Исаак, слепой и немощный, просил сына Исава пойти в поле, настрелять дичи и сварить из нее его любимое блюдо, за что обещал Исаву перед смертью благословить его.

Захудалым учителишкам (фр.).

Великобритании (фр.).

Вы, видимо, намерены оскорбить меня? (фр.)

Но, мосье (фр.).

Полноте, полноте! (фр.)

Юность бывает только раз (фр.).

Понятно, понятно это — письмо всего лишь от друга. До свидания, мадемуазель (фр.).

Теперь я убедился, что вы издеваетесь надо мной и моими поступками (фр.).

Ш-ш, хоть две берите, пожалуйста (фр.).

286

Хитрый вид (фр.).

Геба — в греческой мифологии богиня юности, дочь Зевса и Геры, жена Геракла, служившая виночерпием на Олимпе.

...поклонялась в доме Риммона... — Языческому богу Риммону был вынужден поклоняться библейский персонаж Нааман, который в самом деле верил в единого библейского бога.

Вас ждут в гостиной (фр.).

Филлида — деревенская девушка, персонаж из сборника эклог римского поэта Вергилия (70–19 гг. до н. э.) «Буколики».

Тофет — местность на юге Иерусалима, где, по библейскому сказанию, стоял идол Молоха, которому приносили в жертву детей, сжигая их на огне; символ страшного, нечистого места.

...на пиру Бармесидов. — Бармесид — персонаж из «Тысячи и одной ночи», богач, дразнивший голодных, ставя перед ними пустые блюда. Пир Бармесидов — пир, на котором не угощают; символ ложного гостеприимства.

«...мой сын Джон...» — измененная строка из стихотворения Р. Бернса «Джон Андерсон»: «Джон Андерсон, мой друг Джон...» (перевод С. Маршака).

Саул — первый библейский царь; впал в тяжелую меланхолию, узнав от пророка Самуила, что бог отрекся от него за непослушание и властолюбие. Давид, втайне от Саула помазанный на царство, служил у него музыкантом и успокаивал его игрой на лире (1 Книга Царств, XV, 26; XVI, 23).

Из песни Р. Бернса (1759–1796) «Старая дружба» (перевод С. Маршака).

Да, да, друг мой, разумеется, я вас отпускаю. Вы всегда работали в моем доме прекрасно — старательно и скромно. Вы заслужили право развлечься. Выходите, когда вам вздумается. Что до выбора ваших знакомств, я им довольна — ваш выбор разумен, достоин, похвален (фр.).

В английском характере есть кое-что удивительное (фр.).

Не могу объяснить, «как это», но у англичан свои понятия о дружбе, о любви, обо всем. Но за ними, по крайней мере, хоть не надо следить (фр.).

«Ихавод» (бесслабие) — имя, которое, по библейскому сказанию, умирающая мать дала своему младенцу, узнав, что филистимляне выиграли битву, убили ее мужа и взяли Ковчег завета (1 Книга Царств, IV, 19–22).

300

Здесь: болтаюсь в воздухе (фр.).

301

Самопожертвования (фр.).

Сосредоточенности (фр.).

303

Брань, ругательство (фр.).

Проклятый (фр.).

305

Тысячи (фр.).

«Жалобу девушки» (нем.).

Пора мне навек сочетаться с тобой,
Расстаться со счастьем, расстаться с землей,
Где я и жила и любила (нем.).

Ну что вы об этом скажете? (фр.)

Наивность (фр.).

Важных персон (фр.).

Кошечка, кокетка, вид задумчивый, печальный, но вы вовсе не такая, нет уж, я вам говорю, душа горит и взор сверкает!

Да, у меня горит душа, и должна гореть! (фр.)

Кошечка, кокетка! (фр.)

Верзила, английский фат (фр.).

Друг мой, я вам прощаю (фр.).

Ну вот, наконец-то! Скажите же «мой друг» (фр.).

Мосье Поль, я вам прощаю (фр.).

Джон Нокс (1505–1572) — глава протестантской реформации в Шотландии; яростно нападал на королеву Марию Стюарт, ревностную католичку.

Господи, господи! Что со мною будет? Мосье убьет меня, он так гневается! (фр.)

Мадемуазель Ла Маль — к пианино! (фр.)

321

С этой минуты! Входить в класс запрещается. Первого, кто откроет дверь или пройдет по отделению, я повешу, будь то хоть сама мадам Бек!
(фр.)

322

Уф! Больше не могу! (фр.)

323

Очки (фр.).

Чего вам от меня надо? (фр.)

Мосье, я хочу невозможного, вещей неслыханных (фр.).

Так! Я остался вдовцом, оплакивающим мои очки! (фр.)

Вот какая ужасная англичанка, маленькая разрушительница (фр.).

Экспромтом (фр.).

Нравоучительное чтение (фр.).

Молодых девушек (фр.)

Вот и мосье! (фр.)

332

Не двигайтесь (фр.).

Вы не желаете сидеть со мною рядом, вы делаете вид, что принадлежите особой касте, а я пария для вас. Что ж, посмотрим (фр.).

Встаньте все, сударыни (фр.).

- Теперь места хватит? (фр.)
- Мосье сам так решил (фр.).
- Сами знаете, что нет. Это вы устроили. Я тут ни при чем (фр.).

Драмой Вильяма Шекспира, ложного кумира глупых язычников, англичан (фр.).

337

Хладнокровием (фр.).

Характер невыносимый (фр.).

Жар (фр.).

Замолчите! Сейчас же! (фр.)

341

Настоящий порошок (фр.).

Вспыльчивость и горячность (фр.).

343

Суетной, кокеткой (фр.).

Кукольной окраской и более или менее изящным носом (фр.).

Вышитые воротнички (фр.).

Лишние безделки (фр.).

Глупостей (фр.).

348

Легкомысленный вид (фр.).

349

Грубой шерсти, серой, как пыль (фр.).

Ленточка — пусть! (фр.)

Головомойку (фр.).

«Восток свыше» — по евангельскому преданию, первые слова, сказанные Захарией, отцом Иоанна Крестителя, после того как бог лишил его дара речи за то, что он не поверил предсказанию о рождении сына (Евангелие от Луки, I, 78).

353

Шелковое платье (фр.).

Парикмахером (фр.).

355

Получать кое-какие удовольствия (фр.).

356

Здравствуйте, друзья мои (фр.).

Это все? (фр.)

Карту мира (фр.).

Речи (фр.).

360

Англичанок (фр.).

Да здравствует Англия, ее история и ее герои! Долой Францию, ее выдумки и ее фатов! (фр.)

362

Девушек (фр.).

363

Меня, стало быть, там не будет (фр.).

И пусть! (фр.)

Поль Карл Эманюель, я тебя презираю, старина! (фр.)

«Сноу» по-английски значит «снег».

367

Боже вас сохрани! (фр.).

Ну вот и все (фр.).

369

Задущенная (фр.).

Пентесилея — в греческой мифологии царица амазонок, явившаяся на помощь троянцам во время Троянской войны и убитая Ахиллом.

...подобно юному Евтиху... — По евангельскому сказанию, во время долгой беседы апостола Павла с учениками юноша Евтих, сидевший на окне, заснул и упал на землю.

А до чего ж хорош молодой доктор, ах, мадемуазель! Какие глаза, какой взгляд! Просто сердце мне разволновал! (фр.)

Этой наглой девчонке, существу без всякого стыда (фр.).

- Она сказала сущую правду (фр.).
- Вот как! Вы находите? (фр.)
- Разумеется (фр.).

375

Игру природы (лат.).

376

Но как? (фр.)

Ко мне это не относится, меня это не касается (фр.).

Маленькая лакомка! (фр.)

Ваал и Дагон — библейские имена языческих богов.

Дьявольская гордость (фр.).

381

Советую вам принять приглашение (фр.).

Что это еще такое? Вы шутки со мною шутите? (фр.)

383

Это розовое платье! (фр.)

А мадемуазель Люси кокетлива, как десять парижанок. Виданы ли такие англичанки? Поглядите-ка, какая у нее шляпка! А перчатки, а башмачки! (фр.)

— Смелей! Честно говоря, я нисколько не сержусь, может быть, мне даже приятно, что для моего маленького праздника так вырядились.

— Но платье мое ничуть не нарядное, мосье, оно только что опрятное.

— Я люблю опрятность (фр.).

Лесов и тропок (фр.).

Ветчину и варенье (фр.).

Скупыми хозяйками (фр.).

Дайте руку! (фр.)

390

Сестричка (фр.).

Я ведь был с вами требователен и груб (фр.).

Благочестивым чтением (фр.).

Где мадемуазель Люси? (фр.)

394

Она в постели (фр.).

Фадмор — город, который, по библейскому сказанию, построил в пустыне царь Соломон.

Чего вам от меня надо? (фр.)

А что до поздравлений ее, так мне на них плевать! (фр.)

Значит, вы знаете, наверное, моего благородного ученика, моего Поля?
(фр.)

399

Мир вам (лат.).

Чудная она, правда? (фр.)

Вот смешная горбуня! И вообразите — она ненавидит меня, потому что думает, будто я влюблена в своего кузена Поля, в этого святошу, который шелохнуться не смеет без разрешения духовника! Впрочем... (фр.)

Дура она, каких мало (фр.).

Чистый, как лилия, как он говорит (фр.).

Забудьте ангелов, горбуний и особенно профессоров — и спокойной ночи! (фр.)

Собственной персоной (лат.).

О небо! (фр.)

Меровей — полулегендарный основатель династии франкских королей Меровингов (1-я пол. V в.). Фарамон — легендарный вождь франков (V в.).

Я об этом ничего не знаю (фр.).

Идиотка она, что ли? (фр.)

Мы действуем в интересах истины. Мы не хотим вас оскорбить (фр.).

Иоав — библейский военачальник, командовавший всеми войсками царя Давида.

Насмешницей и бессердечной (фр.).

413

Что? (фр.)

А вы, мадемуазель? Вы чистюля и неженка, и чудовищно
бесчувственны к тому же (фр.).

415

Я живу в норе! (фр.)

Вот они (фр.).

417

Я стелю постель и веду хозяйство (фр.).

...завещано царствие небесное. — Имеются в виду слова из Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное» (Евангелие от Матфея, V, 3, 10).

...и ему отпустятся долги его... — измененная цитата из молитвы «Отче наш» (Евангелие от Матфея, VI, 12).

420

А еще? (фр.)

«Довлеет днєви злоба его» — Евангелие от Матфея, VI, 34.

422

Здесь: маленькая надоеда (фр.).

Венсен де Поль (1576–1660) — католический святой, французский священник, основатель ордена сестер милосердия и миссионерского ордена лазаристов, а также двух домов для сирот-найденшей в Париже.

Уэсли Джон (1703–1791) — основатель религиозного течения методизма, противопоставившего себя официальной англиканской церкви.

...дама с Семи Холмов... — Имеется в виду католическая церковь, центр которой, Рим, расположен на семи холмах.

...сей обет «похвальнее нарушить...»... — слова из трагедии В. Шекспира «Гамлет».

Неуклюжая! (фр.)

Слишком много чувствительности и понимания (фр.).

Скажите же, сестренка (фр.).

430

О, мне больно! (фр.)

«Марии, царице небесной» (фр.).

...отворяется кладезь бездны... — перифраз. цитаты из Апокалипсиса (IX, 1. 2).

Молох — финикийский бог, которому приносились человеческие жертвы.

Господи, помилуй меня, грешного! (фр.)

435

Исполнена ума и изящества (фр.).

Пентеликон — горы близ Афин (современное название Мендели), славившиеся мрамором (так называемый «пентелийский мрамор»), из которого изготовляли статуи.

Альфашар — персонаж из сказок «Тысячи и одной ночи», строивший несбыточные планы обогащения.

Как сладок отдых! Что может быть лучше тихого счастья! (фр.)

Милый дружок, нежная утешительница! (фр.)

Гадес — в греческой мифологии царство теней, преисподняя.

Масличный листок. — По библейской легенде, когда прекратился всемирный потоп, Ной дважды выпускал из ковчега голубя, чтобы проверить, просохла ли земля; во второй раз голубь вернулся с масличным листком в клюве (Бытие, VIII, 11).

Святочное полено. — По шотландскому обычаю, в святки сжигают полено.

Какая вы бледная! Вы совсем заболели, мадемуазель! (фр.)

Ибис — священная птица у древних египтян.

Вифлеем — город, где, по евангельскому сказанию, родился Иисус Христос. В Евангелии от Луки говорится, что после рождения Христа «... явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: Слава в вышних Богу...».

Пери — персонаж персидской мифологии; принадлежит к семье джиннов. Пери бессмертны, борются со злыми джиннами — дивами, обладают даром совершать чудеса.

Ярмарка тщеславия находится в центре Града тщеславия, описанного в аллегорическом романе английского писателя Джона Беньяна; символ разврата и всеобщей продажности.

Где же они? Почему не идут? (фр.)

Дамы и господа, где же Жюстин Мари? (фр.)

Аэндорская волшебница, по библейскому преданию, вызвала дух Самуила из гроба (1 Книга Царств, XXVIII, 7-16).

А вот и она, вот и Жюстин Мари! (фр.)

Дядюшка, тетушка (фр.).

Малышка мне поможет, правда ведь? (фр.)

Конечно, я с радостью вам помогу. Располагайте мною, как вам будет угодно, крестный (фр.).

Парка — в греческой мифологии одна из трех сестер, богинь судьбы.

Инкуба — демон, злой дух, вызывающий кошмары.

Развращении малолетних (фр.).

Дядюшка (фр.).

Приданое (фр.).

460

Ну как? (фр.).

461

Моего мужа (фр.).

462

На краю гибели (лат.).

463

Рабочего (фр.).

Оставьте меня! (фр.)

465

Уходите вон отсюда! (фр.)

Женщина! Женщина, немедленно убирайтесь! (фр.)

Как она бледна. Мне больно смотреть на это лицо (фр.).

468

Тихо, тихо (фр.).

469

Будьте покойны (фр.).

470

Круглый столик на одной ножке (фр.).

471

Ну вот! (фр.)

Пансион для девиц. Предместье Клотильды, д. 7. Директриса мадемуазель Люси Сноу (фр.).

473

Друг мой (фр.).

Джаггернат — в индийской мифологии божество, воплощающее неумолимый рок.